

Марк АДДАНОВ ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

Марк АДДАНОВ

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ



ВПЕРВЫЕ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ

Новоски

Новоски

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

Впервые в России
МАРК АЛДАНОВ
Сочинения в 6 книгах

Книга 1. Портреты

«Жозефина Богарне и ее гадалка»
«Сталин»
«Пилсудский»
«Уинстон Черчилль» и другие очерки.

Книга 2. Очерки

«Ванна Марата»
«Печоринский роман Толстого»
«Французская карьера Дантеса»
«Мата Хари» и другие очерки.

Книга 3. Прямое действие. Рассказы

«Фельдмаршал»
«Грета и Танк»
«На «Розе Люксембург»
«Рубин» и другие рассказы.

Книга 4. Начало конца

«Начало конца». Роман
«Десятая симфония», «Могила воина».
Исторические повести

Книга 5. Живи как хочешь

«Живи как хочешь». Роман
«Линия Брунгильды». Пьеса.

Книга 6. Ульмская ночь

«Ульмская ночь». Сборник философских
диалогов
Статьи о литературе.

**Марк
АЛДАНОВ**
ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

Новості

Москва, 1995

ББК 84Р
А49

*Под общей редакцией
доктора филологических наук, профессора
Андрея ЧЕРНЫШЕВА*

Орфография, пунктуация, написание географических названий и собственных имен в книге приведены в соответствие с современными нормами русского языка.

*Шеститомное издание произведений Марка Алданова,
впервые выходящих в России, выпущено при участии фирмы
„Авеста“.*

По вопросам оптовой закупки книг обращаться по телефонам
265-50-53 и 265-56-62.

© А. А. Чернышев, предисловие, составление, подготовка текста, 1994
© Б. Н. Федюшкин, рисунки, 1994
© В. В. Анохин, оформление, 1994

Алдановские «Десять лет спустя»

Десять лет разделяет романы Алданова «Начало конца» и «Живи как хочешь». «Живи как хочешь» увидел свет в 1952 году. Как изменился мир за эти десять лет! Отгремела, ушла в прошлое вторая мировая война, началась новая война, на этот раз холодная (горячая шла в Корею), был последний год жизни Сталина. Алданов же — не изменился. Как и в молодые годы, повторял, что удел человеческий, счастливый или злосчастный, сотворяется случаем, а случай непостижим, счастье видел не в том, чтобы найти, а в том, чтобы искать, иронизировал над всем миром и над самим собою.

Он отказался от мысли издать «Начало конца» отдельной книгой на русском языке, несмотря на исключительный успех английского перевода: издательское дело в русском зарубежье в те годы едва теплилось. В Америке, куда его занесли превратности военного времени, в конце войны и в первые послевоенные годы он создал, по мнению многих, лучший свой исторический роман «Истоки»: действие происходит в последние годы царствования Александра II, кульминационная сцена — убийство императора. Парадоксалист Алданов, уподобляя политиков циркачам, ввел в повествование линию артистов бродячего цирка. Чтобы написать цирковые главы достоверно, отправился в поездку по Соединенным Штатам с гастролирующим бродячим цирком. Узнав об этом, И. А. Бунин шутливо называл его в письме: «Алеко Алданов».

Издать «Истоки» на русском языке также долго не удавалось, английский перевод вышел в 1948 году, а русский оригинал только в 1950-м. В одном из писем 1948 года Алданов сообщал, что художественный успех большой, такого он прежде не имел; но в рецензиях часто указывается, что книга трудная (это верно, признавал он) — и «такие слова продаже не содействуют».

В 1951 году один из крупнейших издателей Амери-

ки Скрибнер выпустил в переводе на английский язык старые романы Алданова «Ключ» и «Бегство». Рекламируя однотомник, шотландская газета «Глазго геральд» писала об Алданове в таких выражениях: «Многие критики считают его крупнейшим из ныне живущих романистов, он обладает интеллектуальной и духовной силой, унаследованной от великой русской литературы XIX века». Но и эта книга продавалась довольно слабо. Алданов жаловался: «Скрибнер в объяснение мне прямо написал, что громадное большинство американцев теперь книг о России, хотя бы и написанных антибольшевиками, не читает. Если так (а это, конечно, так), то едва ли он у меня будет что-либо приобретать, старое или новое». Рассчитывать же на гонорары от редких русскоязычных эмигрантских журнальных публикаций почти не приходилось: платили мизерно.

Алданов задумал написать такой роман, который бы заинтересовал и читателей, и издателей в разных странах, стал бы международным бестселлером. Не из русской истории, не из жизни сталинского Советского Союза. По канонам массовой литературы место действия «Живи как хочешь» то курортная Ницца, то борт океанского лайнера, курсирующего между Европой и Америкой. Под стать был разработан и сюжет с элементами детектива и мелодрамы, двумя криминальными историями, одной с наркотиками и кражей бриллиантов, другой политической, с международным шпионажем, среди действующих лиц закоренелый злодей и его страдающая жертва, бескорыстный благородный шантажист. Как в доброй старой пьесе, волею автора в одной из последних сцен «Живи как хочешь» все персонажи вдруг оказываются вместе на пароходе, и это дает возможность развязать запутанные сюжетные узлы. Конечно же, действие заканчивается хеппи-эндом, наказанием порока, торжеством добродетели.

Но большой русский писатель просто был не в силах написать романа, целиком вписывающегося в западные развлекательные стандарты. Алданов своим произведением вмешивался в разгоревшуюся полемику поборников элитарной и массовой культуры, пытался крайности совместить, сделать роман интересным и для читателя-интеллектуала. Помимо легковесного верхнего слоя в романе есть по-алдановски серьезная сердцевина — диалоги о нравственности, о связи времен, о политике, о литературе и искусстве.

Алданову было 65 лет, когда вышел роман. Он много болел и собирался романом «Живи как хочешь» завершить свою многотомную серию, воплощающую события русской и европейской истории двух последних столетий. На страницах серии действуют цари, полководцы, революционеры, изображены их звездные часы, Суворов совершает беспрецедентный переход через Альпы, умирает Наполеон на острове Святой Елены... А закончить серию писатель намеревался романом о современниках — о простых смертных, простом человеческом счастье. Похоже, намеревался опустить занавес в момент радости, дабы не говорить, что будет потом.

(Судьба распорядилась по-своему, писатель прожил еще четыре с лишним года и выпустил четыре книги. Самым поздним по времени действия стал в серии роман «Бред». А умер, когда в нью-йоркской газете «Новое русское слово» печатался с продолжениями последний его роман «Самоубийство», где изображен Ленин. «В сущности, в художественной форме о Ленине пока никто не писал; макулатура советских подхалимов в счет не идет», — писал он за полгода до смерти.)

В «Живи как хочешь» многие персонажи перешли из прежних книг Алданова, это новая встреча через много лет с полюбившимися ему героями и сентиментальное прощание с ними. Надежда Ивановна из «Начала конца», Виктор Яценко и Дон Педро — Пемброк из трилогии «Ключ» — «Бегство» — «Пещера», Николай Дюммлер из «Истоков», Макс Норфольк из рассказов. Русские эмигранты даны преуспевшими, пустившими новые корни на Западе. Для них оставленная родина — главная любовь в жизни, но ни один не помышляет о возвращении домой, потому что в советской России нет свободы. 15 июля 1950 года Алданов с горечью писал израильскому импресарио А. И. Погребецкому: «По-настоящему жить можно только в той стране, где человек родился и провел детство. Мне это не было суждено». Но его судьба — доказательство, что сильные духом и талантливые могут найти себя и на чужбине. Таких он и взял героями.

«Начало конца» и «Живи как хочешь» можно назвать диалогией внутри серии Алданова. Оба эти романа рисуют современность, а не события прошлого, в обоих действуют только вымышленные персонажи, в «Живи как хочешь» дана развязка сюжетной линии

одного из персонажей «Начала конца», посла Кангарова. И все же два романа, очень схожие по творческому почерку; различны, как, по Алданову, различны характеры советских людей и эмигрантов: даже самых порядочных людей тоталитарный режим деформирует. Но в романе, увидевшем свет в последний год жизни Сталина, писатель предсказывал, что и в Советском Союзе дело свободы, каким бы безнадежным оно ни казалось в то время, в конечном счете восторжествует: «Какое счастье, что в душу человека заложена эта непонятная любовь к свободе и правде! Искорка эта слаба, она еле заметна, она часто *почти* гаснет, она исчезает в одном месте и проскакивает в другом, но в ней есть своя огромная сила... Для меня есть одна ценность, и по сей день совершенно бесспорная: это свобода».

Первоначально писатель предполагал назвать свой роман «Путь к счастью» или «Освобождение». Затем, по совету переводчика романа на английский язык Н. Р. Вредена, обратился к упоминаемому без указания источника в тексте романа афоризму Эпиктета из его «Бесед»: «Свобода не что иное, как право жить как хочется. Ничего более». Вариант названия «Живи как хочется» одобрил И. А. Бунин, у которого Алданов спросил совета: он, по его словам, «всех и везде будет заинтриговывать, многим будет очень нравиться, некоторых будет возмущать, что тоже отлично». Алданов письмо Бунину от 19 марта 1952 года начал так: «Дорогой друг! Я по-настоящему тронут, чрезвычайно тронут тем, что Вы, несмотря на слабость и нездоровье, сочли возможным тотчас мне ответить. От души Вас благодарю. Разумеется, так и назову роман: «Живи как хочется». Однако и в этот вариант заголовка он в последний момент (рукопись уже была в издательстве) внес правку, заголовок в конечном счете стал таким: «Живи как хочешь». Смысл правки, по-видимому, состоял в том, чтобы подчеркнуть связь нового романа с «Началом конца», где командарм Тамарин, приехав в Париж, формулирует для себя отличие тамошней жизни от московской: «Да, здесь ГПУ нет. Не убивай, не грабь, не воруй и тогда живи как хочешь».

«Живи как хочешь» Алданов писал одновременно со сборником историко-философских диалогов «Ульмская ночь» (этот сборник будет напечатан в 6-й книге нашего собрания сочинений). В романе он воплотил идеи сборника: нравственные жизненные принципы не претерпели изменений со времен Экклесиас-

та, могут быть счастливы только те, кто помогает другим людям, в крайнем случае никогда не приносит зла. Отдельные грани своего «я» Алданов раздал трем персонажам: жажду помогать всем, кто нуждается в помощи, бескорыстному Максу Норфольку; привычку сыпать афоризмами и цитатами престарелому Дюмлеру; свои раздумья над художественным творчеством он вложил писателю Яценко. Алданов стремился избежать повторения в Яценко Вермандуа из «Начала конца»: Яценко не маститый прозаик, а начинающий драматург, выходец из России, а не француз, он много моложе, чем Вермандуа. Читатель «Пещеры» расстался с юным эмигрантом Виктором Яценко в 1919 году — тот собирался возвратиться на родину и участвовать в борьбе против красных. О двух десятилетиях, прожитых им в СССР, о новом бегстве его на Запад, о том, как он пришел в литературу, в романе сказано всего в нескольких словах, но прежняя авторская теплота к герою сохранилась. Иной стала, чем в «Начале конца», Надежда Ивановна: изменилась к лучшему, сделавшись эмигранткой. Но Антонину Семеновну, Тони, олицетворявшую в романе худшие свойства человеческой натуры (наркоманка, добровольный агент советской госбезопасности), Алданов взял в качестве нового персонажа — герои прежних книг слишком дороги ему. Он склонен прощать людям их недостатки и слабости, со страниц романа звучит: «совершенных мерзавцев на свете не так уж много, не больше, чем совершенно порядочных людей», обычный человек «хуже, чем Ганди, лучше, чем Гитлер», и все же Тони подводит к крушению.

В современности Алданов как исторический писатель видит часть исторического процесса. Эпоху он рисует немногими, но выразительными деталями. Во вставной пьесе «Рыцари Свободы» действие происходит в 1820 годы, и герой, собираясь переехать в Нью-Йорк, облюбовал себе дом с садом на Уолл-стрит, думает завести лошадей, коров и овец, они будут пастись на Бродвее. Такая колоритная подробность несомненно адресована нашему современнику: пусть он вспомнит, что в те годы численность населения Нью-Йорка была всего 150 тысяч человек, в десять раз меньше, чем Парижа! Персонажи пьесы узнают о смерти Наполеона, и замыкается круг: свою серию Алданов в 1921 году начал с повести о его последних днях, «Святая Елена, маленький остров».

Мысль его обращается не только к прошлому, но и к будущему. Тоталитарный режим в Советском Союзе всем вокруг казался нерушимым и всесильным, но Алданов давно уже думал, что стал свидетелем *начала конца* этого режима. В книге, задуманной в качестве своей последней, своего рода завещания, он обратился к теме, которая современниками не предугадывалась, но его очень волновала: какой будет Россия после падения большевиков? Разумеется, сколько-нибудь систематической картины будущего предугадать не дано, но отдельные ее детали писатель с удивительной прозорливостью разглядел. Его Тони с вызовом и рвением отстаивает национально-патриотическую идею, и, действительно, этой идее спустя десятилетия оказалось суждено вновь, как в годы борьбы западников и славянофилов, стать в центре общественных споров о путях развития России. Из своего старого очерка Алданов перенес в роман мысль, что, после того как будет упразднен обязательный государственный атеизм, получат необычайное распространение черная и белая магия. Сбылось и это, внешне парадоксальное, предвидение. Он задавался вопросом, который стал актуальным в наши дни: «Говорят, там на службе у ГПУ состоят миллионы людей. Что же, казнить их всех после падения большевиков? Нет...» Он размышлял о судьбах искусства в будущей России и приходил к такому выводу: из России не «посыпятся шедевры, как только она станет свободной. Огромное понижение умственного и морального уровня скажется на всех, даже на самых лучших».

Снова, как и в предшествующих романах Алданова, реплики одного персонажа можно порою передать другому — так построены, например, философические диалоги Яценко и Дюммлера. Спор единомышленников дает ему возможность в заостренной форме выражать воззрения, близкие к его собственным, в то же время отчасти отгораживаясь от них: остается место для характерного алдановского скептицизма. Напрасно было бы искать в романе уникальные личности, резкие неповторимые характеры. Это, однако, не художественный просчет писателя, а сознательно выбранная эстетическая позиция: люди его привлекали не своей несхожестью, а тем, что повторяются. Подобный не свойственный русской классике XIX века ракурс естествен для середины XX столетия, эпохи массового общества, для эмигранта, который воочию ви-

дел, в особенности в США, как в людях вырабатывается унифицированный взгляд на вещи, индивидуальность стирается.

Сюжет преобладает над героем, автор уделяет огромное внимание композиции, устанавливает внутри романа сложную систему зеркал. В современном романе вставная новелла — запись средневекового процесса по делу о колдовстве. Читатель призван сравнить героиню, женщину середины XX века, с ее далекой прародительницей, обвинявшейся в сношениях с Князем Тьмы. Другая героиня становится прототипом женщины наполеоновской эпохи в пьесе, которую пишет ее возлюбленный:

Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья...

Георгий Иванов

Искаженно отражаются перипетии романа в двух пьесах, «Рыцари Свободы» и «The Lie Detector» («Детектор лжи»), приписанных перу драматурга Яценко, искаженно отражает вторая пьеса ситуацию первой.

В 1929—1930 годах Алданов написал, а в 1937 году переработал и опубликовал драму «Линия Брунгильды» — о роли случая в человеческой судьбе, о «линии Брунгильды» в нравственности — линии, которую отстаивают до конца. В пьесе изображена жизнь русских актеров, тема традиционно театральная, но писатель ее решал на примере судебных, надвое разорванных эмиграцией, поэтому пьеса неизбежно горькая.

Выведенные в ней характеры примет времени лишены: начинающая романтическая актриса, два ее поклонника-конкурента, русский и немец, пожилой премьер провинциальной оперетты — ее отец. Но, избрав временем действия грозный 1918 год, писатель не скупился на точные и выразительные обозначения эпохи: общее обнищание, вынужденная необходимость почти для каждого преступать закон, страх перед ЧК...

Герои терзаются заботами, страдают, любят. Их чувства кажутся им самым крупными, значительными. Но эпилог переносит зрителя в современность, в 1936 год. Минуло почти два десятилетия — и какими далекими, наивными выглядят теперь давние страсти и терзания! Суета сует. Театральная карьера героини не состоялась, мечты о славе, о любви не сбылись, остается лишь влачить жалкое существование на чужбине.

«Линия Брунгильды» перед войной ставилась с успехом русскими труппами в Париже, Праге, Варшаве.

Читателю «Живи как хочешь» несомненно бросится в глаза несходство «Линии Брунгильды» и включенных в роман двух пьес, кажется, они написаны разной рукой: в традициях русской классической драматургии «Линия Брунгильды», в традициях западной, особенно английской салонной драматургии, «Рыцари Свободы» и «The Lie Detector». В них блестящие остроумные диалоги, неожиданные повороты действия, изящные развязки, строго соблюдается неписанный закон, что писатель не должен ставить слишком острых и больных социальных проблем.

Но ведь и в самом деле, по роману, автором этих пьес является не его создатель, а его герой, Яценко! Ставится знак равенства между писателем и его героем. Алданов не раз использовал подобный необычный, но любопытный и плодотворный прием характеристики персонажей. В его «Истоках» есть вставная глава — статья героя, левого журналиста и художника Мамонтова «Участь Соединенных Штатов», предсказывающая неизбежность быстрого распада США. Автор не только лукаво иронизировал над несбывшимся историческим прогнозом, он своеобразно снижал героя в читательском восприятии: Мамонтов — дилетант, который слишком серьезно воспринимал расхожие либеральные идеи своего времени, 70-х годов XIX века. Яценко в «Живи как хочешь» авторской иронии не вызывает, его пьесы, по роману, хвалят импресарио, актеры, публика, по одной из них поставлен удачный фильм. Герой для западного зрителя пишет, хоть и по-русски, но о западной жизни, в западной литературной традиции — печальное, но неизбежное принятие «правил игры» эмигрантом, и показательно раздумья Яценко во второй главе первой части: «Толком не знаю, что это: хорошая пьеса или пародия на хорошую пьесу». Все же он приходит к выводу, что не пародия, и его вывод разделяет Алданов: он по пьесе «The Lie Detector» написал киносценарий (фильма по нему поставлено не было).

В конце 1940-х годов в Америке «самым важным из всех искусств», определяющим общественное сознание, оставалось, как и в предвоенные годы, кино (Голливуд), начиналось быстрое распространение телевидения. Все увеличивался спрос на драматургические про-

изведения и одновременно падал спрос на художественную прозу, аудитория стала меньше читать, больше смотреть. Работая над «Линией Брунгильды», Алданов о драматургии отзывался чуть свысока, немного пренебрежительно: театр, писал он Бунину 21 ноября 1929 года, — «грубый жанр», «все надо огрублять». В «Живи как хочешь» его герои повторяют, что визуальные искусства превратились в погоню за успехом, от пьесы, фильма публика ждет прежде всего развлечения, развлекать людей легче всего несложным, занимательным, условным, приятным искусством, вы нам такое и подайте, а взамен получите известность, деньги. Нравы послевоенного Голливуда в романе изображены сатирически, и герой горько жалуется: «В жизни люди не только разговаривают, не только целуются и не только стреляют из пистолета. У них есть мысли, есть психология, есть то, что экран передать не может или может только очень элементарно».

Но не ждет ли публика несложного развлечения и от романа?

Яценко резко противопоставляет роман визуальным искусствам, повторяет, что только роман обладает в полной мере глубиной и достоверностью психологических мотивировок. Он почти дословно повторяет статью Алданова 30-х годов «О романе», где роман провозглашен высшей формой искусства. («Живи как хочешь» — девятый по счету роман Алданова.) В финале Яценко решает уйти из Голливуда, чтобы писать роман.

Похоже, однако, что ко времени работы над «Живи как хочешь» писатель занял в споре приверженцев различных искусств более уравновешенную позицию, передал апологию романа своему герою. Впервые в русской литературе он органично ввел пьесы в художественную ткань прозы, отсюда неизбежно следовало, что за драматургией признаются не только недостатки, но и преимущества в сравнении с прозой.

Яценко считает главным достоинством романа глубину и достоверность психологических мотивировок, но Алданов в «Живи как хочешь» ограничивается элементарными психологическими мотивировками некоторых персонажей, например, Гранда, Фергюсона, рисует всего одной краской. Взамен читателю предлагается занимательная интрига, напряженное внешнее действие и то, что критик нью-йоркского «Нового журнала» Ю. Сазонова удачно назвала «панорамой

мыслей». Большинство читателей следит за детективными и мелодраматическими перипетиями сюжета, меньшая часть обращает внимание на бесконечные афоризмы, неожиданные сопоставления, цитаты, реминисценции. В одной только IV главе четвертой части упоминаются философские споры номиналистов с реалистами, идет речь о чувствах богини Юоны при ухаживаниях пастуха Эндимиона, цитируется Феофан Прокопович, приведено неожиданное предложение Генриха IV жене... Литературные образы внедряются в созданный писателем мир, следить за его острой мыслью необычайно интересно, и, дочитав роман, непременно возвращаешься к эпиграфу из Мопассана: «Разве существуют правила для создания романа?.. Откуда они взялись? Кто их установил?»

Новаторство Алданова в «Живи как хочешь» не было по достоинству оценено эмигрантской критикой. В нем увидели всего-навсего разрыв с классической традицией XIX века. Его «забраковал» авторитетный Г. П. Струве в монографии «Русская литература в изгнании». Не сбылась и надежда Алданова на то, что книга станет бестселлером у западного читателя. Она была переведена на несколько иностранных языков, вышла по-английски в Америке, но бестселлером не стала. Необычное совмещение высоколбой интеллектуальности и элементов массовой культуры отпугивало, отпугивали и пьесы — у многих не было навыка к чтению пьес.

Впрочем, Алданов еще до выхода романа в свет уже предвидел, что большой коммерческий успех его не ждет. Но зато — не пожертвовал художественными принципами, поставил серьезные, волновавшие его вопросы, утвердил взгляд, что вечно только доброе искусство, вернее, то, которое прошло через анализ зла и достигло мудрости в добре.

Думается, открыв для себя роман «Живи как хочешь», сегодняшний российский читатель станет богаче — так всегда бывает при встрече с талантливой, неординарной книгой.

Андрей ЧЕРНЫШЕВ

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

Роман



Вместо предисловия

«Этот критик считает романом более или менее правдоподобное происшествие, рассказанное по образцу театральной пьесы в трех актах: в первом — изложение, во втором — действие, в третьем — развязка.

Такой род творчества вполне допустим, но при условии, что будут считаться приемлемыми и все другие.

Разве существуют правила для создания романа, вне которых написанная история должна носить какое-либо другое название? Каковы же эти пресловутые правила? Откуда они взялись? Кто их установил?»

Guy de Maupassant

Часть первая

I.

— Просто удивительно, как мадам похожа на Геди Ламар, — сказала маникюрша, не любившая молчать во время работы.

— Мне это часто говорили, — ответила Надя, вспыхнув от удовольствия. Она действительно раз это слышала. Ей не очень хотелось разговаривать с маникюршей: надо было перед встречей еще раз прочесть последнее письмо Виктора. — Вам не помешает, если я буду читать?

— О нет, нисколько, — сказала маникюрша и заговорила о сплетнях Ривьеры, о кинематографических звездах, съехавшихся в Канн, в Ниццу, в самый модный в последнее время *Cap d'Antibes*. Надя никого из них не знала, но теперь все, связанное с их планами, гонорарами, с Голливудом, составляло главный интерес ее жизни. «Впрочем, она ничего, кроме их ногтей, не знает: я уже читала в газетах то, что она рассказывает... Что же он пишет о пьесе? «Рыцари Свободы» — это, кажется, не очень удачное название. Но он так умен, что не может написать плохую пьесу, даже если б хотел. Из меня не вышла писательница, а из него выйдет. Почему он назвал «Рыцари Свободы»? Если это пьеса против большевиков, то тогда уж, наверное, вернуться в Россию будет невозможно. Нет, он пишет, что пьеса историческая... Альфред Исаевич очень хорошо относится к Виктору. Как смешно, что они там, в Америке, меняют фамилии. Певзнер стал Пемброк, а Виктор Яценко — Вальтер Джексон. Хоть инициалы оставили прежние, и на том спасибо! Я ни за что не буду называть его Вальтер. Какой он американец! Альфред Исаевич — это другое дело, он живет в Соединенных Штатах тридцать лет, и нельзя называться Певзнер. Яценко — это тоже не очень красиво, но Виктор чудное имя...»

— Вы ошибаетесь, — сказала она, сразу оторвавшись от своих мыслей. — Это не четвертый ее муж, а третий.

— Я уверяю, мадам, что четвертый, — горячо возразила маникюрша и перечислила всех мужей артистки. Надя назвала себя дурой: «Какое мне дело, хоть бы он был и пятнадцатый! А вот я никогда Виктора не брошу. Это for better for worse¹...» Она и мысленно постаралась, совсем как американка, произнести эти слова брачного обещания. Теперь целыми днями изучала английский язык. Обладала большой способностью к языкам и еще большей настойчивостью во всем, что делала.

Маникюрша освободила ее правую руку. Надежда Ивановна провела ею по салфеточке и, хотя пальцы все-таки были мокрые, осторожно взяла листок письма. Он начинался с середины фразы: «...Для того чтобы увидеть тебя в роли Лины, для тебя написанной и, каюсь, немного с тебя писанной, — не бойся, никто и не заметит. Если в самом деле Пемброк приобретет пьесу для экрана, то я поставлю условием, чтобы роль была отдана тебе. Это очень облегчит и получение визы в Америку. Допустим даже, что второй визы тебе не дадут, тогда ты временно въедешь по визе посетителей (так называемая visitor's visa). Этот проклятый вопрос о визе в Соединенные Штаты стал каким-то подобием рока для некоторой части человечества. Я пушу в ход все свои связи, у меня есть два знакомых сенатора, один из них очень влиятельный. Ко мне очень хорошо относятся в американской делегации Объединенных Наций, где я служу. Ручаюсь тебе, что рано или поздно виза у тебя будет!»

«Да, именно «рано или поздно», а надо бы «рано», — подумала она со вздохом, дочитав до конца страницу. — Альфред Исаевич тоже обещает «рано или поздно». Господи, когда же?!» Ей казалось, что при деньгах и связях можно добиться где угодно чего угодно. «Связи у него есть, но денег, очевидно, недостаточны». Виктор Николаевич выдал ей первый аффидэвит². Там в графе о средствах был указан только его годовой заработок: семь тысяч долларов. О состоянии ничего сказано не было, значит, он состояния не имел. В переводе на франки (она мысленно перево-

¹ Для добра и для худа. — Пер. с англ. автора.

² От англ. affidavit — письменное показание под присягой. —
Здесь и далее примечания редакции.

дила по курсу черного рынка) семь тысяч долларов составляли очень большую сумму. «Ведь, как служащий ОН¹, он и от налогов освобожден. И все-таки он все проживает! Я наведу на его дела порядок, когда мы женимся. Да я скоро и сама буду зарабатывать больше, чем он. Буду его кормить, — с нежностью подумала она. — Альфред Исаевич *должен* взять его пьесу, и я буду играть эту самую Лину. Посмотрим, какой он меня изобразил: верно, я в пьесе много лучше, чем на самом деле. Альфред Исаевич возьмет пьесу!..» Пемброк выдал ей второй аффидэвит. Он не очень любил давать сведения о своем богатстве, но это было необходимо, и он сведения в формуляре дал, — Надя только ахнула.

Воспользовавшись тем, что маникюрша меняла пилочку, Надя взяла другой листок. На него капнула мыльная вода, Надя поморщилась: все его письма сохраняла в шкатулочке. У него был красивый почерк, он писал всегда интересно. Маникюрша, недовольная молчанием клиентки, сделала такой вид, точно Надя, вынув руку из чашки, погубила все дело. На этой странице письма ничего о пьесе не было. «В сущности, я *по-настоящему* в него не влюблена, — думала она со своей обычной правдивостью. — Я люблю Виктора, он умный и прекрасный человек, но я не влюблена, что ж от себя скрывать?.. Я никогда ему этого не скажу, но он все-таки не то что стар, а недостаточно молод. Да и он, кажется, в меня не влюблен. Он *просто* хочет жениться, и я тоже *просто* хочу выйти замуж, и мы очень подходим друг другу, и это будет, я уверена, очень счастливый брак. Но сказать, что мы влюблены *так*, как Вронский и Анна Каренина, нет, это была бы неправда...» Надя все романы Толстого знала чуть не наизусть. «А кроме того, у тех жизнь была другая, им никада виза не была нужна, и они все были богатые, у них были разные Лысые Горы и Отрадные, имения и дома с парками, а кто был уж совсем беден, у того было всего пять-шесть человек прислуги! Может, мы отчасти поэтому все так Толстым зачитывались: уж очень хорошо и очень непохоже на нас жили эти князья и графы... Виктор очень красив в свои 46 лет. Седые волосы при молодом лице — это хорошо и очень

¹ Объединенные Нации.

distingué¹. И он вообще похож на тех *хороших* кинематографических американцев, что в конце выхватывают из кармана револьвер, наводят его на гангстера и спасают бедную женщину», — думала она с нежно-лукавой улыбкой.

— Все-таки самая красивая из всех, конечно, Грета Гарбо! — опять заговорила маникюрша, когда Надя положила второй листок на бархатную подушечку и взяла третий. — Мадемуазель ее знает? Простите, я обмолвилась, — мадам!

Неосведомленные или очень любезные люди нередко называли Надю «мадемуазель», и эта обмолвка всегда доставляла ей удовольствие: «мадемуазель» — и не старая дева. Она была в России замужем очень недолго и считала свой брак затянувшимся недоразумением: бракоразводное дело тянулось очень медленно.

— Нет, я ее лично не знаю. Я ведь еще не была в Голливуде.

— Я уверена, что мадам там будет иметь огромный успех. С наружностью мадам! Главное, это получить визу в Соединенные Штаты. У нас во Франции вся молодежь хочет уехать в Америку, потому что у нас за труд платят гроши, это просто позор, и во всем виновато наше правительство... Я видела Грету Гарбо во всех ролях, в Анне... Как зовут ту русскую аристократку, которая думает, что настал конец мира от того, что она изменила мужу? Да, в Анне Карениной... Как жаль, что мы ничего не знаем о России! Там хорошо?.. Мадам, верно, не думает, что Сталин хочет войны, правда?.. Марлен Дитрих тоже очень красива, но она немка! Не знаю, как мадам, а я не люблю немцев, хотя вначале они вели себя у нас корректно, и многие даже думали, что все уладится. Но нас предало это правительство Виши, я всегда говорила, что они изменники. Я во время оккупации укрывала евреев, и мы каждый вечер слушали английское радио...

«...Если б ты знала, как мне хочется приобрести полную независимость, стать свободным человеком. И ты понимаешь, *для кого* мне это хочется. Работа переводчика мне надоела, а наша организация ООН еще больше. Впрочем, *приятной* службы нет и быть не

¹ Изысканно (*фр.*). — Здесь и далее перевод дан редакцией, если это не оговорено особо.

может. Я так хотел бы оставить все это, всецело отдаться театру, работать, не думая о зарплате, не тратя трех четвертей дня на никому не нужное дело в Объединенных Нациях, тоже пока никому не нужных, кроме людей, получающих в этой организации жалование. Я увлечен театром больше чем когда бы то ни было. Не скрою, кроме «Рыцарей Свободы», я пишу не историческую, а современную пьесу, совсем в другом роде. В моих «Рыцарях» я отчасти «активизирую» тебя. Не понимаешь? Вот что это значит. Я вижу людей, и, конечно, тебя первую, в их нормальной повседневной жизни, без больших событий. Но мне хочется представить себе, каким такой-то человек оказался бы, если бы попал в центр больших драматических событий. Я не романист, но если б я был романистом, то вставил бы в роман пьесу. Человек был бы показан с двух сторон: в романе я показал бы его в более или менее статическом состоянии, а в драме — в состоянии динамическом. Впрочем, ты неизмеримо лучше и чище моей Лины. Себя самого я чуть-чуть «активизировал» в Лафайете (*excusez du peu!*¹), чуть-чуть в полковнике Бернаре, чуть-чуть, хоть по-иному, даже в старом индейце Мушалатубеке! Не смейся, в другой обстановке я мог бы иметь душевный склад Мушалатубека! Гёте говорил, будто никогда не слышал о преступлении, которого в известных обстоятельствах не мог бы совершить он сам. В каждом из нас заложены возможности преступника, пожалуй, в большей даже степени, чем некоторые другие, — это показала последняя четверть века... Впрочем, я все забываю, что ты еще не читала моей старомодной романтической комедии. Я хотел было тебе ее послать, но не послал, чтобы доставить тебе наслаждение: прочесть ее тебе в воскресенье вечером...»

«Активизирую», «активизирую», что-то очень мудрено! И вдруг я его рассуждений и понимать не буду! Они, писатели, народ строгий: не понимаешь, так вот Бог, а вот порог, — с легкой тревогой подумала она. — Разошелся же у нас в Москве Петька с женой из-за того, что она не понимала диалектического материализма. Правда, она просто ему осточертела, и он хватился за это. Нет, мой Виктор ни на какую гадость

¹ Извините, что мало! — *Пер. с фр. автора.*

не способен, я очень, очень его люблю. Ах, скорее получить бы развод, и тогда все будет отлично. И денег у нас будет достаточно. Пока не разбогатею, одеваться буду просто, избави Бог его разорять. Жаль, что деньги так плывут, беда!»

Когда маникюрша ушла, Надежда Ивановна заказала по телефону завтрак: чашку черного кофе без сахара, сухарь и яблоко. Она больше не полнела, как в ранней молодости, но смертельно полноты боялась. Шутливо говорила, что соблюдает голливудский режим до семи вечера. За обедом ела три блюда и позволяла себе в небольшом количестве спиртные напитки, особенно если были нравившиеся ей мужчины: *по-настоящему* можно было разговаривать только за вином. Впрочем, с тех пор как она сошлась с Яценко, другие мужчины для нее больше не существовали. «Для чтения понадобятся напитки», — подумала Надя и, взглянув на часы, вызвала по телефону Пемброка.

Он не выразил особенной радости по тому случаю, что Вальтер Джексон приезжает сегодня утром. «Кажется, я его разбудила», — с досадой подумала Надя. Однако Альфред Исаевич тотчас принял свой обычный благожелательный, шутливый и чуть покровительственный тон.

— Я этого Уолтера Джексона знал, когда он еще был такой, — сказал он и у себя в номере, хотя Надя его видеть не могла, опустил руку с обручальным кольцом на уровень бедра. — Его отец Николай Яценко был при старом строе видным судебным деятелем. Он был отличный человек и мой друг, его потом расстреляли большевики. Впрочем, вы все это знаете. Тогда ваш Уолтер Джексон был гимназист Витя Яценко.

— Вы тоже, Альфред Исаевич, не всегда были мистер Альфред Пемброк и кинематографический магнат. Говорят, вы когда-то писали статьи в газетах, и отличные статьи, под псевдонимом Дон Педро, — лукаво сказала Надя.

— Да, писал, и действительно это были очень недурные статьи. А моя настоящая фамилия Певзнер. Я из бедной, но очень старой и хорошей еврейской семьи... Так Уолтер Джексон написал пьесу?

— Что же тут странного?

— Ничего решительно. Я почему-то думал, что он был у дяди Джо переводчиком.

— Да, он занимался и переводной работой, но не «у дяди Джо», а просто в России.

— Sugar plum¹, с моей стороны никаких возражений нет, не сердитесь. А теперь он служит в Разъединенных Нациях? Что?.. Почему у вас в Ницце телефон работает не так, как в Америке?.. Что вы сказали?

— Да, служит в Разъединенных Нациях, занимает там отличное положение и считается звездой... Альфред Исаевич, вот вы уверяете, что расположены ко мне. Я очень прошу вас отнестись к его пьесе со всем вниманием.

— Торжественно вам это обещаю, honey!²

— Вы знаете, как я его люблю и как это для меня важно.

— Я знаю. Комментарии излишни, — сказал Пемброк. Он часто употреблял это выражение, быть может, механически задержавшееся в его памяти от тех времен, когда он был в Петербурге обозревателем печати. По-русски он говорил так же легко, как когда-то в России, но часто вставлял слова «look», «well», «that's right»³ и только выражение «о'кей» употреблял редко: это было хорошо для «зеленых»; в ту пору, когда Альфред Исаевич переехал в Соединенные Штаты, еще никто «о'кей» не говорил.

— Оказывая услугу ему, вы окажете услугу мне.

— Если б я был лет на тридцать моложе, я из ревности возненавидел бы вашего Уолтера, — галантно сказал Альфред Исаевич.

— Стоит вам захотеть, и успех его пьесы обеспечен.

— Я захочу потому, что вы этого хотите, sugar plum. Но, дорогая, вы сами понимаете, если окажется, что его пьеса дрянь...

— Его пьеса не может оказаться дрянью!

— Я сказал «если» и беру свое слово назад, не злитесь, милая. Я сам уверен, что такой умница, как он, должен был написать хорошую пьесу. Может быть, она будет hit⁴! И слово «дрянь» я понимаю в кинематографическом смысле. Сам Шекспир может быть дрянью в кинематографическом смысле... Ну, хорошо, так давайте устроим чтение сегодня же вечером.

¹ Милочка (англ.).

² Голубушка (англ.).

³ «Посмотрим», «ну», «так» (англ.).

⁴ Гвоздь сезона (англ.).

— Отлично. У него отпуск от этих Наций только на один день. Он завтра уезжает.

— Европа, Бог даст, не погибнет, если ваш Уолтер пробудет с вами, скажем, четыре дня или даже пять... Где же? Хотите у меня? В девять часов вечера или лучше в четверть десятого.

— Отлично. Иок, — сказала Надя, еще помнившая несколько турецких слов. Она подумала, что напитки ей обошлись бы в несколько сот франков. — И вы не бойтесь, Альфред Исаевич, — добавила она, засмеявшись, — он читает быстро. Надеюсь, вы не заснете.

— Ни в каком случае: я страдаю бессонницей, — пошутил он. Надя немного рассердилась. — Значит, приходите с ним вместе в четверть десятого.

— Нет, уж вы, пожалуйста, сами ему позвоните, он без вашего приглашения не придет. — Она назвала гостиницу Джексона.

— Да, я ему позвоню, — послушно сказал Альфред Исаевич, впрочем, не совсем довольный. Он в самом деле очень любил Надю и хорошо относился к Джексону, но нашел, что уж слишком много делается церемоний. Надя тотчас это почувствовала.

— Ну а как вы, дорогой друг? Верно, сейчас уедете на весь день играть в Монте-Карло?

— Именно. Нынче воскресенье, отдых от работ. Надо же и нам, старикам, иметь какие-нибудь удовольствия в жизни. Приезжайте в Hôtel de Paris завтракать? С ним, с ним...

— Ни с ним, ни одна не могу, спасибо. Так я очень на вас...

— Хорошо, хорошо. И не волнуйтесь насчет визы. У вас будет виза, даю вам слово Пемброка!.. Что, беденькая, вы очень скучаете без жениха?

— Я никогда не скучаю, Альфред Исаевич. Когда скучно, можно пойти в кинематограф.

— Buenos¹, — сказал Пемброк. — Buenos Aires. — Люди, ходящие в кинематограф, были ему особенно приятны. — Наше искусство первое в мире, и в нем заложены огромные потен... потенциальные возможности, — сказал Альфред Исаевич, в последние годы иногда запинаящийся в трудных словах.

«Начинается с пьесой как будто недурно, — подумала Надежда Ивановна, повесив трубку, и опять

¹ Хорошо (*исп.*).

посмотрела на часы. Выставка туалетов открывалась в десять. — Очень будет интересно, жаль, что все не по карману», — подумала она с легким, очень легким вздохом: чрезвычайно любила красивые вещи. Однако Надя относительно легко мирилась и с относительным безденежьем, а главное, в душе всегда была уверена, что красивые и дорогие вещи придут. «Лишь бы не поздно... Пока совсем не поздно. Конечно, устроюсь в кинематографе, денег будет много. Буду все тратить: половину на себя, половину на других... А может быть, на других только треть, — с улыбкой внесла она ограничение, — половины никто не отдает, разве какие-нибудь Франциски Ассизские. Другие и сотой доли не отдают. А я буду давать много, очень много, — думала она, одеваясь. Одевалась отлично — по прошлогодней моде. — Только бы скорее получить приглашение, а там я уже пробьюсь. Может быть, сегодня и получу?.. Ах, дай-то Бог! Разве пойти помолиться?..» Надя теперь ходила в церковь, хотя не каждое воскресенье.

При всей своей правдивости она умела себя ценить, и отчасти поэтому ее ценили другие. Но в России ей не везло. Пробовала писать рассказы — принят был только один, первый. Сначала себя утешала тем, что рассказы не подошли под генеральную линию, но знала, что вместе с талантливыми писателями этим часто себя утешают писатели бездарные. «Крупного литературного таланта у меня нет, а «со скромным, но симпатичным дарованием» и соваться нечего», — решила она: с ужасом себе представила, как прочтет эти самые слова в какой-нибудь газете. Не повезло и с браком: вышла замуж за какого-то молодого человека больше от скуки и потому, что надо же выйти замуж, а не подойдем друг другу, так разведемся. Однако это было как раз перед изменением законов о разводе — развестись уже оказалось трудно. На прощание муж устроил ее в кинематограф. «Наружность у тебя на ять, говор чистый, деньги платят хорошие», — говорил он. Этим делом она увлеклась «на всю жизнь».

Надя не без успеха играла второстепенные роли в трех фильмах. В 1940 году ей дали небольшую роль в фильме о кознях западных держав. Часть фильма предполагалось поставить в Константинополе, туда и отправилась труппа. Когда началась война с Германией, автор переделал сценарий: изобразил козни немцев.

Тем не менее уже оказалось невозможным поставить фильм, кредиты на кинематограф были очень сокращены. Труппе было приказано вернуться в Россию, и даже не в Москву, а временно в Саратов. Ехать надо было кружным путем, поездка была опасная, жизнь в Саратове Надю не соблазняла. А главное, в начале войны казалось, что от большевиков все равно следа не останется. Сбережений у нее образовалось немало: по чьему-то конспиративному совету и по инстинкту она купила в Константинополе доллары; они все повышались в цене в других валютах, так что она не только не проживала своих денег, но запас их странным образом увеличивался. Надежда Ивановна за два дня до отъезда труппы притворилась больной, слегла в постель, плакала и клялась недовольному начальству, что вернется, как только хоть немного поправится. Начальство выразило неудовольствие и даже грозило неприятностями, но не очень грозило: оно тоже про себя думало, что от большевиков не останется и следа.

Так Надя осталась за границей. «Ну что же, я никакой политикой не занимаюсь, и я маленький человек. Конечно, они меня преследовать не будут, — бодро говорила она себе. — Все же как странно и случайно складывается жизнь: то служащая полпредства, то эмигрантка-невозвращенка, то плохенькая писательница, то хорошая, но безработная артистка». Впрочем, обладала счастливым свойством: умела не думать о неприятном. Без этого свойства жизнь была бы невозможна.

Не прожила она в Константинополе сбережений и в следующие четыре года: служила в ресторане и позднее говорила Виктору Николаевичу, что в общем там было очень мило: «Город чудный. Ей-богу, остались очень хорошие воспоминания!» Когда война кончилась, она как-то перебралась во Францию, и вышло еще гораздо лучше: в Париже она познакомилась с Яценко. Больше не было и речи о возвращении в Россию. Иногда — очень редко — Надя плакала: «Как же это? Не увижу больше ни Ленинграда, ни Москвы?» Утешалась тем, что в России все скоро пойдет совсем по-иному и что она вернется уже с Виктором.

У них было сразу решено, что они женятся, как только она получит развод. Но адвокат все с озабоченным видом ругал бюрократические порядки, «эту проклятую китайщину». В Париже Надежда Ивановна

ходила на лекции и в разговорах с Виктором Николаевичем своими словами пересказывала то, что читала в хороших газетах. Затем, когда Яценко уехал в Америку по делам Объединенных Наций, она временно переселилась в Ниццу. Хотела там работать, совершенствоваться в английском языке, быть ближе к студиям. На Ривьере жизнь была и дешевле. Во Франции волшебные бело-зеленые бумажки, вопреки своему правилу, начали таять. Надя говорила, что парижская слякоть наводит на нее тоску: «Я люблю либо солнце, либо двадцатиградусный мороз». Собственно, к тоске Надя по природе была не очень способна. Все же с Парижем были связаны тяжелые воспоминания о так и пропавшем без вести Вислиценусе, о погибшем в Мадриде Тамарине, об умершем от апоплексического удара Кангарове. И она все опасалась встретить старых знакомых из советского посольства.

Внизу, в ящичке для писем, был только ее недельный счет. Надя не распечатала конверта, чтобы не расстраиваться. Как давняя жилища, она пользовалась льготными условиями, но гостиница была слишком для нее дорога. Переехать в другую было тоже неудобно: это понизило бы ее ранг. Местные газеты изредка упоминали о ней в светской хронике, это всегда стоило немалых усилий и хлопот.

Часы против стойки швейцара показывали четверть одиннадцатого. Поезд приходил в двенадцать, ей было известно, что, несмотря на все разрушения, на тысячи взорванных мостов, во Франции поезда приходят и отходят гораздо точнее, чем в странах, не пострадавших от войны. Яценко решительно просил ее не встречать его на вокзале, и она догадывалась о причине: не хотел ей показываться небритым с седоватой щетиной на щеках, после ночи, проведенной в вагоне.

Как только она вышла из гостиницы, ею овладела радость, простая беспричинная радость юга. Все было залито солнцем. Между двумя знаменитыми гостиницами находилась иностранная Ницца, белые, желтые, кремовые здания, террасы, столики и кресла под разноцветными зонтами, пальмы, кактусы — то, что так чарует северного человека, особенно в первые дни. На Promenade des Anglais еще почти не чувствовалась печаль кончающегося сезона. Надя останавливалась у витрин. В Париже, на Ривьере она не могла проходить спокойно мимо магазинов: ее волновали бриллианты,

платья, шляпы, меха, даже самые названия домов. «Он идеалист... Идеализм идеализмом, а деньги все-таки нужны и идеалистам... Он меня «активизировал»? Это еще что такое?» — с легкой тревогой думала она. Но Надежда Ивановна всегда была убеждена, что будет счастлива, и потому была счастлива. В это же ярко солнечное утро, в этом чудесном городе ни у кого тревожных мыслей не могло быть. «Конечно, все будет отлично. В каких только передрыгах я не была: и при Кангарове, вечная ему память, и в Москве, и в Константинополе. Ах, как хорошо, что удалось уехать из советского рая!» — подумала она неожиданно. Давно больше не говорила, что в России все лучше, чем во Франции.

Зал был полон. Манекены в дневных и вечерних, городских и курортных платьях, в костюмах и манто поочередно выплывали откуда-то из боковой двери, всходили на эстраду, поднимали, протягивали вперед, опускали руки, медленно поворачивались спиной к публике, снова обращались к ней лицом, все время улыбаясь одинаковой, раз навсегда заученной улыбкой. В этом было что-то похожее на заклинание змей. И в самом деле, дамы, переполнявшие зал гостиницы, были зачарованы. Изредка, когда платью было уж совершенно нестерпимо по красоте, проносился легкий, тотчас замиравший, восторженный гул. «Господи, как прелестно! А то лиловое!» — думала она. Даже наименее дорогие из этих нарядов были по цене совершенно ей недоступны, как, впрочем, и большинству находившихся тут дам: она пришла на выставку, как люди приходят в музей, где тоже ничего купить нельзя. Рассчитывала, однако, кое-что запомнить, использовать, объяснить своей портнихе. Записывать или зарисовывать что бы то ни было здесь строго запрещалось. «Вот этот пояс я ее заставлю сделать. Ему понравится», — радостно думала Надя.

Дама из первого ряда кресел с сильным американским акцентом спросила о цене платья. «Двести двадцать тысяч», — ответил мужской голос с подобострастием, очевидно, относившимся к акценту дамы. Сидевший с ней рядом муж, все время неодобрительно покачивавший головой, пожал плечами. Выражение его лица как будто говорило: «Может быть, эти тряпки и хороши, но двести двадцать тысяч франков — это гораздо дороже, чем у нас, а наш Нью-Йорк теперь

такой же центр дамских мод, как ваш Париж...» И точно это поняла поворачивавшаяся на эстраде хорошенькая француженка: она задержалась взглядом на даме, и к ее механической улыбке прибавилось что-то, приблизительно означавшее: «Если у вас мало долларов, то зачем вы сюда пожаловали?» «Эта кукла тут усмехается за Европу», — подумала Надя. Она страстно хотела попасть в Соединенные Штаты, и вместе с тем не могла подавить в себе раздражение против американцев, которые так богаты и так неохотно пускают к себе европейцев.

II.

Яценко, смеясь, говорил Наде, что хочет остаться верен добрым старым способам сообщения времен своей юности и поэтому аэропланами никогда не пользуется: «Так император Франц Иосиф до конца своих дней не пользовался автомобилями». Она тоже шутливо отвечала, что его стилю, напротив, соответствовало бы все новейшее: аэропланы, белые смокинги, последние нью-йоркские коктейли. Надя догадывалась, что он просто бережет для нее деньги. Это ее трогало. Виктор Николаевич водил ее в дорогие рестораны, присылал конфеты, цветы. «Все для меня, ничего для себя», — думала она, хотя знала, что это несколько преувеличено.

Он путешествовал довольно много, с тех пор как поступил на службу в Объединенные Нации, и тем не менее всегда приезжал на вокзал рано, торопился и раз пять или шесть (так что самому было стыдно) проверял, все ли в порядке: билет, бумажник, ключи. Из экономии не взял места в спальном вагоне, а удовлетворился *couchette*¹ во втором классе. Отделение в вагоне уже было полно. Яценко развернул вечернюю газету, но читать ему не хотелось. В последнее время он убедился в том, что терпеть не может переезжать с места на место. Особенно его утомляли долгие поездки по железной дороге: скучно, утомительно, читать вдвое труднее, чем дома. «А когда-то мальчиком я так это любил...»

С тех пор как он стал писателем, Виктор Никола-

¹ Лежачее место (*фр.*).

евич старался развивать в себе наблюдательность — шуточно называл это игрой в Шерлоки Холмсы. «Этой даме сорок лет, — думал он, поглядывая на свою соседку, — она надеется, что ей дадут тридцать пять, и говорит, что ей тридцать. Милая женщина, верна своему мужу, но немного сожалеет, что всегда была ему верна. Они не проживают своего дохода, и у них кое-что отложено, она тоже колебалась, не купить ли ей место в спальном вагоне, а потом решила, что из-за одной ночи не стоит тратить лишних две тысячи франков... Сейчас она попросит меня или того пожилого чиновника с ленточкой в петлице уступить ей нижнюю кушетку... Не уступить — будет неблагородно, уступить — будет неудобно... Что ж делать, уступлю. Я ее понимаю, нет ничего комичнее, чем дама, карабкающаяся вверх, как матрос на мачту...» Дама не попросила его поменяться с ней местами, а из разговора выяснилось, что господин с ленточкой врач. Это немного раздосадовало Яценко.

Минуты за три до отхода поезда, когда диваны уже были подняты на ночь, в отделение вошла еще дама. Ей принадлежало левое среднее место. «Русская», — тотчас признал Виктор Николаевич. За ней носильщик внес два чемодана. Она отрывисто, громче, чем говорят европейцы, указала ему, куда что положить. Соседи поглядывали на нее с любопытством. Дама была молода и хороша собой. «Что-то в ней есть презрительное... Кажется, каждым движением показывает: смотрите на королеву!» — почему-то с недоброжелательством подумал Яценко. Ему почти доставило удовольствие, что у дамы, когда она по лесенке поднялась на свой диван, пополз нейлон на левой ноге, очень тонкой и красивой. Мужчины проводили ее взглядом. «Зачем она в дорогу нацепила это ожерелье? Впрочем, бриллианты, конечно, поддельные... Если советская, то, верно, жена сановника, а если эмигрантка, то уж не знаю кто. И есть что-то жалкое в ее самоуверенности, и в этих фальшивых бриллиантах, и в порванном чулке...»

Поезд тронулся. Виктор Николаевич долго лениво прислушивался к стуку колес, примеривал к их ритму разные стихи. Неожиданно выпало что-то когда-то слышанное в детстве от няни. «Удивительно, сколько чепухи за день проходит в голове даже у неглупых людей. «Кума, шэн, кума, крест, — Кума, дальше от

комода...» Чего бы я не дал, чтобы опять вернулось это детское время!» Ему хотелось пить. «Как все неудобно и бесхозяйственно устроено». Он подумал, что кондуктор мог бы продавать пассажирам лимонад или пиво, что это не отняло бы у кондуктора много времени, и заработка у него было бы гораздо больше, и государству никакого ущерба. «Что ты, что ты, что ты врешь, — Сам ты чашку разобьешь», — пели колеса.

Как обычно во французских поездах, в десять часов вечера пассажиры, по молчаливому соглашению, потушили лампочку. Дама наверху раздраженно, точно протестуя против нарушения ее прав, снова повернула выключатель, что-то достала из сумки и погасила лампу опять. «Странно, что у нее так безжизненно свисает рука, — думал рассеянно Яценко, поглядывая на даму снизу; отделение все же слабо освещалось горевшей в коридоре лампочкой. — Глаза, кажется, прекрасные. Утром увижу как следует... О чем я думал?... Ни о чем... Вчерашнее заседание комиссии?.. Никто перса не слушал. Старики шепотом говорили о своих простатах и хвастались... Перс произносил высокопарные до неприличия слова, но, верно, восточные люди слышат эти слова иначе, как Данте слышал слова «божественная комедия» не так, как мы... Да, в жизни надо строго отделять главное, основное, от рекреации¹. У меня основное: Надя и литература. Все остальное «рекреация», не больше». По привычке он — почти как билет и бумажник в кармане — проверил, все ли ясно в основном: «С Надей ясно: женимся, как только она получит развод от своего советского мужа. Да мы уж все равно давно женаты, дело не в паспорте, между нами и так уже есть то общее, то всем другим чуждое, что бывает только между мужем и женой. Я на пятнадцать лет старше ее, но мне еще нет пятидесяти, и мы сто раз об этом говорили, она меня любит, я люблю ее. Да, билет и бумажник есть», — иронически думал он. Ему было совестно переходить прямо от «основного» к службе, к практическим делам. «Мой баланс? Некоторая сухость, некоторое равнодушие к людям, большая любовь к мыслям, даже к идеям, неудовлетворенное честолюбие, хотя и не столь уж большое, во всяком случае не «болезненное»: я каждый день вижу людей в десять раз более честолюбивых

¹ От *англ.* recreation — развлечение.

и тщеславных, чем я... Если Объединенные Нации станут совершенно невыносимы, перейду в ЮНЕСКО. Я в России часто менял занятия и общество, менял без всякого огорчения, вот как нельзя чувствовать огорчение при отъезде с постоянного двора, где без интереса и даже с опаской разговаривал с другими случайными постояльцами, — вдруг они темные люди? Литература? — О ней ему не хотелось думать: всякий раз, как вечером он начинал писать или думать о своих писаниях, ночь проходила без сна. — Вдруг в самом деле этот Пемброк приобретет права на «Рыцарей Свободы»? Правда, он не театральный, а кинематографический деятель. Впрочем, я знаю, он иногда занимается в Нью-Йорке и театром. Конечно, Пемброк, как все они, знает толк в своем деле и ничего не понимает в искусстве. Когда-то, до революции, этот Пемброк был в России журналистом, подписывался «Дон Педро», и уж одна эта подпись доказывает, что ему в искусстве нечего делать... А может быть, нечего делать в искусстве и мне? Успех нескольких рассказов ровно ничего не доказывает. А «Рыцари Свободы», я сам еще толком не знаю, что это: хорошая пьеса или пародия на хорошую пьесу. Как Александр Дюма писал и «Антони», и пародию на «Антони». Правда, он, помнится, это делал для увеличения заработка. Нет, разумеется, мои «Рыцари» никакая не пародия, но вторая пьеса будет лучше. Правда, в замысле все гораздо лучше, чем выходит на самом деле. Я в «Рыцарях» кое-чем вдобавок пожертвовал, имея в виду благодарную роль для Нади. Еще есть ли у нее в самом деле талант? Она хочет успеха, славы, денег, страстно хочет, гораздо больше, чем я...»

В душе он не желал Наде большой кинематографической карьеры. Вернее, не был бы очень огорчен, если б ей карьера не удалась. Помимо ревности к тем знаменитым, красивым, молодым людям, с которыми пошла бы ее жизнь в Голливуде, его оскорбляла мысль, что он будет для других людей не драматург Джексон, а муж кинематографической звезды; оскорбляло даже то, что она, в случае успеха, будет зарабатывать гораздо больше денег, чем он. «В сущности, у меня буржуазные, старомодные понятия: надо «основать очаг», а деньги для очага должен давать муж. И действительно, кое-как мы могли бы прожить уже теперь, без ее фильмов и без моих пьес, на то, что я

зарабатываю в Объединенных Нациях... Но мне и самому больше не хочется жить «кое-как», и не только из-за нее не хочется. Я на этой службе в последние два года привык к дорогим гостиницам, к хорошим ресторанам». Далеко в прошлое ушла прежняя петербургская жизнь, особенно времен гражданской войны, с теплушками, примусами и «буржуйками»... Ему мгновенно вспомнился запах поджариваемой на огне воблы, преследовавший его лет двадцать. «На службе я добился всего, чего мог добиться только что натурализованный в Америке иностранец, не имеющий американских дипломов и говорящий по-английски с легким иностранным акцентом... Разумеется, жизнь сложилась ненормально, если вообще бывает нормальная жизнь, да еще в наше время. Из-за них, из-за них», — думал он с ненавистью, разумея большевиков.

Нервы у Виктора Николаевича были взвинчены и от предстоящей встречи с Надей, и, быть может, еще больше, от предстоявшего на следующий день чтения пьесы. Теперь он думал, что первая и особенно вторая картины слишком растянуты, а четвертая неестественна и не похожа на жизнь. «Но в романтической пьесе не все и может быть на жизнь похоже, хотя я старался произвести реформу в этом старом роде искусства». Под заголовком «Рыцари Свободы» в его рукописи были слова: «Романтическая комедия». Ему нравилось это обозначение, в сущности, почти ничего не означавшее. В фактуре пьесы (он теперь часто употреблял такие слова) было в самом деле что-то романтическое и старомодное. Было ему неприятно и то, что он в пьесе «активизировал» живых людей. «Надя вдобавок не так уж похожа на Лину, хотя в Лине есть и Надя...» И потом, в жизни настоящего действия, того, о котором я мечтал в юности, вообще нет, и полковники Бернары теперь нигде невозможны. Уж больше всего действия в России, особенно у советских людей, посылаемых за границу, но какая у них романтика! Там смесь Рокамболя с Молчалиным, солдатчина и дисциплина, как в армии Фридриха II, с той разницей, что при Фридрихах это вдалбливалось в кадетских корпусах и закреплялось в день присяги, а здесь вдалбливается в комсомоле, а закрепляется в день получения партийного билета. Нигде в мире ничего романтического не осталось, всего же меньше в политике. Теперь и заговоры ведут через пытки к признаниям...»

В вагоне что-то все время стучало, верно, плохо пригнанная штора. Расходившийся с этим стуком шум колес не был уютен, больше не вызывал в памяти такта стихов, а беспокоил и даже раздражал его. Он задремал лишь около полуночи. Ему снились люди, о которых он изредка думал в последние дни, но связь между ними, их слова и поступки не имели ничего общего с жизнью, были совершенно невозможны и бессмысленны. Под утро он полупроснулся в тоске. Поезд шел по туннелю очень медленно, за окном низко горело что-то странное, как будто слышались глухие голоса. Он встал и отдернул занавеску. В углублении туннеля горел багровый огонь, толпились черные фигуры. Дама с бриллиантовым ожерельем лежала на спине, рот у нее был полуоткрыт. В дрожащем красноватом свете ему показалось, что перед ним лежит мертвая старуха. По-настоящему он проснулся лишь через полминуты. «Вздор! — прикрикнул он на себя. — Вот оно, проклятое наследие Петербурга, эти все еще не прекратившиеся кошмары!»

Как многих эмигрантов, его иногда по ночам преследовал сон, будто по какой-то ошибке он вернулся в СССР — во второй раз бежать уже невозможно, — «как же это, зачем, зачем я это сделал!» Он просыпался с ужасом, затем с невыразимым облегчением сознавал, что это вздор, что он в свободной стране. «В этом великая радость кошмаров: просыпаешься — все было ерундой! Так после того, как вырвешь зуб, — великое наслаждение: боль прошла, можно сжать челюсть», — тотчас, как писатель, придумал он сравнение. Он снова лег.

Дама с ожерельем зашевелилась наверху. Яценко увидел, что она приподнялась на локте, заглянула вниз, затем откуда-то достала что-то похожее на шприц. Он с тревожным любопытством смотрел на нее из-под полузакрытых век. Больше ничего не было ни видно, ни слышно. «Что-то себе впрыскивает? Морфин? Теперь от всех болезней лечат какими-то впрыскиваниями... А может быть, она ничего не впрыскивает, мне померещилось...»

Он знал, что больше не заснет. Думал теперь о второй своей пьесе. «Беда в том, что я взял чужой быт, чужую среду. Конечно, я теперь американский гражданин, но что же делать, если для человеческой души первая родина имеет неизмеримо больше значения,

чем вторая? Я такой же неестественный американец, как этот забавный чудака Певзнер. Только он в самом деле почти поверил, что он мистер Пемброк, а я знаю, что я не Вальтер и не Джексон. Если моими действующими лицами будут Чарльз Смит из Техаса и Луэлла Паркинсон из Кентукки, то я удавлюсь от фальши, хотя я видел американскую жизнь и люблю американцев, знаю их, как их может знать иностранец. И я не хочу писать о пустяках; в дальнейшем я буду писать только о самом важном: о роке, о том, что сейчас волнует мир и, быть может, его погубит... И я твердо знаю, что буду драматургом. Во мне нет никакого дилетантизма, я знаю, чего хочу, и воли у меня достаточно. Может быть, еще побочную профессию переменить, но это лишь потому, что я беден и надо искать заработка».

Он был доволен своей второй, уже наполовину написанной пьесой. Диалог казался ему хорошим, выдумка была недурна, технически пьеса была сделана лучше, чем «Рыцари Свободы». «И тем не менее в каком-то отношении это шаг не вперед, а назад. Моих «Рыцарей», при всей их условности, спасала значительность сюжета. Здесь, в «Lie Detector»¹, этого нет. Это просто бытовая комедия, для которой я случайно нашел подходящую среду, так что мог обойтись без Луэллы Паркинсон из Кентукки. Надо вполне овладеть сценической техникой, и тогда я перейду к тому, что волнует мир... Но что же делать, если самые плохие и пошлые пьесы — это именно те, где подаются высокие идеи. Они всегда фальшивы, всегда навеяны газетными общими местами, люди в них не живые, а надуманные, и происходит что-то сверхъестественное по нелепости и по фальши, как, например, убийство румынского фашиста благородным антифашистом в «Watch on the Rhine»² Lillian Hellman. По совести, за одну хорошую комедию Кауфмана можно отдать все политические пьесы военного времени, потому что Кауфман хоть без претензий, и чрезвычайно остроумен, и знает людей, и пишущих политических кукол не фабрикует... Впрочем, по совести, я не знаю, какие есть в современном театре *превосходные* пьесы. Хорошие есть, а превосходных нет. «Вишневый сад» Чехова

¹ «Детектор лжи» (англ.).

² «Стража на Рейне». — Пер. с англ. автора.

тоже неизмеримо ниже уровня его рассказов, что бы ни говорили о нем иностранные поклонники».

Второй пьесе было уделено несколько тетрадок с отрывными листками. Такие тетради были удобны потому, что листки можно было бы вырвать впоследствии, когда пьеса будет закончена. Яценко невольно ловил себя на том, что иногда, правда редко, думает и о «грядущем исследователе» своих пока столь немногочисленных произведений. «Да, очень противная вещь — кухня нашей профессии. «Грядущие исследователи» ее раскопали у всех великих писателей, и те были бы, верно, в ужасе. Даже мой любимый Гоголь постоянно менял планы, не знал, что будет дальше. Он, впрочем, и вообще ничего не знал, Пушкин его стыдил, что он совершенно не знает западной литературы. Среди наших классиков Гоголь был единственный малообразованный человек, и от него пошло то, что теперь так пышно расцвело. Но ему, и ему одному, это не мешало быть великим писателем... Мне, конечно, опасность от «грядущих исследователей» не грозит, — с усмешкой думал он. — И разве у людей чистой отвлеченной мысли не то же самое? Бергсон откровенно говорил, что, начиная новую книгу, он никогда не знает, чем кончит и к каким выводам придет...»

Утром он хотел для Нади побриться, но в поезде это у него всегда выходило плохо. «Может быть, она и в самом деле не будет на вокзале». В вагоне-ресторане он за кофе пробежал марсельскую газету. Ничего нового не могло быть: он еще накануне был во дворце Объединенных Наций — там политические новости редко создавались, но узнавались и отражались раньше, чем где бы то ни было. Передовая статья газеты была безотраднa. «Что ж, газеты, верно, будут безотрадны до конца моих дней», — подумал он и увидел за столиком, по другую сторону прохода, наискось против себя, даму в ожерелье. Он только теперь мог разглядеть ее как следует. «В самом деле очень красива. Глаза странные, с чуть расширенными зрачками. Я таких глаз, кажется, никогда не видел. Голубые или серые?.. Вероятно, морфинистка...» Дама смотрела на него, но ему показалось, что она его не видит. «Кажется, смотрит на какую-то точку в моем лице? — спокойно подумал он. — Уж не запачкался ли я в вагоне? Нет, в зеркале все было в порядке... Ну, смотри, смотри, голубушка, кто кого пересмотрит?» Она

перевела взгляд на окно. Еще совсем недавно он при встречах с красивыми женщинами сравнивал их мысленно с Надей. Выходило всегда, что Надя лучше, и из этого он каждый раз радостно заключал, что влюблен... «Надя не «тихая пристань», не может быть «тихой пристанью» актриса. И она очень умна, хотя у нее, как у столь многих людей, ум двух измерений». Он увидел, что дама с ожерельем читает очень левую газету. «Ах, fellow traveller!»¹, — с сожалением подумал он.

Справа показалось залитое солнцем море, оливковые деревья, дома с плоскими крышами. Яценко почти не знал юга, только помнил восторженные рассказы отца. «Все будет хорошо! И войны не будет, и пьесу мою возьмут, не Пемброк, так другой... И нет ничего странного в том, чтобы жениться в сорок восемь лет...»

Метрдотель уже оставил счет на его столе, но ему не хотелось уходить в свой вагон. «Да, *все-таки* я хорошо сделал, что покинул Россию, которую я так люблю, хотя порою зачем-то делаю вид, будто ее ненавижу».

В его отделении кушетки уже были убраны, у всех были утомленные, *дорожные* лица; люди лениво переговаривались, больше всего желая поскорее приехать. Яценко не любил дорожных знакомств, разговоров, вопросов. «Сказать, что я русский эмигрант, — это всегда вызывает сочувственное уныние. Сказать, что я американец, — не повернется язык. Да и сейчас же начнут спрашивать, что думают американцы о положении в Европе и о войне». Он в таких случаях отвечал, что американцев 150 миллионов и что каждый из них думает по-своему.

Соседи, впрочем, его именно за американца и принимали. Чемоданы у него были новые и дорогие, с наклейками «New York»... «De Grasse, cabine 110»... Ему хотелось записать что-то о второй пьесе. Яценко вынул записную книжку и начал было писать. Присутствие других людей теперь было ему чрезвычайно неприятно. Он все на них оглядывался, точно с их стороны было некорректно находиться здесь при его работе. «Да, насколько в этих записях все выходит лучше, чем когда начинаешь писать по-настоящему...

¹ Попутчик, попутчица (*англ.*).

Надя будет просить, чтобы ей дали роль... Да, Надя будет для меня идеальной женой, на заказ лучше не придумаешь. Ее бодрость, ее vitality, ее friendliness¹ — это и есть то, чего мне не хватает и что больше всего мне всегда нравилось в женщинах. И я думаю, что, женись на ней, я не совершаю ни опрометчивого, ни нечестного поступка. Она тоже уже не девочка. Она мне говорила, что ей тридцать, но, конечно, она и от меня, даже от меня, скрыла два или три года. Что ж делать, этого требует ремесло. Скоро начну скрывать годы и я... Я знаю, что я *должен* иметь свой очаг, иметь жену и детей. Я сам себе более всего противен именно такими рассудительными мыслями. По-настоящему я был влюблен только в Мусю Кременецкую, но тогда мне было семнадцать лет. Что ж делать, я теперь себе лгать не могу. В России я слишком часто лгал и, главное, постоянно видел, как бессовестно, без сравнения со мной, лгут другие. Быть может, именно поэтому у меня выработалась почти болезненная потребность в правде. Не знаю, будет ли она мне полезна в литературе, а в жизни, наверно, будет вредна».

Хотя он и просил Надю не встречать его на вокзале, Яценко, выйдя из вагона в Ницце, надел пенсне и осмотрелся. Ее не было. «И отлично», — все же с легким разочарованием подумал он. В конце перрона с празднично-торжественным видом стояла кучка людей. Это официальные лица встречали иностранного министра небольшой страны, приехавшего для отдыха на Ривьеру. «Префект уже вошел в вагон. Кажется, тот ни слова по-французски не понимает. Теперь оба не знают, что сказать... «Моя», «твоя», «La France et la Sardaigne, La Sardaigne et la France»...² Выезжают на радостных улыбках и на крепких рукопожатиях». Из вагона, торжественно-благосклонно улыбаясь, вышла толстая дама с букетом, который ей, очевидно, поднес префект. Официальные лица почтительно помогли ей сойти по ступенькам. За ней показался ее муж, он не улыбался и скорее хмуро пожал руки официальным лицам. «Наполеон и Жозефина. Она действует своим очарованием, а он своей славой», — подумал Яценко, почему-то очень не любивший этого министра.

Яценко вышел из вокзала и ахнул. Солнце пото-

¹ Энергия, дружелюбие (англ.).

² «Франция и Сардиния, Сардиния и Франция» (фр.).

ками заливало все: длинный низенький желтовато-розовый вокзал, улицу, по которой не спеша проходил дребезжащий старенький трамвай, автомобили, казавшиеся ему игрушечными после нью-йоркских, пальмы, деревья, неизвестные ему даже по названию, плоские повозочки с лежавшими на них яркими цветами. В этих повозочках было что-то трогательное, говорившее о скромном человеческом труде, о скромных человеческих радостях, о простой, вековой жизни. Слева виднелись уютные, зеленые горы, впереди были дома, все не похожие один на другой, странный провал посередине, спуск, за ним другие улицы, кофейни, гостиницы, называвшиеся именами городов и каких-то аристократов. «Господи, как хорошо! Правду говорил папа, что человек создан для юга! Смесь Парижа и южной деревни...»

Веселый носильщик в синей блузе, не похожий на сердитых носильщиков в *настоящих* городах, в тележке привез его чемоданы. Подъехал допотопный фэтон, запряженный гнедой лошадкой с разбитыми ногами. Кучер благодушно приподнял мягкую шляпу, помог носильщику поставить вещи на переднюю скамеечку, покрытую аккуратно сложенным потертым пледом, обменялся с ним шутками на забавном южно-французском языке — Яценко слышал сходный говор на парижской сцене, когда изображали марсельцев, и ему не верилось, что так в самом деле говорят люди. Коляска медленно проехала мимо кофейных, мимо гостиницы с каким-то голубым минаретом. «Noailles». Почему Ноай? Почему Сесиль?.. «Agence de voyages», «Menu à 175 francs»¹... По улицам не шли, а гуляли веселые, живые, очевидно беззаботные люди. «Живи, дыши этим чудесным ароматным воздухом, впитывая это чудесное солнце, бери от жизни ее радости, ни о чем неприятном не думай».

Номер гостиницы был отличный и в переводе на доллары недорогой. Ему также надо было жить *по рангу*: не только для кинематографического магната, но и для Нади. Он себя бранил за мещанские чувства, однако и она не должна была знать, что у него на текущем счету в Нью-Йорке не найдется и тысячи долларов. «Только две национальности, русские и американцы, не любят делать сбережений, а волей

¹ «Агентство путешествий», «Меню на 175 франков» (*фр.*).

Божией я и русский, и «американец». В Нью-Йорке он, впервые с детских лет, стал жить безбедно и смутно, с неприятным чувством, сознавал, что вернуться к прежней жизни бедняка ему было бы очень тяжело.

Теперь в этом благословенном международном городке не была тяжела и мысль, что он принадлежит к двум нациям, между которыми не сегодня завтра может начаться война. В первый год по приезде в Нью-Йорк он с вызовом говорил и другим, и даже себе, что только и желает поскорее стать американцем и «забыть все русское». Это давно прошло. Чувствовал, что возненавидит жизнь и себя в тот день, когда атомная бомба упадет на Петербург, на *его* Петербург, — в мыслях никогда не называл этот город ни Ленинградом, ни даже Петроградом.

Он выкупался, тщательно выбрился, надел из своих костюмов тот, в котором казался моложе и стройнее. Всегда был элегантен и в Нью-Йорке *заказывал* костюмы, никогда не покупал готовых. В Париже перед отъездом в Ниццу купил несколько галстуков в знаменитом магазине на Place Vendôme и сам улыбался, выбирая их. Так же улыбаясь, и теперь выбирал в чемодане галстук, рубашку, носки. «Вторая молодость... Впрочем, первой почти и не было...»

Раздался телефонный звонок, он радостно подошел, чуть не подбежал к аппарату — и услышал мужской голос. Говорил Альфред Пемброк. Этот кинематографический магнат, несмотря на свое благодушие и любезность, часто бывал ему не совсем приятен покровительственным тоном. С ним были связаны далекие воспоминания: Пемброк сказал ему, что был другом его отца. Яценко помнил, что таких *друзей* у его отца не было, но газетная подпись Дон Педро осталась у него в памяти; отец в самом деле об этом журналисте иногда за столом говорил.

— ...Поздравляю с приездом, очень рад, что и вы тут, весь Нью-Йорк сейчас во Франции, — говорил Пемброк. Они всегда разговаривали по-русски: так было легче даже Альфреду Исаевичу, хотя он прожил в Америке тридцать лет. — Но что я слышу! Вы написали пьесу, и, говорят, очень хорошую пьесу! Я говорил еще вашему покойному отцу, какой вы способный юноша. Вам тогда было, верно, лет шестнадцать... Ах, хорошее было время!.. Вот что, мы условились с мисс Надей, что вы ее сегодня нам прочтете. Я

рад буду послушать, и, если я что-либо могу для вас сделать, вы можете на меня рассчитывать и как Уолтер Джексон, и как сын вашего отца, которого я очень любил и почитал... Мы встречаемся сегодня, в четверть десятого, у меня, — он назвал самую роскошную гостиницу Ниццы.

— Я буду очень рад, — ответил Яценко, не совсем довольный. Почему-то ему казалось, что он сначала прочтет Наде пьесу наедине. «Впрочем, в самом деле не имеет смысла и нет времени устраивать два чтения».

— Отлично. Пригласил бы вас на завтрак, но уже поздно: я ведь говорю из Монте-Карло.

— Играете?

— Есть грех. Надо же и нам, старикам, иметь какие-нибудь удовольствия. Значит, до вечера. «Пока», как говорят у дяди Джо.

III.

Пемброк опять выиграл в этот день в казино около пятнадцати тысяч франков. Эта сумма не имела для него никакого значения. Тем не менее выигрыш привел его в прекрасное настроение духа. Ему было забавно, что он выигрывает там, где другие почти всегда теряют деньги.

В последние тридцать лет ему удавалось все. Он нажил на кинематографических делах большое состояние, имел прекрасный дом в Голливуде, знал множество знаменитых людей. В его гостиной висело несколько картин Модильяни, на которые он сам в первое время поглядывал испуганно; в кабинете же были пейзаж Левитана и статуэтка Антокольского. Эту статуэтку он с гордостью показывал американцам, говорил, что Антокольский был величайшим скульптором XIX столетия, и обижался, что они никогда о нем не слышали. Было у него и благоустроенное имение в Калифорнии. «Вечная еврейская тяга к земле, — говорил он, — это настоящий атавизм. Мои предки, наверное, две тысячи лет никакой земли не имели. Тем не менее, а может быть, именно поэтому нигде я не чувствую себя так хорошо, как в моем «Sylvia's House», с садом, с лошадьё, с собаками, с курами».

Он постоянно, при любом поводе или без всякого повода, говорил о своем еврейском происхождении и о

еврейском вопросе. Это было известно в Голливуде, и его американские приятели, не бывшие антисемитами и очень хорошо к нему относившиеся, нередко от его разговоров убегали или слушали его без ответной улыбки. Сам он всегда улыбался благожелательной, почти королевской улыбкой преуспевшего в жизни человека. Пемброк имел репутацию джентльмена и в делах, и в частной жизни, никогда никому не отказывал в услугах, редко отказывал в деньгах. Немало давал на благотворительные дела, на помощь еврейским беженцам, отправлял множество продовольственных посылок чуть ли не во все страны Европы; у него везде были родные — коренные американцы только сочувственно удивлялись: как можно иметь столько родных, да еще в никому не известных странах?! Он хорошо относился и к русским православным. В свое время в России, особенно в молодости, Альфред Исаевич жил очень туго. Однако теперь ему казалось, будто после того, как он стал журналистом Дон Педро, весь Петербург состоял из его друзей. Он оказывал помощь и разным бывшим сановникам, если не считал их антисемитами, а их детям или внукам охотно предоставлял роли статистов в своих фильмах; очень любил ставить «Пышный бал в императорском дворце» (фильм исторический) или «Большой прием у герцога Карлсбадского» (фильм шпионский). В прежние времена некоторые вольнодумцы сомневались, действительно ли Альфред Исаевич такой необыкновенный знаток кинематографического искусства. Но все его предприятия сопровождалось успехом: *новаторских* дел он не любил, зато чрезвычайно ценил gag'и¹ и даже сам их иногда придумывал, чем особенно гордился; не раз находил новых артистов и артисток, которые затем становились знаменитостями. Все, что нравилось Пемброку, еще больше нравилось публике. Кроме того, он стал знатоком и просто по выслуге лет, как, например, многие государственные деятели понемногу становятся великими людьми лишь потому, что в течение десятилетий занимают министерские должности.

По наружности он походил на сбритшего бороду патриарха; выражение лица было тоже патриархальное, без той полускрытой робости, какая бывает у не

¹ Кинематографические эффекты. — Пер. с англ. автора.

влюбленных в себя стариков. С годами у Пемброка появилось небольшое брюшко, он ходил теперь медленно, немного переваливаясь. Врагов у него почти не было, и сам он почти всем желал добра. Были, конечно, соперники, но если на долю кого-либо из них выпадал особенный успех, то Альфред Исаевич почти не испытывал огорчения: отчасти утешался тем, что других конкурентов этот успех раздражит гораздо больше, чем его. Он постоянно говорил, что считает себя счастливым человеком: «Живу как мне хочется, семью устроил, могу и другим помогать, и на Палестину давал, и Америки, которой я всем обязан, тоже, говорят, не посрамил».

При чтении Библии его особенно радовала именно жизнь патриархов, с ее семейными добродетелями, с ее немалыми, но преодоленными в конце концов испытаниями. Альфред Исаевич сам преодолел немало испытаний и с удовлетворением оглядывался на свою жизнь. Ему было только досадно, что он не поставил ни одного из тех *грандиозных* фильмов, которые представляли собой, по его и по общему в Голливуде мнению, историческое событие, как «Нетерпимость» или «Бен Гур». Да еще нехорошо было, что неизбежно приближались несчастья. Маленьким утешением, правда, было то, что, как он знал, в случае болезни к его и его семьи услугам будут лучшие в мире больницы с платой по двадцать пять долларов в сутки, а — не дай Бог! — в случае операции — хирурги, получающие за нее пять тысяч. Альфред Исаевич старался обо всем этом думать возможно меньше, но раза два в год ездил и посылал жену к самым дорогим врачам просто для *check up*¹. Особенно серьезных болезней у него не было: только, как он говорил, намек на простату. Утешительно было также, что другие старились одновременно с ним. Несмотря на свою доброту, Альфред Исаевич чувствовал некоторое удовлетворение, когда при встречах замечал, что его сверстники сохранились хуже, чем он. Врачи назначили ему обычный режим стариков: поменьше мяса, кофе, крепких напитков, — но назначили без зловещей настойчивости. Давление крови у него было 150:85, и он с гордостью об этом всем сообщал, точно это было его заслугой. «Как у молодого человека! Комментарии излишни! А мое

¹ Общий осмотр пациента. — *Пер. с англ. автора.*

сердце! Мак-Киннон сказал, что он в жизни такого сердца не видел!»

Во Францию он приехал частью для отдыха, частью по делам. С некоторой торжественностью говорил, что хочет подышать европейским воздухом. В действительности он американский воздух предпочитал всем другим; Пемброк обожал Соединенные Штаты и обижался, если европеец находил что-либо в Америке дурным. Тем не менее в Европе он бывал с удовольствием (сносно говорил по-французски). Перед второй войной он съездил в Россию, побывал в Петербурге, в своем родном юго-западном городе. Однако большевистский строй очень ему не нравился, советские фильмы, за исключением трех или четырех, были плохи, самое же тяжелое было то, что не осталось в живых никого из людей, с которыми прошла большая часть его жизни.

Об его отъезде во Францию на «Queen Mary» было кратко упомянуто в американских газетах, а о прибытии более пространно сообщено в европейских. На Ривьере в газете появился даже его портрет с огромной надписью: «Un roi de Hollywood notre hôte à la Côte d'Azur»¹ (в Соединенных Штатах заголовки были такие короткие, что их и понять было нелегко). Альфред Исаевич почти ничего для личной рекламы не делал: уже занимал такое положение, что реклама приходила бесплатно, сама собой. В Ницце он был приглашен на большой официальный обед, пожертвовал двадцать пять тысяч франков на местные благотворительные дела, был на открытии памятника какому-то государственному деятелю, на полном равнодушии к которому совершенно сошлись левые и правые. В десяти лучших гостиницах Ривьеры оказались старые знакомые и появились новые. Был еще завтрак на иностранном крейсере, зашедшем на неделю в Вилльфранш, — опять-таки само собой вышло так, что Пемброк не мог не быть на завтраке у командира крейсера. Там он познакомился с Делаваром. После завтрака на крейсере они несколько раз встречались в казино, в Sporting'e и поочередно приглашали друг друга обедать в Hôtel de Paris, в Réserve de Beaulieu, в La Bonne Auberge.

¹ «Голливудский король — наш гость на Лазурном берегу». — Пер. с фр. автора.

Жизнь в Ницце и в Монте-Карло была очень приятна. Альфред Исаевич посвежел, был бодр, весел, а озабоченный вид принимал лишь в тех случаях, когда опасался, что у него, как у голливудского короля, попросят на благотворительные дела уж очень много денег. Но масштабы во Франции были маленькие, его пожертвованиями все оставались довольны, хвалили его за щедрость и за план Маршалла. Пемброк записался в казино и клубы, играл в рулетку с удовольствием. Играл без хитростей, ни в какие системы не верил и с благодушно-насмешливой улыбкой поглядывал на тех игроков, которые приносили с собой брошюры местного производства, что-то соображали с карандашом в руках и записывали все выходявшие номера. Его собственная система заключалась в том, чтобы пореже ставить на цифру, где был только один шанс на выигрыш из тридцати шести, и чтобы никогда не приносить с собой в игорный дом больше пятидесяти тысяч франков. Обычно он выигрывал и с приятным сознанием, что ему всегда во всем везет, отправлялся со знакомыми обедать. Если за обедом были дамы, он ухаживал за ними благосклонно и без жара. Пемброк прожил тридцать лет в обществе самых красивых женщин мира, но был всегда верен своей жене Сильвии. Им оставалось четыре года до золотой свадьбы.

Встав из-за стола рулетки, он разменял в кассе выигранные жетоны и рассовал деньги по карманам: тысячные билеты — во внутренний боковой карман, сотенные — в верхний жилетный, мелочь — в нижний жилетный. Часы показывали шесть. Он условился встретиться с Делаваром в гимнастическом зале. Альфред Исаевич собирался сделать дело с этим своим новым знакомым, но был бы не очень огорчен, если б приглашение и не состоялось.

О Делаваре говорили нехорошо. Он швырял деньгами, вел огромную, давно невиданную даже в Монте-Карло игру. Правда, много и жертвовал, но, по мнению недоброжелателей, этим способом замаливал и заглаживал разные грешки. О происхождении его богатства ходили разные слухи: были тут и советские векселя, и поставка оружия обеим сторонам во время гражданской войны в Испании, и большая игра на бирже. Однако точно никто ничего не знал. Альфред Исаевич не придавал значения сплетням: почти все

рассказывают гадости почти обо всех, а такой человек, как Делавар, конечно, должен был иметь особенно много врагов и завистников. С немцами он, по-видимому, никаких дел в пору оккупации не вел; это было для Пемброка самым важным. Не совсем приятно в Делаваре было, что он разбогател лишь совсем недавно: как все богачи, Альфред Исаевич отличал людей, разбогатевших полвека назад, от тех, у кого богатство (как, впрочем, у него самого) было лишь двадцатилетней или, еще хуже, десятилетней давности. До войны этого игрока на Ривьере никто не видел. Говорили также, что Делавар не настоящая его фамилия и что по происхождению он «левантинец»¹. «Ну, что ж, увидим, — думал Альфред Исаевич, — если окажется, что он прохвост, то я поищу других компаньонов».

Вдоль столов неторопливо, как будто и не глядя по сторонам, гулял старик Норфольк, с которым Пемброк тоже недавно познакомился на Ривьере. Это был занятно-болтливый человек — Альфред Исаевич чем больше жил, тем больше убеждался, что *очень* интересных людей на свете почти не существует, а интересных просто есть много, и они часто встречаются там, где их меньше всего ждешь. Этот старик не то служил в казино по наблюдению за игроками, не то был приставлен к казино от монашеского полицейского ведомства. Занимался он и другими делами, был комиссионером по продаже драгоценностей. Альфред Исаевич остановил его и поболтал с ним: они говорили по-английски, оба с бруклинским акцентом. Обменялись сведениями о здоровье, у Норфолька тоже был «намек на простату».

— Что ж, придете к нам и вечером, мистер Пемброк? — спросил Норфольк.

— Нет, сегодня не могу. Я уезжаю в Ниццу.

— Если увидите ту очаровательную русскую артистку, мисс Надю, пожалуйста, кланяйтесь ей от меня.

— Я как раз сегодня ее увижу, — сказал Пемброк. Его удивляло, что этот старик, служащий в игорном доме, умеет держать себя на началах полного равенства со всеми. Он и с ним, и с Делаваром, и с Надей, которую Альфред Исаевич раза два привозил в Монте-

¹ Левант — общее название стран, прилегающих к восточной части Средиземного моря.

Карло, разговаривал, как светский человек со светскими людьми; точно так же он держал себя с игроками, занимавшими в обществе гораздо более высокое положение, чем Пемброк или Делавар. Это нравилось Альфреду Исаевичу. Он и Америку особенно любил за ее бытовую демократизм.

— Мосье Делавар обещал прийти вечером.

— Да, я с ним сейчас встречусь, — сказал Пемброк и подумал, что именно Норфольк мог бы кое-что сообщить ему о Делаваре. — Вы хорошо его знаете? — небрежно спросил он. Старик чуть улыбнулся.

— Я по своей работе обязан знать всех.

— Кажется, Делавар не настоящая его фамилия. Я знаю, что он французский гражданин... Мне говорили, будто он по происхождению «левантинец», но что такое «левантинец»? На Востоке много стран.

— Настоящая его фамилия в самом деле очень левантинская... Если она настоящая... После войны многие герои Résistance¹ оставили за собой те фамилии, под которыми они совершали свои подвиги. Некоторым из них так гораздо удобнее. У него были две клички: Делавар и Гарун аль-Рашид. Обе, конечно, придумал он сам.

— Разве он участвовал в Résistance?

— Все были героями Résistance, — ответил Норфольк невозмутимо. — Кроме нескольких преданных суду злодеев, все жившие во Франции с 1940 по 1944 год признаются героями Résistance.

— Так он хорошо вел себя при немцах?

— Превосходно. И фамилию он выбрал превосходную. Из «Делавар» понемногу можно сделать «де Лавар» или даже «де ла Варр». Есть такие английские графы. Один из них даже дал имя американскому штату... Я не был героем Résistance только потому, что я во время войны был в Англии. Иначе я принял бы фамилию Монморанси. Первый христианский барон был Монморанси.

— В Америке все меняют фамилии, — обиженно сказал Пемброк.

— И отлично делают. Я сделал то же самое. — Старик засмеялся. — Впрочем, я не должен был бы говорить того, что сказал. Но это мое вечное несчастье: я всегда говорю то, чего говорить не должен...

¹ Движение Сопротивления (*фр.*).

Самое удивительное в мосье Делаваре то, что он не барон. Почему он еще не барон?.. Он очень неглупый человек. Страшно любит все левое. Я уверен, что он в философии экзистенциалист и считает первым прозаиком в мире Сартра, а первым поэтом Элюара. Впрочем, беру все назад. Я тем более не должен был бы шутить над ним, что он как раз недавно предложил мне поступить к нему на службу, в его секретариат. Я, впрочем, ничего плохого о нем не знаю.

— У него есть секретариат?

— У всех больших людей есть секретариат. У Ставиского, например, были и секретари, и сыщики, и телохранители... Я, конечно, не сравниваю мосье Делавара со Стависким, — сказал Норфольк, видимо, спохватившись.

— Я надеюсь, — сухо ответил Пемброк. Он в принципе находил, что порядочный человек обязан *обрывать* людей, дурно говорящих о его приятелях, но знал, что жизнь потеряла бы значительную долю прелести, если б все строго следовали этому принципу. «Впрочем, Делавар не мой друг, и ничего худого этот болтун не сказал». — Я каждого человека считаю честным, пока не доказано обратное...

— Да он и есть честный. Это они строго различают: подделать бумагу, выдать чек без покрытия, таких вещей они никогда не делают, в малом они всегда честны... Они живут в пределах уголовного кодекса. Зато в этих пределах недурно устраиваются.

— Что ж, вы приняли его предложение?

— Кажется, приму. Он предлагает очень хорошее жалованье.

— Тогда, действительно, не следовало бы над ним иронизировать, — сказал Пемброк и холодно протерся с Норфольком.

IV.

В большой гимнастической зале были стойки с гирями, бары, тир, чучела с кружочками, щиты, скользившие по шнуркам бутылки. По правую сторону от входа два молодых человека без пиджаков и жилетов стояли друг против друга с рапирами в руках. Распорядитель зала оглянулся на Альфреда Исаевича и, поклонившись ему, сказал молодым людям: «En

garde!»¹ Молодые люди, подняв и отставив назад согнутую левую руку, выставив немного вперед правую ногу с согнутым коленом, не сводя друг с друга глаз, скрестили рапиры. «Ligne du dedans!..», «Les deux pieds formant equerre!..», «Pointe plus haut!..», «Seconde!..», «Tierce!..», «Parade simple!..», «Rompez!..»² — кратко бросал мастер. «Учатся господа виконты! Еще надеются сражаться на дуэлях, это после всего того, что произошло в мире, дурачье этакое», — подумал Пемброк. Он терпеть не мог все связанное с оружием. Если было на свете что-либо совершенно ненужное честному человеку, то это были, по его мнению, фехтование и бокс. В Америке Альфред Исаевич никогда не бывал на матчах знаменитых боксеров и даже не читал о них газетных отчетов, а в своих фильмах допускал матчи и драки (между которыми разницы не понимал) только потому, что они были совершенно необходимы. Ему в свое время доставило удовольствие, что без длинных драк не обходятся и советские пропагандные фильмы вроде «Путевки в жизнь». «Что ж делать? Публика требует этого во всем мире...»

По левую сторону от входа, у барьера, шагах в пятнадцати от бутылки с красным кружком, стоял с карабином в руках Делавар, невысокий, осанистый и красивый блондин лет тридцати пяти. Он обращал на себя внимание странным, не то оливковым, не то коричневым цветом лица. «Гнедой он какой-то, — подумал с некоторым несвойственным ему недоброжелательством Альфред Исаевич. — А глаза совсем как вишни... Он немного похож на Наполеона и немного на крымского проводника-татарина. Вероятно, он очень нравится женщинам... Во всяком случае, он опровергает теорию «голубой крови»: никак не скажешь, что вышел из низов. И одет тоже как герцог...» Враги Делаvara говорили, что в нем с первого взгляда можно признать выскочку, но Пемброк думал, что они так говорят именно ввиду его темного происхождения. «Если б он был принцем Уэльским, то все ему подражали бы. Это нетрудное искусство хорошо одеваться вообще больше зависит от портного, чем от заказчика.

¹ «К бою!» (фр.)

² «На линию начала!..», «Принять фехтовальную стойку!..», «Выпад с высоким конечным положением!..», «Вторая позиция!..», «Третья позиция!..», «Простая защита!..», «Вынужденная остановка!..» (фр.)

Мои голубчики одеваются лучше всяких принцев, а они бывшие дровосеки, рассыльные и кто только еще», — подумал Альфред Исаевич, вспомнив знаменитых кинематографических актеров. Он остановился, чтобы не мешать выстрелу. Делавар недовольно оглянулся на вошедшего, чуть улыбнулся ему и прицелился. «Ну, валяй, пиф-паф!» — сказал мысленно Пемброк. Раздался выстрел, пуля попала в щит, но бутылка осталась цела. «Ваше ружье бьет на пять сантиметров влево!» — сердито сказал Делавар мальчику, который поспешно подал ему другой карабин. Он снова, нахмурившись, прищурил левый глаз, выстрелил и на этот раз попал: что-то треснуло, опрокинулось, прокатилось по шнурку. Делавар отдал карабин, видимо, очень довольный, отошел к Пемброку и крепко пожал ему руку.

— Поздравляю, это очень полезное занятие, — саркастически сказал по-английски Альфред Исаевич.

— Как для кого и для чего, — весело ответил Делавар. — Для солдат, например, очень полезное. Под Маджентой австрийцы выпустили восемь миллион пуль, а убили только десять тысяч французов.

— «Только!» Какая жалость!

— Это составляет восемьсот пуль, чтобы убить одного врага, совершенно непроизводительная трата металла. Бросьте ваш еврейский пацифизм! Если воюешь, то надо побеждать врага.

— Я знаю, вы «победитель жизни». Хорошо, где же тут можно было бы поговорить?

— Пойдемте в бар. Обедать еще рано.

В баре было несколько человек. Делавар презрительно-благодарно их обвел взглядом, точно все здесь были одинаковые, хорошо ему известные, никому не нужные, но сносные люди. Он вынул папиросу из золотого портсигара, бармен и еще каких-то два человека немедленно к нему подскочили со спичками и зажигалками. Он поблагодарил их, чуть наклонив голову — видимо, ничего другого и не ждал, — и заказал портвейн. «Мой», — сказал он. Пемброк спросил рюмку коньяку. Он по-прежнему, когда пил, имел такой молодцеватый вид, точно брал штурмом крепость.

— Суворов пил английское пиво с сахаром, — сказал Альфред Исаевич. Они сели за столик. Лакей принес бутылки. Делавар пил много, пьянел редко, но

язык у него развязывался, и он говорил то, чего не сказал бы, вероятно, в трезвом виде. Он имел некоторый дар слова, но никогда в его словах не было ничего нового или интересного, хотя вид у него был обычно такой, точно он небрежно предоставлял всем желающим черпать из сокровищницы его мыслей. Английским языком владел прекрасно и говорил так, как в лондонских мюзик-холлах изображают людей, говорящих с оксфордским акцентом; не произносил буквы «г» в конце слов и вставлял редкие словечки, будто бы употребляемые аристократами.

— Вы, кажется, не любите вина, Пемброк? — спросил он после второго бокала. — Отчего бы это?

— Я старый еврей и такой прозаик, что придаю значение здоровью. Кажется, кто-то писал, что до сорока лет человек живет на проценты со своего организма, а потом на капитал. Вы, конечно, и процентов не проживаете, — сказал Пемброк. — Кроме того, я не очень люблю вкус спиртных напитков.

— Каждая удача от вина становится втрое приятнее, а каждая неудача без него втрое тяжелее.

— А вы мне как-то говорили, что у вас неудач не бывает, — съязвил Альфред Исаевич.

— Очень, очень редко... Что ж, пообедаем вместе?

— Не могу. У меня вечером чтение пьесы. Один писатель предлагает мне приобрести...

— Какая скука! Я не переносу чтения вслух, когда оно продолжается более двадцати минут. Если б еще молодая писательница и хорошенькая!

— Будет и хорошенькая женщина, — сказал Альфред Исаевич и назвал Надю. — Даже мало сказать хорошенькая — почти красавица. Если б я был лет на тридцать моложе, я влюбился бы в нее без памяти. Но она именно невеста этого писателя. Это некий Джексон, американец русского происхождения.

— Кажется, я его встречал в Париже. Он служит в Объединенных Нациях? Мне говорили, что он очень способный человек... Ну, что ж, вы, кажется, хотели поговорить о делах. Как же вы относитесь к моему плану создания Голливуда на Ривьере? — спросил Делавар равнодушным и даже несколько пренебрежительным тоном. — Вы о нем подумали?

— Да, я думал. Мне об этом плане говорили и другие. О нем говорят уже давно и много...

— Обо всех больших делах много говорят, — пере-

бил его Делавар. — Об атомной бомбе тоже сначала говорили, говорили, а потом ее создали.

— Нет, об атомной бомбе сначала молчали, молчали, а потом ее создали, — сказал Альфред Исаевич. — Видите ли, для меня ваш план слишком большое дело. Между тем политическое положение в Европе, к сожалению, неустойчиво. Кроме того, я, как американец, не могу создавать постоянного конкурента Голливуду. Да я и не располагаю сейчас такими огромными капиталами, которые понадобились бы для осуществления вашего плана.

— О, за деньгами дело не станет, — небрежно сказал Делавар. — Впрочем, это только один из моих проектов. Я всегда обдумываю десять, осуществляю один или два. Да вот, например, я сейчас имею в виду еще кое-что...

Он сообщил о каких-то проектах, имевших между собой лишь то общее, что для каждого из них требовались миллиарды. Но рассказывал о них Делавар небрежным тоном, показывавшим, что все это его очень мало интересует: зашел разговор — отчего же не поговорить? Выходило даже как будто так, что ничья помощь ему для осуществления этих проектов не нужна — он просто делится из любезности с собеседником своим проектом, но и денег, и связей у него у самого больше чем нужно. Альфред Исаевич слушал с некоторой досадой: смутно понимал, что громадное большинство людей иногда отдается непреодолимой потребности в хвастовстве и что характер человека сказывается в том, как часто и в какой форме он это делает. При всей своей банальной оригинальности Делавар говорил дельно. Некоторые его проекты в самом деле казались ценными и осуществимыми. По-видимому, он знал всех видных людей Европы. Это по крайней мере следовало из той улыбки, с которой он произносил их имена. Ему была известна частная жизнь каждого из них, он знал, какая у кого любовница, кто как нажил деньги; из его слов как будто выходило, что все они люди нечестные, но, собственно, никакой личной ответственности за это нести не могут: отвечает существующий строй. Рассказывал он все это в своем обычном небрежном тоне, так, как будто ни малейших сомнений в его сведениях никак не могло быть. Небрежный тон и улыбка Делавара раздражали Альфреда Исаевича.

— О Европе я судить не могу, — наконец вставил он, — но у нас в Америке и в делах, и у власти неизмеримо больше честных людей, чем нечестных. Думаю, впрочем, что так же дело обстоит и в Европе. А что, если бы мы перешли к менее грандиозным делам? Хотя, может быть, вам вообще больше деньги не нужны. Говорят, у вас есть миллиард франков, — иронически сказал Пемброк. Он и не очень верил в то, что у Делавара есть миллиард франков, да и сумма эта в переводе на доллары звучала гораздо более скромно.

— Почему миллиард? Подсчитать, так, быть может, найдется и больше. Но это мало меня интересует, — так же небрежно сказал Делавар.

— А что вас интересует?

— Все, кроме денег. Будущее мира. Любите ли вы Апокалипсис? Какая великая, глубокая и мудрая книга! Вспомните видение саранчи, подобной коням и с лицом человеческим. Она пройдет по миру, но нанесет вред только тем людям, у которых на челе нет печати Божией.

«Вот тебя она первым и слопаёт!» — подумал Альфред Исаевич. Делавар заговорил о политике и высказал несколько мыслей, которые можно было прочесть в любой коммунистической газете. Но и тут говорил он так, точно эти мысли были плодом его долгих ночных размышлений.

— Знаете, в чем разница между старой буржуазией и новой? — с досадой сказал Пемброк. — Прежний делец был реакционер, ненавидел либеральные правительства, помогал правым группам устраивать перевороты, стоял за обуздание рабочих, за расправу с коммунарками и так далее. Нынешний европейский делец — коммунист. В партию он, конечно, не входит, потому что это все-таки небезопасно, но он всей душой сочувствует коммунистам, хотя почему-то не хочет переселиться в СССР. А своей личной собственностью, конечно, чрезвычайно дорожит. Чем больше эти люди говорят о коммунизме, тем больше проявляют в частной жизни собственнических, а то и просто стяжательских инстинктов.

— Все это пустяк, о каком и говорить не стоит, — пренебрежительно сказал Делавар. — Я считаю, что коммунисты правы почти во всем том, что они говорят о капиталистическом строе. Если они иногда гово-

рят и вздор, то потому, что они его еще недостаточно знают. Смею думать, что я знаю капиталистов лучше, чем Сталин.

— Да и дела можно делать с коммунистами, — сказал язвительно Пемброк.

— И дела можно делать, — подтвердил Делавар нахмурившись. Он был обидчив и подозрителен: предполагал обиды там, где их не было. — Но суть, конечно, не в делах. Они сами по себе совершенно не важны.

— Но еще раз спрашиваю, что же, собственно, важно?

— Важны идеи. Деловых людей принято считать «хищниками» и «циниками». Во мне этого нет и следов.

— Вы идеалист?

— Да, я идеалист в полном смысле слова, хотя вы этому, конечно, не верите. Из идеализма я и сочувствую коммунизму. К кормилу правления и должны прийти люди идеи. Они возьмут его в руки, хотя оно сейчас и раскалено.

— Как вы пышно выражаетесь! — сказал Альфред Исаевич. — Может быть, коммунисты и овладеют властью в Европе, но тогда у меня останется одно утешение: я увижу, как у вас отберут ваше богатство. Посмотрим, что вы тогда запоете!

— Какое значение имеет то, что я тогда запою? Я стараюсь жить в свое удовольствие, и мне очень удобно делать дела в буржуазном мире. Однако это никак не может затемнять моих мыслей. Быть может, мне очень неудобно или неприятно, что дважды два четыре. Но я должен признать: дважды два все-таки четыре.

— Вы хотите сказать, что правда на стороне их идеи? Это я сто раз слышал от наших феллоу-трэвелеров. Их в Голливуде сотни, все люди с хорошими средствами, и никто из них в СССР не едет.

— О каких мелочах вы говорите! — сказал Делавар, морщась, таким тоном, точно ему было скучно говорить с маленьким человеком, как Пемброк, и разъяснять ему простые истины. — В мире действительно сейчас идет только одна борьба, точнее, только одна игра. Кто победит, все же неизвестно. У меня есть на этот счет мнение, однако полной уверенности нет. Громадное большинство людей лишены воображения.

Они просто себе не представляют: как же может быть так, что во всем мире будет коммунизм?! А это может быть очень просто. Сделайте, впрочем, поправку на то, что я немного вас пугаю, как почтенного либерального буржуа. Я не так и страшен, как кажусь.

— Да вы и не кажетесь, — сердито сказал Пемброк. Делавар опять улыбнулся с сознанием своего превосходства. Это чувство он испытывал в отношении всех людей.

— Тем лучше... Вы спросили, что меня в жизни интересует, и я вам ответил. Но если б вы задали мне вопрос, что больше всего доставляет мне наслаждение, то я сказал бы: прежде всего игра...

— Биржевая игра? — спросил Пемброк. «И для чего он так ломается?» — с досадой думал он.

— Нет, карточная. Я именно здесь, в Монте-Карло, почувствовал с особенной ясностью, какой вздор политическая экономия. Экономисты уже сто лет болтают о «ренте», «прибавочной ценности» и т.д. ... А здесь без всяких рент и ценностей люди в одну ночь становятся богачами, да еще и налогов никаких с выигрыша нет. Если вы защищаете капиталистический строй, то рекомендую вам заняться этим явлением. Символ капиталистического строя — игорный дом. Да если хотите, это и символ жизни вообще, — сказал он, видимо, очень довольный своим афоризмом.

— Я сегодня что-то выиграл в рулетку и не знал, что это такое глубокое социальное явление.

— Рулетка глупа. Я хочу сам играть, а не чтобы за меня играл костяной шарик. Настоящая игра только одна: покер. Это торжество человеческой воли, торжество крепких нервов. Это символ жизни, символ большой политической игры. Гитлер проиграл свое дело потому, что он был смелый стрэддлер¹, гениальный блеффер и совершенно слепой игрок: у него в руках был flush, а он принимал его за royal flush².

— Это мне не очень понятно, так как я в покер не играю.

— И вы не находите поэзии в игре, бедный человек?

— Нахожу, но очень дешевою.

¹ От англ. straddle — вести двойственную политику (в покере — удваивать ставку).

² Флеш, ройял флеш — комбинации в игре в покер. Ройял флеш — самая ценная из комбинаций.

— Быть может, вы видите некоторые противоречия в моих словах? Что ж делать? Никогда не противоречат себе только очень глупые люди, или монахи, или теоретики политических партий... Впрочем, я не коммунист, я только антикоммунист, это совсем другое дело. Незачем ругать большевиков, когда другие не намного лучше, а многие и хуже... Да, да, мне все удается в жизни, это даже скучно.

— А вы бросьте перстень в море, как этот... Как его? Как Полифем, — сказал Пемброк.

— Но еще больше игры, больше всего на свете я люблю женщин, — сказал Делавар и чуть закрыл глаза. Альфреду Исаевичу хотелось, чтобы на лице его собеседника при этих словах появилось развратное, «плотоядное» выражение. Но, напротив, лицо Делавара теперь выражало покорное рыцарское обожание. Он больше не был ни Наполеон, ни Сесиль Родс, ни Ленин: он теперь был трубадур. — Богатство, игра, слава — чего все это стоит по сравнению с улыбкой любимой женщины!

— Если хотите, я могу вас пригласить в ближайший фильм на роль первого любовника, — сказал Пемброк самым саркастическим своим тоном. — Но, в самом деле, бросим поэзию и перейдем именно к фильмам.

Делавар медленно открыл глаза, точно вернувшись к жизни после прекрасного сновидения.

— Я вас слушаю, — устало, со скукой в голосе сказал он.

Пемброк изложил свой план. Он рассчитывал приобрести во Франции три-четыре интересных сценария, предполагал поставить их в Париже и был уверен, что фильмы, поставленные им, будут немедленно приобретены в Соединенных Штатах. По мере того как он говорил, лицо Делавара снова переменялось. Теперь был внимательно слушающий коммерсант. В его небольших блестящих глазах было что-то нисколько не «хищное», а просто хитрое, осторожное, смышленное. Он задал несколько вопросов, показывавших, что он сразу все схватывал и расценивал верно.

— Вы понимаете, что я и сам мог бы вложить деньги, нужные для такого дела, — сказал Альфред Исаевич. — Но из корректности по отношению к Франции я хотел бы, чтобы в деле участвовал также французский капитал...

— Без этого, быть может, и не удалось бы заручиться поддержкой французских властей, — вставил Делавар.

— Кроме того, я не могу долго оставаться во Франции. Мне нужно будет возвращаться в Нью-Йорк, а я летать не люблю... Не то чтобы мне не позволяло здоровье: профессор Мак-Киннон сказал мне, что он никогда не видел такого сердца, как у меня. Но я просто не люблю летать. Значит, мои отлучки будут довольно долгими, и нужно, чтобы в это время во главе дела оставался серьезный человек. Я и предлагаю вам быть моим компаньоном.

— Что ж, это может быть интересное дело, — ответил Делавар. — Покажите мне сценарии. У вас уже есть *экипа*¹?

— Экипа частью есть, частью будет, — сказал Альфред Исаевич, невольно удивляясь тому, что этот человек, никогда не занимавшийся кинематографическим делом, сразу задает основной вопрос и даже знает технические слова. — Я в Париже говорил с разными людьми. — Он назвал очень известных артистов и режиссеров. — Они все не только готовы, но рады и счастливы работать со мной. Вы сами понимаете, что это такое значит, когда обеспечена покупка фильма в Америку!.. Несколько хуже обстоит дело со сценариями. Кое-что есть, я вам покажу. Все-таки мне действительно до зарезу нужны хорошие сценаристы и для Франции, и особенно для Соединенных Штатов. Голливуду необходимы новые сценаристы и диалогисты! Иначе Голливуд погрязнет в своей рутине. Нам нужны люди, которые внесут свежую струю! Понимаете, свежую струю!

— Если вы найдете хорошие сценарии и если такие артисты у вас законтрактованы, то я готов буду принять участие в деле. Разумеется, на известных началах... Вы решительно не можете сегодня со мной пообедать?

— Сегодня, к сожалению, никак не могу.

— Так давайте встретимся завтра. — Делавар вынул из кармана карманный календарь в мягком кожаном переплете. — Да, завтра у меня обед свободен.

— That's right², — сказал Пемброк.

¹ От фр. *équipe* — творческая группа.

² Ладно. — Пер. с англ. автора.

V.

Гости пришли очень точно, в четверть десятого. Усадив Надю, Пемброк долго обеими руками пожимал руку Яценко. Он в самом деле верил, что отец этого драматурга был его другом.

— ...Вот и вы пожаловали в эти благословенные края. Надеюсь, надолго? Только на один день? Как жаль! Впрочем, и я скоро уезжаю в Париж... Страшно рад вас видеть. Рассказы ваши были чудные, но я не знал, что вы стали драматургом.

— Как писал Третьяковский, «начал себя производить в обществе некоторыми стишками», — ответил Яценко с неуверенной шутливостью.

— Разве ваша пьеса в стихах? — испуганно спросил Пемброк.

— О нет, в прозе.

— Горю желанием ознакомиться с вашей пьесой. Надя мне столько о вас говорила... Я ее называю Надей, это привилегия моего возраста... Да, мне уже стукнуло семьдесят лет, — сказал Альфред Исаевич и, как всегда, с удовольствием выслушал, что на вид ему нельзя дать больше шестидесяти. — Милости прошу, садитесь и будьте как дома... Недурной номер, правда? Я плачу за него в три раза меньше, чем платил в «Уолдорф Астория». Мы сейчас начнем чтение, надо заказать напитки. Надя, что вы будете пить? Только умоляю вас, не «чашку чая без сахара»! Вы еще не в Голливуде, вы не полненькая, кроме того, вы жестоко ошибаетесь, думая, что голливудские звезды в самом деле питаются акридами и диким медом. Это все реклама, я, слава Богу, всех их достаточно знаю. Они по ночам отлично хлопают шампанское, как сивый мерин.

— Едва ли сивый мерин хлопал шампанское, — сказал будто бы весело Яценко. — У нас все валят на сивого мерина. Гоголь сказал: «глуп как сивый мерин», это понятно. А у нас почему-то стали писать «врет как сивый мерин». Вот как пишут: «великий писатель земли русской». Тургенев сказал: «великий писатель русской земли».

— Хорошо, так я ошибся, — сказал с легким неудовольствием Пемброк. — Надя, хотите виски?

— Пожалуй, сегодня я выпью. Право, я волнуясь

гораздо больше, чем Виктор. Ему, в конце концов, не так важно, возьмете ли вы его пьесу или же он отдаст ее другим. Но для меня, вы сами понимаете, сыграть эту роль... Не виски, а лучше портвейна, — говорила Надя довольно бессвязно, хотя заранее долго обдумывала, как надо говорить с Пемброком.

— Вы смóтрите на эту гравюру, — сказал Альфред Исаевич Яценко. — У меня дома я вам покажу не такие вещи. У меня есть работа Антокольского! Он был, по-моему, величайшим скульптором XIX века. Заметьте, никто так глубоко не проникал в душу и еврейского, и русского народов. Вы помните евреев «Инквизиции»? У кого еще вы найдете такие лица!

— Лучше всех в еврейскую душу проник, если я могу судить об этом, Александр Иванов, в котором не было ни одной капли еврейской крови, — сказал Яценко, уже оберегавший свою независимость от человека, который мог купить его пьесу. Ему было стыдно, что и он волнуется. — Правда, когда Иванов писал свою картину, он не выходил из еврейских кварталов и синагог. А вот мне для моей пьесы пришлось проникать во французскую душу, — с усмешкой добавил он, желая поскорее перейти к делу.

— Мы сейчас об этом поговорим. Итак, виски и портвейн?

Когда напитки были по телефону заказаны, Альфред Исаевич пододвинул настольную лампу к креслу Джексона и сам сел, бросив искоса взгляд на рукопись, которую автор вынимал из папки. Вид у него был такой, точно он предвкушал большое наслаждение.

— Подождем, пока он все принесет, чтобы нам не мешали во время чтения, — сказал он. — Вы... Вино-ват, ваше имя-отчество Уолтер Николаевич?

— Виктор Николаевич.

— Я люблю называть людей по имени-отчеству, вспоминаю старину, Петербург. Ах, какой был город! Такого другого не было и не будет... Но прежде всего я хотел вас честно предупредить. Как вы знаете, я кинематографический деятель, а не театральный. Правда, я иногда ставил на Бродвее пьесы, но я это делаю редко. Хотя автор в своем деле не судья, разрешите вас спросить: в вас есть кинематографическая жилка? Это то главное, что меня интересует.

— Не знаю.

— Зато во мне, как вы знаете, есть кинематографи-

ческая жилка, Альфред Исаевич, — с улыбкой сказала Надя тоном старой артистки. — Я честно говорю, я гораздо больше люблю кинематограф, чем театр. В театре я часто сплю даже на хороших пьесах, а в кинематографе никогда не сплю даже на плохих фильмах.

— Я о себе этого не говорю, — сказал Яценко

— Look, — сказал Пемброк. — Конечно, у вас, Виктор Николаевич, есть против кинематографа застарелый предрассудок. Вы кое-что читали о Голливуде, еще больше слышали, при вас метали громы и молнии. Ведь только ленивый не обличал кинематограф. Это так легко и приятно. Заметьте, пишут «сатиры на Голливуд» преимущественно те писатели, которым там не повезло...

— Я не собираюсь писать «сатиру на Голливуд»! — перебил его Яценко. — Это, во-первых, в самом деле очень банально, а во-вторых, это — несправедливо. Уж если кого осуждать, то не кинематографических магнатов, а тех писателей, которые ради денег с ними работают, а потом, как аристократы мысли, над ними очень элегантно насмеваются. Они зарабатывают, так сказать, вдвойне.

— И совершенно не над чем насмеяться, — сказал Пемброк, не совсем довольный замечанием Виктора Николаевича. — Мы тоже не плебеи мысли, как на нас ни клеветают. Я в кинематографе варюсь тридцать лет, и почти все, что о нас говорят в «сатирах на Голливуд», просто клевета, и вдобавок неумная. Или же, по крайней мере, все это страшно преувеличено. Мошенники? Конечно, есть и мошенники, где их нет? Но в общем в Голливуде преобладают честные люди, там редко надувают и почти никогда никого не обкрадывают. Конечно, неприятностей, ссор, сплетен там сколько угодно, однако чем же мы виноваты, что нам приходится иметь дело с... детьми? — Альфред Исаевич хотел сказать «с сумасшедшими», но удержался. — Я имею в виду актеров. Не сердитесь, Надя, вы будете единственным исключением. — Он имел в виду актеров и писателей: считал полусумасшедшими и тех и других. — Сплетен и неприятностей много, а все-таки мы в конце концов отлично ладим.

— Это очень приятно слышать, Альфред Исаевич — сказала Надя, — и я уверена, что вас в кинематографе все очень любят.

— Кажется, любят, хотя за глаза, вероятно, ругают меня старым дураком. Автор приехал на три месяца в Голливуд и думает, что он сразу все понял. А может быть, и мы, занимаясь этим делом не три месяца, а тридцать лет, тоже кое-что понимаем, а? Он думает, что у него хотят вытащить из кармана какую-нибудь идею, а может быть, и носовой платок. А я вам скажу, что вы на слово некоторых кинематографических магнатов можете поверить все, что имеете! Вы много знаете таких людей или организаций, а? Ну, вот у вас, в Разъединенных Нациях, вы сколько поверите на слово большевистского делегата, а?

— Стакан пива.

— И этого много, — сказал, смеясь, Пемброк. — Как бы то ни было, моя обязанность была вас предупредить, что я не специалист по театру. Now¹, какая же у вас пьеса?

— Историческая.

— Ах, историческая? — протянул Пемброк с разочарованием. Надя испуганно на него взглянула. — Не могу скрыть от вас, что исторические пьесы сейчас в Америке не в спросе. Правда, есть исключения.

— Если она вам не понравится, то вы потеряете только полтора часа времени, — сказал Яценко шутливо-беззаботным тоном, точно для него и в самом деле не имело никакого значения, возьмут ли его пьесу или нет. — Должен вам сказать следующее. Театрального и кинематографического мира я действительно не знаю, но издательский мир знаю лучше. И вот один умный старый издатель говорил мне, что он никогда не может наперед сказать, будет ли книга иметь успех или нет. Как вы знаете, ни один издатель не хотел принимать Пруста...

«Так то Пруст!» — мысленно вставил Альфред Исаевич, тотчас убедившийся в том, что и этот автор сумасшедший. Сам он Пруста не читал, но знал, что это очень знаменитый писатель. Яценко понял его мысль.

— Правда, то Пруст, — сказал он. — Однако, как вы знаете, десятки издателей отклонили и «Gone with the Wind», и «All Quiet on the Western Front»² Ремарка.

¹ Теперь (англ.).

² «Унесенные ветром» и «На Западном фронте без перемен» (англ.).

Наперед никто ничего сказать не может. Я знаю, что в современном театре признаются главным образом пьесы с вывертами. Нужно, чтобы действие было где-нибудь в раю или в аду, чтобы оживали и весело болтали мертвецы, или чтобы все начиналось с конца, или чтобы была выведена какая-нибудь несуществующая Иллирия. Все это довольно пошлая мода, очень удобная для увеличения дохода: если действие происходит в аду или в Иллирии, то легче поставить во всех странах. Придумывать разные выверты вообще очень легко. Только они через три-четыре года становятся нестерпимы и ненужны, даже... — Он хотел сказать: «даже Голливуду». — Не нужны никому.

«А ты пишешь для вечности, понимаю», — подумал Альфред Исаевич. Лакей принес на подносе виски и портвейн.

— Ну, вот теперь мы ждем, — весело сказал Пемброк, бросив еще раз взгляд на рукопись. «Кажется, большие поля...»

— Как полагается автору, я должен сделать предисловие, — сказал Яценко, откашлявшись и стараясь справиться с голосом. — Моя пьеса называется «Рыцари Свободы». Подзаголовок: «Романтическая комедия». Я написал в романтическом духе историческую пьесу на современную тему. Боюсь, она все же, особенно при первом чтении, покажется вам немного старомодной. Ведь все романтическое довольно чуждо современному человеку. Я даже рисковал написать что-то вроде пародии. Думаю, что этой опасности я избежал, хотя большая сцена четвертой картины и может заключать в себе легкий, очень легкий элемент пародийности... Пьеса начинается с очень короткого пролога. Знаете ли вы прелестный романс Мартини: «Plaisir d'amour»¹? Когда-то, сто с лишним лет тому назад, его распевала вся Европа, но он еще и теперь не совсем забыт. У меня этот романс проходит через всю пьесу...

— Очень хорошая мысль, — сказал Альфред Исаевич, одобрительно кивнув головой. — В фильме музыкальный номер всегда способствует успеху...

— Я этого не имел в виду, — сухо сказал Яценко.

— Почему в фильме? — вмешалась Надя. — Возьмите наш классический театр, если вы его еще не

¹ «Радости любви» (фр.).

забыли, Альфред Исаевич. У самого Островского, кажется, нет ни одной пьесы без пения.

— Sugar plum, кому вы это говорите! Я забыл русский театр? Помилуйте! Ах, как Островского играли в Малом театре! Одна Садовская чего стоит! Вот вы оба настоящего Малого театра и помнить не можете... Простите, что я вас перебил. Но должен сказать одно: музыкальный номер хорош, если артист или артистка умеет петь. Иначе надо искать заместителей, а это вредит впечатлению.

— Если автор имеет в виду меня, то я надеюсь выйти из этого испытания без позора, — сказала Надя. — Мне уже случалось петь в кинематографе. Вы помните мою «Песню пионерки» на заводе тяжелых снарядов?

— Вы очень мило пели, — тотчас согласился Альфред Исаевич, не помнивший ни песни пионерки, ни завода тяжелых снарядов.

— А романс в самом деле прелестный! Я его помню, — сказала Надя и вполголоса, действительно очень мило, пропела:

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,
Chagrin d'amour dure toute la vie.¹

— У вас это выйдет чудно! — сказал Виктор Николаевич.

Альфред Исаевич тоже похвалил романс и высказал несколько мыслей о музыке. Он посещал концерты, слышал большинство знаменитых музыкантов, но по отсутствию к ним интереса иногда путал: говорил, что слышал Паганини, почему-то смешивая его с Сарасате. Яценко слушал его с легким нетерпением. Знал, что люди, даже музыкальные, даже правдивые, часто лгут, говоря о своих предпочтениях среди знаменитых пианистов или скрипачей. «Только профессионалы и могут сказать, кто лучше играет то, а кто это. Любители же, неизвестно зачем, почти всегда привирают».

— Разрешите вернуться к моей пьесе, — сказал он. — Ее фоном служит одно подлинное политическое событие, давно забытое всеми, кроме историков-специалистов. Действие происходит во Франции в 1821 году, в эпоху Реставрации, когда реакционная полити-

¹ Радости любви длятся только мгновение, а горе от любви длится всю жизнь. — *Пер. с фр. автора.*

ка короля Людовика XVIII и его министров вызвала к ним острую ненависть всего французского народа. Франция покрылась сетью тайных обществ, имевших целью свержение Бурбонов...

— Это немного досадно, — сказал Пемброк. — Значит, если мы по пьесе сделаем фильм, то в Испании он будет запрещен. Правда, Испания небольшой рынок, но Южная Америка, Аргентина... Хотя что может иметь Аргентина против свержения Бурбонов? Да и Испания, пока там еще не взошел на престол Дон Хуан... Что за имя для короля — Дон Хуан! Но простите мое практическое замечание. Ведь, как эвентуальный¹ продюсер, я должен считаться и с житейскими соображениями. Продолжайте, прошу вас.

— Одно из этих обществ называлось «Рыцари Свободы». Отсюда и заглавие моей пьесы.

— Боюсь, что его придется изменить. У нас скажут: «Какие Рыцари Свободы! Ну что, Рыцари Свободы! Зачем Рыцари Свободы!» Впрочем, это деталь.

— В работе тайных обществ принимал ближайшее участие генерал Лафайет, в ту пору уже старик...

— Вот это хорошо! — радостно сказал Пемброк. — В Америке он и теперь страшно популярен, если это тот самый. Конечно, тот самый. У нас в каждом городе есть улица Лафайета, а в Нью-Йорке есть даже сабвэй² «Лафайет»... Еще раз извините, я вам больше мешать не буду.

— Общество «Рыцари Свободы» устроило восстание в провинциальном городке Сомюре, закончившееся неудачей и казнями. Конечно, по сравнению с тем, что видело наше счастливое поколение, реакция и репрессии того времени могут считаться образцом гуманности и терпимости, но ведь тогда люди вообще были гораздо более культурны, чем теперь. Как бы то ни было, этот разговор составляет исторический фон, на котором разыгрывается моя пьеса. Главные действующие лица, за исключением, разумеется, Лафайета, мною вымышлены, хотя характеры их частью навеяны людьми, существовавшими на самом деле. Держится пьеса на женской роли, на роли Лины... Вы догадываетесь, для кого я ее предназначаю, — сказал Яценко твердым тоном. Надя опустила глаза.

¹ От *англ.* *eventual* — возможный.

² От *англ.* *subway* — метро.

— Но как быть с ее акцентом? — озабоченно спросил Пемброк. — В Америке не согласятся на то, чтобы главную роль играла артистка, которая не вполне чисто говорит на нашем языке. Нельзя ли было бы сделать эту Лину иностранкой?

— Через полгода я буду говорить по-английски как американка, — с мольбой в голосе сказала Надя. — Я уже сделала большие успехи. Читайте же, мой друг.

— Последний вопрос: сколько у вас действий?

— Четыре действия и пять картин.

— Я никогда не мог понять, в чем разница между действием и картиной. Для кинематографа это не имеет значения, но если вы хотите поставить вашу пьесу в театре, то в ней должно быть, самое большее, две декорации. У нас декорации стоят бешеных денег. Хорошие драматурги теперь пишут пьесы с одной декорацией.

— Значит, я плохой драматург, у меня их четыре. Впрочем, они, кажется, недорогие.

— Повторяю, я говорил о театре. Для кинематографа это не имеет значения. Если сценарий хорош, то в Голливуде на декорации денег не жалеют... Но прошу вас, читайте.

— Итак, романтическая комедия «Рыцари Свободы». Действующие лица: генерал Лафайет, Бернар, Лиддеваль, Джон... Джон — это единственный американец в пьесе. Я забыл вам сказать, что последняя картина происходит в Соединенных Штатах.

— Вот это хорошо. Надеюсь, у Джона благодарная роль? Для хорошей роли, но только для очень хорошей, я мог бы сегодня получить Кларка Гейбла.

— Вы, однако, все пересказываете на кинематограф, Альфред Исаевич. Я вам предлагаю пьесу, а не сценарий.

— А вдруг вы можете писать и сценарии? Нам теперь так нужны хорошие сценаристы! Они должны внести в Голливуд свежую струю.

— У Джона роль, кажется, хорошая, но не главная. Перечисляю дальше. Первый Разведчик. Второй Разведчик...

— Первый и второй кто?

— Разведчик. Так называлась должность в организации «Рыцари Свободы»... Пюто Лаваль, генерал Жантиль де Сент-Альфонс...

— Нельзя ли назвать этого генерала иначе? Ни один человек в Америке этого не выговорит.

— Нельзя, потому что он так назывался, это эпизодическое лицо, не вымышленное. Он появляется только в одной сцене... Лина, — особенно подчеркнутым тоном сказал Яценко, — графиня де Ластейри. Индеец Мушалатубек. Негр Цезарь...

— Индеец, негр, расовый вопрос, — неодобрительно пробормотал Пемброк.

— Альфред Исаевич, друг мой, — умоляюще обратилась к нему Надя, — вы выскажете ваши суждения после окончания чтения.

— That's right, я умолкаю.

— После окончания чтения или в «антракте». Я после третьей картины сделаю небольшой перерыв, — сказал Яценко. «Это значит, через час», — подумал Пемброк и откинулся на спинку кресла.

— И в антракте мы будем пить за ваше здоровье, — сказал он. — Я и забыл, у меня есть в шкафу настоящий портвейн, лучше этого, хотя и этот очень недурен. Полагалось бы еще поставить перед вами сахарную воду. Хотите? Здесь дают сахар.

— Нет, спасибо. Пролог, называющийся «Сон Лины», продолжится только две минуты... Разрешите читать без всяких актерских приемов, не меняя голоса, не пропуская того, что при издании пьес печатается в скобках или курсивом, как, например, описание обстановки. Добавляю, кстати, что замок Лагранж, в котором происходят две первые картины, существует и по сей день. Я в нем был и здесь обстановку описываю по памяти довольно точно.

— Замок хорош, если он средневековый и с привидениями, — пошутил Альфред Исаевич.

— Этот замок без привидений, но средневековый.

Он еще откашлялся, отпил глоток виски и начал читать.

ПРОЛОГ

СОН ЛИНЫ

Никакой декорации. Только на авансцене кушетка — впереди декорации первой картины (эта декорация остается закрытой или неосвещенной). На кушетке спит Лина. В момент поднятия занавеса слышны звуки музыки (за сценой), пианино негромко играет романс Мартини «Plaisir d'amour»...

Голос за сценой (*он — тоже негромко — выделяется из звуков романса. Голос, передающий сон Лины, сливается с музыкой: то громче звучит голос, то громче звучит романс*). Лиана, ты идешь на страшное дело. Тут полетят головы. Беги от этих Рыцарей Свободы: они погубят тебя и погибнут сами. Что общего у тебя с ними? Они отдадут жизнь ради своих идей. Ради чего отдашь жизнь ты? Обманывая других, себя ты не обманешь. Лиана, ты любишь жизнь, ты любишь любовь, и больше ты ничего не любишь. Жизнь так хороша! Любовь так хороша! Лиана, одумайся! Еще не поздно. Завтра будет поздно!

(Голос замолкает. Звуки романса усиливаются. Музыка длится еще с полминуты. Лиана просыпается и привстает на кушетке. Ее глаза широко раскрыты. Занавес опускается только на мгновение и тотчас поднимается, открывая декорацию первой картины.)

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Гостиная в замке Лагранж (под Парижем), принадлежащем генералу Лафайету. Мебель в стиле Людовика XV. На колонне бюст Лафайета, а по сторонам от него портреты Вашингтона и Франклина. По стенам картины: «Взятие Бастилии», «Объявление американской независимости», «Корабль (в испанском порту), на котором Лафайет выехал в Америку для участия в борьбе за независимость». В углу пианофорте. Это обстановка гостиной в обычное время. Но теперь посредине комнаты, странно выделяясь, стоит круглый стол, покрытый ярко-красным сукном. На нем прикреплены на небольшом штативе два больших перекрещенных кинжала. У стола одно высокое кресло и стулья. Перед креслом на столе небольшой топорик. Везде карандаши и бумага. У стены другой стол, накрытый белоснежной скатертью. Он заставлен бутербродами, пирожными и т. д. Окна открыты.

Госпожа де Ластейри. Луиза.

Г-жа де Ластейри. Бутерброды с ветчиной, с сыром, с печенкой. Кажется достаточно: папа сказал, что на заседании будет только человек десять.

Луиза (*сердито*). Он способен пригласить и сто человек!.. Зачем люди отравляют друг другу жизнь? Сидели бы у себя дома: им приятно и нам приятно.

Г-жа де Ластейри (*не слушая ее*). Тортов два: яблочный и шоколадный... Как ты думаешь, взбитые сливки не могут скиснуть в такую жару?

Луиза. К сожалению, нет. Если б у них расстро-

ились желудки, я была бы очень рада: пусть не ездят без дела! Я сегодня на них работала с семи утра.

Г-жа де Ластейри. Бедная моя! Но ты ведь знаешь, что в такие дни папá велит отпускать всю прислугу. (*Смеется.*) Ведь заседания Рыцарей Свободы — страшная государственная тайна... Двух бутылок портвейна мало. Принеси третью.

Луиза (*решительно*). Ни за что! Довольно с них двух.

Г-жа де Ластейри. Ну, пожалуйста, дай еще бутылку. А то я пойду в погреб сама.

Луиза. Не дам. У нас осталось всего двадцать четыре бутылки этого вина. Жильбер пьет по стакану за завтраком и за обедом. На сколько же нам самим хватит?

Г-жа де Ластейри (*стараясь говорить строго*). Луиза, я тебе сто раз говорила, что ты не должна называть папá Жильбером. Ты была его няней, это отлично, но он больше не ребенок. Ему 65 лет, и он самый знаменитый человек на свете, если не считать Наполеона на Святой Елене. (*Смягчает тон.*) При мне, конечно, ты можешь называть папá как тебе угодно, но при других ты должна говорить: «генерал».

Луиза (*ворчит*). Если б генерал что-нибудь понимал, он не звал бы к себе в гости черт знает кого. В прошлый раз у него был в гостях аптекарь!.. До чего мы дошли! Что сказал бы твой дед, герцог д'Айян?

Г-жа де Ластейри (*смеется*). Да ведь твой дед был крестьянин!

Луиза. Крестьяне в сто раз лучше аптекарей. Моя бабушка была из рода Дюпонов!.. Аптекарям давать портвейн по шесть франков бутылка! Жильбер вас всех поразит! Без него вы были бы втрое богаче!

Г-жа де Ластейри (*с легким вздохом*). Папá самый щедрый человек на свете. Он истратил на войну за независимость Америки сто сорок тысяч долларов своих денег.

Луиза. Что это такое — доллар? Такая монета? Это больше, чем су?

Г-жа де Ластейри. Сто сорок тысяч долларов это семьсот тысяч франков.

Луиза. Семьсот тысяч франков! Господи, он просто сошел с ума!.. А нельзя их получить обратно? Напиши тайком от Жильбера ихнему королю, что Жильбер ошибся, что его надули, что он ничего не понимает!

Может быть, тот постыдится и вернет? Или он жулик?

Г-жа де Ластейри. Нет, он честный человек, но Америка бедная страна. Где им взять такие деньги? (*Смеется.*) Папá задушил бы меня своими руками, если бы я написала хоть одно слово об этом президенту Монро... Теперь все деньги папá уходят на эти разговоры. И если б он еще рисковал только деньгами! Вероятно, королевская полиция давно за ним следит... Он сам мне говорил, что считал бы высшей для себя честью окончить дни на эшафоте.

Луиза (*с яростью*). На эшафоте! Жильбер совсем сошел с ума! Что генералам делать на эшафоте?

Г-жа де Ластейри. В самом деле, что генералам делать на эшафоте?

Луиза. Это хорошо для разбойников или для каких-нибудь пьяниц-аптекарей. Маркиз де Лафайет на эшафоте! Где это видано?

Г-жа де Ластейри. Это видано. Ты, верно, забыла, что моим бабке и прабабке отрубили голову 30 лет тому назад, во время террора.

Луиза (*помолчав*). В самом деле, я забыла. Не сердись, моя девочка: мне за восемьдесят лет... (*С новой злобой.*) Да ведь Жильбер сам и устроил ту проклятую революцию!

Г-жа де Ластейри (*отходит к круглому столу*). Здесь, кажется, все в порядке. Кинжалы есть, топор есть... А где череп? Принеси череп.

Луиза. Ни за что! Это безобразие — ставить на стол человеческие кости!

Г-жа де Ластейри. Впрочем, я путаю. Череп нужен, когда у нас собираются масоны. А сегодня — Рыцари Свободы.

Луиза. Это те, что поднимают три пальца? (*Поднимает три пальца левой руки.*) Вот так?

Г-жа де Ластейри (*смеется*). Да, именно. У них символическая цифра — пять. Они так и узнают друг друга среди чужих: Рыцарь Свободы поднимает три пальца левой руки. Если другой тоже Рыцарь, он поднимает два пальца правой. Вместе выходит пять... Так ты знаешь и их знаки? Это тоже величайшая тайна! (*Смотрит на часы.*) Рыцари приглашены на четыре. К четырем папá проснется. Луиза, милая, хотя мне тебя и жаль, но уж посиди у подъемного моста, веди всех сюда и говори, что папá сейчас выйдет. Но умоляю

тебя, не говори им «Жильбер», говори «генерал» или «маркиз»... Впрочем, нет, «маркиз» не говори.

Г-жа де Ластейри и Луиза уходят. С минуту сцена остается пустой, потом дверь приотворяется, и на пороге, с испуганным лицом, появляется Лина. Она быстро осматривается и, повернувшись к двери, делает знак Бернару, который входит вслед за ней.

Лина. Бернар.

Лина. Никого нет! Ах, как красиво! Это их гостиная?

Бернар. Да. Конечно, я был прав: мы пришли с черного хода!

Лина. Чем же я виновата, если у них черный ход в сто раз лучше нашего парадного!

Бернар. Генерал богат. Это не мешает ему быть прекрасным человеком.

Лина. Нисколько не мешает. Это даже очень помогает. *(Смотрит на круглый стол с восторгом.)* Это стол для заговора, да?

Бернар *(улыбается)*. Для заговорщиков. Кинжалы и топор наша эмблема.

Лина *(с гордостью)*. Наша эмблема! У меня есть эмблема! Я заговорщица! *(Пробует взять кинжал, он не снимается со штатива.)* Нельзя снять! *(Делает штативом такое движение, будто кого-то колет.)* Умри, злодей! *(Берет топорик и мрачно рубит воображаемую голову на плахе.)* Так погибают тираны!.. Подтверди, что я заговорщица! Подтверди тотчас, что я Рыцарша Свободы!

Бернар. Подтверждаю. С прошлой недели.

Лина. С прошлого вторника, это больше недели! Меня назначили шифровальщицей. *(Кладет топорик назад на стол и хохочет.)* А все-таки это смешно, эти топорики и кинжалы!

Бернар. Ничего смешного нет. У тебя, к несчастью, есть в характере и доля скептицизма, этой язвы нашего времени.

Лина. Я соткана из противоречий. Подтверди, что я соткана из противоречий. Я такая сложная натура, что мне сейчас смертельно хочется есть! *(Подходит к столу с едой.)* Как ты думаешь, я могу съесть один бутерброд? Только один, с грюйером¹? Я обожаю грюйер!

¹ От фр. *gruyère* — швейцарский сыр.

Бернар (*испуганно*). Нет, Лина, нельзя без хозяина.

Лина. Конечно, нельзя! (*Оглядывается по сторонам, хватая бутерброд с сыром и съедает его с необыкновенной быстротой.*) Лафайет ничего не заметит! Не мог же он записать, сколько у него приготовлено бутербродов!

Бернар (*смеется, нежно на нее глядя*). Да ведь мы завтракали в двенадцать часов, была баранина, сыр, салат. Неужели ты уже голодна?

Лина. Я могу есть десять раз в день, если дают что-либо вкусное! (*Смотрит на бутылку портвейна.*) Вот вина действительно нельзя пока трогать, это Лафайет сейчас заметит. А мне так хочется выпить!

Бернар (*с некоторой строгостью; чувствует, что это для него дело не шуточное*). Лина, милая, вообще пей возможно меньше, умоляю тебя!

Лина (*с досадой*). Ты сто раз меня уже об этом «умолял»! Можно подумать, что я пьяница! (*Быстро наливает себе рюмку портвейна и пьет еще быстрее.*) Ах, как хорошо!.. Если Лафайет заметит и будет ругаться, я скажу, что это выпил Джон! (*Смотрит на надпись на бутылке.*) Портвейн 1800 года... Кажется, еще что-то было в 1800 году?

Бернар. Да, победа под Маренго.

Лина. Ах да, это там, где ты был ранен. В 1800 году, значит, двадцать один год тому назад. Господи! Меня еще тогда не было на свете! Как это могло быть? Был свет — а меня не было!

Бернар. Ты видишь, как я стар.

Лина. Какой вздор! Ты для меня лучше всех молодых, вместе взятых! (*Быстро его целует.*) Ах, как я тебя люблю!.. Какое хорошее вино! Мы можем в Со-мюре позволять себе портвейн 1800 года?

Бернар. Боюсь, что нет... Разве в день твоего рождения.

Лина (*с легким вздохом*). Не можем так не можем. (*Осматривается.*) Хорошо живут богатые люди! Отчего у нас нет такого замка и никогда не будет? Люди живут только один раз.

Бернар (*мрачно*). Не надо было выходить замуж за полковника, уволенного реакционным правительством и не имеющего никакого состояния. Ты могла бы выйти, например за Джона.

Лина (*хохочет*). За Джона! Но ведь он мальчишка! он моложе меня. И ты ошибаешься: он небогат.

Бернар (*быстро*). Значит, если б он был богат?

Лина. Если б он был богат... И если б он был красив... И если б он был француз... И если б он был лет на десять старше... То я все-таки вышла бы замуж за одного глупого полковника по имени Марсель Бернар.

Бернар. Это уж лучше... Но все-таки ты сказала: если б он был лет на *десять* старше. А я старше тебя на двадцать пять лет. И я не могу тебе купить готический замок.

Лина. Он готический? Я так и думала, что он готический. А эта гостиная в каком стиле? Я знаю, что в стиле Людовика, но какого Людовика?

Бернар. Людовика XV.

Лина. Как ты думаешь, нельзя ли будет после заговора... я хочу сказать — после заседания, попросить Лафайета, чтобы он нам показал все, а? Говорят, у него есть ванная комната! Мне так хочется видеть, как живут богатые люди, настоящие богатые люди!

Бернар. Нельзя. Генерал Лафайет очень занятой человек, а никто другой из его семьи к нам, верно, и не выйдет: ведь наше заседание строго конспиративно.

Лина (*с гордостью*). Оно строго конспиративно, я знаю. Он женат, генерал?

Бернар. Вдовец. Дом ведет его дочь, графиня де Ластейри. Жена его умерла 17 лет назад, и с той поры он неутешен: говорит, что его личная жизнь навсегда кончилась. Я слышал, что в ее комнату в замке с тех пор никто не входит, кроме него, а в годовщину ее смерти он весь день проводит в этой комнате. Правда, это трогательно?

Лина. Глупо, но трогательно! Ты сделаешь то же самое после моей смерти, правда?

Бернар (*нежно*). Милая, это все для богатых людей. Мы, бедняки, не имеем возможности и проявлять чувства дорогими способами.

Лина. Я возьму еще бутерброд! Не отрубят же мне за это голову! (*Хватает второй бутерброд и быстро жует.*) Ах, это не грюйер! Я по ошибке взяла бутерброд с ветчиной. Но это ничего, я очень люблю и ветчину. Я все люблю! (*Смеется.*) Если ты у нас в Сомюре запрешь комнату, в которой я умру, то у тебя останется только коридор, кухня и чулан.

Бернар. Я не должен был жениться, не имея возможности предложить тебе сносные условия жизни.

Лина (*горячо*). Какой ты глупый! Разве я когда-нибудь жаловалась?

Бернар. Это правда, никогда, ни разу.

Лина. И не могла жаловаться. Во-первых, мы и в одной комнате живем очень мило, а во-вторых, ты мне отдаешь все, что у тебя есть.

Бернар. То есть две тысячи франков в год. На это ты сводишь концы с концами, без прислуги, работая целый день...

Лина. Я хорошая. Правда, я хорошая?.. (*Неожиданно.*) Поцелуй меня!.. Нет? Ну, так я тебя поцелую! (*Горячо его обнимает.*) Я страшно тебя люблю!

Бернар. Больше, чем грюйер?

Лина. В тысячу раз больше! А ты меня любишь?

Бернар. Я тебя обожаю! Разве я мог бы жить без тебя?.. Мы точно как молодожены!

Лина. Да мы и есть молодожены. Ты мне сделал предложение полтора года назад. Ах, как я была рада! Я уже была старой девой: мне пошел двадцатый год.

Бернар. Ты, правда, не жалеешь, что вышла за меня замуж?

Лина. Я все счастливее с каждым днем! (*Целует его снова.*) От меня не пахнет чесноком? Я положила в баранину немного чесноку, но после завтрака десять минут полоскала рот. Правда, чудная была баранина? А от тебя немного пахнет. Ничего, только чуть-чуть. Ты ведь здесь ни с кем не будешь целоваться?

Бернар. Надеюсь, ты тоже нет? Разве с генералом Лафайетом. Он когда-то имел большой успех у женщин. Сорок лет тому назад, после его возвращения из Америки, вся Франция носила его на руках.

Лина. Носила на руках, а потом его чуть-чуть не казнили? Ты хорошо его знаешь?

Бернар. Нет. Когда он бежал из Франции в пору революции, я еще был школьником. Он пробыл за границей лет десять, сидел в прусской и в австрийской крепостях. После победы над Австрией Наполеон потребовал его освобождения. Он вернулся и с тех пор не служил. Император предлагал ему должность посла в Соединенных Штатах, где все его боготворят. Но он не хотел служить при диктатуре. Между тем я был офицером наполеоновской армии. По-настоящему я познакомился с ним только теперь, когда бонапартисты и республиканцы хотят объединиться для борьбы с Бурбонами. Лафайет стал душой всех заговоров. Пра-

вда, он больше карбонарий, чем Рыцарь Свободы, но мы теперь работаем вместе. На нынешний заговор он дал пятьдесят тысяч франков.

Лина. Пятьдесят тысяч франков! Господи, чего только нельзя купить на пятьдесят тысяч франков!

Госпожа де Ластейри входит с бутылкой и удивленно останавливается при виде гостей. Бернар и его жена встают. Лина с гордостью поднимает три пальца на левой руке. С тремя пальцами у нее механически поднимается четвертый, указательный. Она его отгибает правой рукой.

Г-жа де Ластейри, Лина, Бернар.

Г-жа де Ластейри (*она ставит вино на стол и, улыбаясь, здоровается с гостями*). Пожалуйста, извините меня. (*Лине.*) Я не принадлежу к вашему обществу. Я дочь генерала Лафайета. Папа ни во что меня не посвящает, я, конечно, на вашем заседании не буду. Но мне казалось, что в гостиной еще никого нет: я не слышала, как подъехала ваша коляска.

Бернар. У нас нет никакой коляски, графиня. Мы пришли пешком.

Г-жа де Ластейри (*изумленно*). Из Парижа?

Бернар. Нет, мы доехали в дилижансе до ближайшей остановки, оттуда только три мили до вашего замка.

Лина. Это была очаровательная прогулка! Мы два раза отдохали на траве! Ах, какой чудный у вас замок! И какая чудная гостиная! Все отделано с таким вкусом! (*Восторженно смотрит на графиню.*)

Г-жа де Ластейри. Я люблю Лагранж. Замок очень, очень стар.

Бернар. Вероятно, он построен в XV столетии маршалом Лафайетом?

Г-жа де Ластейри. Нет, он принадлежал Ноайлям, моим предкам по матери... Садитесь, пожалуйста. Мой отец сейчас выйдет... Я думаю, что до его прихода я могу оставаться здесь? (*Улыбается.*) Я знаю, что у вас секретное заседание, никого не надо спрашивать об имени...

Бернар. Я полковник Бернар.

Лина. А я полковница Бернар. (*Все смеются.*)

Г-жа де Ластейри. Вы живете в Париже?

Лина (*со вздохом*). Нет, мы пока живем в Сомюре. Это дыра! Мне так хочется переехать в Париж!

Бернар. Я был профессором кавалерийской школы в Сомюре, но меня уволили в отставку из-за моих политических взглядов.

Г-жа де Ластейри. Это не первая и не последняя глупость королевского правительства. И вы хотите переехать в Париж?

Бернар (*твердо*). Парижская жизнь слишком дорога для нас.

Г-жа де Ластейри. Да, в Париже все очень дорого. Теперь трудно пообедать хорошо в ресторане меньше чем за полтора-два франка! (*Она невольно бросает взгляд на элегантно платье Лины. Бернар замечает ее взгляд.*)

Бернар (*с гордостью*). Моя жена сама шьет себе платья. Это платье стоило ей десять франков.

Г-жа де Ластейри (*изумленно*). Не может быть! Мне казалось, что оно от...

Бернар (*так же*). Мы живем на две тысячи франков в год и гордимся этим... Об этом, кажется, не принято говорить в обществе, но мы не светские люди. Я солдат, поступил добровольцем в армию семнадцати лет от роду. Наполеон произвел меня в офицеры на поле Аркольского сражения.

Г-жа де Ластейри (*видимо, не зная, что сказать*). Бедный Наполеон!.. По последним сведениям со Святой Елены, его здоровье нехорошо.

Бернар (*тревожно*). Неужели? Я ничего об этом не слышал.

Лина. Я республиканка, но я обожаю Наполеона!

Г-жа де Ластейри (*прислушивается*). Кажется, подъезжают коляски? Да... Значит, я должна скрыться... Буду рада, если вы после заседания останетесь у нас ужинать. Мне было очень приятно познакомиться с вами. На время заседаний отец из предосторожности отпускает из замка всю прислугу, остается только его 80-летняя няня, вполне надежный человек, в сущности, член нашей семьи. (*Лине.*) Пожалуйста, будьте хозяйкой, угощайте гостей и не забывайте себя.

Лина. Я себя не забуду!

Г-жа де Ластейри (*смеется*). И отлично. (*Уходит.*)

Лина. Бернар.

Бернар. Милая, ты слишком льстишь этой графине. Ничего особенного в их гостиной нет, а то, что к готическому замку они приделали фасад в стиле Лю-

довика XV, не свидетельствует о большом вкусе. Ты и глядела на нее так, точно она была небесным явлением! (*Подражает ей.*) «Все отделано с таким вкусом!» Ты знаешь, я не люблю эту твою манеру подкупать людей лестью.

Лина. Я не встречала человека, который не был бы падок на лесть.

Бернар. Ты еще вообще мало встречала людей. Но по отношению к богачам и аристократам надо быть настороже, чтобы они не вздумали смотреть на тебя сверху вниз.

Лина. Они все равно так на тебя смотрят, как бы ты ни держался. Что ж делать, это их преимущество, как у других красота или ум. Ты *всегда* мной недоволен...

Лина. Бернар. Первый Разведчик.

Первый Разведчик (*входит с таинственным видом заговорщика. Останавливается на пороге и с особенной торжественностью поднимает три пальца левой руки. Бернар поднимает два пальца правой. Лина по ошибке поднимает три пальца*).

Лина. Ах, что я сделала! (*Отгибает один палец.*)

Первый Разведчик (*он говорит с сильным марсельским акцентом. Гробовым тоном*). Вера. Надежда.

Бернар. Честь. Добродетель.

Лина (*с гордостью*). Честь. Добродетель.

Первый Разведчик (*опускает пальцы*). Пароль верен, но я считаю совершенно недопустимой ошибку в условном знаке. По обязанности Первого Разведчика Рыцарей Свободы, я обращаю на это ваше внимание. Из-за таких ошибок могут полететь головы!

Лина (*смущенно*). Я в первый раз на заседании.

Первый Разведчик. Это, конечно, смягчающее обстоятельство. У многих других нет и его. Сам Великий Избранник, к несчастью, уделяет слишком мало внимания ритуалу.

Бернар (*Лине*). Великий Избранник — это генерал Лафайет.

Первый Разведчик. Рыцарь, по обязанности Первого Разведчика Ордена Рыцарей Свободы, я обращаю твое внимание на то, что не должно называть по фамилии членов Ордена и всего менее главу заговора.

Бернар. Не могу же я делать вид, будто я не знаю, к кому мы приехали в замок Лагранж! Что за вздор!

Первый Разведчик. Это не вздор, рыцарь, и я считаю твое выражение совершенно недопустимым в отношении лица, занимающего должность Первого Разведчика... Господи, что это! Отворены окна! Они говорят о заговоре при отворенных окнах! (*Поспешно заворачивает окна.*)

Лина. Мы во втором этаже, замок обведен рвами, и нигде нет ни души.

Первый Разведчик (*у круглого стола*). Боже мой, что же это такое! Кинжалы лежат посредине стола! Они должны лежать перед тронем Великого Избранника! Господи, так эти люди устраивают заговор! (*Передвигает кинжалы к креслу Лафайета. Бернар пожимает плечами. Лина незаметно стучит себя пальцем по лбу и вопросительно смотрит на мужа. Тот с улыбкой отрицательно мотает головой.*)

Бернар (*вполголоса Лине*). Нет, он не сумасшедший: он фанатик ритуала. Очень честный и хороший человек.

Входит Джон.

Бернар. Лина. Первый Разведчик. Джон.

Джон (*его лицо светлеет при виде Лины. Он здоровается с ней, восторженно на нее глядя. Бернар здоровается с ним холодно, что, видимо, немного смущает молодого человека. Он говорит с американским акцентом*). Я думал, что приеду первый. Отчего же вы мне не сказали, что поедете в дилижансе! Я привез бы вас в коляске.

Бернар (*сухо*). Зачем же? Мы отлично дошли пешком.

Первый Разведчик (*оглядывается и с негодованием замечает Джона*). Это Бог знает что такое! Это неслыханный скандал! Вы входите на заседание Ордена без условного знака, не произнося пароля! По своей обязанности Первого Разведчика Ордена Рыцарей Свободы, я сегодня же доложу об этом скандале Великому Избраннику!

Джон. Очень прошу извинить меня. Я забыл. (*Поднимает пальцы.*) Вера. Надежда.

Все (*тоже поднимая пальцы*). Честь. Добродетель.

Лина. Рыцарь Джон, хотите портвейна? (*Она говорит, ест, пьет, угощает Джона, все одновременно.*) Я

здесь хозяйка! Меня просила быть хозяйкой в замке Лагранж графиня де Ластейри, дочь маркиза Лафайета! Какие красивые имена! Я очень хотела бы быть маркизой! Или еще лучше герцогиней! (*Смеется.*) Герцогиня Бернар! (*Мужу, весело.*) Ну, ну, не сердись. Я тотчас бы отказалась от титула, потому что я республиканка. Но как-то приятнее отказаться от титула, чем не иметь его. Правда, рыцарь Джон? (*Дразнит его.*) Впрочем, какой вы Рыцарь! Вы еще ребенок. Я другое дело: я совершеннолетняя.

Первый Разведчик. Устав Ордена Рыцарей Свободы в своем параграфе 14 разрешает принимать в Рыцари людей всех национальностей, обоого пола, в возрасте от 18 лет.

Джон. Я был принят с согласия самого генерала Лафайета. Он особенно благожелателен к американцам. И я так ему благодарен! Я счастлив, что принимаю участие в борьбе за освобождение Франции: мы перед ней в неоплатном долгу, благодаря героической помощи, которую нам когда-то оказал генерал Лафайет. Мой дед был в его армии и участвовал в сражении при Йорктауне. Я так рад, что теперь я участвую в его заговоре.

Лина. Он дал на наш заговор пятьдесят тысяч франков!

Джон. Дело не в деньгах. Мне как раз вчера говорили, что барон Лиддеваль обещает дать нам сто тысяч.

Лина. Кто это, барон Лиддеваль?

Джон. Банкир. У меня счет в его банке. Очень умный человек, но он мне не нравится.

Бернар. Лиддеваль прохвост. Он обещает и ничего не даст. Да и нельзя брать у него деньги. Он нажил на спекуляциях миллионы и титул. Был поставщиком армии. Наполеон имел один-единственный недостаток: он считал всех людей негодяями и потому был неразборчив в назначениях. Это его и погубило... Впрочем, он скоро вернется со Святой Елены.

Поодиночке или небольшими группами входят другие Рыцари Свободы. Каждый останавливается у дверей, делает условный знак и произносит пароль. Некоторые произносят его с иностранным акцентом: итальянским, испанским, славянским. Гостиная заполняется. Лина в восторге угощает всех. Она много пьет. Слышен гул голосов: «Какая жара!..», «Нет, я приехал верхом...», «Такого гнусного правительства во Франции еще не бывало...», «Дайте мне

портвейна...», «Вы слышали, император заболел на Святой Елене...», «Не может быть! Кто вам сказал?..»

Ли́на (*Джону*). Джон, мой милый мальчик, как я счастлива! Заговор! Я участвую в заговоре! Я всю жизнь об этом мечтала! (*Пьет еще.*) Мне главное — прожить бурную жизнь! Как красиво называется наш орден: «Рыцари Свободы»!.. (*Оглядывается.*) Жаль только, что рыцари не очень красивы...

Те же. Генерал Лафайет.

Лафайет (*с условным знаком, который у него одного выходит красиво и величественно*). Вера. Надежда.

Все (*стоя*). Честь. Добродетель.

Лафайет. Прошу извинить, что запоздал на несколько минут. (*Ласково обходит гостей и здоровается с ними с королевской благожелательностью. Все и отвешают ему почти как королю. Увидев Лину, он направляется к ней и кланяется ей со старомодной учтивостью, как кланялся полвека тому назад дамам при дворе Людовика XV.*)

Бернар. Генерал, позвольте представить вас моей жене.

Ли́на. Нет, представь меня генералу Лафайету! (*Она делает ему реверанс. Он улыбается.*)

Лафайет. Так это вы наша первая Рыцарша. Я рад и счастлив познакомиться. (*Целует ей руку.*)

Ли́на. Я шифровальщица.

Лафайет. Полковник, я вас благодарю за то, что вы ввели в наш Орден столь очаровательную заговорщицу.

Ли́на. Вы меня простите, генерал: я растерялась, увидев перед собой живого Лафайета!

Лафайет (*он доволен, хотя по его виду ясно, что он слышал это сто раз*). Вы очень милы, дитя мое... Вы позволите старику так вас называть? Не говорить же мне вам «сударыня».

Ли́на. Умоляю вас, называйте меня «Ли́на»!.. А как мне вас называть? Вас называют все «генерал», но у меня такое впечатление, что было бы как-то естественней говорить вам «Ваше Превосходительство». Или даже «Ваше Величество»... Я говорю глупости, правда?

Лафайет (*смеется*). Да, правда. Какая вы красавица!

Лина (*в восторге*). Неужели красавица? Зачем же вы это говорите мне, когда никто не слышит? (*Зовет мужа, который с кем-то разговаривал.*) Марсель, генерал говорит, что я красавица! Ты слышишь?

Бернар (*скрывая восторг*). Генерал очень добр. (*Лафайету.*) Прошу вас, генерал, быть снисходительным к моей жене. Она провинциалка, как и я, и вдобавок в первый раз на заседании нашего Ордена.

Джон, восторженно смотрящий то на Лафайета, то на Лину, нерешительно подходит к ним.

Лина. Генерал, разрешите мне представить вам этого молодого американца. Он недавно был зачислен в наш Орден. (*Лафайет пожимает Джону руку.*)

Лафайет. Очень рад с вами познакомиться. Мне незачем говорить вам, как я люблю американцев. Ваша страна для меня вторая родина.

Джон (*сильно волнуясь*). Генерал, для меня это такая радость, такая честь пожать вам руку!.. (*Путается и смущается.*) Вы не можете себе представить, как вас боготворят в Америке! Если б вы приехали к нам, вас носили бы на руках...

Лафайет. Моя мечта еще раз перед смертью побывать в вашей стране. (*Улыбаясь.*) Я чуть было не сказал: «в нашей стране». Так вы стали членом нашего общества? Я очень этому рад.

Джон (*все так же*). Меня послали родители учиться в Париж. Узнав, что ваше общество ведет борьбу за освобождение Франции и что борьбой руководите вы, я сказал себе, что мой долг принять в ней участие. Надо платить долги! Недаром Джефферсон говорит, что у каждого человека есть две родины: его родина и Франция.

Лафайет. В нашем обществе, как и среди карбонариев, есть немало иностранцев, и я этому рад. Освобождение Франции будет страшным ударом для всех деспотов Европы.

Первый Разведчик (*подходит к ним с часами в руках*). Великий Избранник, заседание назначено на четыре часа, теперь пять минут пятого, и не все еще в сборе. Не приехал Второй Разведчик! Это неслыханно. По 27-му параграфу устава, Рыцари, не имеющие возможности явиться на заседание, должны письменно извещать об этом Первого Разведчика не позднее как за 24 часа до заседания.

Лафайет. Вероятно, он скоро придет. Просто где-нибудь заговорился. (*Улыбаясь.*) Этот достойный Рыцарь очень любит поговорить. Но мы можем начать заседание без него. (*Встает.*) Господа, прошу занять места.

Первый Разведчик (*вполголоса Бернару*). Великий Избранник говорит «господа»! Это неслыханно!

Лафайет подходит к круглому столу и садится в кресло. Все занимают места. Лина и Джон садятся рядом. Оба очень взволнованы и не сводят глаз с генерала. Первый Разведчик, занявший место справа от Лафайета, тотчас берет лист бумаги и карандаш и начинает что-то озабоченно записывать. Слева от Лафайета остается свободным стул Второго Разведчика. Лафайет встает и ударяет три раза по столу обухом топора. Все встают.

Лафайет. Первый Разведчик, который час?

Первый Разведчик (*особенно торжественным тоном*). Великий Избранник, гремит набат. Это сигнал пробуждения всех свободных людей. Настала полночь.

Лафайет. Первый Разведчик, в котором часу начинает свою тайную работу наш Орден?

Первый Разведчик. Великий Избранник, Орден начинает тайную работу в полночь.

Лафайет. Удостоверься же, что все собравшиеся за сим столом суть Рыцари Свободы.

Первый Разведчик, продолжая священнодействовать, обходит всех собравшихся, перед каждым поднимает три пальца и говорит: «Вера. Надежда». Все поднимают два пальца и говорят: «Честь. Добродетель». Первый разведчик возвращается к Лафайету.

Первый Разведчик. Великий Избранник, все собравшиеся за сим столом суть Рыцари Свободы.

Лафайет. Да благословит же Всевышний наш ночной труд над делом освобождения Франции и всего человечества.

Все, кроме него, садятся. Он начинает речь очень простым тоном в форме беседы, затем воодушевляется и говорит со все большим подъемом.

Лафайет. Друзья мои! (*Первый Разведчик пожимает плечами.*) Мы собрались в очень серьезный, тяжелый, ответственный момент. Правительство ведет страну к гибели. Тупой, ограниченный старый король окружен тупыми, ограниченными старыми придвор-

ными. Везде царит произвол. Контрреволюция посягает на все наши права. Франция находится под ярмом заклёйменных ею доктрин, под ярмом держав, которые столько раз были ею побеждены. В свое время мы призвали Европу к свободе. Теперь вся Европа понемногу становится на этот путь. На нем наше место должно быть заранее всем известно. Между тем Франция стоит теперь на распутии: с одной стороны, деспотизм, с другой — свобода, которую мы же первые провозгласили! (*Движение.*) Свободные или освобождающиеся народы смотрят на нас. Мы должны им указать дорогу!

Голоса. Да, да!.. Это верно!

Лафайет. Но пусть не говорят, будто я призываю к войне! Нет, этого я не имею и в мыслях. Наша нынешняя армия слабее той, которая сражалась при Ватерлоо, и ни один генерал в мире не может сравниться с Наполеоном. Мы были бы немедленно раздавлены. Нет, друзья мои, не нужно больше никаких войн, не нужно больше никаких завоеваний. Я добавил бы: «Не нужно больше и революций!» — если б только это было возможно...

Бернар. Но это невозможно.

Лафайет. Да, это сейчас невозможно. Я старый либерал и демократ. Я видел кровавые эксцессы революции. Революция за них не отвечает, как религия не отвечает за Варфоломеевскую ночь. Друзья мои, не с легким сердцем я призываю теперь французский народ к восстанию. Однако выбора у нас больше нет! (*С большой силой.*) Когда права больше не существует, когда свободы больше нет, когда на каждом шагу попирается человеческое достоинство, обязанность всех порядочных людей — взяться за оружие!

Волнение в зале все растет.

Лафайет. Этот гнилой строй уже давно был бы сметен народом, если бы между нами не было разногласия... Мне тяжело о нем говорить. Я его коснусь со всей осторожностью и надеюсь никого не задеть. Я говорю о разногласии между бонапартистами и республиканцами. Здесь, в этой комнате, есть Рыцари, еще надеющиеся на то, что великий узник острова Святой Елены вернется во Францию. Друзья мои, я знал императора и ценю его гений. Но по самой природе своей

он может быть только деспотом. (*Ропот части аудитории.*) Хорошо, я не буду касаться этого вопроса...

Бернар. Перейдем к восстанию!

Лафайет. План восстания разработан во всех подробностях, но о нем говорить пока не время. Оно будет начато не в Париже. Парижский гарнизон тщательно подобран правительством и предан ему. Гарнизоны в провинции — другое дело. Среди них много Рыцарей Свободы, бонапартистов, масонов, карбонариев. Нами созданы два центра. Один в Сомюре, где находится знаменитая кавалерийская школа, другой в Бельфоре, где стоит преданный нам 28-й полк. Если мы преодолеем наши разногласия, если нас не будут больше разделять гений, тень, легенда великого императора, если бонапартисты согласятся работать дружно с республиканцами, то восстание начнется скоро!.. Друзья мои, я не говорю, что нам обеспечен успех. Ни в войнах, ни в восстаниях успех никогда не бывает обеспечен. Не обманывайте себя, дело идет о наших головах. Многие из нас погибнут, кто в бою, кто в тюрьмах, кто на эшафоте. Пусть каждый спросит себя, готов ли он идти на этот страшный риск. Каждый еще может одуматься и отойти. Что до меня, то мой выбор сделан. Мне легче было его сделать, так как я стар. В назначенный час я выеду в Бельфор или в Сомюр. Мне предложен пост главного вождя восстания. За грехи мои принимаю его! (*Овация.*) Мы поднимем войска, мы призовем к восстанию народ, мы двинем армию на Париж! Какова бы ни была наша участь — победа или поражение, торжество или эшафот, — история никогда не забудет Рыцарей Свободы!

Стук в дверь. На пороге появляется Второй Разведчик. У него взволнованный вид. Он держит в руках газету. Поднимает три пальца.

Второй Разведчик. Вера. Надежда.

Лафайет. Честь. Добродетель.

Первый Разведчик. Великий Избранник, прошу тебя напомнить Второму Разведчику 27-й параграф устава, согласно которому...

Второй Разведчик (*перебивая его*). Великий Избранник, прошу слова для внеочередного заявления.

Все удивленно на него смотрят.

Лафайет. Рыцарь, я знаю, что ты не нарушил бы

порядка заседания, если б не имел на то важной причины. Даю тебе слово и прошу быть кратким.

Второй Разведчик (*обиженно*). Ввиду необходимости быть кратким, я просто прочту кое-что из только что вышедшего номера газеты. (*Читает.*) «Его Величество король работал утром с генералом Лористоном и с герцогом Ришелье...» (*Подготавливая эффект, обводит всех взглядом. Общее недоумение. Продолжает читать.*) «Ее Высочество герцогиня Бурбонская днем посетила короля». (*То же самое. Недоумение растет. Читает.*) «В три часа дня Его Величество совершил в коляске прогулку в Марли...»

Голоса за столом. Что это такое?.. Зачем читать нам всякий вздор!

Второй Разведчик. Разрешите мне прочесть еще одно, последнее, четвертое сообщение из той же хроники. Запомните: номер 7 июля 1821 года, шестая страница, мелким шрифтом внизу, на четвертом месте: «Скончался Наполеон Бонапарт».

В комнате мгновенно наступает мертвая тишина.
Все встают.

ЗАНАВЕС

КАРТИНА ВТОРАЯ

Тремя часами позднее.

Та же гостиная, но стола, крытого красным сукном, уже нет, а с другого стола сняты посуда и скатерть. Лафайет полулежит в кресле, вытянув на тумбу ногу. Теперь он больше не «вождь», а больной усталый старик. В руках у него газета. Г-жа де Ластейри вяжет.

Лафайет. Г-жа де Ластейри.

Лафайет (*отрываясь от газеты*). Не могу читать! Везде зло, везде ложь, везде беспорядок! Я думаю, столь ужасного времени никогда в истории не было. И если б для этого были хоть какие-либо настоящие причины! Нет, все человеческая глупость. Несколько благонамеренных людей нашего толка у власти — и все это было бы как рукой снято!

Г-жа де Ластейри. Папá, я не смею с тобой спорить, но благонамеренные люди вашего толка уже были у власти в 1789 году... Как твоя нога?

Лафайет. Я совершенно здоров.

Г-жа де Ластейри. Слава Богу, но, быть может, ты недостаточно молод для заговоров... Папá, ты не можешь себе представить, как я волнуюсь! Во-первых, твое здоровье, во-вторых, этот страшный риск. Каждый раз, когда я слышу во дворе конский топот, я вздрагиваю: что, если это полиция! Я не сплю, я болею!

Лафайет. Ты хочешь шантажировать меня своим здоровьем. На самом деле ты просто желаешь, чтобы я ничего не делал.

Г-жа де Ластейри. Не «ничего», а ничего опасного.

Лафайет. Я всю жизнь подвергался опасности и давно к этому привык. Долг прежде всего... Я догадываюсь, ты относишься иронически к нашим собраниям. Неужели ты думаешь, что я не замечаю смешной стороны этих кинжалов, топоров, черепов? Поверь моему опыту, это необходимо! Человеческая душа требует поэзии, требует обрядов. Церковь, монархия, армия этим завоевали души людей. Теперь люди потеряли веру, монархия отжила свой век, войн, надеюсь, никогда больше не будет — что ж, надо завоевать человеческую душу другой обрядностью. Жаль только, что мы еще не научились выполнять наши новые обряды так же хорошо, как военные выполняют свои. Ты обо всем этом судить не можешь. К сожалению, ты не хочешь войти в наше общество.

Г-жа де Ластейри (*с горечью*). Папа, мое дело готовить вам бутерброды. Я никогда не позволю себе относиться иронически к тому, что ты делаешь. Ты корнелевский герой, а я никто. Ни в какие революционные дела я входить не могу, у меня есть дети.

Лафайет (*искоса на нее смотрит*). Называть человека корнелевским героем — это и есть злая ирония.

Г-жа де Ластейри (*быстро*). Клянусь тебе, что нет!

Лафайет (*как бы невзначай*). Что до детей, то, уж если пришлось к слову, мои дела их не разорят. Конечно, политическая работа всегда мне стоила денег, тогда как многих других она обогатила. Но мои внуки нищими не останутся, и им не придется ни жалеть о том, что они внуки Лафайета, ни стыдиться этого.

Г-жа де Ластейри. Папа, я ни одного слова не говорила о деньгах!

Лафайет. Я это сказал так, просто к слову. (*Улыбается.*) Если наше дело будет выиграно, меня прочтут в президенты республики. Другого кандидата у нас в

самом деле нет. Тогда нам придется жить в королевских дворцах. Боже, какая это будет скука! Я знал всех королей и императоров. Любой лавочник живет приятнее, чем жил Фридрих Великий... Помню, раз за обедом в Потсдаме он мне сказал: «Если во Франции будет революция, то вас повесят первым».

Г-жа де Ластейри (*подавляя зевок: она не раз это слышала*). Он, к счастью, ошибся, но не так уж сильно. Ты спасся только чудом.

Лафайет (*устало*). Господи, кого я только не знал! Подумать, что я разговаривал с Людовиком XVI!.. Почти никого из моих сверстников не осталось в живых... Столько их умерло трагической смертью... Сегодня это известие о кончине Наполеона! Он был лет на пятнадцать моложе меня.

Г-жа де Ластейри. Вы прервали заседание из-за этого известия?

Лафайет. Да... Я сказал слово, посвященное его памяти, поделился личными воспоминаниями о нем. Бывшие офицеры плакали. Конечно, Наполеон был великий человек, но... У него были все худшие человеческие недостатки...

Г-жа де Ластейри. Папа, у него были и некоторые достоинства.

Лафайет. Этот старый деспот не церемонился с людьми, он хорошо играл трагическую роль, он залил мир кровью — и они его обоготворили. Они над гробом Наполеона поклялись защищать свободу! Таковы люди!

Г-жа де Ластейри. Это не мешает тебе быть горячим поклонником народоправства.

Лафайет. За неимением лучшего. От отдельного человека ничего ждать, кроме деспотизма, нельзя. От народа можно ждать многого. Нет, я предпочитаю лаврам Наполеона славу моего покойного друга Вашингтона, хотя он и не был великим полководцем... Я всю мою жизнь был против террора, но не могу не сказать: если б союзники потратили на убийство Наполеона сотую долю тех средств, которые они потратили на войны с Францией, то войн не было бы, и миллионы людей были бы живы... Впрочем, это было бы низкое, недостойное средство борьбы. (*Помолчав.*) Да, что ни говори, эта строчка петитом на шестой странице газеты, на четвертом месте в хронике: «Скончался Наполеон Бонапарт...» Надо очень любить людей, чтобы быть демократом.

Г-жа де Ластейри. Твой полковник Бернар, папа, из-за смерти императора не сказал за ужином ни одного слова, кроме «да» и «нет».

Лафайет. Он стоит за свободу и вместе с тем боготворит Наполеона! Император очень его ценил. Бернар прекрасный офицер.

Г-жа де Ластейри. Может быть, но довольно неотесанный человек. С первых слов ни с того ни с сего сообщил мне, что они живут на две тысячи франков в год.

Лафайет (*с легким раздражением*). Что мне за дело до его манер? Чем дольше я живу, тем снисходительнее отношусь к людям. Полковник Бернар ценный человек, бесконечно преданный делу борьбы с Бурбонами.

Г-жа де Ластейри (*испуганно: она больше всего на свете боится раздражить или взволновать отца*). Я ничего дурного о нем не говорю. Жена обожает его, любо на них смотреть. (*С улыбкой.*) А в нее этот американский мальчик влюблен так откровенно, что даже забавно смотреть. Она, правда, очень мила... Я пригласила их остаться на ночь: они опоздали на дилижанс, а наших кучеров я отпустила. Все-таки, папа, как можно привлекать к вашим делам столь юных людей, особенно женщин?

Лафайет (*благодушно*). Ты против женского равноправия? Это мне напоминает нашу Луизу, которая по аристократизму не уступит королеве Марии Антуанетте.

Г-жа де Ластейри. Я не против женского равноправия, а за здравый смысл. Ей двадцать лет... Кроме того, она слишком много пьет. За обедом она выпила целую бутылку шампанского!

Лафайет (*так же*). Да, да... Мы принимаем всех, кроме людей заведомо нечестных. Конечно, в этом есть риск. Но... Покойный император издевался над теми генералами, которые хотят вести войну без всякого риска. А я скажу то же о заговорах.

Лафайет. Г-жа де Ластейри. Луиза.

Луиза (*входит и, увидев Лафайета в кресле, с яростью поднимает три пальца*). У него подагра и болезнь мочевого пузыря, а он устраивает заговоры!.. Еще кто-то к тебе приехал! (*Подает ему визитную карточку.*)

Г-жа де Ластейри. Луиза!

Лафайет (*читает с иронической интонацией*). Барон Лиддеваль... Этому «барону» чего еще нужно?

Г-жа де Ластейри. Он тоже Рыцарь Свободы?

Лафайет. Нет, он рыцарь индустрии. Это жулик неизвестного происхождения, натурализовавшийся во Франции.

Г-жа де Ластейри. Мне было бы гадко подавать руку жуликам.

Лафайет. Подача руки ровно ничего не означает. Если б ты знала, кому мне только ни приходилось в жизни подавать руку! (*Луизе.*) Попроси его войти, милая.

Луиза (*сердито*). «Жулик, жулик»! Почему он жулик? У него такие лошади, что на них не отказался бы ездить король. Вот те, что раньше были, это жулики! (*Уходит.*)

Г-жа де Ластейри (*встает и собирает вязание*). Папа, только, ради Бога, не засиживайся... Тебе доктора велели рано ложиться. Сегодня у тебя очень усталый вид.

Лафайет (*с досадой*). Хорошо, хорошо, я это уже слышал.

У нее опять лицо становится испуганным. Уходит.

Лафайет. Лиддеваль.

Лафайет (*очень холодно*). Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?

Лиддеваль. Я приехал, генерал, прежде всего для того, чтобы засвидетельствовать вам мое глубокое уважение. Давно собирался это сделать. Вы имеете во мне горячего поклонника.

Лафайет. Покорнейше вас благодарю.

Лиддеваль. Эти чувства разделяет со мной вся страна. Она единодушно скорбит о том, что такой человек, как вы, находится не у дел и даже в опале. У Франции не так много Лафайетов. У нее даже нет никого, кроме вас.

Лафайет (*чуть мягче*). Еще раз благодарю вас, хотя вы очень преувеличиваете.

Лиддеваль. Нисколько. (*Недолгое молчание.*) Но если я позволил себе побеспокоить вас, вдобавок в довольно неурочное время, то по важной причине. До

меня дошли слухи об одном намечающемся деле вполне секретного характера. (*Вопросительно на него смотрит.*)

Лафайет (*сразу насторожившись, еще холоднее, чем вначале*). О каком деле секретного характера?

Лиддеваль. Я, конечно, не имею права на полную откровенность, тем более что вы меня мало знаете...

Лафайет. Я даже совершенно вас не знаю.

Лиддеваль (*нисколько не смущаясь*). Правда, мы с вами только два встречались в обществе... Об этом деле мне говорили другие. Не все так сдержанны, как вы, генерал. Я знаю, что речь идет о возможности серьезных перемен во внутреннем положении нашей страны.

Лафайет (*так же*). Вот как? Быть может, король намерен призвать к власти либералов?

Лиддеваль (*улыбаясь*). Это, конечно, самое лучшее, что он мог бы сделать. Но, к несчастью, об этом нет и речи. Как вы знаете, Бурбоны ничего не забыли и ничему не научились.

Лафайет. Какие же перемены вы имеете в виду?

Лиддеваль (*твердо*). Я говорю о заговоре, имеющем широкие разветвления в армии, в обществе и в лучшей части нашего народа.

Лафайет. О заговоре? В первый раз слышу, барон.

Лиддеваль. Этот заговор ставит себе целью вооруженное восстание.

Лафайет. Неужели? Вы принимаете в нем участие, барон?

Лиддеваль. Нет, но я готов принять в нем участие.

Лафайет. Вот как? Я не знал, что банкиры так недовольны существующим строем... Однако при чем тут я?

Лиддеваль. Генерал, вы, конечно, вправе и не оказывать мне доверия... Я мог бы представить вам рекомендации от людей, хорошо вам известных...

Лафайет. Помилуйте, зачем мне ваши рекомендации? Я ни малейшего отношения ни к каким заговорам не имею и не хочу иметь. Вас ввели в заблуждение. Не могу даже понять, какой дурак направил вас, барон, ко мне для столь странного разговора.

Лиддеваль (*не смущаясь*). Вы, конечно, подозреваете полицейскую провокацию. Позвольте вам на это сказать лишь одно: я очень богат, у меня миллионы, это знает весь Париж. Какими деньгами меня могла

бы подкупить полиция или кто бы то ни было другой? Напротив, я приношу вам свои деньги. Единственная цель моего визита заключается в том, чтобы внести патриотическую лепту в фонд общего дела. Восстания без денег не устраиваются. Не буду скрывать от вас, мне приблизительно известен состав участников дела. Среди них нет богатых людей... Банкир Лаффит — вот ведь еще банкир, недвольный существующим строем, и он ваш друг... Но Лаффит не любит рисковать кошельком и тем более головою. Деньги на заговор даете главным образом вы, и я считаю это несправедливым. Я был бы готов дать на это дело сто тысяч франков.

Лафайет. Это, конечно, очень мило с вашей стороны, и, вероятно, заговорщики, если они существуют, будут вам очень благодарны. Но, повторяю, при чем тут я? Над вами кто-то подшутил. Я ни одного заговорщика в глаза не видал... Это все, что вы хотели мне сказать, барон?

Лиддеваль. Это все... *(Раздраженно.)* Кажется, вам не нравится мой титул? Я получил его от императора Наполеона, который не давал титулов мужьям своих любовниц, как это делали короли. Разница между новой аристократией и старой знатью, скорее, в пользу новой.

Лафайет. Может быть. Впрочем, и в новой аристократии есть подразделения. Император громадное большинство титулов давал маршалам и генералам за военные заслуги. *(Приподнимается в кресле.)*

Лиддеваль *(встает)*. До свидания, генерал.

Лафайет. Прощайте, барон. *(Не провожает его. Лиддеваль уходит. Лафайет с брезгливым выражением на лице выходит в другую дверь.)*

В гостиной появляются Лиана и Джон.

Лиана. Джон.

Лиана. Никого нет! *(Смеется чуть пьяным смехом.)* Графиня, верно, пошла спать... Она так хорошо воспитана, так хорошо воспитана, что можно повеситься от скуки... Я очень невоспитанная, правда?

Джон *(угрюмо)*. Я не знаток.

Лиана *(очень похоже воспроизводит голос, интонацию, манеру 2-жи де Ластейри)*. «Будьте в Лагранже как у себя дома...» «Теперь вы знаете дорогу к нам...» *(Опять смеется.)* На ночном столике в нашей ком-

нате стоят два стакана оршада! Если б бутылка шампанского, это было бы лучше. Ах, какое за обедом было шампанское! Клико 1811 года! Кажется, я слишком много выпила?

Джон (*так же*). Да, и мне кажется.

Лина. Рыцарь Свободы Джон сегодня дурно настроен. Это тоже из-за смерти Наполеона?

Джон. Почему «тоже»?

Лина. Потому что мой муж лежит на диване в своей комнате, не пошел с нами гулять и еле отвечал за обедом самому генералу. (*Подражает поочередно Лафайету и мужу.*) «Я всегда отдавал должное гению покойного императора». — «Да, генерал». — «Но не согласитесь ли вы, полковник, со мной в том, что он причинил Франции больше зла, чем добра?» — «Нет, генерал».

Джон (*огорченно*). Зачем вы шутите?.. (*Нерешительно.*) Мне кажется, что ваш муж сердится на меня.

Лина. Я удивляюсь, что он не надирает вам ушей! Вы все время говорите мне о любви! Правда, вы не говорили, что любите именно меня, но я догадалась: я такая догадливая!

Джон. Я не говорил и не мог сказать замужней женщине, что люблю ее.

Лина. Это очень тонкая и достойная мысль. Мой мальчик, вы далеко пойдете! Кстати, чем вы занимаетесь в жизни, когда кончите университет?

Джон. Я хочу обессмертить свое имя.

Лина. Мне нравится скромность в людях... Не сердитесь, что я смеюсь. Я смеюсь, потому что много выпила, потому что мне сегодня очень весело. Как же вы хотите обессмертить свое имя? Вы станете президентом Соединенных Штатов вместо... Кто у вас теперь президент?

Джон. Джеймс Монро... Нет, мое честолюбие другое. Я хочу либо написать книгу, которая сделает людям много добра, либо посвятить жизнь борьбе за свободу, как генерал Лафайет.

Лина (*с восторгом*). Ах, как вы правы! Я так рада, что вы так думаете! Я сама так думаю! Книга — нет: книги я написать не могу, я ровно ничего не знаю. Но я до всего дохожу своим умом. Вы не думайте, что я дура: я целыми днями думаю. О чем? Ни о чем! О жизни. Вы, милый Джон, тоже умный. Я больше всего люблю в мужчинах ум, честолюбие, волю.

Джон. Поэтому вы так любите своего мужа?

Лиана (*с меньшим жаром*). Да, поэтому я так люблю своего мужа.

Джон. Я хочу сказать вам только одно...

Лиана. Я знаю, что вы хотите мне сказать. (*Подражая его акценту.*) «Лиана, если вам когда-либо понадобится верный преданный друг, вспомните, что на свете существую я». Правда?

Джон. Правда, но я не вижу, над чем тут насмеяться!

Лиана. Мой милый мальчик, я нисколько не насмехаюсь. Вы очень славный юноша... Но вы совершенно правы: нельзя любить замужнюю женщину, это большой грех, и что сказали бы ваши папа и мама?

Лиана. Джон. Г-жа де Ластейри.

Г-жа де Ластейри. А, вы вернулись с прогулки. Правда, лес очень хорош?

Лиана. Очарователен! Все очаровательно! Жизнь очаровательна! Кажется, у меня никогда не было такого приятного дня в жизни.

Г-жа де Ластейри. Я очень рада. Ваш муж все еще отдыхает?

Лиана. Да, он устал.

Г-жа де Ластейри. Будьте как у себя дома. Гостиная к вашим услугам, вы можете в ней оставаться хоть до полуночи. (*Джону. Она забыла его фамилию.*) Мосье... Вы решительно не хотите остаться на ночь? Очень жаль... Тогда позвольте мне с вами проститься. Теперь вы знаете дорогу в Лагранж, милости просим. (*Подчеркнутым тоном.*) Надеюсь, у вас все будет благополучно. Во Франции надо быть очень, очень осторожным... Особенно иностранцу... Папа пишет письма, но он сейчас к вам выйдет. (*Уходит.*)

Лиана. Почему вы не хотите остаться на ночь? Вам отвели комнату рядом с нашей. Может быть, именно поэтому?

Джон (*вспыхивая*). Лиана!

Лиана. Собственно, и мы могли бы уехать еще сегодня. Здесь был барон Лиддеваль. Он мог нас подвезти в своей великолепной коляске.

Джон. Барон Лиддеваль был здесь? У генерала Лафайета?

Лиана. Да. Говорят, он пират, но интересный пират.

Лина. Джон. Лафайет.

Лафайет. Вы нас покидаете, молодой друг мой? Мне было очень приятно познакомиться с американцем нового поколения.

Джон. Генерал, я был так счастлив!

Лафайет. Теперь вы будете знать дорогу в Лагранж. Я вас провожу.

Джон. Помилуйте, генерал! *(Целует руку Лине и выходит с Лафайетом, который в дверях с улыбкой пропускает его вперед.)*

Лина сзади подражает жестами им обоим.

Лина. Потом Лафайет.

Лина одним пальцем играет на пианфорте мелодию романса Мартини: «Plaisir d'amour...»

Лафайет *(входя)*. Вы играете? Можно вас послушать? Это ведь знаменитый романс Мартини?

Лина. Да. *(Опускает крышку пианфорте.)* Я плохо играю. Пою немного лучше, но тоже плохо.

Лафайет. Вы остались довольны прогулкой? Правда, лес очень хорош?

Лина. Очарователен. Все здесь очаровательно... И больше всего вы сами, генерал.

Лафайет *(смеется)*. Быть может, вы слышали или читали, что я падок на лесть. Враги обвиняли меня когда-то в «молодом честолюбии», теперь в «старческом тщеславии». Обвиняли меня и в «самовлюбленности»... Я никогда не мог понять, зачем люди доискиваются недостатков в человеке. Каждого человека, все равно, большого или маленького, надо судить не по худшему, а по лучшему, что в нем есть.

Лина *(точно пораженная)*. Боже, как это верно!

Лафайет *(смеется)*. Дитя мое, положительно вы решили подкупить меня лестью. Это совершенно не нужно. Мне вы и так очень нравитесь.

Лина *(подсаживается к нему ближе)*. Правда, я вам нравлюсь? Чем? Ради Бога, скажите чем. Я так люблю, когда меня хвалят! Особенно если это в присутствии моего мужа.

Лафайет *(серьезно)*. Ваш муж очень хороший человек.

Лина. Чудный! Я так люблю его. Он умный, храб-

рый, серьезный. Он герой, он человек из этого... Из Платона, да?

Лафайет. Из Плутарха?

Лина. Вот, вот, из Плутарха. Теперь он зол на правительство за то, что оно его уволило в отставку.

Лафайет. Не только за это: за то, что это скверное деспотическое правительство.

Лина (*поправляясь*). Конечно, это главное. Я обожаю своего мужа, но... Он не любит людей... Он на войне был несколько раз ранен. Теперь он часто говорит: «Вот как они меня вознаградили!» Бернар очень раздражен... Я говорю лишнее оттого, что я много выпила... И он ревнивец... Как зовут того негра, о котором Россини написал оперу?

Лафайет (*с улыбкой*). Отелло.

Лина. Да, Отелло. Мой муж — Отелло.

Лафайет. Я уверен, что вы не даете ему никаких оснований для ревности.

Лина. Ни малейших. Другие мужчины для меня не существуют. А он все боится, что он для меня стар. (*Со вздохом.*) Он на двадцать пять лет старше меня. Но я его все-таки обожаю.

Лафайет. Вы очень милы, хотя у вас лукавые глазки, Лина... Кстати, Лина — это у нас довольно необычное имя.

Лина. Я родилась в Париже, но происхождение у меня иностранное и сложное, скучно рассказывать. Вы, однако, не сказали мне, чем я вам нравлюсь.

Лафайет. Не сказал и не скажу. Я люблю говорить приятное людям: по-моему, к этому частью сводится настоящая житейская мудрость. Но все-таки зачем вас портить? Вот о ваших недостатках, если хотите, я могу сказать.

Лина. О моих недостатках! Разве у меня есть недостатки?

Лафайет. Маленькие. Совсем маленькие.

Лина. Тогда о них не стоит и говорить... Генерал, какой вы замечательный человек! Я так рада, что вы меня приняли в ваш Орден, что я буду зашифровывать самые секретные письма. Я теперь изучаю ключи, это так интересно. У меня есть отличная мысль о ключах!

Лафайет. Дитя мое, будьте очень осторожны. Никому не говорите обо всем этом.

Лина. Никому! Клянусь вам, я не скажу никому!.. Ведь правда, моя голова может полететь?

Лафайет. Не думаю, но гарантии вам не даю.

Лина. Эшафот?.. Ну, что эшафот? Зачем эшафот?.. Но я хотела бы сражаться на баррикадах и чтобы со мной рядом сражались красивые умные мужчины. Вот как вы! Должно быть, вы когда-то имели сказочный успех у женщин?

Лафайет (*смеясь*). Благодарю за это «когда-то».

Лина. Ради Бога, извините меня! Я сегодня весь день говорю глупости. Может быть, оттого, что я много выпила... Один человек говорил мне, что со мной можно все сделать, если напоить меня шампанским. Но это гнусная клевета! Я всю жизнь буду верна Марселю!

Лафайет (*очень серьезно*). Непременно... Вот, кстати, он идет.

Лина. Лафайет. Бернар.

Бернар. Лина, ты отнимаешь время у генерала.

Лафайет (*весело*). Я очень люблю, когда у меня отнимают время.

Лина. Марсель, люди, которые говорят, будто время деньги, бесстыдные лгуны. Если мне будут платить по 100 франков за день, я продаю три года своей жизни... Нет, три года много... Год. И мы говорили с генералом об очень серьезных предметах. Это вы все боитесь генерала, а я его несколько не боюсь!

Лафайет. И не надо. Мы отлично ладим с вашей женой, полковник.

Бернар. Ваша дочь сказала нам, что вы рано ложитесь и по вечерам пишете письма.

Лафайет. Да, письма, письма... Это мое несчастье. (*Встает.*)

Лина. Если они будут зашифрованные, то я все прочту и изменю то, что мне покажется неподходящим.

Лафайет. Мы вас расстреляем по приговору военного суда. Доброй ночи, друзья мои. (*Целует ей руку и уходит.*)

Лина. Бернар.

Бернар. Должен сказать, что ты приняла довольно странный тон с генералом Лафайетом. Ты слишком много пила за обедом.

Лина. Да... Я редко вижу шампанское.

Бернар. Незачем так часто напоминать мне, что я не имею средств.

Лина. Марсель, право, это скучно!.. Я не виновата в том, что Наполеон умер.

Бернар. Не могу сказать, чтобы это была очень уместная шутка!

Лина. Но что же мне делать, когда ты в дурном настроении и придираешься?

Бернар. Если б ты знала, как я за тебя тревожусь! Ты не создана для Парижа, здесь слишком много соблазнов. Как только день восстания будет назначен, мы уедем назад в Сомюр. *(Молчание.)* Где ты была после обеда?

Лина. Гуляла с Джоном. Он просил тебе кланяться.

Бернар. Очень ему благодарен. Думаю все-таки, что ты могла бы с ним любезничать поменьше. Не вижу, например, почему именно ты должна была его представлять генералу. Это мог сделать кто-либо другой. Например, я.

Лина. Теперь все будут знать, что он мой любовник.

Бернар *(вспылив)*. Перестань говорить глупости!

Лина. Неужели тебе не стыдно ревновать меня к мальчику?

Бернар. Он моложе тебя на год, а я старше тебя на двадцать пять лет.

Лина. Это что-то из учебника арифметических задач.

Бернар. Что мне делать, да, я ревную тебя. Ко всем!

Лина. И к Лафайету? *(Смеется.)* Он очень милый, но допотопный. Говорят, он был одним из главных деятелей революции, между тем он с головы до ног маркиз. И живут они так, точно никакой революции никогда нигде не было... Если он станет президентом республики, он должен назначить тебя военным министром.

Бернар. Какой вздор!

Лина. Почему вздор? Кого же они возьмут? Перво-го Разведчика? Что ж, если ты сам не честолюбив, твоя жена должна быть честолюбивой за тебя.

Бернар. Я был честолюбив. Я мечтал о военной славе. Но... мне сорок пять лет, и я полковник в отставке. Теперь, мне кажется, я излечился от честолюбия. *(Лина смеется.)* Ты не веришь? Клянусь тебе, у меня остались только две мысли: свобода и ты.

Лина. Нет, я и свобода.

Бернар. И мне так больно, так больно, что по моей бедности ты ведешь такую скучную, серую жизнь.

Лиана. Опять!.. Дело не в бедности... Я не хочу сказать, что бедность хороша, ты мне и не поверил бы. Дело в чем-то другом, не знаю, как объяснить. Надо жить так, чтобы каждый день, каждый час чувствовать себя пьяной. Все равно от чего! От любви, это лучше всего. От заговора... (*Обнимает его.*) Марсель, когда же будет настоящая жизнь? Когда? Если ее не будет, я способна на все! Я по природе грешница!

Бернар (*горячо целует ее*). Ты ни на что дурное не способна! Я тебе не верю.

Лиана. Я, быть может, в первый раз в жизни сказала чистую правду, и ты мне не поверил!.. Ты рад, что женился на мне?

Бернар. Я не прожил бы без тебя одного дня!.. Ты помнишь, я просил твоей руки тоже в жаркий летний вечер. Это было в четверть десятого. (*Вынимает часы.*) Теперь девять. Правда, это было в августе.

Лиана. 9 августа.

Бернар (*с неудовольствием*). Не 9-го, а 7-го.

Лиана. Да, ты прав. Тогда была луна. (*Подходят к расворенному окну.*) Марсель, и теперь луна! (*Смеется.*) На этом сходство кончается. Это окно выходит в великолепный парк, а то — в маленький грязный сомюрский двор. Что ты мне тогда сказал?

Бернар (*дразня ее*). Не помню. Мало ли что я там говорил!

Лиана. Ты врешь! Я помню каждое слово. Ты сказал (*произносит его слова торжественно, с волнением*): «Лиана, я люблю вас». Продолжай.

Бернар. «Моя судьба зависит теперь от вашего слова».

Лиана. Не «зависит теперь», а «теперь зависит»... (*Разочарованно.*) Тогда ты это сказал гораздо лучше.

Бернар. Потом ты пела. Ты помнишь, что ты пела?

Лиана (*играет одним пальцем на пианофорте и напевает вполголоса*).

Plaisir d'amour ne dure qu'un instant,
Chagrin d'amour dure toute la vie.
J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie,
Elle me quitte et prend un autre amant ...¹

¹ «Радости любви длятся только мгновение, а горе от любви длится всю жизнь. Я все бросил ради неблагодарной Сильвии, а она бросает меня и уходит к другому возлюбленному». — *Пер. с фр. автора.*

Бернар. Я теперь люблю тебя еще больше, чем тогда! А ты меня?

Лиана (*горячо*). В десять раз больше! В сто раз больше! В тысячу раз больше!

ЗАНАВЕС

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Роскошная гостиная в квартире Лиддеваль. На небольшом столике кофейный прибор, поднос с ликерами, печенье. У стены пианофорте. За ним сидит Лиана. Рядом на стуле ее манто, шляпа, сумка. Еще до поднятия занавеса слышна музыка.

Лиана. Лиддеваль.

Лиана (*поет, аккомпанируя себе по нотам*).

Tant que cette eau coulera lentement
Vers le ruisseau qui borde la prairie,
Je t'aimerai, me répétait Sylvie,
L'eau coule encore, elle a changé pourtant...¹

Лиддеваль. Ты поешь очень мило... Не хочешь еще кофе? Или коньяку?

Лиана (*захлопывая крышку пианофорте*). Не хочу!.. Впрочем, налей коньяку.

Лиддеваль. Зачем же отказывать себе в большом удовольствии? Я всегда требую, чтобы женщины пили... (*Подливает ей коньяку.*)

Лиана. Ты говорил, что, напоив меня шампанским, со мной каждый может сделать что угодно... Ты это и сделал.

Лиддеваль. Я, кажется, не говорил, что каждый... Твое здоровье! (*Пьет.*) За успех заговора генерала Лафайета.

Лиана (*выплескивает коньяк на ковер*). Я тебя просила не говорить о заговоре и о генерале Лафайете!

Лиддеваль. Это табу, я забыл... (*Наполняет ее рюмку снова.*) Вы все откладывали дело из-за раздоров между бонапартистами и республиканцами. Три месяца тому назад пришло известие о смерти Наполеона.

¹ Пока эта вода медленно течет к ручью в конце луга, я буду любить тебя, повторяла мне Сильвия. Вода еще течет, однако она изменилась. — *Пер. с фр. автора.*

Значит, теперь дела надо ждать в самом ближайшем будущем. *(Поглядывает вопросительно на Лину. Она с усмешкой на него смотрит.)*

Лина. А вот я, может быть, и знаю, но не скажу!

Лиддеваль. Лафайет в пору революции всегда шел с опозданием в полгода. Так будет и дальше. Его правило: куда же спешить, подождем, посмотрим... Историки, вероятно, будут ломать себе голову: в чем была разгадка личности Лафайета? А разгадка просто в том, что он глуп.

Лина. Конечно, тебе неприятно, что он прогнал тебя с твоими деньгами!

Лиддеваль. Самодовольный, влюбленный в себя старик, падкий на лесть, помешанный на своей славе, необычайно гордящийся тем, что он маркиз, хотя и либерал, или что он либерал, хотя и маркиз.

Лина. Что ты можешь в нем понимать с твоим циничным умом!

Лиддеваль. Мораль требует от человека, чтобы он говорил правду. Но когда он говорит всю правду, его называют циником. Так называли и моего отца... Мне было лет восемь, когда казнили Дантона. Я видел, как его везли в колеснице на эшафот. В тот день отец сказал мне: «Жюль, не служи ни партиям, ни идеям, ни народу: все партии бесчестны, все идеи живут один миг, а народ глуп как осел. Думай о себе и о своей семье». Семьи у меня нет, но из тех двадцати пяти тысяч, что мне оставил отец, я сделал десять миллионов и сделаю сто... Надеюсь, что ты меня все-таки считаешь честным человеком?

Лина. Не надейся. Ты жулик.

Лиддеваль. Почему я жулик? Если подходить к делу формально, то я ни разу в тюрьме не сидел...

Лина. Очевидно, королевский прокурор крайний формалист. В тюрьмы попадают только глупые жулики.

Лиддеваль. Если подходить к делу по существу, то я, кажется, никому в жизни не сделал зла, по крайней мере сознательно. Все мои дела приносили большую пользу мне, не принося ни малейшего вреда другим. У тебя такое же понятие о деловых людях, как у твоего мужа или у Лафайета. По-вашему, всякий делец — разбойник, готовый на шантаж, на воровство, на убийство, на что угодно. Могу тебя уверить, что я отроду ничем таким не занимался и что мне все это чре-

звычайно противно. Я раздаю в год несколько сот тысяч франков на благотворительные дела.

Лина. Для рекламы. Ты любишь рекламу еще больше, чем деньги.

Лиддеваль. Люблю, как почти все филантропы. Но я жертвую много денег и без всякой рекламы.

Лина. Если б я это слышала только от тебя, я подумала бы, что ты привираешь: это с тобой случается. Но, к моему изумлению, я это слышала и от других. Говорят, твои служащие тебя обожают за доброту и щедрость!

Лиддеваль. Ну вот видишь. Не всякий богатый либерал может сказать о себе то же самое.

Лина. Почему ты предлагал мне сто тысяч за письма, которые я зашифровываю?

Лиддеваль. С формальной стороны, конечно, это не очень хорошо. Однако опять-таки я тебя спрашиваю, кому был бы вред, если б ты согласилась мне показать эти письма? Ведь ты не предполагаешь, что я собирался отнести эти письма в полицию?

Лина. Надеюсь, что нет. Но я не вполне уверена.

Лиддеваль (*пожимая плечами*). Спасибо. Ты еще глупее Лафайета. Для того чтобы донести, отправить человека на эшафот или в каторжные работы, нужно быть совершенным мерзавцем. А совершенных мерзавцев на свете не так уж много: не больше, чем совершенно порядочных людей, и неизмеримо меньше, чем людей честных просто, к которым я себя причисляю.

Лина. Ты не злой, но ты от природы чего-то не понимаешь. В тебе чего-то нет... Вот как рождаются люди с одной почкой.

Лиддеваль. Ты родилась с двумя сердцами, это тоже бывает.

Лина. Что ты понимаешь в жизни? Надо жить так, чтобы каждый день чувствовать себя пьяной...

Лиддеваль. Ты мне уже это говорила.

Лина. Я не знаю, за что я полюбила тебя. За то, что ты умен, что ты вивер¹, что ты страстный игрок? Я мужа люблю потому, что он сама честность, а тебя люблю потому, что ты жулик... Да, можно быть пьяной и от заговора, и от музыки, и от лжи...

Лиддеваль. Можно быть пьяной даже от коньяку.

¹ От *фр.* *viver* — прожигатель жизни.

Лиана (*не слушая его*). Бернар убьет меня, если узнает, что я ему изменила.

Лиддеваль. Он убьет тебя своим презрением.

Лиана. Тебя он застрелит тут же.

Лиддеваль. В твоих глазах скользнуло мечтательное выражение.

Лиана (*смеется*). Быть может, ты прав.

Лиддеваль. Не надейся, голубушка, еще не родился человек, который меня застрелит. Возвращаюсь к шифрованным письмам. Подумай только, для чего я побежал бы в полицию? Чтобы получить тысячу франков награды? Чтобы быть навсегда опозоренным человеком? Чтобы подвергнуть себя мести тех заговорщиков, которым удастся спастись, или их братьев? За кого вы меня принимаете? Нет, мой ангел, я никому на вас доносить не собираюсь. Если бы я узнал, на какой день назначено восстание, я просто сыграл бы на бирже и заработал бы несколько миллионов. Вот и все. Кому от этого был бы вред?

Лиана. Я слышала, что порядочные люди чужих писем не читают.

Лиддеваль. Если Лафайету в пору восстания попадется письмо властей о передвижении королевских войск, как ты думаешь, он не прочтет письма?

Лиана. Это не то же самое. Лафайет ничего не делает ради собственной выгоды, а ты только о ней и думаешь.

Лиддеваль. И то и другое не верно. Лафайет думает о славе, о власти, о том, чтобы стать президентом республики... Я думаю, правда, о своем обогащении, но мое богатство дает возможность недурно жить очень многим людям, следовательно, я забочусь не только о себе. Если бы я был Лафайетом, я тоже устроил бы заговор.

Лиана. В случае провала полетят их головы.

Лиддеваль. Голова твоего мужа — да, но не голова Лафайета. Он слишком знаменит, а королевское правительство слишком слабо. Оно сделает вид, будто он в заговоре не участвовал.

Лиана. Как же ты мог бы сыграть на бирже, не зная, удастся ли восстание или нет?

Лиддеваль. Государственные бумаги понижаются при всяком восстании. Я сначала сыграл бы на понижение; тотчас, при первом известии о восстании, реализовал бы прибыль, а затем немедленно начал бы игру на повышение: если восстание будет подавлено,

государственные бумаги понемногу вернутся к прежнему уровню; если же оно удастся, они повысятся сразу. Биржа решительно ничего не имеет против правительства генерала Лафайета. Это он себя считает необычайным радикалом. На самом деле я гораздо радикальнее его. Я против частной собственности.

Лина. Ты!

Лиддеваль. Да, я... Итак, я нажил бы несколько миллионов, ты нажила бы сто тысяч, а заговор шел бы своим чередом, и дай Бог вам полного успеха! Мне совершенно все равно, кто будет у власти. Я разбогател при императоре Наполеоне, приумножил свое богатство при короле Людовике и надеюсь не пропасть при президенте Лафайете. Все они по-своему, в каком-то конечном счете, работают на нас, на биржевиков. Самое прочное, что от каждого из них остается, это несколько десятков больших состояний. Моя милая, ты мира не переделаешь, а если так, то почему тебе не нажать ста тысяч? (*Опять смотрит на нее вопросительно.*) В конце концов, ничего невозможного в успехе восстания нет. Лафайет не орел, но он все же наименее глупый из Рыцарей Свободы. Кроме того, у него величественная наружность. Кроме того, он — Лафайет. Если он выйдет к войскам в своем мундире революционного генерала, может быть, часть войск за ним пойдет. Если за ним пойдет один полк, я заработаю миллиона два. Если за ним пойдет дивизия, я заработаю четыре. Надо только знать, когда это будет.

Лина. Мой милый, ты даром тратишь красноречие. И вот что еще. Мне вчера показалось, будто недавно кто-то рылся в моем ящике. Вероятно, я ошиблась, но на всякий случай советую этому «кто-то» не беспокоиться: я приняла меры.

Лиддеваль. Лина, ты слишком любишь эффекты. Собственно, это не твой жанр. Ты очень хорошо притворяешься естественной, это самый тонкий вид лжи. Но зачем вообще лгать без необходимости? Разве это так приятно?

Лина. Особенно приятно, когда знаешь, что ложь может очень, очень дорого тебе стоить.

Лиддеваль. Да, да, ты мне говорила, правда, в нетрезвом виде, будто для тебя самая лучшая радость (*произносит с подчеркнутой насмешкой*) «играть своей жизнью», «играть головой»... Поверь мне, в жизни все гораздо проще, чем ты думаешь. Вот и сейчас мело-

драматический эффект требовал бы, чтобы я показал тебе на дверь и сказал: «Голубушка, я вступил с тобой в связь не ради тебя, а ради этих писем. Ты их не продаешь, ну так ступай на все четыре стороны!..» (*Ласково*). Вот видишь, так я поступил бы, если б был мерзавцем. На самом деле я домогался твоей любви потому, что я нежно люблю тебя. Письма — это так, кстати. Они мнегодились бы, а не хочешь дать их мне — твое дело... Будем говорить о чем-либо другом... Что ты теперь читаешь?

Лина. Ничего. Разве я могу читать? Я, впрочем, мало читала и в ту пору, когда была порядочной женщиной.

Лиддеваль. Господи, какие слова! И это трагическое лицо! Милая моя, что случилось? Ты «изменила мужу»? Помилуй, да кто же этого теперь не делает? Разве нам не подадут примера с высоты престолов? Если Наполеону сделали эту неприятность обе его жены, то почему ты не могла сделать ее твоему Марселю!

Лина. Не смей так говорить! Не смей вообще говорить о Марселе!

Лиддеваль. Значит, о нем тоже нельзя говорить! О Лафайете нельзя, о Рыцарях Свободы нельзя, о нем нельзя. Ну, не надо... (*Молчание.*) Какая сегодня прекрасная погода!

Лина. Лиддеваль. Лакей.

Лакей. Господин Пюто желает видеть господина барона.

Лиддеваль. Сейчас. Я позволю. (*Лакей уходит.*) Милая, ты извинишь меня. Это спешное дело. Я оставлю тебя минут на десять.

Лина. Ты можешь принять его и здесь. У меня немного кружится голова, я пойду полежу в спальне.

Лиддеваль (*нежно ее целует*). Кружится голова? Бедная! Отчего же ты не сказала раньше? А я тебя донимал деловыми разговорами! Полежи, пройдет, и мы поедем обедать к Вери.

Лина. Нет, к Вери нельзя.

Лиддеваль. Чего ты боишься? Ведь Бернар уехал в Сомюр. Со мной ничего бояться не надо.

Лина. Это правда. Я всегда испытывала это чувство, что за тобой не пропадешь. Ты жулик, но сильный человек. (*Вдруг обнимает его.*) Я, верно, и за это люблю тебя. Я сумасшедшая, правда?

Лиддеваль. О да! Тебя давно пора свезти в дом умалишенных: играй головой там, а не на свободе. Но на прощание я угощу тебя обедом. Ты ведь во вторник возвращаешься в Сомюр? Это необходимо? Совершенно необходимо?

Лиана. Как же иначе? Ты не хочешь, чтобы я бросила Бернара!.. Он как раз пишет мне, что с будущего месяца у нас будет кухарка. До сих пор я варила сама.

Лиддеваль. Милая, вот это ужасно, а не то, что ты «изменила мужу»... Да, я понимаю, ты не могла тратить на хозяйство много денег, иначе он догадался бы... Неужели он вправду верил, что твои платья стоят по десять франков?

Лиана. Как утомителен твой насмешливый тон! Ты ведь считаешь дураком каждого, кто не нажил миллионов. Ты допускаешь, что есть все-таки люди умнее тебя?

Лиддеваль. Теоретически допускаю.

Лиана. Например, Наполеон был умнее тебя, а?.. (Со злостью.) А на самом деле, если отнять у тебя деньги, что у тебя останется?

Лиддеваль. Останется все то, благодаря чему я деньги нажил.

Лиана. Ты думаешь, что ты любишь деньги за власть, которую они будто бы дают? Нет, нет, не обольщайся: и власти у всех вас нет и никогда не будет, и тебе с властью нечего было бы делать. Если ты не понимаешь, что такое значит «играть жизнью», «играть головой», то сиди в своем банке, копи деньги и никуда не лезь. Поверь, Наполеон это понимал, и Лафайет понимает, и даже Бернар понимает.

Лиддеваль. Я оценил «даже».

Лиана. Ты и любить не способен! Ты, верно, за всю свою жизнь ни разу не подумал, что на свете есть еще что-то, кроме денег, что деньги всего не заменяют!

Лиддеваль (пожимая плечами). Не знаю, почему ты сердисься? У тебя в самом деле настроение духа меняется так же быстро и так же непонятно, как у сумасшедших.

Лиана. Я и есть сумасшедшая.

Лиддеваль. Хвастать, право, нечем, хотя тебе это очень нравится. Добавлю, что ты вместе с тем и себе на уме. И деньги ты не всегда так презираешь. А что они всего не заменяют, это очень верно, хотя и не очень ново. Да, да, конечно, «своего богатства в могиле»

лу не унесешь», «человеку ничего не нужно, кроме двух метров земли на кладбище» и т. д. Мысли глубокие, однако до могилы деньги тебе могут быть очень полезны.

Лина (с внезапной ненавистью). Я брала у тебя деньги как... как у брата! Я тебе все верну.

Лиддеваль. Какой вздор ты говоришь! И смотришь при этом на своего «брата» с такой злобой! Ты очень способна к ненависти, Лина, это большой недостаток. Бери с меня пример: я гораздо добрее тебя. (*Целует ей руки.*) Нет, моя любимая, не сердись и перестань заниматься угрызениями совести. Я ведь знаю, ты и в этом занятии находишь наслаждение. Твои угрызения совести меня не волнуют, а вот то, что ты должна варить обед этими крошечными ручками, это в самом деле меня огорчает. Нельзя ли сказать Бернару, что ты получила наследство от двоюродной тетки в Австралии? Нет, этому он не поверит?.. «Даже» он не поверит?.. Ну, ну, не кричи, не буду... Пойди, отдохни, мой ангел. (*Ласково отводит ее к двери, затем садится за письменный стол и звонит в колокольчик.*)

Лиддеваль. Пюто.

Лиддеваль. Здравствуйте. Садитесь... Ну, что?

Пюто (*вынимает листок бумаги*). Письмо, которое вы мне дали, господин барон, написано простыми симпатическими чернилами. Если бумагу нагреть, выступают темно-зеленые знаки. (*Подносит листок к свече, на листке появляются знаки. Лиддеваль хватается за руку. Пюто улыбается.*) Вам нечего беспокоиться, господин барон. Вероятно, вы должны кому-либо вернуть письмо? Это часто бывает в нашей практике. Знаки сейчас станут опять невидимыми. Я, конечно, снял копию.

Лиддеваль. Что же вы нашли в письме?

Пюто (*подает ему другой листок*). Только группы цифр. В дополнение к симпатическим чернилам письмо еще зашифровано. Быть может, речь идет о заговоре? Вся Франция говорит о заговорах.

Лиддеваль. Это вас не касается.

Пюто (*с улыбкой*). Это не только не касается меня, господин барон, но и совершенно меня не интересует. Я служу в «черном кабинете» сорок лет. Служил при покойном короле Людовике XVI, служил при покой-

ном Робеспьере, служил при покойном императоре, служу и сейчас. Письма всегда были одни и те же, и «черный кабинет» всегда был один и тот же, и платили мне все всегда очень мало. Правда, при покойном Робеспьере, царство ему небесное, я зарабатывал немного больше, так как было очень много работы: это было хорошее время, господин барон. Теперь я надеюсь на оживление в связи с заговорами. Пока что я вынужден брать и частные заказы. Господин барон предложил мне пятьсот франков, это хорошая плата, но и работа нелегкая, как я сейчас буду иметь честь доложить господину барону... Впрочем, я не отказываюсь и от более скромных заказов, так как очень люблю расшифровывать письма.

Лиддеваль (*нетерпеливо*). Вы также очень любите говорить, господин Пюто. Вы мне сказали, что можете разобрать всякий шифр.

Пюто. Я сказал: почти всякий. Есть разные системы зашифровки. Есть система решетки, система Юлия Цезаря, система лорда Бэкона, система графа Гронсфельда. Это письмо написано не по решетке. Господин барон видит группы цифр, по три цифры в каждой. Очевидно, автор пользуется каким-то печатным изданием, известным его корреспонденту. Первая цифра, по всей вероятности, означает страницу, вторая порядок строки сверху или снизу, третья порядок буквы в строке слева и справа. Шифр нетрудный, но расшифровка требует немалого времени и длинного текста. Видите ли, господин барон, мы знаем, какая буква чаще всего встречается в нашем языке, какая следует за ней и т. д. Если зашифрована длинная депеша, то можно установить, какая группа цифр в ней встречается особенно часто; это с большой вероятностью указывает одну из букв шифра. Не буду утомлять господина барона техническими подробностями. Однако это письмо слишком коротко, а кроме того, господин барон дал мне так мало времени: два часа.

Лиддеваль (*раздраженно*). Значит, вы ничего не сделали?

Пюто. Пока ничего, господин барон. Обращаю, однако, внимание господина барона на особенность письма. Первая цифра во всех группах либо один, либо два. Очевидно, автор пользуется печатным произведением, в котором очень мало страниц. Дело идет, значит, не о книге. Моя первая мысль была, что ключом

для шифра послужила какая-либо коротенькая брошюра. Так, например, члены нашей Палаты депутатов часто выпускают листовками наиболее талантливые из речей, которые они произносят. Но эта первая гипотеза оказалась несостоятельной... Такие листовки всегда печатаются убористым шрифтом, их ведь никто не читает, они печатаются для бессмертия. В них примерно бывает строк сорок на странице. Между тем вторая цифра в группе, указывающая порядок строки, во всех группах низка: два... три... пять... Господин барон, наверное, угадывает мой вывод?

Лиддеваль (*с недоумением*). Нет, не угадываю.

Пюто. Господин барон еще не имеет навыка. Итак, речь идет о печатном произведении, в котором очень мало страниц, а на каждой странице очень мало строк. Этим признакам не удовлетворяет ни книга, ни брошюра, ни листовка, ни газета. Господин барон все еще не видит?

Лиддеваль. Да нет же!

Пюто (*радостно*). Этим признакам удовлетворяют ноты, господин барон. Не опера, конечно, а какое-либо коротенькое произведение, где есть музыка и текст. Например, романс, господин барон. Из этого почти безошибочно можно сделать вывод, что зашифровала письмо женщина. В моей практике, господин барон, зашифровка при помощи нот случалась довольно часто, и почти во всех случаях дело шло о даме. У всякой женщины, господин барон, есть какой-либо любимый романс. И всякой женщине кажется, что пользование нотами для шифра — это ее собственная, очень оригинальная мысль, о которой никто никогда не догадается. И наконец, у каждой женщины с каким-нибудь романсом связываются какие-нибудь сентиментальные воспоминания: ей кажется, что если она будет им пользоваться, то это принесет счастье ей или делу. (*Качает головой.*) Ах, господин барон, женщины — это такой народ! Зачем они лезут в такие дела? И зачем серьезные люди их принимают?

Лиддеваль. Ноты? (*В раздумье.*) Да, в этом ничего невозможного нет. Это даже очень вероятно.

Пюто. Это почти несомненно, господин барон. Я, конечно, ни о чем не спрашиваю, но если господин барон лично знает даму, у которой письмо было украдено... Я хочу сказать, временно взято для просмотра, то, быть может, господин барон знает и музы-

кальные вкусы этой дамы? (*Бросает взгляд на пианофорте и на поднос с ликерами.*)

Лиддеваль (*расхаживает по комнате*). Послушайте... (*Берет с пианофорте ноты. Решительно.*) Скорее всего, это ключ!

Пюто (*радостно*). «*Plaisir d'amour...*», слова Флоринана, музыка Мартини... Три страницы... Шесть строк текста на странице. Господин барон разрешит мне унести эту вещичку? Если ключ верен, расшифровка письма — дело пяти минут.

Лиддеваль. Пройдите в комнату моего секретаря. Когда будете знать, велите мне доложить. В случае успеха вы получите не пятьсот, а тысячу франков.

Пюто. Господин барон чрезвычайно щедр. Но мне и такая королевская плата доставляет меньше удовольствия, чем расшифровка письма. (*С увлечением.*) Господин барон не может себе представить, как это приятно! Это в сто раз интереснее шахматных задач! У меня интереснейшее ремесло, господин барон! Я его не променял бы ни на какое другое.

Лиддеваль. Рад за вас. У каждого человека есть свой пункт умопомешательства.

Лиддеваль. Потом Лина.

Лиддеваль (*кладет письмо в сумку Лины. Потом выходит и возвращается с Линой*). Так головная боль у тебя прошла, моя милая? Ты голодна? Я освобожусь минут через десять, и мы поедем обедать. У меня аппетит как у волка! Что ты скажешь о буйабессе¹ с омаром?

Лина (*оживляясь*). Я обожаю буйабесс с омаром.

Лиддеваль. Обожаешь ли ты также трюфели и утку с апельсинами?

Лина. Обожаю! Пить будем шампанское.

Лиддеваль. Если хочешь. Но тебе лучше пить помельше.

Лина. То же самое мне говорил Марсель... А если я по-настоящему живу, только выпив бутылку вина?

Лиддеваль. Милая, люди, которые по-настоящему живут, только выпив бутылку вина, для сокращения называются пьяницами.

Лина. Я этим и кончу... Постой, ты, однако, еще сегодня говорил, что требуешь, чтобы женщины пили.

¹ Рыбный суп с чесноком и пряностями (*фр. bouillabaisse*).

Лиддеваль. Я беспокоюсь о твоём здоровье.

Лиана. Беспокойся лучше кое о чём другом... Все равно я естественной смертью не умру — и слава Богу!.. Да, да, «играть своей головой». Ты шутишь, ты всегда шутишь: это у тебя болезнь. И потом, где тебе это понять!

Лиддеваль. А Бернар понимает?

Лиана. Тоже нет. Мне с ним скучно... Еще скучнее, чем с тобой.

Лиддеваль (*с недоумением*). Я не знал, что тебе скучно и со мной.

Лиана. Со всеми. Когда я не пью.

Лиддеваль. Ты не хотела бы меня поцеловать?

Лиана. Хотела бы. Каких только вкусов не бывает в природе! (*Целует его и отходит к пианофорте, напевая.*)

L'eau coule encore, elle a changé pourtant...

Что такое? (*Нервно.*) Где ноты?

Лиддеваль. Ноты? Какие ноты?

Лиана. Романс, который я пела четверть часа тому назад.

Лиддеваль. Не знаю. Почему мне знать? (*Он несколько смущен. Лиана смотрит на него в упор.*) Может быть, их убрали?

Лиана. Кто убрал?

Лиддеваль. Лакей... Постой, да не играла ли ты без нот?

Лиана. Нет, я играла по нотам! (*Замечает на стуле свою сумку и поспешно ее раскрывает. Письмо на месте.*)

Лиддеваль. Да в чем дело? Почему тебе понадобились ноты? Если они пропали, я пошлю купить в магазин. Теперь вся Франция поет этот романс.

Лиана (*звонит в колокольчик. Входит лакей*). Вы не брали ноты, которые были на пианофорте?

Лакей. Нет, сударыня. (*Смотрит на инструмент.*) Они были тут, когда я подавал кофе, сударыня.

Лиана. Вы можете идти. (*Лакей уходит. Лиана надевает пальто, с ужасом глядя на Лиддеваль.*)

Лиддеваль (*растерянно*). В чем дело? В чем дело?

Лиана. Как... Как ты...

Лиддеваль. Не надевай еще пальто. Я освобожусь только минут через десять, ты простудишься.

Лиана. Я уезжаю.

Лиддеваль. Куда?

Ли́на. В Сомюр, к Марселю.

Лиддеваль. Ли́на, да в чем дело?

Ли́на. Ты знаешь, в чем дело! *(В дверях.)* Я знала, что ты негодай, но я не думала, что ты такой негодай! *(Уходит.)*

Лиддеваль. Потом Пюто.

Лиддеваль *(ходит по кабинету с очень расстроенным видом. Стук в дверь).* Войдите. *(Входит Пюто.)*
Ну, что?

Пюто *(с радостной улыбкой).* Догадка господина барона была совершенно правильна. Этот романс и был ключом к письму. Система Юлия Цезаря. Цифрами указана не настоящая буква, а следующая за ней в порядке алфавита. Если цифры указывают, например, на букву Б, то, значит, надо читать А. Эта система имеет, правда, некоторые преимущества. Дело в том, что...

Лиддеваль *(перебивает его).* Да вы разобрали письмо или нет?

Пюто *(обиженно).* Разумеется, господин барон. *(Протягивает ему бумагу. Лиддеваль почти вырывает ее из его рук.)*

Лиддеваль *(читает).* «Номер пятьдесят четыре. Сомюр двадцать четвертого декабря полночь».

Пюто. Для такого письма автор мог бы с гораздо лучшими результатами использовать систему графа Гронсфельда, которая...

Лиддеваль *(небрежно кладет письмо в карман).* Письмо оказалось совершенно неинтересным. Дело идет о пустяке.

Пюто. Мне всегда это говорили, господин барон. Помню, я приносил расшифрованные письма покойному Робеспьеру. Он говорил это с точно такой же интонацией, как господин барон. Впрочем, по существу, это совершенно верно. Войны, революции, заговоры, казни — что тут интересного? Так всегда было, и так всегда будет.

Лиддеваль *(еще небрежнее).* На этот раз дело идет об одной замужней даме... Прошу вас никому ничего не рассказывать о письме.

Пюто. Это тоже мне говорили все заказчики, господин барон. А министр полиции Фуше еще обычно прибавлял: «Иначе вас могут постигнуть большие не-

приятности, господин Пюто, очень большие неприятности...» Разумеется, я никому никогда ничего ни о чем не говорю. Болтунам место в политике или в поэзии, господин барон, но никак не в «черном кабинете». Прежде, в молодости, я еще немного интересовался содержанием писем, теперь меня интересует только шифр. Если мне удастся трудная расшифровка, я позволяю себе обед в хорошем ресторане.

Лиддеваль. Вот вам тысяча франков, господин Пюто.

Пюто. Мне совестно, господин барон. Ведь все-таки ключ дали вы. Мне, право, совестно.

Лиддеваль (*перебивая*). Без угрызений совести теперь на свете не проживешь, господин Пюто. Доброго аппетита.

Пюто. Я очень благодарю господина барона. Тройной шифр! Конечно, эта замужняя дама очень боится своего мужа... До свидания, господин барон.

Уходит. Лиддеваль садится за стол в раздумье, потом берет в руки карандаш и листок бумаги.

ЗАНАВЕС

VI.

— Ну, вот теперь, пожалуй, сделаем антракт, — все так же беззаботно сказал Яценко и залпом допил виски из бокала. Настала та минута неловкого молчания, какая обычно бывает после чтения: никто не хочет говорить первым. — Вероятно, вы очень устали? — Ему было стыдно. Читал он плохо, а главное, ему при чтении в первый раз показалось, что очень нехорош стиль пьесы. «Что-то есть в нем неестественное, точно это перевод с французского. Ох, тяжело писать порусски об иностранцах. Вероятно, слог второй пьесы будет напоминать перевод с английского. Уж не сказано ли на мне то, что я так долго состою переводчиком в ОН?»

— Устали? Нисколько! — ответил Пемброк. — Быть может, вы устали?

— Я нет. У меня есть привычка: в Объединенных Нациях мне случается переводить часами. После окончания сессии нам всем, вероятно, надо будет уехать на

воды лечить голосовые связки, — шутливо говорил Виктор Николаевич, и тон его показывал, что незачем или не к спеху говорить о пьесе.

— Ах, какая чудная вещь! — сказала Надя. Она была смущена и раздражена третьей картиной. «Вот, значит, как он меня «активизировал»! Не ждала, не ждала! Когда же это я тебе, голубчик, изменяла с банкиром!.. Ну ладно, это потом, теперь нужно, чтобы Пемброк взял пьесу», — думала она. — Ах, какая чудная вещь! И сколько действия! Какие роли!

— Очень благодарю.

— Я говорю правду! Я не знаю, что я дала бы, чтобы играть Лину... Если ты в самом деле имеешь в виду меня... То есть если ты для меня предназначаешь эту роль? — говорила она.

— Первые три картины действительно недурны, — сказал Альфред Исаевич без жара. Он очень хвалил в глаза писателей только тогда, когда ничего у них приобретать не собирался. К нему нередко обращались с предложениями авторы-новаторы. В этих случаях он называл книгу или сценарий шедевром и скорбел, что публика оценит этот шедевр не в состоянии. — «Вы не можете себе представить, дорогой мой, — говорил он в таких случаях, — как косны, инертны и невосприимчивы к искусству массы, даже наша, американская. В древних Афинах ваша вещь, наверное, имела бы огромный успех! Но теперь толпе нужно, чтобы ей все время давали одно и то же, всякий раз с новыми штучками и тем не менее то же самое! Мы стараемся их поднять, но это процесс медленный и затяжной. Между тем вы бросаете толпе новое слово! Через десять—пятнадцать лет она поймет, она дорастет до вас, но не раньше! Вы думаете, мне легко отказываться от такого произведения?» — горестно говорил Альфред Исаевич. Он подобрел на старости лет, не любил огорчать людей, особенно же полусумасшедших, как писатели и актеры. Другие кинематографические магнаты и полумагнаты только пожимали плечами: они с ненужными им людьми церемонились гораздо меньше. Однако Пемброк своей системы не менял и не верил людям, говорившим ему, что автор может и обидеться, услышав о древних Афинах. — «Он еще подумает, что вы над ним издеваетесь». — «Я таких писателей никогда не встречал, — убежденно отвечал Альфред Исаевич, — а кроме того, я и не думал

издеваться! Просто так гораздо лучше». И действительно, даже новаторы обижались на него редко.

Зато если Пемброк собирался приобрести сценарий, то до заключения договора он говорил с автором равнодушно. Никого не обижал в денежном отношении, но переплачивать не хотел, особенно когда успех бывал не обеспечен. В подобных случаях огорчать человека равнодушным отношением к сценарию было допустимо: автор с огромным избытком вознаграждался чеком и славой. После подписания же договора Альфред Исаевич начинал восхищаться и этими авторами.

Первые три действия «Рыцарей Свободы» понравились Пемброку. Ему показалось, что этот немолодой, еще малоизвестный писатель может быть очень полезен в кинематографе. «Право, он понимает дело. И диалог совсем недурен. Что, если в нем-то и сидит настоящий сценарист, который внесет свежую струю?» — думал, слушая чтение, Альфред Исаевич.

— Значит, вам понравилось? — спросила Надя. Его холодный тон ее смутил: она привыкла к тому, что Пемброк ее засыпал комплиментами.

— Первые три действия недурны, — повторил Пемброк, ничего не желавший прибавлять к своей оценке и взвешивавший каждое слово: так цари, подписывая рескрипты, строго различали: «неизменно к вам благосклонный», «неизменно к вам благосклонный и благодарный» и «неизменно к вам благосклонный и любящий вас»... — Недурны. Эти заговорщики с их знаками, это красочно. Конечно, есть длинноты и другие недостатки, а главное, пока очень мало конфликта... Вы мне позволяете говорить так прямо, Виктор Николаевич?

— Я прошу вас об этом. Мне именно нужно, чтобы вы высказались совершенно откровенно, — ответил Яценко тем неестественным тоном, каким всегда произносят эти слова писатели.

— Как, мало конфликта? — горячо возразила Надя, уже знавшая это любимое слово кинематографических деятелей. — Очень много конфликта! Скорее, даже слишком много конфликта! — говорила она так, как за завтраком говорила Яценко, что салат чудный, но в нем чуть больше уксуса, чем нужно.

— Если я правильно понимаю вашу мысль, Альфред Исаевич, — сказал Яценко, — то конфликт будет.

Он будет в четвертой картине. Она самая важная и самая плохая в пьесе.

— Ах, это нехорошо! Конечно, не то, что конфликт будет, а что сцена самая плохая. Конфликт должен начинаться не в четвертой картине, а гораздо раньше. Но подождем четвертой картины. Кроме того, движения пока мало. Мало движения... Главный же недостаток пьесы тот, что публика может не заинтересоваться вашими рыцарями. Представьте себе, например, рядового американца из Чикаго. Какое ему дело до ваших рыцарей свободы? Что ему ваши рыцари свободы!

— Это трагедия всего кинематографического дела, — сказал Яценко. — Книга, даже самая трудная, сравнительно легче найдет три-четыре тысячи читателей, которые нужны, чтобы окупить издание. Но театральная пьеса должна понравиться сотням тысяч людей, а фильм даже миллионам, иначе капиталист теряет свои деньги. Между тем миллионы людей не очень знают толк в искусстве.

— Самое лучшее искусство, однако, то, что нравится и миллионам, и элите, — возразил Пемброк. — Главное, чтобы были типы. Возьмем пример. Я не так страшно люблю Диккенса, он был антисемит. Однако его Домби — это тип, Уриа Хип — это тоже тип. У Гоголя Плюшкин — тип, Коробочка — тип.

— Я это часто слышал, но думаю, что изображать характеры гораздо труднее, чем изображать «типы». В знак высшей похвалы о писателе говорят: «его образы стали нарицательными именами!» Похвала, по-моему, не большая. Какой-нибудь Скалозуб, или Держиморда, или унтер Пришибеев стали «нарицательными», они «типы», но князь Андрей и Наташа Ростова не «типы», и ни один герой Толстого нарицательным не стал: для этого почти всегда нужно огрубление, к которому Толстой был неспособен. Извините, что вспомнил о Толстом по этому поводу. Наше дело маленькое.

— Now, я вовсе не хочу сказать, что у вас люди не живые, — примирительно сказал Пемброк. — Напротив, эта Лина у вас вышла очень живо.

— И какая роль! — воскликнула Надя, — Ах, какая роль!

— Она у вас, милая Надя, может выйти хорошо, однако я возвращаюсь к своему: акцент! — сказал Альфред Исаевич. Он подумал, что Надя, пожалуй, и

недостаточно молода для роли Лины. «Но это сказать ей было бы гораздо хуже, чем, например, сказать писателю, что он идиот». — Что я сделаю в Америке с вашим акцентом?

— Да ведь она француженка.

— Sugar plum, вы не хотите, чтобы мы ставили пьесу из французской жизни и чтобы в ней актеры говорили по-английски с иностранным акцентом! Впрочем, эту пьесу надо, повторяю, для начала поставить во Франции. Все-таки французы должны знать про своих рыцарей свободы.

— Не очень. Повторяю, это малозначительный исторический эпизод, который когда-то вызвал много шума, а затем канул в Лету. Скажу еще, что эпизод в Сомюре, с пожаром, с обвалом, с найденными при аресте адресами, изложен мною совершенно точно в историческом отношении.

— Это, скажу вам правду, совершенно не важно. Разве кто-нибудь знает историю? Разве в кинематограф ходят для истории? Но если этот эпизод канул в Лету во Франции, то вы понимаете, в какую Лету он канул в Соединенных Штатах! Все-таки, если мы решим ставить пьесу и сговоримся, то мы пока поставим ее здесь. Надя говорит, что она владеет французским языком как парижанка. Но это *она* говорит.

— Мне это говорили французы! — сказала с возмущением Надя.

— Французы очень любезные люди. Когда вы будете говорить по-английски как Этель Барримор, мы... Мы увидим, что можно сделать. Пока я склонен был бы поставить пьесу во Франции, — сказал Пемброк. «Берет!» — подумали и Надя, и Яценко. Альфред Исаевич поспешил добавить: — Мы говорим так, точно уже все решено. А на самом деле мы слышали только три картины из пяти, а конфликта еще и не видели... Кстати, этот ваш банкир... как его?... напоминает мне одного моего знакомого, с которым я как раз сегодня обедал в Монте-Карло. Это некий Делавар, — сказал Пемброк.

— Я его встречал в Париже, — сказал, немного смутившись, Яценко. — Это, по-моему, маленький авантюрист, которому очень хочется стать большим, демоническим авантюристом.

— Совершенно верно, — смеясь, подтвердил Альфред Исаевич.

— Давайте читать дальше, — сказала с нетерпением Надя. — Я горю желанием узнать, что случилось с Линой!

— А я горю желанием узнать, что натворили Рыцари Свободы, — сказал Пемброк.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Квартира полковника Бернара в Сомюре. Большая, бедно обставленная комната, служащая кабинетом, и гостиной, и спальней. В камине горят дрова. За ширмой двуспальная кровать. На стене — большая карта Франции. Везде книги. Посредине комнаты — стол, накрытый красным сукном, тоже с кинжалом и топором. Вокруг него стулья. Два окна выходят на улицу. Они затворены и плотно завешены, но из-под штор просвечивает красное пламя пожара.

Бернар. Лина. Джон. Первый и Второй Разведчики, еще Рыцари Свободы.

Бернар. Этот несчастный пожар может сорвать все дело!

Лина (*подходит к окну и отодвигает штору*). Заревно все усиливается!

Джон. Надо же было, чтобы такой пожар случился в Сочельник!

Бернар (*сердито*). Дело не в том, что сегодня Сочельник, а в том, что в полночь должно начаться восстание. (*Смотрит на часы.*) Через три часа.

Первый Разведчик (*возмущенно*). А половина Рыцарей не явилась на заседание!

Джон. Это из-за пожара.

Первый Разведчик. Пожар не может иметь никакого отношения к заседаниям Ордена Рыцарей Свободы. Повестки были разосланы своевременно. Согласно 27-му параграфу устава Рыцари, не имеющие возможности явиться на заседание, должны письменно извещать об этом Первого Разведчика не позднее чем за 24 часа до заседания.

Лина. Ведь это вы сочинили устав. Вы должны были включить в него параграф на случай пожара или землетрясения. (*Нерешительно.*) Не отложить ли восстание?

Бернар. Это невозможно. Действия в Бельфоре и в других городах сообразованы с нашими. Генерал Лафайет, вероятно, уже находится в Бельфоре.

Второй Разведчик. Возможно, что дело не столько в пожаре, сколько в Сочельнике. Как все помнят, я высказался против устройства восстания в Сочельник. Все здесь присутствующие знакомы с моей политической деятельностью, начавшейся в 1789 году с памятной многим статьи в нашем местном органе печати. Всем, конечно, известно, что я, старый якобинец, никогда не разделял религиозных предрассудков. Напротив, я вел с ними энергичную борьбу. Тем не менее я не скрывал и не скрываю от себя силы и власти этих пережитков прошлого. Скажу больше, даже из людей нашего образа мысли многие предпочли бы провести этот вечер если не в церкви, то в кругу семьи.

Бернар. Восстание было назначено на Сочельник именно потому, что все наши враги в это время будут в церкви. Следовательно, захватить стратегические пункты Сомюра легче всего именно сегодня.

Первый Разведчик. Я решительно возражаю против того, чтобы вопрос обсуждался в порядке частной беседы. Согласно параграфу восьмому устава предлагаю открыть заседание и признать его законным, невзирая на малое количество собравшихся.

Бернар (*мрачно*). Прошу занять места. (*Так как места вокруг стола уже все равно заняты, Рыцари лишь принимают более торжественный вид. Бернар стучит три раза по столу. Все встают.*) Первый Разведчик, который час?

Первый Разведчик. Избранник, гремит набат. Это сигнал пробуждения всех свободных людей. Настала полночь.

Бернар. Первый Разведчик, в котором часу начинает свою тайную работу Орден?

Первый Разведчик. Избранник, Орден начинает свою тайную работу в полночь.

Бернар. Удостоверься же, что все собравшиеся за сим столом суть Рыцари Свободы.

Первый Разведчик совершенно так же, как в первой картине, обходит собравшихся, поднимает пальцы и говорит: «Вера. Надежда». Все с ответным знаком говорят: «Честь. Добродетель». Пламя пожара усиливается.

Джон (*вполголоса Лине, сидящей рядом с ним*). Пожар разрастается. Время уходит.

Первый Разведчик. Избранник, все собравшиеся за сим столом суть Рыцари Свободы.

Бернар. Да благословит же Всевышний наш ночной труд над делом освобождения Франции и всего человечества.

Все садятся.

Бернар. Кому угодно высказаться?

Голоса. Мне угодно... И мне... Я хотел бы...

Бернар. Ввиду того что до начала восстания осталось всего три часа, прошу всех по возможности говорить кратко. Рыцарь Второй Разведчик, ты просил слова. Даю тебе его.

Второй Разведчик. Рыцари! Для детей, внуков и потомков наших будет предметом вечной гордости то, что заря французской и мировой свободы занялась в нашем маленьком Сомюре. Я оставляю — пока — открытым вопрос, должны ли мы выступить именно сегодня или в другой день. Предварительно я хотел бы поставить на обсуждение собравшихся другой вопрос, принципиальный и чрезвычайно важный. Нам было сказано, что мы действуем совместно с Бельфором. Однако, по имеющимся сведениям, там в заговоре принимают преимущественное участие не Рыцари Свободы, а карбонарии. Сам генерал Лафайет больше карбонарий, чем Рыцарь Свободы. (*Обиженным тоном.*) Лучшее доказательство: он выехал теперь не сюда, в Сомюр, а в Бельфор. Я нисколько не отрицаю, что в принципе карбонарии довольно близкая к нам организация. Люди, следившие за моими выступлениями в последние годы, знают мое сочувственное к ней отношение. Тем не менее не должно от себя скрывать существующие между нами и ними немаловажные разногласия. Разрешите мне процитировать речь, сказанную год тому назад, а именно 27 января, видным карбонарием Базаром. (*Вынимает из портфеля толстую тетрадь.*) Я ее выписал дословно и отниму у собрания не более десяти или пятнадцати минут. (*Легкий ропот среди присутствующих.*)

Бернар. Рыцарь Второй Разведчик, ввиду остроты момента мы едва ли можем сейчас останавливаться на расхождениях в прошлом.

Второй Разведчик (*обиженно*). Я не посягаю на прерогативы Рыцаря Избранника, но не думаю, чтобы он имел право зажимать мне рот своей единоличной властью.

Первый Разведчик (*озабоченно*). Согласно пара-

графу 34 устава, вопрос должен быть разрешен голосованием.

Бернар (*со все растущим раздражением*). Ставлю на голосование вопрос: кто за то, чтобы сейчас выслушать соображения Рыцаря Второго Разведчика о речи, сказанной год тому назад карбонарием Базаром, тех прошу поднять руку. (*Нерешительно поднимают руку два рыцаря; один, оглянувшись на других, тотчас ее отдергивает.*) Очевидное меньшинство.

Первый Разведчик. Рыцарь Избранник, ты не поставил на голосование обратного вопроса: кто против того, чтобы?..

Бернар (*сердито его перебивает*). Кто против того, чтобы?

Голос. Простите, я не понял: кто против или кто за?

Бернар. Кто против? (*Почти все поднимают руку.*)

Первый Разведчик. Рыцарь Избранник, устав требует также, чтобы было занесено в протокол, кто воздержался.

Бернар (*кричит*). Кто воздерживается? (*Второй Разведчик с достоинством поднимает руку.*) Вопрос решен... Я перехожу к делу. Рыцари, нельзя терять ни минуты...

Голоса (*сочувственно*). Ни минуты! Ни минуты!

Бернар. Через час мы должны выйти отсюда и отправиться в кавалерийскую школу. Я бывший профессор этой школы, я знаю в ней все входы и выходы. Там нас ждут наши сторонники. Мы обезоружим наших врагов, по возможности без кровопролития, и выпустим прокламацию к народу. Мы объявим, что местная власть в Сомюре свергнута, что восстание в полночь начинается во всей Франции, что генерал Лафайет утром двинет войска на Париж. Королевская власть не выдержит натиска и будет сметена порывом народного гнева. Будет немедленно образовано коалиционное национальное правительство во главе с генералом Лафайетом...

Второй Разведчик. Я прошу слова!

Бернар. Говори!

Второй Разведчик. Все мое прошлое свидетельствует о том, как мне всегда была близка идея коалиции. Я мог бы сослаться хотя бы на мою речь от 2 жерминаля второго года, в которой я призывал к объединению всех патриотов. Эта речь вызвала тридцать лет тому назад против меня ожесточенные нападки, волна кото-

рых не улеглась и по сей день. Дело, однако, не во мне, я не привык отнимать у людей время своей особой. Бывают часы, когда надо не говорить, а действовать! (*Обводит всех победоносным взглядом.*) Однако нельзя забывать, что всякая коалиция может строиться либо на началах полного паритета, либо же на началах пропорциональности в связи с влиянием, которое та или иная группа имеет в стране. Если наша коалиция строится на началах паритета, то я желал бы знать, гарантировано ли нашему Ордену соответствующее число мест в правительстве генерала Лафайета? Ни один из нас, быть может, не имеет такого авторитета, как он, хотя нам, старым якобинцам, и памятна его роль в первые два года революции. Тем не менее (*подчеркнуто скромно*) и среди нас могут найтись опытные в политике заслуженные люди, готовые в настоящей обстановке принять на свои плечи тяжелое бремя власти. Если же принцип паритета в данном случае отвергается, то я предлагаю избрать комиссию, которая позаботилась бы о том, чтобы в коалиционном правительстве интересы нашего Ордена не были принесены в жертву эгоистическим интересам других группировок...

С улицы раздается страшный, продолжительный, все нарастающий грохот. Лина бросается к окну и раздвигает шторы. За окном как будто все объято пламенем. Все в волнении толпятся у окна. Только Второй Разведчик остается на своем месте, видимо, недовольный тем, что его речь прервали; да еще Первый Разведчик продолжает невозмутимо писать протокол.

Лина (*нервничая все больше*). Что это?.. Что это?.. Да скажите же!

Голоса. Это обвал!.. Довольно далеко отсюда!.. Господи, мой сын там!..

Второй Разведчик (*обиженно*). Я просил бы разрешения продолжать мою речь.

Первый Разведчик (*строго поглядывая на Бернара, который стоит у окна*). Никто из Рыцарей не имеет права покидать места до закрытия заседания. (*Торжественно, потрясая карандашом, как шпагой.*) Быть может, мы погибнем, но погибнем на своем посту!

Второй Разведчик (*продолжая свою речь*). Я видел список лиц, намечаемых в состав коалиционного правительства. Против некоторых из них я заявляю отвод ввиду неясности их роли в некоторых событиях последних десятилетий...

*Те же. Воспитанник кавалерийской школы
Лаваль.*

Лаваль (*останавливается на пороге навьютяжку, затем поднимает три пальца. Это совсем молодой человек, все по привычке сбивающийся с «рыцарских» приемов на военные. По-видимому, и те и другие ему очень нравятся*). Вера. Надежда.

Все. Честь. Добродетель.

Лаваль. Господин полковник... Рыцарь Избранник, разрешите доложить... Полчаса тому назад вся наша школа, друзья и враги, брошена на борьбу с пожаром. В здании школы никого не осталось. (*Движение.*)

Бернар. Лаваль, ваше сообщение чрезвычайно важно. Если весь состав школы брошен на пожар, то положение существенно меняется... Вы совершенно уверены в том, что говорите?

Лаваль. Господин полковник, я совершенно уверен. Мои товарищи, имеющие честь принадлежать к Ордену Рыцарей Свободы, именно поручили мне известить об этом Рыцарей. Все они уже там. Чтобы не попасться коменданту, я задержался и вышел с бокового крыльца. Прошу разрешения удалиться.

Бернар. Идите, Лаваль, благодарю вас. (*Лаваль поворачивается по-военному, отдает честь и уходит.*) Это судьба! Судьба против нас! (*Молчание. Чувствуется и некоторое облегчение.*) Кавалерийская школа была нашей главной надеждой. Если ее нет, мы восстания устроить не можем.

Первый Разведчик. Я вынужден согласиться с мнением Рыцаря Избранника. Восстание было назначено шифрованным распоряжением главного парижского комитета за номером 54. Однако и по духу, и по букве устава, особенно его 12-го и 13-го параграфов, группы на местах автономны. Следовательно, мы вправе отменить дело ввиду непредвиденных чрезвычайных обстоятельств. Рыцарь Избранник, предлагаю решить вопрос голосованием.

Бернар (*почти механически*). Кто за то, чтобы отложить наше выступление, тех прошу поднять руки. (*Все с видимым облегчением поднимают руку.*) Выступление отложено единогласно.

Первый Разведчик. О дне восстания все присутствующие будут мною извещены именными повестками.

Бернар. Порядок дня исчерпан. Уже не в качестве

Избранника предлагаю тем из присутствующих, которые по своему возрасту способны к физической работе, немедленно отправиться на место пожара и вместе с нашими молодыми товарищами из кавалерийской школы принять участие в борьбе с бедствием, обрушившимся на наш город. Рыцари, напомню вам, что если ближайшая наша задача заключается в восстании, то более общая цель Ордена сводится к помощи несчастным и обездоленным. (*Общее одобрение.*) Заседание закрывается. (*Встает.*) Вера. Надежда.

Все (*вставая*). Честь. Добродетель.

Все поспешно одеваются и выходят, простившись с хозяевами.

Второй Разведчик (*рыцарю почтенного возраста*). Какие уж мы с вами пожарные! Старость не радость. Не зайдём ли в кофейню? Я не хотел возражать Бернару, так как не люблю много говорить, но я не могу согласиться с его словами о более общей цели Ордена. Мы не филантропическое учреждение. Если хотите, я кратко и сжато изложу вам свои мысли об этом вопросе.

Рыцарь (*уклончиво*). В другой раз я буду чрезвычайно рад. Кофейни, верно, закрылись. Если восстание отменяется, то я пойду на мессу. (*Испуганно.*) Только зайду в церковь за женой.

Второй Разведчик. У нас сегодня индейка с каштанами. Мы по традиции празднуем Сочельник дома. (*Поспешно.*) Всегда в тесном семейном кругу. (*Уходит.*)

Бернар. Лина. Джон.

Бернар. Дело свободы чистое и благородное дело. Почему его преследует злой рок?

Лина. Дело не в роке, а в людях.

Джон. Позвольте мне с вами проститься. Я уйду на пожар.

Бернар (*холодно*). Вы хорошо делаете. Я тоже пойду туда через несколько минут.

Джон. Прощайте, полковник... я хотел принять участие в восстании и для этого приехал в Сомюр. Но если оно отменяется... виноват, если оно откладывается, то я вернусь в Париж. У меня уже есть билет на корабль в Нью-Йорк.

Бернар. Желаю вам счастливого пути. Быть может, мы когда-нибудь опять встретимся.

Джон (*смущенно*). Я тоже надеюсь. (*Прощается с Линой и уходит; незаметно, после некоторого колебания, оставляет на столике бумажник.*)

Бернар. Лиана.

Бернар. Не понимаю, зачем этот молодой человек приехал в Сомюр. Иностранцам незачем участвовать во французском восстании.

Лиана. Тем более что восстания не будет.

Бернар. Успех был почти обеспечен. Случай работает на Бурбонов... До свидания. Я скоро вернусь, мы выпьем вина.

Лиана. Да. (*Смущенно.*) Марсель, у меня совершенно нет денег. Я заплатила прачке, и эти рождественские «начай» ... Нет ли у тебя?

Бернар (*тоже смущенно*). Конечно, конечно... Я тебе отдал всю пенсию за декабрь... Теперь у нас как будто уходит больше, чем уходило еще недавно, и у меня осталось немного. (*Роется в кошельке.*) Десять... Пять... Еще два... Вот тебе семнадцать франков. Прости, что не могу сейчас дать больше.

Лиана (*со вздохом*). Это твои карманные деньги... Спасибо.

Бернар. Кажется, ты начала сокращать расходы на стол? И отлично, мне ничего не надо. Не сокращай только твоих расходов на туалеты, ты и так брала у меня очень мало. До свидания, милая. (*Уходит.*)

Лиана. Потом Джон.

Джон (*робко входит с букетом цветов*). Лиана, простите меня, я забыл у вас бумажник.

Лиана (*смеется*). Я это заметила еще тогда, когда вы так старательно его забывали. (*Берет бумажник со стола.*) Смутно подозреваю, что эти цветы для меня.

Джон (*тоже смеется*). Вы не ошиблись, я забыл бумажник нарочно: чтобы объяснить мое возвращение.

Лиана. Какой он хитрый, это просто изумительно! Вы ждали против нашего дома в цветочном магазине, пока не уйдет мой муж? (*Кладет цветы на окно.*)

Джон. Да. Он, кажется, меня ненавидит?

Лина. Марсель ненавидит всех мужчин от семнадцати до семидесяти лет, которые хоть раз в жизни на меня взглянули. А с вами это иногда случается. Я удивляюсь, как он меня не ревнует к обоим Разведчикам: им вдвоем не более ста тридцати лет. В наказание за ваши хитрости я просмотрю все, что у вас в бумажнике. (*Смотрит.*) Тысяча франков... Пятьсот... Господи, какой вы богатый, Джон! Это билет в Америку?.. Корабль «Кадмус»... На 8 января... Так скоро! Как я хотела бы путешествовать! Я иногда бываю в ужасе от того, что проживу свой век, не побывав в какой-нибудь Индии. Место наверху. Это самое лучшее? Ваши родители вас балуют.

Джон. Они теперь стали на ноги. Прежде нам помогали родственники из Европы.

Лина (*отдает ему бумажник*). Все-таки в другой раз, мой милый, если вам нужно будет иметь предлог, чтобы вернуться к женщине, в которую вы влюблены, то оставляйте что-либо другое, а не бумажник. Правда, сегодня вы ничем не рисковали. (*Смеется.*) Рыцари Свободы честнейшие люди на земле. Как вам понравилась сегодняшнее заседание?

Джон (*улыбаясь*). Мне показалось, что кое-что сегодня было не вполне необходимо.

Лина. Именно. Вы нашли правильное выражение: необходимо, но не вполне... Мой милый, вы, однако, сказали, что пойдете тушить пожар.

Джон (*успокоительно*). О, еще есть время! Этот пожар будет продолжаться долго.

Лина. Сегодня мы не затворяем дверей, люди будут заглядывать до поздней ночи. В Сомюре поздняя ночь — это одиннадцать часов вечера. Я не хотела бы, чтобы кто-либо вас здесь застал. В маленьких городках все падки на сплетни. Даже Рыцари Свободы.

Джон. Я должен уйти сейчас?

Лина. Да.

Джон. Пойдите... Я хотел вам сказать... Нет, я только хотел поцеловать вам руку.

Лина. За ваши цветы и за вашу любовь вы имеете право на большее. (*Берет его за голову и целует.*)

Джон. Лина!.. Я этот поцелуй буду вспоминать всю дорогу... Всю жизнь!

Лина. «Всю дорогу» это мало. «Всю жизнь» это много. Месяца через три вы влюбитесь в другую женщину... Вспоминайте обо мне ласково. Думайте: «Она

была нехорошая, легкомысленная, лживая женщина, но не злая. Она никому не хотела зла, она только себе хотела добра... и даже не добра, а чего-то другого, чего жизнь почти никому не дает...» Впрочем, вы этого не понимаете.

Джон. Лина, я все понимаю! Я знаю, вы меня считаете добрым мальчиком, который ровно ничего не видит. Поверьте, я многое вижу и понимаю, но не говорю, потому что желаю быть джентльменом.

Лина. Что за дикое желание! Зачем быть джентльменом? (*С интересом.*) Что же вы такое видите?

Джон. Будете ли вы мне писать?

Лина. Нет. Я люблю болтать, но писать я не люблю и не умею. А вот вы мне пишете. Не на дом, на почту, а то Марсель был бы способен из ревности прочесть ваше письмо.

Джон. Нет, он джентльмен.

Лина. К сожалению, он тоже джентльмен... Он джентльмен из Плутарха.

Джон. Впрочем, я никогда не позволю себе сказать в письме что-либо такое, чего не мог бы прочесть ваш муж.

Лина. Мой милый Джон, зачем мне такие письма, какие мог бы прочесть мой муж? Впрочем, пишете все равно. (*Вынимает из букета розу, целует ее и отдает ему.*) Вот вам в награду еще за то, что вы «все видите».

Джон. Лина, если ферма моего отца даст доход, я в будущем году приеду опять во Францию.

Лина. «В будущем году»? Неужели вы думаете, что будет «будущий год»?!

Джон. Я даже в этом уверен.

Лина. Я никогда так далеко не заглядываю. Надо жить тем, что есть сегодня, самое большее, завтра. Ну что ж, если ферма вашего отца даст доход, приезжайте. Прощайте, мой милый Рыцарь Свободы.

Джон. До свидания, Лина.

Лина. Потом Лиддеваль.

Лина подходит к окну, смотрит вслед Джону. Неожиданно вытирает слезы. Затем начинает убирать комнату, ставит стулья к стене, прячет в шкаф топорик и штатив с кинжалами, снимает красную скатерть. Замечает на ней с досадой пятно, достает бутылочку и начинает его затирать, спиной к двери. В дверях появляется Лиддеваль. Он окидывает взглядом бедную комнату. Вид у него смущенный. Лина вдруг его замечает и вскрикивает.

Лиана. Ты!.. Вы здесь!

Лиддеваль. У вас дверь не затворена.

Лиана. Что вы тут делаете?

Лиддеваль. Тут, это в Сомюре? Я приехал следить за ходом восстания. Говорю правду. Мне не до иронии.

Лиана (*тотчас справившись с собой*). Конечно, нет: восстание не состоится, и вы не наживете на бирже денег.

Лиддеваль. Лиана, теперь не в этом дело... Не сердитесь на меня и не судите меня слишком строго. Я позволил себе прийти сюда для того, чтобы вас предупредить. Четверть часа тому назад обвалилась стена горевшего дома. К несчастью, задавлено человек десять, все, кажется, офицеры и воспитанники кавалерийской школы.

Лиана (*с ужасом*). Кто? Кто?

Лиддеваль. Не ваш муж. Он жив и здоров, я только что его издали видел... Но... На трупе одного из погибших молодых людей найден весь план вашего восстания, со всеми именами.

Лиана. Не может быть!..

Лиддеваль. Это невероятно, но это так. Этот двадцатилетний Рыцарь носил в кармане список заговорщиков!

Лиана. Не может быть!.. Откуда ты знаешь?

Лиддеваль. У меня есть знакомые везде. Список теперь просматривает генерал Жантиль Сент-Альфонс. Ему это очень тяжело. Я уверен, что он бросил бы список в огонь, но в это дело уже вмешалась полиция. Не сомневаюсь, что Бернар в списке на одном из первых мест. Ему необходимо бежать, бежать, не откладывая ни на минуту. Тебе бежать незачем: тебя в списке нет. Этот молодой человек перечислил только офицеров. У вас, конечно, нет денег. Не отрицай: откуда у такого человека, как Бернар, могут быть деньги? Я принес тебе пять тысяч франков, вот они. Пусть Бернар уедет в Англию, в Америку, куда угодно.

Лиана. Спрячь свои окровавленные деньги!

Лиддеваль (*морщась*). Лиана, не говори вздора. Мои деньги не окровавлены: не я затеял это дело и не я его провалил.

Лиана. О нет! Ты только сыграл на понижение. Я уверена, что твои люди уже скачут в Париж на биржу

с сообщением о заговоре. Я это вижу по той радости, которая сквозит у тебя в глазах, в словах.

Лиддеваль (*нетерпеливо*). Лина, дело идет о голове твоего мужа. Восстания не было, но была попытка восстания. Твой муж офицер. Офицеры во всяком случае будут наказаны. Вы опоздали с восстанием, демократы всегда и везде опаздывают, не опоздайте же хоть с бегством... я кладу деньги вот сюда. (*Выдвигает ящик стола и кладет туда деньги.*) Вероятно, в Бельфоре дело было подготовлено так же хорошо, как у вас в Сомюре. Кажется, Лафайет выедет туда завтра. Он должен был выехать сегодня. Знаешь, почему он не выехал? 24 декабря — это годовщина смерти его жены. Он каждую годовщину ее смерти проводит в ее комнате в Лагранже. Он не мог от этого отказаться и сегодня. Ритуал — великая вещь... И такие люди хотят устраивать восстания! В революции всегда побеждают мерзавцы. Это сказал перед казнью достаточно компетентный человек: Дантон. Вероятно, вы отложили восстание для того, чтобы принять участие в борьбе с пожаром? Это делает честь вашему человеколюбию. Ваша беда в том, что среди вас нет мерзавцев.

Лина. Ты узнал о восстании из того письма?

Лиддеваль. Нет. У меня есть разные источники осведомления.

Лина. Поклянись мне, что ты узнал не из того письма!

Лиддеваль (*стараясь говорить шутливо*). Клянусь головой генерала Лафайета!.. Ты все хочешь заниматься угрызениями совести? Не надо, Лина. Ты ни в чем не виновата. Ты хорошая женщина, ты гораздо лучше, чем сама думаешь.

Лина. Ступай вон!

Лиддеваль. Я ухожу. Прощай... Советую Бернару не ночевать дома.

Выходит и в дверях сталкивается с Бернаром.

Лина. Бернар. Лиддеваль.

Лиддеваль. Здравствуйте, полковник.

Бернар (*изумленно*). Здравствуйте. (*Смотрит на него, на Лину.*)

Лиддеваль. Не удивляйтесь моему посещению. Я изложил его причину вашей супруге и кратко повторю

вам. Ваше дело раскрыто, вам необходимо тотчас бежать.

Бернар (*очень мрачно*). Какое дело?

Лиддеваль. На трупе одного из погибших при обвале молодых людей найден план вашего восстания и список заговорщиков.

Бернар. Какой план? Какое восстание? Что вы несете?

Лиддеваль. Я несу то, что мне сказал мой приятель, генерал Жантиль Сент-Альфонс.

Бернар. Почему вы находитесь в Сомюре?

Лиддеваль. Полковник, теперь не время для расспросов и для игры в конспирацию. О вашем заговоре давно говорит вся Франция. О нем до сих пор не знало только наше бездарное правительство. Вы должны бежать, не теряя ни минуты. Вашей жены в списке нет, она может оставаться дома.

Бернар. Благодарю вас за заботу о моей жене. По какой причине вы мне оказываете услугу?

Лиддеваль (*пожимая плечами*). Это мой долг порядочного человека.

Бернар. Я не имел понятия о том, что вы порядочный человек. Это сенсационная новость.

Лина. Марсель, перестань...

Лиддеваль (*со скукой в выражении лица и голоса*). Полковник, бросьте это. Я вас на дуэль не вызову, да и не могу вызвать: не посылать же вам секундантов в тюрьму... Признаюсь, мне непонятна ваша враждебность. Я хотел оказать вам услугу.

Бернар (*делает шаг к нему*). Идите с вашей услугой ко всем чертям!

Лина хватает его за руку.

Лина (*Лиддевалю*). Уходите...

Лиддеваль (*в дверях*). Аптеки еще не закрыты. Пошлите за успокоительными каплями. (*Уходит поспешно, но с достоинством.*)

Бернар. Лина.

Лина. Марсель, что с тобой? Он ведь действительно хотел оказать услугу.

Бернар. Я именно не могу понять, почему он хотел оказать услугу! Он прохвост и мошенник!

Лина (*стараясь говорить спокойно*). Да, да, у вас ведь всегда так. Вы мажете людей одной краской, черной или белой. Если Рыцарь Свободы, то, значит, благороднейший человек. А если делец, то это разбойник, готовый на шантаж, на воровство, на убийство, на что угодно.

Бернар. Как он оказался в Сомюре?

Лина. Вероятно, у него здесь дела, но...

Бернар (*перебивая ее*). Какие дела могут быть в крошечном городе у этого международного афериста-миллионера! Да еще на Рождество! И именно в день восстания! Ты не станешь утверждать, что это случайное совпадение.

Лина. Марсель, какое мне дело до того, почему барон Лиддеваль оказался в Сомюре? Это совершенно не интересно. Важно то, *что* он сказал. Неужели найден список!

Бернар. Я знаю только, что при обвале стены погибло много наших людей. Может быть, список и найден.

Лина. Марсель, тогда надо бежать! Тебе надо бежать. В Англию, в Америку!

Бернар (*подозрительно*). Мне бежать? А тебе?

Лина. Я в списке не значусь. Хорошо, бежим вместе! Но сейчас, сию минуту.

Бернар (*несколько мягче*). Бежим на наши семнадцать франков? Бросив здесь всех других? (*Замечает букет.*) Откуда эти цветы? Кто их принес?

Лина. Джон.

Бернар. Это неправда! Никаких цветов у Джона не было.

Лина. Клянусь тебе, что это цветы от Джона.

Бернар. Ты клянешься? Странно. Вопрос не так важен, чтобы из-за него клясться.

Лина. То ты орешь как бешеный, то «вопрос не так важен»!

Бернар. По какому праву этот мальчишка приносит тебе цветы?

Лина. Это довольно принято в обществе. Он на днях у нас обедал.

Бернар. В день восстания заговорщики не приносят цветы дамам. Ты лжешь, это цветы от Лиддеваля.

Лина. Если ты говоришь таким тоном, я отвечать не буду... Марсель, подумай сам, Лиддеваль пришел сказать, что твоя жизнь в опасности, мог ли он при

этом принести цветы? Неужели тебе не стыдно? Марсель, брось этот вздор. Повторяю, надо бежать! Ты говоришь, что нет денег. Я достану деньги. Я завтра рано утром побегу в ломбард, у меня есть брошка, она стоит две тысячи франков...

Бернар. Две тысячи франков? Ты говорила мне, что заплатила за нее пятьсот!

Лина. Я не хотела тебе говорить... Я боялась... Да, я дала пятьсот, но с тем, чтобы выплачивать помесечно остальное. Я и выплачивала из моих сбережений.

Бернар. При нашем годовом бюджете в две тысячи франков ты заплатила полторы тысячи из сбережений? Лина, что это? Я ничего не понимаю.

Лина. Это невыносимо! Если ты меня подозреваешь, то скажи, в чем именно. *(Плачет.)*

Бернар *(смягчаясь)*. Я ни в чем тебя не подозреваю, это было бы слишком ужасно. Но согласись, что все это странно.

Лина. То есть ты меня не подозреваешь, но подозреваешь. В чем? В чем? В том, что брошку мне подарил Лиддеваль? И, подарив, сказал мне, что она стоит две тысячи франков? Да? Я выплачиваю за брошку по пятьдесят франков в месяц. Ты еще сегодня говорил, что я стала сокращать расходы на стол, да, это правда, я их сокращаю, чтобы выплачивать ювелиру, и еще далеко не все выплачено. Я завтра побегу к нему и попрошу взять ее назад... Мне так хотелось иметь эту брошку, у меня ведь ничего нет, у Люсиль есть три брошки, кольцо и браслет, а у меня ничего. Могла ли я думать, что ты будешь так сердиться!

Бернар. Милая, дорогая, что ты говоришь! Я виноват. Но одно слово. Поклянись мне, что этот Лиддеваль... Что он никогда не ухаживал за тобой?

Лина *(сквозь слезы)*. Ты только что говорил, что странно клясться из-за пустяков: «вопрос не так важен!»

Бернар. Я говорил о Джоне, а не о Лиддевале. Поклянись!

Лина. Клянусь.

Бернар. Моей головой?

Лина *(после нескольких секунд колебания)*. Твоей головой.

Бернар. Я тебе верю. Я знаю, что ты не могла бы так поклясться, особенно *теперь*.

Лина. Ты меня измучил!.. Но мне твоя жизнь дороже, чем твое отношение ко мне. Брось меня, но

беги... Марсель, я все тебе скажу!.. *(Плачет все сильнее.)*

Бернар. Лина, «бросить тебя»! Разве ты не знаешь, что ты для меня все! Ты для меня дороже, чем жизнь, дороже чем свобода, даже чем честь! Это правда, я ревнив, я помешан! Как могла у меня хоть на минуту, хоть на секунду возникнуть мысль, будто ты, ты можешь говорить неправду! Лина, милая, ради Бога, прости меня! Ложь — и ты, Лина! На меня просто нашло затмение! Нет, нет, я никогда в тебе не сомневался и никогда не усомнюсь! Если тебе не верить, кому же верить? Лина, знай, быть может, меня арестуют, быть может, меня казнят, но я до последнего вздоха буду думать о тебе, мой ангел! Верь мне, я взойду на эшафот с улыбкой, вспоминая тебя, думая только о тебе. Ты останешься для меня воплощением чистоты, самым лучшим из всего, что я видел, самым благородным из всего, что существует на земле!

Лина. Марсель... Нет, не надо... Марсель, я все тебе скажу!

Бернар *(не слушая или не понимая ее слов)*. Мне только будет мучительно больно вспоминать, что я мог связывать с тобой хоть подобие недостойных мыслей! Только подобие, но и это было клеветой, тяжелым, очень тяжелым грехом. Прости меня!

Лина. Ты должен бежать! Да, мы уедем, уедем в Америку, мы начнем новую, совсем новую жизнь, где лжи и обмана не будет!.. Я стану там другой! Подумай, какая это будет радость, какое счастье. Мы уедем на корабле «Кадмус», он отходит 8 января... Я знаю это потому, что на этом корабле уезжает маленький Джон... Деньги будут! Я завтра продам брошку... Завтра Рождество, магазины закрыты, все равно, мы достанем денег в Париже... Мы будем работать в Америке, я буду делать все, втрое больше того, что я делаю здесь! Я буду стирать белье!..

Бернар. Лина, не все еще потеряно. Быть может, бельфорское восстание удастся. Нельзя терять голову! Первым делом... Что первым делом? Я сам потерял самообладание... Что делать? Да, прежде всего нужно уничтожить некоторые бумаги. Постой, у меня есть кое-что в том ящике. *(Быстро подходит к столу. Лина тихо вскрикивает, делает два шага вперед и останавливается как вкопанная. Бернар выдвигает ящик. Там лежат деньги Лиддеваля.)* Что это?

На его лице выражается изумление, потом тревога. Он смотрит на Лину и темнеет. Лина, оцепенев, смотрит на него остановившимися глазами.

Бернар. Деньги... Тысячи... Что это?

Лина (*шепчет почти беззвучно*). Деньги.

Бернар. До *его* прихода у нас не было ничего...

Долгое молчание. Дверь вдруг растворяется настежь. В комнату быстро входит генерал Жантиль Сент-Альфонс в сопровождении солдат.

Лина. Бернар. Жантиль Сент-Альфонс. Солдаты.

Генерал (*смущенно кланяясь Лине*). Полковник, вы арестованы.

Лина. Оставьте его! Я во всем виновата!

Генерал (*так же*). Сударыня, вас никто ни в чем не обвиняет. Мне жаль, что я вас взволновал. (*Солдатам.*) Подождите на лестнице, я вас позову, когда будет нужно. (*Солдаты выходят.*) Марсель, мне очень тяжело исполнять эту обязанность в отношении старого друга и боевого товарища. Но я хотел явиться сюда раньше полиции.

Бернар (*холодно*). Генерал, я не ваш друг. Вы служите Бурбонам, а я участник заговора против Бурбонов.

Генерал. Дело властей выяснить, участвовали ли вы в заговоре. (*Понижая голос.*) Если у вас есть компрометирующие бумаги... (*Показывает на камин и уходит к Лине. Тихо.*) Лина, где нельзя производить обыск? (*Замечает на столе деньги.*) Если это деньги вашего мужа, я должен отобрать их. Но, может быть, это ваши личные деньги?

Лина (*еле слышно*). Это мои деньги.

Генерал. Тогда благоволите их взять.

Лина машинально прячет деньги в ящик, с ужасом глядя на мужа. Он быстро отворачивается, берет из ящика связку бумаг и бросает ее в огонь. Генерал делает вид, что ничего не видит.

Генерал. Нет, не в ящик, Лина. Полиция явится сюда через полчаса. Вам пришлось бы объяснять, откуда у вас эти деньги.

Бернар (*поспешно*). Это наши сбережения за два года.

Генерал. Есть ли у вас оружие?

Бернар. Есть. (*Вынимает из другого ящика три пистолета.*)

Генерал. *Один пистолет? Нет ничего странного в том, что у отставного офицера есть один пистолет. Оставьте его здесь. (Прячет два пистолета в карманы.) Больше ничего нет?.. Тогда мы можем идти? (Подходит к двери и зовет солдат. Солдаты возвращаются.)* Ведите арестованного в комендатуру. Полковник, вы можете проститься с женой.

Бернар, не глядя на Лину, выходит из комнаты. Генерал с изумлением смотрит на него, на Лину, затем, поклонившись, выходит за Бернаром.

Лина *(шепотом).* Марсель!.. Марсель... *(Стук двери внизу. Она растворяет окно. Комната ярко освещается пламенем пожара. Внизу стук шагов.)* Марсель!.. Марсель!.. *(Хватает с подоконника букет и бросает его вниз.)* Марсель!.. Марсель!..

ЗАНАВЕС

КАРТИНА ПЯТАЯ

Гостиная в небольшом домике в одном из глухих штатов Америки. Обстановка как у средних зажиточных людей. Книги. Их не очень много. Гитара. На одной стене портрет Бернара в черной рамке. На другой — портрет Лафайета и гравюры с тех же картин, которые висели в гостиной замка Лагранж.

Лина. Джон.

Джон *(с озабоченным видом сидит у стола с книжечкой в руке. Против него Лина).* Сколько всего штатов есть в нашей стране?

Лина. Двадцать четыре.

Джон *(с восторгом).* Совершенно верно! А сколько в нашей стране было президентов?

Лина. В *вашей* стране было четыре президента: Вашингтон, Адамс, Джефферсон, Мэдисон и теперь Монро.

Джон *(огорченно).* Лина, Монро на прошлой неделе ушел в отставку. Теперь у нас президент Джон Куинси Адамс.

Лина. Ах да, я что-то слышала. Но я не виновата: это прошлогодний учебник... Как, опять Адамс?

Джон. Другой. Тот был Джон Адамс, а этот Джон Куинси Адамс.

Лина Слишком много Адамсов, вы только сбиваете людей с толку. И нельзя называться Куинси! Почему у нас во Франции никто не называется Куинси?

Джон *(мягко)*. Не говори «у нас во Франции», говори «у нас в Соединенных Штатах»: ты забываешь, что ты скоро станешь американской гражданкой.

Лина. Срок еще не вышел. *(С надеждой.)* А может быть, меня не примут.

Джон *(подсаживается к ней)*. Лина, зачем так говорить? Франция прекрасная страна, но Америка гораздо лучше. Во Франции твоему первому мужу отрубили голову. Здесь полная свобода, ты можешь думать, говорить, делать что хочешь. Тебя впустили сюда без паспорта, без малейших препятствий, без малейших затруднений, не спрашивая, кто ты, что ты, зачем ты сюда едешь.

Лина. Нет, меня спросили, не собираюсь ли я убить президента Соединенных Штатов. Я ответила: нет. Чиновник, кажется, не был удивлен: вероятно, и некоторые другие отвечали то же самое. Он еще спросил меня, не намерена ли я открыть дом терпимости. Я тоже ответила: нет.

Джон *(улыбается)*. Да, у нас остались эти старые вопросы, но это милый анахронизм, который никому решительно не вредит. Никаких затруднений не было и при нашей женитьбе. *(Грустно.)* Милая моя, может быть, я не должен был жениться на тебе, не имея возможности предложить тебе хороших условий жизни.

Лина *(точно что-то вспоминая)*. Разве я когда-нибудь жаловалась?

Джон. Это правда, никогда, ни разу. Но мы скоро будем богаты. Наша меховая торговля идет прекрасно, особенно с тех пор, как ты мне помогаешь. Еще год-другой, и мы сможем переехать в Нью-Йорк. Я уже облюбовал там большой дом с садом на Уолл-стрит, мы его купим, у нас будут свои лошади, свои коровы, свои овцы, они будут пастись на Бродвее. Нью-Йорк огромный город, в нем сто пятьдесят тысяч жителей.

Лина. В Париже полтора миллиона жителей.

Джон *(с легким раздражением)*. Если ты вернешься в Париж, тебя немедленно посадят в тюрьму. На процессе выяснилось, что и ты была в Ордене Рыцарей Свободы. Мы уехали вовремя!.. Вся Европа находится

в рабстве у королей и у царей, Соединенные Штаты — единственная свободная страна в мире, однако вы, европейцы, жалуетесь: вам здесь скучно! В парижской тюрьме тебе было бы еще скучнее! (*Смягчается.*) Ну вот, через четверть часа ты будешь с французом: генерал Лафайет обещал приехать ровно в три. Воображаю, как ему надоели все эти приемы и торжества в его честь: арки, плакаты, речи, стихи. Такой триумфальной поездки, я думаю, никто не совершал в истории. Конгресс поднес ему в дар имение и двести тысяч долларов в возмещение денег, которые он пятьдесят лет тому назад потратил на борьбу за независимость. Наша страна бедна, но она не любит оставаться в долгу. Генерал был чрезвычайно смущен, он хотел отказаться от дара, но ему сказали, что американцы обидятся.

Лина (*с горечью*). Он совершает триумфальную поездку, а Марселю и другим отрубили головы, оба Разведчика на каторге. Между тем главой заговора был Лафайет.

Джон. Королевское правительство не имело против него улик. Он ведь выехал в Бельфор с опозданием в один день, по дороге узнал о неудаче восстания и вернулся. К тому же в войнах главнокомандующие обычно остаются живы... Ангел мой, не вспоминай обо всей трагедии, это слишком ужасно. Генерал Лафайет — самый лучший человек, которого я когда-либо в жизни видел... Я купил в писчебумажном магазине плакат в его честь, пусть стоит на столе. (*Подает Лине картон со стихами.*)

Лина (*читает*).

Our fathers in glory now sleep
Who gathered with thee to the fight;
But the sons will eternally keep
The tablet of gratitude bright.
We bow not the neck
We bend not the knee;
But our hearts, Lafayette,
We surrender to thee¹.

Джон (*озабоченно*). Ты еще плохо произносишь

¹ Почили во славе наши отцы, сражавшиеся рядом с тобой. Но мы, сыновья, полны вечной к тебе благодарности. Мы не склоняем головы и не преклоняем колен, но наши сердца принадлежат тебе. Лафайет (*англ.*).

«ти-эйч». Надо... (*заглядывает в руководство.*) Надо выдвинуть кончик языка, слегка его распластать и втянуть назад. Это очень просто.

Лиана. Очень... У нас во Франции нет «ти-эйч».

Джон (*благодарно машет рукой*). Я знаю, я знаю, во Франции все самое лучшее.

Лиана. Ты убежден, что все самое лучшее в Соединенных Штатах, правда?

Джон. Да, потому что это действительно так, какой же тут может быть спор?.. Лиана, если тебе скучно, выписывай из Нью-Йорка книги. Почему ты больше не играешь? Помнишь, ты часто играла это (*берет гитару и напевает, перебирая струны*):

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,
Chagrin d'amour dure toute la vie...

Лиана (*поспешно*). Нет, не это!.. Это нельзя петь с твоим американским акцентом. (*Отбирает у него гитару.*)

Джон (*нерешительно*). Лиана, я сегодня проходил мимо нашей винной лавки и, представь себе, вижу две бутылки Кликко 1811 года. Помнишь, мы его пили у генерала в Лагранже.

Лиана. Помню!.. Ах, как тогда было хорошо!

Джон (*обиженно*). Да, но теперь гораздо лучше... Я подумал, не купить ли для сегодняшнего обеда, а? Как ты думаешь?

Лиана. Сколько они стоят?

Джон. То-то и есть: по шесть долларов бутылка!

Лиана. Шесть долларов! Тридцать франков! В Париже она стоила бы пятнадцать! Я давно говорю, что этот лавочник грабитель!

Джон. Почему грабитель? Ты забываешь фрахт, пошлины, расходы. И ему надо жить. Мы торгуем мехом, а он вином... Я куплю, а? Генералу будет приятен этот знак внимания.

Лиана. Неизвестно, останется ли он вообще обедать. Он сказал нам тогда на приеме в мэрии, что он придет «посидеть полчаса со старыми друзьями». Терпеть не могу, когда так принимают приглашения: сказал бы ясно, будет он обедать или нет. Я заказала Цезарю очень скромный обед: будут устрицы, черепаховый суп, форели, жареная ветчина, индейка, спаржа, холодная дичь, сыр, пирог с черникой, пирог с яблоками, больше ничего.

Джон. Маловато. А из напитков мы ему сначала дадим горячего пива с ромом.

Лина. Если ты дашь генералу Лафайету горячего пива с ромом, он тут же выплеснет тебе его в лицо. Он француз и знает толк в напитках.

Джон. Я пил ваши знаменитые вина, и, по-моему, горячее пиво с ромом гораздо вкуснее... Но тогда тем более необходимо шампанское. *(Нерешительно.)* Право, Лина, я пойду и куплю эти две бутылки.

Лина. Нет, не две: не более одной бутылки. Этого достаточно на трех человек. Шесть долларов бутылка! Мне весь обед обошелся в девяносто пять центов. А вот привозные продукты стали очень дороги. Ты не можешь себе представить, сколько в этом месяце ушло на кофе!

Джон *(весело)*. У вас, французов, бережливость в крови. Ничего, мы как-нибудь проживем, несмотря на кофе.

Лина *(с неудовольствием)*. «Бережливость, бережливость». Я достаточно натерпелась от бедности и больше ее не хочу... Ну хорошо, купи шампанского — одну бутылку. Когда принесешь, вели Цезарю опустить бутылку на веревке в колодец, чтобы вино остыло. Кстати, скажи ему... Или нет, это не твоего ума дело, пошли Цезаря сюда.

Джон *(еще веселее)*. Я гораздо умнее тебя, но допускаю, что в хозяйстве ты понимаешь больше. *(Целует ее.)* Сегодня в нашем доме будет генерал Лафайет! Для храбрости я выпью горячего пива с ромом. Или лучше горячего рома с пивом! Для храбрости и назло моей жене! Ты не хочешь меня поцеловать?

Лина. Не хочу, но могу. *(Целует его.)*

Джон. Ты меня безумно любишь, но ты еще больше любишь любовь. Ты не могла бы жить, если бы в тебя никто не был влюблен.

Лина. Ты так умен, что я просто дрожу от страха в твоём обществе.

Джон. Я не Наполеон, но это и слава Богу. Что бы ты делала с Наполеоном? А я люблю жизнь, люблю женщин, люблю природу, люблю спорт...

Лина. И горячее пиво с ромом.

Джон. И горячий ром с пивом. *(Целует ее еще раз.)* Тебе тоже надо пить: когда ты не пьешь, ты делаешься злая. *(Убегает.)*

Лина. Цезарь (негр).

Лина. Цезарь, сегодня не подавай к индейке ни сладкой картошки, ни кукурузы, ни майонеза с ананасным вареньем. Генерал Лафайет француз и знает толк в еде. Я надеюсь, Цезарь, что ты для этого гостя постарайся.

Цезарь. Я для него постарюсь. Говорят, он много для нас сделал. Он просил президента Вашингтона уравнивать всех негров в правах с белыми. Для него цвет кожи не имеет значения.

Лина. Никакого. Маркиз Лафайет — один из самых знатных людей в мире, но он и пятьдесят лет тому назад, и теперь везде здоровается с неграми за руку. И мы все, французы, такие.

Цезарь. Это хорошо. Тут ждет этот... (*презрительно*) краснокожий... Он принес мех.

Лина. Мушалатубек? Зови его сюда.

Цезарь выходит. Появляется старый индеец в индейском костюме. У него в руках связка шкур.

Лина. Индеец.

Лина. Здравствуй, Мушалатубек. Садись. Ну, покажи, что у тебя есть.

Индеец молча раскладывает перед ней шкуры. У нее разбегаются глаза.

Лина. Они недурны. Этот недостаточно темен... Все же, если не очень дорого, я взяла бы... Сколько ты хочешь за все?

Индеец. Пятьдесят.

Лина (*с притворным негодованием*). Пятьдесят долларов за этих несчастных соболей! Да ты с ума сошел! Им цена, самое большее, двадцать!

Индеец (*равнодушно складывает шкуры*). Не бери.

Лина. Постой... Куда же торопиться? Я тебе дам тридцать долларов... Да не хочешь ли ты выпить со мной виски? (*Индеец наклоняет голову в знак полной готовности. Лина наливает ему большой стакан. Хочет налить себе, колеблется и не наливает.*) Вот... Твое здоровье, Мушалатубек. (*Он пьет.*) Я тебе дам тридцать долларов и кое-что еще. (*Идет к шкафчику.*)

Индеец. У твоего чернокожего есть жена. Дай мне тридцать долларов и его жену.

Лина. Я тебе уже несколько раз говорила, что я людьми не торгую. Но вот что я тебе дам. *(Вынимает большую коробку разноцветных стеклянных бус и пересыпает их перед индейцем. У того так же разбегаются глаза, как у нее при виде соболей.)* Клотш? Чудные бусы! Ты можешь вставить их себе в уши или в нос или подарить их твоим женам. Они будут в восторге. *(С любопытством.)* Ты ведь любишь своих жен, Мушалатубек?

Индеец *(не удастаявая ее ответом)*. Дай мне еще.

Лина. Виски? Клотш! Вот. *(Наливает ему еще стакан.)* Так как же? Тридцать долларов и эта коробка бус.

Индеец. Тридцать пять, это и это. *(Показывает на бусы и на бутылку.)*

Лина. Ну хорошо, я согласна, хотя это страшно дорого.

Индеец. Торговать лучше с твоим господином. Он гордый, но щедрый. А ты не гордая, но скупая. У тебя сегодня будет белый старик?

Лина *(смеется)*. Да, будет белый старик. Об этом трубит весь город. Хочешь, я тебя с ним познакомлю?

Индеец. Я его знаю.

Индеец. Лина. Цезарь. Потом Лафайет.

Цезарь *(взволнованно)*. Приехал!.. Идет сюда!.. *(Из дверей высовываются чужие люди. Кто-то заглядывает в окно.)* Вот он! *(Открывает настежь дверь и остается на пороге.)*

Лафайет *(целует руку Лине)*. Здравствуйте, Лина. Надеюсь, я не опоздал?

Лина. Вы аккуратны, как король... Генерал, позвольте вам представить вашего поклонника, индейского вождя Мушалатубека. *(Лафайет крепко пожмает ему руку. Вполголоса Лафайету.)* Он вождь какого-то племени... Я забыла, как оно называется. Они последние из каннибалов.

Лафайет. Я очень рад.

Индеец. Я тебя видел пятьдесят снегов тому назад на поле Йорктауна. Мое племя было на стороне американцев.

Лафайет. Я очень рад. Мне приятно слышать, что вы любите ваших белых американских братьев.

Индеец. Мы их терпеть не можем.

Лафайет *(озадаченно)*. Зачем же вы им помогали?

Индеец. Мы еще больше ненавидим англичан.

Лафайет (*не знает, что сказать*). Мне очень приятно встретить старого боевого товарища.

Лина (*индейцу*). Белый старик... Белый вождь теперь самый знаменитый вождь на земле.

Индеец. Сколько у тебя скальпов?

Лафайет. О, не очень много.

Индеец. У меня шестьдесят восемь. Из них тридцать два английских. Я их не надел на пояс. (*Показывает презрительно на Лину.*) Она не любит. (*Лине.*) Дай мне еще.

Лина. Клотш. (*Лафайету.*) Это по-ихнему «хорошо». (*Хочет налить индейцу еще виски. Он мотает отрицательно головой и кладет руку на бутылку.*)

Индеец. Не это. Это я купил.

Лина. Верно... Клотш! (*Наливает ему из другой бутылки.*) Генерал, вы выпьете?

Лафайет. Клотш.

Лина (*наливает виски и ему*). Я знаю еще их слова. Деньги — это «чикамен». Друг — это «тилликем»... А когда им нечего сказать, они говорят: «этсин».

Индеец (*пьет*). Белый старик, да пошлет тебе Маниту скорую смерть.

Лафайет (*тоже пьет, не совсем довольный*). Этсин... Собственно, зачем скорую?

Индеец (*показывает на небо*). Там лучше. Там гораздо лучше.

Лафайет. Ты уверен? Что же ты там будешь делать?

Индеец. То же, что здесь. Но там всего будет больше. Охоты, войны, виски, скальпов.

Лафайет. Этсин.

Лина. Генерал, позвольте вам представить еще другого поклонника. Это наш повар Цезарь.

Лафайет привстает и подает руку негру. В дверях появляется Джон и с неприятным удивлением на это смотрит. Негр тотчас исчезает.

Лина. Индеец. Лафайет. Джон.

Джон. Генерал, я так счастлив видеть вас в моем доме! (*Холодно.*) Здравствуй, Мушалатубек. Ты как сюда попал?

Индеец (*встает и прячет бутылку и бусы в сумку, Лафайету*). Да ниспошлет тебе Маниту много добра. Скальпируй всех твоих врагов и иди туда продолжать свое дело. (*Показывает рукой вверх и, слегка поклонив-*

шись Джону, выходит. Лина идет за ним. В дверях.)
Если ты захочешь продать черную женщину, я куплю.

Лина (деловито). Ты возьмешь ее в жены или ты хочешь ее съесть? Мне очень жаль, но я не могу ее продать. Вот твой чикамен. (Отсчитывает ему деньги. Он тщательно проверяет ее счет.) Тридцать пять. Клотш? (Он выходит, не достаивая ее поклоном.)

Лина. Лафайет. Джон.

Лафайет (смеется). Братство народов наступит не завтра.

Джон. Братство белых народов уже наступило. Остальное придет в свое время.

Лина. Генерал, я надеюсь, вы пообедаете с нами.

Лафайет. Друзья мои, не могу. Сегодня опять обед в мэрии. Я зашел к вам лишь на несколько минут.

Джон (огорченный). Как жаль!

Лафайет. Мне самому очень жаль... Мог ли я надеяться, что здесь, в этом далеком штате, встречу вас, мое милое парижское дитя. Я был так изумлен, когда увидел вас на том приеме.

Лина. Вы меня даже, кажется, не узнали?

Лафайет. Что вы! Конечно, узнал. Мы не виделись после тех ужасных событий. Вы не можете себе представить, как меня потрясла казнь полковника Бернара и других наших друзей и товарищей. Почти все они, и, в частности, ваш покойный муж, вели себя на процессах героями.

Лина. Не будем говорить об этом, генерал.

Лафайет (поспешно). Да, не будем... Я знаю, многие обвиняли меня. Не только прохвосты, как барон Лиддеваль...

Лина. Барон Лиддеваль?

Лафайет. Был такой богач, темный человек. Этот циник очень хотел с нами связаться. Ему, я думаю, было все равно: стать придворным банкиром Бурбонов или министром финансов в моем кабинете. Он считал себя необыкновенно умным. Между тем в историческом масштабе эти люди необыкновенно глупы. Они ничего ни в чем не понимают, кроме как в темных спекуляциях.

Лина. Где же он теперь, этот... Как вы сказали? Лиддеваль?

Лафайет. Он проиграл в карты все, что у него было,

и куда-то скрылся... Но меня тогда ругали и порядочные люди. Они находили, что я должен был погибнуть вместе с другими. (*Говорит горячо — чувствуется, что это его мучит.*) Я спасся: правительство не имело против меня улики и не хотело возбуждать общественное мнение Соединенных Штатов, где меня ценят выше моих заслуг... Неужели эти люди вправду думали, что я боялся?! (*Очень недолгое молчание.*) Нет, я могу не опасаться обвинения в трусости. Но жизнь политического деятеля принадлежит не ему: несмотря на неудачи и поражения, он обязан жить для своего дела.

Лина. Я вас ни в чем не обвиняла, генерал. Я сама слишком во многом виновата, чтобы иметь право обвинять других, а такого человека, как вы, всего менее.

Лафайет. Вы виноваты? Не знаю, что вы хотите сказать.

Джон. Генерал, она ни в чем не виновата! После ареста полковника Лина два месяца лежала в горячке. Но зачем теперь говорить об этом ужасном прошлом? Генерал, вы оказали нашему дому честь... Такую честь, что... Извините меня, я не умею говорить. Нам так досадно, что вы не можете пообедать с нами! Тогда позвольте выпить шампанского за ваше здоровье. Я принесу вино. (*Выходит.*)

Лина. Лафайет.

Недолгое молчание.

Лафайет. Вы уехали в Америку тотчас после гибели Бернара?

Лина (*с откровенностью, неожиданной для нее самой*). Да... Я была сама не своя... Я хотела убить короля... Хотела убить еще одного человека. (*Лафайет удивленно на нее смотрит.*) Хотела покончить с собой. Но я ничего этого не сделала. Мне суждено всю жизнь *хотеть* необыкновенных вещей... Я и за Бернара вышла потому, что он показался мне необыкновенным человеком. И в заговор я пошла тоже из-за этого. Не сердитесь, я вам сочувствовала, но подумайте сами, какое мне, девчонке, было дело до государственного строя Франции!.. А уехала я в Америку на деньги того человека, которого собиралась убить!.. В жизни все гораздо менее красиво, чем в литературе... Чем в плохой литературе.

Лафайет. И в Америке вы полюбили Джона?

Лина. Он меня полюбил. Я не выношу одиночества... Впрочем, я его тоже люблю. Он прекрасный человек. Или, вернее, человек со многими прекрасными чертами. Вполне хороших людей ведь нет. Вполне дурные есть, но их мало.

Лафайет (*улыбаясь*). Это не очень новая мысль.

Лина. Но я пришла к ней своим горьким опытом.

Лафайет. Вы живете с ним счастливо?

Лина. Да. Торгуем с индейцами. Пользуемся их невежеством. Это никому не вредит, а нам с Джоном полезно. Я сегодня купила за тридцать пять долларов шкуры, которые стоят двести. Но если б индейцы получали за мех настоящую цену, они совершенно спились бы, все пошло бы на плохой спирт. Так пусть уж лучше деньги остаются у нас. Когда я выторговываю у них несколько долларов, я знаю, что сделала доброе дело: пьянства будет меньше. (*Задумывается на несколько секунд.*) Нет, я торгуюсь с ними не только для этого. Мне хочется возможно скорее накопить денег и переехать в большой город... Я стараюсь платить индейцам бусами: их на виски обменять нельзя, а удовольствия у них от бус много. Что ж, у них одни бусы, у меня другие, у вас, генерал, третьи: историческая слава.

Лафайет. Да вы философ, моя милая Лина.

Лина. Не улыбайтесь, какой я философ! Но я стараюсь жить своим умом, учиться у людей, учиться у жизни. Я теперь лучше, чем была. Я меньше пью и меньше лгу... Иногда я думаю целые ночи напролет. О многом. Думаю и о Рыцарях Свободы. (*Улыбается.*) О вас. Часто мне кажется, что вы во всем правы.

Лафайет. В чем я прав?

Лина. В вашем понимании жизни. А иногда мне кажется, что прав тот старый индеец.

Лина. Лафайет. Джон.

Джон (*входит с подносом; на подносе бутылка шампанского и три бокала*). Генерал, я так рад, так счастлив... Это Клико 1811 года. Вы помните?..

Лафайет (*с недоумением*). Помню — что? Это очень хороший год шампанского.

Джон. Мы пили Клико 1811 года в тот день, когда обедали у вас в замке Лагранж. И Лина, и я были

тогда в первый раз на заседании Ордена Рыцарей Свободы! Генерал, я предлагаю гост в память Рыцарей, в память Ордена!

Лафайет. Да, в память Ордена. *(Лицо его становится взволнованным и серьезным. Они пьют.)* В память Рыцарей... Многие из них погибли. Генерал Бертон, наш милый Марсель Бернар, еще другие были казнены. Доктор Каффе перерезал себе вены накануне эшафота. Наш бедный Первый Разведчик недавно умер в тюрьме. Все вели себя героями, все или почти все. Рыцарей Свободы было много, очень много, а предатель нашелся только один... Друзья мои, я понимаю, у вас остались о многом тяжелые мысли. После провала дела враги утверждали, что мы были болтунами, что мы умели только говорить, что мы не умели действовать, что поэтому дело окончилось разгромом, победой деспотов и угнетателей. *(Встает и в волнении ходит по комнате.)* Но разве дело кончилось? Разве деспоты победили? Они восторжествовали на десять, на пятнадцать, пусть на двадцать лет — потом они будут сметены. Они побеждены, потому что их идея мертва и ничтожна. Мы победили, потому что наша идея вечна: она отвечает самым святым, самым насущным, самым благородным требованиям человеческой природы. Вне этого нет ничего, кроме философии вашего людоеда-индейца. И то, чего со всем своим умом не понял Наполеон, то поняли безвестные, простые, быть может, порою и смешные люди, так смело назвавшие себя Рыцарями Свободы. Нет, это больше не смешно, это омыто кровью мучеников! Нет, не был смешон и наш ритуал с его простыми, прекрасными словами: «Вера. Надежда. Честь. Добродетель.»! *(Джон в восторге поднимает три пальца.)* Лина, Джон, на одном из банкетов во время моей поездки по вашей прекрасной стране кто-то произнес слово «лафайетизм». Я принимаю это слово как высшую честь, но с тем, чтобы в него вкладывали только один, очень прямой и очень простой смысл: любовь к свободе, борьба за свободу, жизнь для свободы. Пусть она проигрывает одну битву за другой — последняя битва будет выиграна! Рыцари Свободы погибли, — да здравствуют Рыцари Свободы! *(Пьет.)*

Джон. Генерал!.. Генерал, как чудно вы говорили! Я так счастлив! Я прибью дощечку к этому креслу, на котором вы сидели! Вы великий человек, генерал.

Лина (*она улыбается, но тоже взволнованна*).
Вы — Великий Избранник.

Лафайет (*смущенно смотрит на часы*). Этсин... «Великий Избранник» должен вас покинуть, друзья мои.

Джон. Генерал, посидите с нами еще хоть десять минут! Умоляю вас!

Лина. Нет, я не умоляю. После того, что вы сказали, после того, как вы это сказали, я не хотела бы говорить о погоде. Мы приедем проститься с вами в Нью-Йорк.

Лафайет. Я был счастлив, что повидал вас, друзья мои. Вы очень милы. (*Смотрит на Лину.*) Помните, что вы очень милы.

Выходят. Сцена остается пустой с минуту. Затем Лина и Джон возвращаются.

Джон. Он очарователен! Я никогда в жизни не видел столь великого человека!

Лина. Великий Избранник.

Джон. Лина, даю тебе слово, что мы в этой глуши останемся не больше года! Через год у нас будет тысяча пятьдесят долларов, это независимость, больше нам ничего не нужно. Мы переедем в Нью-Йорк.

Лина. И ты обессмертишь там свое имя, как ты когда-то мне говорил в замке Лагранж.

Джон. Я был тогда очень молод, замок Лафайета подействовал на мое воображение. Но я буду работать, я сделаю что могу.

Лина. Ну что ж, отлично. (*Подходит к двери. Зовет.*) Цезарь!.. Ты можешь дать к индейке сладкую картошку, кукурузу и ананасное варенье... Горячего пива с ромом больше не давай.

Джон (*обиженно*). Я выпил всего один стакан, правда большой. Если я пьян, то не от этого. И ты тоже иногда много пьешь.

Лина. Меньше, чем при Бернаре.

Джон. Опять Бернар! Лина, твой первый муж был герой, но зачем же так много говорить о нем, да еще в моем присутствии? Я не герой, но это потому, что в Америке теперь нечего делать героям. Поверь мне, если б я жил в пору нашей борьбы за независимость, я вел бы себя не хуже Бернара, а может быть, боролся бы и успешнее. Этот человек довел тебя до горячки и чуть не довел до эшафота. А я, простой, не сложный

американец, как-то наладил для тебя жизнь... Но ты все мечтаешь о необыкновенных вещах. Ты родилась в один день с Наполеоном.

Лина. И торгую мехом.

Джон. И ничего плохого тут нет. Если б ты только не старалась очаровать всякого мужчину! Ты сегодня старалась очаровать Лафайета. Скажи, ты никогда не пробовала очаровать Мушалатубека?

Лина (*смеется*). Ты глуп.

Джон (*обнимает ее*). Не думаю, не думаю. Но, во всяком случае, в отличие от Лафайета и Мушалатубека я люблю тебя... А ты меня еще любишь?

Лина. Да, да. Отстань.

Джон. Так же, как раньше?

Лина (*опять точно что-то вспоминая*). В десять раз больше. В сто раз больше. В тысячу раз больше.

VII.

— Совсем недурно! — сказал Альфред Исаевич менее равнодушно, чем полагалось бы по его системе. — Я вас поздравляю, совсем недурно!

Как на всех маловосприимчивых к искусству людей, на него прежде всего и больше всего действовал сюжет художественного произведения. Четвертая картина пьесы очень взволновала Пемброка. Ему было жаль рыцарей свободы. Выросло еще и его уважение к автору. «Вот я никогда ничего про этот заговор и не слышал, а он все это изучил и знает... И диалог живой, свежая струя... Очень культурный человек, настоящий русский интеллигент!» — думал Альфред Исаевич. Когда Лина бросила в окно цветы, Пемброк представил себе в этой сцене Ингрид Бергман и решил приобрести права. «Надо только ему сказать, что в этой сцене, когда Бертрана уводят, он должен за окном спеть «Марсельезу»! Будет чудная сцена!»

Пятая картина понравилась ему гораздо меньше. В ней были длинноты, она затягивала действие. «Если будем крутить фильм, это мы переделаем...» Теперь он уже обсуждал практическую сторону дела. «Пьеса будет стоить в долларах гроши, — думал он. — А если она будет иметь успех, то сделаем фильм. Но отчего бы ему не написать для меня современного сценария? И отчего бы ему вообще не поступить к нам на службу? Очень культурный человек».

Когда Яценко начал складывать листы, Пемброк вернулся к своей технике покупки сценариев.

— Я все же остаюсь при своем мнении: конфликта пока мало, — сказал он.

— Как? И четвертая картина — это тоже не конфликт? — воскликнула Надя.

— Если его *пока* мало, то больше ведь не будет: я прочел вам всю пьесу, — с приятной улыбкой сказал Виктор Николаевич.

— Возможны, однако, и переделки. В таком виде пьеса может и не иметь успеха.

— Значит, вы не склонны ее поставить?

— Я этого не говорю. Я имею в виду ваш собственный интерес... Вы согласились бы на опцион¹, скажем, на два месяца?

— Это чтобы Виктор был связан, а вы нет? — сердито спросила Надя. Альфред Исаевич примирительно улыбнулся.

— Какая она горячая!.. Повторяю, пьеса очень интересна. Но у нее есть большие недостатки. О конфликте я уже сказал. Затем Лафайет появляется только в трех картинах и не появляется в самой главной. Его роль, согласитесь, не очень благодарная и уж совсем без конфликта. Он у вас просто хороший старик.

— Просто хороший старик! — с негодованием повторила Надя. — У него отличная роль! Он в пьесе как живой!

— Я живого Лафайета не знал. Но его роль, конечно, надо развить. Нельзя ли было бы сделать так, чтобы он тоже приехал в Сомюр?

— Этого никак нельзя сделать, потому что он в Сомюр не приезжал, — сказал Яценко.

— Какое это может иметь значение! Ведь вы написали не исторический трактат. А самое лучшее было бы, конечно, чтобы он и сам был влюблен в эту Лину, а?

— Помилуйте, Альфред Исаевич, что вы говорите! — сказала возмущенно Надя.

— Что же тут такого? Ему тогда было лет семьдесят?

— Как вам теперь, Альфред Исаевич.

— Увы, как мне теперь, honey, — благодушно согласился Пемброк. — Но у такого Лафайета могло быть больше темперамента, чем у старого еврея-про-

¹ От *лат.* optionis — оговорка в договоре.

дюсера. Это сразу создало бы отличный конфликт. Не сердитесь, дорогой Виктор Николаевич. Вы не должны скрывать от себя, что, при всем вашем таланте, вы еще новый человек и в театре, и в кинематографе. Пусть не влюбляется! Но вы готовы продать и фильмовые права на пьесу?

— Отчего же нет?

Пемброк задумался.

— Знаете что? Условимся так. Я месяца через два собираюсь поехать в Нью-Йорк. Там я выясню вопрос, можно ли сделать фильм из вашей пьесы. Если будет признано, что это возможно, и, разумеется, если мы тогда сговоримся об условиях, то мы сделаем фильм. Можно будет его крутить в таком милом, старомодном стиле: все маленькое, маленькое и архаическое. Знаете, когда на экране показывают аэроплан, какой он был сорок лет тому назад, или допотопный автомобиль, или поезд, в зале всегда хохот! Это всегда имеет огромный успех. Но пока до фильма еще далеко. Пока можно будет поставить пьесу во Франции, в театре, это небольшое дело, такой риск я могу взять на себя... Надо будет даже сделать кинематографический декупаж¹ по вашей пьесе. Я всегда все лучше вижу по декупажу.

— Я никогда декупажей не писал и даже не совсем себе представляю, что это такое. Но я мог бы попробовать, — нерешительно сказал Яценко.

Альфред Исаевич поднял глаза к потолку.

— Он хочет делать декупаж! Он умеет делать декупаж!.. Я работаю в кинематографе тридцать лет и не только не умею делать декупаж, но я еще в жизни не видел автора, который умел бы делать декупаж. Сам Хемингуэй не мог бы делать декупаж!

— Я никоим образом не могу согласиться на переделки.

— Зачем же сразу обижаться? Вот так они всегда, писатели! — жалобно обратился Альфред Исаевич к Наде. — Сначала все они говорят, что они нисколько не обидчивы, и просят высказываться совершенно откровенно, а затем, если у них специалист экрана хочет переставить одну запятую, они поднимают скандал!

— Против запятых я возражать не буду, но сколько-нибудь значительные переделки для меня неприемлемы.

¹ От фр. *découpage* — раскадровка.

— Если мы сговоримся о фильме, то вы будете работать совместно с декупажистом. Пока будем говорить о пьесе. Ведь вы же хотите, чтобы Надя сыграла Лину? Вам лично все равно, поставлю ли я вашу пьесу или нет, я вижу, — дипломатически сказал Пемброк, — но другой продюсер может Надю не взять. Со всем тем, я не настаиваю.

— Хорошо, значит, вы берете пьесу, Альфред Исаевич? — вмешалась Надя, мучительно боявшаяся, что дело может расстроиться.

— Я вам сказал, что я хотел бы получить опцион для кинематографа. И чтобы показать вам «серьезность моих намерений», как говорят в брачных объявлениях, я был бы готов заплатить небольшую сумму при получении опциона.

— При этом я предполагаю, что мы в одном заранее согласны: роль Лины будет играть Надя? — спросил Яценко. — Это мое неперемнное условие.

Альфред Исаевич вздохнул.

— В пьесе — да, но не в фильме. Look, я верю в ее талант. Скажу вам обоим правду. Пьеса это для меня вообще незначительное дело, но в фильме успех на три четверти зависит от ведетты¹. Если главную женскую роль играет красавица и знаменитость, то успех почти обеспечен даже при очень среднем сценарии. Вы, дорогая, красавица, но вы еще не знаменитость... Можно это сказать или вы тоже обидитесь?

— Нет, я не обижусь, милый Альфред Исаевич.

— Ну вот, теперь «милый Альфред Исаевич», а только что у вас был такой вид, что я боялся, что вы мне выцарапаете глаза. В кинематографе риск всегда большой, при самом лучшем сценарии. Не скрою, что мне придется вложить немало своих собственных денег. Под Кэтрин Хепберн любой банк мне дал бы любой аванс.

— А меня, значит, еще нельзя заложить в банке?

— Еще нельзя, — подтвердил Пемброк. — Я постараюсь достать хорошего Бертрана...

— Бернара.

— Бернара, виноват. Может быть, под хорошего Бернара банк что-нибудь и даст. Дистрибутеры² у меня обеспечены. Но о фильме я пока говорю только

¹ От фр. *vedette* — кинозвезда.

² От англ. *distributor* — кинопрокатчик.

теоретически. И не надейтесь, что я вам заплачу миллионы.

— А мы именно надеялись, Альфред Исаевич.

— Напрасно, милая. Такой фильм будет стоить очень дорого, даже если крутить во Франции. Студия обойдется миллионов в двенадцать, техническая экипа миллионов шесть, пленка и лаборатория миллиона в четыре, страховка — считайте столько же, если не больше. А статисты? Подумайте, сколько статистов нужно для вашей пьесы! Где я возьму дешевых рыцарей свободы! Все рыцари свободы состоят в юнионе¹ и делают с нами что хотят. У них там два разряда: простые *figurants* и *figurants intelligents*², это те, которые произносят одно или два слова. За это они берут по две тысячи в день. Еще слава Богу, что в вашем сценарии никто не плавает!

— Не плавает?

— Если нужны статисты, умеющие плавать, *les figurants à mouiller*, то это просто разорение!.. А железная дорога? А костюмы? А налог? А *frais de régie*³? Мне общие расходы влетели бы миллионов в пятнадцать! Что же остается для артистов?

— И для автора, — вставила Надя.

— Авторы во Франции самый маленький расход. Сколько вы хотите за опцион, Виктор Николаевич?

— Он хочет много, но он не умеет торговаться. Я тоже не умею. Мы оба полагаемся на вас, — сказала Надя. — Я знаю, что вы ни его, ни меня не обидите. Вы друг, вы русский человек, вам известно, что я хочу уехать в Америку и что денег у меня немного.

— Look, какая она умная, Виктор Николаевич! — сказал Пемброк. — Всякая другая артистка решила бы, что продюсеру не надо говорить, что у нее мало денег: с продюсерами надо разговаривать так, как будто у нее на текущем счету миллион долларов. А эта умница Надя знает, как ко мне подойти. Она знает, что я не только продюсер, но и старый русский интеллигент. That's right, я действительно вас обоих не обижу. Поверьте мне на слово: опцион, если ненадолго, обычно берется бесплатно. Много, если дадут сто тысяч франков. А я вам дам, Виктор Николаевич, при

¹ От *лат.* *unio* — профсоюз.

² Статисты, образованные статисты (*англ.*).

³ Расходы на постановку (*фр.*).

заключении опциона, двести тысяч. Если мы решим крутить фильм, то тогда договоримся об окончательных условиях. А если нет, то сговариваться будет не о чем: авторский гонорар от постановки пьесы в каком-нибудь французском театре не покроет, вероятно, и двухсот тысяч франков.

— Это неизвестно, — сказала Надя. — Но мы хотели бы знать, во-первых, какие условия будут, если вы сделаете фильм.

— Она практичная. Ну, что ж, вы имеете право представлять вашего жениха.

— Я его и представляю, он совсем непрактичный.

— Еще раз, дети мои, — сказал Альфред Исаевич («Мы уже его дети», — подумал Яценко, впрочем, благодушно), — не поймите моих слов неправильно. Я в кинематографе решительно ничего не обещаю. Исторические фильмы теперь не в моде.

— Мы понимаем, но все-таки. Если вы приобрете фильмовые права, сколько вы ему заплатите?

— Я ему доплачу еще восемьсот тысяч франков! — сказал Пемброк с таким видом, точно бросался в воду с целью самоубийства. — Еще восемьсот тысяч франков! Следовательно, вместе с опционом, миллион.

— Альфред Исаевич, но ведь это только две тысячи долларов, — сказала Надя.

— Милая, вы пока не в Америке, а во Франции. Во Франции миллион франков это миллион франков. Спросите кого угодно в Париже, заплатит ли кто-нибудь миллион франков за сценарий — извините меня, это так, — за сценарий очень талантливого, но еще неизвестного автора. Я могу за пятьсот тысяч купить любой роман Мопассана или Золя! Да, Эмиля Золя! — почему-то с угрозой в голосе повторил Пемброк. — Вы, может быть, слышали, что Хемингуэй или Стейнбек получают за их романы в Голливуде по двести тысяч долларов? Но вы их спросите, сколько они там получали в начале своей карьеры!.. Вот переходите к нам, Виктор Николаевич, займитесь кинематографом по-настоящему, изучите его, станьте кинематографическим человеком, тогда вы будете хорошо зарабатывать, даю вам слово Пемброка! — Он вопросительно смотрел на Яценко. — Ну, хорошо, это было «во-первых», а что «во-вторых»?

— Во-вторых, это то, что, как это вам ни неприятно, на свете существуют еще и я. Сколько вы заплатите мне?

— Милая, я вам роли Лины в фильме не дам. Я не могу рисковать сотнями тысяч долларов, ставя фильм без ведетты. Но я вам обещаю, что в пьесе вы будете играть Лину. Если же вы в пьесе будете иметь большой успех и если вы действительно будете говорить по-английски как американка, то... То мы увидим.

— А мой аванс?

— Я думал, что у вас общий карман, sugar plum. Ну, хорошо, не плачьте, я вам дам под пьесу аванс в сто тысяч, только потому, что вы со мной разговариваете не как с акулой капитализма, а как со своим братом. Хорошо? Виктор Николаевич, дайте мне вашу рукопись, я ее увезу в Париж. И не говорите, что это ваш единственный экземпляр! Все авторы почему-то клянутся, что отдают свой единственный экземпляр и что, кроме того, им необходимо получить ответ не позже четверга. Это *не* ваш единственный экземпляр!

— Я и не клянусь. У меня даже есть три копии.

— Значит, он еще не совсем настоящий автор. Но он скоро им будет. Сознайтесь, Виктор Николаевич, что вы уже пишете второй сценарий... Виноват, вторую пьесу.

— Действительно пишу. Но она вам не подойдет.

— Почему?

— Почему?.. Ну, об этом сегодня говорить поздно. Вы, верно, уже достаточно утомлены первой пьесой.

— Вторая тоже историческая?

— Нет, современная.

— А, это очень интересно. Я хотел бы с ней ознакомиться. Правда, сейчас действительно поздно, но в Париже мы должны с вами поговорить и о второй пьесе, и о кинематографе вообще. Я к вам приду в Разъединенные Нации.

— Приходите. Вместе там позавтракаем.

— Непременно. Вас там легко найти? Там ведь работают тысячи людей... Что, скажите, будет война или нет?

— Этого не знаю не только я, этого не знает и президент Трумэн.

— А знает только дядя Джо? Я тоже так думаю. Вдруг нам всем осталось жить три месяца, а мы говорим о пьесах и фильмах! А может быть, мы кончим, как этот ваш полковник. — Альфред Исаевич почему-то невлюбил полковника Бернара; теперь мысленно называл его сенбернаром. — Так вы в принципе не прочь работать для кинематографа?

— В принципе не прочь.

— That's right. Ох, эти авторы, они, Наденька, еще хуже вас, актеров! А казалось бы, что может быть хуже вас, а? Выпьем, дети мои, еще портвейну за вашу будущую славу!

— That's right, — сказала Надя. Она была в восторге.

VIII.

— Вы честный человек, господин Норфольк, но работать с вами очень трудно, — сказал грубым тоном ювелир.

— Почему, если смею спросить?

— Прежде всего, вы слишком много говорите.

— Этот недостаток я за собой признаю. Что прикажете, у меня в жизни остались только два удовольствия: пить и болтать. И еще, разумеется, делать добро людям. Продолжайте со мной работать, и я обещаю, что буду с вами нем как рыба.

— Если б еще вы говорили как приличествует деловому человеку! Но у вас очень злой язык, вы всех ругаете.

— Вовсе не всех. Многих, а не всех. Слышали ли вы, например, чтобы я ругал Ганди?

— Вот видите, что вы болтун. При чем тут Ганди? Я ювелир, вы комиссионер по продаже драгоценностей, так говорите о драгоценностях, а не о Ганди. Вы продаете очень мало, а болтаете всякий раз два часа. Я вам назвал крайнюю цену брошки.

— А я вам сказал, что по этой цене такую брошку продать нельзя. Уступите еще немного.

— Больше я ни одного сантима не уступлю! — сказал ювелир. Дверь отворилась. В магазин вошла молодая красивая дама в черном костюме. Ювелир профессиональным взглядом тотчас признал в ней не покупательницу, а продавщицу. Однако продавщицы на Ривьере часто бывали выгоднее покупательниц.

— Чем могу служить, сударыня?

— У меня к вам просьба. Не можете ли вы оценить эту вещь? — сказала дама и сняла с шеи ожерелье. Она говорила по-французски хорошо, но с легким, не слишком неприятным акцентом. «Полька или русская? — спросил себя Норфольк. — Я ее видел в казино. Иг-

рала и проигрывала, но очень скромно». Ювелир с неудовольствием на него оглянулся. Старик сделал вид, будто рассматривает часы под стеклом.

Ожерелье было из десяти больших бриллиантов. Ювелир внимательно их осмотрел, подошел к окну, затем вернулся и достал лупу.

— Вы желаете, сударыня, чтобы я произвел настоящую экспертизу? С целью продажи?

— Я еще не знаю, продам ли я их, — поспешно сказала дама. — Пока я хотела бы узнать приблизительно, сколько можно получить за это ожерелье.

— Я понимаю, — сказал ювелир. Так часто говорили клиентки, проигравшие на Ривьере много денег, но еще не все, что у них было: надеялись отыграться и на всякий случай оценивали свои камни. Ювелир достал щипчики, еще какой-то инструмент, измерил каждый камень отдельно, что-то записывая на листке блокнота.

— Качество бриллиантов недурное, но не первоклассное, — сказал он. — На двух есть пятна. Один желтоват... Конечно, это хорошее ожерелье. Такие камни на любителя можно расценивать тысяч в сто двадцать за карат. При некоторой удаче вы могли бы, пожалуй, получить около трех миллионов. Теперь в Ницце есть любители. Если вы хотите знать цену более точно, то я должен вынуть камни из оправы, точно взвесить их и рассмотреть как следует... Вам, конечно, известно, что при покупке драгоценностей мы должны соблюдать некоторые формальности, — вставил ювелир. — Вам надо было бы оставить это ожерелье для продажи на комиссионных началах, не торопясь. Вы не склонны это сделать?

«Все равно будет плохо, но я еще подожду», — тревожно подумала она. Неопределенное предчувствие каких-то больших несчастий почти никогда ее не покидало.

— Не сейчас. Очень вас благодарю. Пожалуйста, извините, что отняла у вас время.

— Я весь к вашим услугам. Наша фирма может вам предложить условия, каких вы нигде в другом месте не получите. Покупатель скоро найдется.

— Я обращусь к вам, если решусь продать, — холодно сказала дама и вышла, кивнув ювелиру головой. На улице она сначала пошла в одну сторону, затем остановилась и повернула в другую. «Чуть было не продала! Это ужасно!» — сказала она себе и вошла

в кофейню, еще пустую в утренний час. Она села в углу. К ней подошел лакей. Она смотрела мимо него своим невидящим взглядом.

— Дайте мне кофе.

— *Настоящего* кофе? — спросил лакей.

— Да, настоящего. У вас есть американские папиросы?

Лакей кивнул головой с видом заговорщика и отошел. В кофейне появился Норфолк. Он поклонился даме и занял место за соседним столиком. Дама не ответила ему на поклон, как будто даже его не заметила.

— Пожалуйста, извините меня, — сказал старик. — Вы догадываетесь, что я зашел сюда не случайно. Мне хотелось...

— Мне совершенно не интересно, *что* вам хотелось, — сказала дама. Лицо у нее вдруг исказилось злобой. — Я терпеть не могу пристающих к женщинам людей, особенно стариков. Прошу вас оставить меня в покое!

Несмотря на всю свою самоуверенность, Норфолк немного смутился.

— Вы меня не поняли, — сказал он, оглядываясь. Около них никого не было. — У меня к вам есть дело... Я состою на полуполицейской службе.

— Что вам нужно? Что такое *полуполицейская* служба? Если вы сыщик, то потрудитесь показать ваш билет.

— Билет мне показывать незачем, даже если б он у меня и был. Пожалуйста, не пугайтесь, я просто...

— Я не из пугливых, и мне пугаться нечего. Что вам угодно?

— Я хотел сказать вам, что вы могли бы продать бриллианты выгодно.

— Ах, вот что!.. А какое вам до этого дело? При чем тут полиция? — спросила она несколько менее резко.

— Я состою наблюдателем в игорном доме и имею большой опыт по продаже драгоценностей. Это лишь полуполицейская служба, хотя, не скрою, я был когда-то и сыщиком.

— Очень рада за вас, но меня ваша биография не интересует.

Он усмехнулся. Теперь был уверен, что она разговора не оборвет.

— У вас, верно, восточноевропейский предрассудок против полиции. Вы полька?

— Нет.

— У вас очень легкий славянский акцент, твердое «р» Значит, вы русская?

— Да, русская.

— Меня зовут Макс Норфольк. Разрешите дать вам мою карточку, на ней адрес и телефон.

— Зачем мне ваша карточка? Перейдите, пожалуйста, к делу, если у вас есть дело.

— Вы хотите продать бриллианты. У скупщиков драгоценностей есть две системы. Одни назначают клиенту вдвое меньшую цену, в надежде, что клиент совсем дурак или очень спешно нуждается в деньгах. Другие, напротив, оценивают камни очень высоко, но говорят, что могут принять их только на комиссию. Это называется *baggage*¹. Вы тогда ни к кому другому не обратитесь, будете ждать и ходить к нему, он вас будет томить, томить — «нет покупателей», — а потом предложит купить за гораздо меньшую сумму. Вам повезло, вы обратились к честному ювелиру. Но и он все-таки не Ганди. Все люди честны до какой-нибудь суммы. Он честен до пятисот тысяч франков.

Она усмехнулась.

— А как же надо было поступить, если бы я хотела продать ожерелье?

Норфольк ничего не ответил. К ним подходил лакей с подносом. «Курит американские, франков двести пакет. Значит, не то чтобы сидела без гроша... Оставила на чай двадцать франков. Не знает, что в Ницце на чай включается в плату. Приезжая».

— Дайте мне рюмку коньяку, — сказал старик и подал даме зажженную спичку. Дама затянулась раза три, затем, не погасив, бросила папиросу в пепельницу. — На Ривьере вообще невыгодно продавать драгоценности. В Париже вам дали бы немного больше. Конечно, если это очень спешно, если, например, вы проигрались в рулетку, тогда другое дело? — полувопросительно прибавил он.

— Я не проигралась и не могла проиграться, так как я не играю.

«Врет без необходимости. Скучная порода», — подумал Норфольк.

— Вот как? Тогда здесь бриллиантов не продавайте. Лучше заложите их в ломбарде. Я мог бы для вас

¹ Заграждение (*англ.*).

это сделать, и я в таких случаях беру за комиссию совершенные гроши. Процент в ломбардах небольшой. Если же вы хотите продать, то я могу это для вас сделать лучше, чем сделает тот ювелир.

— А вы Ганди?

— Нет, — ответил он смеясь. — Но вам не надо будет давать мне ожерелье на руки, я буду только вас сопровождать. Так вы русская? Я очень люблю русских. Может быть, вы еще вдобавок и еврейка?

— Нет, я не еврейка. Почему вы думаете, что я еврейка?

— Я не думаю, я просто спросил... Лучшие люди, каких я знал, были евреи. Худшие, каких я знал, были тоже евреи. Вы эмигрантка или советская?

— Да что вы меня допрашиваете! Я русская, и только... Русские спасли в эту войну мир, — с вызовом сказала она.

— В каком-то смысле они спасли мир. В каком-то другом смысле они его, быть может, и погубят. Это выйдет симметрично... Так вот, право, лучше заложите бриллианты. Я вам устрою большую ссуду. Потом вы их переведете в парижский ломбард... Или выкупите, — с сомнением сказал Норфольк, — и продадите там. Вы все спрашивали, какое мне дело. Во-первых, я с вас возьму небольшую комиссию. Во-вторых я окажу вам услугу. В-третьих, я сделаю неприятность этому ювелиру, который без всякой причины был со мной груб. Я люблю платить долги. Не забываю ни услуг, ни обид, как «мул папы» в превосходном рассказе Альфонса Доде: погонщик раз его ударил, мул затаил обиду и через семь лет изо всей силы его лягнул.

Она смеялась, теперь уже весело. «Смех у нее очень приятный, почти детский, — подумал он. — А глаза просто замечательные. Жаль, что немного навывае». ».

— Так что и мне теперь будете мстить? За то, что я была резка?

— О нет! Мое правило не распространяется на красивых женщин, — галантно сказал Норфольк.

— Мул Доде умный. Так и надо. Я тоже такая.

— Это нехорошо. И я таков, но считаю это большим грехом. Постарайтесь изменить характер. Мне поздно, а вам как раз пора. Так вы советская?

— Только по духу. По паспорту я эмигрантка, но сочувствую коммунистам, по крайней мере во мно-

гом, — с таким же вызовом сказала она. — Вам это не нравится?

— Нет. Но мне нравится то, что вы откровенно это говорите: не все теперь это сказали бы, да еще незнакомому человеку, да еще состоящему на полуполицейской службе... Так как же: хотите, чтобы я вам помог заложить бриллианты?

— Нет. Я не намерена ни закладывать их, ни продавать.

— Зачем же вы ходили к ювелиру?

Дама засмеялась еще веселее. «Уж не пьяна ли?» — с все росшим любопытством подумал Норфольк. Он раздавил в пепельнице ее курившуюся папиросу.

— Не продала же и не продам! Сколько бы вы меня не уговаривали!

— Я вас и не уговариваю. Значит, мне не судьба заработать на вас.

— Именно не судьба... А вы знаете, что такое судьба?

— Нет. Никто этого не знает. «Не полоумная ли?» — подумал старик.

— А вот я знаю! Знаю и то, что от судьбы спастись никто не может.

— Так говорят люди, страдающие навязчивыми идеями. И они обычно добавляют: “C'est plus fort que moi”¹. Это вздор.

— Вы думаете?.. Нет, я бриллиантов не продам. Я зашла к ювелиру только для того, чтобы он их оценил.

— Понимаю. Но если вы передумаете, то позвоните мне до девяти часов утра. Вы теперь знаете мое имя. Я не имею честь знать ваше, — сказал он опять с вопросом в интонации. Дама, однако, ему своего имени не назвала. Она допила кофе.

— Я не передумую... А если я спросила вас не по делу, то это потому, что вы показались мне не банальным человеком, — сказала она и, еле простившись, вышла из кофейни. Он разочарованно смотрел ей вслед. Ему очень хотелось поболтать. «Она под Марлен Дитрих. И ходит как Марлен, когда та медленно, демонически надвигается на мужчину с края экрана». По его мнению, почти все молодые женщины были под какую-нибудь кинематографическую артистку. Ему больше всего нравились те, что были под Барбару Стенвик.

¹ «Это сильнее меня». — Пер. с фр. автора.

Часть вторая

I.

В самый день своего возвращения в Париж Яценко отправился к Дюммлеру. Надя в Ницце шутила, что он помешался на этом старике: так много он о Дюммлере рассказывал. «Я действительно никогда в жизни не встречал столь замечательного человека», — отвечал Яценко.

Николай Юрьевич Дюммлер был в свое время очень известен, но в значительной мере пережил свою славу. Он больше не писал, а его прежние ученые книги давно вышли из продажи. Свои статьи он в былые времена печатал в журнальчиках, которые теперь можно было разве чудом найти в рабочих кварталах Парижа. Молодое поколение и не знало, к какой именно политической группе он принадлежал или принадлежит. Смутно помнили, что он был в свое время связан тесной дружбой с князем Кропоткиным, с Элизе Реклю, и больше по этой причине считали его анархистом. В царское время он не был эмигрантом: жил обычно в Париже, но до революции наезжал в Россию. Говорили, что он сын давно забытого русского сановника и что у его матери был когда-то в Петербурге великосветский «салон». Отчасти благодаря этому салону он знал и людей консервативного круга; встречался с великими князьями, был знаком с кронпринцем Рудольфом и где-то однажды разговаривал с Бисмарком.

Известность Дюммлера держалась отчасти на его приемах. В былые времена в его доме на авеню де ля Обсерватуар собиралось много людей. Теперь он был очень стар, средства у него оставались лишь самые незначительные, дом он давно продал, сохранив в нем для себя квартиру из двух комнат в нижнем этаже. Прислуги не держал — по утрам к нему приходила уборщица, готовившая ему и обед, который он сам разогревал. По понедельникам среди его гостей бывали обычно молодые дамы, и он отечески ласково присил ту или другую из них исполнять обязанности

хозяйки. Посещали его ученые, писатели, левые политические деятели; бывали и совершенно неизвестные люди, порою довольно мрачного вида, вызывавшие тревогу у других.

Некоторые знакомые говорили, будто ходят к Дюммлеру по чувству долга: нельзя совершенно забывать старика. В действительности у него и теперь бывало приятно и интересно. На вид, как все говорили, ему нельзя было дать больше семидесяти лет. Его миновало обычное проклятие глубокой старости: глухота. Умственные его способности почти не ослабели. Когда-то он даже в Париже считался замечательным *causeur*'ом¹. Теперь Дюммлер с улыбкой просил гостей останавливать его, если он впадет в старческую самодовольную болтовню, но никогда в нее не впадал, хотя часто беспорядочно перескакивал с одного предмета на другой. Говорил он тише, чем прежде, однако в нем чувствовалась та напористость, то умение не дать слушателю возможности заговорить, которая составляет особенность *causeur*'ов. Он очень много знал, встречал в своей жизни множество знаменитых людей, и его гости часто поднимали глаза к потолку или с улыбкой разводили руками, когда он к слову сообщал: «Золя мне рассказывал» или «Я это слышал когда-то от Гладстона»... Обычно он говорил о знаменитых людях с ласковым юмором, отдавая им должное. Но иногда рассказывал о них не слишком почтительные анекдоты. Некоторым новым знакомым Дюммлера не очень нравился его тон снисходительного гран-сеньора.

Остатки состояния все еще позволяли ему оказывать некоторую помощь нуждающимся людям. Это он делал всегда в совершенной тайне. Кому-то сказал, что распределил остатки капитала так, чтобы их хватило еще на десять лет: «Как это ни невероятно, но ведь я могу дожить и до совершенно неприличного возраста, — не протягивать же тогда руку за подаванием». Дюммлер всю жизнь был окружен людьми, которые именно подаванием и жили, и не только в мыслях не имел презирать их за это, как их в душе презирают многие благотворители, но даже почти не жалел их: столь естественным ему казалось, что бедные люди могут и должны брать деньги у богатых. Однако его

¹ Рассказчик (*фр.*).

самого действительно трудно было бы себе представить в роли человека, обращающегося к другим за помощью для себя.

Стены его большого кабинета были обиты красным шелком, пол был покрыт красным сукном, на клубных покойных креслах лежали красные подушки. Это преобладание красного цвета вызывало удивление у новых гостей, а некоторыми даже ставилось в связь с его политическими убеждениями. Он, улыбаясь, это отрицал. «Знаю, многие находят убранство моей комнаты безвкусным, — говорил он, — но что ж делать, мне физиологически приятно все красное». Вдоль двух длинных стен тянулись книжные полки красного дерева, но не до потолка, как у других владельцев больших библиотек, а лишь на высоту человеческого роста, так что любую книгу можно было достать, не становясь на стул или на лесенку. Дюммлер безошибочно знал, где у него находится каждая из его книг. Над полками висели гравюры и фотографии, изображавшие разных писателей, преимущественно революционных. Тут были Франклин, Кондорсе, Вольтер, Руссо, Прудон, Лелюэль, Толстой, Бакунин; не было не только Ленина, но и Робеспьера, Дантона, Желябова. Он объяснял это тем, что, хотя невозможно проводить строгое разграничение между людьми мысли и людьми дела, у него душа лежит преимущественно к первым. На вопрос, почему в его коллекции портретов нет Маркса и Энгельса, Дюммлер отвечал неохотно. В углу кабинета стоял рояль, а между высокими окнами огромный письменный стол, на котором все находилось в совершенном порядке. Сбоку на столе стояла фотография не очень молодой красивой дамы. Это была его мать. О ней он никогда ничего не говорил.

— Как съездили? — спросил Дюммлер, садясь с Яценко в кабинете за стол, на котором стоял кофейный прибор. У старика вид был утомленный. Виктору Николаевичу показалось, что он не сразу его узнал: в передней с полминуты смотрел на него удивленно; затем на лице у него появилась благожелательная ласковая улыбка. — Давно ли приехали? Выпьете чашку кофе? Мне прислали несколько фунтов из Америки почитатели. — Он усилением улыбки и интонацией подчеркнул последнее слово, показывая, что не принимает его всерьез. — А кофе — это и моя слабость, и моя специальность. Помните у Вольтера: «Кофе долж-

но быть черно, как дьявол, чисто, как девственница, и горячо, как ад».

Он беспрестанно цитировал изречения, особенно слова тех знаменитых людей, которых знал лично. Некоторые его гости находили, что Дюммлер злоупотребляет цитатами.

— Нет, благодарю вас, я только что пил, — сказал Яценко, чтобы не утомлять старика. — Как вы себя чувствуете?

— Отлично. Пока замечаю за собой лишь легкое увеличение сонливости, все боюсь задремать в обществе. — Он засмеялся. — Мой покойный приятель Артур Бальфур постоянно засыпал на заседаниях Парижской мирной конференции 1919 года. Не то чтобы он был так стар, но, вероятно, ему при его философском складе ума все там происходившее казалось чрезвычайно скучным и ненужным. Разумеется, он был совершенно прав. Случилось так, что итальянский делегат Титтони попросил Клемансо назначить заседания не раньше половины четвертого, ему врач велел отдыхать после завтрака. Американский же делегат Полк просил заканчивать заседания не позднее половины седьмого: он привык отдыхать перед обедом. Клемансо сказал: «Отлично. Значит, заседания будут начинаться в 3 часа 30 и кончаться в 6.30. Таким образом, господин Титтони будет спать до заседания, господин Полк после заседания, а господин Бальфур во время заседания...» Ну, хорошо. Что ж, вы привезли в Париж вашу невесту?

— Нет, она предпочитает оставаться в Ницце. Там жизнь дешевле.

— А ее развод?

— Все то же. Пока никакого движения.

— Я вас ждал в понедельник. Мои понедельники становятся все менее многолюдными.

— Если вы позволите, я в следующей понедельник приду. Но я заехал сегодня днем потому, что хотел с вами поговорить наедине.

— Весь к вашим услугам. Верно, о вашей пьесе? Я ее прочел с исключительным интересом. Искренне вас благодарю за доставленное мне удовольствие.

— Я пришел не для этого, но уж если вы заговорили о моих «Рыцарях Свободы», то мне, разумеется, очень хотелось бы узнать, что вы о них думаете. Я и не надеялся, что вы прочтете так быстро.

— Ваша пьеса очень интересна. Немножко старомодна и чуть-чуть «фряжского письма». Кое в чем она напоминает Сарду... Это похвала, так как он был великий мастер сцены. Не поймите меня дурно, я прекрасно понимаю разницу: Сарду все строил на действии, а о правдоподобию характеров заботился очень мало, тогда как вы, отставая от него по напряженности фабулы, больше всего заботитесь о том, чтобы люди были живые. И они действительно у вас вышли живыми, особенно Лина... Быть может, я этого не сказал бы о вашем Бернаре: это не художественный портрет, а, скорее, остеология¹ — в искусстве вещь недостаточная. Он без теней и перспективы, как живопись на египетских саркофагах... Немецкий поэт Фридрих Геббель говорил, что трагедия возможна лишь в такие периоды, когда в истории сталкиваются два мощных принципа. Следовательно, наше время особенно благоприятно для драматического творчества... Как я завидую вам, что вы художник слова. Сам я всю жизнь занимался наукой и политическими делами, но я вполне разделяю мнение Канта о том, что вечны лишь создания искусства. Если позволите, отмечу один маленький недостаток: слишком много у вас говорят некоторые действующие лица. Писать надо так, точно посылаешь телеграмм, и не простой, а срочный, по тройному тарифу за слово. Жаль только, что никто так не пишет. Кажется, это сказал кто-то другой? Нет?.. И чем проще писать, тем лучше. Я открываю роман и тотчас прихожу в уныние, если в нем написано «город-светоч» вместо «Париж» или же «промолвил он» потому, что двумя строчками выше было «сказал он». По-моему, лучше было бы два раза «сказал он».

«А сам все свои словечки оттачивает!» — подумал Виктор Николаевич.

— Боюсь, Николай Юрьевич, что вы могли найти в моих писаниях и гораздо более важные недостатки.

— Конечно. Не недостаток, а беда, и не ваша, а всей эмигрантской литературы в том, что вы, как принято выражаться, оторвались от родной почвы. Советские писатели погибают, во-первых, от рабства, во-вторых, от отсутствия разнообразия в быте, в-третьих, от свирепого упрощения жизни. Всего этого ис-

¹ Остеология — наука, изучающая строение скелета (от *греч.* *ostéon* — кость).

куство не выносит. Вас же всех губит то, что вы не дышите родным воздухом. Поэтому, говорю с глубокой скорбью, русская литература дышит на ладан.

— Я этого никак не думаю. Вы говорите, будто мы оторвались от родной почвы. А вот Гоголь, уезжая за границу, писал кому-то из своих друзей: «Писатель современный, писатель нравов должен быть подальше от своей родины». Я заучил эти слова: они меня всегда утешают.

— Не знал этой мысли Гоголя... В ней, быть может, кое-что и верно. Гоген, умирая на Маркизских островах среди кокосовых пальм, писал засыпанную снегом бретонскую деревню... О чем мы говорили? Ох, стал я стар. Да, ваша драма. У нас в XVII веке наши первые театральные пьесы делились на два разряда: «жалостные» и «прохладные». Ваша пьеса жалостная, но, быть может, для жалостной она слишком прохладна.

— Очень забавные слова.

— У меня все старые слова, даже самые обыкновенные, даже нерусские по корню, но звучные, вызывают «вздых сожаления». Ну, хотя бы слово «кавалергарды», а? Впрочем, были у нас и слова плохие, неестественные. Мне, например, всю жизнь резало слух слово «губерния». Новыми советскими выражениями я в меру сил стараюсь не пользоваться.

— Если б вы, Николай Юрьевич, ими воспользовались, то это было бы даже странно: вроде как если б архиепископ Кентерберийский говорил «о'кей» или римский папа выражался на парижском аргю, — сказал Яценко смеясь. Дюммлер действительно выражался по-старинному. Он говорил: «пачпорт», «телеграмм», «Штокгольм», «с какого права».

— Полно издеваться. Но я вправду мушкетного пороха офицер. Засиделся, засиделся на этой земле, а она что-то при всей своей красоте и прелести становится скучноватой. Может быть, засну от скуки и усталости, как один французский граф или маркиз в пору террора заснул на колеснице, подвозившей его к эшафоту... Да, так что же вы будете делать с пьесой? Есть ли надежда на постановку?

— Не только есть надежда, но пьеса у меня уже приобретена, — ответил Яценко, не слишком огорченный отзывом старика. Он знал, что Дюммлер, при всей своей любезности, очень строгий ценитель: гово-

рил, что «Война и мир» последнее гениальное произведение искусства, с тех пор были лишь талантливые. Виктор Николаевич кратко рассказал о Пемброке.

— Его настоящее имя Альфред Исаевич Певзнер, — сказал он с той улыбкой, с какой неевреи произносят подобные имена. Дюммлер тоже улыбнулся.

— Так он приобрел пьесу? Это большой успех. Сердечно вас поздравляю... Вы говорите, что он очень богат? Не могла ли бы его заинтересовать «Афина»?

— Не знаю, может ли «Афина» заинтересовать Пемброка, но я, Николай Юрьевич, именно для того и приехал, чтобы с вами о ней побеседовать. Вы мне о ней говорили вскользь, я хотел бы получить более подробные сведения.

— Я так и знал, что это вас заинтересует. Конечно, в вас уже есть то, что называется «тягой к нездешнему», или «духовной жаждой», или еще «тоской», «angoisse», это у философов теперь модное слово. Я очень рад, что вы этим заинтересовались.

— Но что же это, собственно, такое? Я слышал, что лет пятьдесят тому назад или больше в Париже были такие тайные общества с обрядами, с ритуалом, и даже с какими-то «мессами».

— Не будем смешивать. Такие тайные общества с обрядами действительно бывали, но у них с «Афиной» ничего нет общего. Могу это сказать с полным знанием дела, так как я сам в молодости состоял членом некоторых странных обществ. Не всех, конечно... Помимо прочего, и безвкусица кое-где была потрясающая. Я помню и «сатанистов», их «черные мессы», которые довольно плохо изобразил в своем скучном романе Гюисманс. Он был скромный чиновник — и обожал «красивую жизнь». Вы помните его «A rebours»¹?

— Никогда не читал.

— Да, в ваше время Гюисманс уже вышел из моды. Герой этого романа Дез Эссент живет в своей вилле под Парижем. В его саду дорожки нарочно посыпаны углем, а в фонтанах льются чернила — это, разумеется, ради черного цвета. Он устраивает обед, помнится, траурный обед по случаю потери мужских способностей. Приглашения пишутся на карточках с черным бордюром. А обед... Впрочем, нет, разрешите лучше

¹ «Наоборот» (фр.).

это вам прочесть, — сказал с усмешкой Дюммлер и встал, опершись на ручки кресла. Он разыскал книгу на одной из полок. — Вот слушайте, я прочту с сокращениями, — сказал он, снова садясь: «Обед был сервирован на черной скатерти, освещенной канделябрами, в которых горели восковые свечи. Оркестр за стеной играл похоронный марш. Блюда разносили голые негритянки. В тарелках с черным ободком подавали черепаховый суп, русский черный хлеб, турецкие маслины, икру, франкфуртскую кровяную колбасу, дичь под соусом цвета ваксы, трюфли, шоколадный крем, фиги. Пили в темных бокалах тенеодосское вино и портвейн, затем после черного кофе разные квасы, портер и стаут...» — Дюммлер, беззвучно смеясь, опустил книгу на колени. — Согласитесь, это прелестно, особенно der Kwass. Добавлю, что у героя романа было пятьдесят тысяч франков дохода, это, верно, казалось Гюисмансу пределом богатства. У меня было много больше, но я никогда так красиво не жил... Да, да, были и эти «черные мессы».

— Неужели вы и сами в них участвовали? — с любопытством спросил Яценко.

— Были и другие общества, без кошунств и без свального греха, были общества весьма пристойные, например, «Последние язычники» моего покойного друга Луи Менара. Не слышали о таком? Он был поэт, историк, живописец и химик, очаровательный был человек... Были «Служители Человечества», были «Люцифериане».

— А к этим пристойным обществам вы имели отношение, Николай Юрьевич? — опять нескромно спросил Виктор Николаевич.

— Знаете, у нас в России с XVIII века была особая порода людей, которые ко всему на Западе именно «имели отношение» и вместе с тем в западную жизнь не вошли. Хотели войти и не вошли. Уж на что Тургенев подходил для роли посла русской культуры: знаменитый писатель, прекрасно владел языками, светский человек, богатый, гостеприимный, западник по взглядам. У нас и была такая легенда, будто он в Париже всех знал и его все знали. На самом же деле он говорил Драгоманову, что не имеет в Европе ни малейшего значения: «Едва знают мое имя...» Ну так вот, я, кажется, последний представитель этой породы

людей. Входил, входил в разные общества и всегда там себя чувствовал чужим... Наполеон III дал аудиенцию какой-то английской или американской даме. Спросил ее, долго ли она предполагает оставаться во Франции. А она ему в ответ: «Нет, государь. А вы?» Вот так и я, входя во французские, в английские кружки, всегда чувствовал, что я в них не задержусь, как Наполеон на троне.

— И у анархистов?

— Я вам, кажется, говорил, что я не анархист, хотя имею к ним слабость... Помню, Себастьян Фор ездил по Франции и читал странную лекцию: «Двенадцать доказательств того, что Бог не существует». Я раз попал, потом спросил его с изумлением: «Да неужели вы хотите *этим* завоевать сердца людей?» Мне все антирелигиозное, всякая пропаганда безбожия всегда были противны. К счастью, в «Афине» ничего сходного нет и следа, на этом мы все сходимся, и я этого не допустил бы. Ритуал наш философский или философско-политический.

Дюммлер задумался.

— Ведь этот Себастьян Фор умер? — спросил Яценко после недолгого молчания.

— Пожалуйста, извините меня, — сказал старик, вздрогнув. — Умер ли? Разумеется, умер. Все умерли... У меня на том свете неизмеримо больше друзей, чем на этом. Позади кладбище... «Friedhof der Namenlosen», «Кладбище безымянных», есть такое около Вены... Простите, вы спрашивали об «Афине». Идея была моя, но позитивисты и другие навязали свои ритуалы, и пока у нас, к сожалению, попытка совместить несовместимое. Я надеюсь понемногу привести дело в порядок... Вы помните биографию Огюста Конта?

— Только в самых общих чертах.

— Создатель самой трезвой и самой скучной философии в истории мира, достигнув пожилого возраста, как будто почувствовал, что задыхается в своем собственном позитивизме. Он устроил в своей квартире на улице Monsieur le Prince «часовню». Кресло Клотильды де Во, женщины, которую он любил, стало чем-то вроде алтаря; он опускался перед ним на колени, читал особые молитвы, читал стихи Данте и Петрарки. В своем завещании Конт велел создать храм нового учения и составил план. Позитивистские храмы и были

созданы в Лондоне, в других городах. Там происходили и, кажется, происходят по сей день позитивистские молебствия. Воображаю, что это такое! Кажется, они в Англии считаются признаком дурного тона. Хуже этого только зарезать человека или есть баранину с горчицей... Во Франции тоже было немало весьма странных «храмов» и в ту пору, когда рационализм упивался своим торжеством. Может быть, было не меньше уклонов и в сторону волшебства. Мой добрый знакомый биолог Гексли когда-то говорил, что в истории бывали народы, обходившиеся без веры в Бога, но народов, обходившихся без веры в колдунов и привидения, никогда не было... Мудрые восточные цари приглашали к себе на совещания, вместе с государственными людьми, волхвов и чародеев. Что ж, если бы нынешние правители держали при себе для совета какого-нибудь хорошего волхва, то от этого никакой беды не произошло бы, — Соломон был не глупее их. А если волхвы врут, то и государственные люди тоже никогда ничего не предвидели с сотворения мира. Забавно, что прочнее всего держались в истории договоры и учреждения, созданные психопатами. Версальский трактат писали Клемансо, Вильсон, Ллойд Джордж, Тардьё, на Берлинском конгрессе орудовали Бисмарк и Дизраэли, все очень умные люди, правда? И от их дел через несколько лет ровно ничего не осталось. А вот дело Священного Союза держалось лет сорок. А кто придумал Священный Союз? Прежде всего полоумная баронесса Крюденер. Текст же писал Бергасс, не полоумный, а совершенный психопат и поклонник графа Калиостро.

— Все-таки обобщать не следовало бы, — сказал с улыбкой Виктор Николаевич. — Вы не будете утверждать, что государственные дела надо передать психопатам?

— Не буду. Но и умные люди делают их очень плохо. Если же говорить серьезно, неужели вы и теперь, после двенадцати лет гитлеровщины в самой ученой стране мира, сомневаетесь в том, что мы полудикари?.. В мире всегда было и будет сильно и то, что какой-то ученый называет — «la volupté de l'horrible»¹. Однако дело никак не в этом и не в дикости, а в другом. Нормальная человеческая душа не удовлетворяет-

¹ «Сладострастие страшного». — Пер. с фр. автора.

ся тем, что ясно и просто, как медный грош. Именно наша эпоха и, быть может, еще больше эпоха надвигающаяся благоприятны для развития так называемых метапсихических наук и разных видов оккультизма. Решаюсь даже предсказать: расцвет их будет в России. Материализм у нас свирепствует — и в прямом, и в переносном смысле слова — уже тридцать с лишним лет, реакция против него неизбежна во всех ее формах, и хороших, и не очень хороших.

— Но все-таки, что же это такое? Позитивизм, кончающийся креслом Клотильды де Во? Это немного напоминает наши волостные суды, которые лет восемьдесят тому назад приговаривали к наказанию розгами крестьян за то, что они работали в годовщину 19 февраля... Нынешнее состояние науки делает невозможным увлечение оккультизмом.

Дюммлер пожал плечами.

— Позвольте вам сказать, что в числе сторонников спиритуалистического понимания мира были такие выдающиеся представители точных наук, как Шарль Рише, как Оливер Лодж, как Уильям Крукс. Бергсон издевался над теми, кто издевался над «метафизикой психической науки». А тот же Огюст Конт! Ведь он был человеком не только огромного ума, но и колоссальных энциклопедических познаний. Правда, его ученик и друг Литтре говорил мне, что Конт с тех пор, как создал позитивистическую философию, больше никаких книг не читал. Впрочем, я не вхожу в оценку факта, о котором я говорю, я его просто констатирую.

— Но вы не утверждаете, что этот факт отрадней?

— В нем кое-что отраднo, а многое странно и даже смешно. По старым моим наблюдениям, по тому, что я слышал, во всех таких обществах преобладали честные и искренние люди; но к ним не очень понятным образом часто примазывались всякие шарлатаны, обманщики, мошенники. Я помню, одно из таких обществ в свое время закончило существование чистойшей уголовщиной, чуть только не убийствами. Я и там кое-кого знал.

— Не представляю себе вас в обществе уголовных преступников.

— О, я не строгий моралист. Когда-то в Лондоне я встречал Оскара Уайльда в дни его славы. Скверный был и человек, и писатель, но одно его слово запом-

нилось мне на всю жизнь: «I never came across anyone in whom the moral sense was dominant who was not heartless, cruel, vindictive, stupid and entirely lacking in the smallest sense of humanity»¹. Теперь, со времени прихода коммунистов к власти, я вместо «moral sense» сказал бы «служение будущему строю». Замечу еще, все эти общества чрезвычайно любят ритуал и выполняют его по непривычке худо. Где уж нам до военных с их вековыми навыками! В «Афине» я стараюсь свести все это до минимума, но другие с этим не согласны.

— Кто другие? Члены вашего общества?

— Члены общества «Афина», — сказал Дюмлер. — Очень много людей живут только верой в социальный прогресс, а ею не очень проживешь. Другим и эта вера не нужна, они, видите ли, скептики и любят, чтобы их скептицизм называли изящным, хотя ничего изящного в нем нет. Но в известном возрасте человек чувствует потребность в чем-то ином. Особенно если он своей жизненной работой не слишком доволен и если детей у него нет. Ведь творчество и дети будто бы дают какой-то суррогат бессмертия... Не очень хороший суррогат, однако это лучше, чем ничего.

— И это вам дает «Афина»?

— И это мне может дать «Афина», — с легким раздражением повторил старик. — Скажу больше того: моя «Афина» гораздо лучше других. Ведь «Афины» теперь везде, даже отчасти в ОН. Вне идей «Афины» коммунисты, но ведь это философская Чухлома, у них дно учения на глубине двух вершков, хотя на лицах у всех у них повисла тонкая усмешка, точно они всех нас насквозь видят и точно у них-то квинтэссенция, глубочайшее слово человеческой мысли. Это, кстати сказать, безошибочный признак *всякой* Чухломы. А их ведь много, самых разных... Мы о чем говорили? — тревожно спросил Дюмлер, поглаживая лоб над полузакрытыми глазами. — Не напоминайте, я сам вспомню!.. Да, о бутафории. Это тяжелый вопрос. Я борюсь с ней как могу, да не всегда удается, и я огорчаюсь. Вот как в старых пресвитерианских семьях люди танцуют: знают, что это большой грех, и

¹ «Я никогда не встречал такого человека, в котором моральное чувство было преобладающим и который при этом не был бессердечным, жестоким, мстительным, глупым и совершенно лишенным гуманности». — *Пер. с англ. автора.*

все-таки на свадьбе танцуют, но, чтобы смягчить свою вину, во время танцев изображают на лице страшное мучение. Такой, вероятно, вид и у меня, когда я председательствую на наших заседаниях.

— И вы серьезно верите в реальное значение этой «Афины»?

— Реальное значение, — с досадой повторил Дюмлер. — Никогда нельзя сказать, что будет иметь значение и что нет. Совершенно неизвестно, что именно завоевывает мир. Магомет, вероятно, на свой огромный успех в мире и не рассчитывал. Маркс тоже нет... Впрочем, Маркс, может быть, и рассчитывал, но и он овладел душами людей случайно. Если я в чем-либо все-таки уверен, то это в том, что экономический материализм не может надолго сохранить власть над душами людей. В нынешних событиях он ничего не объясняет. Все эти фикции, борьба за рынки, войны из-за интересов капитала, из-за так называемых *vested interests*¹ стали нелепыми: одна неделя войны будет любой великой державе стоить больше, чем ей могут дать рынки. Что мы сказали бы о капиталисте, который истратил бы миллион, чтобы нажить пятьдесят центов? Нет, какие там рынки! В мире царит случай — вот результат моего жизненного опыта... Я знаю, вы все в ОН «реальные политики». А это уж такое правило: когда государственные люди хотят сделать что-либо недостойное, их тотчас объявляют реальными политиками, и они очень этому рады: это как бы производство из полковников в генералы. У нас в России все же было не совсем так... Вы Россию хорошо помните?

— Как же не помнить? — удивленно спросил Яценко. — Ведь я уехал из Петербурга всего десять лет тому назад.

— Простите, я по старости все путаю. Собственно, во всем мире только и были две *настоящие* столицы: Париж и старый Петербург. — Он задумался. — Маз на хаз и дульяс погас, — сказал он.

— Как?

Старик опять точно опомнился.

— Покорно прошу извинить мою бессвязную болтовню, — сказал он. — Это одно выражение, оставшееся у меня в памяти от школьного времени... Да, с

¹ Закрепленные законом имущественные права (*англ.*).

жизнью не поспоришь. Павел I приказывал в наказание «объявить вам, сударь, дурака». С нами именно это случилось: история нам объявила дурака... Мой отец оставил капитал в Государственном банке с тем, чтобы на него в 1929 году была издана лучшая биография графа Канкрин. В 1929 году!.. Со всем тем я никогда не был пессимистом и никогда им не стану. По-моему, есть даже какое-то безвкусице в том, чтобы ругать жизнь. Это и не совсем прилично в отношении собеседника, он, наверное, вовсе не желает, чтобы ему отравляли настроение духа... Было ли наше время «хорошее»? Не знаю. Хорошее или дурное, оно было особенное... Я думаю, каждый человек способен понять только *свое* время. Когда вышла «Война и мир», Муравьев-Апостол, участник Отечественной войны, сказал, что Толстой той эпохи совершенно не понял! Уж если не понял Лев Николаевич! (Он произносил Лёв.) Протопоп Аввакум говорил, что с ним уйдет «последняя Русь». Мне иногда хочется сказать то же самое о моем поколении. Россия, конечно, будет и дальше, но другая, совсем другая.

— Сделайте все же поправку, Николай Юрьевич, на то, что вы в России были баловнем судьбы. Кажется, вы были архимиллионером?

— Архимиллионером никогда не был, разве уж в какой-нибудь очень смешной валюте... Помните, у Чехова есть чудный рассказ. У старухи сын был архиереем. Он умер, она впала в нищету. Через несколько лет никто ей не верил, что у нее был сын архиерей. Я никогда иностранцам не говорю, что мой отец был царским министром. Им давно известно, что все русские парижане — князья и что каждому из них принадлежало до революции по крайней мере по одной губернии... Теперь средства у меня очень скромные. Я вложил большую часть моего состояния в государственную ренту, а, как вы знаете, почти все правительства установили в виде инфляции кару для честных людей и привилегию для менее честных. Но я давно думать забыл о прошлой жизни... Мы с вашим отцом, Виктор Николаевич, или с вашим дедом принадлежали, верно, к одному обществу, — сказал он. Эти слова были приятны Яценко, хотя он понимал, что Дюммлер принадлежал к гораздо более высокому кругу, чем его отец и дед. — Так вы в самом деле хотели бы ознакомиться с «Афиной»?

— Очень хотел бы.

Дюммлер задумался.

— Вот как мы сделаем. В воскресенье, в пять часов дня, ко мне соберется несколько человек из наших заправил. Мы теперь обсуждаем некоторые вопросы. У нас скоро предстоит первое большое заседание, с моим вступительным словом и с докладом одного профессора. Конечно, при вас, пока вы в наше общество не вошли, мы этого обсуждать не будем, но вы посидите с полчаса, познакомитесь с людьми, а затем оставите нас.

— Очень рад, если вы этого не находите неудобным.

— А может быть, ничего у нас в «Афине» и не выйдет. Просто выдумываю себе занятие, как полагается эмигранту... Ну что ж, мы сами виноваты. На войне, говорил генерал Бурбаки, надо «спасаться вперед». Так и в революции. На худой конец можно еще «спасаться назад». Но нельзя спасаться, стоя на одном месте. А мы именно это и делали в 1917 году, о наших предшественниках я и не говорю. И хоть бы один из нас или из наших предшественников поседел от горя, как адмирал Того от заботы поседел перед Цусимой. Нет, все остались живчиками. А меня всегда раздражали две породы людей: живчики и нытики... У нас в Артиллерийском музее в Петербурге была старая, не помню чья, картина: немец и еврей жарятся рядом в аду... Художник, очевидно, не любил именно немцев и евреев. Он был эклектик. И я, верно, тоже, хоть по-другому.

— А вы знаете, Николай Юрьевич, вы, при всей вашей умудренности, очень строгий судья людей. Вы *добрый* мизантроп, — не удержавшись, сказал Яценко.

— Мне очень жаль, что я наговорил вам вздора. Раскаиваюсь и беру назад. Нет, я не мизантроп, но вы попали в мой дурной час. А кроме того... В Англии кто-то так объяснял разницу между Дизраэли и Гладстоном: Дизраэли «*knew not mankind but perfectly knew all men. Gladstone knew nothing of men but knew and loved mankind*»¹. Надо занимать, думаю, золотую середину. Я в себе преодолел скептика. Ведь и неверующий человек должен что-то делать «для души».

¹ «Не знал человечества, но отлично знал всех людей. Гладстон же ничего о людях не знал, но знал и любил человечество». — *Пер. с англ. автора.*

— И для этого вами предназначается «Афина»?

— Отчасти и для этого. Каждый из нас должен сам найти *свой* способ освобождения. Способов очень много. Некоторые из них так странны, что нам с вами это и понять трудно, но это тоже способы освобождения. Я еще не знаю, как освобождаетесь вы, Виктор Николаевич, или как хотите освободиться... Вот читал вашу пьесу. Что же вы, собственно, проповедуете? Лафайетизм?

— Я ничего не проповедую.

— Тогда нельзя и писать. То есть можно, да следует ли? Я знаю, что не всегда творчество вполне отражает душу творца. Злые люди часто специализировались в доброй литературе, и наоборот. Жизнерадостный Тинторетто писал чуму, писал труп своей дочери. Но оставим это. Почему бы вам из ОН не перейти в то, другое учреждение, с румынским названием, как его? ЮНЕСКО. Там, кажется, иногда делается хорошая работа, та самая, в которой я вижу главную надежду человечества.

— Вы вправду так думаете? — спросил Яценко, удивленный сходством слов старика с тем, что ему и самому приходило в голову. — У нас, напротив, к ним относятся несерьезно: какое же это реальное дело! Им выкинули кость в семь миллионов долларов в год, и никто за их работой особенно не следит, пусть, мол, люди занимаются ерундой.

— Вот видите. Я говорил вам, что я думаю о так называемых реальных политиках. Вы суете какие-то идеалы в самую обыкновенную политическую грязь, и получается глупо или, во всяком случае, смешно. Вышинский, должно быть, хохочет. В ЮНЕСКО Вышинского нет. По крайней мере, в замысле, она близка к моей «Афине»... Держитесь-то ваша ОН только на том, что обе стороны смертельно боятся одна другой... Это мне напоминает какое-то сражение римлян с алеманами: обе стороны в панике бежали друг от друга... Если вы хотите знать мое мнение, то эти семь миллионов самая разумная из всех трат ОН. Надо было бы давать ЮНЕСКО не семь, а семьсот миллионов в год... И один совет, если позволите, — говорил старик, как будто все больше теряя внешнюю связь в мыслях, — не очень старайтесь быть «объективным», не оглядывайтесь вы в пьесе и в жизни на несуществующий «суд потомства». Не удастся, да, пожалуй, и

незачем... Когда Наполеон велел расстрелять герцога Энгийенского, единственный в мире человек, который почти его оправдывал, это была мать казненного герцога: она, видите ли, хотела быть беспристрастной. А была полоумной... И еще совет: пишите добрее, думайте о пользе людям. Я понимаю, люди все оглядываются на себя. Говорят, сам Магомет любил смотреться в зеркало. Но, поверьте мне, вечна только *добрая* литература. Как хорошо, что Толстой не стал совершенным мизантропом и мизогином на двадцать лет раньше: иначе у нас не было бы «Войны и мира».

— А мизантропия Гоголя?

— Есть исключения. Да и Гоголь вечен потому, что все его взяточники, в сущности, симпатичны... Так что же, приходите в воскресенье, — сказал Дюммлер, с трудом подавив зевок.

— Непременно. И простите, что я вас утомил, дорогой Николай Юрьевич, — поспешно вставая, сказал Яценко.

II.

Со всех сторон доносился треск пишущих машин. Полицейский в красных аксельбантах и белых перчатках не спросил пропуска. Он уже знал всех делегатов и переводчиков. Зал еще был пуст. Второго переводчика пока не было. «Вечно опаздывает! Видно, сегодня придется мне переводить Андрея Януарьевича!» — раздраженно подумал Яценко. Он был с утра в самом мрачном настроении духа и заранее знал, что сегодня будет ему казаться смешным и отвратительным. «Опять день дешевого неврастенического анархизма», — с насмешкой над самим собой подумал он.

Уже несколько дней в Париже шел мелкий скучный дождь, и, как всегда, люди говорили, что такой погоды не запомнят. «Да, на Ривьере было веселее», — думал Виктор Николаевич, вспоминая залитые солнцем улицы Ниццы, теплые вечера с высоко повисшими редкими южными звездами. Во дворце Шайо с утра горели электрические лампы. Заседание ожидалось обыкновенное, не слишком боевое, хотя газеты обещали читателям «стычки». «Они, наши красавцы, все еще примериваются друг к другу и вырабатывают род красноречия». В ОН не было общепризнанных авто-

ритетов, не было и талантливых ораторов. Публики почти всегда бывало очень много. Парижане еще не успели привыкнуть к новому роду развлечения и посещали дворец охотно: всех занимало то, что небольшая часть Парижа оказалась международной территорией, что над ней развеивается новый, мало кому известный флаг, что на площади, у барьеров, полицейские спрашивают что-то вроде визы. За полчаса до начала заседания у дверей главного зала далеко тянулась очередь получивших входные билеты людей.

В коридоре Яценко встретился со знакомым журналистом. Тот, понизив голос, сообщил новые слухи. «Вышинский находится под тайным наблюдением ГПУ! Дядя Джо не очень ему доверяет». — «Откуда вы знаете? — спросил Яценко. — Ведь если б это было и так, то нам с вами об этом, верно, не сообщили бы. Никто ничего не может знать о том, что делается в Кремле, и все, что люди об этом рассказывают, вздор!» — «Я не могу, конечно, назвать свой источник, — обоснованно ответил журналист, — но он совершенно достоверен... Эти сведения идут с Кэ-д'Орсэ!» — таинственным тоном добавил он. «Кэ-д'Орсэ об этом знает столько же, сколько мы с вами». — «Могу вам даже объяснить причину его опалы. Помните тот процесс? Ну как его?.. Старый большевик с азиатской фамилией, кажется, было такое государство...» — «Бухарин?» — «Вот именно. Так вот, Вышинский на этом процессе превознес тогдашнего министра... Не помню фамилии... Он был главой ГПУ...» — «Ежов?» — «Да, да, Иежофф. Как вы, американец, можете запомнить все эти имена?» — «Я американский гражданин, но русский». — «Извините, я забыл. Хотя нам это не совсем понятно: как можно быть и русским, и американцем?.. Да, да, а очень скоро после того этот Иежофф оказался злодеем и был ликвидирован. Откуда же бедный Вышинский мог знать, что именно дядя Джо будет думать через месяц?.. Мне очень нравится слово «ликвидирован»! Если б я мог ликвидировать своего издателя!» — «По-моему, все же это мало вероятно», — сказал Яценко. Как служащий, он обязан был соблюдать нейтралитет и осторожность в разговорах даже с посторонними людьми, особенно с посторонними людьми. Отсутствие нейтралитета он проявлял только тем, что избегал переводить Вышинского. «Показываю кукиш в кармане... Ничего не по-

делаешь, надо уходить из этого учреждения. У меня для него недостаточно твердые убеждения и недостаточно здоровая печень», — сказал он себе, расставшись с журналистом.

Виктор Николаевич вошел в подъемную машину, на первой остановке перешел в другую и оказался снова в длинном коридоре, по сторонам которого стучали на машинках служащие пятидесяти восьми стран. На длинных столах лежали бесконечные груды бумаги, журналы, протоколы, брошюры. Вдали виднелись огромные модели допотопных кораблей: не все было вынесено из приспособленного для сессии антропологического музея. Проходя мимо советского агентства, он невольно ускорил шаги. Его в начале интересовало, знают ли советские служащие ООН, что он русский, сын расстрелянного тридцать лет тому назад следователя. Они были с ним всегда очень корректны и даже любезны. На ходу он бросил взгляд в отворенную дверь. Там писали на машинках две барышни, одна хорошенькая. «Так у них в свое время стучала Надя», — подумал он и вошел в свой крошечный кабинетик. Повесил шляпу на голову каменной бабы и достал из ящика бумаги. Накануне он работал до позднего вечера, составлял какую-то сводку. Письменные работы не входили в его обязанности: он был «интерпрэтер»¹, а не «транслэтор»². Но отказывать в услугах было здесь не принято. Если делегаты в своих публичных выступлениях еще не нашли надлежащего тона, то служащие с самого начала приняли тон корректный и джентльменский; теперь именно они как бы хранили прежние дипломатические традиции.

Работа была почти готова, оставалось дописать лишь несколько строк. Яценко заглянул в стенограмму и быстро, без единой помарки, написал по-французски: «Г. Фарис аль-Хури (Сирия) высказывает мысль, что никакое решение вопроса не может считаться окончательным, если оно не продиктовано справедливостью. Г. Ахмет-Магомет Кашаба-паша (Египет) выражает пожелание, чтобы Собрание взяло на себя обсуждение вопроса не иначе как после добросовестного и глубокого его изучения». «Что ж, мысли ценные и интересные, они здесь сделали бы честь самому по-

¹ От *англ.* interpreter — устный переводчик.

² От *англ.* translator — письменный переводчик.

чтенному министру. Кто дальше? Малик, но какой: Малик — СССР или Малик — Ливан?¹ Что, если обойтись без Маликов? В краткой сводке они не обязательны... Дальше Вижаха Лакшми Пандит (Индия). Она, голубушка, что сказала? Доказывала необходимость дружной работы, так. Тоже в высшей степени важное соображение. Все-таки Вижахе три строчки дадим: милая дама, да еще индусы обидятся... А это что?» Он увидел, что в английском тексте была еще подстрочная ссылка на документ: «Supplementary agreements with specialized agencies concerning the use of United Nations laissez-passer report of the Secretary General² (A) 615, A) 615, Add. —, A) C. 6) 290». Эту ссылку необходимо было сделать. Не задумываясь ни на минуту, он перевел ее совершенно точно на французский язык, хотя даже не понимал, о чем идет речь.

В первый год своей службы он еще думал о том, что переводил, но скоро заметил, что самые лучшие из переводчиков переводят все почти механически, и перевод у них выходит превосходный. Его отличная память облегчала работу. К нему часто обращались за справками и объяснениями; это льстило его самолюбию. Яценко шутил, что Организация Объединенных Наций, во всяком случае, имеет одно громадное преимущество перед женевской Лигой: благодаря наушникам слушаешь всевозможный вздор один раз, а не два раза подряд, по-французски и по-английски. К своей работе он за два года привык, однако теперь думал о ней со злобой. «Следовало бы смотреть на вещи просто, как они все».

«Они все» были его сослуживцы. Из них многие находили, что, независимо от пользы для человечества, их организация имеет большое достоинство: платит прекрасное жалованье, дает возможность путешествовать в хороших условиях, останавливаться в дорогих гостиницах, есть и пить в отличных ресторанах, встречаться и даже знакомиться с самыми известными людьми мира, вообще получать много удовольствия, а этим надо особенно дорожить еще и потому, что скоро все учреждение пойдет к черту, так как начнется

¹ В конце 1940-х годов главой советской делегации в ООН был Яков Малик, ливанской — Адам Малик.

² «Дополнительные соглашения со специализированными агентствами, касающиеся применения доклада генерального секретаря Объединенных Наций» (англ.).

третья, предпоследняя. Эстеты же с усмешкой добавляли, что уж если наблюдать исторические зрелища, то лучше всего из первого ряда кресел. Впрочем, этот тон не встречал сочувствия у большинства служащих. «Преувеличивать незачем: среди нас есть и серьезные люди, искренне верящие в пользу от своей работы и в важность этого учреждения; есть и просто хорошие чиновники, добросовестно относящиеся к делу. А если все мы наизусть знаем 35-й раздел, статьи о жалованьях, налогах и пенсиях, то что же тут дурного? Жить нам надо, и преобладают у нас порядочные и приятные люди. Циники, кажется, в меньшинстве. Но, к несчастью, именно это учреждение понемногу может приучить к «цинизму».

Кончив сводку, Виктор Николаевич отдал ее переписчице и вышел. В нижнем коридоре, вблизи делегатского входа в зал, он почти столкнулся с тем иностранным министром, которого видел в Ницце; он должен был сегодня говорить. Вид у министра был озабоченный. С другой стороны к двери, в сопровождении телохранителей, шел Вышинский. Министр еще издали радостно помахал ему рукой. Телохранители, тотчас признавшие русского, не сводя глаз, смотрели на Яценко.

«Bonjour, mon cher Vichinsky!»¹ — сказал, сияя улыбкой, министр. «Если б война кончилась иначе, он точно так же говорил бы: «Bonjour, mon cher Himmler!»² — подумал Яценко.

Зал теперь был полон. Последние в очереди радостно занимали места, хватали наушники, с любопытством их пробовали, оглядываясь на соседей, спрашивали, где сидят знаменитости. Делегаты издали приветливо кивали друг другу или переговаривались с таинственным видом, будто сообщали нечто чрезвычайно важное. На своей трибуне репортеры раскладывали телеграфные бланки, пробовали карандаши, самопишущие перья. За креслом одного из главных корреспондентов стояли рассыльные — они должны были по частям относить его статью в телеграфное отделение. Он уже что-то быстро писал, изредка отрываясь от листка и обводя взглядом зал. «Знаю, знаю, наперед знаю, — думал Яценко. — «Настроение взволнованное

¹ «Здравствуйте, дорогой Вышинский!» (фр.)

² «Здравствуйте, дорогой Гиммлер!» (фр.)

и тревожное...», «Нарядные дамы, превосходные туалеты...», «Много представителей политического, литературного, ученого мира...», «Весь Париж собрался в великолепном зале дворца Шайо...» И все ты, братец, врешь: и зал не очень великолепен, и «представителей» как кот заплакал, и ни одной красивой дамы нет, а есть те самые старушки, что двадцать лет таскались по кулуарам Лиги Наций...»

Министр сидел за столом своей делегации и читал газету. «Сейчас он произнесет историческую речь, — злобно думал Виктор Николаевич. — Утром он, должно быть, выпил две чашки крепкого кофе, тогда как врач ему разрешает только одну, и при этом вид его говорил, что он жертвует собой для родины, социализма и человечества. А жена горестно на него смотрела, болела душой, но понимала, что такой великий человек перед такой гениальной речью не может думать о своем здоровье, как оно ни необходимо родине, социализму и человечеству. За кофе он ничего не ел, как знаменитые певцы не едят перед спектаклем. Затем он еще раз пробежал конспект, попробовал голос и продекламировал одно из самых сильных исторических мест. В своей стране он в парламенте говорит не совсем так, как на митингах, на митингах не совсем так, как на партийных собраниях, а на партийных собраниях не совсем так, как на обедах. Обеденные речи ему особенно удаются, там нужно шутить, а он специалист по «здоровому юмору». Когда его обступают интервьюеры, он неизменно произносит одну из тех неумных и неостроумных шуточек, которыми все они отвечают журналистам, если не хотят делиться с ними своими мыслями и тайнами величайшей важности. А в ОН они еще не знают, нужен ли здоровый юмор и как тут надо говорить: как в парламенте, или как на партийном собрании, или как на обеде. Волнуется? Нет, очень волноваться он не может: он выступает с важнейшими речами не реже двух раз в месяц. Думает о том, что скажет? Тоже нет, думать он не умеет, за него думают другие, думает аппарат, да у него и нет ни единой свободной минуты из-за тех бесчисленных мелких дел, которые и выдающемуся человеку не дали бы возможности серьезно обсудить то, что происходит в мире...»

Начался несложный ритуал, которым открывалось заседание. Председатель поднялся на эстраду, сел в

кресло с высокой спинкой, придвинул к себе звонок и карандаш, сказал несколько слов. Все было просто и торжественно. «По обстановке это напоминает судебное заседание, не хватает только «суд идет!», — думал Яценко все более раздраженно. — Они и в самом деле работают под международный трибунал. Думают, что благодаря их трибуналу опасность войны меньше. На самом деле верно обратное. Именно здесь, в этой ярмарочной обстановке, на «мировой трибуне» и в «кулуарах», завязываются худшие интриги, создаются соперничества и антипатии, приобретают огромную важность соображения «престижа», обостряется мстительность, политические обиды дополняются личными. Либералы требуют, чтобы «все делалось открыто, под контролем общественного мнения». Но, во-первых, и здесь главное делается тайно, за кулисами, а во-вторых, общественное мнение хорошо тогда, когда оно определено высказывается в голосованиях, здесь же оно может высказываться только в газетах, а газеты все между собой не согласны, и ничего тут общественное мнение контролировать не может. В общем, дело сводится к тому, что каждый маленький актер, попавший на парадный спектакль с рецензиями во всех газетах, больше всего боится, как бы не осрамиться, и готов на что угодно, лишь бы рецензии о нем оказались возможно лучше. В мире было бы много спокойнее, если б эти красавцы сидели у себя дома, сносились через старых, тихих послов, о которых рецензий почти никогда не пишут, и сносились не по телефону, а по простой почте. Именно эта ярмарочная атмосфера скорее может вызвать войну, чем разные, будто бы неразрешимые конфликты, чем борьба за рынки, ничего не стоящие по сравнению с расходами одного дня войны. Мне случилось бывать здесь на заседаниях, на которых за несколько часов не говорилось ни одного слова правды, а это, видит Бог, трудное дело: сочетать с лживостью общие места. Они подали миру великую надежду, которую осуществить не могут. И быть может, никогда в истории не существовало такой школы лицемерия, как эта организация: не может быть настоящим либералом и демократом человек, который семь раз в неделю говорит: «Bonjour, mon cher Vichinsky!» А иначе он здесь поступать не может, и тем хуже для Объединенных Наций и для него, так как он неизбежно становится циником, если и не был им раньше. И

главное, самое главное, это учреждение создано в единственный такой период новейшей истории, когда оно быть создано не могло. В 1914 году такая организация могла бы действительно спасти мир. Теперь же она рано или поздно вызовет жестокое всеобщее разочарование. После Лиги Наций и ООН едва ли будет у людей охота начинать дело в третий раз. Они только компрометируют идею мирового парламента. И безмерно преувеличивают они значение ООН в смысле пропаганды. Я за два года не слышал тут ни одного яркого, запоминающегося слова. Да и роль пропаганды вообще далеко не так велика, как обычно думают люди. На этой «мировой трибуне» она ведется всеми так плохо, что почти никакого значения не имеет...»

В зале раздались рукоплескания, впрочем, не очень сильные. Министр шел к эстраде. Аплодировали три четверти зала. Советский блок не аплодировал. «Ох, будет мертвая скука», — подумал Яценко, нацепив наушник и подвинув к себе рупор громкоговорителя. То же самое сделали другие переводчики. Министр устроился на трибуне и переменял очки. Он умел читать по бумажке так, что казалось, будто он не читает, а говорит.

Начал он с учтивых слов, с комплиментов по адресу противников. «Так, так, отлично», — думал Виктор Николаевич, с совершенной точностью переводя каждое слово оратора: вначале это бывало нетрудно, он выбивался из сил только после часа работы. К тому же министр говорил медленно. На трибуне публики новые посетители ловили каждое слово, поправляли тяжелые наушники, на мгновение их приподнимали. Однако минут через пять по залу прошла первая легкая волна разочарования.

— ...Все же вчера, когда я слушал эту блестящую речь, — сказал министр, сделав коротенькую передышку после комплиментов, — когда я слушал эту блестящую речь, меня мучило одно сомнение. Я спросил себя, — он еще помолчал несколько секунд, показывая, что сейчас будут сказаны важные слова. — Я спросил себя: что, если эта речь ставила себе единственной целью пропаганду! Что, если ее цель заключалась в пропаганде, и только в пропаганде?!

Когда министр хотел увеличить силу своих слов или высказать суждение особенной важности, он не только повышал голос, но повторял одну и ту же фразу и подбирал синонимы. Переводчики знали эту

черту его красноречия и очень ее ценили: она облегчала перевод. Некоторые из них старались и умели передавать не только слова говоривших делегатов, но и их интонацию. Особенно хорошо это делал переводчик на испанский язык. «Consiste en propaganda y nada mas que en propaganda»¹, — с негодованием и даже с легкой угрозой сказал он, повысив голос совершенно так, как министр. Китаец, волнуясь и размахивая руками, кричал в рупор что-то непонятное. По лицу советского переводчика было ясно, что он глубоко возмущен клеветой: как можно, сохраняя хоть следы совести, приписывать главе делегации СССР намерение вести пропаганду! Но что ж делать, по долгу службы он обязан переводить даже такие гнусности. «Обратите внимание, как оригинально и глубоко то, что он сказал!» — вставил переводчик-шутник, прикрыв рукой рупор. Переводчики порою забывали это делать, и изредка случались неприятности, вызывавшие сначала недоумение, а потом хохот у публики.

— ...Но подумал ли уважаемый делегат Союза Советских Социалистических Республик, — уже не сказал, а воскликнул министр, — подумал ли он, что на всякую пропаганду можно ответить контрпропагандой!

В зале раздались рукоплескания. Публика немного оживилась: уж не начинается ли балаган? Оживились и репортеры: из этой фразы можно было сделать подзаголовок, хотя он в одну строчку не умещался (заголовков в две строчки редакции не любили). «...A cada propaganda se puede cotestar por contra propaganda!»² — воскликнул испанец. В эту минуту дверь приотворилась, в ложу скользнул опоздавший переводчик. Он с виноватым видом развел руками, мгновенно нацепил наушник и отстранил Яценко от громкоговорителя. Переводчиком не полагалось меняться во время речи, но публика на это внимания не обращала. То, что новый переводчик не слышал начала речи министра, не имело никакого значения: он мог начать перевод хотя бы со середины фразы. Яценко с удовлетворением уступил ему место. «Повезло: не буду и сегодня переводить Андрея Януаревича...»

¹ «Цель заключалась в пропаганде, и только в пропаганде» (исп.).

² «...На всякую пропаганду можно ответить контрпропагандой!» (исп.).

— ...Подумал ли уважаемый представитель Союза Советских Социалистических Республик, подумал ли он, что такой образ действий не может и не будет способствовать доверию в мире! Подумал ли он, что моральное разоружение является нужной, необходимой, обязательной предпосылкой разоружения материального! Подумал ли он, что без первого не будет и не может быть второго! Что без первого нет, не будет и не может быть второго!

Рукоплескания усилились, и оживление увеличилось. Несомненно, начиналась стычка. Аплодировали даже смельчаки в публике, хотя этого по правилам не полагалось. «*Sen el primego ne sera y no puede ser el secundo!*»¹ — грозно кричал испанец, и последнее слово его перевода совершенно совпало по времени с последним словом оратора, точно испанец заранее знал, что скажет министр (как специалист, Яценко не мог не оценить красоту работы). «В особо важных случаях для них, вероятно, готовят речи другие. Это, должно быть, вначале довольно неловкое чувство: восклицать то, что для тебя написал секретарь. Впрочем, он может, конечно, и сам написать свою речь. В парламенте он часто тут же отвечает оппонентам или на «возгласы с мест». Бывает, разумеется, и так, что эти «возгласы» заранее подготовлены по взаимному соглашению... Они правят миром, а какие у них для этого права? Разумеется, очень хорошо, что к власти приобщаются новые люди: «каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл» и т.д. Но талантов у них нет, а маршальский жезл они получают очень легко. Они способствуют идущему в мире процессу огрубления жизни. В сущности, все то, что теперь делает это учреждение, в былые времена так же хорошо или так же плохо делали большие государства — как тогда говорили, «концерт великих держав». А что тогда обходились без Ливанов, так от этого никому хуже не было, даже Ливанам. И правители тогда были не глупее нынешних. Вдобавок прежним министрам незачем было доказывать народу, и особенно своим подчиненным, что они «настоящие патриоты» и «настоящие государственные люди». Нынешние же все время стараются показать: «мы, мол, знаем все тонкости великодержавного ремесла». Да и теперь Черчиллю и гене-

¹ «Без первого нет и не может быть второго!» (*исп.*)

ралу Маршаллу этого доказывать не надо, поэтому они гораздо свободнее и даже либеральнее, чем министры из тех, что в молодости считались революционерами и вдруг сразу превратились в Макиавелли. У большинства из них и вид такой, точно они еще не опомнились от радости: отдельные аэропланы и вагоны, шифрованные депеши, встречи и проводы на вокзалах. В политике почти все — «парвеню»¹, но эти, новые, в особенности. Вдобавок предполагается, что каждый из них знает все: сегодня он министр иностранных дел, а завтра будет министром финансов или юстиции. В действительности же он ничего не знает, так как в первую половину своей жизни занимался совершенно другим делом, выработал себе другие навыки «мысли», приобрел другие познания, ненужные, а иногда и вредные для его нынешней работы. А так как они сами не могут этого не понимать, то они бессознательно на новой службе исполняют все то, что им подсказывают их профессионалы-подчиненные. Один был членом рабочего союза, другой военным, третий банкиром, четвертый адвокатом, пятый грузчиком, — думал Яценко, перевода взгляд с одного известного делегата на другого, — и в своей области они, конечно, компетентны, а некоторые и замечательные специалисты. Но пожилой человек, становясь министром, не может себя переделать, приобрести новые привычки рассуждения, да еще в год или два, а они редко остаются у власти много дольше, и человечество не может ждать, пока они научатся своему делу. Говорят, их преимущество именно в том, что они «свежие люди», что у них нет профессиональной деформации. Но, во-первых, никаких свежих мыслей у них нет, а во-вторых, они тотчас подчиняются профессиональной деформации своих подчиненных. Те чему-то учились, сдавали экзамены, могут перечислить все пункты какого-нибудь договора Сайкса—Пико и знают, когда и между кем был заключен, например, Утрехтский мир... Не очень хорошо, конечно, шло дело при Верженнах, Талейранах, Меттернихах, но у них хоть не было такого невежества, дилетантизма, самоуверенности от внезапно доставшейся власти... Да, они все здесь делают что могут, но не могут они почти ничего, сколько бы ни притворялись, будто Ливан и Соединенные Штаты

¹ От *фр.* *parvenu* — выскочка.

имеют у них одинаковые права, будто это вполне отвечает демократической идее и будто «концерт великих держав» был одно, а они совершенно другое. Дай им Бог успехов и благополучия, тем более что при них кормится множество людей, в том числе и я... Однако я долго при них кормиться не буду, чтобы не заболеть разлитием желчи. Мое решение принято...»

Он вспомнил о предложении Пемброка, о своем близком отказе от службы — и настроение у него изменилось. Яценко никак не считал себя, да и не был неврастеником, и то, что он порою называл «припадками неврастенического анархизма», у него скоро проходило. «Разумеется, я очень сгущаю краски, и нет ничего бесполезнее «кожного», писательского подхода к политическим людям. Точно я не знаю, что и в работе Объединенных Наций многое разумно и справедливо. И уж, во всяком случае, нельзя нападать на них и на демократию за то, в чем они не виноваты, нападать на них одновременно справа и слева. Нельзя также в глубине души рассматривать сомнительный анархизм как патент на умственное благородство или на повышение в человеческом чине. В этой организации одинаково мало нужны и анархисты, и реакционеры. Да и в самом деле, что можно теперь предложить вместо Объединенных Наций? Идеи Кропоткина? Это в нынешней-то обстановке! Или же Верженнов и Талейранов? Но им и неоткуда взяться, и песенка их спета, и в их политическую могилу давно вбит осиновый кол, тогда как для этих он еще только готовится, да и то не наверное...»

— ...Но как же может произойти моральное разрушение, если некоторые члены Совета Безопасности делают все возможное, чтобы ему помешать? — спросил министр. Виктору Николаевичу показалось, что он говорит теперь другим, не эстрадным, а простым человеческим голосом. По залу пробежала новая, другая волна, как будто впервые послышались настоящие, правдивые слова, отразившие мировую драму. «Да, я и к нему несправедлив. Это и легко, и пошло — во всем находить комедию и фальшь. Конечно, он специализировался на общих местах, но в политике и вообще, кроме общих мест, почти ничего нет, и свое общее место в ней надо раз навсегда выбрать и тогда защищать его всячески — или уж совершенно в нее не вмешиваться. Человек же он неглупый и честный, он

гораздо лучше меня знает то, что происходит за кулисами, и, вероятно, переживает все это еще острее, чем я, из-за лежащей на нем ответственности, быть может, и по ночам не спит. Чем же он виноват?.. Вот кто виноват в том, что все идет к черту и что рушится тысячелетняя цивилизация».

Глава советской делегации встал и направился к трибуне. Аплодировал советский блок. Все другие делегаты угрюмо молчали. «Он мало изменился, только поседел. Так же будет «бросать чеканные фразы», — по старой привычке под Троцкого... Та же гневная улыбочка, так же держит бумагу между пальцами левой руки, так же расставляет пальцы правой, ладонью к ровненькому, в косую клеточку, галстуку. Только теперь, кажется, галстук шелковый... Все тот же и говорит так же. И ангельский голосок тот же, и те же выкрики! — с ненавистью подумал Яценко. — Он не очень дурной оратор, это нельзя отрицать, и все свои дела изучает превосходно. На Бухаринском процессе он даже поразил меня своим знанием следственного материала; это было ему и ненужно, так как там было простое убийство по приказу начальства. Так и теперь он изучил обвинительный акт, «досье западных империалистов и поджигателей войны». Так, так, Форрестол авантюрист, и Ройял тоже авантюрист. Так им и надо, если они могут все это проглотить, — те, прежние, таких слов не проглотили бы. О московских подсудимых он говорил, помнится, «подлые авантюристы», но хорошо и так, пусть по крайней мере понемногу установится тон... На процессе этот бывший меньшевик поносил Бухарина и Рыкова за меньшевистский уклон, зная, что они не посмеют ему напомнить о его прошлом. Часть будущих историков изобразит его мелодраматическим злодеем, как не раз изображали Фукье Тенвилля или Фуше. Между тем и в тех ничего мелодраматического не было, они не были ни садисты, ни изверги, они просто были чиновники-карьеристы, постепенно привыкшие к своему делу. Им нужно было выходить в люди, — «что ж, все это делают, и я не хуже других, а идейное оправдание всегда можно сочинить: и я сам сочиню, и находчивый биограф придумает». В той исторической обстановке, где за готовность к таким услугам щедро дают награды, Фукье Тенвилли появляются неизбежно, и спрос на них далеко отстает от предложения. А выбор истори-

ческого мундира — дело личного вкуса: кто играет под «фанатика», как Сен-Жюст, кто под «человека, добровольно принявшего крест», как Дзержинский с золотым сердцем, кто под «веселого циника», как Фуше, кто под «мыслителя, понявшего смысл великого социального процесса», как, по-видимому, этот. И свою роль он играет недурно, он способный человек... Да, да, совсем не изменился, даже интонации прежние, — думал Яценко, вспоминая то заседание процесса, на котором он был. — «Подсудимый Плетнев, каков был ваш образ мыслей в ту пору, когда Ягода пригласил вас, чтобы сговориться с вами об убийстве Куйбышева и Горького? Были ли у вас антисоветские тенденции?» — «Были...» — «Вы их скрывали». — «Да». — «Каким способом?» — «Часто повторял, что я поддерживаю все меры советского правительства». — «А на самом деле?» — «Я не был советским человеком». — «Значит, вы занимались камуфляжем?» — «Да». — «Двурушничали?» — «Да». — «Лгали?» — «Да». — «Обманывали?» — «Да»... Так, так, продолжай. — «Подсудимый Маршалл, есть ли у вас антисоветские тенденции?» — Генерал, кажется, еще не сознлся, слушает очень хмуро. Его труднее запугать, чем профессора Плетнева... Публика притихла... Да, все почувствовали трагедию, почувствовали, что дело идет к небывалому в истории кровопролитию, от которого если что еще и может спасти, то уж никак не это несчастное учреждение с прекрасной основной идеей».

Впоследствии Яценко сам с некоторым недоумением думал, что конец этого заседания сыграл огромную роль в перемене, случившейся в его жизни. Он встал, на цыпочках вышел из ложи, поднялся по лестнице. Издали доносился треск пишущих машин.

III.

— Да, да, я в полном восторге, — сказал Пемброк, когда они сели за стол в ресторане делегатов около какой-то раззолоченной статуи. — Этот министр произвел на меня сильное впечатление. Кстати, большевики здесь завтракают? Ведь никогда не знаешь, кто сидит рядом с тобой.

— Нет, они ездят к себе в посольство.

— Верно, они боятся, что их здесь отравят. И как

вам понравился министр? Правда, он говорил превосходно?

— Ничего.

— Только ничего? По-моему, отлично! Как жаль, что он не представляет великой державы! Он, часом, не марксист? А вы, верно, бывший полусоциалист, это лучше... Каюсь, я и Маркса не очень люблю. Умный был человек, хорошая еврейская голова, а наделал много зла. Конечно, я не смешиваю социалистов с коммунистами, — сказал Альфред Исаевич, протянув вперед обе руки ладонями к своему собеседнику: этот жест смягчал его слова, на случай, если бы Яценко все-таки оказался социалистом. — Практика у них разная, методы разные, я знаю, но, так сказать, их боги, их ангелы, даже их обряды одни и те же. У этих «Интернационал» и у тех «Интернационал». Хоть бы еще песенка была хорошая, а то ведь слушать противно. Они режут друг друга под одну и ту же музыку. Но «почти социалисты» хороший народ. Так вот, я ведь в Петербурге всех знал. Моей специальностью в газете были кулуары Думы и большое интервью. Я и всех рептильников знал, Бог с ними. А настоящие русские интеллигенты были все социалисты или полусоциалисты. Зато они теперь страшно поправились, даже для меня. Они теперь все зло в мире приписывают коммунистам.

— Не все, а три четверти.

— Это уже лучше. Вот, например, за муху це-це или за ку-клукс-клан большевики не отвечают, — сказал Пемброк. В разговоре с Делаваром он напал на него *справа* и, действительно, попутчиков терпеть не мог. Но теперь перед ним был русский эмигрант, Альфред Исаевич напал на него *слева* не без удовольствия: эта роль была ему в Голливуде непривычна. — Одно только я вам скажу. В вас, по-моему, есть задатки замечательного сценариста, к этому мы сейчас перейдем. Но если вы будете работать в кинематографе, то вы должны быть сдержаннее: там полно попутчиков, и они вас заедят!

«Вот, вот, и здесь», — подумал Яценко.

— Я именно для того и поселился в Америке, чтобы делать что мне нравится и ни с какими попутчиками не считаться.

— И вы совершенно правы, — сказал одобрительно Пемброк. — Соединенные Штаты — самая лучшая

и самая свободная страна в мире. Я говорю только о необходимости соблюдать известную сдержанность... Впрочем, теперь и у нас начинается другая волна. Через год, я уверен, в Голливуде настроение изменится. Так вот, — сказал он поспешно, не желая продолжать разговор об этом предмете, — так вот, возвращаясь к Объединенным Нациям... Я сам, кстати, иногда называл их Разъединенными Нациями, а теперь беру все назад. Это чудное учреждение! И я теперь уверен, что никакой войны не будет! Большевики приняли грубый тон, но что же с этим считать? Важно то, что они воевать не хотят, значит, и не могут. Как вы думаете?

— Да, очень может быть, — сказал Яценко, подавляя зевок. Он сто раз это слышал, читал и сам говорил.

— И поверьте, этот трибунал во дворце Шайо уже оказал на них отрезвляющее действие. Все-таки это первый международный парламент в истории, и он делает войну невозможной...

— Почему первый? Второй. Первый был в Женеве, и он тоже делал войну невозможной.

— Ну вот! Вы настроены скептически. Поверьте мне, старому человеку, нет ничего хуже и бесплоднее скептицизма, он вам наделает много вреда в жизни. Мы, американцы, особенно его не любим. Надо верить в жизнь, Виктор Николаевич!.. Нет, повторяю, я просто в восторге. И организовано тут все отлично. А еще говорят, будто французы плохие организаторы! Между тем даже у нас было бы не больше комфорта и удобств. Скептики утверждают, будто открыли новую говорильню, вдобавок очень дорогую. Какой вздор! Ни одно великое дело не создавалось сразу, трения и неудачи всегда неизбежны, но роль этой организации уже очень велика и будет расти с каждым днем. А расходы на нее — ведь это суший пустяк. Осуждать все очень легко, а что можно предложить взамен этого?.. Но я говорю против своих интересов, а может быть, и наших общих. Я восхваляю, правда, совершенно искренно это учреждение, между тем я, как вы уже знаете, хочу предложить вам из него уйти.

— Вот как, — равнодушным тоном сказал Яценко и подумал, что начинает усваивать приемы делового человека. — Но давайте сначала закажем завтрак... Я хочу угостить вас превосходным вином. У них удивительное Montrachet 1944 года...

— Как, это вы меня угощаете? — весело спросил

Альфред Исаевич. Он не был скуп, но забавлялся, когда его, миллионера, угощали небогатые люди. Говорил при этом почти всегда: «Я на все согласен, со мной, как с воском». Сказал и на этот раз. Когда завтрак был заказан, он сразу начал деловой разговор.

— Сегодня, Виктор Николаевич, я окончательно утвердился в своей мысли. Я хочу создать грандиозный мировой фильм именно на эту тему: об Организации Объединенных Наций!

Яценко взглянул на него с изумлением.

— Об Организации Объединенных Наций?

— Так точно! Сегодня, — сказал Пемброк, часто говоривший «сегодня» вместо «теперь», — в мире есть только две великие идеи: это разложение атома и Разье... и Объединенные Нации. От них зависит жизнь и смерть человечества. Вот о чем надо написать фильм! Вы думаете, что Америка материалистическая страна? Так думают иностранцы и «зеленые»! А я вам скажу, что нет более бескорыстного, великодушного и увлекающегося народа, чем наш!

— То есть чем американский? Да, это так.

— Разумеется, чем американский, потому что я стоцентный американец еврейской религии. Я думаю, что эти два элемента можно скомбинировать: атомную бомбу и Объединенные Нации. Конечно, совершенно необходимо, чтобы при этом был конфликт и был авантюрный элемент, иначе это было бы очень скучно. Я хочу, чтобы карьера Пемброка закончилась грандиозным идейным фильмом! Чтобы ничего похожего не было в истории мирового кинематографа со времени «Большого парада» Кинга Видора и «Рождения нации» Гриффита. Нет, больше! Мы сравняемся с Сесилем Б. де Миллем, а Сесили Б. де Милли рождаются раз в столетие! Мы дадим и атомную бомбу, и Объединенные Нации!

— Вы думаете, что такой фильм может иметь успех?

— Огромный!

— Денежный?

— Конечно, и денежный, — ответил Альфред Исаевич. — Когда идея хороша, то фильм дает и большой доход, — скороговоркой пояснил он. — Это Делавар уверяет, что его деньги не интересуют. Если вам деловой человек говорит, что его не интересуют деньги, то, поверьте, это значит, что он хочет заработать сто

процентов на капитал! А я честно говорю, что я без прибыли работать не хочу и не могу: за мной стоит финансовая группа, она мне верит, и я должен оправдать ее доверие. Кроме идеи и артистов, как я вам говорил, нужна хорошая фабула.

— Как же вы к Организации Объединенных Наций пришлете хорошую фабулу? Вы не хотите, чтобы Вышинский зарезал генерала Маршалла из ревности к индусской делегатке?

— Нет, я этого не хочу. Но фабула должна быть. Даже в Священном Писании есть фабула, и без нее даже оно не завоевало бы мира... Пока у меня есть, конечно, только очень общие идеи, которые моя экипа и должна разработать... Вы говорите, откуда возьмется фабула? Но вот позвольте: мы с вами сходимся на том, что Организация спасает мир от ужасов атомной войны, правда?

— Допустим, хотя...

— Никаких хотя! Надо, значит, показать на экране, от чего именно Организация его спасает.

— То есть, показать атомную войну? Это невозможно по тысяче соображений. Даже, я думаю, по цензурным. И притом как же это? Если Организация спасает мир от атомной войны, значит, атомной войны не будет. Тогда что же показывать?

— Дайте мне досказать мою мысль. Я не так глуп, как вам, быть может, кажется, и, смею добавить, я знаю кинематограф немножко лучше, чем вы... Мы покажем не атомную войну, а людей, которые хотят похитить у нас ее секреты.

«Так, так», — подумал Яценко.

— Значит, вы хотите сделать шпионский фильм? Что же, все зависит от того, какой именно.

— Вот это вы говорите правильно!

— Все зависит от того, какой именно, — настойчиво повторил Яценко. — До сих пор ни одного художественного фильма о шпионаже не было или, по крайней мере, я таких не видел...

— Не было! Я тоже не видел. И мы такой сделаем! Таким образом, сценарий будет, так сказать, иметь два центра, оба с жгучим мировым интересом. Нужна фабула! Полцарства за фабулу! Или не полцарства, но очень хорошие деньги. И я подумал о вас. Вы новый человек, вы внесете свежую струю. У вас есть культура, а гэги мы вам дадим. Займитесь кинематографом

сначала так, и года через два вы будете виднейшим членом моей голливудской экипы! — сказал Альфред Исаевич, и по его интонации Яценко понял, что в кинематографе стать членом экипы это как бы перейти из кордебалета в балет. — Моя экипа считается первой во всем Голливуде, то есть во всем мире! Вы, конечно, понимаете, что над таким грандиозным фильмом вы не можете работать один. Работать будет целая экипа, я готов включить вас в мою экипу, Виктор Николаевич! Я отлично знаю, что вы думаете. Вы думаете, старик Пемброк предлагает мне заняться пошлостью: всякий шпионский фильм — это пошлость! А вы помните, что сам Чехов всю жизнь мечтал о том, как написать хороший водевиль! И может быть, его, на беду, от этого отговорили разные пуристы, думавшие, что всякий водевиль непременно пошлость. Так что же вы думаете о таком сценарии?

Лакей разлил по бокалам вино. Другой лакей подкатил столик с закусками.

— Так сразу не скажешь, — разочарованно ответил Яценко.

— «Так сразу!» Говорите не «так сразу», а подумавши.

— Вы хотите, чтобы работало несколько человек, то, что вы называете экипой.

— Почему «я» так называю? Так это все называют, — подозрительно вставил Пемброк, точно опасался, что Яценко не причисляет его к интеллигенции.

— А вот я хотел бы работать в одиночку.

— Вы слон-пустынный, — сказал Пемброк. — А разве у вас что-нибудь есть? Какой-нибудь ценный сюжет?

— Не только сюжет. У меня есть вторая пьеса, я ведь вам говорил в Ницце.

— Опять пьеса? Отчего бы вам не писать прямо сценарии?

— Вы знаете, я давно думаю, что надо объединить жанры. Должно быть сочетание пьесы с фильмом и рассказом.

— Значит, это не для экрана?

— Пожалуй, и для экрана, но только если найдется герой-продуктор,¹ который решится на реформу кинематографа.

¹ От *англ.* *produce* — ставить фильмы.

— Вот вы так всегда, начинающие сценаристы! Еще ни одного сценария не написали, а думаете устроить революцию в кинематографе. Я им занимаюсь тридцать лет и пока революции не произвел!

— Дело идет не о революции, а о нововведении. Есть ведь вещи, которые нельзя показать только на экране и нельзя показать только в рассказе. Отчего же их не объединить? В середине фильма кто-то читает. Публика не так глупа, как думают кинематографические люди: она отлично может слушать четверть часа и чтение. Идея моей пьесы: снисходительность к людям. Все мы хороши, надо очень многое прощать и другим.

— Это прекрасная мысль. Она может очень понравиться американцам! — сказал Альфред Исаевич. Яценко взглянул на него с худо скрытой ненавистью. — Но зачем что-то объединять?

— Мелодрама *была* не очень серьезным видом искусства, но теперь дело другое. Теперь жизнь показала такие ужасы и злодеяния, что мелодрама становится совершенно реалистичной. Заметьте, само по себе слово «мелодрама» значит только «музыкальная драма». Вы давно объединили экран с музыкой, отчего же вы не хотите объединить его с рассказом? Конечно, в рассказе действуют те же лица, что в фильме.

— Но зачем разбивать впечатление? Если рассказ драматичен, то отчего не сделать из него часть сценария?

— Оттого, что это условно, утомительно, не похоже на жизнь. В жизни люди не только разговаривают, не только целуются и не только стреляют из револьвера. У них есть мысли, есть психология, есть то, что экран передать не может или может только очень элементарно. Есть вещи, которые при передаче на экране неизбежно опошляются. И театр имеет тоже свое настроение, не совпадающее с настроением фильма. Одним словом, по-моему, должен быть виден и автор: недостаточно упомянуть о нем вначале, в объявлении рядом с костюмерами и фотографом. Ну вот, например, герой моей пьесы носит неестественное странное имя. В фильме я не могу объяснить, почему он принял такое имя. Не могу рассказать и его прошлое.

— Напротив, это очень легко.

— Да, при помощи разных шаблонных приемов: воспоминания героя, сон или что-либо еще более заез-

женное и тошнотворное. Отчего не объединить разные жанры?

— Пиранделло, Пиранделло, — пробормотал Пемброк. — Кажется, это у него какие-то персонажи ищут какого-то автора, правда?

— У меня никакие персонажи никакого автора не ищут. Пиранделло тут совершенно ни при чем, — сердито сказал Яценко. — И я думаю, что это может иметь и успех. Дело для меня, впрочем, не в успехе, а в моих общих воззрениях на искусство. Я думаю, что объединение в одном произведении разных видов искусства может быть чрезвычайно плодотворно. Вспомните, какое огромное значение имело когда-то создание оперы, объединившей драму с музыкой. В меньшей степени то же относится и к балету, который, впрочем, объединил виды искусства совершенно разного уровня: танцы не идут в сравнение ни с музыкой, ни с живописью, ни с литературой, даже в ее принятой балетом детской форме. Я убежден, что и роман выиграл бы от сочетания с драмой: приемы этих двух искусств разные, и каждое дало бы автору возможность по-разному осветить и уяснить душу действующих лиц. Согласитесь, что вообще ваши обычные кинематографические приемы и элементарны, и очень надоели. Когда, например, вы хотите создать «мрачное настроение», у вас на экране сначала показываются *ноги* приближающегося убийцы, а потом сам убийца. Пора бы придумать что-либо лучше.

— Я все-таки не очень понимаю. Что-то тут для меня слишком умное. Я продюсер, а не герой, и у меня есть компаньоны... Ну хорошо, не будем пока об этом говорить. А конфликт у вас есть?

— Есть.

— Превосходно. Не расскажете ли содержание?

— Рассказать не так легко.

— Вы, может быть, думаете, что я у вас стащу сюжет? — благодушно спросил Альфред Исаевич. — Яценко преувеличенно весело засмеялся. — Ну хорошо, покажите пьесу. Правда, грандиозный фильм, быть может, лучше ставить в Америке. Я еще немного колеблюсь. Финансовая группа уже почти создана. Разумеется, руководителем буду я. Я всегда так работаю, и слава Богу, — он постучал по столу, приподняв край скатерти, — до сих пор ни один мой фильм провалом не был. Были фильмы, приносявшие миллионы, и бы-

ли фильмы, приносившие только приличную прибыль... Разумеется, к художественному успеху моих фильмов это относится еще больше. Я к тому же хорошо знаю критиков, знаю, что им нужно. Одним словом, я даю общие директивы. Вам, кажется, не очень нравится то, что я говорю? — спросил Альфред Исаевич и немного помолчал, вопросительно глядя на Яценко. — Но я могу вас уверить, что я с величайшим вниманием отношусь к чужой работе. Вы можете спросить в Голливуде кого угодно: «Что, Альфред Пемброк хам?» — и вам все ответят: «Нет, Альфред Пемброк не хам, а джентльмен». И плачу я тоже лучше других. Коротко говоря, я вам предлагаю сотрудничество и работу. Я верю в ваш талант... Нескромный вопрос: сколько вы здесь зарабатываете?

— Я получаю около семи тысяч долларов в год, а во время разъездов еще и суточные, в Париже по три тысячи франков в день.

— Это недурное жалованье, — снисходительно сказал Альфред Исаевич, — но я вам предложу для начала (он подчеркнул эти два слова) пятьсот долларов в неделю. Разумеется, вам пришлось бы бросить Объединенные Нации. Это вас пугает?

«Ну, слава Богу! Значит, и это устроено! — подумал Яценко с чрезвычайным облегчением. Он не ожидал столь большой цифры. — Это важно не для меня, а для Нади».

— Нет, это меня не пугает. Они мне осточертели.

— Осточертели! — укоризненно повторил Пемброк. — Издеваться над Объединенными Нациями то же самое, что издеваться над Голливудом. Этим тоже только ленивый не занимался, и это тоже несправедливо.

— Во всяком случае, я должен вас предупредить: я очень независимый человек и по природе, и потому, что я пробыл столько лет в СССР.

— Это, скорее, был бы довод в объяснение того, почему вы не независимый человек, — сказал, смеясь, Пемброк.

— Я смотрю на годы, проведенные в СССР, как Достоевский мог смотреть на годы, проведенные им на каторге. — «Вот кого вспомнил! Ох, мегаломан»¹ — подумал весело Альфред Исаевич. — Повторяю, у

¹ Мегаломан — человек, страдающий манией величия.

меня этой нашей профессиональной писательской мегаломании нет и следа, — без полной уверенности сказал Яценко. — Там я только думал, а писать не мог ни строчки. Но я для этого и бежал за границу. Оказавшись в свободной стране, я твердо решил прожить остаток жизни вполне независимым человеком...

— Это прекрасная мысль, и, поверьте, я ни на чью независимость не посягаю. Я и сам терпеть не могу «йес-менов»¹. И в конце концов, если мы не подойдем друг к другу, мы расстанемся, и, надеюсь, друзьями. Что же вы скажете?

— Работать надо было бы в Голливуде?

— Позднее да. Но сейчас крутить мы будем не в Голливуде, а во Франции. У вас есть квартира в Нью-Йорке?

— Есть. Маленькая, холостая.

— Контракт я предложил бы вам на год, разумеется с продлением, если мы подойдем *друг другу*, — учтиво добавил Альфред Исаевич. — А если нет, то ведь за этот год вы заработаете двадцать шесть тысяч... Предупреждаю вас, что никаких налоговых комбинаций мы не делаем. Мы обязаны публичной отчетностью, и...

— Я налоги всегда платил без каких бы то ни было комбинаций.

— Как и я... Надеюсь, вы не обиделись? Но ведь, кажется, жалование служащих Объединенных Наций не облагается налогом?.. Одним словом, я вам предлагаю, по-моему, подходящий джаб². А если вы сделаетесь знаменитым сценаристом, то на вас польется золото. В Голливуде есть сценаристы, зарабатывающие в год до ста тысяч.

— Я подумаю, — сказал из приличия Яценко, чтобы не соглашаться тотчас. Он чувствовал все большее смущение. «Так, верно, чувствует себя женщина после первой измены мужу».

— Подумайте. Покажите мне вашу вторую пьесу, мы поговорим, я вас кое с кем познакомлю. В нашей группе я за собой оставил 51 процент. Французскую группу составляет Делавар, которого вы знаете.

— Да, я его знаю, — сказал Яценко, опять с неясным неприятным чувством.

¹ От *англ.* yes-man — человек, говорящий «да», поддакивающий.

² От *англ.* job — дело.

— Что вы делаете в воскресенье днем? Приходите, мы поговорим, а потом я вас угощу обедом.

— Именно в воскресенье я не могу. Приглашен к Николаю Дюммлеру. Знаете его?

— Этого философа-анархиста? Кто же его не знает! Так он жив еще?

— Не только жив, но свеж, как мы с вами, хотя ему далеко за восемьдесят лет.

— Свеж, как мы с вами? — радостно повторил Альфред Исаевич. — Далек за восемьдесят лет? А как он себя вел при немцах?

— Это, кажется, ваш вечный вопрос, но...

— Согласитесь, вопрос довольно существенный!

— Вполне соглашаюсь, но как же можно задавать его о таком человеке, как Дюммлер. Разумеется, он вел себя безукоризненно! Я в жизни не встречал более благородного человека! — с жаром сказал Яценко.

— Я тоже слышал, что Дюммлер хороший человек. Он был очень известен, когда я только что приехал из провинции в Петербург начинать свою карьеру публициста. Я его два раза видел на собраниях в 1905 году, он тогда вернулся из-за границы. Как чистого теоретика его царское правительство не преследовало. Кроме того, он сын министра Александра II. Тогда, помнится, говорили, что он вивер? Какие-то у него были сногшибательные романы, тоже что-то страшно благородное... Он был очень богат. А теперь он, верно, нуждается? Если вы делаете сбор в его пользу, то я охотно приму участие. У меня есть пиетет к таким людям, и я помню, что он не только никогда не был антисемитом, но и подписал протест против кишиневского погрома. Вас тогда, верно, еще на свете не было!

— Нет, он не нуждается.

— Слава Богу!.. Так если вы в воскресенье заняты, давайте встретимся в начале будущей недели, я вам позвоню. И я очень, очень рад, что мы в принципе договорились. Вы об этом не пожалеете, даю вам слово Пемброка! — сказал с чувством Альфред Исаевич.

IV.

Шарль Делавар не имел квартиры в Париже. Он занимал номер из четырех комнат в одной из лучших

гостиниц. Имел также замок в Люксембурге, — был люксембургским гражданином. Это было ему удобно в отношении налогов. Дела у него были везде, но главным образом во Франции.

Репутация у него была не слишком хорошая. Отзывы о нем обычно начинались со слов «Да, но»: «Да, но вы не можете отрицать, что он человек не злой», или: «Да, но вы знаете, как он щедр и отзывчив», или: «Да, но зато какой деловой человек». Ничего особенно худого о нем никто точно не знал. Биржевых людей раздражало, что он, занимаясь такими же операциями, как они, все же создал себе репутацию «человека с идеалистическим мировоззрением». Впрочем, они слова эти произносили редко и неуверенно, как, например, могли бы произносить слова «субдолихоцефал» или «поверхность постоянной отрицательной кривизны». Многие считали его очень умным человеком. Репутация «умницы» распространяется в мире так же легко, как репутация «дурака», ошибок случается в обоих случаях приблизительно одинаково.

У большинства людей с запасом эгоизма, превышающим средний, то есть чрезвычайно высокий уровень, эгоизм умеряется тем, что они заботятся о своей семье. У Делавара семьи не было. Действовал он в жизни главным образом по инстинкту. Он не только не говорил, но и не думал, что самые важные в мире вещи — это деньги и реклама. Однако поступал он всегда так, как если бы это было математически доказанной истиной, — сам он ее и не проверял, как не стал бы проверять, что дважды два четыре. Вопрос о том, *зачем* ему нужны еще сотни миллионов франков в дополнение к уже нажитым сотням миллионов, просто не приходил ему в голову; а если бы пришел, то он, верно, с недоумением ответил бы себе, что тут никакого «зачем» быть не может. Столь же бесспорно было то, что деньги и реклама тесно между собой связаны: при помощи денег реклама достается очень легко, а при помощи рекламы, хотя и далеко не с такой легкостью, можно наживать деньги. Конечно, реклама могла быть разной. Как все люди, он узнавал разве лишь десятую долю того, что о нем говорили. Как нормальному человеку, ему бывало приятно, когда о нем говорили хорошо. Но и когда говорили худо, это было все же много лучше, чем если бы не говорили ничего. Вдобавок он знал, что людей, о которых говорили бы одно

хорошее, не существует. Писали о нем — пока — чрезвычайно редко. Поэтому каждому упоминанию о себе в газетах, даже короткому и незначительному, Делавар придавал неизмеримо больше значения, чем привычные к статьям о них писатели или политические деятели. Он с наслаждением мог перечитывать заметку в десять строк о том, что известным благотворителем Делаваром пожертвовано пятьсот тысяч франков на такое-то доброе дело. Раз в какой-то темной газетке его назвали темным финансистом. Ему в голову не пришло усомниться, что заметка имела целью шантаж. Вопрос был: *кто* хочет денег, издатель или репортер, и надо ли дать деньги или нет? Некоторые финансисты в таких случаях платили. Немного поколебавшись, он решил не платить: о Наполеоне писали и не такие вещи. С легкой тревогой ждал продолжения заметок в газете и был несколько разочарован, когда больше ничего не появилось.

Жизнь его была почти всецело построена на тщеславии и потому была счастлива; по тщеславию он был убежден в том, что все, даже враги, даже шантажисты, считают его гениальным человеком, а это убеждение укрепляло в нем тщеславие. Любую неприятность и любое несчастье он мог объяснить себе так, что удовольствие от них с ними мирило. Он любил радости жизни, но и они были у него сплетены с тщеславием так тесно, что никто не мог бы сказать, где начинается одно, где кончается другое. У него было немало любовниц, и он много пил, но очень и это преувеличивал — ему нравилась репутация кутилы. Из-за тщеславия же в его жизни занимали некоторое, правда небольшое, место и идеи. Он не интересовался литературой и ничего не понимал в искусстве, но делал вид, будто интересуется ими чрезвычайно. Некоторые из его знакомых говорили, что он «человек двух плоскостей», хотя это объяснение ничего не объясняло, да и было бы столь же верно в отношении большинства людей. Иногда Делавар говорил и не только о себе, но тогда говорил без интереса.

Как ни приятно было ему сознавать, что его считают гением, еще приятнее это было слышать. Нуждавшиеся в нем люди постоянно на этом играли. Наиболее бесстыдные или же наиболее уверенные в том, что любой человек способен проглотить любую лесть, называли его гениальным человеком в глаза — обычно

такие слова у них «вырывались», — эти при Делаваре преуспевали. Но после того как он нажил большое богатство, не сделав ничего каравшегося законом или, по крайней мере, ничего строго им каравшегося, у него появились и искренние, правда немногочисленные, поклонники: они просто не допускали мысли, что можно нажать сотни миллионов и быть ограниченным или даже туповатым человеком.

Физическое сходство с Наполеоном действительно сыграло в жизни Делавара немалую роль. В люксембургском замке у него была большая библиотека. Он знал, что, кроме первых изданий и «переплетов эпохи», от влюбленных в книгу людей требуется еще какая-либо специализация, и стал собирать книги о Наполеоне. Имел даже наполеоновские реликвии. За большие деньги ему предлагали прясть волос императора, кому-то подаренную на острове Святой Елены. Этой пряди Делавар не купил: любил Наполеона только в период успехов; все, связанное со Святой Еленой, напоминало ему, что в конце концов и он может разориться. Читал он вообще немного: и времени не было, и не сделал себе с молодости привычки. Но о Наполеоне прочитал немало книг. В одной из этих книг он с огорчением прочел, что император в «инстинкт» не верил: «Надо обо всем долго думать, я думаю целый день, за делом, за едой, за разговорами». Это было неожиданно: инстинкт, по представлению Делавара, был безошибочным признаком гения. Думать целый день он не мог и даже вообще занимался этим очень мало, но намекнул своим приближенным, что проводит день и ночь в размышлениях.

Делавар вставал рано и тотчас садился за работу. Секретарша приходила в восемь часов утра. Он очень заботился о своих служащих, они его любили и называли цифры его состояния (всегда преувеличенные и все росшие) почему-то с гордостью, точно это были их собственные деньги. Но работы он от них требовал немалой. Секретарей иногда задерживал до поздней ночи. Диктовал, расхаживая по комнате, самые обыкновенные письма. Но секретарша писала под его диктовку с выражением восторга на лице. Она его обожала. С женщинами у него были в запасе два тона: презрительно-наполеоновский и покорно-рыцарский. Но он так женщин любил, что с ними все же бывал приятнее и правдивее, чем с мужчинами. Секретарша,

впрочем, не отличалась красотой; с ней он был прост и ласков, говорил почти естественно: совершенно естественно он говорить не мог.

Когда хотел, Делавар умел быть очень мил и любезен. Он не был злым человеком, коэффициент недоброжелательности, дающий возможность различать и классифицировать людей, был у него незначителен: он почти никому не желал зла, кроме разве нескольких финансистов, да и тем желал зла лишь в меру — если бы они потеряли три четверти состояния, этого было бы для него достаточно.

Со своими врагами он умел быть резок и груб, но также без крайностей и больше потому, что таков часто бывал Наполеон. Да и большинству этих людей охотно все простил бы, услышав от них похвалы. Был чрезвычайно обидчив, но особенно злопамятен не был, любил делать друзей из врагов и справедливо считал это мудрейшей политикой. Ближайших своих помощников засыпал наградными деньгами, как Наполеон титулами и именьями своих маршалов. Делавар был от природы щедр и не забывал о своей голодной молодости. Кроме того, репутация гран-сеньора его соблазняла. Нередко давал деньги и без всякой рекламы: в конце концов все всегда узнавалось, и репутация благотворителя, у которого правая рука не знает, что делает левая, была самой лестной. Знал, что в некрологах услужливые люди в услужливых газетах именно скажут о нем, что он щедро, никому о том не говоря, оказывал помощь всем нуждающимся (и не объяснят при этом, откуда же им это известно). Впрочем, о некрологах он думал мало: реклама ему была нужна преимущественно при жизни.

Служитель принес снизу почту. Только что пришла телеграмма из Монте-Карло: старик Норфольк согласался поступить в его секретариат, принимал предложенные ему условия, но требовал платного шестинедельного отпуска. В предприятиях Делавара служащим полагался только месячный отпуск. Тем не менее он тотчас согласился и велел послать телеграмму: «Согласен. Приезжайте немедленно». В телеграммах соблюдал особенно сжатый даже для телеграмм, цезарский стиль. Норфольк очень ему понравился своим умом, ученостью и энергией. Теперь для кинематографического дела нужно было увеличить секретариат.

Важных писем не было. Несколько малоинтересных

деловых предложений, несколько просьб о пожертвованиях, билеты на благотворительные вечера. Эти просьбы и билеты ему, как всем богатым людям, смертельно надоели. Считалось, что суммы до тысячи франков для него вообще никакого значения не имеют: о таких суммах его мог, собственно, просить всякий, как любой прохожий на улице может попросить у незнакомого человека спичку, хотя никогда не попросит папиросы. Делавар почти никому не отказывал, однако думал, что число просьб может быть бесконечно и что всему надо знать меру. Разумеется, он, как большинство богатых людей, определял размер пожертвования в зависимости не от того, на что просили, а от того, кто просил. Одна просьба была от какой-то принцессы и составлена в очень любезных выражениях. Он вспомнил, что Наполеон принцессам, надоедливо просившим его о портрете, дарил пятифранковую монету со своим изображением, и с усмешкой надписал карандашом на этом письме довольно крупную цифру; на других надписал цифры поменьше и отдал все секретарше.

Было еще письмо от Дюммлера. Тот просил непременно приехать в воскресенье, в пять часов, для выяснения вопроса о покупке дома.

Делавар не мог бы с точностью сказать, почему вошел в «Афины». Инстинкт сказал ему, что вокруг этого общества может создаться большое шумное движение вроде экзистенциалистского. Он читал Дюма, и из четырех мушкетеров ему особенно нравился Арамис, который в конце оказывался могущественным генералом иезуитского ордена, с таинственным перстнем, производившим магическое действие на людей. Первоначальный состав учредителей «Афины» был таков, что не очень трудно было стать ее фактическим руководителем, а после кончины Дюммлера и председателем. Наполеон как будто был масоном. Теперь участвовать в масонском ордене было слишком банально, да и выслуга высоких званий там шла слишком медленно. Делавар принял в дюммлеровском обществе должность *Garant d'Amitié*¹ (титул, впрочем, ему не очень нравился: именно напоминал что-то масонское и не годился для заметок в газетах). Шумное движение пока не создавалось, дело росло медленно,

¹ Гарант Дружбы (*фр.*).

если вообще росло. Между тем денег у него взяли уже довольно много и, очевидно, хотели получить еще гораздо больше. «Гранд все обещает чудеса, но он отъявленный лгун, ни одному его слову верить нельзя. Теперь, конечно, хочет нагреть руки на покупке дома. Старец Дюммлер ученый и честный человек, но что он понимает в жизни?» Все же Делавар записал на воскресной странице адрес-календаря: «5 час. Дюммлер». Решил: если и даст деньги, то не иначе как под условием, чтобы дом был приобретен на его имя.

Затем он долго говорил по телефону с разными странами. Телефонные разговоры стоили ему несколько миллионов франков в год. В одиннадцать часов он отправился на биржу. Там он знал всех. Старался со всеми раскланиваться благожелательно и чуть свысока, но это не очень ему удавалось — от привычек, приобретенных в пору бедности, отучиться было нелегко: шляпу приподнимал одинаково, но перед особенно важными людьми наклонял голову чуть дольше, чем следовало. На бирже поклонники почтительно его спрашивали о политическом положении. Он говорил общие места, но говорил чрезвычайно уверенно, бойко, громко и с таким видом, будто знал подоплеку всего, какие-то важные тайны, top secret. Этот тон действовал если не на всех, то на очень многих. У Делавара язык и голосовые связки были устроены так, что его всегда слушали внимательно, особенно в первые минуты. Не любили его в большинстве старые богачи, унаследовавшие состояние от дедов.

Завтракать он поехал не в тот дорогой ресторан поблизости от биржи, где собирались только что нажившие много денег люди, а подальше, в другой, еще лучше. Он знал толк в еде и винах (этим пожертвовать сходилыв с Наполеоном не мог). Долго и старательно обдумывал и выбирал блюда. Вина заказал только полбутылки: заботился о здоровье и рабочий день еще далеко не был закончен. За завтраком он думал не о делах. Думал о еде, думал также о всяких пустяках, о том, как он обедает со своими маршалами после победы под Аустерлицем, о том, как в Варшаве ему отдастся графиня Валевская, о том, как приятно было бы быть римским патрицием и иметь рабынь. Представлял себе, как он уносит на руках полуодетую красавицу, спасая ее от мужа или другого соперника, — в этом уносе на руках он видел что-то особенно поэтичное.

Думал также о дуэли, которая могла бы у него быть с каким-либо известным человеком, и даже мысленно намечал себе для нее подходящих по рангу секундантов, — дуэль кончалась легкой раной противника и примирением. Эта привычка думать о вздоре за едой и перед сном осталась у него с отроческих лет; он сам считал ее глупой, но отделаться от нее не мог, да и жаль было бы с ней расставаться: она была уютной.

За кофе он вынул из кармана первый курс ценностей и первое издание вечерних газет. На бирже узнал, что франк упал за день, но не очень: на 4 процента. Делавар помнил, когда и по какой цене приобрел каждую из своих многочисленных акций, какие дивиденды она приносила, каковы были ее высший и низший курсы. Следил и за курсом тех ценностей, которых у него не было. Он вел большую биржевую игру; биржевики-остряки называли его Карлом Смелым; это очень ему льстило. Другая часть его богатства была связана с самыми разными, сложными делами. Делавар не мог бы точно сказать, каково его состояние. Подсчитывать можно было только биржевой «портфель», и он любил это делать. Так и теперь, хотя перемены за день были невелики, приблизительно подсчитал: около трехсот двадцати миллионов. В долларах цифра выходила гораздо менее внушительной. Мысль о том, что все его ценности не стоят и одного миллиона долларов, тогда как какой-нибудь американский болван вроде Пемброка имеет больше, была ему неприятна.

Как многие люди, он был почти лишен способности на себя оглядываться. Делавар не был ни циником, ни лицемером; не был даже лгуном, поскольку тщеславие может не переходить в лживость. Богатство было неотделимо и от поэзии, и от идей: он собирался вести большие политические дела. Одной из его любимых книг были воспоминания банкира Лаффита, который лично знал Наполеона, бывал у королей и королев и руководил революцией 1830 года.

Как всем, Делавару было известно, что коммунисты — и не только они одни — убеждены во всемогуществе Уолл-стрит. Он иногда и сам так говорил со значительным видом, точно немало мог бы об этом рассказать. Делавар *хотел* в это верить. Однако он бывал и на нью-йоркской бирже, лично знал многих ее деятелей, знал главных финансистов в разных столи-

цах Европы. При встречах с этими людьми он испытывал некоторое разочарование (такое же чувство, вероятно, испытал бы, если б встретился, например, с «сионским мудрецом», а тот благодушно заговорил бы с ним о цене на хлопок и пригласил бы его на завтрак в еврейский ресторан). Все это были незначительные люди; они не только не правили миром, но и не очень хотели им править и совершенно не знали бы, куда мир вести, если б в самом деле обладали тем могуществом, которое им приписывали. Свои дела они устраивали хорошо, хотя и тут никакой гениальности не проявляли: составляли богатство чаще всего по воле случая, иногда потому, что были очень настойчивы, хитры и беззастенчивы. Вдобавок огромные состояния создавали далеко не самые одаренные из них; наиболее смелые и умные, напротив, нередко разорялись или ничего не достигали.

В политику все эти люди действительно часто вмешивались, главным образом для устройства своих личных деловых комбинаций или деловых комбинаций их групп. И хотя и они сами, и особенно их группы обладали громадными капиталами, в общеполитическом масштабе больших стран их вмешательство в государственные дела имело очень мало значения. Обычно оно сводилось к подкупу чиновников, но опять-таки для устройства частных, а не мировых дел. Они вообще плохо разбирались в политике, были малообразованны, иностранных дел совершенно не знали, как обычно не знали и иностранных языков. Если их частные дела зависели от мировых событий, то в большинстве случаев они ошибались в расчетах. Эти люди часто наживались на военных поставках, но войны устраивались не ими. Влияние их в политике к тому же с каждым годом уменьшалось. Чаще всего они поддерживали противников демократии, и это тоже свидетельствовало об их ограниченности, так как деньги им было все-таки легче наживать при свободном строе. И действительно, большинство огромных состояний именно в свободных странах и создалось. Симпатии этих людей к диктаторам бессознательно связывались с тем, что им хотелось быть диктаторами в своих предприятиях. Между тем ограничения их власти там нисколько не мешали им богатеть. Не очень им вредили и социальные реформы, к которым легко было приспособиться, не теряя денег; гораздо больше

мешал подоходный налог, но и тут были возможны всякие комбинации, не нарушавшие или почти не нарушавшие законов уголовного кодекса. Стачечников они действительно терпеть не могли, и это увеличивало их симпатии к диктаторам. Однако диктаторы, запрещая стачки, не очень церемонились и с капиталистами. По опыту истории «люди с Уолл-стрит» могли бы знать, что в громадном большинстве случаев диктатуры кончаются худо и для диктаторов, и для их друзей. Но они историю знали плохо и, несмотря на тяжелые уроки в прошлом, все же верили, что найдется настоящий, хороший, прочный и долговечный диктатор. Впрочем, помощь их диктаторам была тоже незначительной и обычно сводилась к денежной поддержке в ту пору, когда кандидат в диктаторы еще в ней нуждался. Они так же мало устанавливали диктатуру, как вызывали войны.

Все это Делавар знал или мог знать. Тем не менее он поддерживал в разговорах легенду о Уолл-стрит: он и сам фигурально к международной Уолл-стрит понемногу приближался. Но в тех случаях, когда он строил свои деловые комбинации на предвидении важного политического события, он обычно терял деньги. В свое время даже ордена Почетного легиона ждал довольно долго, так как поставил не на того министра и, к крайней своей досаде, получил для начала лишь орден Туристской заслуги. Тем не менее его сомнения проходили быстро: он ошибаться *не мог*.

После завтрака он побывал еще в разных влиятельных учреждениях, в которых не совсем легко было понять, где начинаются дела и где кончается то, что он называл идеями. В Греции собирались кормить детей, некоторые другие страны снабжались машинами; в связи с этим возникали вопросы, кому будут даны заказы, кто будет снабжаться в первую очередь и от кого все это главным образом зависит. В шестом часу его деловой день кончился: после шести он, по заведенному правилу, о делах не говорил. Светские приятели нередко в обществе расспрашивали его о биржевых комбинациях в надежде на даровой совет, как при встрече со знаменитыми врачами наводили разговор на болезни, которыми страдали. Он отшучивался и говорил о живописи, о музыке, о поэзии. Запоминал то, что при нем говорили знатоки. Их присутствие его совершенно не смущало. Сначала и они слушали — в

первую минуту и на них действовал его громкий голос и авторитетный тон, — потом, зевая, отходили; он смертельно обижался, если это замечал.

Обедал Делавар то в гостях, то в ресторанах, чаще всего в роскошном игорном доме. Старик швейцар там встретил его радостно-почтительно. Знал, что он не француз и не Делавар, но уже нерешительно пытался называть его «господин барон». В гимнастическом зале он с полчаса фехтовал с каким-то настоящим бароном, проделывал разные приемы, секунды, кварталы. Затем с тем же бароном пообедал и выпил бутылку шампанского. Делавар не был снобом и так же мало почитал титулованных людей, как людей знаменитых: часто полушутливо говорил, что от природы лишен «шишки уважения», слов же «inferiority complex»¹ вообще понять не может; иногда еще шутливее добавлял: «У меня, скорее, «superiority complex»². Но он всякую силу принимал просто как факт, а титул в мире еще кое-что значил, хотя его значение уменьшалось с каждым годом. Этот барон вполне годился и в качестве противника на дуэли: «Les adversaires se sont reconciliés»³, — но он был очень любезен, а главное, хорошо владел оружием. Гораздо больше годился бы в секунданты.

За обедом они говорили о том же, что все, и то же, что все: может быть, у Сталина уже атомная бомба есть, а может быть, у него атомной бомбы еще нет; может быть, Россия уже к войне готова, а может быть, она еще к войне не готова; может быть, война будет, а может быть, войны и не будет.

— Дорогой мой, — сказал Делавар, — Сталин очень смелый *стрэддлер*, но и отличный игрок: у него сейчас фулл хэнд, а он будет играть, когда у него будет ройял флеш.

— Да, но что, если у него уже есть ройял флеш, — возразил барон.

— Тогда будет война и гибель миров. В этом есть грозная зловещая поэзия. А без поэзии что такое жизнь? Зачем без поэзии жизнь? Любите ли вы Апокалипсис?

¹ «Комплекс неполноценности» (англ.).

² «Комплекс сверхполноценности» (англ.).

³ «Между противниками произошло примирение». — Пер. с фр. автора.

— Люблю, — ответил барон так же озадаченно, как в Монте-Карло Пемброк.

— Так вспомните же видение саранчи, по виду подобной коням с лицом человеческим. Она пройдет по миру, но нанесет вред только тем людям, у которых на челе нет печати Божьей.

На это барон не нашелся что ответить, и они пошли играть. Кофе и коньяк лакей принес им уже к карточному столу. Среди партнеров был один серьезный противник: человек с крепкими нервами, наживший в пору оккупации огромное состояние, не имевший позднее никаких неприятностей с властями и судом. Он безукоризненно одевался и в клуб приходил в смокинге, что делали лишь немногие.

Делавар играл во все игры, даже в давно вышедшие из моды, даже в те, которые были известны только в далеких восточных странах. По-настоящему он любил только покер и постоянно называл эту игру символом жизни; как большинство людей, сто раз говорил одно и то же. Хотя он в клубе играл очень крупно, обороты его биржевой игры были, разумеется, гораздо больше. Однако биржа не включала в себя непосредственного процесса игры: там он писал приказы о продаже и покупке ценностей или отдавал распоряжение по телефону, больше делать ничего не надо было, никто на него не смотрел, результат становился известен лишь позднее. Покер был другое дело. Вино, коньяк, крепкое кофе и сигара приводили его нервы в состояние счастливого напряжения. Садясь за игорный стол, он чувствовал себя так, как Наполеон в ту минуту, когда с высоты какого-нибудь холма отдавал приказ о начале сражения. Все знали, как он прекрасно играет, и пошатались на него с восхищением и страхом — так, вероятно, смотрели генералы на Наполеона. В этом клубе, где было немало хороших игроков, он считался королем блеферов. Как только были розданы карты, у него сделалось *roker-face*¹. Среди его противников были люди, которых никакой проигрыш особенно испугать не мог, тем не менее он запугивал и их и выигрывал много чаще, чем проигрывал.

Особенно приятна была одна из последних сдач, уже в двенадцатом часу ночи. Имея на руках обык-

¹ Бесстрастное, каменное лицо (*англ.*).

повенную sequence¹, он шедевром блефа прогнал всех игроков, в том числе и человека в смокинге. Ставки были так велики, что вокруг стола собралось человек десять зрителей, и даже секретный полицейский наблюдатель, беззаботно гулявший по залу, остановился и с доброй ласковой улыбкой поглядел как-то одновременно на игроков, на зеленое сукно, на карты. Проигравший большую сумму игрок в смокинге приятно улыбался, как улыбаются боксеры после получения страшного удара. Делавар и сам волновался, несмотря на каменное лицо. После этой сдачи он поиграл из приличия, но уже ставил немного: отдыхал от волнения, как Наполеон четыре года отдыхал после Маренго.

Из игорного зала он прошел в бар. Здесь, как в Монте-Карло, к нему тотчас подскочил услужливый человек с зажигалкой, и бармен, не спрашивая заказа, с почтительной улыбкой подал *его* напиток. Сидевшая на высоком табурете дама, прекрасно и очень скромно одетая, шутливо вполголоса с ним заговорила. Он так же шутливо ей отвечал. Это была одна из тех женщин, по отношению к которым и наполеоновский, и рыцарский тоны были бы одинаково неуместны. Делавар поговорил с ней ласково. Она не очень ему нравилась, и он всю жизнь мучительно боялся болезней. Но, по своей доброте и щедрости, часто в дни выигрыша дарил деньги дамам игорного дома. Сунул что-то и этой — из деликатности незаметно под столом, — слегка пожав ей руку на уровне табурета.

Домой он вернулся пешком, несмотря на дурную погоду. Его гостиница была недалеко, он старался много ходить, особенно перед сном. Когда он вышел из клуба, за ним незаметно пошел какой-то пожилой человек с зонтиком. В этот вечер Делавар был почти уверен, что принадлежит к Уолл-стрит и правит миром. Но и в нормальное время, без вина и выигрыша, ему в голову не могло бы прийти, что за ним, при его богатстве, связях, заслугах, кто-то посмеет установить слежку. Недалеко от входа в гостиницу пожилой человек остановился, взял зонтик под мышку и стал закуривать папиросу.

Швейцар почтительно отворил перед Делаваром

¹ Комбинация в покере (*англ.*).

дверь и тотчас заметил человека с зонтиком. Это, впрочем, не очень швейцара заинтересовало: он давно привык к клиентам, за которыми следила полиция. Его часто о них спрашивали, и он всегда давал благоприятные сведения. Иногда таких клиентов в гостинице арестовывали, и, как ни тщательно избегался шум, репортеры тотчас обо всем узнавали; не всегда можно было даже от них добиться, чтобы они хоть не называли гостиницу, а писали: «В одном из самых аристократических отелей Парижа...» Неприятно это бывало еще и потому, что уводимые полицией люди бывали самыми щедрыми клиентами. Дверь захлопнулась. Человек с зонтиком вздохнул и пошел к станции подземной дороги.

V.

На столе в кабинете Дюммлера стояли портвейн и печенье. Гостей еще не было. Старик был утомлен. Он сам больше толком не знал, зачем устраивает собрания и приемы; но он устраивал их уже лет пятьдесят и думал, что без людей ему было бы еще тоскливее. «Если перестану принимать и бывать на заседаниях, то, верно, сразу впаду в слабоумие», — угрюмо говорил себе Дюммлер как раз перед приходом Виктора Николаевича. На этот раз встретил гостя чуть-чуть менее приветливо, чем всегда. «Сегодня улыбка у него еще более гран-сеньорская, *très dix-huitième*...¹ Право, он должен пудрить голову», — подумал Яценко.

— ...Устал? О нет, нисколько не устал, — говорил он, наливая Виктору Николаевичу вина. — Выпейте, портвейн прекрасный. Я и сам немного выпью с вами.

— А вам не вредно?

— Конечно, вредно. Все вредно... И не спрашивайте, не болен ли. Конечно, болен, каким-то сочетанием каких-то болезней. Врач давеча справедливо сказал, что в мои годы нельзя не болеть. Верно, скоро буду делить людей только по одному признаку: больные и здоровые... Гранд только что звонил, что не придет.

— Какой Гранд?

— Разве я вам не говорил? Гранд — один из деятелей нашего общества. Почему-то они прозвали его

¹ В стиле XVIII века. — *Пер. с фр. автора.*

испанским грандом, хотя он никакой не гранд и не испанец, а просто авантюрист, и, как теперь у нас говорят, довольно отвратный... Ужасное слово «отвратный»... Этот Гранд, разумеется, ничего общего с Испанией не имеет. По наружности он «Молодой Абиссинец» Фриаса. По манерам третьестепенный тореадор из тех стран, где бой быков не сопровождается опасностью ни для тореадора, ни для быка. Зачем мы ему, по совести, я плохо понимаю. Но об «Афине», и особенно о ее будущем, он говорит с таким выражением на лице, какое могло быть у Моисея в ту минуту, когда он увидел вдали Обетованную землю. По тону он «рубаша-парень», довольно противный мне тип людей. В России такие, здороваясь, высоко поднимали руку и хлопали ею по вашей.

— Зачем же «Афине» этот испанский гранд, который не испанец и не гранд?

— Что ж, «Афина» принципиально верит в... в «la perfectibilité de la race humaine...»¹. Видите ли, и русский язык стал забывать.

— А кто у вас будет еще?

— Будет один богатый делец, некий Делавар.

— Вот как? Я его немного знаю, — разочарованно и удивленно сказал Яценко. Дюммлер усмехнулся.

— И как будто не одобряете? Он такой идеалист, что просто никаких сил нет. И эстет! А занимается делами вроде как бы по предписанию врачей — или вот как Гоген был чем-то вроде биржевого маклера. Ленин сказал, что в большевистском хозяйстве могут пригодиться и дрянные люди. Моралисты очень его ругали за эти слова. Сказал он грубо, и случай был уж очень неприглядный, но, по существу, в словах его на этот раз была немалая доля правды. Кажется, нет такой партии, группы, общества, которые обходились бы без дрянных людей. Я это говорю с сокрушением и, поверьте, без цинизма... Что ж, и народная мудрость немного «цинична», со всеми ее поговорками: «На Бога надейся, а сам не плошай», «Береженого и Бог бережет», «Charité bien ordonnée commence par soi-même»² и т. д. И уж едва ли можно удивляться тому, что события последних тридцати лет расплодили в ми-

¹ «Совершенство человеческой расы». — Пер. с фр. автора.

² «Разумную благотворительность надо начинать с себя». — Пер. с фр. автора.

ре циников. Скорее уж удивительно, что их все-таки еще не так много, как могло бы быть. И если циничные минуты бывают неизбежно у каждого человека, то у меня, думаю, они бывают реже, чем у большинства, так как я имел счастье или несчастье воспитываться во времена доисторические. Впрочем, я отнюдь не хочу сказать, что Делавар дрянной человек. Скажем мягко, он человек не очень хороший. Как это учебники зоологии определяют хищников? Большие, сильные, очень ловкие животные с тонким обонянием и плотоядным зубом, правда? Или как-то так... Делавару очень хотелось бы быть хищником, но у него только тонкое обоняние, а плотоядного зуба нет. Он богат и щедр. Почему-то он заинтересовался «Афиной», но я надеюсь получить у него для нашего общества миллионы, да что-то он в последнее время помалкивает... Я не моралист, но, быть может, и моралист поступил бы неумно, если бы отказался от миллионов только потому, что мосье Делавар не очень хороший человек. Повторяю, ничего особенно худого за ним не знаю.

«В сущности, он всех людей презирает и большинство считает идиотами, хоть из вежливости не говорит», — с недоумением подумал Яценко.

— Кто будет еще?

— Американский профессор Фергюсон. Этот, напротив, превосходный человек, — сказал Дюммлер, точно отвечая на мысль своего собеседника. Он химик, и, говорят, один из первых атомных химиков мира, — сказал Дюммлер. — Помните, у нас когда-то Михайловский пустил в обращение слово «кающийся дворянин». Теперь кающихся дворян больше нет, да их и всегда было чрезвычайно мало. Я, может быть, в жизни знал двух или трех. Гораздо больше знал революционеров, которые никогда не могли забыть, что они знатного происхождения, очень гордились этим и очень неумело скрывали, что гордятся... Вождь германских социал-демократов Фольмар, собиравшийся стать священником, забыл о всем прошлом, забыл о Господе Боге, но так и не мог забыть, что он дворянин: всю жизнь именовался *фон* Фольмар. Мне на каком-то их конгрессе показалось уморительным, что его все так величали: «товарищ фон Фольмар». А об англичанах и говорить не стоит. Я слышал, как английские радикалы выступали на народных собраниях, речи были необыкновенно радикальные, но, если человек по

рождению принадлежал даже не к аристократии, а просто к правящим классам, он уж непременно упоминал об этом, ну хотя бы просто в виде милой шутки: не придаю, мол, никакого значения этой ерунде... Если бы я не боялся вас огорчить, я сказал бы, что за долгую жизнь знал только одного человека, который не только не гордился своей породой, но искренне сожалел, что не вышел из крестьян, — и этот человек принадлежал к русскому императорскому дому. И взглядов был не консервативных, а радикальных. Почему все-таки мы об этом заговорили? Да, да, согласитесь, слишком много было в «цивилизованном мире» лжи и ее худшего рода — самообмана. Теперь все стало обнаженной, грубее и правдивей... А может быть, и вообще никакой цивилизации в мире не было, а была иллюзия, порожденная техникой, а? Мы же что-то наперед вышивали прекрасное, вот как Пушкин иногда наперед писал в черновиках рифмы, а потом подбирал к ним божественные стихи. Но мы имели наивность думать, что наши так называемые завоевания прочны или даже вечны!.. Я как-то ночью думал, что было самого курьезно-восхитительного в наше время. Припомнил Казанский вокзал в Москве, Дворец дождей, построенный каким-то банкиром на Невском, привилегии родовитого дворянства, глубочайшие романы Максима Горького и нашу самодовольную нелюбовь к «мещанству», с таким элегантным переходом от «духовного мещанства» к мещанству бытовому. Сам покойный Герцен, наш *doctor subtilis*¹, не тем будь помянут этот удивительный писатель, очень любил то, что приписывал мещанству: не все, конечно, а хорошую жизнь очень любил. А ведь правдивый был человек, да и вся наша классическая литература самая правдивая из всех. В западном искусстве всего этого гораздо больше. Я назвал бы это явление «челлинизмом». Бенвенуто Челлини, сварливейший драчун и скандалист, выбирал пацифистские сюжеты: «*Clauduntur belli portae*»².

— Что же тут странного? Писатель, как всякий человек, пытается преодолеть в себе то, что считает злом. К тому же надо делать поправку на время. Гуманнейшие люди во Франции восхищались преследованием протестантов...

¹ Тонкий учитель (*лат.*).

² «Закрываются врата войны» (*лат.*).

— Не все. Овернский губернатор де Монморен, получив после Варфоломеевской ночи приказ Карла IX об истреблении протестантов в его провинции, ответил королю: «Я слишком почитаю Ваше Величество, чтобы признать Вашу подпись на этом приказе подлинной; если же она, чего избави Бог, подлинная, то я слишком почитаю Ваше Величество для того, чтобы исполнить Ваш приказ». Вот как поступают порядочные люди. Жаль, что об этом не говорилось на процессах гитлеровских генералов... О чем мы говорили? Не подсказывайте, я вспомню... Нет, не могу вспомнить, — угрюмо сказал Дюммлер.

— Да и я не помню. Кажется, о хороших людях.

— Есть отличные, замечательные, большие люди. Но памятников я им не поставил бы. Памятников, может быть, заслуживало десять человек в истории, — сказал утомленным голосом Дюммлер. — Все-таки почему я об этом заговорил?.. Да, так были у нас кающиеся дворяне. А теперь появился в мире новый тип: «кающиеся физики». Они создали атомную бомбу, и их мучает совесть: они, видите ли, никак не думали, что эти нехорошие генералы так используют их открытия. Что ж делать, вне своей области эти люди не орлы, как, впрочем, и Делавары. Большеви-занская демонология — такой же миф, как все другие демонологии.

— Да, может быть, он просто fellow traveller?

— Нет. Я феллоу-трэвеллеров терпеть не могу. По общему правилу, люди они неумные. Фергюсон же и очень честный и неглупый человек. Он придет со своей секретаршей. Она русская.

— Русская секретарша у атомного химика? Это, конечно, приставленная к нему советской разведкой шпионка, — сказал, смеясь, Яценко.

— Он больше атомными изысканиями не занимается. Кроме того, она эмигрантка, хотя и левых взглядов. Очень странная девушка. Милая, неглупая, но странная... Может быть, даже и не совсем нормальная. Нет, это я преувеличиваю. Нормальная, но странная. Если говорить правду, то она и есть главная работница общества «Афина». Я, впрочем, и тут не совсем понимаю, чего она в нем ищет. Едва ли того, что можно было бы назвать «рационалистической ванной», хотя такая ванна была бы ей очень, очень нужна: в «Афине» она занимает крайнюю «мистическую» по-

зицию, ведь у нас разные люди, даже слишком разные... Читает она какие-то странные книги о колдуньях, о чертовщине. Она одна из довольно многочисленных «мистически настроенных» русских женщин, ищущих зацепки в жизни и часто ищущих ее там, где зацепку найти мудрено. Вообще смысл Тони, если можно так выразиться, в бессмыслии. Зацепку найти мудрено. Вдобавок она, тоже как многие русские женщины, еще преувеличивает свою русскость, — уж я, мол, такая русская, такая русская. И, разумеется, они свою русскость видят преимущественно во всевозможных бескрайностях. И, тоже разумеется, они все «обожают Достоевского»... Ах, много бед наделал Достоевский своими «женщинами великого гнева». Я что-то не встречал на своем веку Грушенек и Карамазовых, но людей, желавших походить на Грушеньку, на Карамазова, встречал немало. У нас чуть не всякий пьяница и буйан считал себя Митей Карамазовым. Мы столько начитались всякого вздора о «славянской душе», что как будто и сами этим вздором заразились.

— Ничего не поделаешь, есть на свете и «инфернальницы» и «женщины великого гнева». Достоевский был гениальный писатель.

— Конечно... Он вдобавок создал свой мир, как те новые живописцы, у которых, скажем, пшеница синего цвета, груши — фиолетовые, а люди — гнедые... Нужно ли это? Так ли это трудно? Достоевский показал, что нужно: изумительно смешал ложь с правдой. Конечно, гениальный писатель, что и говорить... Но как же тогда называть Пушкина или Толстого? Верно, надо то же слово, да произносить по-другому. Так при Людовике XIV слово «монсеньор» произносили по-разному, обращаясь к архиепископу и к принцу крови...

— Она красива, эта секретарша?

— Очень. Впрочем, это еще как сказать? У Остроковского Фетинья о ком-то говорит: «Дурой не назовешь, а и к умным не причтешь, так, полудурье...» Нет, она не полудурье, но думаю, что в душе у нее пустота, пустота, точно пневматический насос все высосал. Такие бывают среди нынешней молодежи. И то сказать, какую жизнь они все прожили! И именно из-за этой пустоты они в душу мгновенно всасывают что угодно... Она из какой-то оголтелой эмигрантской семьи. Какие-то французские эмигранты в пору Реставрации

требовали от короля, чтоб были восстановлены «наши прежние казни и пытки». Другой умник где-то настаивал, чтобы королевский парик составлялся не иначе как из дворянских волос... Впрочем, у нас, кажется, такого не было...

Он вдруг изменился в лице.

— Простите выжившего из ума старика, — сказал он. — Я все постыдно напутал. Из правой эмигрантской семьи вышла совершенно другая моя знакомая барышня. Тони, напротив, дочь какого-то либерального земца.

— Не все ли равно? — сказал Яценко, видевший, что эта ошибка расстроила Дюммлера.

— Нет, не все равно, когда человек заговаривается. Ну, что ж делать: стар — чудес на свете не бывает... Да, Тони дочь либерала, теперь говорю верно: я не всегда завираюсь. В пору Резистанс она работала с коммунистами, да и теперь отзывается о них с симпатией. Я ее просил в «Афине» таких воззрений не высказывать... Современный коммунизм организован так, что он автоматически втягивает в себя все, что плохо лежит: плохо лежит в переносном, моральном смысле. Кроме того, он для молодежи имеет огромную притягательную силу. Когда-то у нас молодые люди от всяких разочарований, от скуки, от безделья уезжали воевать на Кавказ, хотя он сам по себе едва ли был им очень нужен... Как бы для них и теперь придумать какой-нибудь этакий безобидный Кавказик? А то слишком многие стали уходить в Коминтерн. Мы-то с вами знаем, что в коммунизме «поэзии» не больше, чем в счетной книге бакалейной лавки, но для них, для молодежи, клички, шифры, подпольная работа, конспирация, таинственные съезды — это самое поэтическое из всего, что жизнь им может дать, с тех пор как кончились войны с кавалерийскими атаками.

— И ваша девица к ним уйдет?

— Надеюсь, нет. Тони милая и несчастная девушка. По манерам горда и неприступна. Говорят, что люди иногда прикидываются гордыми и сухими от застенчивости, тогда как на самом деле у них золотое сердце. Это клише, и таких людей я тоже почти никогда не видал. Впрочем, мало ли отчего и почему человек играет роль! Я знал и знаменитых революционерок, которые играли роль всю жизнь. И как играли! Просто не хуже Ермоловой! Делали вид, будто их больше

всего на свете волнует русский мужичок. Об этих «святых» написаны самые худшие картины в русской живописи, а мой покойный друг, талантливый писатель Короленко, написал о них самый фальшивый рассказ в русской литературе.

— Однако русские революционерки из-за этого «мужичка» шли на смерть, — сказал Яценко, в первый раз неприятно удивленный словами Дюммлера.

— Шли. И эта Тони тоже вполне способна пойти.

— Ее зовут Тони?

— Да. Ее имя Антонина, и фамилия тоже прозаическая, кажется, Семенова. Она ни своего имени, ни фамилии не любит. Ей надо было бы называться Ариадна... Очень странная женщина. Она немного напоминает мне Блаватскую, которую я лично знал. Многие считали Блаватскую шарлатанкой и обманщицей, в ней было и это, но было не только это. Она была очень даровитая, сумасшедшая женщина. Должно быть, и Калиостро, и граф Сен-Жермен были отчасти таковы. Да, кажется, Тони сочувствует большевикам, и, следовательно, спорить с ней совершенно бесполезно, как вообще с большевиками. Ведь, по нашим понятиям, в мире нет ничего выше свободы, а им на свободу наплевать. Какой же может быть спор без аксиом, общих для обеих сторон? Теперь в мире что-то вроде морального биметаллизма... Такого гонения на мысль, мне кажется, никогда нигде не было... Бенжамен Констан больше ста лет тому назад по поводу каких-то полицейских злоупотреблений при Наполеоне вопил: «Потомство просто не поверит, что такие вещи были возможны в цивилизованной стране...» История любит неизлечимой любовью рецидивы, но потомство Констан увидело гестапо и ГПУ... И вы думаете, что это кого-нибудь очень потрясло? Немногих, немногих... А надо было бы как янсенисты¹: «прощать, но не забывать...» Вообще, и злодеи, и злодейства — все гораздо проще, чем мы думаем. Все происходит по-домашнему. Равальяка, убийцу Генриха IV, подвергли нечеловеческим мукам, просто нельзя читать описание. А где это происходило? В буфете парижского суда. Я уверен, что судьи и палачи при этом пили вино и закусывали... Так же было и когда сжига-

¹ Янсенизм — течение в католицизме в XVII—XVIII вв., близкое кальвинизму.

ли Жанну д'Арк. Солдаты на площади Рынка просили, чтобы подожгли костер поскорее, пора обедать.

— Иностранцы: английские солдаты.

— Нечего все валить на иностранцев. Жанну взяли в плен не англичане, а бургундцы, и судьи ее были французы, и парижский университет благословил дело, и продал ее на казнь тоже француз, де Линьи, взявший ее в плен... Правда, жена его валялась у него в ногах, умоляла не выдавать героиню... И он был, кажется, недурной человек, но ему до зарезу были нужны деньги. Это он потом вставил в свой герб слова: «A l'impossible nul n'est tenu»¹... И англичане, которые ее сожгли, тоже были рыцари. Верно, и в гестапо попадались благодушные люди, мирно пившие по вечерам пиво. Но им также надо было жить: «A l'impossible nul n'est tenu»... Ну, как ваши Объединенные Нации? Все еще делают великое дело во дворце Шайо? Кстати сказать, место гиблое. Там был когда-то замок Екатерины Медичи. Может быть, она там задумала Варфоломеевскую ночь? Затем там Генрих IV щелкал зубами в своем лагере, поглядывая на осажденный им Париж, и, вероятно, уже подумывал о перемене веры... Позднее там поселился маршал Бассомпьер, счастливый человек, получивший на своем веку шесть тысяч любовных писем. Он был арестован и просидел двенадцать лет в Бастилии. Еще позднее вдова казненного Карла I построила там какой-то монастырь и в нем скончалась. Монастырь был разрушен в пору революции. Там же где-то была главная квартира казненного Жоржа Кадудая, в пору его заговора. Позднее Наполеон начал на этом месте строить для своего сына дворец, который должен был стать самым прекрасным дворцом в мире, но император успел только заложить фундамент. И наконец построили чудовищное здание и назвали его Трокадеро по названию стычки в пору франко-испанской войны 1823 года. А об этой войне старый наполеоновский солдат, маршал Удино, сказал: «Самое ужасное то, что эти вояки в самом деле думают, будто это была война!..» Теперь там ваши ОН. Если я что им ставлю в вину, то разве самодовольство. Они как та французская графиня, которая говорила: «Nous autres, jolies femmes»². Впрочем, благочестивый Эжен

¹ «Никто не обязан делать невозможное» (фр.).

² «Мы, хорошенькие женщины» (фр.).

де Монморанси говорил еще и не так: «Nous autres, les saints»¹.

— Да, я помню, я это читал в чьих-то мемуарах, — сказал Яценко. «Все-таки разговаривать с ним чуть утомительно», — подумал он, несмотря на свое уважение к Дюммлеру. — Но какая у вас память, Николай Юрьевич! Вы так знаете историю всего Парижа?

— Кое-что знаю. Уж очень я всю жизнь любил этот город. Собственно, во всем мире только и были две настоящие столицы: Париж и старый Петербург... Но это, кажется, я вам уже говорил? — беспокойно спросил Дюммлер.

Раздался звонок.

— Я отворю, не вставайте, Николай Юрьевич, — сказал Яценко и направился к двери. В вошедшей даме он с удивлением узнал русскую, с которой ехал из Парижа в Ниццу. На ней было то самое ожерелье. Платьев Яценко никогда не запоминал, хотя и думал, что ему как писателю следовало бы их запоминать. Дюммлер, все же вышедший в переднюю, познакомил их.

— Мой друг Виктор Николаевич Яценко, он же американский писатель Джексон.

— Мы недавно вместе путешествовали. Мир в самом деле мал, — сказал, улыбаясь, Яценко. Дама его узнала и чуть улыбнулась, глядя на него тем же как будто пристальным и вместе невидящим взглядом.

— Я не предполагала, что вы русский.

— А я по лицу сразу признал в вас русскую.

— Очень рада! — сказала она почему-то с вызовом в голосе.

— Гранд телефонировал, что не придет, — сказал хозяин, вводя их в кабинет. — Делавар будет. А профессор?

— Он сказал, что приедет ровно в шесть. У него какое-то деловое свидание.

— Милая Тони, я надеюсь, что вы будете хозяйкой и угостите нас чаем. Вы знаете, где у меня в кухне чай, сахар, чашки. Правда? Мои гости всегда это для меня делают, такова у нас традиция, — начал Дюммлер. Тони его перебила.

— Я сейчас поставлю воду на огонь, — сказала она и вышла. У Дюммлера на лице скользнуло недоумение: он не привык к тому, чтобы его перебивали.

¹ «Мы, святые» (фр.).

— Сегодня она колючая, — вполголоса сказал он Виктору Николаевичу. — Впрочем, она меняется по нескольку раз на день. Теперь у нее, по-видимому, роман с этим американским профессором, но что-то странное: вроде как венецианский дож венчался с Адриатическим морем.

— Очень красивая женщина.

— Очень, хотя и не мой жанр. Она и рассказы писала. Один я читал. Рассказ как рассказ. Все есть: и «друг Горацио» есть, и «тьма низких истин» есть, и героиню зовут «Римма Валентиновна», и еврей говорит «пхе», а что ни коренной русский, то с надрывом, сверхчеловек или пьяница. И все чувствуется какое-то «ну-тка!». И ничего за этим «ну-тка» нет. Разве «шапками закидаем»? Так, во-первых, не очень закидывают, а во-вторых, шапки-то чужие: красные и скверные. Страшно бурная литература, но бескровная, вроде как есть бескровные животные. Вообще, это подозрительный симптом, когда человек много болтает о «бурях». Вот и художники такие были, — сказал Дюммлер, особенно любивший сравнения с живописью. — Например, Лудольф Бакгейзен: он все больше бури и писал. Подозреваю, что в жизни он был очень тихенький голландец. Усердно исполнял заказы для нашего Петра. Но он хоть был талантлив. А моя бедная Тони... — Дюммлер приложил палец ко рту: Тони вернулась в кабинет и поставила на стол чашки и сахарницу.

— Чай сейчас будет.

— Спасибо, милая. Вы знаете, Виктор Николаевич хотел бы вступить в «Афину»...

— Для этого есть определенные формы, — сухо сказала Тони, опять его перебивая. На этот раз Дюммлер рассердился.

— Формы я знаю! — сказал он. Опять послышался звонок. Пришли Делавар и высокий чуть-чуть сутуловатый человек ясно выраженного англосаксонского типа. У него были седые волосы и относительно молодое, хоть утомленное лицо. Увидев Тони, он просветлел. Дюммлер познакомил его с Яценко, опять назвав и русскую, и американскую фамилии Виктора Николаевича. Профессор Фергюсон поздоровался с легким недоумением. Он прожил жизнь в кругу людей, которые фамилий не меняли; быть может, у него было впечатление, что меняют имя только люди, скрывающиеся от правосудия.

Минут через десять разговор за чаем шел довольно гладко. По долгой привычке Дюммлер поддерживал его на высоком уровне. Старику было одинаково легко говорить о каких угодно серьезных предметах; при своей необыкновенной памяти он обо всем говорил с достаточным знанием дела, с цитатами, с анекдотами. Его все слушали с почтительным вниманием. Только у Тони был такой вид, точно ей хотелось спать.

— Значит, вы находите, дорогой профессор, что современная физика не идет по пути позитивизма?

— Я об этом сожалею, но это так.

— Не смею с вами спорить. Все же многие нынешние философские течения так или иначе с позитивизмом связаны. Назову у вас в Америке прагматистов, Пирса, Дьюи. Напомню в Германии блестящий «фикционализм» Файхингера, труды Маха по истории точных наук. Допустим, что все это уже прошлое. А вот «Венский круг»¹, «Wiener Kreis», это, во всяком случае, настоящее. Впрочем, что именно вы называете позитивизмом? Конт не остановился на «позитивной философии». В его последних работах есть то, что принято называть «мистикой» и другими неодобрительными словами. Но что такое мистика? Разрешите взять определение Эрнста Трельча, философа, гремевшего в Германии в догитлеровское время. «Мистика, — говорит он, — это вера в существование и в воздействие сверхчеловеческих сил, а также в возможность сношения с ними». Согласитесь, что под это определение можно и должно подводить все вообще религиозные учения. Во всяком случае, Конт очень верно и ясно поставил диагноз той болезни, которая только начиналась в его время. Он писал, что весь хаос нашей эпохи вытекает из падения в мире старой веры и будет продолжаться до того, как будет создана новая вера. «L'anarchie résulte de l'irrévocable décadence des anciennes croyances dirigeantes et elle ne peut cesser qu'après l'avènement d'une foi nouvelle...»² Кажется, я цитирую дословно.

— Слова замечательные, — сказал Яценко. — Это из какого произведения Конта?

¹ Имется в виду Мориц Шлик (1882—1936), основатель Венского кружка неопозитивистов.

² «Анархия бывает следствием непоправимого упадка старых господствовавших верований, и она проходит лишь после появления новой веры...» — *Пер. с фр. автора.*

— Из его письма к императору Николаю I. У нас в России, кажется, никто об этом письме и не слышал. В политическом отношении письмо было реакционно. Конт писал царю чрезвычайно почтительно, сообщал, что он сам всю жизнь боролся с ложными идеями народоправства и равенства, приветствовал то, что в Россию не допускаются разные зловерные западные писания, советовал ее достойным правителям или губернаторам, *ses dignes gouverneurs*, защищать и дальше русский народ от западных лжеучений, но вместе с тем советовал отменить крепостное право, не разрушая больших имений, а превращая их понемногу в огромные промышленно-земледельческие предприятия. Вместе с тем он говорил царю, что царская власть все равно кончится. Правда, успокаивал его тем, что это будет еще не так скоро, не при нем, а при его *digne successeur*¹, и что во всем мире неизбежно установится республиканская диктатура для осуществления позитивистического миропонимания. Намекал даже, что таким республиканским диктатором мог бы стать сам царь, с его *dignes gouverneurs*.

— Да это, если хотите, кроме последнего пункта, пророческое письмо: и диктатура есть, и даже комбинааты есть, — сказал Делавар.

— Во всяком случае, диагноз и объяснение причины болезни даны, по-моему, совершенно правильно, — сказал Дюммлер. — Все дело именно в этом: пока новой веры не будет, будет хаос. А если есть вещь, в которой я совершенно уверен, то это то, что такой новой верой не может быть экономический материализм. Откуда новая вера возьмется, никто не знает. Может быть, из каких-либо маленьких *séances*², которые дадут начало новым великим движениям.

Разговор скоро все же стал спотыкаться. Несмотря на свою усталость, Дюммлер, опытный хозяин дома, делал что мог. Он видел, что Тони зеваает, что как будто скучновато и Яценко. «Вот пусть познакомятся, она ему и расскажет о нас», — решил он и, под предлогом делового разговора, отозвал к письменному столу Фергюсона и Делавара.

— А вы пока можете, друзья мои, поговорить по-

¹ Достойном наследнике. — Пер. с фр. автора.

² Кружки. — Пер. с фр. автора.

русски, — ласково сказал он Тони и Виктору Николаевичу. Американский профессор на них оглянулся.

Тони не очень внимательно слушала то, что Яценко говорил ей о красоте Avenue de l'Observatoire. «Кажется, я внушил ей антипатию, хотя и не знаю чем. И что за манера разговаривать, точно она ничего не слышит и изучает мое левое ухо! Говорок у нее как у старой петербургской барыни, и манеры какие-то старопомещичьи, повелительные. Откуда бы это у молодой эмигрантки?.. Самое лучшее у нее глаза. Только очень странные зрачки. И волосы шелковистые, прелестные... А все же такой женщине я, верно, последней предложил бы «руку и сердце», — думал Яценко; он с тридцатилетнего возраста так примеривался к молодым барышням: «могла ли бы она стать моей женой?»

— ...Вы, кажется, писатель? — спросила Тони со скачущим видом. — Что же вы пишете?

— Недавно кончил историческую драму.

— Историческую драму?.. Может быть, вы хотите еще чаю?

— Нет, благодарю вас.

— Историческую драму из какой эпохи?

— Двадцатые годы прошлого столетия.

— Что же было интересного в двадцатых годах прошлого столетия? Глухая реакция во всем мире. Я вам все-таки принесу еще чашку. На кухне полный чайник кипятка. Не хотите, так я налью себе, — сказала Тони и вышла из кабинета. Профессор проводил ее взглядом. «Да, конечно, он в нее влюблен, — подумал Яценко, — а она?»

Тони вернулась только через несколько минут с чашкой в руке. «Чай холодный. Что же она делала в кухне? Вдруг выходила для того, чтобы впрыснуть себе морфий?.. В самом деле, у нее глаза как будто стали другими... Станный у нее этот жест: откидывает голову назад и налево, выставляя вперед грудь. Очень красиво и довольно непристойно. Знает, что идет ей!.. Кажется, я мысленно изменяю Наде», — шутливо думал он, высказывая какие-то мысли о литературе.

— ...А я в литературе люблю только поэзию, — сказала она. — Какой, по-вашему, лучший стих во французской литературе?

— Лучший стих во французской литературе? —

переспросил он и задумался. — По-моему, «L'aurore est pâle encore d'avoir été la nuit»¹.

— Это из Анри де Ренье?

— Да. Какая у вас память!

— Поэзия должна волновать, а это не волнует. Николай Юрьевич говорит, что поэзия должна звать к добру и что президент Линкольн, поэт в душе, любил заканчивать свой рабочий день помилованием преступника. Но это не то, совсем не то. А вот я люблю английские стихи: «Little know they — of hidden rocks — those sailors gay — who sail away — of reefs and squalls. — And stormy weather — whose ships like an egg-shell — shall crumble together»², — прочла она медленно.

— Откуда это? Я не помню.

— И я не помню. Только это верно: во всем судьба... Истину нельзя *знать*. Ее можно только чувствовать. Когда человек чутьем познал истину, он царь. Тогда можно лгать, обманывать, даже красть и все-таки исполнять волю Хозяина.

«Почему она говорит так искусственно? «Воля Хозяина»? Сказала бы просто «Божья воля», — подумал он.

— По каким же признакам человек может узнать, что он выполняет волю... Волю Хозяина?

— Женщины это чувствуют. Во всяком случае, я. Женщины и должны были бы править миром. Вот как в шахматах, где самая мощная и самая опасная фигура — женщина... Мужчины этого не понимают. Гранд говорит, что у меня «комплекс Клеопатры»... — Она засмеялась. — Вы, верно, находите, что я говорю бессвязно? Это меня заразил Дюммлер. По-моему, у него старческая болтливость. В большой дозе его разговоры стали невыносимы. И зачем он столько цитирует, иногда ни к селу ни к городу?.. А лучшая поэзия в мире, конечно, тоже русская.

— Правда? Постойте, я должен угадать, кто ваш любимый поэт. Лермонтов?

— Едва ли угадаете. Мой любимый поэт — Языков. Он наш первый национальный поэт.

¹ «Когда отступит ночь пред бледною Авророй» (пер. с фр. О. Чюминой).

² «Немного же знают они, эти отправляющиеся в море веселые моряки, о скрытых рифах и о бурях. И в шторм, как яичная скорлупа, разобьются их суда». — Пер. с англ. автора.

— Языков? — переспросил Яценко, тщетно стараясь вспомнить что-либо из Языкова.

— Вы, верно, его никогда и не читали. Его теперь все забыли. А вы знаете, что Пушкин заплакал только раз в жизни при чтении стихов, и это были именно стихи Языкова!

— Какие? Вы знаете их на память?

— Знаю. Только вам они не понравятся. Ведь вы стали Вальтером Джексоном, — сказала она с усмешкой. Яценко вспыхнул, что доставило ей удовольствие. — Если хотите, я прочту, — предложила она и стала читать вполголоса. Она читала стихи с таким видом, точно сама их сочинила:

Чу! труба прогребезжала!
Русь! тебе надменный зов!
Вспомяни ж, как ты встречала
Все нашествия врагов!

Созови от стран далеких
Ты своих богатырей,
Со степей, с равнин широких,
С рек великих, с гор высоких,
От осьми твоих морей!

— Вам не нравится, правда? Вы где были во время войны? В Нью-Йорке? — еще более насмешливо спросила она.

— Да, в Нью-Йорке. Но и вы, верно, были не в Сталинграде?

— Я была хуже чем в Сталинграде, я была при немцах в оккупированной Франции. И вот эти стихи меня больше всего тогда и поддерживали:

Пламень в небо упирая,
Лют пожар Москвы ревет;
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, вперед!

Громче, буря истребленья!
Крепче, смелый ей отпор!
Это жертвенник спасенья,
Это пламень очищенья,
Это фениксов костер!¹

— Как будто пламя не очень нас очистило. Знаем мы эти фениксовые костры! Из одного вышла аракевщина, из другого то, чем мы теперь любимемся... Надеюсь, вы не сочувствуете большевикам?

¹ Из стихотворения «Д. В. Давыдову» (1835).

— Как это старо! Большевики тут ни при чем. По-вашему, они выдумали классовую ненависть? А нашу поговорку помните: «Хвали рожь в стогу, а барина в гробу»?.. Мы всегда были большевиками.

— Так иногда говорят иностранцы.

— Иностранцы пусть мелют что угодно, мне до них дела нет! — сердито сказала она. — А вот если хотите, я вам прочту то, чего вы, наверное, не знаете! Это из возвания атамана Кондратия Афанасьевича Булавина в пору его восстания при Петре. — Не дожидаясь ответа, она продекламировала так, как это сделала бы артистка где-нибудь на вечере в пользу нуждающихся студентов: — «Атаманы молодцы, голь кабацкая, голытьба непокрытая, дорожные охотнички и всякие черные люди! Кто похочет с атаманом, со Кондратием Афанасьевичем погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить-поесть, на добрых конях поездить, — то приезжайте на вершины Самарские! Да худым людям, и князьям, и боярам, и немцам, за их злое дело не спускайте, а всех людей посадских и торговых не троньте, а буди кто напасно станет кого обижать, и тому чинить смертную казнь...» Это что, Ленин выдумал или Сталин?.. А вы, вероятно, стоите за американскую интервенцию в России?

— Нет, я против какой бы то ни было интервенции, — ответил Яценко. Он видел, что начинается один из тех разговоров, при которых люди думают преимущественно о том, как бы уколоть друг друга.

— Поэты всегда любили Россию, даже иностранные. Гейне предпочитал ее Англии и говорил, что Германия рядом с Россией это селедка, равняющаяся с китом. А Блок? Или, может быть, он так несчастлив, что вы и его не любите?

— Очень люблю. Но в политике Блок решительно ничего не понимал. Теперь у эмигрантов популярно его панибратское обращение к Пушкину: «дай мне руку в непогоду» и т. д. Он называл «непогодой» то, что сделали большевики! Я там прожил двадцать лет и эту «непогоду» хорошо помню, никогда не забуду. Но с талантливых поэтов нечего спрашивать, а в обыкновенных людях мне не очень нравится это языковское начало. Ваш Кондратий Афанасьевич хоть в самом деле был удалой атаман, а вот когда казацье удалство изображают мирные профессора, или дети профессоров, или элегантные дамы, это много хуже, —

сказал он. «Зачем я говорю так нелюбезно? Какое мне дело?»

— Вы, верно, глухи к поэзии.

— Смотря к какой.

Она что-то сказала об искусстве вырождающейся буржуазии. «Ах, какая скука!» — подумал Яценко.

— Эти нападки на вырождающуюся буржуазию можно прочесть во всех большевистских газетах, — сказал он. — Знаменитый австрийский музыкальный критик Ганслик говорил, что концерт Чайковского для скрипки и оркестра пахнет водкой. Это было и несправедливо, и просто глупо. Но водкой действительно пахнут некоторые общие места патриотических советских газет, и даже не водкой, а самогоном. — Теперь вспыхнула Тони. — Я не думал, что вы так сочувствуете товарищам. Ведь вы...

— Это довольно плоско говорить «товарищи!» Уж писателю так говорить не следовало бы!

— Ведь вы, кажется, эмигрантка?

— Мои родители были эмигранты. Мой отец был чистокровный великоросс, а мать из старого балтийского рода, породнившегося с международной аристократией. Так что у меня есть кроме чисто русской и немецкая, и венгерская, и бельгийская кровь.

«Понимаю. То-то ты «такая русская, такая русская», — подумал Яценко.

— Так вы хорошо знаете свою генеалогию? У нас в России дворяне о своих предках знали мало, да и то больше понаслышке.

— Я не понаслышке. У моей матери сохранилась книжка о ее роде. Прелестное старинное издание, с цитатами на разных языках. Есть даже кое-что полатыни. По-латыни потому, что слишком непристойно.

— Как так?

Она засмеялась.

— Видите ли, в этой книжке есть выдержки из протоколов процесса одной моей прабабки, казненной в 1609 году. Она была колдунья, и ее сожгли. Эта женщина, писаная красавица, сошлась с моим предком, хотя была из простых. У нее родился сын. Мой предок пустил в ход связи и усыновил ребенка, верно, к ужасу своих родных. Затем он ее бросил, она сбилась с пути и стала колдуньей.

— Значит, в ваших жилах есть кровь колдуньи? —

спросил Яценко с насмешкой. И вдруг он подумал, что нечто в этом роде можно было бы использовать для второй пьесы. Он замер от радости. «Вот именно этого звена мне не хватало».

— Да, есть, — кратко ответила она без улыбки. — Перед казнью колдунья, вероятно, проклинала весь наш род. Впрочем, в протоколе этого нет, — добавила она, помолчав.

— А нельзя ли прочесть эту книжку?

— Нет, я никому ее не даю. Это наша единственная семейная драгоценность. Впрочем, все сие не суть важно... Вы сказали, что я эмигрантка. Отец мой умер в начале эмиграции, мать — от рака, несколькими годами позднее. Я во Франции воспитывалась, но я никак на эмигрантку не похожу, вы не найдете ни одной такой эмигрантки, как я! Скажу больше, я ненавижу эмиграцию и эмигрантщину. В России все лучше, чем в Европе: и литература, и музыка, и особенно театр. Я здесь не видела ни одной хорошей пьесы, а большой актер был один, да и то он учился в России, у наших артистов. Это Люсьен Гитри.

— Да, Люсьен Гитри был очень большой артист, — сказал он еще более равнодушным тоном. — Значит, вы живете чужими воспоминаниями о России?

— Нет, своей натурой и своими взглядами.

— Но как же вы при таких взглядах работаете с эмигрантом Николаем Юрьевичем?

— Это уж мое дело, с кем я работаю!

— Разумеется, — сказал Яценко и опять подумал, что незачем делать себе врага в том обществе, в которое он собирался войти. «У меня в самом деле портится характер. Что, если теперь попробовать лесть, самую галантерейную лесть? Подействует ли?» Он сказал ей какой-то очень банальный комплимент. Лицо Тони посветлело.

— А ведь я вам соврала, — через минуту сказала она с улыбкой. — Я читала вашу пьесу.

— Неужели?.. Но ведь вы меня спросили, о чем она?

— Говорю же вам, что соврала. Я часто лгу без причины. Как все люди. Как вы.

— Нет, я редко и только в случае крайней необходимости. Разница громадная.

— Вот вы и теперь говорите неправду: все люди лгут на каждом шагу. Верю, что вы лжете реже, чем

другие. Реже, чем я, наверное!.. Я иногда воображаю свою жизнь: как было и как будет. Целыми часами фантазирую: вот будет так — и все себе представляю, все до мельчайших подробностей; а потом представляю себе совершенно иначе, тоже до мельчайших подробностей. Я не всегда большевичка. Иногда я совсем, совсем другая. Но сейчас я говорю правду: ложись гусь на скороду.

«Сейчас ты говоришь правду, потому что пьяна», — раздраженно подумал Яценко.

— Насчет меня вы ошибаетесь. Parlez pour vous¹. Я правдивый человек.

— Ну хорошо, допустим. Во всяком случае, вы не банальный человек, судя по «Рыцарям Свободы». Как писатель вы слишком для меня рационалистичны. Вы все объясняете, ищете всему причин. Он, мол, тосковал потому, что у него была расстроена печень. Она страдала потому, что он ее разлюбил. Им было тяжело потому, что у них не было денег. А вот у меня все это более или менее в порядке, а я, может быть, накануне *pevious break-down*². И причин никаких нет или, по крайней мере, их не опишешь. И еще одно: вы очень *чистите* жизнь, приукрашиваете ее. У вас краски яркие, но не совсем естественные, вот как в цветном кинематографе.

«Это не так глупо», — подумал Виктор Николаевич. Она заговорила о пьесе. Хорошо ее помнила и очень хвалила. «Вот и на меня подействовала лесть», — подумал он. — В ней в самом деле есть очарование... Надя все хвалит, что я пишу, но эта хвалит тоньше. Впрочем, Надя в сто раз лучше ее, и сравнивать глупо! Жест очень картинный и соблазнительный, но она им немного злоупотребляет. На кого она похожа?» — После разговора с Дюммлером он тоже бессознательно настроился на сравнения с живописью.

— Вы похожи на портреты, которые Алексис Гриму писал, когда бывал пьян и не слишком добр. Эти портреты очень красивы и чуть фантастичны. Всегда впечатление: что-то не то, — сказал он и подумал, что на этот раз, в виде исключения, подтвердил ее слова: без причины говорил не совсем правдиво, — большого сходства с портретами Гриму в Тони не находил, да и

¹ Говорите о себе (*фр.*).

² Нервное потрясение. — *Пер. с англ. автора.*

помнил их плохо. «А вот, что «что-то не то», это совершенно верно».

— Что же не то?

— Не знаю.

Дюммлер подошел к ним и тяжело опустился в кресло.

— Я сообщил нашим друзьям, что вы склонны были бы войти в «Афину», — сказал он. — Все мы очень этому рады. Вам надо будет проделать некоторые несложные формальности. Тони вам все это изложит.

— Но, повторяю, я хотел бы оставить за собой право выйти, если я увижу, что не подхожу для общества, — сказал Яценко. Американский профессор одобрительно наклонил голову.

— Это само собой разумеется. Мы уходящих не закалываем, — с улыбкой сказал Дюммлер. — Но мы надеемся, что вы от нас не уйдете. И хотя до выполнения этих формальностей вы еще не считаетесь членом нашего общества, я хочу, чтобы вы, а заодно и мы все, послушали музыку, которой будут открываться наши торжественные заседания. Наш замечательный музыкант Гранд сегодня не мог прийти. Мы его просили подыскать что-либо подходящее, и он остановился на «Волшебной флейте» Моцарта.

— Прекрасный выбор, — сказал Фергюсон.

— Да, может быть, хотя я предпочел бы новую музыку. Новая музыка построена на диссонансах, как и вся современная жизнь и мысль, — сказал Делавар с очень значительным видом. У Дюммлера чуть втянулись щеки, он уже давно с трудом подавлял зевки. Делавар это заметил и обиделся.

— Это очень интересное суждение, — поспешно сказал Дюммлер.

— Во всяком случае, музыка — единственное вечное искусство, хотя ее губит радио. Литература идет к концу, прежде всего в силу перепроизводства. В мире выходит, кажется, около ста тысяч книг в год. Таким образом, литературная известность становится чистой иллюзией. Никто никого не знает, никто никого не читал.

— Тем более приятно, что вы при таком взгляде все же не отказываетесь поддерживать некоторые литературные начинания, — сказал Дюммлер и пояснил сидевшему рядом с ним Яценко: — Мосье Делавар

обещал дать некоторую сумму на издание одной книги о Бакунине.

— Хорошо, что вы напомнили. Я сейчас напишу вам чек, — сказал Делавар и вынул из кармана чековую книжку.

— Я в мыслях не имел напоминать. Помилуйте, ничего спешного, — ответил Дюммлер, по долгому опыту знавший, что такие дела никогда не надо откладывать. — Очень мило с вашей стороны, — сказал он, бегло взглянув на чек. «Что бы о нем ни болтали, а деньги он умеет давать просто и хорошо. Щедрого от природы человека всегда можно узнать по тому, как он жертвует деньги».

— Вы, кажется, сами играете на рояле? — спросил его Фергюсон.

— Когда-то играл. Люблю музыку и по сей день, но судить о ней не смею. По-моему, для этого надо ею заниматься специально лет пять-шесть, надо знать гармонию и контрапункт, — сказал Дюммлер. — Вы знаете «Волшебную флейту»?

— Знаю и очень люблю, — сказал Яценко. — Кто же будет играть?

— Наша милейшая Тони не откажет нам в этом удовольствии.

— Вы знаете, что я играю плохо. Гранд действительно замечательный музыкант, так что я его заменить не могу, — сказала Тони, но села за рояль.

Дюммлер, слушая, морщился. «Не то, совсем не то, нехорошо. Господи, все педаль и педаль! Надо было бы отменить в «Афине» и музыку, так только людей насмешишь». Тони напевала и слова, сначала вполголоса, потом громче. «...La haine et la colère — Jamais n'ont penetré — Dans ce séjour prospère — Des hommes revivés...»¹ Яценко слушал рассеянно. «Что же это все-таки за общество, эти hommes revivés? Неопозитивисты? Неозкзистенциалисты? Теперь в Париже всяких таких *sénaclés* хоть пруд пруди... Однако Николай Юрьевич, конечно, не пошел бы в глупенькое или нехорошее общество. За ним я как за каменной горой», — думал он, не сводя глаз с Тони. Глаза у нее блестели все больше — или так ему теперь казалось. Он был недоволен собой, особенно тем, что сравнивал

¹ «...Не проникали никогда ненависть и гнев в это благоденствующее убежище возрожденных людей...» — *Пер. с фр. автора.*

ее с Надей. «Тут и сравнения быть не может! Эта совершенно изломанная особа, словечка в простоте не скажет. Да, вероятно, морфинистка...» Он встретился глазами с Тони; она смотрела поверх его лба, и в ее взгляде ему показалась насмешка.

VI.

Профессор Вильям Фергюсон считался по справедливости одним из первых физико-химиков в Соединенных Штатах. Он был знаменит, поскольку им может быть ученый: человек сто в мире хорошо знали, что именно он сделал. Большинству же читающих газеты людей было известно, что он принимал участие в работе, которая привела к созданию атомной бомбы. Выпустил он в свое время и какую-то популярную книгу, но она большого успеха не имела, хотя критики говорили о ней чрезвычайно почтительно, без всяких колкостей, так, как пишут о знаменитых ученых и как почти никогда не пишут о знаменитых писателях.

Его ученая карьера шла хорошо. Первые же его работы обратили на себя внимание. Приложениями науки к промышленности он не занимался, патентов не брал, ни на каком заводе консультантом не был. Фергюсон всегда был совершенно бескорыстным человеком. Повышение профессорского жалованья доставляло ему удовлетворение преимущественно потому, что отвечало желаниям его жены. Она часто ему говорила, что другие ученые зарабатывают много больше и живут лучше. В действительности много больше зарабатывали лишь те ученые, которые работали в промышленности. Труд профессоров, даже самых знаменитых, оплачивался скромно. При всем его бескорыстии ему казалось странным и смешным, что он в год зарабатывает столько, сколько какой-нибудь радиокомментатор получает в месяц, кинематографическая красавица в неделю, а чемпион бокса, быть может, и в день.

Семейная жизнь его была неудачна. Детей не было. Жена, бывшая лет на пятнадцать моложе его, разошлась с ним, когда он подходил к шестому десятку. Он уже давно не любил ее и тотчас согласился на развод. Чувствовал при этом не горе, а оскорбление: она вы-

шла замуж за очень некрасивого, очень незначительного и очень богатого человека. Ему было, особенно в первое время, неловко перед знакомыми, в большинстве тоже профессорами. Дело было самое обыкновенное. Но он прожил с женой много лет, у них бывали его университетские товарищи. Разумеется, никто его ни о чем не спрашивал, и сам он ни с кем чувствами не делился; его по-прежнему приглашали на обеды и приемы, а те из знакомых, которые продолжали принимать его жену, устраивались так, чтобы она и ее новый муж у них с Фергюсоном не встречались. Холостые профессора обычно у себя принимали мало, он перешел на положение холостого. Его материальное положение улучшилось после развода. Прежде у них никаких сбережений не было; дорогие вещи они с женой покупали в кредит, на выплату по частям. Теперь же он проживал не более трех четвертей жалованья: единственной его роскошью были дорогие сигары, помогавшие ему в работе.

Тотчас после окончания войны на него сразу обрушилось несколько несчастий или, по крайней мере, очень серьезных огорчений. Одно из главных было в том, что его способность к творческой научной работе слабела. Он прежде часто это замечал у своих старших товарищей; ему казалось, что с ним этого случиться не может. Когда-то он прочел у Оствальда, что великие открытия обычно делались людьми, не достигшими тридцатилетнего возраста. Это вызвало у него недоумение: каждая его работа казалась ему более важной, чем предыдущие. Теперь его работы стали несколько хуже. Вначале он говорил себе, что менее значительные результаты, быть может, объясняются усилением его критического чувства и требовательности. Затем правда стала ему ясна.

Тяжелое чувство еще осложнялось тем, что незаметно уменьшилась и его вера в науку. В свое время он, вместе с тем же Оствальдом, скептически относился к самому существованию атома и видел в нем только удобную рабочую гипотезу. Позднее атом стал реальностью. Но вместе с развитием атомистического учения Фергюсон почувствовал, что в его представлениях все зашаталось. Прежде человека, который усомнился бы в законах сохранения материи и энергии, сочли бы сумасшедшим. Теперь скорее сочли бы сумасшедшим того, кто считал бы эти законы вечной истиной. Каж-

дый год приносил новые понятия. Появились протоны, нейтроны, позитроны, и как будто в самом деле их существование доказывалось фактами; люди же, их открывшие, были не менее уверены в существовании нейтронов и позитронов, чем в существовании кислорода или серной кислоты. Фергюсон был физико-химик, хорошо знал высшую математику, мог следить даже за ее новыми, специальными отделами. Но в молодости он из своих двух соприкасающихся наук больше занимался химией. Быть может, поэтому да еще потому, что он прочел немало книг по истории и философии точных наук, он нелегко принимал многое в новой физике. Теорию относительности и теорию квантов Фергюсон принял один из первых. Часть его собственных работ была связана с этими теориями, так что почти неминуемо должна была бы пасть вместе с ними. Между тем история наук показывала, что все теории, даже самые прославленные, живут лишь ограниченное время. Он перечитывал в немецком издании «Классиков точных наук» работы ученых прошлого времени и вместе с восхищением испытывал тягостное чувство: так много логической силы, таланта, находчивости было истрачено на доказательство положений, которые даже не надо было позднее опровергать; они просто незаметно отметались в связи с переменой общих научных воззрений. Обычно ученые утешали себя тем, что опровергнутые или сметенные временем теории тоже служат развитию науки. Его эта мысль утешала плохо, и он с тревогой приступал теперь к изучению новых работ: не колеблют ли они принятых им основных теорий?

Не любил он вспоминать и о своем участии в трудах, закончившихся созданием атомной бомбы. Его участие в них было менее близким, чем думали читатели газет. Он и его помощники лишь решили одну из бесчисленных задач, решение которых было необходимо для ее создания. На этом примере Фергюсон с особенной ясностью убедился в том, что наука все больше переходит от личного творчества к творчеству коллективному. Нельзя было даже сказать, кто именно атомную бомбу изобрел. Это задевало в нем чувство гордости. Но главное было в другом. В пору войны ему и в голову не приходило сомневаться, что способствующие победе изобретения нужны, законны, справедливы. Первое сообщение о разрыве атомной

бомбы над Хиросимой не вызвало в нем ничего похожего на угрызение совести. Не высказывали сомнений и те левые журналы и газеты, которые он читал. Однако очень скоро, после капитуляции Японии, почти незаметно изменилось и настроение в этих изданиях, и его собственное настроение: он сам не мог бы сказать, повлияли ли на него газеты или же на них повлияли люди его образа мыслей. В науке Фергюсон думал самостоятельно: он, конечно, верил в авторитет других ученых, еще более известных, чем он сам, но критически относился к каждому их утверждению, часто задумывал, предлагал, производил опыты для проверки их мыслей. Во всем другом, и особенно в политике, это было и вообще невозможно, и не под силу, в частности, ему. Он обычно шел за самым передовым течением.

Одновременно несколько поколебалась и его вера в то, что не очень определенно называлось «The American way of life»¹. В этой вере он вырос и почти не замечал ее, как не обращал внимания на то, что здоров, что каждое утро принимает ванну. Почти этого не ценил, как не мог бы восхищаться электрическим освещением или проточной горячей водой в квартире. Теперь все странным и нелогичным образом сочеталось, чтобы способствовать ослаблению этой его веры: некоторые подробности развода в Рино², описание того, что произошло в Хиросиме, быстрота, с какой забыли о делах немецких национал-социалистов, полная перемена в отношении к России, пятнадцатимиллиардный военный бюджет после второй последней войны (он знал, что на 15 миллиардов в год можно было бы, да еще пользуясь атомной энергией для мирных целей, переделать жизнь в мире). Собственно, за все это «американский путь жизни» никакой ответственности нести не мог (разве только за Рино). Но Фергюсон постепенно изменял отношение к нему. Он давал деньги самым левым организациям, на выборах неуверенно голосовал за Уоллеса, больше возмущался работой Комитета по расследованию un-American activities³, чем делами, которые этот Комитет расследовал, хватался в политике то за ООН, то за Общество американско-советской дружбы. Вся его, и особенно его группы,

¹ «Американский путь жизни». — Пер. с англ. автора.

² В Рино (штат Невада) предельно упрощена процедура развода.

³ Антиамериканская деятельность (англ.).

нехитрая, частью бессознательная политика заключалась в том, чтобы, не выражая сочувствия коммунистам, отграничиваться где только можно от всех антикоммунистов. Таким образом, он был демократ, но совсем, совсем не такой, как те демократы, которые коммунистов не любят. За время своей работы на оборону он познакомился с известными американскими государственными деятелями; они показались ему незначительными людьми. Впрочем, незначительным ему показался и Уоллес. Зато в России у власти должны были находиться гиганты: их он никогда не видел.

И наконец, самое главное, ухудшилось его здоровье. Никакой опасной болезни у него не было, но организм понемногу изнашивался. Он теперь следил за своим телом, как следят за врагом, подумывая, откуда придет неожиданный удар. Не сомневался, что уменьшением его сил отчасти объяснялся уход от него жены, — и, хотя он не любил ее, эта мысль была особенно тяжелой. Фергюсон начал думать о смерти, стал читать не те научно-философские книги, которые читал прежде, а книги метафизические и спиритуалистические. Многое в них было для него неприемлемо, но прежде он их и читать не стал бы. Они выигрывали оттого, что точные науки понемногу теряли свой прежний совершенно реальный облик.

Университет дал ему командировку в Европу на три месяца. Как почти все командировки, эта была дана не по инициативе университета, а по его собственному желанию: для науки от нее, он понимал, особенной пользы быть не могло. Но ему хотелось опять увидеть Англию, Францию, Италию: быть может, там был свой, европейский путь жизни? Фергюсон хорошо владел французским языком, бывал в Европе и прежде, но знал ее мало.

В Париже с ним случилось неожиданное событие: у одного из левых профессоров он познакомился с молодой русской дамой и почти в нее влюбился.

Она поразила его не своей красотой: среди его знакомых в Америке были женщины красивее ее. Он именно пленился тем, что она была совершенно на них не похожа. Все то, что он читал и слышал о России, все общие места о русской душе, о русском мистицизме, о русской широте натуры, всплыло в его памяти. Фергюсон чувствовал, что с ней и при первом знакомстве

нельзя говорить о погоде или о парижских развлечениях, — а надо говорить по меньшей мере о Достоевском. Он о Достоевском и заговорил, впрочем, не совсем искренне, несмотря на свою правдивость.

Из разговора выяснилось, что Достоевский самый любимый ее писатель. «Я им годами бредила», — сказала она. Фергюсон, обладавший счастливой памятью, мог с честью поддержать разговор. Он восторженно думал, что эта русская дама похожа не то на Аглаю, не то на Грушеньку — в его памяти все-таки женщины Достоевского смешивались. Оказалось также, что в политике он и Тони были почти единомышленники, — она была, впрочем, еще радикальнее. Фергюсон попросил разрешения у нее бывать. На следующее утро он зашел в книжный магазин: там нашлись «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». Вечером того же дня он был у Тони. Она не думала, что он придет так скоро. Фергюсон сам этого не думал и даже, по прежним своим понятиям, находил это не совсем приятным. Вдобавок он принес цветы.

Жила она бедно, в крошечной мебелированной комнате, правда, очень чисто убранной: нигде не было ни соринки, все было в совершенном порядке. Почему-то он думал, что у такой женщины в квартире должен быть хаос. Но это тоже свидетельствовало о разносторонности ее натуры. Тони угощала его чаем. У нее были только две чашки, две ложечки, два блюдечка; это тоже было очаровательно. При первом их знакомстве он с недоумением поглядел на ее ожерелье. Она носила его и у себя дома. Тони сообщила ему, что ожерелье ей оставила на хранение дама, погибшая в пору немецкой оккупации. «Разумеется, я отдам его, как только найдутся наследники». Собственно, в этом ничего удивительного не было: все знакомые Фергюсона поступили бы тут так же, как она. Однако в ней и это показалось ему необыкновенным. Они опять говорили о серьезных предметах, о Достоевском, о политике, и выходило — не строго логически, а где-то на какой-то духовной высоте, — что советский way of life не то продолжает миропонимание Достоевского, не то как-то по-иному вытекает из него, хотя и нельзя было сказать с уверенностью, что если б Достоевский был американским гражданином и жил в 1948 году, то он голосовал бы за Генри Уоллеса.

Фергюсон стал бывать у Тони часто. Иногда выпа-

дали неудачные дни. Она больше молчала, видимо, скучала и только и хотела, чтобы он поскорее ушел. Случалось даже, принимала его не очень любезно: по природе была резка. «Что ж, у каждого из нас бывает дурное настроение», — с горечью думал он, возвращаясь к себе. Зато порою, даже часто, Тони бывала в ударе. В такие дни он восхищался ею необыкновенно; ему казалось, что нельзя было бы говорить умнее. У нее была небольшая библиотека, состоявшая из произведений поэтов, преимущественно русских, старых и новых. Она говорила, что без стихов не могла бы жить. Ей нравились самые трескучие стихи, самые пышные поэмы Байрона.

Тяготила его ее очевидная бедность. Тони отлично знала иностранные языки и довольно быстро писала на машинке. Ему секретарша не была нужна, писем он писал немного. Он вспомнил, что хотел лучше познакомиться с русской физико-химической литературой. Брукхэвенский «Guide»¹ излагал работы в извлечениях, он решил ознакомиться с подлинниками. Фергюсон предложил Тони приходить к нему днем часа на три для устного перевода. Она, немного подумав, согласилась. По незнакомству с научной терминологией, она переводила нехорошо и медленно; труды советских физико-химиков были не очень интересны: там ученые неизменно бросались на все новейшее, но средний уровень был много ниже, чем в Соединенных Штатах. Тем не менее он был в восторге. Эта работа и особенно перерывы для отдыха и чая стали главной радостью его жизни. Через неделю оказалось, что у него нашлась бы работа и в другие часы, если бы секретарша всегда была при нем; между тем жила она далеко, и телефона у нее не было (ему трудно было понять, как это люди живут без телефона). Преодолев смущение, он спросил ее, не согласилась ли бы она на время его пребывания в Париже поселиться в его гостинице. Тони согласилась и на это. Фергюсон, тоже смущенно, сказал швейцару, что ему нужна комната для секретарши. Швейцар, очевидно, в этом ничего предосудительного не нашел. Через два дня освободилась комната рядом с его номером.

Париж, старый, вечный освободитель, понемногу производил на Фергюсона свое волшебное действие. В

¹ «Путеводитель» (англ.).

этом городе негр мог председательствовать в законодательном собрании, глава государства, если б хотел, мог бы иметь любовницу, гостиницы не требовали, чтобы были открыты двери комнаты, в которой дама принимает мужчину. Личная человеческая свобода здесь была добавлением к тому, что говорилось в Декларации прав и в жизни осуществлялось не всегда хорошо. Он теперь особенно оценил важность этого добавления. Знакомые французские ученые принимали его с менее широким гостеприимством, чем принимали американцы; но они не интересовались его частной жизнью и к его секретарше отнеслись, по-видимому, с полным одобрением. Он бывал только в очень передовом кругу. Там познакомился с Дюммлером, который сразу его очаровал. Ему было не совсем понятно, каким образом столь передовой и радикальный человек мог стать эмигрантом: с понятием о русской эмиграции у Фергюсона связывались Кобленц¹ и чуть только не кнут. Он был в Париже почти счастлив. Совершенно счастлив не мог быть: ему было пятьдесят восемь лет.

Тони предложила ему стать членом «Афины». Он сначала ничего не понял: позитивистическое общество с каким-то ритуалом! Объяснения Тони были не очень ясны; ему даже показалось, что она сама не совсем понимает задачи общества. Узнав, что во главе его стоит Дюммлер, он обратился с вопросами к старику. Его разъяснения были совершенно другие.

— Но зачем ритуал? — спросил Фергюсон. — Для чего философскому или политическому обществу ритуал?

Дюммлер пожал плечами.

— Это, разумеется, в «Афине» никак не главное. Что ж делать, у нас много поклонников Конта, они на этом настаивают, ссылаются на традицию... Впрочем, другие формы ритуала не смущают нас только потому, что мы к ним привыкли гораздо больше. Вы не масон?.. Если б вы были масоном, вы знали бы, что у них всего этого гораздо больше, чем у нас. А военный ритуал, да и много других! Войдите, присмотритесь. Я собираюсь прочесть доклад о характере и задачах общества, вот слушаете. Нам такие люди, как вы, особенно нужны.

¹ Кобленц был центром монархической эмиграции в годы Великой французской революции.

«Неужели они в самом деле думают, что из этого может выйти большое движение?» — с таким же недоумением, как Яценко, подумал Фергюсон. Однако участие Тони и Дюммлера говорило в пользу «Афины». Он согласился присмотреться. После первого заседания мысли у него еще спутались. Ритуал был довольно простой, но молитвы по Конту, декорация храма, плохая статуя Афины очень ему не понравились. Не понравились ему и два человека, тоже, по-видимому, бывшие руководителями: Делавар и Гранд. Не понравилась и часть посетителей. На одном из заседаний ему показалось даже, что он попал в общество не совсем нормальных людей. Дюммлер улыбался. «Ну что ж, подожду его доклада», — нерешительно сказал себе профессор.

По делам научной командировки ему надо было съездить дней на десять в Кембридж и Эдинбург. Он предложил Тони на время его отсутствия отдохнуть в Ницце. Видимо, она была очень утомлена. Он смутно предполагал, что до поступления к нему на службу Тони, быть может, и голодала.

В Кембридже он в первую ночь проснулся в ужасе: что, если она никогда к нему из Ниццы не вернется. «Кажется, я совсем с ума сошел? Ведь все равно я скоро вернусь в Америку!» Мысль о том, что он в пятьдесят восемь лет влюбился в молодую девушку, была и очень странна, и вместе радостна. Ясно было, что он не может приехать в свой университетский городок в сопровождении юной русской секретарши. Но теперь, ночью, ему было не менее ясно, что без Тони жизнь потеряет для него смысл.

Она вернулась, как было условлено, в тот же день, что и он. Фергюсон встретил ее на вокзале с цветами. Оба старались держать себя совершенно просто, точно у старого профессора и молодой секретарши должны были быть именно такие отношения. Скоро они стали завтракать и обедать вместе; Тони платила за себя, Фергюсон согласился и на это. Никаких интимных разговоров между ними не было, даже за вином. Он все время думал, что должен начать такой разговор, но не мог решиться. В отличие от большинства слабых характерных людей он и не считал себя человеком сильной воли.

Дюммлер убедил его прочесть в «Афине» доклад: «Тема совершенно по вашему усмотрению. Читайте

так, как если б вы читали в университетском философском кружке. У нас доклады будут всякие. По-французски вы говорите вполне свободно». Фергюсон выбрал тему о научных воззрениях в первый период греческой философии. Этот период прежде интересовал его. Он нашел у Анаксагора довольно ясное предвидение закона сохранения материи и атомной теории — заглянул в многотомные труды по истории философии и не нашел там ссылок на это предвидение; таким образом, как будто выходило, что он сделал маленькое историко-философское открытие. Греческого языка он не знал, но достал издание философов досократовского периода в немецком переводе. Однако, готовясь к докладу, убедился, что научные размышления греков его больше не интересуют: да и очень уж далеки были взгляды Анаксагора и Демокрита от той атомной теории, которой занимались ученые двадцатого века. Теперь его интересовали религиозно-метафизические воззрения древних мудрецов. «Я ли это приближаю к смерти, или умер прежний Фергюсон?» — спрашивал он себя. Его поразила мысль Гераклита: «Для богов все прекрасно, все чисто, все справедливо. Только люди думают, будто одно справедливо, а другое несправедливо».

От греческой философии он перешел к греческой поэзии. По уставу «Афины» он должен был выбрать себе молитву и дать ее на утверждение председателю. Он выбрал стих Ксенофана: «Nicht gleich anfangs zeigten die Götter den sterblichen alles — Sondern sie finden das Bessere suchend im Laufe der Zeiten»¹. Дюммлер эту молитву одобрил. «Я уверен, что вы найдете путь к счастью», — сказал он. Фергюсон часто слышал от старика слова «путь к счастью», «путь к освобождению», однако не очень понимал их смысл.

За тридцать пять лет он так привык к чтению лекций и докладов, что в университете, в ученых обществах часто выступал, не имея перед собой даже краткого конспекта: почти ничего не забывал, не отвлекался, говорил всегда ясно, логично, хоть без блеска и не заботясь о блеске. Любил повторять вслед за физиком Больцманом: «Элегантность надо оставить портным». В «Афине» надо было говорить по-французски, это

¹ «Не сразу всё показали боги смертным: в долгих поисках нашли они лучшее». — *Пер. с нем. автора.*

было гораздо труднее. Он собирался было написать доклад, отдать его Тони для перевода и прочитать по написанному тексту. Но времени было мало, и, главное, читать он не любил, да и знал, что это расхолаживает слушателей. Решил поэтому говорить как Бог даст и приготовил только вступительную фразу: «Je commence par demander toute votre indulgence: j'aime votre belle langue, mais malheureusement je la parle assez mal»¹. Маленькая трудность была и с обращением. «Mesdames et Messieurs» было в «Афине» не принято. Обычно ораторы обращались к аудитории: «Братья и сестры». «В церквах, в проповедях тоже так говорят, а в масонской ложе обращаются друг к другу «брат» — там хоть «сестер» нет. Конечно, это дело привычки», — говорил он себе, но вместе с тем чувствовал, что просто физически не в состоянии обратиться со словами: «Mes frères, mes soeurs»² к аудитории, в которой будет Гранд, Делавар и несколько десятков совершенно незнакомых ему господ и дам. Решил обойтись без всякого обращения. «Иностранцу простят несоблюдение правила...»

В день доклада он еще раз просматривал книги, делая закладки и отметки в тех местах, которые хотел процитировать. В его номер вошла Тони.

— Кончили работу? — спросила она. «Особенность его лица — брови, косые, точно недоделанные, похожие на французский accent grave³. Они придают ему наивно-удивленный вид, — подумала Тони. — Смешно».

— Кончил. Только, кажется, будет скучновато. А я именно о греческой философии не хотел бы говорить сухим профессорским языком. У них знание так тесно перемешивалось с поэзией, что...

— Так и должно быть! — резко перебила она его. Он взглянул на нее и увидел, что у нее было то выражение на лице, которое он про себя называл «вдохновенным». Такой он уже видел ее раза три. По его понятиям, вдохновенное выражение лица должно было быть у больших поэтов, но он ни одного большого поэта не знал. Когда у Тони бывали *вдохновенные*

¹ «Начинаю с просьбы о снисхождении: я люблю ваш прекрасный язык, но, к сожалению, говорю на нем довольно плохо». — *Пер. с фр., автора.*

² «Братья и сестры» (*фр.*).

³ Диакригический знак во французском языке.

глаза, она говорила очень много. Ему нравился ее дар слова, но она говорила странно и вызывала у него безотчетную тревогу.

— Почему?

— Потому что человек не может логически прийти к истине. Это вздор! Истину можно только почувствовать, и это есть высшее, единственное возможное на земле счастье. Когда человек чутьем познал истину, он царь, тогда все остальное не имеет никакого значения, тогда можно лгать, обманывать, красть и все-таки быть счастливым. Если же человек сам истины не чувствует, то ему могут указать ее другие. Например, махатмы.

— Махатмы? — с некоторым испугом переспросил Фергюсон. — Так, кажется, называли Ганди? При чем же тут он?

— Ганди тут ни при чем. Я о нем и не говорила. В Индии называются махатмами разные мудрецы, живущие в пещерах.

— А они тут при чем?

— Об этом мы поговорим в другой раз...

— Но отчего же людям не действовать по своей воле?

— Оттого, что они сами себя не понимают. И вы не понимаете! И вам совершенно нечего делать в «Афинах»! Вам лучше уйти возможно скорее в вашу лабораторию.

— Но вы сами меня убеждали войти в «Афины».

— Я ошиблась. И я часто меняю взгляды.

— Как все женщины, — сказал Фергюсон. — «Не очень умно сказал и даже не очень верно, все они упрямы, как осел», — подумал он, вспомнив о своей бывшей жене.

— Женщины все-таки лучше мужчин, — ответила она, вспомнив о Гранде. — Они переменчивы? Но в этом их сила. Только тупые, ничего не ищущие люди не меняются и не меняют взглядов. Женщины и должны были бы управлять миром. Вот как в шахматах, где самая мощная и самая опасная фигура — женщина. Мужчины этого не понимают. Гранд называет это «комплексом Клеопатры». Он пытается насмеяться, а здесь ничего смешного нет.

— Тони, зачем... Зачем вы говорите такие вещи? Вы так умны, я так люблю вас слушать... Зачем махатма и весь этот... Я вошел в «Афины» потому, что вы

этого хотели. Но я пока не вижу причины уходить. Из «Афины» может выйти толк.

— Вы хотите, чтобы это было философское общество, а мне философское общество не нужно! Их есть много, и они ничего в мире не меняют...

— А махатмы меняют?

— Могут переменить. Если же философское общество, то незачем соблюдать ритуал и играть Моцарта.

— И действительно незачем. Однако это подробность.

— Это не подробность. И вашей физикой вы тоже меня не прельстите, — сказала Тони. «Нет, он мне не нравится, — подумала она. — И он стар. Уж тот драматург лучше, а с Грандом, по крайней мере, мне не скучно». — В «Афину» я еще могу поверить, а во все остальное, во все ваше не верю. Вы стали членом нашего общества и обязались соблюдать правила. Согласно воле Конта наш устав требует, чтобы каждый член братства избрал себе молитву. Какую молитву вы выбрали?

— Ах, на все ли равно! Я возьму вот оттуда. — Он указал на лежавшую перед ним книгу с белым корешком.

— «Die Vorsokratiker»,¹ — прочла она. — Конт велел брать молитвы из сокровищницы поэзии.

— А я возьму из *сокровищницы философии*, — сказал Фергюсон, подчеркивая книжное слово. Тони часто их употребляла, и это было ему неприятно. — Не все ли равно?

— Хотите, я для вас выберу стихи... Какой лучший стих во французской литературе?

— Лучший стих во французской литературе? — переспросил он и задумался. Он не был восприимчив к искусству, но старался следить за всем: читал поэтов, даже новейших и малопонятных, покупал многотомные труды по истории музыки и живописи. — Не знаю.

— Лучший стих, — сказала она, — это «L'aurore est pâle encore d'avoir été la nuit». Это из Анри де Ренье.

— Прекрасный стих! — Но вы однажды мне сказали, что...

— Мало ли что я говорила! Я часто лгу.

— Как — лжете?

— Так, очень просто. Я и о Клеопатре лгала. Лгу

¹ «Предшественники Сократа». — Пер. с нем. автора.

без причины, как лгут часто и мужчины, даже настоящие. Вы мне не очень верьте. Я и сама себе не очень верю. И я умею подделываться под людей. Под Дюммлера, под вас. Я делала вид, будто я люблю правду, справедливость, прогресс, разум, не знаю, что еще. А я ничего этого не люблю, — сказала Тони и по его изумленному, растерянному лицу почувствовала, что ему этого никак говорить не надо было. Она расхохоталась. — Полноте, не сердитесь. Я вас мистифицировала.

— Я так и думал. Как я рад, что вы шутили! — сказал Фергюсон. У него был радостно-испуганный вид человека, который вдруг потерял что-то очень дорогое и тотчас затем это нашел. — Впрочем, это особенная правдивость, когда женщина о себе говорит: «Я часто лгу».

— Я знаю, что вы очень правдивый человек и не банальный.

— Я рад, что вы пришли в хорошее настроение духа. Вы почти всегда очаровательны, но...

— Только почти?

— Только почти, — твердо повторил он. — Но лучше всего вы тогда, когда вы веселы... И когда вы просты.

— Рада стараться, — по-русски сказала она и перевела ему эти слова. — Так отвечали солдаты в царской армии.

VII.

С детских лет Тони помнила эту небольшую книжку в потертом кожаном переплете с золоченым обрезаем, одно из тех старинных изданий, которые принято считать «чудесными». Ее родители проделали обычный путь эмигрантов: из Петербурга бежали в гетманский Киев, затем побывали в Одессе, в Екатеринодаре, в Крыму, долго ждали визы в Константинополе; тем не менее, несмотря на все переезды и эвакуации, книжка эта у них сохранилась вместе с другими не очень нужными вещами вроде университетского диплома отца, метрических свидетельств, облигаций Займа Свободы 1917 года. Книжка, заключавшая в себе историю рода матери Тони, появилась за границей лет двести тому назад. Род был довольно

древний, с разветвлениями в Венгрии, Бельгии и в разных немецких странах; в Россию же он попал лишь в начале девятнадцатого века. Из предисловия было ясно, что, как обычно бывает с подобными трудами, эта книга была заказана одним из членов рода какому-то генеалогу или архивариусу. Но материалов у автора было недостаточно, и, по-видимому, желая разогнать свое произведение, он вставил в него немало посторонних историй и анекдотов. А из глухого намека в предисловии можно было как будто сделать вывод, что не все в них понравилось заказчику.

Тони было приятно, что со стороны матери у нее были в роду рыцари со звучными, длинными, чаще всего двойными, именами. Однако всей книги она не прочла и никак не могла запомнить, кто когда жил и кто на ком был женат. По-настоящему же ее интересовала только глава седьмая, в которой из рукописной судебной хроники семнадцатого столетия была приведена протокольная запись о процессе ее далекой прапрабабки. Эта простая девушка из народа (Тони мысленно называла ее Гретхен) была соблазнена рыцарем с длинной фамилией, родила ему сына, затем была брошена и стала ведьмой. Седьмой главы Тони никогда, особенно же в последний год, не могла читать без волнения и знала ее чуть не наизусть; разобрала в ней даже со словарем длинную непристойную цитату на латинском языке, напечатанную старым шрифтом, где С походило на Ф, а В не отличалось от У.

На этот раз книга открылась на странице 96-й.

«На вопрос же высокочтимого Судьи о том, умерли ли ее родители естественной смертью или же были сожжены, ибо чаще всего либо отец ведьмы был колдуном, либо мать была ведьмой, как о том свидетельствует и «Маллеус Малефикарум»¹, подсудимая отвечает, что и отец ее, и мать были честные крестьяне и что она помнит только мать, да и ту плохо, так как та умерла, когда ей было пять лет, а она кормилась девочкой в замке. И, не поняв высокочтимого Судью, спрашивает, что такое естественная смерть, а получив разъяснение, отвечает, что родители ее умерли как все люди: отец на войне, а мать от болезни.

На вопрос почтенного первого Ассессора, почему ее соседи ненавидели, отвечает, что не знает и что

¹ «Молот ведьм» (лат. Malleus Maleficarum).

она всегда была дурной девочкой и много шалила и худо себя вела, оставшись без родителей. На его же вопрос, не могли ли ее соседи и особенно соседки, выступавшие накануне свидетельницами, возвести на нее обвинение в колдовстве по злобе или по зависти к ее красоте и молодости, отвечает, что могли, но, кроме как о заклятии и о дымовой трубе, сказали правду, ибо она, как и показала после ареста, действительно ведьма и заслуживает смерти и хочет умереть возможно скорее, лишь бы без новых больших мучений. На что достопочтенный первый Ассессор просит высокочтимого Судью помнить, что на допросах, производимых при посредстве палача, подсудимые нередко возводят на себя небылицы. Достопочтенный же второй Ассессор предлагает пишущему сие Малефиц-протоколисту и городскому писцу занести в протокол это заявление достопочтенного первого Ассессора.

На вопрос достопочтенного первого Ассессора, в чем были ее колдовские дела, подсудимая показывает, что хоть заклинать никого не заклинала, это соседки взвели на нее неправду, но участвовала в дьявольском шабаше. На его же вопрос, где именно и когда она была на дьявольском шабаше, отвечает, что была только раз, а числа не помнит, ибо все у нее в голове спуталось, но было это ночью на понедельник в феврале, за несколько дней до ее ареста.

На что защитник подсудимой просит высокочтимого Судью и обоих достопочтенных Ассессоров с присущей им ученостью отметить, что дьявольские шабаши происходят только по четвергам и что это признал сам Анри Боке, Великий Судья в графстве Бургундском во Франции, в своей книге «Discours Exécrable des Sorciers»¹, принятой всеми судами и парламентами в образованных странах и названной «книгой, драгоценной, как золото». На что достопочтенный второй Ассессор возражает следующее: Великий Судья Анри Боке действительно сообщает, что все многочисленные осужденные им колдуны и ведьмы участвовали в дьявольских шабашах лишь по четвергам, однако тут же, в главе XIX, добавляет, что позднее узнал и о дьявольских шабашах, происходивших в другие дни недели. В чем и просит удостовериться высокочтимого Судью, представляя означенную знаменитую книгу из-

¹ «Мерзкие речения колдунов» (фр.).

дания 1606 года раскрытой на странице 101. И что ни Жан Боден, ни Николай Реми, ни Бартоломео де Спи-на, ни сам Шпренгер ничего не говорят о том, будто дьявольский шабаш не может происходить в понедельник. И что молодому защитнику подсудимой следовало бы быть точнее в цитатах и осторожнее в утверждениях, ибо иначе это могло бы дать основание для разных неприятных и очень нежелательных для него предположений.

На что высокопочтенный первый Ассессор просит высокочтимого Судью указать высокопочтенному второму Ассессору, что защитник подсудимой исполняет свой долг и никак не должен подвергаться угрозам со стороны Малефиц-Трибунала. Защитник же подсудимой просит пишущего сие Малефиц-протоколиста и городского писца занести в протокол его клятвенное заверение в том, что он, штатный Дефенсор, всегда с величайшим отвращением и ужасом относился к всевозможным злодеяниям малефициантов и малефицианток и что денег от подсудимой за защиту он не получал и не мог бы получить, ибо у нее ничего нет, да если бы что и было, то он от такой женщины платы не принял бы, и защищает ее не по своему желанию, а по назначению Малефиц-Трибунала, *jussu presidentis*¹. Что высокочтимый Судья и предписывает пишущему сие Малефиц-протоколисту и городскому писцу занести в протокол, а ошибку защитника признает случайной и неумышленной.

На вопрос высокочтимого Судьи, зачем подсудимая стала, по собственному повторному признанию, ведьмой и отправилась на дьявольский шабаш, отвечает, что до семнадцати лет жила так, как все, хотя и много шалила. Ей с ранних лет твердили, что надо служить добру и что все ему служат, кроме еретиков и преступников. Она же позднее стала думать, что, ежели бы вправду это было так, то добро везде и существовало бы. На самом же деле она и у себя в деревне, и в замке видела очень много зла и стала думать, что, верно, Сатана всемогущ и что ежели она и будет служить ему, то хуже ей все равно быть не может. На что высокопочтенный второй Ассессор предлагает пишущему сие Малефиц-протоколисту и городскому писцу занести в протокол эти гнусные слова.

¹ По приказанию председателя (*лат.*).

На вопрос достопочтенного первого Ассессора, не было ли у нее особых причин для столь ужасных мыслей, отвечает, что были, и при этом заплакала. Защитник же подсудимой просит высокочтимого Судью и обоих достопочтенных Ассессоров обратить внимание на то, что подсудимая проливает на глазах у них слезы, тогда как всем известно, что ведьмы никогда не плачут, как сказано и в «Маллеус Малефикарум», часть третья, вопрос пятнадцатый. Достопочтенный же первый Ассессор напоминает слова святого Бернарда: «Слезы несчастных восходят к Господу».

На что достопочтенный второй Ассессор возражает, что мнения великих ученых всегда расходились по вопросу о том, могут ли ведьмы плакать, но не доказано, что они не могут притворяться плачущими, а, следовательно, всякой ведьме было бы очень легко, притворившись плачущей, избежать заслуженной кары. Но что не раз великие ученые указывали, что иногда на заседаниях Малефиц-Трибунала сами Судьи и Ассессоры, даже почтенные годами, подвергались чарам ведьм, особенно же молодых и красивых, и теряли способность судить их с подобающим беспристрастием. Против чего Шпренгер рекомендует прежде всего не смотреть на ведьм, даже обращаясь к ним с вопросами, а все время отводить глаза. И еще надевать на шею ладанку с надлежащими травами и с воском, предохраняющим от действия колдовских чар. И не следовало бы поэтому достопочтенному первому Ассессору послать незамедлительно за подобными травами и воском, для чего можно было бы прервать заседание?

На что достопочтенный первый Ассессор, поблагодарив достопочтенного второго Ассессора за заботливость о нем, заявляет, что он действительно достиг почтенных лет и что, находясь на пороге вечности и близкий к суду Всевышнего, свое суждение всегда высказывает по совести, в отличие от некоторых людей, больше всего заботящихся о том, чтобы возможно скорее получить повышение по службе. И что достопочтенный второй Ассессор, обвинивший молодого защитника подсудимой в неполной цитате, сам привел цитату из Шпренгера неполно, ибо Шпренгер, кроме трав и воска, рекомендует еще и иные средства, например, чтобы в подобных случаях посылать за каким-либо безупречным человеком праведной жизни, дабы

он самым своим присутствием на заседании Малефиц-Трибунала оказывал доброе влияние на Судью и Ассесоров.

На что высокочтимый Судья предлагает достопочтенному первому Ассессору, ежели он настаивает на своем предложении, незамедлительно, дабы не терять времени, указать, за каким именно безупречным человеком праведной жизни он советует послать. На что достопочтенный первый Ассессор, после некоторого размышления, указывает, что незамедлительно указать такого человека не может, но укажет через некоторое время, вследствие чего следует отложить процесс. После чего высокочтимый Судья отклоняет предложение обоих достопочтенных Ассесоров и выражает уверенность, что они все равно будут высказываться со всем должным беспристрастием и по возможности кратко, ибо дело уже разбирается второй день.

На вопрос высокочтимого Судьи, где происходил дьявольский шабаш и как именно подсудимая туда переносилась, отвечает, что происходил он ночью на поляне в лесу, и что отправилась она туда пешком, места же точно указать не может, ибо ночь была безлунная, шла же она туда долго, часа два или даже больше, и, вследствие большого волнения, дороги не запомнила, и вдобавок в тот день долго жевала головки белого мака, к чему до того пристрастилась, так как в этом находила утешение от своей крайней тоски, а хранила эти головки в том горшке, что стоял у нее на полу около печки.

На что защитник подсудимой, указав, что ему нравы ведьм известны, разумеется, лишь из книг великих ученых, просит высокочтимого Судью и обоих достопочтенных Ассесоров обратить внимание на следующее: ведьмы никогда не отправляются на дьявольский шабаш пешком, а всегда верхом, либо на вороном коне, либо на белой дубине, либо на черном баране, либо на мохнатом козле, в Англии же еще также порою на быке, а из дома своего вылетают не иначе как через дымовую трубу. Обыск же в лачуге подсудимой никакого животного не обнаружил, как не обнаружил и белой дубины. И что если бы она и вылетела из трубы, то соседки, вчера показавшие, что это видели своими глазами, никак этого видеть не могли, ибо ночь была безлунная, а час поздний, когда добрые люди давно спят.

На повторный вопрос о том высокочтимого Судьи подсудимая показывает, что ни коня, ни другого животного у нее никогда не было, да и держать их ей было бы негде и не на что, ездить же на дубине она не умеет и никогда не ездила, не умеет и летать и через дымовую трубу не вылетала, а показали это соседки по злобе на нее, так как всегда ее не любили, или же, может быть, были пьяны, ибо пили каждый день пиво и водку.

На что достопочтенный второй Ассессор указывает, что на недавнем процессе во Франции колдуны брата Шарло и Пьер Виллермозы тоже сначала уверяли, будто не умеют летать и ездить на дубине, а на допросе при посредстве палача отреклись от этого показания и сознались, вследствие чего предлагает подвергнуть подсудимую допросу при посредстве палача. Подсудимая же, опять заплакав, заявляет, что и без того покажет все, что ей велют, и только хочет поскорее умереть. Достопочтенный же первый Ассессор заявляет, что вопрос о том, как подсудимая отправлялась в лес, недостаточен важен для допроса при посредстве палача. С этим мнением соглашается и высокочтимый Судья, а достопочтенный второй Ассессор требует внесения в протокол его другого суждения.

На вопрос высокочтимого Судьи, кто именно сказал ей о предстоявшем дьявольском шабаше и кто ее туда проводил, ибо сама она, по собственному ее показанию, дороги не знала, отвечает, что не помнит, ибо память у нее ослабела от головок белого мака. На что достопочтенный второй Ассессор заявляет, что уж этот вопрос никоим образом не может считаться недостаточным важным для допроса при посредстве палача, с чем, как он надеется, согласятся и высокочтимый Судья, и достопочтенный первый Ассессор, ибо иное решение было бы явным и вопиющим попустительством силам ада и грозило бы великой опасностью людям, вследствие чего он настаивает на допросе при посредстве палача. С этим мнением соглашается высокочтимый Судья и предлагает достопочтенному второму Ассессору вызвать надлежащих должностных лиц, увести подсудимую в подвал башни и подвергнуть там ее допросу при посредстве палача, причем напоминает, что, согласно законам и обычаям, они должны делать это нерадостно и иметь вид, свидетельствующий о том, как им тяжело исполнять требование закона.

Дело же отложить слушанием до следующего дня. На что подсудимая незамедлительно заявляет, что сказал ей о дьявольском шабаше и проводил ее в лес известный в округе колдун по прозвищу Толстый Яков. Высококочтимый Судья тут же предписывает обратиться к властям с требованием разыскать и задержать этого Толстого Якова. На что пишущий сие Малефиц-протоколист и городской писец представляет справку, что, как видно из другого дела, Толстый Яков еще в марте прошлого года бежал, но, к счастью, был схвачен и сожжен живьем в другом округе.

На вопрос высококочтимого Судьи, как она проникла на дьявольский шабаш, показывает, что по дороге в лес Толстый Яков велел ей сказать слово «Эмен» человеку, который их встретит у поляны. А что это слово значит, ей не сказал, а когда она спросила, уж не имеет ли оно какого-либо нехорошего смысла, назвал ее глупой девчонкой и велел себя слушаться и сказал, что тот человек, который ее встретит, скажет ей слово «Этан», после чего она должна будет исполнять все, что этот человек ей прикажет. У поляны же их встретил высокий человек в черном плаще, при шпаге и в черной маске, а кто он, она не знала и не знает, кто он, и теперь. А когда она сказала «Эмен», он ей не сказал «Этан», а просто протянул ей руку и сказал: «Здравствуй, красавица». Рука же у него была холодная. А затем дал ей кубок, полный вина, и она выпила.

На что достопочтенный второй Ассессор заявляет, что не может быть никакого сомнения в том, что этот человек был сам Князь Тьмы, так как известно, что холодная рука и холодный *membrum virile*¹ составляют главные внешние особенности Сатаны, о чем есть множество указаний в книгах великих ученых и в показаниях ведьм. Так, валлонская ведьма Дигна Робер еще сорок лет тому назад о том свидетельствовала, да еще много раньше на большом процессе о дьявольских шабашах в Бервике ведьмы согласно показывали, что и весь Сатана холоден, как лед, «*vas cauld lyk use*»². Кроме того, черный плащ и черная маска, как всем известно, составляют любимое одеяние Князя Тьмы.

На вопрос высококочтимого Судьи, вступила ли подсудимая, как сама показала на дознании, в телесную

¹ Мужской член (лат.).

² «Был холоден, как лед» (искаж. англ.).

связь с человеком в черной маске, показывает, что вступила, ибо он этого тотчас потребовал, а она потом плакала, боясь, что у нее может родиться ребенок, и кто же его к себе возьмет, а у нее ничего нет.

На что достопочтенный второй Ассессор указывает, что это показание подсудимой свидетельствует о крайнем ее лицемерии и лживости, ибо она не могла не знать, что от сочетания дьявола с ведьмой дети почти никогда не рождаются, а если рождаются, то очень скоро умирают, и не было ни одного случая, чтобы ребенок дьявола и ведьмы прожил до семи лет.

Достопочтенный же первый Ассессор требует, чтобы это заявление достопочтенного второго Ассессора было целиком и дословно со всей точностью занесено в протокол, а затем от себя добавляет и требует указания в протоколе, что, как не очень давно установлено Мальвендом, нечестивый Мартин Лютер родился от связи дьявола с матерью Мартина Лютера Маргаритой и что, следовательно, достопочтенный второй Ассессор опровергает это утверждение. На что достопочтенный второй Ассессор берет свое заявление обратно и, признавая его ошибочным, просит из протокола вымарать. На что достопочтенный первый Ассессор заявляет, что с этим предложением согласиться не может, что никто не может сделать сказанное несказанным и что кое-кому может быть очень интересно хотя бы и взятое обратно суждение о рождении нечестивого Мартина Лютера такого выдающегося ученого, как достопочтенный второй Ассессор. Высокочтимый Судья соглашается с мнением достопочтенного первого Ассессора и постановляет ничего из протокола не вычеркивать.

На вопрос высокочтимого Судьи о том, что же происходило на дьявольском шабаше, подсудимая сообщает сведения столь гнусные и непристойные, что по постановлению высокочтимого Судьи, одобренному обоими достопочтенными Ассессорами, ответ ее вносится в протокол не на нашем языке, дабы не оскорблять слуха людей нашего народа, а по-латыни, что и делается пишущим сие Малефиц-протоколистом и городским писцом.

Достопочтенный первый Ассессор обращает внимание Высокочтимого Судьи на следующее. Из дознания и из глухих намеков свидетельниц как будто следует, что подсудимую два года тому назад соблазнил некий

рыцарь, в замке которого она кормилась с ранних лет. Быть может, рыцарь этот, которого имя всем известно и которого никто не назвал, был косвенным виновником того, что с ней случилось. Если подсудимая ведьма, то караются ведь по закону смертью и люди, имевшие с ней телесное общение. Этот рыцарь не считал нужным явиться на суд. Не думает ли высокочтимый Судья, что его следовало бы назвать и вызвать, хотя бы в качестве свидетеля, на заседание Малефиц-Трибунала, а процесс отложить до его появления?

На что достопочтенный второй Ассессор заявляет, что предложение достопочтенного первого Ассессора подлежит отклонению, ибо, если какой-то неизвестный и никем не названный рыцарь и имел общение с подсудимой, то было это тогда, когда она еще ведьмой не была, и он никак не мог знать, что она ведьмой станет. Бывали случаи, когда знаменитые Судьи не привлекали к ответственности даже мужей самых преступных ведьм. Так было на процессе колдуньи Антиды де Бетонкур, сожженной в Доле в 1599 году, которая вдобавок и сносила с мужем совсем не так, как с Дьяволом, что в протоколе этого процесса сказано.

Высокочтимый Судья отклоняет предложение достопочтенного первого Ассессора и предоставляет слово для «дефенсио»¹ защитнику подсудимой.

Защитник, снова попросив занести в протокол его заверение в том, какой ужас ему внушают деяния ведьм и колдунов, указывает, что, отдавая должное мудрости достопочтенного второго Ассессора, он все же не считает доказанным, что подсудимая ведьма. Вполне возможно, что она все сочинила на первом давнем допросе, произведенном при посредстве палача, хотя, как по всему видно, этот допрос был произведен год тому назад не только с соблюдением правил, но и с надлежащей мягкостью, в которой он отдает должное нелицеприятному правосудию.

На этом месте «дефенсио» подсудимая снова заплакала, а защитник опять обратил на это внимание высокочтимого Судьи и добавил, что, несмотря на всю свою глубокую ученость, достопочтенный второй Ассессор все же не доказал того, что ведьмам свойственно плакать. Точно так же следует признать, что шабаши по понедельникам происходят разве лишь в

¹ «Защитительная речь» (лат. *defencio*).

самых исключительных случаях. Редким исключением следует считать и такие случаи, когда ведьмы отправлялись бы на шабаш пешком, а подсудимая не была уличена в том, что туда отправлялась верхом на коне, козле, баране или на белой дубине, которых вдобавок у нее не оказалось. Разумеется, все это лишь косвенные доводы, но совокупность нескольких косвенных доводов имеет всегда немалое значение. В силу этого защитник предлагает считать обвинение в колдовстве недоказанным, даровать подсудимой снисхождение и смерти ее не подвергать. Если же высокочтимый Судья признает ее заслуживающей казни, то не сжигать ее живо, как справедливо предписывают наши законы, а сначала подвергнуть давлению и лишь затем сжечь ее тело. Так неоднократно совершалось в отношении людей, заподозренных в колдовстве, и это будет особенно естественно в отношении девятнадцатилетней подсудимой, воспитавшейся без отца и матери.

Достопочтенный первый Ассессор указывает, что он может отдать должное только крайней, быть может, порою даже чрезмерной, почтительности к судьям защитника подсудимой, но не его добросовестности, не его мужеству и не его уважению к правосудию. Ибо свой долг защитника он выполнил слабо и робко, а тем самым вынуждает его, Ассессора, кое-что добавить к «дефенсо» и исправить содержащееся в ней противоречие. Ибо, ежели защитник находит, что подсудимая взвела на себя напраслину, а на самом деле ни на каком сборище в лесу не была, то он никоим образом не должен был говорить о возможности казни подсудимой, об ее сожжении все равно живьем или после давления. Что до него самого, то он, к несчастью, никак по совести не может признать, что подсудимая на сборище в лесу не была, а сочинила это: из рассказа подсудимой следует, что она на сборище была, ибо таких подробностей она, особенно при своей молодости и неопытности, выдумать не могла бы. Однако нет никаких оснований считать это сборище в лесу дьявольским шабашем, а ее самое ведьмой. Вполне возможно и весьма правдоподобно, что в ту ночь в лесу собрались с разных концов округа просто развратники самого отвратительного рода, заманивавшие к себе женщин, и опытных, и особенно неопытных. Равно нет ни малейших оснований считать человека в черном плаще Князем Тьмы, ибо достопочтенный второй

Ассессор, при всей той мудрости, которую восхвалял защитник подсудимой, не привел в доказательство такого предположения ничего, кроме того, что у человека в черном плаще была холодная рука. Между тем происходило все в феврале, и вполне возможно, что руки были бы холодные у самого почтенного второго Ассессора, если бы предположить, что он в ту ночь находился не у домашнего очага с женой и детьми, а, например, в пути, возвращаясь от какого-либо приятеля или, быть может, приятельницы.

На что высокочтимый Судья просит почтенных Ассессоров воздержаться от замечаний личного свойства, не имеющих отношения к делу.

На что почтенный второй Ассессор заявляет, что стоит выше подобных замечаний или намеков и считает ниже своего достоинства отвечать на них.

После чего почтенный первый Ассессор указывает, что равным образом и черная одежда никак не может считаться признаком Князя Тьмы, ибо черную одежду может носить кто угодно, и ему самому случается гулять в черном плаще, и тем не менее он Князем Тьмы никогда не был. Ничего не доказывает и маска, ибо люди, отправляющиеся на сборища, подобные тому, которое тогда состоялось ночью в лесу, имеют основания желать, чтобы их никто не узнал. Ввиду всего этого, а также доводов, приведенных защитником подсудимой, он предлагает высокочтимому Судье объявить подсудимую по обвинению в колдовстве оправданной, но, как заблудившуюся распутную девочку, приказать высечь ее розгами, как, верно, сделал бы, ежели б был жив, ее отец, почтенный воин, павший на поле брани, а затем по наказании отдать ее под надзор каким-либо добрым богобоязненным монахином, которые строго за ней следили бы, не позволяли бы ей жевать головки белого мака и уходить из дому в темные ночи.

Почтенный второй Ассессор возражает, что доводами, подобными тем, которые высказал почтенный первый Ассессор, можно опровергнуть какое угодно обвинение, если желать оправдать подсудимую во что бы то ни стало или добиться для нее легкого родительского наказания. По-видимому, почтенный первый Ассессор, снисходительность которого издавна вызывает весьма неодобрительные суждения со стороны авторитетных ученых и высокопоставленных

людей, твердо намеренных карать зло и спасать людей от соблазна, совершенно забыл одно обстоятельство, не лишнее, казалось бы, некоторого значения: подсудимая двукратно себя признала ведьмой, достойной кары смертью. Правда, достопочтенный первый Ассессор заметил, что в первый раз она сама себя таковой признала на допросе, происходившем при посредстве палача. Однако если достопочтенный первый Ассессор считает не имеющими значения все признания, делаемые на таких допросах, то, конечно, он с тем свойственным ему мужеством, в недостатке которого он упрекал защитника подсудимой, тут же прямо об этом заявит и откажется впредь принимать участие в отправлении правосудия, ибо нельзя применять законы, не относясь к ним с должным уважением. Кроме того, подсудимая повторила свое признание и здесь, на заседании Малефиц-Трибунала, где допрос производился без посредства палача. Едва ли свидетельствует о большом уважении к правосудию и шутливость, проявленная, к общему удивлению, достопочтенным первым Ассессором в вопросе о признаках Князя Тьмы, ибо эти признаки были установлены великими учеными и признаны решающими на многочисленных судебных процессах. Вдобавок достопочтенный первый Ассессор совершенно обошел молчанием условное слово «Эмен» явно дьявольского жаргона, которое, по собственному ее признанию, сообщил подсудимой Толстый Яков, недавно сожженный живьем не за разврат, а за колдовство. А так как хорошая память, свойственная достопочтенному первому Ассессору, несмотря на его почтенные годы, всем известна, то это молчание нельзя объяснить простой забывчивостью, а надо считать весьма странным и едва ли совместимым с занимаемой им высокой должностью. Ввиду всего этого достопочтенный второй Ассессор считает себя вынужденным напомнить высокочтимому Судье, что его прямая обязанность заключается в том, чтобы слова достопочтенного первого Ассессора, а равно и сделанные ему возражения, были полностью занесены в протокол, а выписка отправлена кому надлежит знать.

На что высокочтимый Судья, прервав достопочтенного второго Ассессора, заявляет, что он сам знает свои обязанности и не нуждается в их напоминании и что вообще достопочтенный второй Ассессор слишком часто выступает с требованиями, которые лишь затяги-

вают отправление правосудия, между тем как уже сейчас время позднее и приближается час, когда все добрые люди обедают.

На что достопочтенный второй Ассессор заявляет, что настаивает на занесении в протокол и этого замечания высокочтимого Судьи. Переходя же к доводам защитника подсудимой, высказывает мнение, что они никак не могут считаться убедительными, ибо, хотя в доме подсудимой и не оказалось ни коня, ни козла, ни барана, ни дубины, но было бы весьма странно и даже смешно предполагать, что колдуны и ведьмы держат у себя дома то, что может вызвать против них подозрения и погубить их. Есть поэтому все основания думать, что подсудимая, вылетев через дымовую трубу, опустилась на некотором расстоянии за заставой в пустынной местности и села либо на вороного коня, либо на черного барана, либо на мохнатого козла, которых, верно, держал там наготове для нее колдун Толстый Яков. Предположение же молодого защитника, будто ни на каком сборище подсудимая не была, может вызвать только улыбку и не нуждается в опровержении, уж если его не принял и достопочтенный первый Ассессор, несмотря на все свое упорное желание по неизвестным причинам обелить подсудимую. Сам же достопочтенный второй Ассессор считает виновность подсудимой в колдовстве совершенно доказанной и предлагает в полном согласии с законом приговорить ее к тому, чтобы груди у нее были должным образом вырваны раскаленными щипцами, а ее брэнное тело после того переведено от жизни к смерти через огонь.

Высокочтимый Судья спрашивает подсудимую, не желает ли она еще что-либо кратко добавить к сказанному ее защитником. Подсудимая же, заливаясь слезами, просит рыцаря сюда не вызывать, ибо он ни в чем не виноват и она его прощает и не хочет, чтобы он ее увидел с обрезанными косами, в нынешнем ее состоянии и одежде, а для себя просит только, чтобы ей после окончания суда принесли хоть несколько головок белого мака из горшка, что стоял у нее около печки.

Высокочтимый Судья объявляет перерыв и, вернувшись через четверть часа, оглашает следующий приговор:

«Мы, Судья означенного в сием протоколе высокого и всеми чтимого Малефиц-Трибунала, рассмотрев с нашими достопочтенными Ассессорами настоящее де-

ло, с печалью признаем, что означенная в сием протоколе подсудимая, как следует из ее двукратного признания, есть малефициантка и ведьма и, следовательно, подлежит тягчайшей каре, без зависимости от того, было ли то сборище в февральскую ночь дьявольским шабашем или угодным Князю Тьмы гнусным действием развратников и был ли самим Князем Тьмы человек в маске, с которым означенная малефициантка и ведьма вступила в телесную связь. А посему выносим Мы, Судья высокого и всеми чтимого Малефиц-Трибунала, следующий зрело нами обдуманый и справедливый приговор. На основании закона в должную кару ей и в назидание другим подлежит означенная малефициантка и ведьма тому, чтобы груди у нее были должным образом вырваны раскаленными щипцами и чтобы затем ее брненное тело через огонь было переведено от жизни к смерти. Но, по милосердию нашему и приняв во внимание ее крайнюю молодость, постановляем Мы, Судья высокого и всеми чтимого Малефиц-Трибунала, чтобы грудей у нее щипцами не вырывать, а ее брненное тело перевести от жизни к смерти через отсечение головы мечом, после чего сжечь на костре. Указанное исполнить сего дня вечером на площади Рынка по окончании торговли на ней, а пепел рассеять на кладбище нечестивых. Вещи же, найденные в жилище означенной малефициантки и ведьмы, особливо же горшок со зловредными травами, также сжечь рукой палача, а пепел развеять».

Здесь кончается протокол суда над женщиной, столь странно связанной с одним из отпрысков славного именитого рода, истории которого мы посвятили настоящий труд. Приговор был приведен в исполнение в тот же день, во вторник, 10 ноября 1626 года.

Добавим еще, что в том же архиве при городской башне нами найдена потертая записная книжка, писанная рукой того же Малефиц-протоколиста и городско-го писца. В ней под числом 10 ноября 1626 года сказано: «Нотандум. Уходя нынче из Малефиц-Трибунала, высокочтимый хоть, как всегда, торопился домой жрать (у них нынче щука и гусь с яблоками), отведя меня в сторону, велел доставить ему на дом в четкой копии выписку из того, что достопочтенный мерзавец сболтнул о детях дьявола и ведьмы и на чем старик его так славно припечатал. Молодец высокочтимый! С удовольствием вечером окажу услугу до-

стопочтенному, и, верно, ему теперь должности первого Ассессора не видать как своих ушей. Он и вчера скоротал вечерок у своей Доротейки, будь и она трижды проклята. А жена его говорит, что выцарапает им обоим глаза. Если б сделала, то я поднес бы ей в подарок бутылку самого лучшего венгерского вина, да и от других пришел бы, верно, целый бочонок. И еще высокочтимый, дав мне монету, велел тотчас тайком послать через сторожа ведьме стакан водки хорошего качества, а сторожу строго-настрою приказать, чтобы об этом не болтал. Исполнено, если сторож по дороге в башню не выпил, но клялся, что не выпьет, потому что боится Бога, даже и жалко ему девчонку, хотя она и ведьма, а он знал ее мать, и та тоже была красавица. Конечно, жалко, и порядочный каналья рыцарь. А кто бы такой был человек в черном? Едва ли Князь Тьмы, хотя, кто их знает, может быть, и он.

Мы надеемся, что по прошествии стольких лет никто не поставит нам в упрек это забавное добавление к истории, которая, верно, произведет гнетущее впечатление на наших просвещенных читателей.

О дальнейшей жизни рыцаря, бывшего в связи с ведьмой, мы ничего установить не могли. Знаем только, что его ребенок был им усыновлен после долгих хлопот.

Не можем тут не отметить, что нравы нашего времени очень смягчились по сравнению с тем, что происходило в прошлом веке. Ведьм стало меньше, и их сжигают не так часто. Мы можем лишь благодарить наше мудрое и просвещенное правительство. Это никак не значит, будто мы сочувствуем идущим из Франции новым мыслям, связанным в особенности с именем известного писателя барона де Монтескье. Отметим, впрочем, что означенный писатель занимает высокую должность председателя бордоского суда (парламента) и в качестве такового, разумеется, сам подписывает приказы о пытках и приговоры к сожжению на костре, когда это совершенно необходимо. Одно дело литература, другое дело жизнь, и мы никак не думаем, что высказанные во Франции мысли представляют собой столь грозную опасность для мира, как это говорят у нас люди, совершенно не желающие считаться с духом времени».

«Да, конечно, она не так глупо прожила свою жизнь, моя прабабка, — подумала Тони. Сердце у нее

стучало так, что она не только чувствовала, а слышала его стук. — Умнее, чем пока живу я. И если даже этот дьявольский шабаш был чем-то вроде нынешних *partouzes*¹, то ведь у меня этого пока не было, я и на это не решалась, а были только «оргии» с мошенником Грандом. Да, за белый мак можно было отдать жизнь, и за те два часа, когда она шла в лес, и за эту встречу с Князем Тьмы. Да и логически, хоть смешно тут говорить о логике, в основном она тоже была права, бедная девочка. Конечно, сатана всемогущ. Старик ассессор ей ничего путного не ответил, как мне не отвечает Дюммлер. «Столь ужасные мысли!» А Дюммлер мне говорит, что в политике все познается по сравнению. Пропади он пропадом, этот буржуазный мир с его хваленой «свободой»! Мне она не нужна. В мыслях я уже с ними, а дьявольский шабаш ли у них или нет, этого не разрешит и суд истории, как тут не разрешил Малефиц-Трибунал...»

VIII.

Тони остановилась на четвертой площадке крутой лестницы и заглянула в пролет. У нее на высоте, даже на небольшой, кружилась голова, она чувствовала желание броситься вниз. Именно поэтому часто себя испытывала и старалась себя закалить. Поднималась даже к башням *Notre Dame* — еле потом спустилась. Тут высота была небольшая, но она нервно ухватилась за перила. «Если броситься, может, и не умрешь, а только себя искалечишь...» Представила себе, как о ее смерти узнает Гранд, и почувствовала, что теперь ей это не очень интересно! «Интересно, но не очень. Еще месяца два тому назад я перед свиданием с ним часами обдумывала, как одеться. Этот развратник любит в женщинах «монашеский стиль». А теперь мне и это интересно, но не очень... Да, как он узнает? Он расплачется. Слаб на слезы, добрый негодяй. Я любила его. Мне суждено любить именно таких людей. Что делать?.. А Гранд и другие болваны, верно, думают, что я рисуюсь!» Она взглянула на часы. Оставалось еще минут сорок. Решила сделать впрыскивание в чепчике. Теперь было только одно желание: как можно

¹ Пьяные оргии (*фр.*).

скорее. Но расписание следовало соблюдать, она испытывала силу своей воли.

У нее был один из самых тяжелых дней. Она проснулась рано и в ту же минуту почувствовала столь ей знакомую острую, мучительную тоску: «Снилось что-нибудь? Нет, ничего не снилось». Стала перебирать в памяти разные неприятности. Каждая казалась ей несчастьем; каждое несчастье показалось бы катастрофой. Люди, все люди, были чрезвычайно ей противны, даже Гранд, в особенности Гранд. Она долго лежала неподвижно в кровати, согнув колени под теплым одеялом и закрыв глаза. Думала, вздрагивая, о том, что *может* с ней случиться. Представлялось только худое, тяжелое, страшное.

Прежде в такие дни помогали спиртные напитки. Вкуса их она не любила. В Нормандии, в пору германского владычества, привыкла к крепкой яблочной водке. От нее тоска на полчаса исчезала, мысли становились радостными, затем смешивались, затем переходили в еще более мрачную тоску, и вдобавок болела голова. Позднее напитки перестали помогать. «Но в ту пору могло схватить гестапо, могли подвергнуть пытке, теперь ничего этого нет, и все-таки теперь хуже, еще гораздо хуже. Оттого, что тогда была борьба? Нет, не от этого». Теперь помогал только морфий, — зато он помогал чудесно.

Ее история была очень проста, как, вероятно, проста история всех морфинисток. Научил ее третий любовник, разошедшийся с ней за несколько месяцев до появления Гранда. Вначале она впрыскивала себе морфий раз в неделю, теперь уже два раза и часто придумывала предлоги для *экстренных* впрыскиваний. У нее был *комплект* и дома, но с собой в сумке она почти всегда носила другой. Предпочитала производить впрыскивания перед встречами с Грандом. Это хорошо сочеталось, надо было только точно рассчитывать время: сначала *свет*, потом *эйфория*, потом любовь. Гранд говорил: «Ангел мой, вы себя губите этим проклятым ядом, но я не могу отрицать, что вы становитесь после него блестящей! Блестящей во всех отношениях, но особенно в сексуальном. Тем не менее бросьте это возможно скорее! Умоляю и приказываю!» Он всегда говорил с ней, как с душевнобольной. Однако, несмотря на свою доброту, говорил довольно равнодушно, и это ее раздражало.

Из-под двери торчали письма. В передней она повернула выключатель, взглянула на конверты, от Гранда ничего не было — значит, придет в пять. Он редко опаздывал, говорил: «Точность — вежливость королей» — и начинал врать о своей королевской крови; впрочем, и не надеялся, что она поверит. Тони вошла в боковую комнату, называвшуюся у них секретарской, положила письма на стол, погасила лампочку в передней: она деньги «Афины» расходовала гораздо бережливее, чем свои собственные.

Секретарская комната выходила, как и храм, в довольно узкий мрачный двор. Гранд, когда нанял квартиру, объяснил, что в этом большое преимущество: с улицы могла бы следить полиция. Дюммлер холодно ответил, что они ничего противозаконного делать не собираются. Делавар пожал плечами: «Гораздо лучше было бы, если б окна выходили на улицу, а не в этот колодец! Все другие жильцы будут за нами следить!» «Если вы нам дадите миллионы, мы построим дворец на авеню Фош, — саркастически ответил Гранд, — а чтобы люди не подсматривали, на то есть ставни». Они спорили обо всем и терпеть не могли друг друга.

Ее жизнь теперь делилась на дни с морфием и дни без морфия. «В небольших количествах морфий совершенно безвреден, — убедительно говорил ей третий любовник, — все эти страхи вздор, врачи только запугивают людей. Это гораздо менее вредно, чем пьянство, и вдобавок совершенно иное: кто этого не испытал, тот вообще не знает, что такое жизнь!» Она рассталась с ним дружелюбно: никогда не сердилась на мужчин, которые ее бросали, и почти никогда на тех, которых бросала сама. Перед первым впрыскиванием, впрочем, купила книжку в скучной серой обложке о вреде морфия, но и не заглянула в нее. Сказала она о морфии только Гранду. Он в первую минуту был поражен. Пробовал было повлиять на нее, но все его доводы имели как будто обратное действие. «Вы прежде всего забываете, что я из породы обреченных людей», — сказала она. «Милая, дорогая, какая порода, какие обреченные люди? Перестаньте нести вздор, вы не Бодлер!» — «Я давно решила, что пройду в жизни через все. Кроме того, морфий не яд, а если и яд, то мне незачем заботиться о здоровье. Если же моя судьба скажет другое, то я брошу морфий, силы воли у

меня хватит. Я ничего не боюсь». — «Ангел мой, у вас строгая логичность, свойственная всем сумасшедшим, — ласково говорил он ей. — Но вы все-таки бросьте морфий, сделайте мне удовольствие. Насколько лучше и приятнее пить вино, коньяк, даже вашу национальную водку. Милая, дорогая, бросьте, поверьте, тут никакой поэзии нет. Расстроится пищеварение, появятся прыщи, ну зачем это? Это только Гейне сделал поэтической женщину, которая его наградила сифилисом. Так, по крайней мере, при мне говорил Дюммлер. Я даже хотел записать, но боюсь, что он иногда сочиняет свои цитаты. «Как вы думаете?» — «Перестаньте говорить вздор! И ничего такого от наркотиков не бывает!» — сказала она, бледнея.

Они тогда еще были на «вы». В то время за ней ухаживал Делавар. Он, впрочем, был ей неприятен и даже почти противен. Как-то в самом начале их знакомства она со своей и естественной, и выработанной *прямотой* сказала ему за ужином: «Меня купить нельзя, а вы мне не нравитесь». Делавар очень обиделся и с тех пор был с ней очень сух и вежлив. Гранд был от ее слов в восторге. Он не был *влюблен* в Тони, но она ему нравилась. «Это правда, что она ничего в жизни не боится!» — думал Гранд. Сам он не был ни храбр, ни труслив: очень серьезных опасностей боялся и избегал, не очень серьезных не боялся и не избегал, как большинство людей. Когда у него бывали деньги, он угощал Тони коньяком и шампанским. Объяснял: «В надежде на перемену ориентации».

Лежавшие под дверью письма оказались не важными. Три дамы заявляли о желании вступить в общество. Магазин музыкальных инструментов с печальной настойчивостью во второй раз просил произвести месячный платеж за пианино. «Проклятый!» — сказала она вслух. Делавар дал деньги на пианино и не знал, что Гранд купил его в рассрочку, уплатив только задаток. Ее обязанностью было бы об этом сообщить правлению, но Гранд убедил ее не сообщать. «Не все ли высокоуважаемому Гаранту Дружбы равно? А мне так удобнее. Я обернусь», — особенно убедительным бодрым тоном говорил он ей. Умение *оборачиваться* было основой его жизни. В прошлый четверг он сказал ей, что побывал в магазине и заплатил за пианино. Тони знала, что он всегда врет, и тем не менее всякий раз изумлялась и сердилась.

Она вошла в длинную узкую комнату, называвшуюся храмом, и зажгла люстру. Лампочки были синие. Перед эстрадой на длинном стальном пруте висел раздвигавшийся занавес из синего бархата. Стулья, стоявшие рядами, как в театре, были обыкновенные, соломенные, купленные по случаю за бесценок. На эстраде стояли бархатное кресло и статуя Афины. В глубине комнаты, тоже за занавесом, находилось пианино. Статую Гранд заказал безработному скульптору на Монпарнасе. В одной руке богини был щит, в другой — рог изобилия. На щите была изображена голова Горгоны, окруженная змеями. На пьедестале была вырезана надпись: «Athena Tritogenia Nikephoros»¹. Дюммлер в первый раз посетил помещение, когда все уже было готово. Он морщился, вздыхал, затем указал, что в надписи сделаны две ошибки. Скульптор, ругаясь, говорил Гранду, что вырезал буквы точно так, как было указано на записке, и что он не обязан знать древние языки.

Помещение и мебель обошлись в четыреста двадцать тысяч франков. Делавар сказал Тони, что Гранд, верно, положил в карман не менее трети. Тони сообщила это Гранду. Он возмутился больше для порядка. «Хороши бы вы были без меня! Интересно, как бы вы вообще нашли теперь такую квартиру за такие деньги!» Действительно, найти квартиру в переполненном Париже было чрезвычайно трудно. Запущенный мрачный дом на левом берегу был построен лет двести тому назад. О нем ходили в кофейнях квартала легенды: не то здесь собирались в восемнадцатом веке масоны, не то тут было отделение общества Катерины Тео, мрачное дело которой было тесно связано с Деятым термидора, не то в нем лет шестьдесят тому назад происходили кошунственные «черные мессы». Дюммлер говорил, что все это действительно было поблизости от их улицы, но именно в этом доме ничего такого, кажется, не было.

Показывая Делавару помещение после отделки, Гранд все восторженно хвалил. «Подумать только, что храм влетел нам меньше чем в тысячу долларов!» — «Прежде всего влетел он не «нам», а «мне», — сказал Делавар. — «У вас есть как будто склонность забывать, что я играю некоторую роль в «Афине», —

¹ «Афина Победительница» (*искаж. лат.*).

сказал Делавар и показал себе на грудь так, как, быть может, показал себе на грудь Людовик XIV, когда сказал: «Государство — это я». — Кроме того, квартира на пятом этаже, без лифта, без ванной, и нам четыре комнаты совершенно не нужны: только лишний расход на вашу чудесную мебель». — «Во-первых, ванна нам нужна еще меньше, — возразил Гранд. — Во-вторых, если бы были ванна и лифт, то за квартиру взяли бы отступного миллион. В-третьих, лишняя комната нам понадобится, так как все равно нам необходимо будет поселить здесь кого-нибудь, секретаря или секретаршу. В-четвертых, если б мы хотели въехать в квартиру с одной статуей Афины вместо мебели, то хозяин и консьержка нас на порог бы не пустили. В-пятых, если вам квартира и мебель не нравятся, то я их в двадцать четыре часа продам, верну вам ваши деньги и еще немало заработаю!» Он всегда приводил большее число доводов, чем его собеседник, и аккуратно их перечислял: «во-первых... во-вторых...» Делавар, впрочем, не очень сердился: был бы даже удивлен, если бы Гранд не нашол денег на этом деле. Спорил больше для того, чтобы Гранд не думал, будто он его действий не замечает. «Консьержке я каждый терм¹ буду давать большой «начай», — решительно объявил Гранд. — Правда, я объяснил ей, что скоро в квартиру въедут люди, но она пока ничего не понимает. Не надо, чтобы она очень болтала». — «Болтать она будет все равно. Кроме того, во все секретные общества все равно проникают полицейские. В кружках анархистов, например, так и считается нормой, что из трех по меньшей мере один сыщик». — «Наше общество не тайное, — опять поправил Дюммлер, — мы ничего худого не делаем, и у полиции нет никакой причины нами интересоваться». — «Да пусть интересуется! Однако наше общество отчасти тайное, если мы установили па- роль».

Тони вошла в «Афину» отчасти по требованию Гранда. «Ну, хорошо, дорогая, вы пока во все это не верите. Но, во-первых, вы сами говорите, что надо пройти через все. Во-вторых, вы со временем поверите: это великая идея, клянусь вам честью. В-третьих, мы с вами сделаем большое дело, пока я еще не могу ничего сказать, но вы увидите. В-четвертых, я вас

¹ Здесь: сезон (лат.).

об этом прошу, а ваша жизнь связана с моей нездешними силами. В-пятых, «Афина» — это воплощение поэзии, а вы так любите поэзию, и у вас такая поэтическая душа. В-шестых, черт тебя возьми, ты должна меня слушаться!»

На обязанности Тони лежали прием новых членов, переписка, рассылка приглашений, а также уборка помещения. В двух задних комнатах, скудно обставленных дешевой мебелью, все было в порядке. Она только отворила окна. В зале привела в порядок стулья и скамейки.

Ритуал был подробно разработан ею и Грандом. Делавар признавал его необходимость, но не вмешивался. Дюммлер морщился, говорил, что указания можно найти у Конта в четвертом томе «Системы позитивной политики», и советовал все сократить. «Против музыки я не возражаю. Если только вы думаете, что будут хорошие исполнители». Превосходным исполнителем был Гранд. Но он бывал не на всех заседаниях, его заместительницей назначили Тони. Гранд слушал ее игру с кислой улыбкой, а в первый раз спросил ее, какой слон учил ее музыке.

«Афина» ей успела надоест, надоел и Дюммлер, и особенно другие члены общества. «Зачем я к ним пошла? Ритуал — да, пожалуй, это хорошо для подчинения воли. А все остальное вздор. Да еще примазались жулики. Для чего Гранду может быть нужен звонок? Конечно, я должна была бы сказать об этом Николаю Юрьевичу». Гранд настойчиво требовал, чтобы она о звонке ничего не сообщала ни Дюммлеру, ни Делавару. Он сначала велел электротехнику поместить звонок в третьей комнате и под обоями соединить проволокой с головой Афины. Электротехник не удивился: большому ничему не удивлялся, с тех пор как увидел статую богини — думал, что в квартире поселились умалишенные. Со звонком в третьей комнате ничего не вышло, и это очень огорчило Гранда. Он долго совещался с электротехником и затем радостно объявил Тони, что будет карманный звонок гораздо лучше:

— У нас будет звонок Кут-Хуми! Ты не знаешь, что это такое? Значит, ты не знакома с мистической литературой! Значит, ты не читала Блаватскую! Позор! Я тоже не читал, но Блаватская для нас то же самое, что какой-нибудь Клаузевиц для военных!

— Для кого для нас?

— Для нас, мистиков и оккультистов! Она при помощи звонка Кут-Хуми сносилась с Хозяином! С самим Хозяином!

— Не морочьте мне голову. Почему вы скрываете о звонке от Дюммлера?

— Потому что он несчастный рационалист и, кроме того, выжил из ума. Нет ничего хуже, чем выживший из ума рационалист.

— Все вы врете. Послушайте, если вы готовите какое-нибудь мошенничество, я первая донесу на вас полиции!

— «Мошенничество»! — передразнил он не то гневно, не то благодушно. — Что такое мошенничество? Если б не Божье милосердие, то всем людям нашлось бы по заслугам место на каторжных работах. Но, во-первых, Господь Бог очень добр, а во-вторых, на кого же тогда работали бы миллиарды каторжников? Знай, безумная, что великую тайну звонка мне объяснил один из последних учеников Блаватской, которого едва ли не сам Кут-Хуми благословил в своей пещере! Надеюсь, ты не предполагаешь, что Блаватская была мошенницей! Она была гениальнейшей женщиной девятнадцатого века! А тебя я сделаю гениальнейшей женщиной двадцатого.

Она невольно смеялась. В идее звонка Кут-Хуми было и что-то веселившее Тони: «Так этим глупым буржуа и надо!»

— А Блаватская свои фокусы разъяснила?

Он развел руками от такой наивности.

— Только не хватало, чтобы она разъясняла! Прочти в отчете ее разоблачителей, мне о нем говорил Дюммлер. Он по своей ограниченности смеялся. Но что же эти проклятые рационалисты доказали? Что она устраивала звонки сама при помощи своих последователей. Что ж тут дурного? Они все исполняли волю Хозяина. Да разве если бы она не исполняла волю Хозяина, то из этого могло бы что-либо выйти? Разве на земле совершается что бы то ни было помимо воли Хозяина? Главное ведь в том, чтобы люди служили его воле. И надо поэтому первым делом потрясти их воображение.

— Поклянитесь, что вы не готовите никакой уголовщины! Иначе вы навсегда скомпрометируете и себя, и меня, и нас всех!

— Клянусь! — сказал он, подняв к потолку руки и

глаза. — «Навсегда, навсегда!» — опять передразнил он. — Навсегда — это когда человек умер... То есть, конечно, в смысле земной жизни, только земной жизни. Больше ничего на свете «навсегда» не бывает и нет конечных людей! А кроме того, я никак не могу скомпрометировать ни себя, ни тебя, ни кого бы то ни было другого хотя бы уже потому, что здесь я буду пользоваться звонком очень редко, в крайних случаях. Что можно делать в этой несчастной, насквозь рационалистической стране, с ее ничего не стоящей валютой, которую вдобавок и вывезти невозможно! Здесь я только учу тебя, ты *должна* научиться и звонку. Пойми же, вообще все, что мы здесь делаем, это для тебя только подготовительная школа! Мы уедем в Соединенные Штаты: там доллары, а не франки, и у людей душа, а не рационалистический сероуглерод! С такими глазами, как у тебя, мы там перевернем мир! А когда я тебе говорю о приеме, освященном мудростью столетий, освященном именем Кут-Хуми, ты имеешь смелость назвать это мошенничеством! Благодарю, не ожидал! — говорил Гранд глубоко оскорбленным тоном. Он и в самом деле почти серьезно чувствовал себя оскорбленным: очень часто искренне верил тому, что говорил.

Тони поднялась на эстраду, взяла в ящике стола тряпку и принялась стирать пыль. Стекло в раме давно следовало бы промыть как следует. По своей любви к чистоте и порядку она это сделала бы, но теперь ей было не до того. Не впрыскивала себе морфий уже три дня, и ждать с каждой минутой было труднее. Под стеклом висел девиз: «*République Occidentale. Ordre et Progrès. Vivre pour autrui*»¹. Труднее всего было чистить статую. В роге изобилия, на сове, в углублениях щита между вырезанными змеями всегда скоплялось много пыли. Ей стало смешно. «Что за ерунда! Как я могла серьезно относиться к этому? Вся эта «Афина» совершенный вздор. Кроме Дюммлера, там все дурачье. Этот драматург тоже, верно, болван, хотя у него умное лицо... И красивое... Разумеется, вздор. Если б не было вздором, то о нас писали бы, мы делали бы дело, к нам хлынули бы люди, как к коммунистам».

Она села за расстроенное пианино и еще раз проре-

¹ «Западная Республика. Порядок и Прогресс. Жить для других». — *Пер. с фр. автора.*

петировала тему «Волшебной флейты». Играла не очень хорошо, как сама думала, «сонно». «Я и живу сонно — думала она. — Нет, это неподходящее слово. Говорят о людях двойной жизни, это пошлое выражение, как и то, что «жизнь есть сон». Но доля правды есть... У всех есть доля правды, только не в фактическом смысле, а в моральном. И у коммунистов есть, у них даже гораздо больше, чем у многих других. Если «Афина» окажется совершенным вздором, я уйду к коммунистам, как моя прабабка ушла к колдунам. Там тоже был «социальный протест», хотя ни бедная Гретхен, ни ее судьи об этом понятия не имели. Она была совершенно права: хуже и мне не будет, если я уйду к ним. И у меня такая же тоска, как у нее... Но что такое двойная жизнь? У меня не двойная, и не тройная: у меня со времени морфия десятки жизней, и я не всегда знаю, какая более «реальная», какая менее. И «Афина» совершенно не реальна, все это призрак, символика. И сейчас — еще пять минут — морфий даст мне новую жизнь, быть может, в тысячу раз более реальную, неизмеримо более для меня важную и ценную. Что «реально»? Гранд? Бриллиантовое ожерелье? Эта идиотская бутафория? Тот вздор, который здесь будут нести? Я себе создам сто жизней. И неправда, будто так называемый морфийный бред не зависит от нашей воли: я сама себе приказываю, *о чем* бредить, и почти всегда исполняется. Вот только сегодня не знаю, *что* приказать. Лишь бы не Гранда!.. Ну что ж, пора...»

Комплект находился в третьей комнате, в которой был вделан в стену стальной ящик. Ничего секретного у них не было, но Гранд настоял на этой затрате. Тони хранила в ящике список членов общества, протоколы, членские взносы, спринцовку, морфий, спирт, вату. Она затворила обе двери, налила спирта в рюмку, продержала в ней с минуту острый кончик спринцовки, затем вытерла кожу над коленом ватой, пропитанной спиртом. Делала все это так заботливо, точно производила самую полезную медицинскую операцию. Затем впрыснула морфий — боли почти не было. Подумала, что над левым коленом еще много места, но скоро надо будет перейти на правое бедро. В руку никогда впрыскиваний не производила: знаки от уколов держались довольно долго, люди могли бы заметить. Ей было бы неприятно, если б они заметили.

Знали, кроме Гранда, только третий любовник, находившийся теперь в Африке, и еще *ricqueur*¹, которому не была известна ее фамилия. У него она и покупала морфий, впрыскивание же делала давно сама: у *ricqueur*'а они стоили слишком дорого, а главное, ей было перед ним стыдно, и она немного его боялась: сам он был не морфиноман, а кокаинист, подверженный припадкам яростного возбуждения.

Тони села в низкое глубокое кресло, откинула голову на спинку, закрыла глаза, вытянула вперед ногу, подвинула к себе носком стул, соломенное сиденье вздулось, стул бесшумно подплыл, она положила на него обе ноги. *Свет* скоро появился. Все окрасилось в золотой цвет: соломенные ромбики стула, нейлон ее чулка, порванное сукно стола, висевший на стене портрет Огюста Конта. Все тяжелое уплыло, как будто в голове теперь появился фильтр, пропускавший одни *блаженные* мысли. Только в последнюю минуту у нее еще скользнула мысль, что она на днях назвала Гранда сутенером, что он чуть не заплакал и грозил покончить самоубийством. Ей было жаль и его, и себя: если бы у него были деньги, он был бы честным и хорошим человеком. Странно было, что у Огюста Конта золотое лицо с высоко поднятыми золотыми бровями. «Огюст по-русски Август. Какие были еще Августы? У Августа были два товарища по триумvirату, это тогда спросил в лицее учитель. Один Антоний, но кто другой?» Золотая змея грозила золотым жалом, но на золотой груди уже не было места для уколов. Память уплыла совсем, но все, что было сейчас, она видела с необыкновенной ясностью. Думала, что теперь может сказать, сколько в каждом ряду стула ромбиков, сколько их на всем стуле. За *светом* наступила эйфория (этому слову ее тоже научил третий любовник). Люди сами по себе были так же дурны, как раньше, она даже лучше, чем до *света*, видела все их пороки, их глупость, их трусливость, их угодливость. Но теперь они никакого отвращения ей не внушали. «Вечер пройдет с Грандом, он, конечно, негодяй, но не все ли равно? Он милый негодяй, да и не нужно его *любить*, достаточно заниматься с ним любовью. И что такое любить? И не все ли равно любить или не любить, когда есть *это*? С этим шприцем можно быть счастливым в концент-

¹ Торговец наркотиками (*фр.*).

рациональном лагере, в камере смертников, в газовой печи...»

Эйфория перешла в дремоту, затем в сон, в знакомый ей *двойной* сон: ей *стилось*, что она *спит*. Гранд придет в пять часов, будет просить денег, надо будет дать... Третьего триумвира звали Лепид, она тогда в лицее это знала и теперь будет знать, когда проснется. Можно сказать Гранду, что Лепид даст ему денег, он очень богат, тогда незачем будет красть. Змея ее укусила почти без боли, как при уколе. «Гранд насмехается, но он прав: у меня душа Клеопатры, и об этом можно было бы написать чудесные стихи. Где же взять для Гранда денег? Фергюсон сам небогат, он влюблен, но он и не знает, что такое любовь. У Огюста Конта высоко поднятые брови, и это придает ему глупый вид. Если Гранд умен, то Фергюсон глуп. Нет, они оба умны, только совсем по-разному, совсем по-разному...» Она с ужасом чувствовала, что умирает, но в *первом* сне знала, что это сон, очень тяжелый сон, надо скорее проснуться. «Гранд обманщик, у него свой ключ от стального ящика, он способен на все, кроме убийства. Князь Тьмы убивает, но не мошенничает. Уж лучше был бы способен и на убийство...» Яд действовал все быстрее. Какие-то люди быстро говорили, и все в одном тоне, все на одну ноту... «Это сон, никакой смерти нет, это обман, должна быть только эйфория... Теперь пусть будет дьявольский шабаш! — приказала она себе, — все то, что описал по-латыни этот Малефиц-протоколист. Вот что мне остается... И как это представлять себе оргию по цитате — это просто глупо! Неужто во мне сидит и книжная женщина, синий чулок? Конечно нет», — подумала она во сне. Ей представилось то, что с ней проделывал Гранд, только теперь это было еще острее и сладоутнее, морфий и *это* усиливал. «Что выбрать на сегодня?..» Она спала сном во сне до наступления того, что тоже по книгам называла «блаженной истомой» (хотя сама себя ругала за это пошлое слово из порнографических романов). «Да, моя Гретхен была права. Для этого *стоило* погубить их настоящую жизнь. Никакой настоящей жизни и нет, есть только белый мак, и сотни жизней, сотни жизней в морфии — все лучше их настоящей. А самая лучшая — дьявольский шабаш и Князь Тьмы... Какой Гранд Князь Тьмы! Он и по наружности не годится, он просто мелкий жулик...»

Через несколько минут понемногу в двойной сон стала вторгаться ненужная ей гадкая *настоящая* жизнь, где были «Афина», Фергюсон, Делавар, бриллианты, которые надо было продать, то мелкое, пошлое, не от Князя Тьмы, что было в Гранде. «Он скоро придет, и зачем он мне *теперь*? Сейчас, сейчас проснуться!» — приказала она себе — и почти проснулась. Дверь отворяли. «Кончилось! Все мои лучшие жизни коротки. Вот он, мой пошленький Князь Тьмы». Она вздохнула и проснулась совсем. Дверь в самом деле отворяли ключом.

IX.

В передней знакомый голос напевал что-то веселое. Тони вспомнила, что обе двери этой комнаты заперты на ключ. Если он заметит, то догадается. Хотя Гранд *знал*, ей бывало неприятно, когда он замечал действие морфия. Она быстро на цыпочках скользнула к двери, отворила ее, поставила стул на прежнее место перед столом, села, придвинула к себе счета. «...Ce soir tu te maries.— Quelle émotion!..»¹ — пел негромко в передней глубокий грудной голос. Гранд говорил, что его баритон неотразимо действует на женщин, и ей казалось, что он тут не лжет. «Пьян, — подумала она: он обычно что-то напевал, когда бывал навеселе. — А все-таки заметит!» Зеркала в комнате не было, она вынула пудреницу, поспешно что-то поправила, напудрила нос и щеки. Он долго устраивал в передней пальто, шляпу, перчатки. Хорошо одевался, заботился о своих вещах, умел носить костюм и, садясь, никогда не забывал одернуть брюки над коленями.

— Вице-питонисса, можно к вам? — весело спросил он из передней и постучал в дверь: всегда деликатно стучал, и ей иногда казалась в этом насмешка. Гранд вошел в комнату. Это был человек лет тридцати, скорее красивый, чем некрасивый. По-настоящему у него были прекрасны только глаза: светло-голубые, блестящие, веселые. Он говорил, что они выражают вместе ум и доброту. «Самое забавное, что и то и другое верно!» Гранд уверял также, что у него очень

¹ «...Сегодня вечером у тебя свадьба. — Сколько волнений!»
(фр.)

красив и рот. «Нет, глаза и только глаза — зеркало вашей прекрасной души», — иронически отвечала она. «Не говори, не говори, у меня и многое другое очень, очень хорошо. Это признавали самые аристократические дамы Испании. Кстати, в моем обществе говорят, что я очень похож на Мориса Шевалье: «Vous êtes très Maurice Chevalier»¹. — «Ни малейшего сходства. А кто это ваше общество? Жулики, выпущенные из тюрьмы по амнистии?» — «Я вчера обедал у одного из принцев Бурбонского дома. Люблю породу в людях...» — «Пожалуйста, перестаньте врать», — говорила она и все-таки слушала: так хорошо и с таким увлечением он врал. Описывал наружность принцессы, дом принца, фамильные портреты работы Веласкеса. «Все бессовестное вранье: и принц, и принцесса, и дом, и Веласкес!» Таков был обычный тон их разговоров. «Что я в нем нашла? — думала она и теперь. — И красоты в нем никакой нет. Ноги слишком коротки для туловища. Лицо длинное, лошадиное...» Гранд был добр, но она не любила добрых людей. «Большая мужская сила, это верно». Говорил он быстро, все делал несколько быстрее, чем другие люди, на ходу энергично размахивал левой рукой.

Он развернул белый сверток. Тони знала, что он принесет цветы: приносил всякий раз новые, какие-то редкие, причем неизменно объяснял их значение. Говорил, что знает четыре языка и из них лучше всего язык цветов. Она, впрочем, думала, что он тут же сочиняет их значение и даже их название: называл, случалось, такие цветы, какие в Париже было бы очень трудно достать или какие были по времени года невозможны. Гранд поцеловал ей руку. Тони этого не любила и всегда руку отдергивала — он неизменно говорил: «Вы совершенно правы: целовать — так в губы». От него пахло вином и духами. Он развернул бумажку и подал ей два цветка.

— Фиолетовый крокус, — сказал он. — Смысл: «Вы сожалеете, что меня любите». Асфоделия. Смысл: «Мое сердце разбито». Ах, как я грустен! Если б Иов начитался Сартра, а затем прослушал «Похоронный марш» Шопена, то он был бы менее грустен, чем я.

— Какая этому причина?

¹ «Вы очень похожи на Мориса Шевалье» (фр.).

— Безденежье! Твое равнодушие и мое безденежье, — сказал Гранд и повалился в кресло. — ...Tu vas perdre, ma chérie.— Toutes les illusions...¹

— И сегодня пьяны! — сказала она, надеясь, что он не заметит. Но он заметил: почти всегда все замечал.

— Вице-питонисса, это очень старый и очень бесовестный прием: обвинять ни в чем не повинного человека, когда вы сами виноваты в сто раз больше. Хлоргидрат! — комически-торжественно произнес Гранд. — Морфий — это какой-то хлоргидрат или что-то в этом роде. Я очень ученый человек. У меня сто двадцать пять работ по химии. Я даже изобрел азотную кислоту. Вот только золота я не умею делать, и это чрезвычайно досадно... Я нынче очень недурно позавтракал.

— Она брюнетка?

— Нет, блондинка: «она» — Делавар. Завтрак был деловой. Так все европейские министры теперь завтракают с американскими: «Давайте деньги!» Я начал с места в карьер, с резкого удара по струнам, как начинается увертюра «Кориолана». «Давайте деньги». Не дал — не то что американские министры. Я перешел на дьявольское скерцо Девятой симфонии: с выстрелами, с угрозами, с мольбой добра к злу. Не дал. Торжество зла над добром. Зато завтрак был отличный. К закуске была ваша русская водка, я выпил три рюмки, но слава водки очень преувеличена, как слава Брамса и Сталина. Пить надо вино, и только очень хорошее. К рыбе мы заказали шабли, к жаркому лафит. Теперь почти невозможно достать хороший лафит, но для Делавара и для меня ничего невозможного нет. Ах, какой напиток! Лафит — единственное в мире красное вино без малейшей горечи... Самое ужасное, что я заплатил половину! Для престижа я это предложил, а он из садизма принял! И теперь, повторяю, я беден, как Иов до возвращения ему имущества с процентами и с вознаграждением за ущерб! Все это безумно тяжело, а что еще будет, а? «...Et autre chose aussi — Que j'reux pas dire ici»², — с ожесточенным выражением пропел он. — Скажите, как дела богини? Много ли поступило просьб о вступлении?

— Сорок.

¹ ...Ты пропадешь, моя дорогая. — Все иллюзии... (фр.).

² «...Еще другое — Что сказать я не могу» (фр.).

— Скоро будет сорок тысяч... У кого это было сорок тысяч братьев?

— Это слова Гамлета.

— Почему именно сорок тысяч? У нас тоже скоро будет сорок тысяч братьев. И сестер. Сколько же денег в кассе?

— Очень мало... Магазин во второй раз требует денег за пианино. Вы мне соврали, что заплатили.

— «Вы мне соврали, что заплатили!» — передразнил он. — Мы сегодня на «вы»? Хорошо, говори мне «вы», а я буду тебе говорить «ты». Разве я сказал, что заплатил? Если сказал, то действительно соврал.

— Это с вами случается. Дюммлер говорит, что у вас есть неизвестный Фрейду комплекс, комплекс барона Мюнхгаузена.

— Подлый старик, но остроумный, — сказал Гранд, смеясь и показывая квадратные зубы. — Может быть, у меня и есть такой комплекс. Я тебе уже говорил, что нет людей, которые никогда не врут. Их не больше, чем, например, людей, не употребляющих за едой соли. Есть и такие. Теперь, кажется, даже от чего-то лечат этим очередным шарлатанством. Да и то они вместо соли жрут, кажется, хлористый калий или какую-то другую дрянь. Может быть, и люди, которые никогда не врут, пользуются каким-то суррогатом вранья.

— Мне ваша философия не интересна, — сказала она. Часто говорила это людям, несколько меняя форму: «Мне ваша биография не интересна...», «Мне ваши истории не интересны».

— Вот ты и соврала! Кстати, мне доподлинно известно, что ты у меня стянула эту философию. Мне доподлинно известно, что ты кому-то из твоих мужчин уже говорила то самое, что я только что сказал! Это в порядке вещей, так как я твой властелин и много умнее тебя, хотя и ты не глупа. Что же касается пианино, то я действительно собирался за него заплатить. Жизнь и Делавар насмеялись над моими мечтами. Я надеялся, что Делавар даст.

— Нам необходимо привести дела «Афины» в порядок.

— Никакой необходимости нет. Какая ты была бы очаровательная женщина, если б не твоя денежная честность! Есть просто честные дуры, что ж делать, это несчастье. Ты же вообще не так глупа, но эта несчаст-

ная честность именно там, где честность не нужна, вредна и бессмысленна! Ты не могла бы быть честной в чем-либо другом? В чем угодно, только не в деньгах? Например, ты могла бы быть «честна с самой собой».

— Я говорю серьезно. Мне придется сказать Делавару.

— Ты на меня пожалуешься начальству? В школах за это бьют. Кроме того, ты ошибаешься. Начальство в «Афине» председатель, а мы с Делаваром равны: он Гарант Дружбы, а я Хранитель Печати. Все его превосходит в том, что он дает «Афине» деньги, а я нет. Разве честно этим пользоваться? Видишь, ты путаешься в самых элементарных понятиях... Надо, кстати, наконец найти чин и для тебя. «Секретарша» — это не чин. У Конта, кажется, нет подходящего чина, но Дюммлер говорил, будто у каких-то люциферянцев были питонисса и вице-питонисса. Я и решил было внести предложение назвать тебя вице-питониссой, но Дюммлер никогда не позволит. Он вдобавок меня терпеть не может. Почему бы это?

— Потому, что вы совершенно аморальный субъект.

Гранд вздохнул.

— Это, может быть, и правда. Но разве я в этом виноват? Ведь я и со своей аморальностью симпатичен? Правда? Скажи правду, разве я не симпатичен?

— Так себе.

— Вовсе не «так себе». Вот ты мне не прощаешь моих денежных дел, того, что я беру у тебя деньги...

— О *моих* деньгах я никогда не говорила. Вы на них имеете право.

— Не нахожу! Не нахожу, но беру, потому что они мне нужны. Ангел мой, я тебе все отдам! Ведь когда у меня есть деньги, я их раздаю направо и налево, я такой человек. Но у меня они бывают так редко! Деньги — главный интерес в жизни громадного большинства людей, хотя они зачем-то это отрицают... Еврипид говорил, что за большие деньги можно подкупить и богов. Да вот постой, — радостно сказал он и вынул из кармана тетрадку. — Когда мне где-нибудь случается прочесть или услышать хорошую мысль, я всегда записываю. И об Еврипиде записал... Где это?.. Я тебе прочту старые стихи о деньгах: «J'aime l'esprit, j'aime les qualités, — Les grands talents, les vertus, la science, — et les plaisirs, enfants de l'abondance, — j'aime l'honneur, j'aime les dignités, — J'aime un amant un siècle

et par delà, mais dites moi, combien faut-il que j'aime — Le maudit or qui donne tout cela»¹. Ни о чем другом нет такого числа изречений, как о деньгах! Одно есть, правда, неприятное, итальянское: «Кто хочет нажиться в один год, тот попадет на виселицу через полгода».

— Имейте это изречение в виду.

— Да разве оно верно? Общих правил тут нет. И притом, что ж, умереть на виселице не хуже, чем, например, от рака.

— Уж если вы так любите деньги, отчего бы не наживать их честно?

— Это невозможно! Может быть, когда-то и было возможно, да и то я сомневаюсь.

— Делавар богат и никогда о деньгах не говорит. А вы только о них и говорите, но бедны.

— Конечно, Делавар идеалист. Он мне еще сегодня это сказал и добавил, что ненавидит циников. Как хорошо: и идеалы, и миллионы! Ты знаешь, мне иногда кажется, что он просто глуп.

— Так вы не думаете, что есть честные богачи?

— Ни одного. А теперь вдобавок это и невозможно по той простой причине, что во всех странах введен огромный прогрессивный подоходный налог. Человек, наживший миллион долларов, должен был бы отдать казне девятьсот тысяч. Мудрые правительства и превратили чуть не всех своих граждан в клятвопреступников! Неужели ты думаешь, что высокоуважаемый Гарант Дружбы показывает правительству свои доходы? Для него десять адвокатов придумывают способы, как «честно» обойти закон. Дитя мое, поверь, я зарабатываю хлеб честнее очень многих — и такой скромный хлеб! Если б я был директором банка, я сделал бы такой опыт: разослал бы десяти почтенным клиентам письмо с сообщением, что при последней выплате по текущим счетам кассир, по-видимому, заплатил вам по ошибке на тысячу франков меньше, благоволите проверить и получить. Я уверен, что девять почтенных клиентов из десяти ответили бы: «Да, проверил, очень благодарю». А десятый ответил бы, что проверить не может, не заметил, поступайте, как сочтете нужным. И я всем девяти внес бы по тысяче

¹ «Я люблю ум, достоинство, таланты, добродетели, науку, люблю наслаждения, почести, люблю друга, но, скажите, как же я должен любить проклятые деньги, которые дают все это». — *Пер. с фр. автора.*

франков в благодарность за доставленное мне удовольствие. Десятому же не дал бы ни гроша за лицемерие: он и хочет смошенничать, да не решается: «пусть будет воля Божья или воля банка». А взятки! Разве есть место, где не берут взятку? Я вот как-то себя спрашивал, берут ли в Объединенных Нациях, а? По-моему, должны брать, как ты думаешь? Я понимаю, главных делегатов не купишь: для них риск был бы слишком велик. А второстепенных? Ну, вот если идет спор между арабами и евреями, какое там дело второстепенному делегату до арабов и евреев, тем более что тут, в виде исключения, Соединенные Штаты и Россия были заодно.

— Я ненавижу капиталистический строй, но вы и на него клеветеете.

— Может быть, может быть, — грустно сказал Гранд. — А все-таки, поверь мне, большинство людей ничем не лучше меня. Надо во всем быть последовательным и иметь свой стиль. Я где-то читал, что Мазарини на смертном одре играл в карты и мошенничал. Какая прекрасная смерть! Ты думаешь, что Делавар лучше меня, а, по-моему, я гораздо лучше: я, по крайней мере, не обманываю себя. Он сегодня что-то нес о музыке, и за это его немедленно надо было бы сварить в кипящей смоле... Со свойственным ему бесстыдством он сказал мне, что любит искусство «больше жизни!» Я тотчас же представил картину: Делавар в кабинете, украшенном картинами Рафаэля, слушает по радио Героическую симфонию, в доме начинается пожар, он не бежит и сгорает живьем, так как любит искусство больше, чем жизнь. Впрочем, нет, я напрасно назвал Рафаэля и Бетховена. Ему нужно только самое последнее слово. Хочешь, я тебе в двух словах объясню разницу между старым искусством и новым? Всем художникам, талантливым и бездарным, всегда были нужны слава и деньги. Но прежде для того, чтобы иметь возможно больше славы и денег, надо было не делать скандала, а теперь для того же самого надо делать скандал... Почему я обо всем этом говорю?

— Потому что вы пьяны.

— Нет, скажи, по-твоему, Делавар лучше меня?

— Все-таки лучше. Вы, быть может, добрее, — сказала Тони, подумав. Она знала, что Гранд на улице никогда не проходил мимо нищего, не подав ему двадцати франков. При этом всегда ей объяснял: «Может

быть, и я так кончу, а? Я уже облюбовал себе местечко в длинном коридоре метро Сен-Лазар, там можно просить, и это очень людная станция».

— Доброта гораздо важнее и лучше честности, запомни это. И я терпеть не могу золотую середину, все промежуточное, все, что ни то ни се: грейпфрут, голос контральто, белые стихи, французскую радикал-социалистическую партию. Делавар не жулик и не честный человек. Скажем, он полупрохвост, а?.. Подбор людей у нас в «Афине» приблизительно такой же, как в жизни вообще. Дюммлер превосходный человек, твой профессор человек очень хороший, хотя и не умница, большинство братьев и сестер люди, вероятно, средние, Делавар — полупрохвост, а я прохвост, так? Но если я прохвост, то очень веселый. Я всегда смотрю на себя немного со стороны, и мне весело даже тогда, когда я оказываюсь в дураках. А относительно денег тот старый французский поэт прав. Во всяком случае, почти все молодое поколение думает так, как он и как я. У них тоже единственная цель в жизни: деньги. Большевики — умные. В Европе, и вообще в мире, принято ругать последними словами правительство, министров, депутатов. А на самом деле если кто-нибудь еще немного думает о государственных или общественных интересах, то только они. Правда, им за это платят жалованье, они альтруизмом живут. Все остальные, за редчайшими исключениями, уделяют девяносто девять процентов своего времени и мыслей собственным интересам, преимущественно денежным. Это так во всем мире.

— В России это не так.

— И в России, наверное, так. Большевики умные люди, но сорвутся они на этом: у них власть дает слишком мало денег. Между тем их молодежи одной власти недостаточно. Кто это сказал: «Enrichissez-vous»¹?

— Кажется, Луи Филипп или кто-то из его министров.

— Это надо соединить с «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», иначе у Сталина ничего не будет. «Соединяйтесь, товарищи, и обогащайтесь». Он этого не понимает потому, что он человек старого поколения. И еще большая ошибка: он преувеличивает сходство человека с орангутаном. Сходство, конечно, есть, но

¹ «Обогащайтесь». — Пер. с фр. автора.

он его преувеличивает, забывая вдобавок, что для социалистического строя орангутаны все-таки не годятся... Ты когда-то имела связи с коммунистами?

— Да, во время Résistance.

— И сохранила хорошие отношения?

— Сохранила кое-какие. А вы?

— Никогда не имел, избави Бог. Они не любят, во-первых, порядочных людей, во-вторых, людей, как я...

— То есть жуликов?

— Я не жулик, — обиженно сказал он. — Я беспринципный идеалист. Поэтому я так нравлюсь женщинам: как идеалист и как беспринципный. Я действую на женщин, как Рудольф Валентино или как Джон Барримор.

— Скорее, как Распутин.

— Что ж, и это не так плохо. У меня действительно огромная мужская сила, ты это знаешь! Женщины чувствуют и то, как я их люблю. Правда, существуют и другие хорошие вещи, например, шампанское, но без женщин жизнь была бы нестерпима. Мне и деньги нужны главным образом для женщин... Впрочем, нет, деньги нужны и без них. Возьми, например, себя. Ты сумасшедшая, но я тебя обожаю! Даже с твоей идиотской «обреченностью». Почему ты думаешь, что ты обречена? Кто тебе это сказал?

— Я не думаю, а знаю. Меня не любит Бог.

— Он тебе это сообщил? Бог объяснялся в любви только израильскому народу, да и то давно перестал: верно, ему израильский народ надоел.

— Перестаньте нести богохульный вздор. Я не только верю в Бога, но не понимаю, как можно не верить! Зачем же тогда жить? Я во все верю. Верю в предчувствия, в предзнаменования. Больше всего верю в судьбу.

— Да ведь твои друзья-коммунисты говорят, что религия опиум для народа... Кстати, почему ты полюбила коммунистов? Что у тебя с ними общего, особенно с тех пор, как ты стала впрыскивать себе морфий? Кажется, Сталин этого не приказывает? Его единственное достоинство в том, что он не морфинист. Вот будет странно, если окажется, что ты даже не сумасшедшая, а просто глупа! Впрочем, нет, не обижайся: ты сумасшедшая. И в некоторых отношениях это для тебя преимущество. Жулики ведь мира не завоевывают, а сумасшедшие — да... Дай мне ручку, — сказал

он и взял ее за руку. — Не волнуйся, это не для гадания.

— У меня очень короткая линия жизни. Все гадалки говорили мне, что...

— Что ты умрешь трагической смертью, наперед знаю. Плюнь им в лицо. Ах, какие у тебя пальцы! У тебя руки, созданные для передергивания карт! Я когда-то недурно передергивал, но у меня короткие пальцы. Еще раз не волнуйся, я тебя не буду учить карточной игре. Все же для некоторых тайных обществ у тебя замечательные руки. Звонок — это пустячок, это только начало. Тому ли я тебя еще научу!

— Вы давно мне не были так противны, как сегодня. Имейте в виду, я в «Афину» пошла честно. Сомнения у меня были, но я ими поделилась с Дюммлером. Моя единственная вина перед ним в том, что я ему не сказала, кто вы такой.

— Ангел мой, пусть совесть тебя не мучит: он догадывается.

— Я тоже надеюсь, хотя он всего знать не может. Всего и я не знаю. Не знаю прежде всего, зачем вы пошли в «Афину»? Для связей? Для заработков на заказах?

— И по убеждению. Так я в самом деле тебе не нравлюсь? — с искренним огорчением спросил он. — Разве все мои предшественники по блаженству с тобой были лучше?

— Нет, не все.

Гранд засмеялся.

— Вот видишь. Ты коллекционерка. Я страшно рад, что Делавара в твоей коллекции нет. Впрочем, не буду спорить, он честнее меня, но только потому, что у него размах гораздо больший и что ему везло. Да еще он гораздо больше, чем я, боится нарушать уголовный кодекс. Я тоже боюсь, но не так, как он. Устроиться с полицией всегда можно. Я уже раза три устраивался.

— Где? В вашей родной Кастилии?

— Ты, кажется, не веришь, что я испанский гранд! Я в родстве с герцогами Альба и Медина Сидониа.

— Как вам не совестно всегда врать! Вы в Испании никогда не были и ни одного слова по-испански не знаете. Впрочем, я иногда люблю слушать, как вы врете.

— Хочешь, я тебе расскажу об Испании? Ах, какая волшебная страна! — сказал он и принялся «рассказывать». Врал он действительно с необыкновенным ис-

кусством. «Право, он поэт! — думала она, отлично зная, что в его рассказе нет ни одного слова правды. — Он как тот банкир, о котором говорили, что он не может вернуться к себе домой на извозчике: органически не способен сказать правду и всегда сообщает извозчику неверный адрес...»

— Да, да, волшебные сады Гренады, кастаньеты, дуэньи, — сказала она. — Так вы поднимались к Инесе по веревочной лестнице? Кстати, описали вы эту Инесу хорошо, как если бы она действительно существовала.

— Она жила в Гренаде в двух шагах от Альгамбры. Из ее окон был вид на Сьерра-Неваду. Ах, какие у нее были глаза! Не хуже твоих! Я люблю блондинок с черными глазами и брюнеток со светлыми. Помню, однажды...

— Довольно, хорошего понемножку. С вами нельзя разговаривать, не дав вам предварительно пентонала. Это средство против лжи, оно теперь применяется на судебных допросах. Вам непременно его дадут, когда вы попадетесь.

Он хохотал.

— Ну, что ж, ты права, я такой же испанский гранд, как наш Гарант Дружбы — Делавар... Если хочешь знать правду, то я албанец патагонского происхождения... Ты говоришь, что я вру. Да, но как я вру! Вы все думаете, это легко — врать? Это искусство, которое, как всякое искусство, дается от Бога! Мне надо было бы стать авантюрным романистом или министром иностранных дел! Моим собеседникам от моего вранья только художественное наслаждение, а вреда от него никому никакого. Ты ведь знаешь, что я очень добрый человек. Даже в делах мне всегда жаль людей, которых мне случается вводить в невыгодные соглашения... Самое главное в жизни доброта. — Он опять вынул записную книжку. — «Il n'y a que les grands coeurs qui sachent combien il y a de gloire à être bon»¹. Кто это сказал? Фенелон. Кто он был, честно скажу, не знаю. Но если его цитируют, то, значит, он этого стоит. Хорошо, допустим, что я не так добродетелен, как скажем, Делавар. А через что я прошел, ты знаешь? Через какие страдания я прошел, ты знаешь? Я неделями питался одним хлебом! А был у меня и такой день, когда я ничего не ел. Ко мне в тот день в

¹ «Только великие сердцем люди знают, какая слава в том, чтобы быть добрым». — *Пер. с фр. автора.*

мою мансарду пришел один барин с деньгами. Я нарочно все выставил перед ним: вот как живу, любуйся! Думал, что подействует, и мне даже было приятно: да, в нищете, да, голоден. Представь, на него не подействовало: выразил сочувствие и ушел. Да еще то ли было! Я и в тюрьмах сидел! — Он спохватился. — Не во Франции! И несправедливо! Да и то не сидел. Ты сама говоришь, я все вру... Ну хорошо, но надо же есть и пить и такому человеку, как я?

— Нет, пить не надо.

— Молчи, ты, хлоргидрат!.. И не смотри на мое левое ухо, что это за манера! Смотри мне в лицо. — Он поцеловал ее, обдав ее запахом вина. — А кто этот русский американец, который стал бывать у Дюммлера?

— Он подал заявление о желании вступить в «Афину». Председатель одобрил. Я приму его перед ближайшим заседанием.

— Не забудь взять с него членский взнос. Если он американец, то ему стыдно платить тысячу франков. Доллар сегодня котировался на черной бирже по 510. Неужели он заплатит два доллара вступительного взноса! Не можешь ли ты взять с него сорок тысяч? Пусть это будет давлением американского капитала на Европу, я против такого давления ничего не имею... Вице-питонисса, я должен сделать вам строгий выговор: я три раза говорил вам, что вы не должны носить это ваше ожерелье.

— Вы знаете, что оно не мое.

— Напротив, оно именно твое. Да, да, я знаю, тебе его отдала на хранение еврейская дама перед тем, как ее депортировали в Германию. Но она, конечно, погибла. Ты, кажется, говорила, что ее депортировали в 1943 году?

— В начале 1943 года.

— Значит, прошли пять лет, которых требует закон.

— А если она жива?

— Если бы она была жива, то она объявилась бы. Из десяти ее приятельниц девять, наверное, сделали бы изумленный вид: впервые слышат об ожерелье. Впрочем, нет, они признали бы, что действительно она им дала ожерелье, но его у них отобрало гестапо. На гестапо теперь так легко все валить. Старик Дюммлер, который все знает, говорит, что так было и после отмены Орлеанского эдикта... Нет, не Орлеанского.

Какой это эдикт отменил Людовик XIV? Нантский эдикт, вспомнил. После отмены Нантского эдикта гугеноты, покидая Францию, оставляли драгоценности приятелям-католикам, но назад свое получили очень немногие: те клялись, что у них все отобрали... Какой ученый человек Дюммлер! Он меня терпеть не может, а я искренне им восхищаюсь... Повторяю тебе в сотый раз, твоя знакомая погибла. Из немецких концентрационных лагерей никто не возвращался.

— Кое-кто вернулся. А если она и погибла, то у нее могут быть наследники.

— «Могут быть»? Ты их знаешь? Нет. Они тебя знают? Тоже нет. Почему они будут думать, что их родственница оставила бриллианты именно тебе? Бриллианты отобрало гестапо.

— Гадко слушать то, что вы говорите! Если бы наследников не оказалось, я отдам ожерелье властям.

— Это было бы чистейшее безумие, да еще при твоих политических взглядах! Буржуазные власти назначат хранителя наследства, который получит приличное жалованье. Он будет разыскивать наследников пять лет в пяти частях света, и если б наследник оказался, то все будет съедено хранителем до этого. Ты благодетельствовала бы какого-нибудь нотариуса.

— Или же я пожертвую это ожерелье.

— Вот. Я именно к этому и веду. Но пожертвовать ты его должна, разумеется, в пользу «Афины». Какое другое дело больше заслуживает поддержки?.. А кроме того, ты все равно рано или поздно это ожерелье продашь и положишь деньги в свой карман...

— Вы негодай!

Она так изменилась в лице, что Гранд испугался.

— Я пошутил. Неужели ты не понимаешь шуток?

— Это не шутка!

— Ради Бога, не сердись. Я и забыл, что это у тебя навязчивая идея...

— Какая навязчивая идея?

— Та, что ты продашь ожерелье. Ты мне раз это сказала. Или дала понять.

— Я никогда ничего такого вам не говорила!

— Может быть, я ошибаюсь. Не будем больше об этом говорить, но об одном я тебя должен просить очень серьезно: ты не должна на наших заседаниях носить это ожерелье. Одни братья и особенно сестры будут думать, что камни фальшивые, и это произведет

неблагоприятное впечатление. Если же найдется сестра, знающая толк в бриллиантах, то у нее может возникнуть не совсем братское чувство: «Что это за миллионерша в самом идеалистическом обществе мира, и зачем я буду платить членский взнос обществу миллионеров!» Для нас, следовательно, твое ожерелье — прямой убыток. Я говорю серьезно. Мы сделали в «Афине» стальной сейф для наших бумаг. Ключ у тебя. Как Хранитель Печати, я предлагаю вам, вице-питонисса, держать ожерелье в сейфе, по крайней мере во время заседаний. А еще лучше — храни его там постоянно. Тебя могут ограбить на улице: ты часто возвращаешься домой одна.

— Это мое дело.

— Дюммлер скажет тебе то же самое. Он уже выражал недоумение по поводу твоего ожерелья. А если с тебя его грабители сорвут на улице, то тебя замучит совесть. Помни, что я сказал.

Он встал и подошел к стоявшему в углу комнаты горшку с растением.

— Ты опять не полила водой? Как тебе не стыдно! А какой подлец надорвал этот листок?

— Вероятно, я. Другие подлецы, кроме вас, сюда не заходят.

— Людей, которые портят цветы, надо вешать! Я сейчас принесу воды, — сказал он, вышел и вернулся с большой кастрюлей. — Вот так... Любо смотреть, как земля чернеет от воды. Я не мог бы жить без цветов!

Он вдруг поднял руки, и лицо его приняло гробовое выражение.

— Я слышу голос Хозяина! — сказал он замогильным голосом. Послышался тихий, непрерывный, очень приятный по звуку звонок. Гранд разжал левую руку. Там лежала плоская металлическая коробка. — Чистое серебро! Стоило мне бешеных денег. Зато и звук серебристый, как раз такой, как надо. Тот был слишком груб, просто звонок от парадной двери. Это не был звонок Кут-Хуми... В Америке я все поставлю по-другому. Там у меня, кроме звонка, будут с потолка падать цветы прямо с берегов Ганга. Индийская резеда: «Любите и надейтесь». Будут также падать письма на астральной бумаге. Правда, на таких письмах Блаватская, кажется, и сорвалась.

— Вот что, вы сегодня, кажется, совершенно пьяны, уж что-то очень разоткровенничались, — сказала Тони. Лицо у нее дернулось от злобы. — Быть может,

вы серьезно рассчитываете, что я буду молчать, если вы займетесь здесь уголовными делами? Вы ошибаетесь. И вообще вы преувеличиваете мою любовь к вам. Она была и прошла. А если вы надеетесь сделать из меня сообщницу или помощницу вроде тех, что были у какого-нибудь Калиостро, то вы, значит, просто дурак!

Он огорчился и даже испугался. «Кажется, я зашел слишком далеко, так сразу все не делается», — подумал он, протрезвившись.

— Милая, — сказал он, пытаясь взять ее за руку. Она тотчас руку отдернула. — Милая, не надо принимать дословно все, что я говорю. Блаватская была благороднейшая и умнейшая женщина. Но она знала, что люди глупы, и на этот счет мы оба с ней вполне согласны. Люди очень мило глупы, я их очень люблю и хочу служить им. Их надо обманывать для их собственного блага, это азбука. Ведь основная идея у большевиков именно эта. У них свой звонок Кут-Хуми, только другой, густо окровавленный. А мы без крови! Сколько хороших, хотя и глупых людей станет счастливее от звонка Кут-Хуми и от резеды. Если, как я надеюсь, ты будешь работать со мной, мы положим в основу дела всеобщее братство. Без всеобщего братства теперь нельзя сунуться даже в ГПУ. Я умолял Дюммлера объявить всеобщее братство основой «Афины». Но проклятый старик все морщится. У нас, говорит, не религиозная община, не масонский орден и не теософское общество. Братства, говорит, на земле никогда не будет, да и не нужно оно совсем: было бы жульничество, и это в таких случаях почти неизменное правило... Может быть, Дюммлер на меня и намекал. Он меня считает жуликом?

— Думаю, что да, хотя он мне этого не говорил.

— Подлый старикашка, — сказал Гранд, впрочем, без всякой злости. — Уверен, видите ли, что для «Афины» достаточно «сотрудничества в деле искания истины»! С того дня, как он мне это сказал, я и понял, что ничего из «Афины» не выйдет. Нет, мы здесь присмотримся к людям, а потом откроем с тобой не такое общество.

— Вы откроете его без меня.

— Не могу. Без твоих глаз ничего нельзя сделать... Этот американец драматург?

— Да, кажется.

— Что за гадкое и самоуверенное ремесло! Они,

видите ли, «создают людей»! Но Господь Бог, я думаю терпеть не может, чтобы ему делали конкуренцию. Впрочем, если он имеет успех, то он нам нужен. Делавар все время говорит: вербуйте знаменитостей. А где я их ему возьму?

— Как бы не ушел и сам Делавар.

— Почему? — с беспокойством спросил Гранд. — Ты замечаешь, что он охладел к обществу? Он тебе что-нибудь сказал?

— Нет, он мне ничего не говорил. Обойдемся и без вас, и без него.

— Хороши бы вы были без нас! Так меня вы гоните?

— Мы вас пока, к сожалению, не гоним. Председатель мне не раз говорил, что Ордену нужны всякие люди.

— Даже такая дрянь, как я? — спросил Гранд еще веселее. — А между тем я совсем не дрянь. Повторяю, я добр и симпатичен, эти два достоинства выкупают все недостатки. Кроме того, мне действительно нравятся идеи «Афины», ей-богу! Может быть, в моей симпатичной черной душе есть пробелы, а? Может быть, мне нужно что-либо святое в жизни, а? Ты ведь знаешь, что я в душе люблю Дюммлера, хоть он и подлый старикашка. Кто знает, может быть, именно его идеям принадлежит будущее? Он прошлый раз говорил, что задача «Афины» освободить и увести душу людей. Вдруг он освободит и уведет мою душу? Поверь мне, нет такого прохвоста, который бы никогда, ни разу в жизни об этом не мечтал бы. Ты этого не думаешь?

— Я думаю, что вы должны уйти из «Афины», пока вас не прогнали.

— Меня не могут прогнать. Делавару я нужен. Дюммлер меня терпит. Ах, какой он замечательный человек! У тебя слабость к прохвостам, а у меня к очень умным, ученым и благородным людям... Постарайтесь, вице-питонисса, забыть все лишнее, что я вам сказал. И не забудь получить хороший вступительный взнос со всех, кто еще не заплатил. Помни, что за пианино надо заплатить, а Делавар до 1-го числа ни сантима не даст. Между тем если у нас заберут пианино, то все пропало! Я обожаю ритуал! Если б у нас не было ритуала, клянусь, я в «Афину» не пошел бы! Даже если б она в самом деле стала богатым учрежде-

нием, хотя у меня с юных лет принцип всегда примазываться к тем, у кого есть деньги... Кстати, ангел мой, в каком положении твои собственные дела? Как уроки фотографии?

— Вы могли бы хоть помнить, что я изучаю не фотографию, а радиотехнику.

— Это все равно! Никакого заработка такие вещи тебе не дадут. А как дела с профессором Фергюсоном? Он чудак, профессор Фергюсон. Из него толку не будет. В «Афине» он не засидится. Я в Америке буду работать не среди ученых, хотя между ними попадаются круглые идиоты. Фергюсон скоро нас всех пошлет к черту, в том числе и тебя... Какого числа он тебе платит жалованье?

— Скажите прямо: сколько вам нужно?

— Милая, зачем так говорить? Я беру у тебя деньги, но ведь я тебя люблю, и ты меня любишь. Ты отлично знаешь, что, если бы я был богат, я все свое богатство сложил бы у твоих ног.

— Поэтический тон вам не удается, — сказала она, хотя сердце у нее залилось радостью от его слов.

— Вот, вот, опять... Как тебе не стыдно? Разве ты не любишь меня? — Он поцеловал ее в губы, в оба глаза и посадил к себе на колени. Тони не сопротивлялась. — Как тебе не стыдно? Ты меня считаешь падшим человеком, хотя откуда же это я упал? Я такой от природы, чем же я виноват? Я от природы не знаю, что хорошо и что дурно. Правда, слышал, читал, но это так неубедительно. Говорят, вот это хорошо, вон то дурно, а я всегда себя спрашиваю: а, собственно, почему? может быть, наоборот?.. Признайся, что я очень красив, а? И как я от природы элегантен! У меня было любовниц без счету, и я всех их горячо любил.

— Хвастун, ты изображаешь того польского короля, у которого было триста незаконных детей. И все ты врешь!

— Какой это польский король? — деловито спросил. — Я запишу.

— Кажется, Август.

— У меня нет трехсот детей и даже нет детей вообще, но для этого есть особые причины. Я не польский король. Однако у него, наверное, никогда не было такой любовницы, как ты. Если б дать твои глаза да умной женщине, а не психопатке, каких бы дел мы с тобой ни переделали. Ты тоже говоришь: это нельзя, того нельзя! А почему, никто из вас объяснить не

может. Моисей не велел? Да мы еще не знаем, что делал бы Моисей, если б жил при Гитлере. Но для упрощения спора допустим, что я падший человек. Так разве не грешно угнетать падшего человека? Да, я беру у тебя взаймы деньги, но я тебя люблю, и я тебе все отдам. Какой-нибудь Рихард Вагнер брал деньги у женщин, которых не любил, и ничего им не отдавал. А между тем мы все вместе, с вашим честнейшим Дюмлером и с вашим благороднейшим профессором, недостойны развязать ремень на ноге у Вагнера... Помнишь эту оргию струнных инструментов при приближении корабля Изольды? Нет, ты не помнишь, да если б и помнила, то это ни к чему, потому что ты не более музыкальна, чем ученые медведи, которые на ярмарках играют на гармонии. По-моему, человек, который написал второй акт «Тристана», может быть убийцей, извергом, палачом в гитлеровском концентрационном лагере, может себе изготавливать абажуры из человеческой кожи, как та милая дама, как ее звали? Эльза Кох — и, несмотря на все это, на такого человека надо молиться, надо осыпать его золотом и ставить ему при жизни памятники!

— Но ведь ты пока не написал «Тристана».

— Но ведь я пока и не делал себе абажуров из человеческой кожи, — говорил он, осыпая ее поцелуями. — Вот отсюда можно было бы сделать чудный абажурчик... Какие преступления я совершил? Деньги? Как тебе не стыдно приписывать деньгам такое значение?

— Твое бесстыдство просто не имеет границ...

— Вот, вот, наконец-то! То-то!.. Вице-питонисса, вы целуете чудесно. Ваше настоящее призвание — любовь. Дорогая, в вас в самом деле пропадает Клеопатра! Я уверен, у Клеопатры тоже был этот легкий нервный смешок. Он и технически очень хорош. Милая, сделай еще этот *твой* жест: головка назад и налево, так, чтобы серьга почти касалась плеча... Вот так, чудно! Этот жест меня, как говорится, «сводит с ума»!.. Милая, расскажи мне свою любовную биографию, а? Впрочем, я догадываюсь: первого ты страшно любила, второго ты любила, но не страшно, третьего ты ненавидела, а, начиная с четвертого, это стало привычкой.

— Ты хам и дурак... Хочешь, я вприсну тебе морфий?.. Ты увидишь, что это за блаженство!.. Хочешь? Сейчас, сию минуту!

— Нет, очень благодарю... Приходи сегодня ко мне в гостиницу! Придешь?

— Приду. А ты все-таки хам и дурак.

— Хам, может быть, да и то едва ли, но дурак ни в каком случае. Нет, моя красавица, я что угодно, но не дурак, и ты отлично это знаешь. Невежественный человек — да, дурак — нет. И не хам, это вздор! Мой главный порок — это откровенность в пьяном виде, а я пью каждый день.

— Я тебя знаю наизусть и все-таки еще немного тебя люблю.

— Сейчас возьми назад это глупое «все-таки»!

— Скоро я тебя брошу.

— Какой наглый вздор! Меня еще ни одна женщина не бросала, я вас всех бросал, и всегда неохотно, всегда с душевной болью, клянусь честью! Нет некрасивых женщин и нет дурных любовниц!

— Я сама себе противна оттого, что полюбила тебя.

Он серьезно обиделся и ссадил ее с колен.

— Ты чрезвычайно глупа! Можешь бросить меня, когда тебе угодно! Терпеть не могу, когда люди вечно играют роль, как ты или дурак Делавар!

— Я уже слышала это твое замечание, будто я играю какую-то роль. Очень глупое замечание даже для тебя. Какую роль я играю?

— Банальную, милая, страшно банальную! Ты вамп или полувамп: роковая кинематографическая женщина, подпавшая под власть еще более рокового кинематографического мужчины. И со мной, дорогая, это выходит совсем глупо. Посуди сама, какой я роковой мужчина?! Какой я Кларк Гейбл?! Какой я Эррол Флинн?! Ведь я мухи не обижу... Нет, положительно, ты жертва не капиталистического строя, а кинематографа.

— Я «вамп, подпавший под власть мужчины»! — сказала она. — Трудно понимать меня хуже!

— Впрочем, ты часто меняешь стиль. Три месяца тому назад у тебя были деньги, и ты их целиком тратила на туалеты, парикмахеров и шампанское. Теперь строгое монашеское платье и «Афина»... Кстати, откуда у тебя были тогда деньги?.. А еще раньше ты мне говорила, что человечество спасут кооперативы.

— Ты не способен все это понять.

— Я понимаю кооперативы и понимаю платья от Кристиана Диора. Но кооперативы и платья от Кри-

стиана Диора — это вульгарно. Милая, это банально! Все хозяйки социалистических салонов, все жены разбогатевших спекулянтов таковы. А ты все что угодно, только не банальна... Видишь, ты даже улыбнулась, я знаю, это самая лестная для тебя похвала. Ты только выбираешь себе почему-то банальные роли... Ну не сердись!.. Сегодня ночью я открою тебе врата Магометова рая. Я превзойду сам себя! Одно условие: без вампов и кооперативов. Постарайся пораньше отделаться от Фергюсона. Кстати, какую из твоих ролей ты исполняешь для него? Клеопатра, наверное, с Цезарем играла не ту комедию, что с Антонием, а другую. Я думаю, что у него ты чистая русская душа, открытая всему прекрасному? Правда? Ангел мой, ну что Фергюсон? Зачем тебе Фергюсон? Он на тридцать лет старше тебя...

— На тридцать три.

— Допустим, хоть ты врешь. Если б еще он был богат, но он небогат. Допустим, он на тебе женится. Ведь ты, как миссис Фергюсон, в каком-нибудь Гарварде или в Йелле, ты будешь просто анекдот! Нет, моя милая, я должен для тебя придумать что-либо другое. — Он хлопнул себя по лбу. — Гениальная мысль! Поезжай в Китай и убей маршала Чан Кайши.

Она невольно засмеялась.

— Как же ты не дурак?

— Ангел мой, убей Чан Кайши! Подумай, о тебе будет писать весь мир! Если ты спасешься бегством, то враги маршала осыпят тебя золотом. Если ты попадешься, тебя сожгут на медленном огне. Кажется, у китайцев это принято, правда? Подумай, как это будет хорошо! Больно, но хорошо, а? Дюммлер при мне говорил этому американскому драматургу, что есть писатели, которым все решительно все равно, кроме их собственной фигурки в чьем-нибудь будущем историческом романе. Он назвал, кажется, Мальро... Есть такой писатель? И еще кого-то, я не читал. О тебе напишут роман и по этому роману сделают фильм. Не ты будешь играть, а тебя будут играть.

— Брось нести ерунду.

— Я тебе прямо скажу, что если ты и не убьешь Чан Кайши, то непременно сделаешь что-либо другое в этом роде, столь же полезное. Между тем по природе ты, ей-богу, очень милая девочка. Тебе только надо бы немного полечиться у психиатра. А то я тебе рекомендую лечение. К завтраку вместо морфия кровяной

бифштекс и полбутылки лафита. К обеду вместо кокаина кровавой бифштекс и полбутылки лафита. И еще: не ходить в кинематограф. И еще: не читать газет... Не сердись, ангел мой. Хорошо, вернемся к грустной действительности. — Он опять тяжело вздохнул. — Какой это генерал сказал, что для войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги? Не знаешь? Умный генерал и какой стилист: если б он сказал просто, что для войны нужны деньги, то никто и не запомнил бы... Дорогая, мне сейчас нужны три вещи: деньги, деньги и деньги.

— Сколько?

— Милая, скажи с нежной улыбкой: все, что мое, твое!.. Мне нужно много.

— Тысяч шесть я могу тебе дать.

— Милая, мне этого мало. Ты не можешь себе представить, как я запутался! Возьми у Делавара, он тебе не откажет. Мне он уже отказал. Возьми у него!

— Ты просто с ума сошел.

— Ты права, у Делавара ты взять не можешь. Возьми у Фергюсона, он по первому слову даст тебе авансом жалованье за два месяца. Мне нужно сорок тысяч... Это у меня тоже, кажется, какой-то фрейдовский комплекс. Мне всегда нужны сорок тысяч — не братьев, а франков. Это меньше ста долларов. Что такое для профессора сто долларов! И я скоро отдам: кажется, у меня выйдет одно недурное дело.

— Я и так у него взяла за месяц вперед: то, что я тебе дала в прошлый раз. Мне неприятно снова его просить, но я попрошу и отдам тебе то, что получу.

— Милая, ты ангел! А в счет этого нельзя ли взять из кассы членские взносы?

— Не смешивай меня с собой! Я не воровка.

— Да что же тут такого? Ты покрыла бы их немедленно тем, что тебе даст профессор.

— Я тебе не дам ни одного сантима из денег «Афины», но у меня есть моих шесть тысяч, возьми их.

— Да ведь тогда тебе будет нечего есть. Ни за что!.. Я у тебя из них возьму две тысячи. Можно? Правда?.. И завтра ты мне дашь остальное, то есть тридцать восемь.

— Не тридцать восемь, а столько, сколько мне даст вперед Фергюсон.

— Если он тебе откажет в таком пустяке, то немедленно откажись от службы у него. Мне и вообще неприятно, что ты живешь в одной гостинице с этим

стариком. Ах, если б Делавар в самом деле дал нам денег для постройки настоящего храма! Увы, мало шансов. Ты заметила, он больше не ругает эту квартиру, напротив, говорит, что она очень удобна. Мы можем устроить тебя и здесь. Мы даже назначим тебе небольшое жалованье. Почему ты должна работать бесплатно? Во всем мире вице-питониссы получают за труд вознаграждение! Пусть Делавар даст мне сорок тысяч франков, и я тебе отделаю ту последнюю комнату!

— *Еще* сорок тысяч франков?

— У всякого человека в любой момент должно быть сорок тысяч франков. Твоя комната будет игрушечка.

— Никакой игрушечки на деньги «Афины» мне не надо. Я буду спать на диване. Простыни, одеяло и подушка у меня есть.

— Ты спартанка, и это очень досадно. Спартанки были самые несносные из всех гречанок. А спартанцы, верно, были совсем идиоты. Нам пора здесь обзавестись кроватью или диваном. Виноват, тебе пора обзавестись кроватью или диваном. — Она встала, взяла сумку и дала ему две тысячи франков. — Спасибо, ты ангел, — сказал он, небрежно сунув деньги в жилетный карман. — А что, если б мы пошли в кофейню? Мне так хотелось бы выпить с тобой. Хранитель Печати хочет угостить шампанским вице-питониссу! Это будет стоить всего шестьсот франков. Я заплачу, или ты мне завтра дашь только тридцать семь тысяч четыреста.

— Ты не исправим.

— Зачем мне исправляться, когда я и так очень мил? Ради Бога, говори со мной ласково, с улыбкой. Бери пример с Дюммлера. Ты думаешь, он ласков с людьми для того, чтобы им было приятно? Нет, он ласков с людьми потому, что это ему приятно. Ну, спасибо, дорогая моя, ты мне оказала большую услугу... То есть еще не оказала, но окажешь завтра, — говорил он, целуя ее.

Х.

«Зачем, собственно, я иду сюда? — думал Яценко, подходя к дому, в котором помещалась «Афина». — Это какое-то странное общество, цели которого мне не очень понятны, да, кажется, не очень понятны и им

самим. Лебедь, щука и рак, воз и на месте стоять не будет, он скоро развалится. Тогда, казалось бы, мне тоже здесь нечего делать. Что ж, не первая и не последняя глупость, которую я делаю в жизни», — сказал себе Виктор Николаевич. Это соображение почему-то всегда его успокаивало.

Дверь открыла Тони. Он приветливо ей улыбнулся, но она не ответила на его улыбку. Лицо у нее было опять новое, не такое, как в поезде, не такое, как на вечере Дюммлера. «Теперь какая-то недовольная почтовая чиновница в час закрытия конторы».

— Что вам угодно? — спросила она по-французски.

«Вот оно что. Очевидно, надо проделать все их фокусы!» — подумал он с насмешкой. Накануне ему были сообщены ритуальные слова. Хоть ему и было совестно, он сказал:

— Я скоро собираюсь в Афины.

— Это очень хороший город, — ответила она и замолчала, ожидая продолжения.

— Я знаком с Клотильдой де Во, — сказал он уже сердито.

— Тогда мы рады будем с вами познакомиться, — ответила она и впустила его. Они вошли в боковую комнату.

— Садитесь, пожалуйста. Ваша карточка готова, — сказала Тони. — Надо только поставить дату. Как вы, быть может, знаете, мы имеем свой календарь. Он был введен Огюстом Контом, но мы произвели небольшие изменения. Наше летосчисление начинается с 1789 года христианской эры. Год делится на 13 месяцев из 28 дней каждый, и есть еще один дополнительный день в году: День святых женщин.

— День святых женщин, — повторил Яценко, кивая одобрительно головой. Он решил вести себя так, точно он тут ни в чем решительно ничего странного не находит.

— Сегодня шестой день недели Химии, месяца Шекспира, 159 года. Я так и запишу в вашей карточке. Теперь наш единственный вопрос кандидатам. По каким причинам вы входите в наше общество?.. Вы знакомы с психологией контистов?

— К сожалению, нет.

— Конт делил все человеческие побуждения, которые он называл Аффективными Моторами, на десять разрядов. Есть пять форм Интереса: Питательный,

Половой, Материальный, Военный, Промышленный; затем две формы Честолюбия: Гордость и Тщеславие; затем Привязанность, Уважение и Доброта, иначе называемая Всеобщей Любовью или Человечностью. Нам надо знать, каким Аффективным Мотором вы руководитесь?

«Кажется, она надо мной издевается», — подумал Яценко.

— Затрудняюсь ответить на ваш вопрос.

— Многие не сразу находят на него ответ. Если вы не возражаете, я занесу в протокол, что вы руководитесь Мотором Уважения в надежде на то, что он позднее сам собой заменится Мотором Любви. Так?.. Теперь вы еще должны внести членский взнос. Впрочем, неимущие ничего не платят.

— Я могу заплатить. Сколько это составляет?

— Как правило, в пользу общества при вступлении вносится тысяча франков, но вы можете внести сколько вам угодно.

Он вынул бумажник, заметил, что у него были только сотенные ассигнации, и отсчитал десять, с досадой думая, что в этом отсчитывании есть что-то не совсем приличное. Она смотрела на него с усмешкой.

— Кажется, я не ошибся в счете? Тут тысяча.

— Да, тысяча, — сказала она, пересчитав деньги. — Я сейчас принесу вашу карточку. — Она вышла из комнаты и вернулась минуты через три-четыре. «Так и есть, пошла впрыскивать себе морфий, как тогда у Николая Юрьевича... Разумеется! Никакой карточки она не принесла, карточка лежит на столе», — думал Яценко. Тони что-то вписала в карточку крупным, неустойчивым, почти детским почерком. При этом на него поглядывала, точно записывала его приметы. Он все же не находил в ее глазах *лихорадочного блеска*, который, по его мнению, должен был отличать морфинисток.

— Ведь эта карточка дает мне право быть и на сегодняшнем заседании? — спросил он, чувствуя некоторое смущение.

— И на сегодняшнем, и на всех других, — ответила она. Теперь, по ее интонации, он уже не сомневался, что она над ним смеется.

— Значит, все формальности кончены?

— Нет, осталась еще одна, — ответила она и вдруг обняла его и поцеловала. Он чуть не отшатнулся от неожиданности. — Это обрядовый поцелуй, целую как

сестра брата, — пояснила она изменившимся голосом, больше не улыбаясь.

Он неожиданно для себя поцеловал ее не как брат сестру.

— Это тоже обрядовый поцелуй, — сказал Яценко, стараясь усвоить ее тон. С минуту они молча смотрели друг на друга.

— «Трепет пробежал по членам Лаврецкого», — сказала она. — Это когда он ночью увидел белую, стройную Лизу. Отлично писал Тургенев... Хорошо, теперь вы *брат*. Пройдите в храм, я сейчас к вам выйду.

«Вот не знал, куда попал! Но, кажется, я разыграл идиота!» — подумал Яценко, войдя в большую комнату. «Полная неожиданность!.. Господи, что это за балаган! Как Николай Юрьевич мог согласиться на эту дешевенькую бутафорию, стоило же насмеяться над дез Эссентом!»

Тони, опять улыбаясь, вошла в комнату и села рядом с ним.

— Что, вам, верно, наш храм не нравится? Недостаточно рационалистично, правда? На Николая Юрьевича не пеняйте. Он только и хотел, чтобы обойтись без всего этого. Мы его долго убеждали, что простой философский кружок мира не завоеует. Не убили, но он кое в чем уступил.

— А теперь, со статуей и с календарем, «Афина» завоеует мир?

— Если вы относитесь к обществу с предвзятой иронией, то вам лучше тотчас расстаться с нами.

«Кажется, я так и сделаю», — подумал Яценко.

— Послушаю доклад Николая Юрьевича. Я выговорил себе право уйти в любое время.

— Тут и выговаривать ничего не требовалось. Это право каждого. Может быть, и я уйду.

— Вот как?.. Вы меня спрашивали, почему я вошел в «Афину». Могу ли я спросить о том же вас? Ведь я теперь «брат».

— Видите, вы слово «брат» даже и произносите в кавычках... Да, вы у нас не засидитесь, я знаю. Каждый понимает «Афину» по-своему. Я пришла к ней издалека. Лет шесть тому назад я хотела уйти в монастырь.

«Так и есть. Щеголяет своей «мятущейся душой». Ох, не люблю», — подумал Яценко.

— Вы, вероятно, многое перепробовали в жизни?

— Очень многое. И везде был обман.

Она подняла руку совершенно так, как это делал Гранд, и даже лицо у нее сделалось гробовое, как тогда у него. Послышался тихий протяжный звонок. Лицо ее приняло таинственное выражение. Яценко смотрел на нее изумленно.

— Слышите?

— Конечно, слышу. Что это такое?

— Этого я вам сказать не могу. Вы узнаете позднее. На вас это явление не действует?

— Нет. Я видел, как фокусники производят еще лучшие явления.

Она засмеялась.

— Вы правы. Я вас испытывала. Вас звонком не возьмешь. Вы верите в судьбу? Я верю. Я во все верю. Мои предчувствия меня никогда не обманывают. Вот, например, я знаю, что ваша жизнь связана с моей. Наши жизни будут перекрещиваться. Они связаны нездешней силой.

— Нездешней силой, — повторил он. — «Как все-таки она пошло выражается!»

— Знаете, какое самое лучшее из человеческих чувств? Это когда все — все равно... Вы очень любите женщин?

— Это ритуальный вопрос?

— О нет. Просто мне интересно. Мы должны были бы с вами сойтись. Но не подумайте, что у нас в обществе какое-либо мошенничество. Вы очень ошиблись бы. Вы спрашивали, почему я пошла в «Афины». По самым лучшим и чистым побуждениям. Я хотела и подчинить свою волю. Ритуал этому способствует. Но уж если мы с вами разговорились, то не скрою, что я немного разочаровалась. Все это не то, не то... И люди не те. Меня тоже не возьмешь звонком Кут-Хуми.

— Какой еще Кут-Хуми?

— Все захотите знать, рано состаритесь. А вы и так уже немолоды. Звонок Кут-Хуми можно тоже понимать по-разному. Мы начинаем со звонка Кут-Хуми потому, что люди очень глупы... Все в «Афине» каждый может понимать по-своему, — говорила она, как будто повторяя что-то из учебника. — И надо строго отличать то, что вышло, от того, что должно было выйти. У нас и люди, и мысли, и настроения разные. Из одной бани, да не одни басни. Мешанина.

— Зачем же было делать мешанину?

— Да ведь в жизни все смешано: добро и зло,

радость, горе. Вот как в светской хронике газет рядом печатаются извещения о смертях и свадьбах.

— Хорошо, не стоит спорить, это и не очень ново. Эти звонки Кут-Хуми производятся с согласия Николая Юрьевича? — спросил Яценко тревожно; он боялся, что сейчас рухнет, навсегда рухнет то чувство почтения, которое ему внушал Дюммлер.

— Избави Бог. Он о них не подозревает. Звонки вообще в «Афине» не производятся, это идея одного нашего брата, его частная идея, о которой я не должна говорить. Я ею пользуюсь как оселком, для пробы людей. А вы мне нравитесь!

— Спасибо. Отчего вы не вышли замуж? — спросил он, все так же стараясь попасть в ее тон.

— Во-первых, я раз была замужем, с меня вполне достаточно. А во-вторых, какое вам дело? — сказала она, впрочем, несколько не рассердившись. Его вопрос показался ей даже довольно естественным.

— Я спрашиваю так просто из писательского любопытства.

— Вот как... Очень жаль, что из любопытства.

— К тому же теперь вы забыли, что я *брат*. Отвечайте как сестра.

— Прежде всего, никто на мне не женится. У меня нет ни гроша.

— Не все же ищут денег.

— Многие, очень многие. У Толстого Анна вышла за Каренина потому, что он был губернатором и мог стать министром; она не только его не любила, но терпеть не могла. Николай Ростов на Соне, которую любил, не женился, так как она была бедна, а женился на безобразной княжне Марье, и не потому, что у нее были какие-то лучистые глаза, а потому, что у нее было много тысяч душ и десятин. И Наташа тоже не вышла бы за Пьера, если бы он был беден. Только Толстой все это затушевывал, он мог сделать чистеньким что угодно, хотя бы свиной хлев. И вся Россия восторгалась этим и была влюблена в Анну, в Наташу. Один Достоевский ничего не приукрашивал.

— Он больше всех приукрашивал, но в свою краску, — сказал Яценко. Она смотрела на него с усмешкой. «Лицо сумасшедшей, и усмешка такая же».

— Вся эта наша «Афина» призрак, — сказала она. — И слава Богу! Все воображаемое лучше, чем то, что действительно существует. В так называемой настоящей жизни есть много хорошего, но представить

себе я могу в тысячу раз лучше. И представляю себе, но как! Долго, часами, со всеми подробностями! Поэтому у большинства людей одна жизнь, а у меня множество.

— Что же вы себе представляете?

— Каждый день другое. Не раз представляла себе, как я убиваю человека.

— Какого-нибудь контрреволюционера?

— Иногда и наоборот. Пробовала представить себя Шарлоттой Корде: как она идет убивать Марата. Правда, вышло плохо. Я, кстати, уверена, что Марат нарочно тогда сидел в ванне, чтобы показаться голым молодой красивой женщине... И она это тотчас почувствовала... Вас шокируют мои слова?

— Да, некоторой своей неожиданностью, — ответил Яценко с полным недоумением. В передней польщился звонок. — Это звонок Кут-Хуми?

Тони засмеялась опять.

— Нет. Это уже начинают собираться люди на заседание, — сказала она и вышла, помахав ему рукой. «Кажется, совсем одурманена. Хороша секретарша для общества Николая Юрьевича! Но он был прав, есть в ней и что-то жалкое, и привлекательное. Да, лучше было бы уйти из этого общества как можно скорее. Так, конечно, я и сделаю... Впрочем, надо еще услышать, что скажет Николай Юрьевич...»

Раздавались все чаще звонки, большей частью робкие, коротенькие. Одни члены «Афины» входили в зал нерешительно, стараясь поскорее сесть где-нибудь в задних рядах и не обращать на себя внимания. Другие, напротив, появлялись с видом уверенным и с полминуты молча смотрели в упор на статую богини. «Этой даме, кажется, хотелось стать на колени, но она не знает, полагается ли... А эти *se rescueillent*¹, как официальные лица перед могилой Неизвестного солдата. Кто эти люди? Конечно, теперь в Париже множество таких кружков с мистикой и без мистики, с паролями вроде «*Joe sent me*»². Ведь «я скоро собираюсь в «Афины» — это, собственно, то же самое, с той разницей, что этих никто решительно не преследует. Какой-нибудь философ выдумывает свой «изм», по случайности он нравится, а затем «кисты» устраиваются по-своему, очень мало думая о вождах и о философии.

¹ Поклоняющиеся (*фр.*).

² «Джо послал меня» (*англ.*).

И никакой тут «тяги к нездешнему» нет, а просто поветрие, мода, а кое-где и тяга к очень «здешним» удовольствиям». Преобладали молодые люди и почтенного вида дамы. «Совсем как у нас в ОН, — вдруг подумал Яценко и почему-то обрадовался, как будто в этом сходстве для него открылось что-то важное. — Ну да, вот эта старуха, наверное, тоже из тех, что ездили когда-то мирить Бриана с Штреземаном. Им главное, чтобы все было страшно идейно и самое, самое последнее слово... А этот седовласый человек, может быть, как и Николай Юрьевич, во всем решительно изверился, знает, что скоро умрет, и хватается еще и за эту соломинку: вдруг с «Афиной» умирать будет легче? Вот у них: «République Occidentale. Ordre et Progrès», и у нас в ОН что-то висит над трибуной, и скоро, говорят, введут какую-то нецерковную молитву, приемлемую для всех религий, даже для атеистической... А эти мальчишки, быть может, слышали о «черной мессе», ими руководит Половой Аффективный Мотор: они надеются, что после заседания будет «оргия». Таких в публике Объединенных Наций, конечно, нет, но они и здесь, верно, ничтожное меньшинство, да и должна же быть некоторая разница», — с усмешкой думал Яценко.

Когда все члены «Афины» собрались в храме, а Дюммлер занял место на трибуне, Гранд вошел в боковую комнату и подал Тони цветок.

— Синяя датура: «не верьте клевете», — начал он. Вдруг лицо его дернулось от злобы.

— Что с вами?

— Я тебе говорю в сотый раз, что ты не должна носить это ожерелье! По крайней мере, во время заседания!

— Я забыла.

— Спрячь его в ящик!.. И поцелуй меня на счастье: я сейчас сажусь играть.

— Здесь не место целоваться.

— Место, потому что ты здесь целуешь всех кандидатов. Безобразие! Предположи, что я еще не принят в «Афину»! Сейчас же поцелуй меня, иначе я устрою скандал!.. Ты не знаешь, на что я способен!

— Я знаю, что вы способны на очень многое, — сказала она и поцеловала его.

— То-то... После заседания ты, конечно, уйдешь с профессором? Ну да, разумеется! И это для того,

чтобы в гостинице тотчас сказать ему «до свидания»!.. Цветок тоже спрячь в ящик. Ну, прощай. Кажется, я буду играть недурно.

Он начал с мелодии «Волшебной флейты», перешел к фантазии по Моцарту. Яценко особенно любил слушать то, что знал на память. Он помнил не «Волшебную флейту», а свое давнее впечатление от «Волшебной флейты». «Как будто другая вещь, не та, что играла Тони. Играет изумительно! Для одного этого стоило прийти».

С наслаждением слушал и Дюммлер, несколько волновавшийся перед своим выступлением. «Этот Гранд жулик. Гений и злодейство совместимы, хотя Микеланджело никого не убивал и Сальери Моцарта не отравлял: наследники могли бы привлечь Пушкина к суду за клевету. Эстетически совместимы злодейство и талант: Иван Грозный, Екатерина Медичи были прекрасные писатели. Но может ли быть талантом не злодей, а мелкий жулик? Сейчас мне говорить», — рассеянно думал Николай Юрьевич.

XI.

У него был приготовлен довольно подробный конспект речи. В последние годы он опасался, что связь мыслей может порваться. Так некоторые виртуозы боятся играть без нот: вдруг забудут, что дальше. Но Дюммлер был почти уверен, что прочтет по записке только длинные цитаты, которые у него были отчеркнуты красным карандашом. Когда Гранд перестал играть, Николай Юрьевич выждал минуту — аплодировать в «Афине» не полагалось — и заговорил.

Его французская речь была совершенно естественна (что бывает редко у людей, выражающихся не на родном языке). Говорил он с эстрады хуже, чем в гостинице, и годы на нем сказывались, но в его уверенной манере еще чувствовался большой опыт. Яценко не раз замечал, что иные, даже даровитые ораторы, не уважающие своей публики и не готовящиеся к речам, иногда начинают нести вздор. За Дюммлера, как сначала показалось Виктору Николаевичу, можно было быть спокойным: не напутает, не собьется, не скажет ничего неуместного, не затянет чрезмерно своей речью, не даст слушателям соскучиться. Однако оттого ли,

что он был немного раздражен на старика за бутафорию «Афины», Виктор Николаевич стал внимательно слушать не сразу, лишь через несколько минут. Дюммлер говорил о пути к счастью, о пути к освобождению, и как будто выходило так, что у него это означает одно и то же.

— ...Таким образом, мы стоим перед двумя проблемами, которые в конечном счете сливаются. О первой я кратко сказал: возможно ли в наше время картезианское состояние ума? Подчеркиваю эти слова, — Дюммлер повторил: — «l'état d'esprit cartésien», — они не совпадают со словом «мировоззрение» — *conception du monde*. Вторая проблема — это проблема человеческого счастья. Ими, повторяю, мы и предполагаем заниматься в «Афине», не навязывая ничего друг другу, считая обязательными лишь самые основные общие положения и правила.

«Зачем же тогда глупая бутафория?» — подумал Яценко.

— ...Как вам известно, вопрос о счастье с необыкновенной силой и тонкостью поставил самый удивительный из всех когда-либо существовавших народов. Превосходство древних греков над другими народами так очевидно, что они о нем и говорили редко, хотя какой-либо эллинский авантюрист мог бы говорить о своей *Herrenrasse*¹ с неизмеримо большим правом, чем германский психопат, дела которого мы, к величайшему нашему позору, терпели двенадцать лет. Однако твердого решения этой проблемы эллинская философия не дала. Обычно говорят, что она эвдемонистична. Но так ли уже определено и самое это слово? В буквальном переводе оно лишь указывает на состояние, близкое к некоему доброму демону или, скажем с натяжкой, на состояние под покровительством некоего доброго демона. Понятие и в таком смысле ценно, интересно и неопределенно: добрые демоны могут быть различные. В философской литературе есть десятки определений и самого счастья, и его роли в обосновании нравственности. «Путь к счастью» — «*The pursuit of happiness*», чтобы употребить слово, увековеченное в Соединенных Штатах. Скажем с вечным умницей Вольтером:

¹ Раса господ (нем.).

Ce monde, ce théâtre et d'orgueil et d'erreur
Est plein d'infortunés qui parlent de bonheur.¹

Дюммлер на мгновение остановился, чтобы дать слушателям возможность оценить Вольтеровы стихи. Он следил за аудиторией, хотя и без большого интереса. Некоторые из слушателей улыбнулись, другие слушали хмуро и как будто недоверчиво.

— Не будем, однако, уходить в глубь веков. Будем помнить, что с 1945 года все прошлое стало *tabula rasa*. Было бы крайне странно, если бы мы могли теперь держаться тех основных философских положений, которые сохраняли силу всего только десять или даже пять лет тому назад, до разложения атома. Ведь мы, господа, еще живем только потому, что американская группа физиков Оппенгеймера работала быстрее и лучше, имела больше средств, лабораторий и заводов, чем немецкая группа Гейзенберга. Другой причины, собственно, не было. Теперь вопрос, овладеют ли всем миром коммунисты, зависит отчасти от того, будет ли успешнее работать та же американская группа или русская группа физиков. Новая философия, как и новая история, началась в 1945 году. Я не физик, но, насколько я могу судить, все это вышло из идей Эйнштейна о соотношении между материей и энергией. Никто, значит, главного не понимал, кроме этого человека, который считает или еще недавно считал Сталина великим гуманистом. Понимают ли сами физики, что они взорвали вместе с атомом? Они взорвали наши аксиомы, все наше мышление, наши религиозные чувства, наш общественный строй, быть может, даже свою собственную веру в науку. Добавлю, что подарили они человеку эту штучку именно в то время, когда во всей красе выяснилось, как глуп и слаб человек, когда единственно по причине его глупости и слабости столь многое и без физиков трещит в мире. Вот первое в истории открытие, которое, родившись на свет Божий, немедленно, в несколько минут открыло в лучший мир сто тысяч человек. У других открытий хоть таких крестин не было. Конечно, эта штука «может сделать войну невозможной». Но такие же надежды Нобель возлагал на динамит, и даже когда-то Вобан на свои военные изобретения. С тех пор как существует мир, не было в физике, в химии такого открытия, какое было

¹ Этот мир, театр гордости и заблуждений, полон несчастных, говорящих о счастье. — *Пер. с фр. автора.*

бы использовано *только* на добро. И если на разрушение будет истрачена одна сотая доля атомной энергии, а девяносто девять пойдет на чудеса культуры, то мир со всеми этими чудесами все равно погибнет от этой сотой доли. Новую эру в истории открыли не две мировые войны, не коммунистические или другие революции, не гитлеровщина и не фашизм. Ее открыло разложение атома. И надо ли пояснять, что три перечисленные мною проблемы, как и столь многие другие, теперь ставятся совершенно не так, как до взрыва в Новой Мексике... Извините меня, я отвлекся в сторону, хотя и очень немного.

В человеке всегда была сильна потребность рассматривать счастье как нечто единое и однородное. Но даже у эвдемонистов, даже у гедонистов была попытка все же прикрепить счастье к какому-либо другому понятию, будь это добродетель, или нравственный закон, или выполнение Божьей воли. В этом отношении не составлял исключения сам Гёте, которого так часто называли то «великим язычником», то «олимпийцем», — пока вдруг не стало модным делать из него неврастеника из романов двадцатого века. Гёте говорит: «Wir wollen einander nicht aufs ewige Leben verträsten! Hier müssen wir glücklich sein!»¹ (Дюммлер прочел эту цитату по записке и тотчас перевел ее на французский язык. Слушатели сочувственно закивали.) Эти слова понятны, и мы могли бы их включить в число заповедей «Афины». Да, мы должны быть счастливы не *там*, а еще *здесь*! Однако у Гёте происходит скачок... Впрочем, нет, не скачок, а медленное передвижение: счастье связывается с *das Gute*, с *das Rechte*². Я всей душой был бы рад, если б это было так. Но так ли это? Жизнь это опровергает на каждом шагу. Да и деление большой философской школы на эвдемонистов и гедонистов, различие между киренаиками и эпикурейцами уже предполагает различие в *ценности* между разными видами счастья.

Дюммлер отпил воды, обвел взглядом слушателей и продолжал:

— С нами случилось несчастье, повергшее нас в полную растерянность: мы лишились аксиом! Да. Трагедия современного человечества в том, что у него

¹ «Мы не хотим утешать друг друга надеждой на вечную жизнь! Мы должны быть счастливы здесь!» — *Пер. с нем. автора.*

² Добро, справедливость (*нем.*).

аксиом больше нет. Признаем прямо, что нет для людей единого пути к счастью, единого пути к освобождению. Надо выработать систему обоснованной классификации. Я буду не раз говорить об этом в «Афине». Сейчас скажу лишь очень кратко, в надежде, что хоть некоторые из вас поймут меня с полуслова. В своем эклектическом эвдемонизме «Афина» ставит себе и эту задачу.

У Канта есть учение о счастье, к сожалению, гораздо менее известное, чем другие его доктрины. Кант видит в счастье материю всех земных целей, «*die Materie aller Zwecke auf Erden*». В зависимости от того, какие человеческие потребности удовлетворяет счастье, и от того, как оно их удовлетворяет, у Канта можно найти и классификацию: счастье «экстенсивное» — ударение делается на числе потребностей; «интенсивное» — ударение на степени удовлетворения и «протенсивное» — ударение на продолжительности счастья. Быть может, я несколько упрощаю это кантовское деление, когда-то меня поразившее. Теперь оно меня больше не удовлетворяет, вероятно, оттого, что в мои годы уж очень трудно было бы говорить о *протенсивном* счастье. (Послышался легкий смех.) Логически я не мог и не могу понять одного: на чем же с уверенностью строится иерархическая классификация? Человек может находить счастье, а следовательно, и освобождение в чем угодно, — сказал Дюммлер, замедлив речь, чуть повысив голос и отчеканивая каждое слово. — И у нас *пока* нет оснований признавать одни виды счастья более ценными, другие менее ценными. Мы должны либо отказаться от «материи всех земных целей», либо признать равноправие всех ее видов, либо вместе искать новых критериев, новых исходных точек для расценки новых путей. Именно эту цель ставит себе общество «Афина», председателем которого вы меня избрали. Оно ставит себе целью, никому ничего не навязывая, помочь каждому человеку найти *свое* счастье, *свое* освобождение. Древний мудрец сказал: «Ты ищешь счастья? Живи как хочешь...»

...Основная беда существующих философских систем заключается, по-моему, в том, что они не видят огромного принципиального различия между категориями времени и пространства. В категории времени царит строгий детерминизм. В категории пространства его нет. Здесь царит Его Величество Случай. Позвольте пояснить вам это примером, из которого видно

будет, почему я об этом говорю. Если кто-либо займется выяснением причин, почему русский философ и политический деятель Николай Дюммлер стал членом общества «Афина», он найдет бесконечную цепь причин и следствий. Тут все связано во времени, торжествует закон причинности. И каждый из нас может сказать о себе то же самое: он тоже знает или может в порядке самоанализа восстановить, какая длинная цепь причин и последствий привела его в то же общество «Афина». Но та цепь причин и следствий, которая его привела сюда, не имеет ничего общего с цепью, приведшей сюда меня, хотя она действовала одновременно с моей. Нас объединил именно Случай... Я посвящу теории Случая главу из философской книги, над которой я в настоящее время работаю. В ней я покажу, что доктриной гносеологической связана и моя моральная доктрина, я назвал ее метаэстетической. Именно в связи со всемогуществом Случая каждый человек сам находит свой путь к счастью, свой путь к освобождению. Я свой путь нашел в древнегреческом учении о *Kaloskagatos*, в котором греки объединили понятия добра и красоты. Я не могу не остановиться и на том, как я связываю это понятие с другим греческим понятием, с понятием двойственной судьбы. Древние различали судьбу неотвратимую, они назвали ее *moira*, и судьбу, с которой можно бороться, или *tyche*. И сущность «Афины» — по крайней мере, в моем понимании — заключается в том, чтобы увеличивать «*тюхэ*» за счет «*мойра*». Противопоставляя второй вид судьбы первому, человек *освобождается*. Богиня разума Афина — символ этого освобождения. Каждый освобождается по-своему, а мы в меру сил ему в этом помогаем. И если что мне совершенно ясно в результате долгой жизни, то это следующее: лучший вид освобождения и для человечества, и для отдельного человека заключается в духовных ценностях.

Энциклопедисты, да и не они одни, видели смысл жизни в действии. Но ведь вопрос в том, *какое* действие. Я в молодости завидовал лунатикам, которые ходят, говорят, *действуют* во сне, значит, живут больше и дольше нашего. Есть теперь и партии лунатического действия. Однако так называемое действие лишь часть — и не обязательная часть — великой идеи освобождения. Стоящая теперь перед человечеством задача двойственна: наша цель — умственное освобождение избранных и материальное освобождение ря-

довых людей, осуществляемое без отвратительных кровавых актов коммунистической диктатуры...

Впоследствии Виктору Николаевичу было не вполне ясно, почему на него произвели столь сильное действие эти отрывочные, недосказанные, беспорядочные, по внешности даже совершенно бессвязные мысли. Он понимал их все-таки лучше, чем другие, так как Дюммлер иногда до них у себя говорил, впрочем, тоже как будто сбивчиво, отвлекаясь беспрестанно в сторону, вставляя воспоминания и анекдоты. Яценко видел, что старик уже очень устал. От волнения Виктор Николаевич дальнейшее слушал плохо. Впрочем, Дюммлер скоро перешел к символике «Афины», к тому, как эта символика понималась у греков, как ее можно было бы понимать в наше время. Это не очень интересовало Яценко. Теперь он мог думать только о равноценности разных путей к счастью. Очевидно, и сам Дюммлер эту равноценность признавал лишь с известными ограничениями: Виктору Николаевичу впоследствии смутно вспоминалось, что он говорил и о некоторых преступных видах счастья, говорил, что «Афина» именно ставит себе целью от них отмежеваться, — «тогда падает и его основная мысль: значит, без *das Gute*, без *das Rechte* все равно обойтись нельзя?» Но на заседании в этой странной зале, после потрясшей его музыки, он думал, совершенно по-новому думал, о своей второй пьесе, о ее идее, о ее действующих лицах. Мысли приходили ему одна за другой. Как всегда, он боялся, что их забудет, старался запомнить при помощи какого-либо мнемонического приема, каждую при помощи какого-либо одного *ключевого* слова.

Тони насторожилась, когда Дюммлер заговорил о двух видах *судьбы*. «Судьба, с которой можно бороться, это уже не судьба! — сказала она себе. — Только и есть судьба неотвратимая, и у человека, и у человечества! Раз меня невзлюбил Бог, то никакие «Афины» мне не помогут, и попала я сюда по ошибке. Свет светит с Востока, и все это гуманное хныканье не заставит его светить с Запада; они, гуманисты, посветили, и будет, их время кончено, будет новый гуманизм. Да, он правду говорит, что в мире борются добро и зло, но где зло и где добро, заостривший старик сказать не может. Он потому так уверенно и говорит, что не знает. Теперь не меньше половины мира называет черным то,

что они считают белым. А им, всем этим буржуа, и вообще по их дряхлости нечего делать в мире. Да, я уйду от них. Где правда, я не знаю, и он не знает, и никто не знает. Везде кровь, почти везде грязь, — думала она. — Дюммлер, может быть, и чистый человек, но он окружил себя прохвостами и отлично это знает. Если и у коммунистов грязь, то, во всяком случае, другая. И там моя страна. Пусть они совершают преступления, они делают это во имя идеи, которая сметет позднее грязь с земли. А что могут смести всякие «Афины»? У тех сила, и я люблю силу. Они обвиняют Сталина в жестокости, но как же они не понимают, что ему просто нет дела до того, жестоки ли его действия или нет! У него и времени не хватало бы, чтобы в этом разбираться: он, наверное, просто этим не интересуется, надоело, скучно, привычно и все заранее покрыто его идеей. Важно лишь то, способствует ли жестокость достижению цели. А их цель тот же Рок. И мне ничего не остается, как уйти к ним. Другого выхода у меня и нет. Переводить статьи для профессора, который вдобавок скоро уедет и через месяц забудет о моем существовании? Заниматься любовью с Грандом? Скоро мне и есть будет нечего. Я знаю, я чувствую, что продам ожерелье, и тогда совсем потеряю уважение к себе. Да, я уйду... И забавно, старик так и не узнает, что его лекция была последней каплей, что я из-за него и из-за его «Афины» ушла к тем, кого он ненавидит и презирает...»

Дюммлер замолчал, но это была только ораторская пауза, свидетельствующая о том, что менялся предмет речи. Старик заговорил в какой-то другой *тональности*. «...Сестры и братья», — вдруг услышал Яценко. «Это еще что? Ах да, начинается комедия! — подумал он. — Впрочем, «сестры и братья» это уж лучше, чем «братья и сестры», тут, скорее, оттенок «Mesdames et Messieurs»... Да, так что же «сестры и братья»?» С еще большим удивлением он услышал имя «Monsieur Walter Jackson», точно и не сразу догадался, что речь идет о нем. Дюммлер с легкой улыбкой говорил о разочарованиях талантливого драматурга, недавно вступившего в общество и находящегося в этой зале: «Я не выдам его секрета, если я скажу, что он, хорошо ознакомившись с заседающей ныне во дворце Шайо Организацией Объединенных Наций, высказывает недовольство ее работой. Думаю, что наш даровитый брат не совсем прав. Во всяком случае, эта

Организация, и особенно ее отдел ЮНЕСКО, в неизмеримо большем масштабе, чем мы, но, быть может, с неизмеримо меньшей ясностью, следует заветам богини Афины, о которых я только что вам говорил. Как мы хотим признать равноправие возможно больших видов счастья, за исключением одних преступных, так и ОН хочет признать равноправие разных государственных форм, так или иначе ставящих себе целью коллективное счастье...»

«Ну, это ни к чему, этого он мог и не говорить, — подумал Яценко. — И не очень верно, и не так уж умно... Да, вот еще и о Делаваре заговорил, только этого не хватало...»

— Среди нас, — сказал Дюммлер, — сегодня находится один видный финансовый деятель, оказывающий «Афине» щедрую поддержку. Мы теперь с ним обсуждаем возможность создания в Париже большого храма. Не всем здесь присутствующим, быть может, известно, что от Огюста Конта остался разработанный план такого храма, в котором, по его мысли, должны были сосредоточиться библиотека, рабочие кабинеты, места размышлений, даже кладбище для сестер и братьев. Кое у кого это вызовет улыбку. Мы вдобавок не все здесь позитивисты, я и сам никак не позитивист. Да и позитивисты, быть может, не всё приемлют в контовском учении. Тем не менее если нашей скромной «Афине» суждено положить начало большому умственному и социальному движению, то нам необходимо иметь свой центр, свое собственное здание. Благодаря инициативе и денежной помощи нашего Гаранта Дружбы, мы, быть может, такой центр создадим...

Тональность, в которой Дюммлер произносил эту заключительную часть своего слова, была *хозяйская*. Старик, очевидно, представлял обществу виднейших членов «Афины». Это было неприятно Виктору Николаевичу: он ни в какой связи не хотел упоминаться рядом с Делаваром. (Со своей стороны Делавар с неудовольствием подумал, что председатель мог бы первым назвать его, а не какого-то неизвестного драматурга.) «Да, это ни к чему, есть даже нехороший привкус: так и у нас в старые времена губернаторы хвалили просвещенных купцов для того, чтобы они со свойственной им отзывчивостью дали деньги на богадельню... Вот, вот, всем сестрам по серьгам: теперь этот профессор...» Дюммлер сказал несколько очень лестных слов о Фергюсоне и объявил, что после не-

большого перерыва этот знаменитый физико-химик прочтет доклад об атоме у Анаксагора.

Атом у Анаксагора теперь меньше всего интересовал Яценко. В перерыве он незаметно вышел из зала, разыскал пальто и шляпу. Рядом с ним разыскивала свой зонтик одна очень пожилая *сестра*, они обменялись в передней смущенными взглядами. Сестра даже вполголоса сказала, как обидно, что ей необходимо уйти, не дождавшись конца столь интересного заседания, и оглянулась на дверь, точно боясь, что кто-то сейчас появится и велит ей остаться. Выходили еще два молодых человека. Они были очень недовольны докладом.

— ...Начало было интересно. А потом я чуть не заснул, — говорил вполголоса один. — Все очень разочарованы. Старик все путал и путался. То Декарт, то Конт, то древние. Нет, нельзя читать доклады в восемьдесят пять лет. Ссылался на какую-то книгу, которую обещал написать. Когда напишешь, тогда и ссылайся. Либо говори толком, либо ничего не говори. Провал, полный провал.

— А главное, стал ругать ни с того ни с сего коммунистов. Это уже и обман. Тони меня заверила, что этого не будет. Я ей скажу! Все они, царистские эмигранты, таковы. Нет, я больше ходить к ним не намерен. Чепуха, — сердито сказал второй молодой человек, скрываясь за дверью.

Погода была очень плохая. «Переждать дождь в кофейне? Записная книжка есть, перо есть, сейчас же, сейчас записать, потом все, все забуду! — подумал Яценко. Он хотел записать, что всего выше в мире свобода, достижение человеческой душой ее высших форм. — Этому буду следовать, этому буду служить. Ни на какие компромиссы с *этим* идти нельзя, ни для чего...»

Часть третья

I.

Альфред Исаевич подписал договор с Делаваром и из корректности больше не ругал его, хотя по-прежнему недолюбливал. Под Парижем была снята мастерская для постановки нескольких фильмов. В этой *студии* небольшой кабинет был отведен Яценко, с которым также был подписан договор. Виктор Николаевич теперь ездил туда каждый день и там работал над пьесой. Альфред Исаевич просил его возможно скорее сдать то, что в кинематографическом мире называлось экспозе¹.

— Но только не длинное, дорогой мой, — сказал Пемброк. — Не более двадцати страниц. Если вы напишете длинно, то боюсь, что Делавар и его группа и читать не станут: там ведь сидят не интеллигенты, как мы с вами, а дельцы. Может быть, мы устроим общее чтение, с режиссером, а может быть, каждый из нас будет читать отдельно, это вам ведь все равно.

Яценко попробовал еще раз высказать свои мысли: в фильме часть действия должна быть заменена рассказом. Пемброк слушал его рассеянно и уныло.

— Да, да, это довольно интересная мысль. В сущности, это сводится к тому, чтобы спикеру было отведено больше места, чем обычно делают... That's right, не объясняйте, я вполне понял ваш замысел. Но пока дело до этого еще не дошло и говорить об этом преждевременно. Я уже веду для вас переговоры с Луи, это самый передовой и культурный мэтр-ан-сцен² во Франции. Он в принципе уже согласился. Автор сдает экспозе, мэтр-ан-сцен делает декупаж. Разумеется, в тесном сотрудничестве с автором, не спешите волноваться... Ох, трудный вы народ, господа писатели, — сказал Альфред Исаевич и простился: — Надо еще захватить в министерство. — Он всегда ссылался на то, что

¹ От *фр.* *exposé* — введение в сценарий.

² Постановщик мизансцен; от *фр.* *maître-en-scène*.

ему надо заехать в министерство. В отличие от Ниццы в Париже Пемброк действительно не имел ни одной свободной минуты: «Просто рвут на части!» — говорил он. Но Альфред Исаевич к этому привык и любил это. Может быть, больше всего любил в жизни ложную занятость своего дела. Каждый день он встречал множество людей, причем с маленькими бывал почти так же ласков и любезен, как с известными. Он по природе был устроен так, что при встрече даже с малознакомым человеком не мог не спросить его о здоровье жены. Часто рассказывал, что сам в юности зарабатывал гроши. В отличие от Делавара Альфред Исаевич ничего актерского в характере не имел и рассказывал он о своем прошлом с искренним стариковским умилением; слушали же его и восторженно, как, например, могли бы слушать рассказ престарелого Эдисона о том, что он мальчиком продавал на железнодорожной станции газеты. В студии и у себя в гостинице Пемброк ласково принимал всех, говорил костюмерам или гримировщикам, что слышал много хорошего об их работе, и даже статистам объяснял, что, хотя их прием на работу зависит исключительно от режиссера, он о них «замолвит словечко». Люди это ценили.

Яценко с волнением послал Пемброку черновую рукопись в новой, третьей по счету редакции, которая довольно сильно отличалась от второй. Два дня о ней ничего не было слышно, а на третий Альфред Исаевич позвонил Яценко по телефону и осыпал его похвалами (договор уже был подписан):

— Я в восхищении, просто в восхищении! — говорил он. — Так у вас все культурно и оригинально! Эти две легенды: ожидание трагедии! Прелесть. Все это новая, свежая струя. Разумеется, нужны будут и переделки.

— Какие переделки? — спросил Яценко. Он был очень доволен, но понимал, что этого показывать не надо.

— По-моему, барон должен ее отравить. Поговорим обо всем в самое ближайшее время. Сейчас у меня нет буквально ни одной свободной минуты. Сердечно вас поздравляю, Виктор Николаевич, а главное, поздравляю самого себя, что нашел такого золотого сценариста!.. Не гневайтесь, я знаю, вы не любите, чтобы вас называли сценаристом, для вас это, кажется,

что-то вроде вора или убийцы. Но, поверьте, ваша новая пьеса много лучше «Рыцарей Свободы». «Рыцари» тоже очень хорошая вещь, однако эта еще лучше, вы сделали огромные успехи, не смею приписывать это своим советам... Кстати, поздравляю вас, контракт с Луи подписан! Луи самый культурный мэтр-ан-сцен во Франции. Я просил его набросать начало декупажа... Что?.. Не ругайтесь, он сделает только первый набросок, мне надо кое-кому показать в той финансовой группе... Ничего окончательного Луи, конечно, и не мог бы сделать, ведь он сам не знает, что будет дальше. Будьте совершенно спокойны, без вас ничего делаться не будет, даю вам слово Пемброка... Что?.. Не волнуйтесь, умоляю вас!.. Но мы должны торопиться, вы понимаете, что такое в нашем деле хотя бы один потерянный день!

И действительно случилось то, что часто бывает в кинематографическом деле: вдруг началась необыкновенная спешка. Рукопись была немедленно размножена. Вместо своих листов, дурно переписанных, с многочисленными поправками на полях Виктор Николаевич получил прекрасно, без единой ошибки, отбитую на машине тетрадку. Одновременно было доставлено страниц двадцать пробного декупажа. Читая его, Яценко морщился и вскрикивал, хоть ему говорили, что введены только технические приемы, нужные актерам для усвоения его идей. Все было с необычайной быстротой переведено на три языка для рассылки разным агентам. А еще дня через два Яценко, приехав в студию, застал на столе в своем кабинете присланное с рассылным письмо. «Дорогой друг и шер¹ мэтр (потому что вы уже мэтр), — писал Альфред Исаевич, — Луи почти в таком же восторге от вашей пьесы, как и я. Я надеюсь, что через несколько дней будут заключены самые лучшие ведетты Франции и весь персонал. Мы из этого фильма сделаем hit! Но, ради Бога, введите в экспозе Объединенные Нации (сначала было написано «Разъединенные»). У вас этот Макс говорит, что пробовал там свой Lie Detector. Помилуйте, это надо не сказать, а показать! Что может быть благодарнее такой сцены! Ручаюсь вам, что весь зал будет хохотать до упаду! И на фоне этого здорового смеха будет показана мировая трагедия! Bravo,

¹ От фр. cher — дорогой.

дорогой мой, поздравляю вас и благодарю за этот gag!»

За английской подписью «Альфред Пемброк» с таким замысловатым росчерком, который подделать на чеке было бы чрезвычайно трудно, был еще постскриптум. Альфред Исаевич обычно писал с постскриптумами и с постпостскриптумами, всегда обозначая их: «P.S.» и «P.P.S.». В первом постскриптуме было сказано, что начало декупажа уже отослано по воздушной почте нью-йоркской экипе. Во втором Пемброк сообщал: «К вам на днях зайдет некий Макс Норфольк, очень способный и интересный человек. Та финансовая группа назначила его своим представителем в студию, он будет, так сказать, «око Москвы».

Почти все в этом письме было неприятно Виктору Николаевичу. Он не ожидал такой спешки: хотел отделять пьесу. Еще неприятнее было, что, несмотря на его решительный отказ писать об Объединенных Нациях, Пемброк продолжал на этом настаивать, точно и никакого разговора у них об этом не было. Особенно же его огорчило то, что без его участия намечались и приглашались артисты. «Что же я скажу Наде? И как мне быть со Стариком?»

В пьесе главное мужское действующее лицо, то самое, которое выражало идею снисходительности к людям, еще не было названо (говорилось просто: «Старик»), да и его характер пока не вполне определился. Женских ролей было, как он говорил Яценко, две с хвостиком: роль французской горничной в счет не шла. Между тем он понимал, что Альфред Исаевич не предложит Наде ни роли Марты, ни роли баронессы. «Это будет горе, обида, трагедия», — уже наперед со скукой думал Виктор Николаевич.

С Надей в Нище дело шло не очень хорошо. Несмотря на любовь, несмотря на то, что Наде была дана роль Лины, несмотря на то, что она была в восторге и от этой роли, и от драмы, они от безделья немного скучали. По ее просьбе он остался лишний день: сослуживец, с которым он снесся по телефону, согласился его заменить понедельник. Надя *очень* просила его остаться еще хоть на день, но было совершенно ясно, что она и не могла не просить его остаться, как не могла не поцеловать его в восторге

после его согласия. Она и в самом деле была рада, и он был рад, однако к вечеру они уже не знали, что с собой делать. Решили на следующий день съездить в Канн; там завтракали, вместе гуляли по Croisette, вместе смотрели на витрины известных всему миру магазинов — он с сочувственным интересом, Надя с грустным восхищением. Иногда они встречали людей, которых она знала. «У нее совсем нет бриллиантов!..» «У него совсем нет денег!» — говорила она, и это означало, что у встреченной дамы есть необыкновенные драгоценности и что встреченный господин чрезвычайно богат. «Да, в ней, к сожалению, все усиливается элемент terre-à-terre¹. Она Лина, Лина без заговора, без шифрованных писем, правда, и без Лиддеваля», — думал он, поглядывая на часы. Простились они на ниццком вокзале трогательно, Надя прослезилась, да и ему было очень жаль уезжать от нее. Но в поезде он все время себя спрашивал: «Что же будет, когда мы женимся?..» От адвоката все не было известий о разводе.

В письмах он о «Рыцарях Свободы» писал уклончиво, так что ему самому было совестно: не любил и не умел лгать, даже лгать посредством умолчания. «К тому же она умна и сразу догадается, да и не так трудно догадаться». От Нади в самом деле скоро пришло печальное письмо:

«Я вижу, что дело с «Рыцарями» отложено ad calendas graecas², — писала она. — Что же делать? Я не хочу тебе мешать. Это твое дело. Ты меня зовешь переехать в Париж. Но это так говорится, будто мы в Париже вдвоем будем проживать меньше, чем живя в разных городах. Одна моя поездка обойдется тысяч в десять, и я знаю, что такое парижская жизнь. Ты мне сто раз предлагал деньги, но мне так, так не хочется их брать у тебя. Правда, у тебя их теперь гораздо больше, чем было. Кстати будь сказано, я догадываюсь, что ты бросил ОН ради меня, и ты понимаешь, как я это ценю. Но мне по-прежнему хочется жить на свои средства. Даже в том случае, если мы и в самом деле поженимся, я хочу иметь свой заработок и не быть тебе в тягость. «Приданого» же у меня, сам знаешь, только зеркальце, как у царевны в пушкинской сказке.

¹ Приземленность (*фр.*).

² До греческих календ (*лат.*).

Теперь не те времена, когда работал один муж, а жена занималась хозяйством и детьми, которых у нас и не будет... Не скрываю, что я возлагала много надежд на «Рыцарей Свободы». Я так люблю эту пьесу, люблю тебя в ней, люблю свою роль, то есть ту, что мне обещана. Теперь все надолго отложено. Разумеется, ты нисколько не виноват. Не виноват даже и милейший Альфред Исаевич: до своего возвращения в Нью-Йорк он, естественно, не может заниматься делами театра. А теперь, оказывается, он ставит во Франции фильмы. Своей второй пьесы ты мне не прислал, но я понимаю, что я не могу играть главную роль (кстати, кто же именно будет играть ее?). Если есть вторая хорошая роль и если ты можешь добиться того, чтобы она была мне предоставлена, то надо ли говорить, что я приеду тотчас! Ехать же на авось, с риском нарваться на отказ, было бы и мне, и даже тебе слишком тяжело».

Он ответил длинным, очень горячо написанным письмом. Говорил, что пока в студии хаос, что Пемброк ставит одновременно два фильма. «Так или иначе, роль для тебя должна найтись и найдется, но для этого необходимо, совершенно необходимо, чтобы ты была здесь. Умоляю тебя приехать возможно скорее. Ты не можешь себе представить, как я по тебе соскучился, как мне тяжело без тебя! Не скрою, я был изумлен и чрезвычайно задет словами «если (!!!) мы поженимся», как и словами о детях. Все это так странно. Теперь ты *должна* приехать. Говорить же о деньгах просто стыдно».

Это было почти правдой. Легкая натяжка (не смотря на три восклицательных) была только в словах о женьтибе: они его действительно задели, но не изумили. Верно было, что ему без нее тяжело, но он знал, что будет нелегко и с ней. «Пишет почти с колкостями: «Было бы и мне, и *даже* тебе слишком тяжело...» Уже ревнует к еще не выбранной артистке! Если она окажется в Париже без роли и без дела, а я буду проводить с артистками целые дни в студии, ей «и *даже* мне» будет мучительно. Но я люблю ее как прежде. Что ж делать, если ее развод еще не оформлен? Нет, нужна совершенная определенность, необходимо жить вместе, уж это совсем вздор, будто она не может жить на мои деньги! Зачем она пишет «ad calendas graecas»?

... Приятны в ее письме были только слова о том, что он бросил ОН ради нее.

Через два дня от Нади пришло нежное письмо. Она сообщала, что приедет, как только получит платье от портнихи и закончит другие дела в Ницце. Не спрашивая ее о согласии, он тотчас перевел ей по телеграфу пятьдесят тысяч франков. В первый раз давал ей деньги; это именно закрепляло отношения. Надя кратко и смущенно написала, что он угадал: денег у нее почти не оставалось.

В ожидании ее приезда он работал еще больше прежнего. Ложился спать поздно и спал плохо. Иногда ему снились какие-то связанные с пьесой происшествия. Во сне казалось, будто явилась превосходная мысль; потом она оказывалась вздором. Порою он уже мысленно почти соглашался на то, что предлагал Пемброк: «Сдам им проклятое идиотское экспозе. Пусть они, руководясь стилем первого действия, пишут сценарий сами. Этот Луи в самом деле талантливый человек. Конечно, тут «линия наименьшего сопротивления», но, по крайней мере, так моя ответственность меньше».

Ему казалось, что против него как писателя кем-то составлен заговор. В той спешке, в которой вначале приходилось работать, он дурел к вечеру не меньше, чем прежде после нескольких часов перевода. Яценко не ездил на понедельник Дюммлера и смутно чувствовал, что дело не только в усталости: ему было бы совестно рассказывать старику о своей нынешней работе.

«Быть может, есть и некоторое преимущество в том, что я начал писать поздно, — думал Виктор Николаевич. — Мы в России были положены в холодильник: кто не сгнил, тот законсервировался. Другие, как я, не писали, а думали, думали о том, что можно было бы писать и как можно было бы писать, если вообще там можно было писать. Это не значит, что из России посыпятся шедевры, как только она станет свободной. Огромное понижение умственного и морального уровня скажется на всех, даже на самых лучших. Но все-таки я лет пятнадцать ничего не писал и напряженно думал об искусстве, это случай довольно редкий в истории литературы. Дюммлер прав: вечно только *доброе* искусство, вернее, то, которое прошло через анализ зла и достигло мудрости в добре.

Мне казалось даже, что в этом одна из особенностей русской литературы, точнее, ее вершин, так как ни в одной другой литературе нет такой разницы между верхами и средним уровнем. Толстой недосыгаем: кроме, быть может, Пруста, да и то нет, нет равного ему романиста в мире. Средний же наш уровень гораздо ниже европейского и особенно американского. Западная литература за последние полвека, скажем, от Золя до нынешних Сартров, шла по пути анализа зла, и тут уже больше почти нечего делать. Наши великие писатели сознательно или бессознательно шли от зла к добру. Главное заключается в том, чтобы, видя зло, изображая зло с полной ясностью, преодолеть в себе злобу против зла. И зло ведь покроеется смертью, которая все «облагораживает», делая все одинаково безобразным и бессмысленным... Да, я знал, Лина поэтичнее Нади и большего хочет в жизни. Надю я и не мог бы себе представить в Ордене «Рыцарей Свободы». В Лафайета и Бернара я вложил лучшее, что мог сыскать в себе, но здесь сублимирование было всего труднее, так как человек себя слишком хорошо знает и уважать себя ему трудно. Громадное большинство людей выходит из этого положения тем, что об этом думают мало и меньше всего занимаются самоанализом. И хуже всего то, что они меня хвалят!»

Пемброк теперь при каждой встрече осыпал его комплиментами.

— Вы внесли новую, свежую струю, — неизменно говорил он.

«Главное в том, чтобы художественное творчество было *адекватно* жизни, — думал Виктор Николаевич. — Но, разумеется, пьеса не может быть вполне адекватна, хотя бы уже потому, что приходится думать о всяких постыдных мелочах, надо, чтобы публике ни на минуту не было скучно, надо, чтобы каждая картина могла быть разыграна в такое-то число минут. Правда, эти постыдные ограничения относятся и к самому высокому искусству: если бы Бетховен хотел выразить свои чувства в симфонии, которая продолжалась бы семь или восемь часов, то он *не мог бы* это сделать. Пьеса же условна по самой своей природе. Роман другое дело, особенно если объединить его с драмой. *Полной* адекватности с жизнью не может быть и в нем, но в нем, по крайней мере, можно не считаться

с предписаниями теории словесности. В нем может быть и триста страниц, и три тысячи. Роман, самый свободный из всех видов искусства, должен был бы включать в себя все: политические, философские, метафизические рассуждения, мог бы менять форму, мог бы переходить из одного периода времени в другой. Французская идея романа, построенного по всем правилам композиции, так же устарела, как три единства классической трагедии. На беду ею дорожат именно издатели, и, быть может, они одни. Еще не устарели, но очень скоро устареют все новые выверты. Романист, потрясенный творчеством Кафки, скоро станет забавной фигурой прошлого. Быть может, и театр вернется к старой вечной формуле Стендаля: действие, характеры, стиль. К ним надо прибавить главное, то, что Стендаль, вероятно, подразумевал: идеи...»

Но в худшие свои часы, в опровержение своих же мыслей, Яценко думал, что все-таки пятнадцать лет в советском холодильнике погубили и его жизнь, и его талант. «Какое критику или читателю дело до того, что в России я не мог писать, не мог просто по чувству собственного достоинства, которое там так старались из нас всех вытравить. Я там переводил, и для этого также приходилось лгать, скрывать, гнуть спину, подличать. Мы все там были связаны круговой порукой низостей, мы *должны* были их совершать, чтобы жить. Они отчасти в нас собственное достоинство и вытравили, как гитлеровцы у людей в концентрационных лагерях. Я делал меньше низостей, чем многие другие, но и мне иногда было стыдно смотреть людям в глаза. И так было со всеми, с самыми лучшими из нас, особенно с людьми старшего поколения. Мы даже и не посмеивались, как авгуры, глядя друг на друга, — настолько все это было привычно. Да и посмеиваться было бы опасно. Я нашел выход в том, что ни в чем не участвовал, ни к чему не приставал, все надеялся на будущее и утешался горделивыми афоризмами вроде «Der Starke steht am mächtigsten allein»¹. Если б все можно было забыть, вычеркнуть из памяти! И вот почему мне были неприятны эмигранты, покинувшие Россию в начале революции. Они через все это не

¹ «Сильный человек сильнее всего в одиночестве». — *Пер. с нем. автора.*

прошли и верят или делают вид, будто верят в чувство своего достоинства».

Он действительно со старыми эмигрантами сходил-ся плохо; говорил, что они ничего не знают и потому ничего не понимают. Однако при редких встречах оказывалось, что ничего особенно нового он им сообщить не может. «Дело не в том, чтобы *знать*, дело в том, что мы *прошли* через эту грязевую ванну: она оставляет *неизгладимый* след на душе, как на руке клеймо гитлеровского концентрационного лагеря». Не любил он и эмигрантских публицистов. Ему казалось, что число доступных им понятий невелико, что весь их кругозор очень ограничен. «В сущности, большевики оказали им большую услугу: если бы большевиков не было, им было бы решительно нечего сказать». Но Яценко с неудовольствием замечал, что такое же чувство холодной враждебности испытывали по отношению к нему самому эмигранты, бежавшие из России во время второй войны. «У них тоже какая-то привилегия по знанию чего-то. Верно, от их дополнительной *немецкой* линии. И, быть может, это одна из причин, по каким нам трудно писать о *себе*, как всю жизнь о себе писал Толстой в своей почти наивной уверенности гениального человека, что *все* в его жизни интересно другим людям, даже его успехи или неудачи по сельскому хозяйству в «Анне Карениной». Грешил же он против *себя* тем, что, будучи пожилым, даже просто старым человеком, избирал всегда главными героями молодых людей... Ужасное это слово «герой»! Всякий раз, как я встречаю в романе слова «наш герой», мне хочется бросить роман в печку... У меня «герой» будет пожилой человек, я сам, и писать о себе я буду если не всю правду — это почти невозможно, — то, во всяком случае, только правду. Теперь иные писатели, называющие себя реалистами, лгут о себе, как в некрологах... И надо следовать правилу доктора Джонсона: выбрасывать каждую фразу, которая покажется автору красивой».

Раза три или четыре он обедал с Пемброком в дорогих ресторанах. Эти обеды считались деловыми. Однако, к некоторому удивлению Виктора Николаевича, о делах на них почти не говорилось: он еще не знал, что они нужны больше для подготовки дела, для создания нужного настроения. На одном из этих обедов Пемброк неожиданно сообщил ему, что теперь

можно и не так торопиться: главная из приглашенных артисток, от участия которой больше всего зависел успех и которая тоже была в восторге от его пьесы, была занята еще на два месяца. «Так что крутить мы раньше января не начнем, работайте не волнуйся», — сказал Альфред Исаевич и тотчас пожалел о своих словах: так неприлично обрадовался Яценко. «Хотя нет, он не лентяй, он будет работать и дальше», — подумал Пемброк.

После этого жизнь стала легче. Денег у Виктора Николаевича теперь было много. Не было обязательных часов работы, какие тяготили его в Организации Объединенных Наций. Он приезжал в студию и уезжал из нее когда хотел, пользуясь автомобилями общества. Все были с ним чрезвычайно предупредительны и любезны: Пемброк при первом своем приезде в студию отрекомендовал его: «Уолтер Джексон, наша находка и гордость!» К тому же он был *американец*, единственный, кроме самого Пемброка, американец в деле. Беспредметная расточительная суета кинематографа теперь распространилась и на него. Он встречался с артистами, известными всей Франции, а может быть, и всему миру, участвовал в *деловых* завтраках и обедах, где никакого дела не было, но всегда бывали икра и шампанское. Платил обычно Пемброк, иногда Яценко от этого отказывался и вносил свою долю, составлявшую три-четыре тысячи франков. Некоторые люди на этих завтраках раздражали его своей некультурностью, суетливостью, жадностью, манией величия, и все же в общем новая среда казалась ему своеобразной, забавной, часто по-детски милой. Понемногу его втягивала эта жизнь. Он начинал чувствовать, что и сам принимает какое-то участие в заговоре успеха против искусства. Случалось ему испытывать и то же чувство, которое он испытывал во дворце Шайо: «Чем бы это могло быть, и что такое выходит из столь могущественного, самого могущественного в мире способа воздействия на людей?!»

II.

— Мосье Жаксон, вас желает видеть один господин... Нофо или как-то так. Я просил его дать визитную карточку, но у него не было, — сказал консьерж.

По его пренебрежительному тону можно было догадаться, что господин не из важных. Как почти весь низший персонал студии, консьерж сочувствовал коммунистам, но он был человек благодушный и поддерживал самые лучшие отношения с начальством. Настроение в деле было вообще мирное, товарищеское, приятное; труд оплачивался отлично, денежные споры возникали редко и почти всегда разрешались легко: в кинематографе деньги тратились на все, особенно на знаменитостей, так щедро, что претензии низшего персонала не имели большого значения. Техники и статисты знали или догадывались, что главные артисты получают по несколько миллионов франков за два-три месяца работы, но и это их не раздражало. На Пемброка же они смотрели с любопытством и благожелательно: им лестно было видеть живого американского миллиардера.

— Попросите его войти, — сказал Яценко. Через минуту в комнату вошел незнакомый ему старик, действительно одетый довольно бедно. Он с любопытством оглядел Джексона, комнату, письменный стол, на мгновение задержавшись взглядом на книгах.

— Мистер Вальтер Джексон? Разрешите представиться, Макс Норфольк, — по-английски сказал он.

— Садитесь, пожалуйста. Мне сообщил о вас мистер Пемброк. Кажется, мы с вами будем вместе работать?

— Так точно, и я этому очень рад, — сказал старик. — Говорят, вы написали превосходный сценарий. Это тем более приятно, что я за всю свою жизнь не видел ни одного хорошего фильма.

— Вот как? Такие вещи редко приходится слышать от людей, работающих в кинематографическом деле.

— Я в нем работаю с позапрошлой недели. Я был изобретателем, журналистом, ходатаем по делам, судомойкой, консьержем гостиницы, революционером, сыщиком.

— Что ж, это полезная школа, — с недоумением сказал Яценко.

— Была бы очень полезная школа, — подтвердил старик, — если б не то, что мне пользоваться учением осталось уже не так долго.

— Мистер Пемброк сообщил мне, что вы представляете интересы финансовой группы, с которой он

заклучил соглашение. Чем я могу быть вам полезен?

— Мне прежде всего хотелось бы ознакомиться с вашей пьесой и сценарием. Когда работаешь в каком-либо деле, то не мешает знать, что именно в нем делается. Это не обязательно, громадное большинство людей не понимают, что они делают и для чего они это делают. Но именно, как я сказал, не мешает. Не могли ли бы вы дать мне пьесу?

— Если вы разрешите, я ее вам дам через три дня, — сказал он, подумав. Его вдруг осенила мысль: этот старик как будто очень подходил для пьесы, по крайней мере по наружности. «Да и имя очень подходящее: Макс. Неопределенное интернациональное имя... Так, понемногу, достаешь материал. Ведь я и идею ведьмы заимствовал из рассказа Тони. Впрочем, только то, что у человека наших дней прабабкой была ведьма. С бароном, конечно, у Тони ни малейшего сходства быть не может, разве только в маленьких деталях». — К сожалению, моя пьеса еще не совсем готова, — сказал Яценко.

— Расин говорил о «Федре»: «C'est prêt, il ne reste qu'à l'écrire»¹. Но тем более лестно, что Пемброк ее принял. Он, так сказать, Гёте этого веймарского театра. Мой босс в художественную часть не вмешивается.

«Право, он годится и не только по наружности, — с восторгом подумал Яценко. — Мой Старик, верно, сказал бы что-либо вроде этого!»

— Через три дня я вам дам первые три картины, они почти готовы, — смущенно сказал он.

— Но ведь, кажется, «экспозе» уже написано?

— Да, но в первой редакции, а это, как вы верно знаете, не означает почти ничего. У меня некоторые действующие лица еще и не названы. Кстати, главное из них носит то же имя, что вы: Макс. Никакой фамилии я ему не даю, как и некоторым другим персонажам.

— Вот как? В старых пьесах в перечне действующих лиц о них сообщалось решительно все: возраст, наружность, родственные отношения, даже характер. А то читатель, ознакомившись с пьесой, еще мог бы ошибиться: вдруг он подумал бы, что маркиза де

¹ «Трагедия готова, остается только написать ее». — Пер. с фр. автора.

Санта-Фе очень глупа, а на самом деле она должна быть умницей. Теперь другая крайность: автор не дает даже фамилий.

«Совсем мой Старик! — подумал Яценко. — Надо с ним познакомиться поближе».

— Нам предстоит вместе работать. Не хотели ли бы вы сегодня со мной пообедать? Вы свободны?

— Как птица, — весело сказал старик. — Мне нравится, что вы не генерал. Вы, кажется, русский? Я люблю русских. Люблю и американцев. Я сам американец по паспорту, но не по крови. У меня тоже псевдоним, и вдобавок идиотский: я сто лет тому назад из озорства взял себе имя первого пэра Англии!

«Положительно, «жизнь подражает искусству», — подумал Яценко. — Теперь моя пьеса готова. Макс Норфольк в действии, как Лина, по крайней мере по замыслу, была Надя в действии».

Они вместе пообедали в тот же день, затем встречались и обедали почти ежедневно. Яценко нарочно выбирал недорогие рестораны, так как старик непременно хотел платить свою долю и говорил неизменное «dutch treat»¹. Его разговоры, наблюдения над ним оказались чрезвычайно полезны Виктору Николаевичу. После каждой встречи он переделывал и дополнял свою пьесу. «Странные вещи происходят в искусстве: сначала выдумываешь человека, а позднее находишь его в жизни!» Яценко, впрочем, понимал, что не выдумал Макса Норфолька. Его Старик, выразивший идею снисходительности к людям, первоначально был даже не очень похож на этого старика. Но теперь главное действующее лицо пьесы стало казаться ему живым. «В «Lie Detector» я его активизирую: он попадает не в историческую трагедию, как было в «Рыцарях Свободы», а в водоворот событий бытовой пьесы с напряженной фабулой. Жаль, что я уже показал пьесу Пемброку. Впрочем, он будет помнить только их глупое «экспозе» и, верно, даже не заметит, что я образ Старика переделал. Лишь бы только этот Норфольк не узнал себя и не обиделся. Хотя за что же ему тут обижаться? Мой Макс очень привлекателен».

Через неделю переделанная пьеса была отдана в

¹ «Каждый платит за себя». — *Пер. с англ. автора.*

переписку. Вместо «Старик» везде значилось «Макс». А на следующий день, когда Норфольк зашел в его кабинет, Яценко смущенно отдал ему новую тетрадку.

— Прошу вас сказать мне свое мнение совершенно откровенно.

— Разумеется, разумеется. Сейчас же и начну читать. Кажется, в вашей студии есть бар? Нет, не прожайте меня, я найду.

— И еще одно, — сказал Виктор Николаевич. — Я вам даю французский перевод. Пьеса написана мною по-русски, но предназначается она для американцев, и я некоторые фразы или отдельные слова вставил в свою рукопись по-английски, по-русски вышло бы хуже. Французский переводчик их не перевел. Это приведет на вас впечатление некоторой недоделанности. Сделайте на это мысленную поправку... Как и на кое-что другое. На известную условность положений... Быть может, кое в чем вы найдете и некоторую фальшь. Но она ведь есть почти во всех драмах.

«Лишь бы только его пьеса не оказалась совершенной дрянью, как громадное большинство пьес и как все сценарии, — думал Норфольк по дороге. — Теперь, вероятно, направо?» Он только во второй раз был в студии, но обычно легко находил дорогу в заведения, где продавались спиртные напитки; шутил, что в этом, как во всем в жизни, руководится простым правилом: «Надо исходить из того, что люди неизменно поступают вопреки требованиям здравого смысла: женятся на тех женщинах, на которых им жениться не надо; объявляют войны, когда их поражение математически неизбежно; строят большие города на болоте, как Петербург, на лагунах, как Венецию, или в соседстве с вулканом, как Помпею; бар открывают в самом неподходящем месте, в темной тесной комнате, и у стойки ставят неудобные узенькие высокие стулья без спинок, так что ни сидеть, ни пить нет охоты...» Он шел по длинным коридорам студии, с любопытством поглядывая по сторонам, останавливаясь у объявлений и фотографий.

Кофейня, в которую он вошел, не была ни темной, ни тесной, но Макс Норфольк говорил, что о своих несбывшихся предсказаниях забывает с такой же легкостью, как государственные люди. У стойки он заказал мартини и тотчас вступил в разговор с *барме-*

ном. Спросил, завтракают ли здесь, в кофейне, и хороша ли у них кухня, причем добавил, что задает идиотский вопрос: служащие ресторанов редко отвечают, что у них кухня плохая. Спросил, почему сейчас никого нет, и, узнав, что в три часа все на работе, неодобрительно покачал головой. Спросил, приходят ли сюда знаменитости и что они едят и пьют. «Так, так, салат, фрукты, чай с лимоном без сахара», — повторял он с отвращением. Бармен отвечал ему охотно. Он не мог понять, что это за человек: не француз, не артист, не техник — верно, из свиты американского миллиардера. Старик, однако, бармену понравился: по тому, как онпил, было видно, что он понимает дело, и, хотя он был одет бедно, чувствовалось, что это хороший клиент. Выпив первый коктейль, Норфольк заказал второй по своему рецепту. Бармен выслушал внимательно и нашел идею интересной.

— Только эту штуку вы уж подайте мне вон туда, — сказал Норфольк, указав на столик в углу. Устроившись на жестком диване, он заглянул в окно. Во дворе стояло несколько автомобилей. «Вот этот очень недурен, «делаэ» последнего образца...» Затем пробежал забытый на столе засаленный листок с меню завтрака и узнал, что за двести франков можно было получить *hors d'oeuvres variés*¹, затем на выбор бифштекс или жареную рыбу, салат, сыр и фрукты. «Рассчитано на низших служащих. Знаменитости сюда приходят потому, что в город далеко ехать, и еще из демократического чувства: играют, конечно, в *простые, чисто товарищеские отношения* с низшим персоналом и серьезно уверены, что такие отношения возможны между телефонисткой и звездой, получающей десять миллионов за фильм...» Карты вин не было; на листке указывалось только, что графинчик красного стоит шестьдесят франков. Норфольк был доволен. Цена завтрака была для него вполне приемлема; он мысленно сосчитал, сколько будет тратить на еду в месяц, — оставалось немало и на все другое, думал об этом с приятным чувством много голодавшего на своем веку человека. «Что бедно одет, это вздор. Умные люди понимают, что заштопанная, но чистая одежда — это теперь безошибочный признак некоторого аристократизма. Ну, не безошибочный, а все-таки признак...»

¹ Разные закуски (*фр.*).

Когда бармен принес новый коктейль, Норфольк его попробовал, удовлетворенно кивнул головой и вынул из оттопыренного кармана старенького пальто обе тетрадки. («Значит, сценарист», — подумал бармен.)

THE LIE DETECTOR

**БАРОН
БАРОНЕССА
МАКС
МАРТА
АПТЕКАРЬ
ГОРНИЧНАЯ БАРОНЕССЫ
СЛУГА В ГОСТИНИЦЕ**

Действие происходит в наше время, осенью, на протяжении нескольких дней, в очень хорошей нью-йоркской гостинице. Декорация, в сущности, одна. Барон и баронесса снимают в гостинице апартамент из шести комнат, включающий два салона. Они обставлены одинаково; только в салоне барона группа из стола и кресел находится справа, а диван слева; а в салоне баронессы — наоборот: диван справа, стол и кресла слева. Кроме того, картины на стенах другие: в одном — виды охоты, в другом — портрет какой-то по-старинному одетой дамы. Во всем остальном — одна и та же обстановка салона в дорогой гостинице; ковры поверх бобрика, шкафчики, золоченая мебель, камин в глубине, над ним зеркало. Под зеркалом на камине в салоне барона какой-то восточный фарфоровый бюст. Впрочем, он виден только тогда, когда у зеркала освещаются лампочки.

Действие всех картин происходит вечером при электрическом освещении.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Салон барона. За столом сидят барон и Макс. На столе телефон, бутылка и два бокала. Барон — очень красивый тридцатилетний человек, одетый по самой последней моде. На лице у него скучающее выражение. Говорит с очень легким иностранным акцентом. Макс — старик лет семидесяти. Оба они выпили немного больше, чем следовало бы. Девятый час вечера.

Макс. Ведь первый муж вашей жены был маркиз?

Барон. Да.

Макс. После его безвременной кончины она вышла за вас. Вы только барон. Значит, брак с вами был не

только чудовищной глупостью с ее стороны, но и социальным понижением?

Барон. Да.

Макс. И вы твердо решили развестись с ней?

Барон. Да.

Макс. И вы твердо решили получить с нее при этом деньги?

Барон. Да. *(Зевает.)*

Макс. Говорят, у Шекспира было пятнадцать тысяч слов. У вас, по-видимому, сегодня есть только одно... Вы хотите получить с нее пятьдесят тысяч долларов?

Барон. Нет.

Макс. Слава Богу, второе слово! Чего же вы хотите?

Барон. Я хочу получить с нее сто тысяч долларов.

Макс. Почему так много, young rascal?¹

Барон. Мне очень нужны деньги, old fool².

Макс. Это, конечно, серьезный довод, но, может быть, все же недостаточный... Кстати, довожу до вашего сведения, что настоящие, то есть умные циники всегда говорят не как циники, а как идеалисты: это им выгоднее.

Барон. Я не циник. Но что ж делать, деньги вещь совершенно необходимая.

Макс. Неужели? У вас страсть к каким-то изоциренным парадоксам... Нет, ста тысяч она вам никогда не даст. Если б вы еще были герцогом! Но вы просто захудалый барон.

Барон *(обиженно)*. Почему захудалый? Мой род восходит к пятнадцатому веку. Один мой предок был казнен в 1609 году.

Макс. Иметь казненного предка это, конечно, социальная distinction³. При условии, что он был казнен не менее двухсот лет тому назад. За что его казнили, young rascal?

Барон. За пустяк, old fool. Он сошелся с женщиной, которая оказалась ведьмой.

Макс. Это бывает и в наше время. И что же?

Барон. Раз вечером мой предок шел лесом к своим друзьям. К нему внезапно подбежала волчица. Он выхватил меч и отрубил ей лапу. Она завизжала чело-

¹ Молодой мошенник. — Пер. с англ. автора.

² Старый дурак. — Пер. с англ. автора.

³ Знатность *(англ.)*.

веческим голосом и убежала. Дойдя до замка друзей, барон с тревогой и гордостью показал им свой трофей. *(В его голосе проскальзывает ужас. Макс с любопытством на него смотрит.)* Вдруг из окровавленной лапы выпала кисть женской руки! Оказалось, что колдунья по ночам уходила в лес, напяливала на себя волчью шкуру и бегала по лесу на четвереньках.

Макс. Что ж, каждый проводит время как ему нравится. И что же?

Барон. Власти произвели расследование. Колдунью с отрубленной рукой нашли — и оказалось, что она была любовницей барона. Думаю, что просто его выслеживала из ревности. Он был очень красив... Я точная его копия, судя по его портрету. В гневе она прокляла его и весь наш род. Ее пытали. Она показала, будто он знал, кто она. Колдунью сожгли, а моего предка только обезглавили.

Макс. Как приятно быть дворянином!

Барон. С тех пор над нашим родом повисло проклятие волчицы.

Макс. И разумеется, все ваши другие предки с той поры погибли трагической смертью, young gascal?

Барон. Нет, old fool, все они жили очень счастливо, служили верой и правдой своим королям. Но я погибну трагически.

Макс. Вы непременно, рано или поздно, выдадите чек без покрытия. Проклятие волчицы исполнится, но вас не обезглавят. Вы только посидите несколько месяцев в тюрьме. Что ж тут такого? С кем это не случилось?

Барон. Я не хочу сидеть в тюрьме.

Макс. Я знаю, что вы оригинал.

Барон. Что до проклятия, то... дураки никогда не бывают суеверны.

Макс. Это сказал Байрон. Дорогой друг, неужто вы читали Байрона?

Барон. Нет, я прочел эту цитату в какой-то газете.

Макс. То-то... А достать для вас у вашей жены сто тысяч я все-таки не могу.

Барон *(уверенно)*. Можете. Вы имеете огромное влияние на мою жену. Сам не знаю почему. Человек вы недалекий и, скорее, пошлый, хотя и не лишенный остроумия.

Макс. Не засыпайте меня лестью: я о ста тысячах даже не заикнусь.

Барон. Это печально.

Макс. Очень. Чувствуете ли вы, по крайней мере, что ваша жена имеет большие достоинства? Правда, как женщина, она хотя еще очень привлекательна, но для меня чуть-чуть уже стара. Я как-то случайно видел ее бумаги: ей тридцать восемь лет. Впрочем, она своего возраста не скрывает: говорит, что ей тридцать два, это вполне корректная и приличная скидка — меньше двадцати процентов. Конечно, у нее есть маленькие недостатки. Она скуповата, или, по крайней мере, не щедра. Она бывает и грубовата. Светская дама, баронесса и говорит: go to hell!¹ Вероятно, это вы ее научили? Она нервна, но не сумасшедшая. Вы не очень нервны, но вы имеете все задатки сумасшедшего.

Барон. Это ваш комический Lie Detector обнаружил мое сумасшествие?

Макс. Отчасти и он, хотя не только он.

Барон (*неуверенно*). Надеюсь, вы не думаете, что я верю в ваш прибор? Это просто какой-то трюк, и не очень трудный. Ведь вы были в молодости фокусником.

Макс. Всего полтора года. Я был в жизни изобретателем, сыщиком, фокусником, психологом, переводчиком в покойной Лиге Наций, комиссионером по продаже бриллиантов, управляющим гостиницей, наблюдателем при игорном доме...

Барон. Вы можете сократить вашу автобиографию... На каком принципе, вы говорите, основан ваш прибор?

Макс. Это очень просто. (*Врет первое, что ему приходит в голову.*) Как вы знаете, субстратом душевной жизни является кора головного мозга. Она цитоархитектонически делится на одиннадцать областей. Из них Гиппокампова область испускает альфа-лучи скоростью в два ноль шесть, помноженных на десять в девятой степени сантиметров в секунду. Они действуют на мембрану моего аппарата с энергией в один тридцать один, помноженных на десять в минус пятой степени эргов...

Барон. Не продолжайте, ваше объяснение совершенно понятно каждому ребенку. Говорите лучше не об эргах, а о долларах моей жены.

Макс. Слушаю-с. Я буду просить вашу жену дать

¹ Идите к черту! (*англ.*)

вам пятьдесят тысяч. Сделаю это против убеждения. Я на ее месте не дал бы вам ни одного цента. Но что ж мне делать? У меня к вам симпатия.

Барон. Mutual¹.

Макс. Конечно, вы son of a bitch². Но если судить о вас, исходя из этой аксиомы, то станет ясно, что вы породистый son of a bitch, приятный son of a bitch и даже добрый son of a bitch. Знаете ли вы сами, что у вас есть еще одно довольно редкое достоинство? Вам совершенно все равно, что о вас думают люди.

Барон (*очевидно, в первый раз об этом подумавший*). Люди? Современные люди? Совершенно все равно.

Макс. Да, да, современные: ваши предки с вами не были знакомы, а потомство едва ли будет вами много заниматься. И это ваше достоинство тем более удивительно, что по наружности и по манерам вы даже не фат, а пародия на фата... У вас, как писалось в старых романах, «ледяной холод в душе»?

Барон (*очень довольный*). Именно.

Макс. Впрочем, это моя специальность находить в людях скрытые достоинства. Ваша жена теперь в вас никаких достоинств не находит.

Барон (*обиженно*). Почему она не дает мне развода?

Макс (*успокоительно-благодушно*). Даст, даст. И денег даст. К полному моему изумлению, она еще немного вас любит. Кстати, ваш предшественник маркиз тоже женился на ней ради ее богатства?

Барон. Я не знал покойника, но это действительно весьма вероятно.

Макс. Странно. Она хорошая женщина.

Барон. Она прекрасная женщина, damn her³.

Макс (*невольнo смеется*). Может быть, вы пересмотрите ваше решение о разводе? Подумайте, как вам теперь хорошо: она платит по всем счетам, денег у вас сколько угодно... Вы не были прежде в нее влюблены хоть немного?

Барон. Очень немного.

Макс. Странно. Вы ведь ни одной женщины не можете видеть равнодушно. Это, впрочем, симпатичная черта характера. Когда вы разговариваете с муж-

¹ Это взаимно. — Пер. с англ. автора.

² Сукин сын (англ.).

³ Черт ее побери (англ.).

чинами, у вас обычно такой вид, будто вы только что узнали, что ваш отец, мать и все предки погибли в концентрационном лагере. Но стоит показаться хорошенькой женщине, и вы совершенно преображаетесь: у вас блестят глаза, вы болтаете без конца, вы становитесь даже умны! А может быть, эта женщина на вас и смотреть не хочет?

Барон. Нет, этого не может быть.

Макс. Вот-вот, пародия на фата, несмотря на «ход-лод в душе». (*Меняет тон. Очень серьезно.*) А что же будет с Мартой?

Барон. Это не ваше дело.

Макс. Других доводов вы не понимаете, но позвольте вам сказать следующее. Марта, конечно, прелестная девочка, но она зарабатывает как стенографистка этой гостиницы долларов семьдесят в неделю. А вы всю жизнь ничего не зарабатывали, вы даже не знаете, как это делается... Вы сделаете большую ошибку, женившись на Марте.

Барон. Кто же не делает ошибок? Зачем Гитлер объявил войну?

Макс. Быть может, его недостаточно предостерегали, а я вас предостерегаю в десятый раз. Хорошо, поговорим о другом... Зачем вы стали писать книгу о старом фарфоре? На какого черта вам старый фарфор?

Барон. Вы ошибаетесь, я знаток. Я с первого взгляда могу отличить Севр от Мейсена, а мейсенский от китайского.

Макс. С первого взгляда на метку. На Севре изображены две буквы, на мейсенском два меча, а на китайском, кажется, какие-то рыбки.

Барон. Другие и этого не знают. Книгу же я пишу потому, что нужно ведь занять как-нибудь пять-шесть часов в день, остающиеся от ресторанов и ночных клубов.

Макс. Кроме того, под предлогом диктовки вы вызываете к себе Марту на несколько часов. (*Саркастически.*) Для работы. Имейте в виду, что если я и достану вам пятьдесят тысяч...

Барон (*вставляет*). Сто тысяч.

Макс. ...если я и достану вам пятьдесят тысяч, то о ресторанах и ночных клубах все равно придется забыть. Вы будете иметь где-нибудь в Бруклине две комнаты с ванной, рефрижерейтором и телевизором. Это вам скоро надоест.

Барон. Увидим. Я обожаю Марту.

Макс. Вы, наверное, ни одну женщину не обожали больше трех месяцев.

Барон. Неправда, случилось и шесть! Кроме того, повторяю, это вас совершенно не касается, old fool.

Он встает, подходит к зеркалу над камином и зажигает сильные лампы. (Освещается фарфоровый бюст.) Прихорашивается. Пробует несколько поз и жестов: цезарьский, наполеоновский.

Макс. Ave Caesar!.. Vive l'Empereur!¹

Барон. Я похож на Роберта Тейлора.

Макс. Зачем вы скромничаете? Роберт Тейлор похож на вас.

Барон (*возвращается к столу, наливает себе еще виски*). Может быть, я уеду в Голливуд. А может быть, уйду в монастырь. Или же стану коммунистом. Вы и не представляете себе, как мне скучна вся современная жизнь и, в частности, демократия. Я и газет не читаю, кроме светской хроники и театральных объявлений.

Макс. Вы даже не знаете, как зовут президента Соединенных Штатов.

Барон. Согласитесь, что я человек, не похожий на других людей.

Макс. Все люди, говорящие, что они не похожи на других людей, очень похожи друг на друга. И таких тоже миллионы.

Барон. Я все презираю в современном мире! Ни о чем даже не могу говорить серьезно.

Макс. Современный мир это переживет, хотя и с душевной болью.

Барон (*пьет*). Если вы мне достанете от баронессы сто тысяч, я вам уплачу десять процентов комиссии.

Макс (*очень сердито*). Идите к черту! Я с вас ни гроша не возьму! Я это делаю не для вас, а для Марты, чтобы вы не жили на ее заработки.

Барон. Я знаю ваше ласковое отношение к хорошеньким барышням, вчетверо моложе вас.

Макс. Не вчетверо! Марте двадцать два года.

Барон. Значит, в три с половиной раза.

Макс. Нет, не в три с половиной, а в три! (*Успокаивается.*) Выясним, чего мы хотим, а? Вы хотите развестись с баронессой, получить от нее деньги и

¹ Да здравствует Цезарь!.. Да здравствует император!.. (*лат., фр.*)

затем каждые три месяца менять любовниц. А я хочу... (Думает.) Чего я хочу? Я хочу, чтобы вы не губили Марту и поскорее уехали куда-нибудь в Сахару или на Северный полюс. Нельзя же вас кастрировать!

Звонит телефон. Барон берет трубку аппарата.

Барон. Да, да, пожалуйста, скажите мисс Марте, что я жду ее для диктовки. Пусть она поднимется тотчас, у меня масса работы. Благодарю вас. (Кладет трубку.) Сейчас придет мисс Марта, я буду ей диктовать. (Смотрит на Макса многозначительно. Тот делает вид, будто не понимает. Пауза. Барон начинает напевать песенку «*Whether you young, whether you old...*»¹ У него приятный баритон. Макс вторит фальшивым баском. Стук в дверь.)

Барон и Макс (одновременно). Войдите.

Входит Марта. Барон и Макс сразу очень оживляются. Она очаровательна. Одета она «как все», то есть как все небогатые барышни, но мило и со вкусом. Хорошо причесана, как будто сейчас от парикмахера. Ногти выкрашены и отделаны, как будто она сейчас от маникюрши. У нее в руках пишущая машинка.

Барон и Макс (вместе, радостно). Добрый вечер!

Марта (тоже радостно). Добрый вечер, сэр. Добрый вечер, Макс.

Барон поспешно берет у нее машинку и ставит на столик. Макс так же предупредительно пододвигает ей стул, но не к столику с машинкой, а к столу, на котором стоят напитки. Она садится.

Марта (оглядываясь на Макса). Я не мешаю?

Макс (невозмутимо). О нет, что вы!

Барон. Нет, вы не мешаєте. (Тоже оглядывается на старика.)

Макс протягивает ей бумажный пакет с папиросами, а барон золотой, украшенный бриллиантами портсигар.

Барон. Parliament?

Макс. Old Gold?²

Марта (нерешительно). Я предпочитаю Parliament. Сама я их никогда не покупаю, они слишком дороги. (Берет у барона папиросу. Макс подает ей стичку и не

¹ «Молоды вы или стары...» (англ.)

² Сорта сигарет.

без удовлетворения смотрит на барона, опоздавшего со своей золотой зажигалкой.)

Барон. Хотите виски, мисс Марта?

Марта. Хочу.

Макс. Нет, не пейте виски. Это не ваш стиль. Теперь не время для коктейлей, но я хочу угостить вас коктейлем моего изобретения. (*Берет со столика с напитками шекер, лед, бутылки.*) Беру одну долю зеленого шартреза...

Барон. Желтый гораздо лучше.

Макс. Вы смеете спорить со мной? Зеленый крепче на двенадцать градусов. Затем две доли водки, две доли виски и три доли поммери.

Барон. Какой вздор! Вы и в напитках ничего не понимаете, как ни в чем другом. Шампанское и водка. Это так же безграмотно, как, например, параллельные квинты в музыке.

Марта (*примирительно*). Мне тоже кажется, Макс, что шампанское не вяжется с водкой. Я обожаю шампанское! Я пила его всего месяц тому назад!

Макс. Ни в музыке, ни в коктейлях нет вечных истин. Вдруг какой-нибудь новый Бетховен покажет, что параллельные квинты и есть верх гениальности? А я показал, что водку можно и должно сочетать с шампанским, которого, кстати, у вас здесь нет.

Марта (*смеется*). Водка, виски, шампанское! Назовите ваш напиток Big Four cocktail¹.

Макс. Нет, я назову его Hydrogen Bomb cocktail²... Его надо долго взбалтывать и подавать очень холодным. Разумеется, никакой вишни! А того человека, который положил бы сюда кусочек апельсина, надо немедленно четвертовать. Дорогой барон, преодолите вашу ненависть ко мне и попробуйте. После трех бокалов вы будете дивно спать.

Барон (*сердито*). Благодарю вас, я всегда сплю как сурок.

Марта. Я тоже. Я засыпаю через минуту после того, как ложусь. Не успеваю даже прочесть заголовки «Daily Mirror».

Макс. Как я вам завидую. (*Барону, очевидно, нарочно дразня его.*) Вы не закажете бутылку поммери, дорогой друг?

¹ Коктейль «Большая четверка» (*англ.*).

² Коктейль «Водородная бомба» (*англ.*).

Барон (*еще сердитее*). Нет. Нам надо работать.

Макс. В таком случае мы обойдемся без шампанского. (*Протягивает Марте бокал. Она робко оглядывается на барона, затем пьет.*)

Макс. Ну, как вы находите?

Марта (*нерешительно*). Недурно.

Макс (*передразнивает ее*). «Недурно»!.. Это лучше нектара!

Марта (*смеется*). Я никогда не пила нектара.

Макс. И никогда не будете пить, так как вы меня не слушаетесь и поэтому попадете в ад.

Марта (*испуганно*). Не говорите таких вещей!

Барон. Мисс Марта, нам пора сесть за работу.

Марта. Да, разумеется. (*Вскакивает и переходит к столику с машинкой. Макс пытается было встать с кресла, чтобы подать ей стул, но, по-видимому, признает это усилие необязательным и остается в кресле. Марта сама переносит стул. Барон достает из ящичка листки и приводит их в порядок, все время злобно оглядываясь на Макса. Старик по-прежнему делает вид, будто не замечает.*)

Барон. Мы сегодня кончим вступление к моей монографии о франкентальском фарфоре. Вы помните, что мы остановились на фарфоре Древнего Востока.

Марта. Да, вы сказали, что кончите вступление какой-то страшной легендой. Я ждала с нетерпением!

Барон. Это легенда острова Маури-Га-Сима.

Макс. Еще одна легенда! Вы злоупотребляете легендами, дорогой друг.

Марта. Я обожаю все страшное!

Барон садится рядом со столиком Марты и в упор смотрит на Макса, все более явно показывая, что его уход был бы весьма приятен. Макс разваливается в кресле.

Макс. С удовольствием послушаю вашу фарфоровую легенду.

Барон (*диктует*). Легенда, о которой я упомянул выше, связана с азиатским островом Маури-Га-Сима. На нем в древности была найдена самая лучшая в мире глина. Этим островом правил царь Перуун, известный и своим светлым умом, и беспорочной жизнью, и тесным общением с богами. Этот царь получил от богов секрет изготовления бесценного фарфора из глины острова. Его открытие обогатило жителей. Для них настала пора необычайного процветания. Но, богатея

с каждым днем, они утратили прежнюю простоту нравов, потеряли веру в своего мудрого правителя, стали его критиковать, развратились. И вот однажды ночью было у Перууна видение: боги сообщили ему, что их терпение истощается. В тот день, когда хотя бы один из жителей острова замыслил преступление, окрасится в кроваво-красный цвет фарфоровая статуя Перууна, стоящая на главной площади. И тогда остров погибнет.

Марта испуганно перестает писать и расширенными глазами смотрит на барона.

Макс. Это были, право, не очень интеллигентные боги. Во-первых, что же дурного в том, что жители острова, разбогатев на фарфоре благодаря своему трудолюбию, коммерческим способностям и know-how¹, стали жить лучше прежнего? С нами, американцами, было, собственно, то же самое. Правда, мы всегда слепо верим нашим мудрым правителям и никогда их не критикуем. А во-вторых, почему весь остров Маури-Га-Сима должен отвечать за одного человека? Что, если бы нас всех истребили, скажем, за Лепке?

Марта (*горячо*). Вы таких вещей не понимаете!.. Ах, какой таинственный рассказ я читала в прошлом году! Кажется, это было в «True Story»...

Макс (*не слушая*). А в-третьих, думать о преступлении совершенно не то же самое, что совершить его.

Барон. Разница действительно большая. В виде редкого исключения вы иногда высказываете разумные мысли. Но что, если б вы перестали нам мешать? Я продолжаю, Марта. (*Диктует.*) И вот одному юноше пришлось в голову убить Перууна. А чтобы вдобавок сделать его общим посмешищем в глазах соотечественников, которым царь сообщил о своем видении, юноша, не веривший в богов, ночью выкрасил в кроваво-красный цвет фарфоровую статую на площади. (*Эти последние слова барон произносит торжественно, с искренним волнением. Марта вскрикивает.*)

Макс (*пьет*). Марточка, не падайте в обморок: Перуун, я уверен, спасется, а все остальные — Бог с ними! Они теперь все равно уже давно бы умерли.

Барон (*так же*). В ту же ночь Перуун, узнав о

¹ Секрет производства (*англ.*).

знамении богов, бежал со своей семьей с острова в Китай, где и передал секрет изготовления фарфора. Наутро произошло наводнение: холодные волны поглотили остров, и все его жители погибли.

Марта. Это поэтическая и страшная легенда!

Барон (*серьезно*). Очень!

Макс. Я знаю, вы оба легковверны и суеверны, как дикари из Центральной Африки. Я уверен, что вы, барон, бледнеете, если за столом рассыпается соль из солонки. А вы, Марточка, быть может, опускаете половую щетку в ведро с водой, чтобы вызвать дождь. В Африке так принято.

Марта (*смеется*). В этом сейчас нет надобности: третий день дождь льет как из ведра.

Макс. А уж туфли вы утром надеваете не иначе как сначала на левую ножку... Сказав это, я невольно взглянул на вашу левую ножку, Марточка, и должен огорчить вас: на ней только что побегал нейлон.

Марта (*поспешно проверяет*). Да... (*Огорченно.*) Я позавчера купила три пары по доллару девяносто девять!

Макс. Несчастья надо переносить мужественно... Вы, кажется, делаете перерыв после легенды?

Барон. Больше пока ничего не написано. Только отдельные мысли.

Макс. И какие!.. Марточка, видели ли вы уже мой Lie Detector? (*Вынимает из ручного чемоданчика, который стоял на полу около его кресла, небольшой складной прибор с рупором, составляет его и включает штепсель. Публике виден экран со стрелкой и шкалой.*) Сейчас я наведу мембрану на вас и включу ток. Если вы солжете, стрелка отклонится на экране. Я на днях пустил в действие мой прибор на сессии ОН во время речи Вышинского. Стрелка прыгала как бешеная. Включаю ток. Отвечайте на мои вопросы. Вы влюблены?

Марта (*смеется счастливым смехом*). Нет.

Макс незаметно на что-то надавливает. Стрелка передвигается на экране до конца шкалы.

Макс. Видите, вы солгали. Опишите наружность человека, в которого вы влюблены.

Марта. Это 20-летний юноша, брюнет, невысокого роста, полный.

Стрелка передвигается на экране.

Макс. Вы опять лжете. (*Смотрит на барона.*) Он высокий, худой красавец, блондин, ему тридцать пять лет, хотя он уверяет, что ему всего тридцать.

Телефонный звонок. Барон берет трубку.

Барон. Алло. (*Холодно.*) Да, этот глупый вечно острящий старик здесь. Послать его к вам? (*Радостно.*) Отлично, он сейчас к вам пойдет. (*Кладет трубку.*) Баронесса просит вас сейчас, сию минуту, зайти к ней, в ее салон. Я могу только поддержать ее просьбу.

Макс (*с видимым неудовольствием встает*). Я надеюсь скоро вернуться.

Барон. Пожалуйста, не торопитесь. Будет очень приятно, если вы проведете остаток вечера у моей жены.

Макс (*допивает бокал*). До скорого свидания, друзья мои.

Барон. До завтра, дорогой друг.

Макс уходит. Марта вдруг заливается веселым смехом. Барон с недоумением на нее смотрит.

Марта. Ты ревнуешь меня к этому старику! Тебе не стыдно! Ах, как я рада!

Барон. Какой вздор!

Марта вскакивает и бросается ему на шею.

З А Н А В Е С

КАРТИНА ВТОРАЯ

Салон баронессы. Тот же вечер. Баронесса, довольно привлекательная женщина лет 37—38. Лицо у нее усталое, болезненное и раздраженное. Она в пеньюаре. Полулежит на диване. В момент поднятия занавеса она кладет трубку стоящего около нее на столике телефонного аппарата. На столике бутылочки с разными лекарствами, стаканы, рюмка, минеральная вода. Горничная, говорящая по-английски с сильным французским акцентом, поправляет подушки на диване.

Баронесса (*устало и капризно*). Не так, Жюли, не так! Что это с вами сегодня? Верхняя подушка должна быть поверх спинки дивана!

Горничная. Может быть, прикажете принести белую подушку из спальни?

Баронесса. Да, принесите... Или нет, не надо. Я не люблю белых подушек в гостиной. Но эту положите выше и очень ровно: чтобы она была как раз посередине спинки. *(Встает не без усилия. Горничная хочет ей помочь, но она с досадой, жестом и гримасой показывает, что не нуждается в помощи. Пока горничная поправляет подушки на диване, баронесса проходит раза два по комнате, видимо, не зная, чего хочет.)* Почему этот диван стоит не у стены, а под углом к стене? Это какая-то... Какая-то линия. *(Спрашивает не горничную, а себя.)* Диагональ?

Горничная. Не знаю, сударыня.

Баронесса. Как это вы не знаете самых простых слов? Я отлично помню, что такая линия называется диагональю. Это неправда, будто я стала что-то забывать!

Горничная. Прикажете передвинуть диван, сударыня?

Баронесса. Не надо. Сейчас придет старик Макс. Он, верно, захочет пить. Пододвиньте тот столик с напитками. *(Горничная придвигает столик.)* Когда я в последний раз принимала квиеталь?

Горничная. Ровно в семь вечера, сударыня.

Баронесса. Да, да, я помню. Налейте мне еще десять капель. Я приму в десять часов. *(Горничная наливает в рюмку десять капель. Стук в дверь.)* Войдите.

Входит Макс.

Макс. Добрый вечер, дорогая. *(Учтиво и ласково кланяется горничной.)*

Баронесса *(другим тоном, с видимым облегчением).* Добрый вечер, дорогой друг. Как я рада вас видеть! Вы всегда на меня действуете успокоительно. Вы очень... Как это говорят немцы? Вы очень *gemütlich*...¹ Вы можете идти, Жюли. *(Горничная уходит.)*

Макс. Как вы себя чувствуете?

Баронесса. Плохо... Впрочем, нет, теперь хорошо. Отчего вы долго не заходили?

Макс *(садится).* Помилуйте, я у вас был два часа тому назад. Вы хотели отдохнуть и прочесть газету.

¹ Приветливый, приятный *(нем.)*.

Баронесса. Два часа тому назад? Да, да, я помню. Это неправда, будто я вас забываю... *Она у него?*

Макс (*как бы не расслышав*). Как вам идет этот пеньюар! Он из Парижа?

Баронесса. Да, от Кристиана Диора... *Она у него?*

Макс (*нехотя*). Кто она? Мисс Марта? Да, барон ей диктует. Слава Богу, что он придумал себе эту книгу о фарфоре. Он ведь тоже так угнетен и расстроен.

Баронесса (*подозрительно*). Будто? Но почему вы говорите «тоже»? Я несколько не угнетена и не расстроена.

Макс. Вы меня вызвали *так* или же вам нужно поговорить со мной?

Баронесса. Не знаю, зачем я вас вызвала. Мне просто хотелось вас видеть.

Макс (*целует ей руку*). Благодарю вас, я очень тронут. Я вас сердечно люблю.

Баронесса. Если б я не знала, что вы сейчас находитесь у моего мужа, я, вероятно, вызвала бы кого-либо другого. Я не могла оставаться одна.

Макс (*веселым тоном*). Этим я уже тронут меньше.

Баронесса. Извините меня, дорогой друг, вы не так меня поняли. Вы отлично знаете, что для меня есть огромная разница между вами и другими моими знакомыми.

Макс. Огромной разницы нет. Кроме, конечно, имущественной.

Баронесса. Вы единственный человек, кому я верю и кто меня любит. Всем другим нужны мои деньги. Забавно, я им никаких денег не даю, не дам, и им отлично это известно. Они любят мои миллионы *бескорыстно*. Когда я чувствовала себя лучше, они меня возили в ночные клубы. Прежде платил барон, то есть я. Теперь платят они, так что моя «дружба» стоит им денег. Но я совершенно уверена, что они никогда меня никуда не приглашали бы, если б у меня не было миллионов.

Макс (*смеется*). Это возможно. Что ж делать, принимайте ваших приятелей как существующий факт. Принимайте вообще все как существующий факт. Но вы преувеличиваете. Что это вас так сегодня взволновало?

Баронесса. Не знаю. Кажется, чтение газеты. Опять было что-то об этой атомной бомбе, о надвигающейся

войне. Если на Нью-Йорк будет сброшена бомба, я сойду с ума!.. Когда, по-вашему, начнется война?

Макс. Это знают каких-нибудь десять человек на земле: члены Политбюро, да и то, вероятно, не все. Президент Трумэн знает об этом столько же, сколько мы с вами... Успокойтесь, скорее всего, никакой войны не будет. А если будет, то вы уедете к себе в Южную Америку, где об атомных бомбах вы будете узнавать только из газетных телеграмм. На расстоянии в несколько тысяч миль это будет не такое уж страшное чтение. Во всяком случае, занимательное.

Баронесса (*раздражительно*). Почему вы вечно шутите? Это утомительно.

Макс. Это даже просто глупо. Я это делаю по пятидесятилетней плохой привычке, от которой уже поздно отучиться.

Баронесса. Или от неврастении.

Макс. Неврастению выдумали психиатры для увеличения своих заработков. Хуже психиатров есть только психоаналитики. И у вас тоже никакой неврастении нет.

Баронесса (*с надеждой*). Вы думаете? А мне иногда кажется, что я медленно схожу с ума, что я все забываю. Это неверно?

Макс. Даже следа этого нет. Вы все ваши дела помните не хуже вашего управляющего. Я как-то присутствовал при том, как он в докладе вам ошибся в дивидендах Мидлэнд Стил, и вы тотчас его поправили.

Баронесса. Свои дела я помню хорошо. Это у меня от отца. Он сам нажил свои миллионы в Южной Америке... Да, о чем же мы говорили? Я знаю, что вы меня любите не за богатство. Я десять раз предлагала вам место секретаря с хорошим жалованьем, и вы наотрез отказывались. Между тем мне известно, что вы сейчас без работы.

Макс. И я очень этому рад. Мое главное достоинство: я ленив, то есть люблю делать только то, что мне нравится, и, еще лучше, ничего не делать. Очень приятно пожить год без всякой работы. У меня есть две тысячи сбережений. Кроме того, я получаю в течение 26 недель пособие для безработных. Вы скажете, что не совсем прилично получать пособие для безработных, когда я могу поступить на службу? Но, во-первых, я не такой уж совестливый человек, каким вы меня счита-

ете. А во-вторых, я всю жизнь честно платил налоги казне Соединенных Штатов, и нет никакой беды в том, чтобы казна Соединенных Штатов в течение полугода платила мне. Это не самая глупая из всех ее трат. Чем, например, я хуже Чан Кайши?

Баронесса. Допустим. Но чем же в таком случае моя «казна» хуже казны Соединенных Штатов?

Макс. Вам я никогда никаких налогов не платил... А что, если б вы меня чем-либо угостили? Я с молодыми красивыми женщинами люблю говорить за вином.

Баронесса (*она польщена*). Я, разумеется, угощу вас, но этого не следовало бы делать. Вы слишком много пьете, милый друг. Вы спаиваете и моего мужа.

Макс. *Его* спаиваю! Он сам спойл бы Фальстафа. (*Наливает себе виски.*) Чего налить вам? Хочу с вами чокнуться.

Баронесса (*смотрит на часы*). Ровно десять. Я выпью с вами квиеталья. (*Протягивает ему рюмку квиеталья, чтобы чокнуться. Он сердито отдергивает руку.*)

Макс. Не хочу! Вы злоупотребляете этой дрянью! Она в сто раз хуже всех крепких спиртных напитков. Квиеталь новое средство, очень сильное и еще плохо изученное. Мне знакомый врач сказал, что от больших доз квиеталья люди теряют память!

Баронесса (*тревожно*). Неужели?.. Впрочем, что же тут страшного? Потерять память, забыть обо всем, что было!.. Хорошего было так мало. Детство в Южной Америке в доме отца! Он был недурной человек, но я знаю, как создаются богатства. Где миллионы, там грязь и скандал.

Макс. Так говорят социалисты. А вам неудобно, милая, быть социалисткой, имея восемь миллионов долларов.

Баронесса (*поправляет*). У меня нет восьми миллионов. Самое большее шесть с половиной... После дома отца эти два брака!

Макс. Вы сами виноваты: зачем вы выходили замуж за каких-то экзотических аристократов? Вы не янки по крови, но во всем остальном вы почти американка, и гораздо лучше сделали бы, если б вышли замуж за настоящего американца. Не могу простить вам эту вашу несчастную любовь к титулам... (*После некоторого колебания.*) Слава Богу, что вы решили развестись с бароном.

Баронесса (*тоже после колебания*). Я еще не совсем решилась. Хотя я отлично знаю, что он подлец.

Макс (*недовольно*). «Подлец» слишком сильное слово. Что же бы вы тогда сказали о шпионах, об изменниках, о гангстерах? Он просто очень слабый человек, еще более слабый, чем большинство людей.

Баронесса. Он поступил со мной подло! Притворялся влюбленным, а я, дура, поверила! Разве в миллионеров влюбляются?

Макс (*уклончиво*). Вероятно, он был влюблен в вас. Он сам мне говорил, что никого никогда не любил больше чем полгода.

Баронесса (*раздраженно*). Это, конечно, очень лестно для моего самолюбия! Впрочем, мне он изменил еще раньше. Как только мы вернулись в Нью-Йорк после свадебного путешествия, он сошелся с этой женщиной. (*С бешенством.*) Что он в ней нашел? Она даже не так красива! У нее наружность манекена из модного дома в провинции. В Нью-Йорке или в Париже ее не взяли бы в манекены! Она *покупает* мужчин своей молодостью. Пользуется тем, что я старше ее, для того чтобы отобрать у меня мужа! (*Нерешительно смотрит на Макса.*) Она ведь моложе меня лет на пять. Ей, верно, двадцать шесть или двадцать семь?

Макс (*с полной готовностью*). Если не больше.

Баронесса. И как гадко все это было сделано! Сошелся с переписчицей нашего отеля, которую я же, идиотка, ему рекомендовала для книги! Он ведь пишет книгу! Хорош писатель! Хемингуэю и Фолкнеру не придется повеситься от зависти. Он даже не образован. Отнимите у него титул — и он никто! (*Подозрительно.*) Я знаю, вы только что подумали, что если отнять у меня деньги, то я тоже никто.

Макс. Я этого не подумал. Но это можно сказать почти обо всех людях вашего круга. Все вы какой-то анахронизм. Нельзя жить ресторанами, ночными клубами и туалетами... Я всегда говорю вам правду, дорогая, не сердитесь. Отчего бы вам не заняться каким-либо полезным благотворительным делом?

Баронесса (*скусающим тоном*). Каким?

Макс. Мало ли каким. (*Старается придумать.*) Например, Society for Advancement of Colored People?¹

¹ Общество борьбы за прогресс цветного населения (*англ.*).

Или общество помощи беженцам из Уругвая? Верно, есть какие-нибудь беженцы из Уругвая, правда? Да и не все ли равно кому помогать? Все нуждаются, а у вас миллионы.

Баронесса (*с легким раздражением*). Я каждый день получаю десять просьб о пожертвованиях из разных обществ и посылаю по крайней мере половине. А если я буду ходить на их заседания и подписывать какие-то их бумаги, то, во-первых, это будет совершенно бесполезно, а во-вторых, я тотчас по насмешке в их глазах увижу, что им нужна только моя подпись на чеках. Я пробовала.

Макс. Ну, так займитесь собиранием коллекций. Вас не интересует, например, французская мебель восемнадцатого века?

Баронесса. Нисколько. Дом в моем имении полон всевозможных коллекций, и я ни в чем ничего не понимаю, как мой муж ничего не понимает в фарфоре. Он выбрал Франкенталь, потому что ему нравится это слово, да и Севр или Мейсен для него слишком банальны. (*Со все возрастающим раздражением.*) Хорош эстет! Сошелся с полуграмотной стенографисткой! Я ей прежде диктовала письма, этой вашей Марте. Она пишет с грамматическими ошибками. Я ей давала хлеб, а она украла у меня мужа! Подлая, подлая женщина, без стыда, без совести!

Макс (*тоже с раздражением*). Вот она, психология богатых людей! Вы думаете, что вы «даете хлеб» всем, кто на вас работает. Бросьте это!

Баронесса. Да, да, ведь вы хотите, чтобы я дала на прощание пятьдесят тысяч долларов этой труженице? Никогда!

Макс (*так же*). Не ей, а вашему мужу. Она ваших денег и не взяла бы, она с шестнадцати лет живет своим трудом. Но он, если вы ему ничего не дадите, будет жить на ее заработки. Вы ей создадите этим выигрышную роль. Барон уже почти падший человек. Если вы откажете ему в деньгах, он станет совершенно падшим.

Баронесса (*плачет*). И пусть!

Макс (*тотчас смягчается от ее слез, ставит свой бокал на стол и берет ее за руку*). Нет, дорогая моя, вы этого не думаете. По вашей доброте и благородству вы дадите ему пятьдесят тысяч.

Баронесса (*вытирает слезы*). Он их истратит на нее в один год!

Макс. Не на нее, а на себя, и не в один год, а в три. Он не так беззаботен, как вы думаете. Быть может, он даже немного прикидывается беззаботным. А Марту он бросит через три месяца.

Баронесса (*с надеждой*). Вы думаете?

Макс. Я в этом уверен.

Баронесса. Да, я знаю, он только делает вид, будто влюблен в нее. (*Нерешительно.*) Но если так, то зачем нам, собственно, разводиться?

Макс (*вздыхает и разводит руками*). Как знаете. Я сам долго колебался, что вам посоветовать. (*Приводит свой последний довод.*) Вы знаете, дары не облагаются налогом. Вы вычтете эти пятьдесят тысяч из вашего income tax return¹.

Баронесса (*очевидно, уже об этом справлявшаяся*). Я не уверена, что это возможно... А что будет с ним через три года?

Макс. Дорогая моя, я так далеко никогда вперед не заглядывал. Даже до изобретения атомной бомбы... Все-таки вы, во всяком случае прежде, очень его любили. Дайте ему на прощание денег.

Баронесса (*сердито*). Не отдать ли ему половину моего состояния?

Макс. Нет. Пятьдесят тысяч долларов — это меньше одного процента вашего состояния. Вы могли бы дать ему и больше.

Баронесса (*не сдерживаясь*). Go to hell!.. Если б я вас не знала, я подумала бы, что вы получаете от него комиссию!

Макс (*очень холодно*). Видите, до чего вы договорились. По привычке богачки, вы считаете, что всё и все продаются, вопрос только в цене. Вы преувеличиваете. Наш разговор кончен. (*Встает.*)

Баронесса. Милый друг, простите меня. Я ведь сказала: «если б я вас не знала».

Макс. Да, вы это *сказали*, но подумали вы другое.

Баронесса. Ради Бога, не сердитесь! Я отлично знаю, что вы бескорыстнейший из людей.

Звонит телефон. Баронесса берет трубку.

¹ Возвращаемый подоходный налог (*англ.*).

Баронесса (*удивленно*). Кто? Аптекарь Тобин? Не знаю, кто это... На минуту?... Хорошо, пусть поднимется. (*Кладет трубку. Макс.*) Умоляю вас, не уходите! Выпейте еще чего-нибудь. У меня есть Наполеоновский коньяк.

Макс (*садится*). Вы знаете, чем меня соблазнить... Я никогда не был пьяницей. Я и пьян бывал лишь очень редко.

Баронесса. Но я всегда по вашим глазам вижу, что вы пили. И это случается чаще, чем я хотела бы. Вот вы и сегодня выпили чуть больше, чем нужно.

Макс (*серьезно*). Вино — последняя радость, которая остается у человека в жизни... Женщины... Ах!.. (*Вздыхает.*)

Баронесса (*смеется*). Вы всегда меня успокаиваете.

Макс. Пользуйтесь мною вместо квиеталья.

Баронесса. У вас всегда такой вид, точно с человеком в жизни ничего особенно худого случиться не может.

Макс. И ничего особенно хорошего.

Стук в дверь. Входит аптекарь Тобин, очень мрачного вида, небрежно одетый старик. Макс смотрит на него удивленно.

Аптекарь. Добрый вечер. Я аптекарь Тобин.

Баронесса. Добрый вечер. Чем могу вам служить?

Аптекарь (*мрачно*). Ничем решительно.

Макс. Мои сомнения рассеялись от вашего ответа! Ведь вы доктор Тобин? Страшно рад вас видеть! Мы не встречались лет сорок! Вы меня узнаете?

Аптекарь тоже на него смотрит, хотя и без большого интереса.

Аптекарь (*равнодушно*). Да.

Макс (*несколько обиженно*). Как вы поживаете?.. Но прежде всего почему вы аптекарь Тобин?

Аптекарь. Потому что я аптекарь Тобин.

Макс. Ведь вы были доктором медицины и даже подавали большие надежды как врач по душевным болезням. Вы переменяли профессию?

Аптекарь. Переменил. Быть аптекарем менее неприятно, чем быть врачом. Врачи губят людей, а мы только их соучастники. Кроме того, как аптекарь я зарабатываю больше. По крайней мере, пока. Скоро, верно, нас разорят налоги.

Баронесса (*без восторга*). Быть может, вы присядете, доктор? Если вы нашли старого приятеля...

Аптекарь (*садится*). Собственно, мы приятелями не были. Но я, конечно, рад, что вы живы. Вы были умным человеком.

Макс. Спасибо на добром слове. Позвольте на радостях угостить вас Наполеоновским коньяком. (*Смотрит на баронессу, у нее лицо ледяное.*) Позволяете? Или, еще лучше, превосходным виски?

Аптекарь (*больше назло баронессе*). Я предпочитаю коньяк.

Макс (*наливает ему коньяку, несколько смущенно поглядывая на баронессу*). Как же вы поживаете, Тобин?

Аптекарь. Очень плохо. (*Баронессе.*) Ваш муж сегодня заказал у меня квиеталь, обещал за ним зайти и не зашел. Между тем он сказал, что ему необходимо иметь это еще вечером, у него сильнейшая бессонница. Я ждал, мой рассыльный давно ушел. Так как мне это по дороге, то я занес сам. (*Вынимает бутылочку.*)

Баронесса. Ах, это моему мужу?

Аптекарь. Да, я попросил швейцара позвонить в его комнату, никто не отвечал. Швейцар предложил оставить у него, но я не имею на это права: квиеталь опасная вещь.

Баронесса. Разве мой муж тоже принимает квиеталь?

Аптекарь. Так он мне сказал. Рецепт, впрочем, был на ваше имя, и я предпочитаю отдать вам.

Макс (*с любопытством*). Так это в самом деле опасное лекарство? Что, например, произойдет, если сразу принять всю эту бутылочку?

Аптекарь (*радостным тоном*). Только то, что вы через час будете в мире, который принято считать лучшим.

Баронесса. А если принять чайную ложку?

Аптекарь (*скорее грустно*). Тогда вы не умрете, но потеряете память. Я об этом предупредил барона. Один мой клиент принял, верно, столовую ложку и впал в состояние полной амнезии.

Баронесса. И останется в нем навсегда?

Аптекарь (*с сожалением*). Врач говорит, что это может пройти. (*С надеждой.*) Я этого не думаю.

Баронесса. Как же врачи дают легко такое лекарство?

Аптекарь. Между врачами бывают и идиоты. Но обычно и они дают квиеталь не так легко. Мне же, конечно, все равно: я выдаю лекарства по рецептам, а что с ними делают покупатели, не мое дело.

Макс. И дела вашей аптеки тем не менее идут недурно?

Аптекарь. Они идут скверно, но они не были бы лучше, если б я делал вид, будто меня интересует здоровье моих клиентов... Мне следует два доллара восемьдесят.

Баронесса. Дорогой друг, заплатите ему. У меня деньги в спальне.

Макс (*смущенный ее нелюбезностью, поспешно*). Сейчас. (*Вынимает деньги.*) У меня только десять долларов.

Аптекарь. У меня нет сдачи. (*Смотрит с отвращением на баронессу.*) Впрочем, это не важно: барон имеет в моей аптеке счет. (*Встает.*) Имею честь кланяться.

Баронесса только кивает ему. Макс нарочно, чтобы загладить ее нелюбезность, провожает его.

Макс (*у дверей*). Мы так случайно встретились после сорока лет! Я очень хотел бы вас повидать, вспомнить молодость, выпить.

Аптекарь (*равнодушно*). Отчего же нет? Вы знаете, где моя аптека?

Макс. Нет, я не знаю.

Аптекарь. Найдете в телефонной книжке. Прощайте. (*Выходит.*)

Макс (*с недовольным видом возвращается к баронессе*). Надеюсь, что мне вы разрешите выпить еще этого драгоценного коньяку? Веселенький старичок, правда? Он, впрочем, всегда был такой. (*Не без беспокойства.*) Ведь он на вид много старше меня?

Баронесса. Вероятно, одних лет с вами? (*Тотчас поправляется.*) На вид вы, конечно, лет на десять моложе. Пожалуйста, отдайте барону это лекарство. (*Со злобой.*) «Никто не отвечал»? Юные любовники не хотели для телефона отрываться от любовных излияний!.. Но в одном вы правы: барон, очевидно, не так уж легко перенес эту драму, если страдает бессонницей? Он всегда спал как сурок.

Макс (*вдруг с изумлением*). Как вы сказали?

Баронесса. Я сказала, что он всегда спал как сурок.

Макс (*не сразу*). Да, он сам мне это сегодня сказал: «я сплю как сурок»...

ЗАНАВЕС

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Тот же вечер. Одиннадцатый час. Когда занавес поднимается, слышны звуки рояля. Кто-то играет (очень хорошо) фантазию из «Кармен». Салон барона. Дверь соседней комнаты отворена. Играют именно там. Сцена остается пустой минуты две. Затем музыка обрывается на звуках арии тореадора. В салон из соседней комнаты входят барон и Марта.

Марта (*испуганно*). Нельзя играть так поздно в гостинице! Уже скоро одиннадцать. Соседи могут пожаловаться.

Барон (*он выпил еще больше обычного*). Справа до спальни моей жены еще три пустые комнаты. Она ничего слышать не может. Я велел поставить рояль туда (*показывает на соседнюю комнату*), чтобы не мешать соседям слева. Впрочем, там сейчас никого нет.

Марта. Зачем вы взяли такой огромный номер?

Барон. Она велела соединить два номера. В мелочах она очень бережлива и расчетлива, но платить сто долларов в день, чтобы пускать людям пыль в глаза, ей ничего не стоит. У нас своя столовая, куда мы никогда не заходим, и вот эта комната с роялем, которая никакого назначения вообще не имеет.

Марта (*грустно*). Я покупаю платья у Клайна на 14-й улице, а она заказывает свои в Париже, у... (*выговаривает с трудом*) у Кристиан Дайор. Говорят, это самый лучший портной в мире?

Барон. Не волнуйся, ей не поможет и Кристиан Диор.

Марта (*смеется*). Я засмеялась, но это очень нехорошо. Все-таки мы перед ней виноваты. (*Думает.*) Виноваты, но заслуживаем снисхождения. Нельзя покупать мужей, как платья у этого Дайор.

Барон. Меня она купила по случаю, second hand¹, за бесценок. Я не требовал, чтобы она положила на мое имя капитал.

Марта (*вспыльчиво*). Я ненавижу, когда ты так говоришь! Зачем тебе ее деньги? Только добейся у нее развода, и все будет чудно. Я зарабатываю семьдесят долларов в неделю. Какое для меня будет счастье работать на нас обоих! Говорят, скоро дактилографкам увеличат тариф, и мы будем получать на двадцать

¹ Вещь, бывшая в употреблении (*англ.*).

процентов больше со страницы. Тогда я буду зарабатывать девяносто. Я всегда могу иметь и сверхурочную работу. Я делаю на машинке 150 слов в минуту, это могут очень немногие. Я могла бы перейти в Юнайтед Нэшенс¹ хоть сегодня. На четыреста долларов в месяц можно иметь решительно все!

Барон. Н-да. *(Напевает начало арии тореадора. Марта смотрит на него подозрительно. Он спохватывается.)* Разумеется, можно иметь решительно все. Но мужчины, на которых работают жены, имеют, к сожалению, в обществе неблагозвучное название.

Марта *(горячо)*. Как тебе не стыдно говорить такие гадости! Что мое, то твое! К тому же ты скоро начнешь зарабатывать много денег. Твоя книга об этом эмментальском фарфоре...

Барон. Франкентальском. Эмментальский — это сыр.

Марта *(смущенно)*. Я обмолвилась. Эта твоя книга будет, наверно, иметь громадный успех... Может быть, ее возьмет Book of the Month²?

Барон *(очевидно не исключаяющий такой возможности)*. Ты думаешь? Это в самом деле было бы очень хорошо. Надо найти туда протекцию.

Марта. Я у них подписчица, но, верно, этого недостаточно... А не это, так будет что-либо другое. Главное, что мы оба молоды и не боимся бедности.

Барон. Н-да. *(Продолжает напевать ту же арию.)*

Марта. Если Book of the Month или Literary Guild³ возьмет твою книгу, ты меня повезешь в Париж, и я там буду заказывать платье у этого француза. Ты повезешь меня в Париж? Ах, как это будет хорошо! Мне так хотелось бы увидеть Эйфелеву башню! *(С гордостью.)* Но наш Эмпайр Стэйт Билдинг выше!.. Впрочем, ты не думай, что я растрачу все твои литературные заработки и потом сяду тебе на шею. Я и дальше буду зарабатывать, я только возьму в гостинице отпуск. Я уже имею право на шесть недель... Только, ради Бога, ради Бога, возможно скорее получи развод! За чем теперь остановка?

Барон *(уклончиво)*. Ты же знаешь, что придется съездить в Рино.

¹ Объединенные Нации *(англ. United Nations)*.

² Клуб лучшей книги месяца *(англ.)*.

³ Клуб литературной гильдии *(англ.)*.

Марта. Так отчего же вы не едете? Ведь она согласилась?.. Старик говорит, что она хорошая женщина и что я очень перед ней виновата. Но я все-таки ее не люблю. Она слишком много имела от жизни: в сто раз, в тысячу раз больше, чем я до того, как я тебя встретила. Почему? За что? Надо же жить и бедным девушкам... Непременно верни ей все подарки, которые она тебе давала. Слышишь?

Барон. Разумеется. В первый же день.

Марта. Мне всегда так неприятно смотреть на твой золотой портсигар и на это кольцо.

Барон (*не подумав*). Я ей тоже делал подарки. Я подарил ей серьги.

Марта (*удивленно*). Те бриллиантовые, которые она носит?

Барон. Да.

Марта (*грустно*). Мне ты ничего не дарил. Мне не нужны бриллианты, но я так хотела бы иметь что-нибудь от тебя!

Барон. Все будет. Мы ведь еще не женаты. Если она вернет мне эти серьги, я, разумеется, отдам их тебе.

Марта (*вспыльчиво*). Очень тебя благодарю! После нее! Нет, не надо!.. Ты бы мог этого не говорить!

Барон (*смущенно*). Я просто не подумал. А если их продать и на вырученные деньги купить тебе *pink cape*¹?

Марта (*после легкого колебания, с сожалением*). Нет, это тоже совершенно невозможно.

Барон. Я сам так думаю.

Марта. Старик говорил мне, что ты... Как это называется? Что ты циник. Но это неправда! Ты так говоришь *нарочно*, и я этого так не люблю! А иногда ты говоришь совершенно иначе, ты говоришь, как великий поэт! Как если бы ты был Шекспир... Ты говоришь, как Ромео! У тебя сверкают глаза. Ах, как я люблю тебя в эти минуты! Или когда ты играешь на рояле. Ты играешь божественно!

Барон. Мне говорили знатоки, что если бы я специально занялся музыкой, то из меня вышел бы новый Рахманинов или Падеревский. (*Скромно.*) Впрочем, это преувеличение.

Марта (*смеется счастливым смехом*). Ты знаешь, когда я была девочкой, я читала книгу одного русского писателя, ее тогда, во время войны, читали все. Она

¹ Норковая пелерина (*англ.*).

называлась «Мир и война»... Нет, «Война и мир»... Это чудная книга! Войну я всегда пропускала, я терпеть не могу читать о войнах. Но мир, ах, как там описан мир! Там есть девочка Наташа. И ее хочет похитить один князь. Я забыла его фамилию, эти русские имена!.. Он должен ее похитить, увезти ее от родителей и тайно жениться на ней... И мне так хотелось, так хотелось, чтобы и меня кто-нибудь похитил! Этот князь был красавец! Как ты! (*Смеется.*) Похить меня!.. Но он был женат!

Барон. Какое совпадение.

Марта. Этот князь был недостойный обманщик!

Барон. Н-да. Очень печально. (*Телефонный звонок.*) Опять телефон! Мы опять не подойдем. (*Звонок продолжается. Марта сидит с видом заговорщицы, приложив палец ко рту, точно их могут слышать. Лицо ее выражает полноту человеческого счастья. Телефон еще звонит, затем обрывается.*) Слава Богу, кончено! (*Сажает Марту к себе на колени.*) Как я люблю тебя! (*Его лицо в самом деле преображается. Глаза у него блестят.*) В жизни есть только одно счастье: любовь!

Марта. Это правда! Вот теперь ты такой, каким я обожаю тебя! Говори, говори!

Барон. Я никогда не видел таких прекрасных глаз, как твои! Они отражают твою прекрасную доверчивую душу. Тебя так легко обманывать, тебя будут обманывать всю жизнь. (*Искренно.*) На свете так много подлых людей. Может быть, я и сам нехороший человек. Даже наверное. Но я знаю, что моя любовь к тебе святыня. Это единственное чистое, святое место в моей душе. Мне иногда так стыдно перед тобой, так стыдно за себя... Я люблю тебя... Что по сравнению с этим все неприятности, все огорчения, даже преступления!.. Если я когда-нибудь кого-нибудь убью, я перед эшафотом подумаю о тебе и тотчас забуду все! Меня утешит то, что на свете существует Марта, эти глаза, это лицо, эти волосы! (*Страстно целует ее. Она отвечает ему долгим поцелуем.*) Какой-то поэт сказал, что хотел бы окунуть вековой дуб в пламя вулкана и огненными буквами написать на небе имя своей возлюбленной. Этот поэт был циник, но он не лгал. Он лгал, когда был циником, и говорил чистую правду в этих словах. Я сам такой, не смейся, Марта...

Марта (*шепотом*). Нет, я не смеюсь... Говори, говори!

Барон. Я больше ничего не скажу. Но помни, всегда помни то, что я только что сказал! Помни это, что бы со мной ни случилось!

Марта *(так же)*. Что бы с нами не случилось.

Барон. Быть может, исполнится проклятие волчицы...

Марта *(так же)*. Что ты говоришь? Я не понимаю. Все равно: пусть исполнится проклятие волчицы.

Барон сажает ее на стул, вынимает из ящика фотографию и ставит ее на комод.

Марта. Это тот твой предок, на которого ты похож? Дай, я опять взгляну. Он такой красавец!

Барон. Не подходи! *(Внезапно выхватывает из кармана маленький револьвер и стреляет в фотографию с расстояния в несколько шагов. Марта в ужасе вскрикивает. Он подходит к фотографии и смотрит на нее.)* Не попал! Прежде я попадал с десяти шагов в туза!

Марта *(еле придя в себя)*. Что с тобой! Да ты просто сошел с ума!.. Что такое случилось? Ведь пуля могла пробить стену и ранить кого-нибудь!

Барон. Нет, ей пришлось бы пробить не одну стену, а каких-нибудь семь или восемь, а револьвер слабый.

Марта *(с ужасом, но и с восторгом)*. Да ведь могли слышать в коридоре, вышел бы скандал на всю гостиницу! *(Тревожно прислушивается.)* Кажется, никто не слышал. Слава Богу!..

Барон. Плохой револьвер старого образца. Звук очень слабый. *(Садится в изнеможении.)*

Марта. Ну, что это? Что это значит? Зачем ты это сделал?

Стук в дверь. Марта мгновенно садится за пишущую машинку и стучит, хотя в машинке нет бумаги. Макс входит. У него в руке чемоданчик с *Lie Detector*'ом.

Барон *(со страшным выражением на лице)*. Опять этот глупый старик!

Макс. Как приятно, когда друзья встречают тебя так радостно. *(Смотрит на них. Взгляд его на мгновение задерживается на машинке, на диване со скомканными подушками.)* Я, конечно, не мешаю.

Марта. О нет.

Барон с бешенством встает и уходит в соседнюю комнату. Марта смущенно молчит. Макс смеется.

Макс. Кажется, он чем-то недоволен. Чем бы это?

Из соседней комнаты слышатся звуки рояля. Барон играет интермеццо из «Cavaleria Rusticana» С минуту длится молчание. Дальнейший разговор на сцене ведется под звуки рояля.

Марта. Как он чудесно играет!

Макс. Да. Но вкус у него вульгарный, как и все другое. «Cavaleria Rusticana»!.. Я не большой музыкант. Люблю музыку. Однако слух у меня плохой, а голос маленький, зато очень гадкий. *(Наливает себе виски.)*

Марта. Вы слишком много пьете. Вы его спаиваете!

Макс. Как? И *вы* это говорите?

Марта. А кто еще?.. Она!

Макс *(пропуская это мимо ушей)*. Я действительно много выпил. У баронессы был изумительный коньяк. Ей продали его как Наполеоновский, на самом деле ему лет семьдесят, но коньяк изумительный. Тем не менее я не пьян или разве только чуть-чуть. Я могу произнести: антиконституционный. Антиконтитуционный. *(Запутывается в словах.)* Впрочем, таких трудных слов я себе не позволяю и в трезвом виде.

Марта. Вы дружны и со мной, и с ней! Я знаю, вы мне говорили, будто я перед ней виновата. Что ж делать, она сделала его несчастным. Она старше его лет на десять. Ведь ей сорок лет?

Макс *(с полной готовностью)*. Если не больше.

Марта. А он так несчастен, так нервен! Знаете, что с ним только что произошло?

Макс. С ним может произойти что угодно.

Марта *(взволнованно)*. Он стал говорить что-то непонятное, о каком-то проклятии, о какой-то волчице...

Макс *(подавляя зевок)*. Да, да, проклятие волчицы, знаю, знаю... Отчего это мне так хочется спать?

Марта *(оскорбленно)*. Спать! *(С плохо скрытым восторгом.)* Так вот, представьте, как раз перед тем, как вы пришли, он вдруг выхватил револьвер и выстрелил в фотографию своего предка! Я чуть с ума не сошла!

Макс *(морщась)*. Какая безвкусица!.. Демонический выстрел, потом вдохновенная музыка! Кстати, я не знал, что у него есть револьвер. Не бутафорский ли? Он не попал, конечно?

Марта (*с возмущением*). Он с десяти шагов попадает в туза!

Макс. Фотография — шесть дюймов на четыре... Конечно, она с портрета в их замке? Зачем он валяет дурака?

Марта (*с негодованием*). Он сама естественность!

Макс. Все не могу решить, помешался ли он в самом деле на каких-то легендах или только притворяется? Никакого предопределения в их роду, конечно, нет, а вот, может быть, дурная болезнь есть... Ну, не буду, не буду... Бросьте его, моя милая девочка! Зачем он вам?

Марта. Я люблю его!

Макс (*вздыхает*). Да, конечно, это серьезный довод, хотя люди, особенно молодые барышни, приписывают ему преувеличенное значение. Я был влюблен семнадцать раз в жизни, из них восемь без взаимности. Меньше половины, это *honorable*¹. И, как видите, я и в восьми неудачных случаях не покончил с собой. (*Шутливо.*) Теперь я немного влюблен в вас, тоже без взаимности, и тоже не покончу с собой.

Марта (*с улыбкой*). Я только на пятьдесят лет моложе вас.

Макс (*сердито*). Неправда. Всего на сорок семь. Вы начали лгать, Марточка. Мы сейчас пустим в ход мой Lie Detector. (*Открывает чемоданчик, достает свой аппарат, включает штепсель и наводит «мембрану» на Марту.*) Вы с ним счастливы?

Марта (*восторженно*). Это мало сказать: «счастлива!» (*Стрелка на экране неподвижна.*)

Макс (*опять вздыхает*). Плохо дело. Вы уверены, что этот проклятый барон на вас женится?

Марта (*не совсем уверенно*). Да. (*Стрелка передвигается.*)

Макс. Видите, стрелка передвинулась.

Марта (*она уже верит в его аппарат*). Это оттого, что вы назвали его «проклятым»! Он изумительный, очаровательный человек!

Макс. Он изумителен и даже очарователен только по своей совершенной бессовестности.

Марта. Не смейте так о нем говорить!

Макс. Он бросит вас через два-три месяца. (*Стрелка стоит неподвижно. Марта с ужасом на нее смотрит.*)

¹ Заслуживать уважения (*англ.*).

рит.) Я знаю, что мои слова бесполезны, но моя дружба обязывает меня говорить вам правду. И мой возраст тоже: я на сорок (*скороговоркой*), на сорок с лишним лет старше вас.

Звуки музыки обрываются. Появляется барон. Музыка его успокоила. Он попевает что-то из «Cavaleria Rusticana»: «Сантуцца, не раздражай меня, я не твой раб...»

Марта. Какой у тебя голос! (*Поспешно оглядывается на Макса.*) Какой у вас голос, сэръ!

Макс. У сэра голос, как у Карузо. Но голоса великих певцов портятся от алкоголя.

Барон. С вашего позволения, Карузо был тенор, а у меня баритон. Отчего бы вам не уйти, глупый старик?

Макс. Уйти надо не мне, а ей. В этой гостинице может не понравиться, что она у вас сидит до одиннадцати вечера и что вместо стука машинки в коридоре слышится ваш дивный голос. Ее могут уволить.

Марта (*испуганно вскакивает*). Это правда, я ухожу... Когда прийти завтра, сэръ?

Барон. Я вас вызову по телефону.

Марта. Добрый вечер. (*Уходит. Из дверей бросает на барона нежный взгляд. Макс с досадой отворачивается.*)

Макс. Вам не стыдно, сэръ?

Барон. Идите к черту.

Макс. Уйти к черту, не сказав вам о результате моих переговоров с вашей женой?

Барон. Нет, сначала это сообщите, черт вас подождет. Что же слышно на фронте?

Макс. All Quiet on the Western Front...¹ Но прежде всего, чтобы потом не забыть, вот вам какое-то лекарство. (*Смотрит на него.*) Его принес вам аптекарь Тобин и просил меня вам отдать еще сегодня. Я, кстати, позвонил вам с четверть часа назад, и вы не изволили подойти к аппарату. (*Небрежно.*) Что это за лекарство? Разве вы больны?

Барон (*не сразу*). Это какое-то снотворное. (*Кладет бутылочку в карман.*)

Макс. Вот как... А мне казалось, будто вы еще сегодня сказали, что вы спите как сурок.

Барон. Перейдем к делу. Она дает сто тысяч?

¹ На западном фронте без перемен... (*англ.*)

Макс. О ста тысячах не было и речи. Но я надеюсь, что она вам даст пятьдесят тысяч.

Барон. Пятьдесят тысяч — это для меня мало.

Макс. Конечно, за ваши заслуги перед ней и за ваши добродетели вообще вам полагалось бы гораздо больше. Но так и быть, великодушно согласитесь принять пятьдесят тысяч.

Барон. Что я с ними сделаю? У меня девяносто тысяч долгов.

Макс (*с изумлением*). Девяносто тысяч долгов! Каких долгов? Кому?

Барон. Не стоит перечислять. Долгов портным и т. п. я, разумеется, не считаю. Все старые долги. Векселя переписывались, пока кредиторы знали, что она моя жена. Но как только газеты объявят о нашем разводе, на меня набросится вся свора кредиторов.

Макс. Так... (*Думает с минутой. Со все возрастающей яростью.*) Что же вы намерены делать, высокопочтенный представитель Синг-Синга?.. Вы видите, я говорю, как в британском парламенте.

Барон. Я еще не знаю.

Макс. Я тоже не знаю, сэръ!

Барон (*после некоторого молчания*). Если она не даст мне денег, я покончу с собой.

Макс (*не совсем уверенно*). Так говорят все подобные вам люди.

Барон (*вынимает из кармана ту же бутылочку*). Вот вам доказательство. Это лекарство, но в большом количестве это смертельный яд. Я его достал по чужому рецепту.

Макс смотрит на него растерянно. Затем вдруг заливается смехом.

Барон. Вы, кажется, совершенно пьяны.

Макс (*понежому успокаивается*). Пьян, но не совершенно. Я мысленно оклеветал вас, высокопочтенный джентльмен!.. Даже совершенные шалопаи лучше, чем они кажутся!.. Даже вы!.. Но самоубийством вы не покончите.

Барон (*серьезно*). Вы ошибаетесь. Я не дам опозорить имя, которое получил от предков.

Макс. Пожалуйста, бросьте этот вздор из светских мелодрам девятнадцатого века. Вы не покончите с собой: вы слишком любите красивых женщин и сухое шампанское!

Барон. Едва ли у меня будет много красивых женщин и сухого шампанского, если меня посадят в тюрьму.

Макс. За долги в тюрьму не сажают. Вы заплатите кредиторам пятьдесят центов за доллар... Кстати, что же вам дали бы и сто тысяч? У вас, значит, осталось бы десять. Это мало для обеспечения блестящего будущего?

Барон (*смеется*). Мое будущее! Похож ли я на человека, который думает о том, как бы обеспечить свою старость?

Макс. Нет, вы все-таки не отравляйтесь. Прежде всего химические самоубийства не очень эстетичны. Платон слишком красиво описал смерть Сократа. Я не знаю, что такое цикута, но, верно, она действовала не совсем так... Ну, что будет хорошего, если вам сделают промывание желудка? Нет, бросим это и подумаем, как вам заплатить долги.

Барон. Она *наверное* не даст больше пятидесяти тысяч?

Макс (*подумав*). Почти наверное. Я еще поговорю, но, кажется, не даст. (*Решительно.*) Не даст! Она очень скупа, но и не очень щедра. Как большинство людей. Мы все середка наполовину... У вас, однако, есть ценные вещи, она вам много дарила. Подарков она назад не потребует. Покажите это кольцо, я знаю толк в бриллиантах. (*Барон подает ему свое кольцо.*) Оно стоит три тысячи долларов. Если продавать, то вам дадут две. Ваши часы? Триста долларов. И того не дадут. Портсигар, запонки, еще тысячи две. Мало... Позвольте, но ведь вы ей купили к свадьбе прекрасные серьги. Сколько вы за них дали?

Барон. Семь тысяч двести.

Макс. Отдаю вам справедливость, вы гораздо щедрее ее. Правда, вы покупали ей подарки на ее же деньги.

Барон. Нет, я выдал ювелиру вексель на семь тысяч двести.

Макс. Я именно это и говорю. Серьги она вам вернет. Если сама не догадается, я ей напомню. А вы верните ей часы, чтоб было совершенно благородно. Они стоят всего триста долларов. Кольца, портсигара и запонок не возвращайте: мы сделаем вид, что о них вы забыли. За серьги вам дадут тысяч пять. Итого (*считает*): пять и две и две — девять. И ее пятьдесят:

пятьдесят девять. (*Соображает.*) Мало. Пятидесяти процентов кредиторы не возьмут. Они, к несчастью, догадаются, что на баронессу можно подействовать скандалом. Она больше всего на свете боится, как бы из светской хроники не попасть на первую страницу газет... Первая страница газеты — это вообще великое сдерживающее моральное начало в мире... Попробуйте предложить кредиторам шестьдесят процентов. Шестьдесят центов за доллар это совершенно джентльменский расчет. (*Соображает.*) Шестьдесят процентов с девяноста тысяч это будет...

Барон. Чтобы быть совершенно точным, у меня девяноста шесть тысяч долга.

Макс (*яростно*). Вы могли бы сказать это сразу, а не подавать мне по столовой ложке! Наверное, не больше девяноста шести?

Барон. Наверное.

Макс. Шестьдесят процентов от девяноста шести это будет почти пятьдесят восемь тысяч. У вас ничего не останется. Чем же вы будете жить?

Барон (*нерешительно*). Может быть, мою книгу о франкентальском фарфоре возьмет Book of the Month или Literary Guild?

Макс. Непременно, непременно. Или даже оба эти клуба. Кроме того, ее перепечатает «Readers Digest» и в Голливуде вам за фильмовые права заплатят миллион долларов. Но если ваш писательский гений не будет сразу признан, что тогда? Что тогда?

Барон. Не знаю.

Макс. Ну хорошо, вы забудете отдать этой скряге и часы. (*Все более яростно.*) Вы не подрядились быть джентльменом! (*Почти кричит.*) Ну хорошо, я вам дам полторы тысячи займы! Разумеется, без отдачи! Это половина моих сбережений.

Барон (*он тронут, но говорит иронически*). По какой причине такая милость, old fool?

Макс. По той причине именно, что я old fool!.. Кроме того, я сегодня чувствую себя перед вами виноватым... Все равно в чем, это не ваше дело!

Барон. Кстати, вы мне как-то говорили, будто у вас всего две тысячи сбережений.

Макс. Я на всякий случай обычно говорю немного меньше. У меня есть три тысячи. Я вам отдам половину! Вы мне вернете, когда женитесь на другой богатой южноамериканке!.. Больше я вам не дам! И не просите!

Почему я вам должен отдавать мои трудовые сбережения?

Барон. Да я ничего у вас и не возьму. Я очень тронут, но это для меня не выход.

Макс (*кричит*). Какое мне дело до того, что вы тронуты? Если кредиторы не согласятся, то кончайте с собой! (*Орет диким голосом.*) Или идите ко всем чертям! (*Успокаивается.*) Дайте мне еще виски.

З А Н А В Е С

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Салон баронессы. После предыдущей картины прошло несколько дней. Восемь часов вечера. За столом Макс и аптекарь. На этот раз и у Макса вид необычно мрачный и озабоченный.

Аптекарь. Что вы вообще можете понимать в болезни этой баронессы? Какое право вы, собственно, имеете говорить о психиатрии? Знаете ли вы, что такое кататония?

Макс (*потягивая коньяк*). Нет.

Аптекарь. Знаете ли вы, что такое экопраксия?

Макс. Нет, и горжусь этим.

Аптекарь. Знаете ли вы, что такое дезоксикортикостерон?

Макс (*возмущенно*). Такие слова должны быть запрещены конгрессом! Но до психиатрии мы говорили о политике и литературе. Знаете ли вы, в каком году был заключен Утрехтский мир? Читали ли вы полное собрание сочинений болгарского поэта Петко Рачева Славейкова? Какое же вы имеете право говорить о политике и литературе?

Аптекарь (*смотрит на него*). Вы болели два раза воспалением легких. У вас расстроенная печень. Вам, верно, уже вырезали желчный пузырь?

Макс. Воспалением легких я болел только один раз. Печень у меня действительно не в порядке, но желчного пузыря мне не вырезали. Вы угадали на пятьдесят процентов. Если бы я пытался угадывать болезни знакомых по их лицу, то, по теории вероятности, быть может, на пятьдесят процентов угадал бы и я, не имея глубоких медицинских познаний и вашего пронизывающего душу и тело взгляда... Вероятно, вы, как все ста-

рые психиатры, считаете всех людей психически ненормальными? (*Подливает ему коньяку.*)

Аптекарь. Разумеется... Нет, я больше пить не буду. Я выпил три стакана. Этого совершенно достаточно для того, чтобы жизнь казалась несколько менее отвратительной, чем она есть.

Макс. Вы и в молодости не были весельчаком, но с годами это у вас, по-видимому, очень усилилось. Хорошо, что вы стали аптекарем. Не знаю, как другие люди, а психиатры действительно с годами понемногу сходят с ума. У вас, по-видимому, мания в том, что вам кажется, будто вы всех людей видите насквозь. А какая мания у меня?

Аптекарь. У вас явно выраженная форма донкихотизма.

Макс. Это излечимо?

Аптекарь. Нет.

Макс. Опасно для окружающих?

Аптекарь. Опасно только для вас самого и особенно для вашего кармана.

Макс. Может быть, вы и правы... Так вы думаете, что баронесса не поправится?

Аптекарь. Это скоро выяснится. Сейчас у нее полная амнезия. Все зависит от того, какую порцию квиетала ей подлили.

Макс (*очень сердито*). Вы сегодня уже во второй раз намекаете, что ей кто-то подлил квиетала! Что за вздор! Она просто ночью, в полутьме, сама вместо десяти капель налила себе гораздо больше.

Аптекарь. Ее горничная, однако, сказала, что в бутылочке баронессы оставалось разве только капель тридцать. Такая доза не могла вызвать длительной амнезии.

Макс (*еще более сердито*). «Капель тридцать»! Кто их считал? Может быть, их было шестьдесят? Скажите прямо, на что вы намекаете?

Аптекарь. Я ни на что не намекаю, и вообще все это меня совершенно не интересует. Я отпускал квиеталь по рецептам, рецепт у меня, конечно, сохранился. Какое же мне дело до того, сама ли отравилась эта малопривлекательная женщина или ее отравили?

Макс (*быстро*). Так что вы никому о вашем подозрении не сообщали?

Аптекарь. Никому, кроме вас. Да и вам я сказал больше потому, что вы об этом, как будто незаметно, меня расспрашивали. И вдобавок я выпил слишком

много коньяку. Я не думал, что это такой крепкий коньяк... А *знаю* я только то, что барон несколько дней тому назад купил у меня бутылочку квиетала.

Макс (*очень серьезно*). Теперь вы прямо назвали барона. Это не шутка! Нельзя говорить такие вещи, доктор Тобин!

Аптекарь (*поправляет*). Аптекарь Тобин.

Макс. Напоминаю вам, что вы отдали лекарство баронессе, а не барону. (*Смущенно.*) Может быть, она ему этой бутылочки не отдавала? Может быть, она оставила ее себе, и именно из нее по ошибке налила себе много больше, чем было нужно.

Аптекарь. Тогда и эта бутылочка должна была бы остаться на ее ночном столике. А на нем оказалась только старая, с другим номером.

Макс (*так же*). Вы сами сказали, что если б человек выпил всю бутылочку, то он умер бы. Уж если бы предположить такую нелепую чудовищную мысль, что барон хотел отравить свою жену, то он вылил бы в ее рюмку *все*.

Аптекарь. А чем же ему плохо так? Над его женой будет устроена опека. Скорее всего, опекуном назначат именно его. Или же, в крайнем случае, он будет получать от опеки большую часть дохода. Так даже гораздо лучше: будет меньше того, что называется «угрызениями совести». Я за свою долгую жизнь, впрочем, никогда не видел, чтобы люди *очень* страдали от угрызений совести. Кажется, угрызения совести вообще выдумал Шекспир. Или же еще до него какой-либо другой искавший сюжета писатель.

Макс (*нерешительно*). Стыдно даже обсуждать серьезно такое предположение!.. Ведь у властей могли возникнуть подозрения, тогда барона предали бы суду.

Аптекарь. Как видите, ни у кого никаких подозрений не возникло.

Макс (*так же*). Да и зачем бы он это сделал! Он и так пользовался богатством своей жены... Кроме того, у него есть собственное родовое состояние.

Аптекарь. Этого я не знал. (*С отвращением.*) Но, может быть, он влюбился в другую женщину?

Макс. Чего же он тогда добился? Вы сами сказали, что жизни баронессы опасность не грозит. Значит, он жениться на другой не может и будет до конца дней состоять при больной жене?.. Лучше все-таки иметь здоровую жену, чем сумасшедшую!

Аптекарь. Не знаю, не знаю. Не всегда... Значит, *есть* другая женщина?

Макс. Я отвечаю на *ваши* предположение.

Аптекарь. И отвечаете не очень убедительно. Может быть, *жениться* на другой барон совершенно не собирается? Но при невменяемой жене он может завести себе хотя бы целый гарем, и так называемое «общественное мнение» даже не очень его за это осудит... Впрочем, почему вы так об этом беспокоитесь? Не все ли равно? Ну, отравил, не отравил. При условии полной безопасности очень немногие люди отказались бы совершенно от убийств. Будьте спокойны, я властям ни о каких подозрениях не сообщу.

Макс. Позвольте, почему вы говорите «будьте спокойны»? Мне-то что?

Аптекарь. Я говорю потому, что вы его приятель. И добавлю, что, в некотором противоречии с самим собой, я стараюсь предостеречь вас от этого приятеля: будьте от него подальше. У вас, по-видимому, слабость к людям несколько более преступным, чем другие. Но он при случае может отравить и вас.

Макс. Какой вздор! (*Без уверенности.*) Ваши подозрения бред! Барон в конце концов не очень дурной человек. Хуже Ганди, лучше Гитлера.

Аптекарь. Это очень ценное определение. Вы слишком снисходительны к людям.

Макс. С каждым годом все больше. Послушайте, с той поры, как появились в мире гестапо, ЧК, сигуранца — скажем в одном сокращенном слове Гестачекаранца, — вообще очень трудно карать обыкновенных уголовных преступников. Теперь на свете безнаказанно гуляют тысячи самых страшных людей в истории, проливших и проливающих моря крови. Некоторые из них *были* министрами. Повешены в Нюрнберге очень немногие, да и те по случайному отбору. Другие министрами остались, с ними встречаются, им улыбаются, им жмут руки. Когда они умрут спокойной естественной смертью, им устроят пышные похороны и над ними будут произноситься трогательные надгробные речи... Видите ли, мы с вами родились в девятнадцатом столетии, а это было единственное цивилизованное столетие в истории. Теперь пошел снова пятнадцатый век или даже десятый. И не знаю, как вы, а я себя чувствую в нем каким-то вырожденком. Нет, меня нисколько не соблазняет мысль посадить в тюрьму обык-

новенного уголовного преступника. Теперь надо *прощать* гораздо больше, чем полвека тому назад. Просто по чувству справедливости. Все люди ведь слабы.

Аптекарь. Я исхожу из противоположного принципа: все люди стоят того, чтобы их повесили. Но так как это, к сожалению, невозможно, то в *выводах* между нами большой разницы нет.

Макс (*успокаивается*). По этому случаю надо выпить еще! (*Наливает себе коньяку.*) Баронесса очень дорожила этим коньяком, но если она, бедная, оправится, как я надеюсь, от своей амнезии, то, верно, она не будет помнить, что у нее здесь была бутылка с этим божественным напитком. Я непременно выпью все и выброшу бутылку. Я ведь теперь провожу здесь целый день и пользуюсь ее салоном, как своим собственным.

Аптекарь. Почему у вас красные пятна на руке?

Макс (*смотрит*). Да. Шерлок Тобин, вы правы: это кровь, я тоже сегодня совершил убийство!.. Начните психологическое расследование. Нет? Тогда поговорим о баронессе. Как лечат от амнезии?

Аптекарь. Амнезия бывает полная или локализованная, то есть такая, когда человек не помнит только какой-либо определенной группы фактов. Происходит амнезия от старости, от тяжелых ранений головы, от некоторых видов отравления. В том числе и от отравления квиеталем. Если действие не проходит само собой, то врачи пользуются гипнозом.

Макс. Да, оба врача так и сказали, что они попробуют гипноз. Это помогает?

Аптекарь. Нет. Но так лечат. Знаменитый Шарко так лечил... Он все виды психоза, впрочем, приписывал *libido*. Эту идею у него, мягко выражаясь, заимствовал Фрейд. Слава Фрейда пройдет, как слава Калиостро. Все пройдет: пройдет даже кока-кола... По-моему, кроме отравления квиеталем баронесса страдала и страдает от неудовлетворенной любви.

Макс. Как же, к черту, тут может помочь гипноз?

Аптекарь (*с усмешкой*). Гипнотизеры очень изобретательны. Одни действуют на дам грубостью, другие лаской. Эти идут иногда даже дальше, чем допускают приличия. В общем, все шарлатаны. Что же касается лекарств, то они тут совершенно бесполезны. Тот же Шарко, умнейший человек, на старости лет говорил, что в результате своей долгой врачебной практики верит только в одно лекарство: в хинин. Да

и то больше потому, что *повредить* оно никак не может.

Макс. С такими взглядами вам неудобно быть и аптекарем. Перемените опять профессию. Вы могли бы, например, стать судебным следователем.

Входит горничная баронессы.

Макс (*встает. Как Людовик XIV, он с горничными так же учит, как с дамами из общества. Жюли, видимо, его обожает. Аптекарь смотрит на нее с таким же отвращением, как во второй картине на баронессу, переводит взгляд на Макса, и отвращение на его лице еще усиливается*). Добрый вечер.

Горничная. Добрый вечер. Я хочу убрать комнату мадам. Мадам пока перейдет сюда. Можно?

Макс. Конечно можно. (*На всякий случай прячет на нижнюю полку передвижного столика почти опорожненную бутылку коньяка и заслоняет ее другими бутылками, чтобы ее не было видно.*)

Аптекарь (*встает*). Прощайте. (*Уходит, стараясь из отвращения не смотреть на горничную.*)

Макс. До свидания, Тобин. Никогда не забывайте, что жизнь прекрасна! (*Смеется, когда дверь затворяется за аптекарем. Жюли тоже смеется.*)

Горничная. Он не очень веселый человек, этот аптекарь.

Макс. Веселый, но не очень... Вы сегодня особенно хорошенькая, мадемуазель Жюли. Как вы это делаете? Можно поцеловать вас в лобик?

Горничная (*весело*). Можно, если это вам доставляет удовольствие.

Макс (*обиженно*). А вам? (*Целует ее.*) Это все, что я теперь могу вам предложить.

Горничная. Этого совершенно достаточно... Так я переведу сюда мадам. (*Выходит в спальню. Макс прохаживается по салону, фальшиво напевая: «Whether you young, whether you old». Что-то обдумывает. Через минуту горничная вводит под руку баронессу и усаживает ее в кресло. Вид у баронессы измученный и растерянный. Она, видимо, почти ничего не соображает.*)

Макс. Здравствуйте, дорогая. О, у вас вид сегодня неизмеримо лучше, чем был вчера!

Горничная. Так, мосье теперь посидит с мадам? Минут

через пять спальня будет убрана. А я, если вы разрешите, еще отлучусь на минуту, выпью tomato juice¹.

Макс. Разумеется, разумеется. Только вместо tomato juice выпейте Scotch and soda². (*Горничная уходит.*) Как же вы себя чувствуете, дорогая?.. Вы меня не помните?

Баронесса. Не помню... Ничего не помню... Что такое диагональ?

Макс. Нашли о чем думать! Я тоже этого не помню. Какая-то линия. Но вы, наверное, помните, сколько вам лет?

Баронесса (*без затинки*). Тридцать два года.

Макс. Кто бы подумал! Вам на вид нельзя дать более двадцати семи... Ваше состояние составляет восемь миллионов долларов, правда?

Баронесса (*так же*). Нет, у меня не более шести.

Макс. Вот видите, вы многое отлично помните... А кому вы это оставляете? У вас, наверное, есть завещание? Кому вы завещали ваше богатство? Вашему мужу? (*Ждет.*) Не помните? Это скоро пройдет. Я вам дам квиеталья... Когда вы в последний раз принимали квиеталь?

Баронесса. Не помню.

Макс (*очень внушительно*). Постарайтесь вспомнить, дорогая. (*Баронесса молчит*). Не помните?.. Так я сам вам скажу! Три дня тому назад ночью кто-то к вам зашел в спальню и налил вам чего-то в рюмку. (*Смотрит на нее. Баронесса отвечает ему непонимающим взглядом. Продолжает еще энергичнее и настойчивее.*) К вам зашел ваш муж и подлил в вашу рюмку квиеталья! Правда это?.. Отвечайте!.. (*Баронесса удивленно на него смотрит и не отвечает. Он думает с полминуты и, вдруг меняя тон, пробует совершенно ему несвойственную грубую манеру, о которой говорил аптекарь.*) Глупая женщина, сейчас же вспомните, я вам приказываю! Отвечайте!

Баронесса (*как будто что-то припоминая*). Go to hell.

Макс (*опять принимает самый ласковый тон*). Отчего же вы сердитесь, дорогая? Я должен это знать, ведь я ваш друг.

Баронесса. У меня нет друзей.

¹ Томатный сок (*англ.*).

² Виски с содовой (*англ.*).

Макс. Ну как нет? (*Вкрадчиво.*) А вот враг у вас действительно есть. Я уверен, что кто-то вам чего-то подлил. К вам никто не входил ночью три дня тому назад? (*Не сводит с нее глаз. Она молчит. Он подсаживается к ней ближе. Тонем влюбленного.*) Я ведь не только ваш друг. Я ваш горячий поклонник! Я люблю вас! Вы так красивы, так умны! (*Баронесса как будто оживает и слушает внимательно. Лицо у нее светлеет. Он все внимательнее на нее смотрит.*) Как могли другие мужчины не оценить вас! Мне не нужны ваши деньги. Пожертвуйте все ваше состояние на благотворительные дела. (*Баронесса без колебания энергично мотает отрицательно головой.*) Я женюсь на вас без всяких денег. Мы будем очень счастливы! Но для этого надо убрать ваших врагов. Кто заходил к вам ночью три дня тому назад? Кто? (*Баронесса молчит. Он безнадежно машет рукой.*) Проклятые психиатры! Все шарлатаны!

З А Н А В Е С

КАРТИНА ПЯТАЯ

Салон барона. Поздно вечером. Барон сидит за столом с Максом. Как всегда, они пьют. Но оба трезвы. Радио передает музыку Девятой симфонии. Минуты две они не разговаривают. Затем барон резким движением закрывает радиоаппарат.

Барон. Скверно играют!

Макс. Не могу понять, почему вы музыкальны. Вам полагалось бы иметь слух как у глухаря.

Барон. Вы вообще в людях разбираетесь плохо, а меня вы совершенно не знаете. Есть у меня эдипов комплекс?

Макс. Его не было и у самого Эдипа. Это сочинил Фрейд. Я отроду не видел человека, который был бы влюблен в свою мать... Однако других комплексов Фрейд не сочинил. У вас комплекс предопределения.

Барон (*зевает*). Может быть. (*Полминуты молчания.*) Очень может быть.

Еще пауза.

Макс. Отчего бы вам не съездить за границу?

Барон (*удивленно*). За границу? Зачем?

Макс. Так просто, без всякой причины. Вы никогда не бывали в Южной Америке?

Барон. Нет, никогда.

Макс. Там есть чудесные страны. Например, Венесуэла. Никогда там не были?

Барон. Если я не был в Южной Америке, то, очевидно, не был и в Венесуэле.

Макс. Вы рассуждаете очень правильно. Прекрасная страна... Три миллиона жителей... Анды чудесные горы... Ориноко прекрасная река... Там растет какао, кофе... Какие хорошие напитки! А индиго, какая превосходная краска, а? Среди минеральных богатств есть золото и серебро. Вы так любите золото и серебро. Столица Венесуэлы Каракас. Вы никогда там не были?

Барон (*терпеливо*). Если я не был в Венесуэле, то, очевидно, не был и в Каракасе.

Макс. Совершенно верно, я просто об этом не подумал. Жители Венесуэлы занимаются земледелием, скотоводством и государственными переворотами.

Барон (*зевая*). Вы глупеете не по дням, а по часам.

Макс. Кроме того, как я где-то слышал, у Венесуэлы есть еще хорошая особенность. (*Значительным тоном.*) Она никогда не выдает людей... Как бы сказать? Людей, слишком верящих в предопределение... Людей, которых в других странах несправедливо хотят посадить в тюрьму... С Венесуэлой очень удобное сообщение на аэропланах. Кажется, аэропланы улетают из Нью-Йорка каждый день. Кажется, свободные места есть всегда.

Пауза.

Барон (*очень спокойно*). Судя по вашей сегодняшней болтовне, по всем вашим глупым намекам, я предполагаю, что вы подозреваете меня в убийстве моей жены, которая, к стати сказать, жива и здорова?

Макс (*все же несколько ошарашенный*). Еще не здорова, но выздоравливает. Сегодня оба доктора мне сказали, что через несколько дней она совершенно оправится от амнезии.

Барон. Как я им благодарен. Я переходил от отчаяния к надежде.

Макс (*смеется*). Вы сами видите. У вас, значит, иногда бывала мысль, что было бы недурно, если бы она скончалась? Так, просто в порядке wishful thinking¹?

¹ Принятие желаемого за действительное (*англ.*).

Барон. У меня иногда бывали мысли, что было бы недурно, если б я был Карлом Великим.

Макс (*вкрадчиво*). Собственно, ведь ваш предок был убийцей колдуньи: именно он отправил ее на эшафот... Вы, быть может, подумали, что вашей бедной жене будет много лучше, если она лишится памяти. А заодно лишится гражданской правоспособности, а?.. Я в мыслях не имею допрашивать вас, и вам *от меня* ни малейшая опасность не грозит. Но все-таки давайте уточним дело. Я на днях принес вам бутылочку квиетала. Где она? (*Все настойчивее.*) Что вы с ней сделали, барон? Покажите ее мне. Это тотчас же рассеет чьи бы то ни было подозрения... Покажите ее, наконец, просто для того, чтобы меня успокоить!

Барон. Назло вам не покажу. Мне очень приятно, что вы беспокоитесь. Понимаю и то, что вам как психологу было бы приятно, если б я убил свою жену, а вы меня в этом уличили, но я не могу доставить вам это удовольствие.

Макс. А если я все-таки, вопреки всем своим принципам, объявлю о своих подозрениях властям?

Барон. Это чрезвычайно меня устроит. Во-первых, вас посадят в дом умалишенных, и я навсегда от вас избавлюсь. А во-вторых, я до того предьявлю вам иск. С вас за libel¹ присудят мне сто тысяч долларов. У вас их нет, но обожающая вас баронесса, которая к тому времени, Бог даст, совершенно поправится, заплатит за вас. Они очень мне пригодятся.

Макс. У вас, кроме комплекса предопределения, есть еще комплекс ста тысяч долларов.

Барон. Это комплекс довольно распространенный.

Макс. Фрейд о нем ничего не сообщает. (*Очень просто.*) Так вы не пытались убить свою жену?

Барон (*стучит себя пальцем по лбу*). Лечитесь, дорогой друг.

Макс (*с угрозой*). Вы не ответите мне так, когда я пушу в ход мой Detector?

Барон (*с внезапным бешенством*). Если вы посмеете только вытащить из ящика эту вашу дрянь, я ею проломлю вам череп!

Макс (*вздыхает*). Типичный delirium tremens². А как ваши денежные дела?

¹ Клевета (*англ.*).

² Белая горячка (*лат.*).

Барон. Катастрофические.

Макс (*опять вздыхает*). Как вы догадываетесь, пока баронесса совершенно не выздоровеет, с нее нельзя получить ни гроша.

Барон. Отчего бы вам к ней сейчас не пойти? Вы очень мне надоели.

Макс. Я ушел бы, но боюсь, что после сегодняшнего разговора между нами может остаться легкий холодок.

Дверь отворяется без стука. Входит Марта.

Марта (*очень взволнованно*). Простите, что я так врываюсь! (*Максу.*) Мне спешно надо поговорить с бароном!

Макс (*смотрит на нее не без тревоги*). Я все равно собирался уйти. Только не засиживайтесь здесь, Марточка. Вы рискуете потерять репутацию и, главное, место. А вы не стреляйте из револьвера, вам еще гостиница поставит в счет убыток. Прощайте, дети мои... Ах, какая прекрасная страна Венесуэла! (*Отворяет входную дверь. Барон вдруг его окликает и подходит к нему у двери.*)

Барон. Дорогой друг, я забыл вам что-то передать. Это лекарство баронессы. Пожалуйста, отдайте ей. Квиеталь... Вот она, эта бутылочка... Нераспечатанная и полная. (*Макс растерянно на него смотрит, берет бутылочку, проверяет надпись и номер, затем кладет ее в карман.*)

Макс (*с восторгом*). Дорогой друг, разрешите вас обнять!

Барон. Благодарю вас. Вы идиот.

Макс (*так же*). Это преувеличение, но я не смею с вами спорить! (*Уходит.*)

Барон (*не без скуки в голосе*). Что случилось, моя милая?

Марта. Швейцар вечером передал мне для тебя какое-то расписание. Я просунула тебе под дверь: я тогда пришла для диктовки, как было условлено, а тебя не было.

Барон. Да, мне необходимо было отлучиться. Но в чем дело?

Марта. Как в чем дело? Это было расписание аэропланов! Ты хочешь уехать? Куда? Зачем? Без меня? Ты уезжаешь в Париж с ней? Скажи правду!

Барон (*с досадой*). Какой вздор ты несешь! Какой

Париж? Как я с ней поеду, когда она больна и когда сейчас по ее выздоровлению будет развод!

Марта (*смотрит на него с недоверием*). Ты говоришь правду? Но зачем же ты потребовал расписание аэропланов?

Барон. Я неопределенно думал, что если ее болезнь затянется, то нам надо было бы с тобой уехать куда-нибудь отдохнуть. В Майами, например, или куда-нибудь дальше. Я совершенно измучен.

Марта (*смотрит на него с нежностью. У него действительно измученное лицо*). Я понимаю! Так ты хотел улететь со мной! Какое это было бы счастье!

Барон (*импровизирует*). К сожалению, это не так просто. Если мы оба покинем гостиницу в один день и улетим на одном аэроплане, то мы оба будем скомпрометированы. Ты потеряешь место, а меня все ее друзья очень осудят. Мы должны будем поехать отдельно и не в один и тот же день.

Марта. Какое тебе дело до ее друзей! Все равно они с тобой раззнакомятся, как только ты женишься на мне. Да они осудят тебя и если ты уедешь теперь один, когда она больна.

Барон. Есть и еще одно препятствие, о котором мне неприятно говорить. У меня нет денег. Осталось несколько сот долларов. Ведь за все платила она. (*Марта опускает глаза.*) Теперь она не в состоянии подписать чека, и я просто не знаю, что делать. Придется продать одну из моих драгоценностей.

Марта. Все равно, это ее деньги!

Барон. Что же мне делать? После развода я начну искать работу... И у меня к тебе просьба: не могла ли бы ты продать это кольцо? Мне самому это неудобно сделать. Ювелиры спрашивают фамилию, а если я назову свое имя, то ты понимаешь, какой может пойти шум. Это дойдет и до газет!.. Ты мне оказала бы большую услугу.

Марта (*колеблясь*). Мне это не очень приятно, это ее вещь... Хорошо, я это сделаю. Только не надо продавать. Лучше заложить. Ведь ты обещал мне вернуть ей при разводе все ее подарки. (*Смотрит на него вопросительно.*) Ты помнишь, что ты мне это обещал?

Барон. Конечно, конечно. Хорошо, заложит это кольцо. (*Отдает его ей.*) А ты сумеешь это сделать?

Марта (*смеется*). Папа и мама всегда закладывали, что у них было. Да и мне тоже случалось, когда

я бывала без работы. Получала двадцать-тридцать долларов. И бывали неприятности, я должна была скрывать, что я несовершеннолетняя. Но один чиновник ломбарда хорошо ко мне относился и закрывал глаза. *(Нерешительно.)* Нельзя ли обойтись без этого? На какие деньги мы выкупим кольцо, если это будет до того, как Book of the Month возьмет твою книгу? Правда, откуда мы возьмем такую сумму, оно ведь очень дорогое?.. Послушай, вместо того чтобы закладывать ее кольцо, возьми мои сбережения. У меня есть триста семьдесят долларов в Saving Bank, и я могу взять еще в долг здесь, у управляющего: он мне охотно даст.

Барон *(холодно)*. Ты хочешь, чтобы я жил на твои деньги! Подумай, что ты говоришь. Что сказали бы мои предки?

Марта *(запальчиво)*. А что сказали бы они о том, что ты живешь на ее деньги? *(Спохватывается.)* Прости меня, я не то хотела сказать. Я знаю, что пока она твоя жена... Умоляю тебя, возьми эти 370 долларов. *(Улыбается.)* Твои предки и знать не будут.

Барон *(пожимает плечами)*. Один наш недельный счет в гостинице составляет больше тысячи долларов.

Марта. Гостиница будет ждать сколько угодно! Они понимают, что... Они понимают. *(Видит, что он сердится. Испуганно.)* Хорошо, я завтра же заложу это кольцо. Взять столько, сколько дадут?

Барон. Да, но чем больше, тем лучше.

Марта. Они дают не больше половины стоимости.

Барон. Кажется, она заплатила за кольцо три тысячи.

Марта *(грустно)*. Я тебе никогда не буду делать таких подарков.

Барон *(он невольно тронут)*. Ты сама для меня божественный подарок! *(Долгий поцелуй.)*

Марта. Сегодня я не могу, не могу долго оставаться. Горничная видела в коридоре, что я к тебе зашла! Но она не донесет. Они все здесь меня любят. А я сейчас зайду к ней. *(С хитрым видом.)* Я ей скажу, что занесла тебе рукопись, и она будет знать, что я тотчас ушла... Так, до завтра. *(Второй долгий поцелуй. Марта уходит. Из дверей, как всегда, бросает на него нежный взгляд.)*

Барон *(прохаживается по комнате. Затем смотрит на часы. Нерешительно подходит к телефону, роется в телефонном указателе и составляет номер)*.

Colony Club! Это вы, Джон?.. Да, это я, хелло. Скажите, миссис Патришиа сегодня у вас? *(С досадой.)* Нет? Кто же у вас из моих друзей?.. А, хорошо. Скажите им, что я сейчас приеду в клуб. Хелло. *(Кладет трубку и напевает арию тореадора. Надевает пальто. Затем тушит люстру салона, при слабом свете настольной лампочки подходит к зеркалу над камином и зажигает сильные лампочки у зеркала. На камине стоит тот же бюст, но уже не белого, а ярко-красного цвета. На лице барона вдруг изображается дикий ужас. Он проводит рукой по лбу.)*

ЗАНАВЕС

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Салон баронессы. Восемь часов вечера. Баронесса сидит в кресле, уже не в пеньюаре, а в платье. Вид у нее не такой, как в четвертой картине, но еще очень усталый. С ней Макс.

Макс. Я совершенно поражен тем, что вы только что сообщили! Он уехал, не сказав никому ни слова? Куда? Зачем?

Баронесса *(подозрительно)*. Вы уверяете, что ничего об этом не знали?

Макс. Даю вам честное слово, что не имел ни малейшего понятия. Я расстался с ним позавчера, а вчера, из-за своего насморка, целый день не выходил. Погода ужасная.

Баронесса *(так же)*. Вы как-то мне сказали, что честное слово — вещь условная: его будто бы в принципе надо соблюдать, но если это влечет за собой что-либо печальное, то можно и не соблюдать.

Макс *(чихает)*. Мало ли что я говорю!..

Баронесса. Вероятно, вы и теперь говорите неправду, чтобы меня «утешить». *(Со злобой.)* Я не нуждаюсь в утешениях!

Макс. Разумеется, нет. В сущности, это самое лучшее, что могло с вами случиться. Вы теперь еще легче получите развод. Я вам советую возможно раньше уехать в Европу, например в Париж или в Монте-Карло. Пока вы будете в отсутствии, ваш адвокат подготовит все для развода.

Баронесса. Барон, вероятно, улетел именно в Париж или в Монте-Карло.

Макс (*продолжает*). И вы сэкономите сто тысяч долларов, которые вы обещали подарить ему.

Баронесса. Речь была не о ста, а о пятидесяти тысячах, и я ровно ничего не обещала!.. Вы видите, что никакой амнезии у меня нет, да и не было... Но как подло он поступил! Велел снести вещи вниз и уехал тайком, не сказав мне ни слова. Разумеется, он уехал в Европу с этой подлой женщиной. Как вы догадываетесь, я не могла спросить об этом швейцара. Я должна была даже делать вид, что мне известно, зачем и куда он уехал. Но я вижу, что швейцар догадывается! Это еще попадет в газеты или к какому-нибудь сплетнику-радиокомментатору!

Макс. Ничего не попадет, да и не так важно, если попадет. Ведь все равно о вашем разводе скоро станет известно.

Баронесса. Но мне было бы крайне неприятно, если б к этому примешали имя вашей приятельницы! Ведь не барон бросает меня, а я его бросаю!

Макс (*поспешно*). Разумеется... Я сегодня же незаметно разузнаю, уехала ли она с ним. Во всяком случае, все для вас кончилось недурно. Вы уедете в Европу, отдохнете, затем получите развод и скоро выйдете замуж за какого-нибудь нетитулованного, но порядочного человека, скажем, мистера Смита, который женится на вас, а не на ваших миллионах. Европейцы нас обвиняют в материализме, между тем именно у нас браки из-за приданого редки... Вы так привлекательны, что в вас *должны* влюбляться люди. Просто нельзя поверить, что вам тридцать четыре года.

Баронесса. Мне тридцать два.

Макс (*поспешно*). Простите, я обмолвился... Главное, поправьте здоровье.

Баронесса. Я совершенно здорова!

Макс (*так же*). К счастью, вы теперь здоровы, но вы были больны...

Баронесса. Не была! Никакой амнезии у меня не было, я все помню!

Макс (*не без тревоги*). Помните и мой разговор с вами?

Баронесса. Разве мы с вами разговаривали? О чем?

Макс (*с облегчением*). Да нет, о всяких пустяках. Об этом и нельзя помнить. (*Переводит разговор.*) Не могу понять: где ваш очаровательный дегенерат взял деньги? И что именно его так напугало? Я перемудрил,

играя на его суеверии. (*Опять переводит разговор.*) Так вы обещаете уехать за границу?

Баронесса. Примите у меня должность секретаря, с вами я уеду охотно... Я вам предлагала восемь тысяч долларов в год? Я вам даю десять и билеты на мой счет. Поезжайте со мной, умоляю вас.

Макс. Я очень тронут, дорогая, но не могу... Так вы, очевидно, думали, что я отказывался из-за недостаточной платы! Нет, я в жизни не имел и восьми тысяч в год. Не могу потому, что не люблю синекур. Кроме того, если б я получал у вас жалованье, то мы поссорились бы на третий день.

Баронесса. Что за вздор!.. Ровно ничего не изменится.

Макс. Изменится. Я лучше знаю жизнь, чем вы.

Баронесса. Тогда просто возьмите у меня денег.

Макс. Это было бы еще хуже. Сердечно благодарю, но не могу.

Баронесса. Чем же вы будете жить, когда кончатся ваши сбережения?

Макс. Они кончатся еще не скоро. Я проживаю полтора ста долларов в месяц.

Баронесса (*удивленно*). Не представляю себе, как человек может жить на полтора ста долларов в месяц. Допустим, но потом? Какую работу вы можете получить, когда вы сами говорите, что вам шестьдесят девять лет?

Макс (*обиженно*). Почему «когда вы сами говорите»? Это так и есть! Вы правы, в нынешнем мире в шестьдесят девять лет трудно получить должность кассира или бухгалтера. Зато, правда, можно быть главнокомандующим. Генералу Макартуру семьдесят два года. Клемансо в восемьдесят лет был диктатором. Но должности клерка в банке ему, конечно, никто не дал бы.

Баронесса. Насколько я понимаю, вы не собираетесь стать ни диктатором, ни главнокомандующим. Что же вы будете делать, когда все проживете?

Макс. Я прожил всю жизнь, не зная, чем буду жить через полгода. Впрочем, подумываю о том, чтобы стать ghost writer¹. Если я напишу что-либо под своим именем, то, конечно, никакого издателя не найду. Но, к счастью, есть богатые люди, которые не могут связать двух слов и которым очень хочется

¹ Автор, работающий на другое лицо (*англ.*).

увидеть свое имя в печати. Это одна из бесчисленных форм тихого умопомешательства. Для таких людей я клад. Они будут с книги платить, скажем, шесть тысяч типографии за печатание, три тысячи газетам за объявления и полторы тысячи мне за сочинение. Это все-таки лучше чечевичной похлебки. Человечество ушло вперед со времени Иакова и Исава. Мне приятно, и заказчикам приятно: за десять с половиной тысяч им обеспечено бессмертие.

Баронесса. Во всяком случае, помните одно: я ваш друг до конца дней, и вы у меня, в случае надобности, имеете неограниченный кредит.

Макс (*смеется*). Уж будто неограниченный? Скажем, до пяти тысяч?

Баронесса (*тоже смеется*). Нет, хотя бы до ста тысяч. Больше вам, верно, никогда не понадобится... Простите, я забыла вас угостить. Вам тогда понравился мой Наполеоновский коньяк. Не нальете ли вы себе рюмку? Бутылка на этом столике... Где же она? Она была здесь.

Макс (*с невинным видом смотрит на потолок, точно не слышит или не знает, где бутылка*). Я выпью виски.

Телефонный звонок. Баронесса берет трубку.

Баронесса. Швейцар?.. Что? (*С изумлением.*) Мисс Марта? (*Пренебрежительно.*) Какая мисс Марта?.. Ах да, эта стенографистка. Скажите ей, что я не могу ее принять, у меня сейчас нет для нее никакой работы. (*Кладет трубку.*) Какое нахальство! Она смеет мне звонить!

Макс (*радостно*). Вы видите, она не уехала с ним!

Баронесса (*почти не скрывая облегчения и восторга*). Да, она не уехала с ним!.. Он бросил ее!

Макс. Она не стала бы вам звонить без важной причины. Это странно. Примите ее.

Баронесса (*после краткого колебания*). Ни в каком случае!

Макс (*поспешно берет трубку аппарата*). Во всяком случае, я должен узнать, в чем дело. Я спущусь к ней.

Баронесса (*нерешительно*). Вы можете принять ее хотя бы здесь, я выйду в спальню.

Макс (*в аппарат*). Швейцар? Скажите, пожалуйста, мисс Марте, что баронесса просит ее подняться к ней. (*Кладет трубку.*)

Баронесса (*сердито*). Я не просила ее подняться ко мне!

Макс. Если б я сказал иначе, то она к вам не поднялась бы. Может быть, она что-либо знает о бароне?

Баронесса (*нерешительно*). Вы могли бы ее принять в его салоне.

Макс. Вы забыли, что вы тотчас его освободили, и отлично сделали. Теперь вы будете платить по счетам вдвое меньше.

Баронесса. Да, я освободила его номер... Я просто забыла, это не амнезия... Хорошо, примите эту женщину здесь... Верно, она будет просить у меня денег. Я ей не дам ни гроша!

Макс (*сухо*). Ручаюсь вам, что она не будет просить у вас денег... Амнезия у вас прошла, но ваш комплекс миллионерши, которую все грабят, неизлечим. Как я хорошо сделал, что не поступил к вам на службу.

Баронесса. Надеюсь, вы не предполагали, что у меня могут быть добрые чувства к этой женщине! Нельзя быть в добрых отношениях и со мной, и с ней!

Макс. Я ультиматумов такого рода ни от кого не принимаю.

Баронесса уходит в спальню, хлопнув дверью. Макс прохаживается по комнате, наливает себе виски, пьет. Затем на цыпочках подходит к двери спальни и прикладывает к ней ухо. Он уверен, что баронесса стоит по ту сторону двери и подслушивает. Так оно и есть. Он с усмешкой кивает утвердительно головой и отходит. Стук в дверь. Входит Марта. Он сочувственно на нее смотрит и протягивает ей обе руки. Вид у нее действительно ужасный. Она почти в истерике.

Макс. Здравствуйте, дитя мое.

Марта. Где она?

Макс (*уверенно и громко*). Баронесса сейчас к вам выйдет.

Марта. Он улетел! Куда он улетел?

Макс. Клянусь вам, я не знаю. Он ничего вам не оставил, никакого письма?

Марта. Ни слова!

Макс (*злобно, но как будто и с удовлетворением*). Он не оставил ни слова и баронессе. (*Шепотом.*) Вам он напишет.

Марта (*плачет*). Я знаю, что он бежал от нее!

Макс (*стараясь заглушить ее слова*). Вздор, вздор! Забудьте его.

Дверь из спальни открывается. Входит баронесса.

Баронесса. Что вам угодно?

Марта (*продолжает плакать почти по-детски*). Где барон?

Баронесса. Я у вас хотела узнать, где *мой муж*.

Стук в дверь. Входит слуга гостиницы, с удивлением смотрит на Марту и на подносе подает баронессе телеграмму.

Слуга. Только что принесли телеграмму.

Баронесса. Вы можете идти. (*Слуга выходит, бросив на Марту сочувственный взгляд. Когда дверь за ним затворяется, баронесса распечатывает телеграмму. Марта смотрит на нее так, точно вся ее жизнь зависит от того, что в телеграмме сказано. С живейшим любопытством ждет и Макс. Баронесса читает, перечитывает, саркастически смеется и отдает телеграмму Максусу.*) Только этого не хватало! Он выдал чек без покрытия!

Макс (*читает нарочно вслух, тревожно глядя на Марту*). «Я должен был по делу отлучиться Стоп Нахожусь Каракасе Отель Бристоль Стоп Забыл заплатить по чеку на Нэшнл Сити Банк, Park Avenue Branch, семь тысяч долларов Стоп Срок сегодня Стоп Вы чрезвычайно обяжете внеся покрытие банк».

Марта (*истерически*). Где это Каракас?

Макс (*не без гордости в интонации*). В Венесуэле... Проклятие волчицы исполнилось!

Баронесса (*не слушая его, запальчиво*). Я не заплачу ни одного цента! Пусть его посадят в тюрьму!

Марта (*в слезах, но с бешенством*). Женщина, которая способна сказать такую вещь! (*Плачет.*) Женщина, которая...

Макс (*поспешно*). Успокойтесь, его в тюрьму не посадят, я вам это обещаю.

Баронесса (*Марте*). Эти деньги он тратил на вас!

Марта. Это гадкая ложь! Он на меня ничего не тратил. Разве только иногда угощал меня в ресторанах. Один раз я сама ему дала пятьдесят долларов, у него с собой не было денег, и он забыл мне их вернуть...

Баронесса. Я ему «на рестораны» давала достаточно. Я вам верну эти пятьдесят долларов.

Марта (*с яростью*). Я их швырну вам в лицо!

Баронесса. Ступайте вон отсюда!

Макс (*твердо*). Я не могу допустить, чтобы культурные дамы так друг с другом разговаривали! Вы обе должны меня слушаться: я старше вас обеих, вместе взятых. (*Соображает.*) Да, обеих, вместе взятых... Не намного, но старше. (*Баронессе, очень твердо.*) Вы должны заплатить. Иначе *все* попадет во все газеты! Подумайте, что это значит: быть в газете на первой странице!

Марта. Я всем газетам сообщу, что я его любовница и горжусь этим!.. Но у меня есть его деньги. (*Макс и баронесса удивленно на нее смотрят.*) Он поручил мне как раз накануне своего отъезда заложить его кольцо в ломбард. Я тотчас заложила, дали тысячу двести долларов. Я их ему принесла, а швейцар сказал мне, что он улетел! (*Плачет. Вынимает из сумки квитанцию и пачку ассигнаций.*) Вот они, возьмите их. (*Макс делает ей знаки, чтобы она не отдавала этих денег баронессе, Марта этого не замечает. Смочив языком палец, она пересчитывает сотенные ассигнации. Баронесса недовольно следит глазами за ее подсчетом.*) Десять... Одиннадцать... Двенадцать. Тысяча двести, возьмите их, вот квитанция. (*Плачет.*) У меня есть свои триста семьдесят долларов. Возьмите и их, но заплатите по его чеку.

Баронесса (*она невольно смягчается*). Благодарю вас. Ваших денег не надо. Я заплачу.

Макс (*радостно*). Я другого от вас, разумеется, и не ожидал. Вы обе хорошие и несчастные женщины. Каждая по-своему хорошая и по-своему несчастная... (*Хлопает себя по лбу.*) Как я сам не догадался, что он выдавал не векселя, а чеки!.. Он пишет, что «срок завтра», то есть сегодня! Но это ничего. Узнав, что покрытия нет, банк задержит под каким-нибудь предлогом чек и известит его.

Баронесса (*встревоженно*). Вы думаете? По-моему, банк возвращает чек тому, на имя кого он выдан.

Макс. Вы, верно, никогда не выдавали чеков без покрытия. Я, случалось, выдавал, но, в отличие от почтенного барона, всегда вносил покрытие за день до срока чека. Это, собственно, тоже запрещено законом, но мы все живем, так сказать, на полях уголовного кодекса. Дайте мне ваш чек, я завтра приду в банк еще до девяти часов и заплачу... (*Со вздохом.*) Придется встать в восьмом часу.

Баронесса. Хорошо, я сейчас напишу чек... (*С тре-*

вогой.) Но что, если он выдал еще и другие чеки без покрытия!

Макс (*смотрит на потолок*). Да, такая возможность не исключается... Это вполне возможно... Это даже вероятно... Тогда и будем думать.

Баронесса. Я вижу, что вы знаете и о других чеках!.. Сколько?.. Еще несколько тысяч?

Макс (*уклончиво*). Кто знает, кто знает? Что ж делать, он *забыл*. У него плохая память. Я знаю, что у него! У него локализованная амнезия. То есть такая, когда человек не помнит только какой-либо определенной группы фактов. У него амнезия на чеки без покрытия. (*Успокоительно.*) Но, верно, не все его долги по чекам: есть и просто векселя. А векселя это даже не долг, кто думает о векселях!.. Вы говорите, несколько тысяч? (*Решительно.*) Скажем, несколько десятков тысяч.

Баронесса (*с ужасом*). Несколько десятков тысяч! Я платить не буду!

Марта. Умоляю вас! Умоляю, заплатите. У меня нет, а то я тотчас отдала бы все, что имею! Подумайте, какой это будет ужас, если его посадят в тюрьму!

Макс. Я как-то, к слову, сказал ему, что Венесуэла не выдает преступ... Никого не выдает. Но представьте, я, кажется, ошибся! Это какая-то другая южноамериканская страна никого не выдает. Венесуэла выдает! Вам лучше сразу положить известную сумму... Скажем, на мое имя, я буду платить по чекам. Не могу же я десять раз вставать рано утром! Да и банку надоест посылать письма с предупреждениями. А главное, зачем вам всякий раз волноваться?

Баронесса (*Марте*). Я буду платить его долги, а вы уедете к нему!

Марта (*плачет опять*). Уплатите по этим ужасным чекам, и я даю вам слово, что я к нему не поеду.

Баронесса. Я могу простить человеку все, но не выдачу чеков без покрытия! Он погибший человек! Я к нему теперь совершенно равнодушна.

Марта. Он замечательный, дивный человек! Если вы к нему равнодушны, то почему же вы не хотите, чтобы я к нему поехала?

Баронесса. Мне все равно... Но советую вам к нему не ездить... (*Максу.*) Я сейчас выпишу вам чек. (*Выходит в спальню.*)

Макс. Дурочка, зачем ты отдала ей тысячу двести долларов?

Марта (*изумленно*). Вы не хотели, чтобы я их взяла себе!

Макс (*улыбается*). Нет, этого я не хочу, но ты могла бы их послать твоему голубчику. Телеграмма послана по ночному тарифу. Значит, у него нет ни гроша.

Марта. Ах! Что я сделала?.. Я пошлю ему свои триста семьдесят.

Макс. Я боюсь, что ты не пошлешь, а сама их отвезешь. Я кое-что, ради тебя, добавлю из своих.

Марта (*колеблясь*). Но ведь я ей дала честное слово.

Макс. Честное слово надо в принципе соблюдать, но если...

Баронесса возвращается и протягивает Максу чек.

Баронесса. Вот вам чек на семь тысяч долларов.

Марта (*горячо*). Благодарю вас, от души благодарю. (*Колблется.*) Послушайте... Если вы его больше не любите, то зачем нам быть врагами? Я так не люблю иметь врагов! Их у меня до вас никогда и не было. (*Нерешительно протягивает ей руку.*) Я знаю, что я очень виновата перед вами. Простите меня.

Баронесса (*нехотя пожмает ей руку*). Прощайте. Советую вам к нему не ездить.

Макс радостно целует сначала одну, потом другую.

Макс. Какие вы обе милые, хорошие женщины!.. Каждая, конечно, в своем роде! (*Сильно и долго чихает.*) Поразительно, как насморк портит самые трогательные сцены!.. А теперь, Марточка, уходите подальше от греха. Патетические сцены, как хорошие шутки, чтобы быть удачными, должны быть краткими. (*Шепотом Марте.*) Я завтра утром к тебе зайду.

Телефонный звонок. Баронесса берет трубку.

Баронесса. Да, она здесь... (*Слушает.*) Хорошо, я ей сейчас скажу. (*Вешает трубку.*) Швейцар просит передать вам, что какой-то мистер Дикинсон из номера 424 *требуется*, чтобы вы пришли сейчас к нему для диктовки. Спешная работа. Двойная плата.

Марта. Благодарю вас. (*Они обмениваются все же не очень добрыми взглядами. Сказалась «классовая вражда».*) Прощайте.

Баронесса. Прощайте.
Макс. До свидания, дитя мое.

Марта уходит.

Баронесса. Вы правильно сказали: подальше от греха.

Макс (*он очень доволен. Смотрит на часы, встает и подходит к окну*). Дождь, дождь... Как ему не надоест падать на эту прекрасную землю и отравлять всем жизнь? А мне возвращаться в Бруклин.

Баронесса. Оставайтесь на ночь здесь. В гостинице есть свободные комнаты.

Макс. Я просто не мог бы заснуть в комнате, стоящей десять долларов в сутки... Только, пожалуйста, не предлагайте мне, что вы заплатите!

Баронесса. Я больше не смею.

Макс (*у окна*). Дождь, дождь... Идут люди в плащах, под зонтиками, все слабые, очень слабые, но хорошие и интересные люди. Некоторые из них, наверное, счастливее, чем вы с вашими миллионерами. И о каждом из них можно написать интереснейший роман.

Баронесса (*она тоже много веселее, чем была*). Вот вы и напишите, вместо того чтобы быть ghost writer'ом для дураков.

Макс. Я объяснил бы вон тому шатающемуся бродяге, что он такой же человек, как Франциск Ассизский. Вся мудрость жизни в том, чтобы пробуждать в людях лучшие свойства их природы.

Баронесса. Это, кажется, не очень ново.

Макс. Во всяком случае, основательно забыто.

Баронесса. И вы думаете, что так можно воздействовать на каждого человека?

Макс. О нет. Едва ли так можно воздействовать, например, на товарища Сталина.

Баронесса. Я тоже думаю... Ну что ж, пишите книгу. Я издам ее на свои деньги. Вдруг мы на ней много заработаем.

Макс. Не хочу делать в Book of the Month конкуренцию книге барона о франкентальском фарфоре. Ему деньги будут скоро гораздо нужнее, чем мне. И не далее как через месяц.

Баронесса (*после некоторого колебания*). Послушайте, я ведь еще до моей болезни почти решила, что дам ему пятьдесят тысяч. Если хотите, я вам дам их

сейчас? Разумеется, я вычту те семь тысяч, которые только что дала. Хотите, чтобы я вам оставила чек на сорок три тысячи?

Макс. Очень хочу. Дайте мне его сейчас. К сожалению, настроения Франциска Ассизского не всегда держатся у людей долго. (*Целует ей руку.*) Превосходная мысль. Вы прекрасная женщина.

Баронесса (*смеется*). Приберегите вашу тактику для того шатающегося бродяги.

Макс (*тоже смеется*). Я с ним не знаком. Дайте, дайте мне чек. (*Успокоительню, на всякий случай.*) Я сегодня же составлю распоряжение, чтобы в случае моей внезапной смерти чек вернули вам. Но я уверен, что он понадобится очень скоро. А вы в самом деле больше не любите барона? (*Смотрит на нее внимательно.*) Мы сейчас это проверим при помощи моего Lie Detector'a. (*Вынимает свой прибор из коробки.*)

Баронесса. Вы теперь не расстаетесь с вашим шарлатанским прибором! Все играете на человеческой глупости?

Макс (*еще веселее*). Играю, играю, на чем же играть? (*Вставляет прибор в цепь.*) Навожу на вас рупор... Вы больше не любите барона?

Баронесса. Нет. (*Стрелка чуть передвигается.*)

Макс. Всего пять процентов неправды. Отлично, дорогая, продолжайте в том же духе. Вы от него излечитесь постепенно и без последствий, как от скарлатины.

Баронесса (*смеясь не совсем естественно*). И тогда на горизонте появится мистер Смит? (*Внимательно смотрит на экран.*)

Макс. Непременно! (*Кричит в рупор.*) Появится мистер Смит — и какой! (*Стрелка стоит неподвижно.*) Видите? Чистейшая правда.

Баронесса. Шарлатан!.. Я сейчас принесу вам чек. Проверю только, есть ли сейчас эта сумма на моем счету.

Макс (*уверенно*). Есть, есть. Я знаю, что есть.

Баронесса. Но предупреждаю вас, что если чеков окажется больше, то я платить не стану. (*Стрелка передвигается. Баронесса не без раздражения машет рукой и выходит в спальню. Макс наливает себе виски. Нанекает: «...Whether you young, whether you old...»*)

Стук в дверь. Входит аптекарь Тобин.

Макс (*радостно*). Здравствуйте, доктор Тобин.

Аптекарь (*оглядывается и рассеянно поправляет*).
Аптекарь Тобин.

Макс. Садитесь. Выпьем виски.

Аптекарь. Разве тут теперь можно пить? (*Садится и оглядывается на дверь спальни.*) Я лучше выпил бы не виски, а того коньяку, которым вы меня угощали прошлый раз. Это был прекрасный коньяк. (*Тотчас жалеет, что похвалил.*) Да, недурной коньяк. Его больше нет?

Макс (*повторяет грустно*). Его больше нет. Но память о нем никогда не умрет. (*Наливает виски.*)

Аптекарь (*опять оглядывается*). Она там?

Макс. Баронесса? Да, там.

Аптекарь. Я думал, что она уже умерла.

Макс. Назло вам, она совершенно здорова. Выпейте, чтобы утешиться.

Аптекарь (*разочарованно*). Но, вероятно, она ровно ничего не помнит?

Макс. У нее память как у лучшего гарвардского профессора.

Аптекарь (*еще более разочарованно*). Мне сказали, что барон улетел куда-то в Южную Америку. Вероятно, он узнал о возникших против него подозрениях и бежал.

Макс (*все любезнее*). Помилуйте, какие подозрения! Решительно ничего не было. (*Понижая голос, с таинственным видом.*) Под величайшим секретом скажу вам, что барон и баронесса разводятся: не сошлись в политических взглядах. Барон сочувствует республиканцам, а баронесса старая социалистка. Он узнал, что она завещает половину своего богатства британской рабочей партии, и признал это mental cruelty¹. Все же они расстались друзьями. На прощание она ему подарила богатейшие плантации индиго в Венесуэле. Он и вылетел туда их возделывать. А она скоро выходит замуж.

Аптекарь (*очень кисло*). За князя или за графа? Маркиз и барон уже были.

Макс. Нет, за некоего мистера Смита.

Аптекарь. Конечно, он тоже прохвост?

Макс. Мистер Смит — один из самых благородных людей, каких я когда-либо встречал в жизни... Вы

¹ Ментальная жестокость (*англ.*).

зашли по делу, дорогой мой, или просто чтобы меня повидать?

Аптекарь. Нет, по делу. Я принес счет барона. Может быть, кто-нибудь мне заплатит?

Макс. Наверное. (*Вынимает бумажник.*) Сколько это?

Аптекарь. Тридцать девять долларов семьдесят.

Макс. Неужели мой друг барон так много лечился?

Аптекарь. Он покупал у меня самое дорогое в мире мыло. Во всем Нью-Йорке у меня это мыло покупали только четыре психопата из восьми миллионов, в том числе он.

Макс. Получите деньги, мой жизнерадостный друг. Вот сорок долларов.

Аптекарь. У меня нет сдачи.

Макс. Тогда сегодня же, когда выйдете на улицу, отдайте эти тридцать центов первому пьяному. Непременно пьяному. *In vino veritas.* Нет, это не верно. Как по-латыни снисходительность?

Аптекарь. Не знаю. Купите словарь.

Макс. И пусть этот пьяница выпьет за барона.

Аптекарь. За здоровье этого негодяя действительно можно пить только в пьяном виде.

Макс. Конечно, барон не такой превосходный человек, как мистер Смит, но негодяй слишком сильное слово. Повторяю мою формулу: он хуже Ганди и лучше Гитлера... (*Чихает.*) Как вы думаете, дождь скоро пройдет?

Аптекарь. Будет продолжаться целую неделю.

Макс. А мне далеко возвращаться.

Аптекарь. Нет ничего легче, как схватить воспаление легких. Это в наши годы очень опасно.

Макс. Нам не по дороге в Бруклин? Мы могли бы пополам взять такси.

Аптекарь. Нет, у меня прямой кросс в Вест.

Макс. Жаль... Вы смотрите на эту штуку?.. Это тот самый Lie Detector, о котором я вам говорил и в который вы не поверили. Я объяснял вам, что Гиппокампова область головного мозга испускает бета-лучи, которые...

Аптекарь. В прошлый раз она у вас испускала альфа-лучи. Перестаньте морочить людям голову вашим фокусом. Да мне и не надо никакого прибора для подтверждения того факта, что все люди всегда и во всем врут.

Макс. А вот мы попробуем. (*Наводит на себя рупор.*) Я выражу в одном кратком афоризме вашу глубокую философию, дорогой друг. (*Кричит в рупор.*) Все люди прохвосты. (*Стрелка бешено передвигается.*) Видите, это совершенная неправда. Скажите теперь что-нибудь вы сами.

Аптекарь (*в рупор*). В каждом так называемом честном человеке сидит потенциальный прохвост. (*Стрелка отклоняется на экране, но не до конца шкалы.*)

Макс. Десять процентов правды. К счастью, только десять процентов. Теперь скажу свой основной афоризм я: (*Кричит в рупор.*) Величайшая человеческая добродетель — снисходительность. Хотя это добродетель стариков. Потому что это добродетель стариков! (*Стрелка стоит неподвижно.*)

З А Н А В Е С

«Ну что ж, право недурно, — подумал Норфольк, прочитав пьесу. — И диалог хорош, и характеры есть». Он тотчас догадался, что Яценко писал своего Макса отчасти с него самого, и решительно ничего против этого не имел, даже был польщен. «И недурно меня изобразил, может быть, кое-что и предвосхитил? Правда, я с ним много болтал в последние дни с моей обычной неумной откровенностью. Станные все-таки они люди, писатели. Но что-то уж очень быстро этот творит. И все-таки у него Макс, да не Макс Норфольк. Это я в преломлении среднего драматурга и приспособленный к требованиям сцены. В этой пьесе от амнезии была прямая дорога к пошлости, и он счастливо ее избежал. Во всяком случае, она лучше его «Рыцарей Свободы». Он не так молод, но, кажется, сделает карьеру. Судя по тому, что он сегодня говорил о чтении в кинематографе, он, бедный, по-видимому, надеется, что ему удастся произвести переворот в искусстве. Не он первый, не он последний. Артистки ему выцарапали бы глаза, если б он настоял на том, чтобы вместо них говорили какие-то чтецы. Пемброк никогда этого не допустит: он свое пошлое дело знает. Отзыв я, конечно, дам боссу очень хороший», — благодушно думал Норфольк. Он думал также о том, что теперь несколько месяцев будет есть каждый день, и недурно

есть, в этом самом маленьком ресторане, поглядывая на красивых женщин. — По-французски это называется «полоскать глаз», очень милое выражение... Мне давно, давно нужно пополоскать глаз...» Мысли его были приятны. Он решил было заказать четвертый коктейль, но передумал и спросил чашку кофе: неудобно было с первого же дня создавать себе репутацию пьяницы. Теперь он сам немного играл под того Макса, которого вывел в своей пьесе Джексон. Жизнь вступила во взаимодействие с искусством.

III.

От Нади пришла русская телеграмма, написанная французскими буквами: «Приеду завтра утром Стоп Страшно благодарю присылку второй пьесы Стоп Я восторге».

Эту телеграмму Виктор Николаевич получил вечером, вернувшись с обеда, на котором познакомился с кинематографической красавицей. Он очень обрадовался приезду Нади. Похвала большого значения не имела: Надя не так много понимала в литературе. Но он с радостью почувствовал, что ему без нее было скучно. «А вот обедов с артистками, верно, больше не будет, — подумал Яценко с легким вздохом. — И не надо! И слава Богу!»

— Я страшно рад, что ты наконец приехала! — на вокзале сказал он ей искренно, но подумал, что словом «страшно» они немного злоупотребляют.

— А я-то!.. Ах, какие дивные цветы ты принес! Мои любимые! — ответила она. Они нежно поцеловались и у ступенек ее вагона, и еще раз в конце перрона; по дороге к автомобилю она подносила к лицу его букет; оба действительно были в восторге, но ему казалось, что во всем этом было что-то *обязательное*, как в рукопожатии при встрече со знакомыми.

Он снял ей комнату в своей гостинице, не рядом, а в конце коридора. Она хвалила, но Яценко видел, что комната ей не нравится. С первой же минуты он снова, как тогда в Ницце, почувствовал, что его немного утомляет ее необыкновенная энергия, то ее свойство, которое он называл «vitality», все не зная, как перевести на русский язык это слово: «живучесть», «жизнеспособность» означали не совсем то же самое.

— ...Комната, конечно, хорошая, но дороговато, да и зачем нам две ванны? Уж будто не было комнаты ближе?.. Вода только теплая, а не кипяток. Так целый день?

— Нет, по утрам кипяток. Я разбавляю наполовину холодной водой.

— Да, но ведь ты знаешь, я купаюсь вечером. Значит, нынче я буду купаться два раза. Пожалуйста, позвони, я скажу, чтобы мне принесли два кувшина кипятку... А как ты меня записал? Еще не записывал? Я запишусь как твоя жена, разумеется, если ты меня не стесняешься! Во Франции, впрочем, никто на такие вещи не обращает внимания. This is a free country¹, — сказала она со смехом, старательно и недурно выговаривая английские слова. — Что ты делаешь сегодня днем? Ах да, ты в студии. А мне нельзя поехать с тобой? Впрочем, нет, сегодня я и не могла бы. Ну хорошо, так ты меня подождешь, правда? Как я рада! Я буду готова через полчаса. Закажи, пожалуйста, завтрак. Кофе и два яйца. Сегодня я буду есть и яйца. В виде исключения, конечно. Ах, как я рада, что мы опять вместе!

— Ты правду говоришь, что ты рада?

Она, медленно полузакрывая глаза, наклонила голову и пояснила, что в Турции этот знак означает: нет. Виктору Николаевичу было известно, что, когда Надя начинает объясняться по-турецки, это значит, что она в хорошем настроении духа.

В это утро они «вели себя как молодожены» — к собственному своему удивлению.

— Ну хорошо, поезжай в свою студию, если это уж так необходимо. Но мне надо знать, когда ты приедешь? — спросила Надя. Виктор Николаевич опять с легким огорчением почувствовал, что, хотя он в восторге, свободы стало меньше. — В пять! Только в пять? Ну что ж делать. Я пока буду устраиваться.

Когда он вернулся в шестом часу, его ждал сюрприз. Надя сняла номер из двух спален, маленькой гостиной и ванной. Его вещи уже были перенесены в этот номер. Книги, лежавшие у него прежде на столах, на стульях, на диване и даже на полу, теперь были расставлены на этажерке, папки с его бумагами были аккуратно разложены на письменном столе. Он был

¹ Это свободная страна (англ.).

изумлен и немного задет тем, что все это было сделано без его ведома.

— ...Ты дал мне полномочия, — весело сказала Надя. — Заметь, стоит это только чуть дороже, чем стоили бы те две комнаты. Так дешево потому, что на пятом этаже и окна выходят во двор. Скоро я начну платить свою долю.

— Какой вздор!

— Нет, не вздор. Правда, твоя комната меньше той, что у тебя была, но она гораздо уютнее. Ты вот сколько здесь живешь и не догадался, что можно получить настоящий письменный стол, а я поговорила с хозяином и получила и стол, и этажерку. А главное, теперь у тебя есть маленькая гостиная, где ты можешь «принимать посетителей». У тебя, наверное, есть посетители?.. И посетительницы?.. По твоему теперешнему рангу тебе необходимо иметь гостиную. Могут ведь прийти люди утром, когда комнаты еще не убраны. Признайся, что у тебя убрали часов в двенадцать. А я дала горничной двести франков, и она обещала убирать в десять. А пока она убирает, ты можешь работать или принимать гостей в гостиной. Впрочем, я надеюсь, что хоть по утрам никто шляться не будет. Я, конечно, верна старым традициям русского гостеприимства, но, честно скажу, утренних гостей я терпеть не могу. У тебя целый день посетители и посетительницы?

— Какие посетители, когда я каждый день в десятом часу уезжаю на целый день в студию!

— Неужели в десятом часу? Собственно, зачем же так рано? — спросила она разочарованно. — Ведь у тебя работа пока только литературная? Ты мог бы работать дома.

— Нет, это невозможно. Все время приходится обсуждать разные дела с режиссером, с другими, — солгал он и сам удивился, что *уже* начал лгать.

— Но ты не сердись, что я без тебя переменяла помещение? Ты, наверное, не стыдишься меня? Все равно все будут знать. Да и что нам скрывать? Или у тебя бывают чопорные дамы? Никаких дам? Тем лучше. Увидишь, как нам будет здесь уютно. Я даже не огорчена теперь, что *рок визы*, как ты говоришь, ничего нового пока не принес. Уедем в Америку позднее.

— А *рок войны*?

— Все говорят, что война будет нескоро. И все-

таки на свете есть только один Париж, и я страшно рада, что мы здесь проживем некоторое время... Ну хорошо, я закажу чай, и ты мне все расскажешь: о себе, о пьесе, об Альфреде Исаевиче, об актерах, об актрисах.

— Кстати, Альфред Исаевич сказал, что, быть может, сегодня к нам заедет повидать тебя. Он к тебе очень благоволит, даже, по-моему, слишком, — шутливо сказал Яценко.

— Я его обожаю! Он очень смешной. Но он любит только свою семидесятилетнюю Сильвию Соломонову.

Принесли чай, которого он никогда у себя в гостинице не пил. Надя достала из шкафа бутылку рома, печенье, корзинку с засахаренными фруктами.

— Заказывать *thé complet*¹ дорого и плохо. Я все это привезла из Ниццы именно для нашего первого уютного чая. Я знаю, что ты все это любишь и любишь уют.

— Как все старые холостяки.

— Именно. Ну и наслаждайся теперь уютом.

Он в самом деле чувствовал себя прекрасно. «Конечно, есть и плюсы, и минусы».

— Я просто счастлив! И мне жаль, что Пемброк придет уже сегодня. Он, конечно, потащит нас обедать.

— Ну, так что же? Вероятно, он обедает не в «Армии спасения».

— «Ну, так что же?» — укоризненно повторил Яценко. — Я хотел сегодня пообедать с тобой вдвоем... Альфред Исаевич каждый день угощает людей обедами в самых дорогих ресторанах. Надо отдать ему справедливость, он щедрый человек. Но мне это несколько надоело, и я раз навсегда объявил ему, что всякий раз буду платить за себя.

— Это, собственно, уже излишняя щепетильность, он ведь миллионер в долларах и теперь твой boss.

— Денег у нас теперь больше чем достаточно, но мне было бы совестно каждый вечер платить по несколько тысяч за обед.

— Ты совершенно прав! — с жаром сказала Надя. — Я тоже видела, в какой нужде теперь живут русские на Ривьере. Мы будем с тобой ходить в недорогие рестораны.

¹ Чай в наборе со сладостями (*фр.*).

— К сожалению, завтракать мне придется в студии, в их кантине¹. Ездить сюда нет времени.

Она огорчилась.

— А я не могу приезжать в кантину?

— В каком же качестве? — спросил он и подумал, что эти слова звучат глупо.

— В том качестве, что я люблю мистера Вальтера Джексона и со временем стану его женой. Если ты не передумал. Ты не передумал?

— Нет, я не передумал. Как только кончится твое дело с разводом, мы отправимся в мэрию, а если хочешь, то и в церковь.

— Разумеется, и в церковь! Ты мне здесь советских порядков не заводи! Что же касается «качества», то я себе качество найду. Что, все роли в твоей пьесе уже распределены?

«Вот оно, начинается», — подумал он.

— К сожалению, это не от меня зависело.

«Уже оправдывается, хотя я его еще и не упрекала», — подумала она.

— Я тебе писала, что “The Lie Detector” превосходит, еще лучше, чем «Рыцари Свободы». Это чудесная пьеса!

Ему была приятна ее похвала, но он знал, что она хвалит неизменно все, что он пишет. «А кроме того, ей важнее всего не пьеса, а ее роль».

— Она ведь совершенно в другом роде. Но мне тоже кажется, что в некоторых отношениях, особенно в техническом, она шаг вперед по сравнению с «Рыцарями». Зато в смысле идейном она менее значительна, просто по своему сюжету.

Он с неприятным чувством вспомнил, что недавно сказал это Норфольку, а тот ответил: «Так бывает часто. «Анна Каренина» гениальный роман, но по сравнению с «Войной и миром» это большое падение. — в «Войне и мире» был вдобавок огромный сюжет».

— Послушай, ты только что сказал об Альфреде Исаевиче: «Надо отдать ему полную справедливость». Я знаю, что это значит, когда так говорят: ты уже его ненавидишь?

— Напротив! У нас самые лучшие отношения.

— Скажи правду, он мне не даст роли Марты?

Яценко только развел руками.

¹ От фр. *cantine* — столовая.

— Он не может. И эта роль уже отдана.

— Кому?

Он назвал фамилию известной артистки. Она вздохнула.

— Есть еще роль баронессы. Но мне не очень хотелось бы переходить на роль пожилой женщины.

«Баронессе тридцать восемь лет, а она ненамного моложе», — подумал он.

— Относительно роли баронессы он тоже ведет переговоры с известными артистками. Он говорит, что ему необходимы не только *талантливые* артистки, но артистки с большими именами. Вдобавок ты иностранка.

— Значит, ты пробовал предлагать ему меня именно на роль баронессы?

— Да нет же, мы говорили в общей форме. Я просил давать тебе хорошие роли и помочь тебе сделать большую карьеру. Он ответил, что постепенно будет делать для этого все возможное.

— Но хорошие роли в *чужих* фильмах?

— Ты ведь знаешь, что в «The Lie Detector» других женских ролей нет... Если не считать роли французской горничной, — вскользь, почти без вопроса в тоне, добавил он.

— *Пока* нет, но ведь пьеса еще все-таки не вполне кончена. Милый Витя, присочини для меня роль, хотя бы небольшую, но благодарную!.. Не смотри на меня зверем... Виктор, Витя, Витенька, присочини для меня роль! — Она знала, что его всегда трогало обращение «Витя, Витенька»: он говорил, что так его в последний раз называла какая-то Муся Кременецкая, в которую он был влюблен мальчиком. — Витенька, присочини для меня роль! Я уверена, что сам Шекспир присочинял роли для своей жены! А ты еще не Шекспир! Ты будешь Шекспиром, но ты еще не Шекспир.

В гостиной прозвенел телефонный звонок. Швейцар почтительно сообщил, что мосье Альфред Пемброк спрашивает, может ли подняться.

— Может. Просим, — ответила Надя. — Знаешь что? — обратилась она к Яценко несколько более холодно. — Пойди пока в твою комнату, тебе ведь надо и работать. А я посижу с ним. Я могу ему сказать, что тебя нет дома и что ты скоро вернешься. А потом вместе поедем обедать.

— Ты хочешь просить его о роли? Я тебе посоветую вот что. Альфред Исаевич ставит не один мой

фильм, а одновременно еще другой. Я ничего *присочинить* не могу, но ты можешь попросить его дать тебе какую-нибудь роль во втором фильме.

— Это совсем не то же самое, — сухо ответила она. — Нет, успокойся, я его ни о чем просить не буду. Не хочешь — и не надо.

— Что ж, я в самом деле пойду к себе, у меня есть спешная работа, я сегодня еще ничего не написал, — сказал он и вышел, поцеловав ее в лоб. Она на поцелуй не ответила. «Да, начинается», — думал он. Теперь в заговоре против искусства приняла участие и Надя.

Пемброк галантно привез ей цветы, был очень любезен и весел. Он чрезвычайно хвалил и Яценко, и пьесу, но жаловался, что автор работает над экспозе недостаточно быстро.

— Вы его Эгерия, — говорил он. — Повлияйте на него, honey, в том смысле, чтобы он не отделял все как шлифовальщик, этого нам совсем и не нужно. Хорошо? Я ему достал самого культурного мэтр-ан-сцен во Франции и теперь веду переговоры с самым знаменитым диалогистом. Мы все от пьесы в восторге, и я уверен, что это будет hit! Ради Бога, повлияйте на него.

— Повлиять я могу, но какую взятку вы мне за это дадите, Альфред Исаевич?

— Все, что вам угодно, sugar plum. Приказывайте!

— Я хочу играть роль Марты, — нерешительно сказала Надя. Она понимала, что главной роли ей никогда не дадут, но начинать просьбу всегда нужно было с *большого*, для дальнейших уступок. Однако на этот раз она ошиблась в расчете. Альфред Исаевич вдруг расвирепел, что с ним случалось чрезвычайно редко.

— Моя милая, вы, кажется, совсем сошли с ума! — сказал он побагровев. — Вы, может быть, думаете, что вы Грета Гарбо!

— Нет, я этого не думаю, — ответила она, струсив.

— Этот фильм будет стоить двести миллионов франков, из которых моя группа дает сто двадцать! А вы предлагаете, чтобы я дал эту роль вам, когда вас ни одна собака не знает!

— Меня знают многие собаки, Альфред Исаевич. И ведь роль Лины в «Рыцарях Свободы» вы мне дали.

— Что такое «Рыцари Свободы»? «Рыцари Свободы» — это маленькое дело, где я рискую несколькими тысячами долларов! Если они провалятся, то мы их снимем через пять представлений, и дело с концом! Да

и там я поступил опрометчиво! А здесь я рискую огромными деньгами, своими и чужими, чужие для меня не менее важны, чем мои! Больше того, я рискую и своей репутацией! А вы мне предлагаете дать вам главную роль. Перестаньте говорить копченую селедку! — сказал Альфред Исаевич, в минуты гнева переводивший на русский язык американские выражения. — Это просто *red herring*!

— Ну если это копченая селедка, тогда дайте мне второстепенную роль: роль баронессы.

— Это невозможно! И притом великий писатель земли русской еще не удосужился сдать нам экспозе! — сказал саркастически Альфред Исаевич. У него со словами «великий писатель земли русской» связывалось неясное раздражение против Яценко от первого разговора с ним в Ницце. — Если на то пошло, то я вам скажу, что это вообще безобразие!.. Это непорядок, — поправился Альфред Исаевич. — Я решительно настаиваю на том, чтобы к концу месяца я имел экспозе.

— А если в нем будет какая-нибудь приличная роль, вы мне ее дадите?

— Посмотрим, посмотрим. Я, быть может, где-нибудь вам найду роль второй перспективы, *hopeu*, — говорил, успокаиваясь, Пемброк. — Я это называю ролями второй перспективы.

— Понимаю. Это как на хороших пароходах третий класс из вежливости называется туристским, — сказала с сердитой шутливостью Надя.

IV.

Обсуждение сценария было назначено на пятницу. Но накануне Делавар заявил, что нельзя начинать дело в тяжелый день. Альфред Исаевич был удивлен, впрочем, скорее приятно. Он никак не думал, что его новый компаньон суеверен; эта черта, как ему казалось, что-то смягчала в «дельце с головы до ног», каким он считал Делавара. Сам Пемброк был *esprit fort*¹, ни в какие приметы не верил, и это вызывало у него чувство превосходства.

— Почему же вы, собственно, считаете, что это начало дела? — спросил он. — Дело уже давно начато.

¹ Вольнодумец (*фр.*).

Кстати, наш великий писатель все еще не удосужился написать экспозе до конца. Вы ведь знаете, он требует, чтобы часть фильма состояла из чтения спикера!¹ Он уже со всеми спорил и всем смертельно надоел. Разумеется, ни о каком чтении речи быть не может, но он опять будет приставать с этим на заседании. Чудак! Его пьеса отличная, и он сам хочет испортить все дело.

— Мне он вообще не очень нравится, ваш Джексон.

— Ах нет, он прекрасный и культурнейший человек, я сделаю замечательным сценаристом, вы увидите! Он через год будет получать в Голливуде полторы тысячи долларов в неделю! Но он чудак!

— Что ж, вы даете роль этой его даме? Кстати, я ее еще не видел.

— Кажется, придется дать, — сказал со вздохом Пемброк. — Эту кость, может быть, придется ему бросить, пусть она участвует, нам нельзя с ним ссориться... Ну хорошо, так перенесем заседание на субботу? Но если вы, Делавар, спросите еще какого-нибудь астролога, и он вам скажет, что и в субботу начинать нельзя, то заседание состоится без вас.

— Нет, в субботу я буду рад вас видеть, — ответил Делавар, довольный шуткой об астрологе.

В субботу с утра Альфред Исаевич почувствовал себя нездоровым: стал кашлять и разболелась голова. Он не был суеверен, но был очень мнителен. Тотчас слег в постель, вызвал врача и решил отложить заседание. Звонил всем по телефону и первым позвонил автору, раньше даже, чем Делавару: интеллигенция шла впереди буржуазии.

— ...Нет, серьезного, Виктор Николаевич, кажется, пока ничего нет, — стонал он в аппарат. — Но все-таки надо быть очень, очень осторожным. Сегодня вести заседание я и не мог бы. Перенесем на понедельник... Нет, в понедельник опять тяжелый день, Делавар не захочет, будь он проклят. Так во вторник, в пять часов у него.

— Да все-таки что же у вас такое?

— Сильный жар, боюсь, что доходит до ста. Термометр показывает 37,8, но я их европейский счет забыл. Вы не знаете, сколько это?

— Это немного.

— Может быть, для вас немного, — обиженно возразил Пемброк, — а для меня очень много. Еще

¹ От *англ. speaker* — здесь: диктор.

хорошо, что у меня сердце, как у молодого человека! Мне сам Мак-Киннон сказал, что в жизни не видел такого сердца... И подумать, что Сильвия сидит в Сильвия-Хауз и не знает, что у меня 37,8!

— Какая Сильвия?

— Моя жена, — еще более обиженно объяснил Альфред Исаевич. — Конечно, если это не пройдет, я пошлю ей телеграмму, чтобы она приехала. Но она от испуга с ума сойдет! Она и то не хотела отпускать меня одного в Европу.

— Во вторник так во вторник. Альфред Исаевич, значит, и Надя может приехать?

— Она может приехать только как ваша невеста. Если б я даже дал ей маленькую роль, то это еще не резон, чтобы она участвовала в заседании, артисты, играющие незначительные роли, на заседание не приглашаются. Из артистов вообще будет только... — Пемброк с почтением в голосе назвал знаменитую артистку, которой он за участие в фильме платил восемь миллионов франков. — Больше никого. Приглашены к Делавару вы, она, Луи и этот новый фактотум¹ Делавара Норфольк... Хорошо, пусть Надя приедет, но только как ваша невеста. И пожалуйста, не говорите в студии, что Надя будет, а то они меня съедят. А когда артисты злы, то все идет к собакам... Так во вторник. Извините меня, мне очень трудно говорить. Кланяйтесь Наде. Конечно, если, не дай Бог, я не поправлюсь, то я вам дам знать.

Альфред Исаевич поправился, телеграмма в Сильвия-Хауз послана не была, а для верности всем приглашенным были отправлены пневматические письма, подтверждавшие, что заседание состоится в пять часов у Делавара и что после заседания будет обед в ресторане Лаперуза.

Надя очень волновалась. Все спрашивала Виктора Николаевича, как надо одеться, как будет одета знаменитая артистка, наверное ли и ее приглашают на обед. Она должна была приехать к Делавару одна: Яценко, как всегда, проводил день в студии. Немного волновался и он сам.

Его пьесу уже читали почти все участники заседания. Альфред Исаевич сказал, что, быть может, на заседании еще раз очень кратко все изложит. «Рас-

¹ От *лат. factotum* — правая рука.

сказывать надо тоже *кинематографически*, вы едва ли могли бы рассказать так, как нужно специалистам», — объяснил он Яценко. На самом деле Пемброк опасался, что автор будет рассказывать содержание своего произведения два часа.

Из студии Яценко выехал на заседание в автомобиле с режиссером. Они уже были довольно хорошо знакомы. Виктор Николаевич оценил познания месье Луи, его трудолюбие и любовь к делу. Все больше убеждался в том, что в кинематографической среде, о которой он слышал и читал столько дурного и смешного, было очень много прекрасных, честных и даже даровитых людей.

Месье Луи был образованный человек, знавший на память тысячи стихов, и классических, и новых. Он писал и сам малопонятные стихи, их изредка печатали в передовых изданиях. В молодости месье Луи был артистом, но успеха не имел. У него была очень короткая шея, голова казалась приставленной к плечам, и это затруднило его актерскую карьеру. Как многие не очень даровитые артисты, он стал режиссером. Тут особенность его наружности, напротив, была благоприятной — создавала впечатление силы, которой он на самом деле не обладал. Из театра он перешел в кинематограф, так как в театре ему платили до смешного мало. Месье Луи был бескорыстным человеком. Он рассказывал Яценко, что его предок по матери, Дюкро, был в восемнадцатом веке учителем в России, затем, вернувшись на родину, стал якобинцем и нажил большое состояние поставками в пору империи. «Это наше богатство продержалось несколько поколений, затем, как водится, растаяло, и я унаследовал от его создателя только безотчетную любовь ко всему передовому», — сказал он. «Если вообще существуют подлинные идеалисты, то он, конечно, к ним принадлежит. Он любит только искусство и не мог бы жить без сцены или студии», — думал Яценко. Но он все не мог понять, знает ли толк в искусстве месье Луи. С одной стороны, то, что нравилось режиссеру, нравилось самым известным писателям Франции. С другой стороны, именно это и было несколько подозрительно. В искусстве месье Луи ненавидел или презирал все, что в передовом кругу было принято ненавидеть или презирать. Многим он, как казалось Виктору Николаевичу, восхищался чуть преувеличенно: «Так люди с чрезмер-

ным жаром восхищаются, например, красотами Сиены или произведениями Жироду, хотя действительно в Сиене многое прекрасно, а Жироду был талантливый и особенно изобретательный человек. И признает Луи либо самое последнее слово, либо то, что было написано двести—триста лет тому назад. Поставить пьесу начала двадцатого века ему, верно, показалось бы столь же диким, как приобрести для справок словарь, вышедший пятьдесят лет тому назад. Но, может быть, я так думаю потому, что он о «Рыцарях Свободы» говорит довольно холодно, особенно за вином». Месье Луи пил редко и не очень много, а когда выпивал, то угрюмо говорил, что еще, быть может, скажет слово, настоящее слово.

Охотно, по своему выбору, месье Луи ставил лишь очень сложные пьесы, которые восторженно расхваливались частью критики, неизменно проваливались и очень быстро снимались с репертуара. Впрочем, у публики и критики эти провалы способствовали престижу месье Луи, создавая ему ореол человека, опередившего свое время и стоящего выше толпы. Однако антрепренеры держались другого мнения. Изредка он и им предлагал такие пьесы. Так, одну из них предложил Пемброку тотчас после того, как с ним познакомился. Как и другие продюсеры, Альфред Исаевич сценарий отклонил, но, по своему обычаю, принял виноватый вид. «Это, конечно, чудная вещь, и я понимаю, какой шедевр вы из нее сделали бы! Но что же мне делать, если вы опередили свое время на тридцать лет! Вы не можете себе представить, как косны и инертны массы!» — горестно сказал он, и опять его система оправдалась: месье Луи не обиделся или почти не обиделся и даже не подумал, что вся французская кинематографическая промышленность захвачена иностранцами. С годами он потерял надежду реформировать кинематограф. Ставить ему приходилось всевозможный вздор. Он старался облагородить то, что ставил, и кое-как создавал *настроение* — тут помогала погода: в некоторых его фильмах, происходивших на берегу моря, все время шел дождь, иногда *мелкий, скучный, осенний*, иногда с молнией и громом.

О «Рыцарях Свободы» месье Луи говорил мало и, по-видимому, неохотно, и, хотя ничего нелестного не говорил, вид у него бывал такой, точно он «резал правду-матку». Это задевало Виктора Николаевича, особен-

но в связи с их очень добрыми личными отношениями. «Конечно, все мое ему не нравится потому, что никаких трюков у меня нет. Видит Бог, трюки выдумывать очень легко. Их беда в том, что через десять—двадцать лет они становятся нестерпимыми. От Жироду почти ничего не останется, тогда как Толстой, Пруст, даже Чехов почти вечны. Правда, я никак не Чехов», — тотчас поправлялся Виктор Николаевич. Впрочем, у месье Луи всегда при разговорах с людьми, от которых он хоть сколько-нибудь зависел, был такой вид, будто он сейчас уйдет, хлопнув дверью. Виктору Николаевичу нравилась эта его черта независимости, нравился и сам месье Луи, с его неподдельной и страстной любовью к искусству, хотя бы и плохому.

В гостиной своего номера Делавар принимал гостей с изысканной любезностью. О каждом новом госте швейцар сообщал по телефону. Мужчин, *даже* Норфолька, хозяин встречал на пороге, а к знаменитой артистке вышел навстречу в коридор и отвел ей кресло по правую руку от себя. «Прямо Людовик XIV», — недоброжелательно думал Яценко. Делавар становился все более ему неприятен. Он сожалел, что «активизировал» этого человека в Лиддевале. Хотя тут некорректность была сделана им самим, а никак не Делаваром, Виктор Николаевич бессознательно ставил ему в вину черты характера и поступки банкира из «Рыцарей Свободы».

Пемброк измученным голосом объяснял всем, что, кажется, выздоровел, хотя врачи велят быть очень, очень осторожным. Знаменитая артистка занимала его разговором. Она старалась держать себя с чарующей простотой. Слава пришла к ней внезапно. Какой-то могущественный продюсер обратил внимание на красоту ее ног и ресниц. «У нее ноги, как у Марлен!» — сказал он, и карьера артистки была сделана. Драматического таланта у нее не оказалось, но некоторые достоинства нашлись. Ноги и ресницы сделали ее знаменитостью, ее поцелуй, по фотографиям, был известен всему миру. Авторы сценариев специально придумывали сцены, в которых она могла бы как следует показать колени. Пемброк знал это, но, по своему целомудрию, старался об этом не говорить и ничего не сказал Виктору Николаевичу; как назло, роль Марты была такова, что нужную сцену присочинить было нелегко. «Может быть, он сам догадается? Но если ему

сказать, то этот сумасшедший может пустить в меня графином», — думал теперь Альфред Исаевич. Он уже очень любил артистку, как любил всю свою «экипу». Артистка и в самом деле была мила. У нее даже не было мании величия. Все не могла привыкнуть к своему счастью.

Надя пришла последней. Ее появление произвело некоторый эффект. На лице Делаваара тотчас появилось покорно-рыцарское выражение. Он почтительно представился Наде. («Опять стал трубадуром!» — с досадой подумал Альфред Исаевич.) Знаменитая артистка впиалась в нее взглядом: старалась понять, кто это и почему ее пригласили на заседание. Надя, как всегда, была прекрасно одета по прошлогодней моде, и артистка, заказывавшая туалеты у знаменитых парижских портных, тотчас это заметила. На лице у месье Луи было благожелательное выражение. Яценко был горд появлением Нади. Пемброк отечески потрепал ее по руке. Делаваар пододвинул ей кресло по левую от себя сторону.

Угощение было именно такое, какое полагалось, ничего лишнего, ничего от рагвену. Когда чай был подан, Альфред Исаевич постучал ложечкой по чашке. Он вел заседание по-английски: и артистка, и месье Луи владели английским языком — как все кинематографические деятели, они собирались побывать в Голливуде.

— ...К сожалению, наш друг Вальтер Джексон, — сказал укоризненным тоном Пемброк, — все еще не сдал нам настоящего экспозе своей пьесы «The Lie Detector». Мы все читали эту пьесу, она превосходна, это маленький шедевр. Дивный диалог! Я не сомневаюсь, что и пьеса будет иметь огромный успех, которого вполне заслуживает. Но, во-первых, я не театральный, а преимущественно кинематографический деятель. Во-вторых, я уже приобрел для театра другую пьесу нашего друга, а поставить в один сезон две пьесы одного автора невозможно. В-третьих же, как всем известно, пьесы имеют неизмеримо больше успеха на Бродвее, если они предварительно стали известны публике как фильмы. И вот мы все настойчиво просили нашего друга дать нам экспозе сценария по его замечательному произведению, но до сих пор такового не получили. Или, может быть, нас ждет сегодня приятный сюрприз, — спросил с улыбкой Альфред Исаевич, — и вы нам принесли экспозе? Вдруг вы приняли

к сведению мои три предложения и кое-что уже набросали?

— Нет, я не принес и не набросал, — ответил Яценко. Пемброк тяжело вздохнул.

— Мои предложения сводились к следующему, — сказал он. — Первое. В пьесе есть одна превосходная мысль, брошенная так, наудачу, в двух строчках. Этот старик Макс говорит, что уже пробовал свой Lie Detector на сессии Разъединенных Наций во время речи Вышинского, и стрелка шаталась там как бешеная! Всякому фильмовому деятелю ясно как день, что тут материал для развернутой огромной сцены. Мы крутим эту сцену в Разъединенных Нациях! Разумеется, называть Вышинского нельзя по цензурным соображениям, но у нас будет просто делегат одной великой державы, все, разумеется, поймут. Гигантская идея! Подумайте, Разье... Объединенные Нации! Это величайшая идея нашего времени! И она еще ни разу в Голливуде не была показана!..

— Может быть, это тоже неудобно по дипломатическим условиям. Цензура не разрешит, — сказал месье Луи по-французски.

— Не разрешит? — спросил Пемброк возмущенно. — Мне не разрешит? Fiddle-faddle! Fiddlestick!¹ Смычок! — перевел он. — Это маленькая тонкость нашего языка. Она значит «вздор». Не разрешат — это вздор. У меня огромные связи не только в Голливуде, но и в Вашингтоне. Я вам говорю, разрешат! Так вот, мы впервые в истории кинематографа крутим Объединенные Нации! Будет массовая сцена. Страсти, волнения, все накалено добела! Мировая трагедия! Рок войны! Грандиозные сцены! Со времени Сесилия Б. де Милля не было ничего подобного! Но вы знаете закон кинематографа: настроение должно меняться, как у Шекспира в «Гамлете», когда вдруг начинают шутить могильщики. И вот, пока на трибуне кипят страсти, один старичок где-то в галерее наводит на ораторов свой Lie Detector. Кучка бандитов ведет мир в пропасть своей ложью, и их ложь внезапно обличается стрелкой Lie Detector'a!. Полный эффект неожиданности, разрешающийся здоровым смехом! В зале после трагического напряжения — гомерический хохот! Мы

¹ Глупости! Вздор! (англ.). Второе значение слова «fiddlestick» — смычок.

сослужим отличную службу и делу мира! Мы убьем этих людей сарказмом!.. А? Что? Что вы думаете, дорогой друг?

— Я думаю, что это совершенно невозможно, — ответил, сдерживаясь, Яценко. — Я написал психологическую пьесу, не имеющую никакого отношения к политике. Объединенные Нации тут решительно ни при чем.

— Решительно ни при чем! Грандиознейшая идея нашего времени!

— Кроме того, позвольте вам напомнить, что мой Lie Detector просто фокус. У меня Норфольк незаметно передвигает стрелку, как хочет. Стрелка никак не может отклоняться от речи Вышинского, как бы он ни лгал.

— Fiddlestick! — сказал обиженно Пемброк. — Публика в такие детали не входит. Ведь это фильм, а не научный трактат. Разве вы Эйнштейн? Нет, вы не Эйнштейн. Но позвольте мне кончить, я делаю и второе предложение. Ваш фильм чудная вещь! Все ваши образы живые, как будто мы все их видели! Макс, баронесса, Марта — все они просто прелесть! Но один образ вам пока не удался, или не так удался, — сказал Альфред Исаевич и осторожно прикоснулся левой рукой к рукаву Яценко. У него на лице появилось выражение, одновременно мягкое, робкое, восхищенное и чуть-чуть неодобрительное, такое, какое могло бы быть у Эккермана, если б он решился сказать Гёте, что в «Фаусте» ему не так удался образ Вагнера. — Ваш барон не удался! Непонятно, что он за человек! Почему он бежит в Венесуэлу? Чего он так испугался? У него не было девяноста тысяч долларов? Вы все-таки не уверите публику, что муж такой баронессы не мог достать девяноста тысяч долларов!

— Это, действительно, и мне казалось не вполне убедительным, — сказала с очаровательной улыбкой знаменитая артистка. — Легенда ваша, месье Жаксон, прелестьна, но он *так* испугаться все же не мог.

— Разумеется, не мог, — подхватил Пемброк. — А я вам объясню, почему он бежит. Ваш барон шпион!

— Это очень ценная мысль, — невозмутимо подтвердил Норфольк. Он очень веселился.

— Он шпион одной из разведок по ту сторону «железного занавеса»! Я уже об этом много думал. Ему те головорезы поручили выведать секрет нашей атомной бомбы. Атомная энергия — вторая величай-

шая идея нашего времени. В фильме будет один немец, ученый и благородный эмигрант, роль для Эрика Штрогейма. И у него в лаборатории находится циклофон, самый большой в мире циклофон.

— Циклотрон, — поправил Норфольк.

— Да, циклотрон. Мне сказали, что самый большой в мире циклотрон находится в Калифорнии у какого-то профессора Лауренса. Я найду ход к этому профессору Лауренсу, и он будет у нас консультантом! Пентагон мне разрешит снимать эту сцену на месте. В первый раз в истории кинематографа будет на экране показан величайший в мире циклофон! Ночная сцена. В лаборатории никого нет. Но в саду лает собака. Создается настроение. И вот через забор в сад прокрадывается барон. Он знает, где лежат секреты циклофона. Собака с лаем поднимается. Барон выхватывает кастет и стремительно бросается вперед. Кстати, я почти сговорился с Н., — Альфред Исаевич назвал известного артиста.

— Как я рада, — воскликнула артистка.

— Он грабитель и хочет десять миллионов франков, — возмущенно сказал Пемброк и спохватился, вспомнив, что артистка получает восемь миллионов. — Восемь миллионов я ему, пожалуй, дам, но больше ни сантима. У него рост шесть футов три дюйма и страшный sex арреал. Так вот, он бросается на собаку. Вы помните, как Ларри Оливье в конце «Гамлета» бросается на короля? Мороз дерет по коже! А у нас будет еще страшнее! Потому что в «Гамлете» хоть маленькая часть публики знает, чем все кончится, а у нас никто ничего не знает. И так и не будет знать до конца; в этой сцене полутьма внезапно сменяется полным мраком, и вдруг обрывается лай собаки. Он ее убил мощным ударом кастета.

— А Марта знает, что он шпион? — спросила артистка. — По-моему, она должна это узнать. У нее будут расширенные остановившиеся глаза и на лице полное, безысходное отчаяние.

— Тогда, может быть, было бы хорошо, если бы она в него выстрелила, — предложил Норфольк. — Во всей пьесе только один выстрел: это барон стреляет в фотографию. Этого, по-моему, мало: главное в пьесе всегда действие. У Сартра в «Les Mains Sales»¹, когда

¹ «Грязные руки» (фр.).

поднимается занавес, на сцене револьверы; когда он опускается, на сцене ружья; а в середине действия бросается бомба. Кажется, так?

— И вот почему барон улетает в Венесуэлу, — сказал Пемброк. — Может быть, в самом деле Марта за ним туда последует и выстрелит в него. Иначе, действительно, моральное чувство зрителей не будет удовлетворено: этот прохвост соблазнил честную девушку, сделал несчастной жену, украл девяносто тысяч, и ему все сходит с рук! Но все это обдумает наша экипа. Вы согласны, дорогой друг? Это вас устраивает?

— Я не согласен, и это меня не устраивает, — ответил Яценко, стараясь говорить, а не шипеть. Он резко захлопнул свою тетрадь. Надя бросила на него умоляющий взгляд.

«Ох, тяжелый номер! — подумал Пемброк, — ничего не поделаешь, надо дать ему взятку».

— Разумеется, мы с вами будем все еще не раз обсуждать в ближайшие дни, и я уверен, что мы сговоримся. Теперь еще один, последний вопрос. В превосходной пьесе нашего друга есть одна очень маленькая женская роль. Это французская горничная баронессы. Я предлагаю увеличить эту роль. Эта горничная должна мурлыкать песенку. В хорошем фильме всегда должна быть музыка. У самого Максима Горького во всех его пьесах люди что-то поют. Помните «На дне»? Это одна из лучших пьес в мировой литературе, но без песни «Солнце всходит и заходит» она все-таки была бы не то.

— Мистер Джексон вполне последовал этому правилу, — невинным тоном сказал Норфольк. — У него барон и играет, и поет.

— И отлично, но надо, чтобы пела также и французская горничная, иначе у нее плохая роль. Теперь ведь мы крутим и французскую версию, так кого же она удивит, если будет петь по-французски? По-моему, ее надо сделать итальянкой. Почему у баронессы не могла быть итальянская горничная? Пусть она поет, например, «Санта Лючия». Следовательно, ей надо знать итальянский язык. К счастью, этому условию удовлетворяет наша милая, здесь присутствующая мадам Надин, — обратился Пемброк к Наде с любезной улыбкой.

— Я всецело поддерживаю это предложение, — решительно сказал Делавар. — Вы из небольшой роли с песенкой сделаете настоящий шедевр.

Часть четвертая

I.

Франк, падавший в течение долгих месяцев как будто без всякой причины, внезапно стал также без всякой причины повышаться. Вначале на бирже этому большого значения не придавали. Говорили, что правительство по политическим причинам искусственно поддерживает французскую валюту. Однако падение курса доллара все продолжалось. На бирже по привычке ругали правительство, национализации, социалистов и говорили — особенно биржевики-евреи, — что Леон Блюм роковой человек (хотя Блюм давно не был ни министром, ни депутатом). Но говорили это *так*, вообще без отношения к курсу франка. На людях все выражали радость по случаю того, что франк повышается: беспрепятственное его падение вызывало большую тревогу, вело к государственному банкротству и в *конечном счете* никому выгодно быть не могло. Но говорили люди все это довольно грустно: кроме «конечного счета», почти у каждого биржевика был еще свой неконечный счет, по которому выходило иначе. Затем найдены были объяснения: производство во Франции очень выросло, забастовки кончились, бюджет пришел в равновесие, урожай ожидается хороший. Правда, все это было известно и раньше, в ту пору, когда франк падал, но все удовлетворились объяснением. По-настоящему были довольны только самые старые и опытные биржевики. Они знали, что повышения и понижения курсов на бирже не так уж зависят от урожая, состава правительства, производства или забастовок, что рассчитывать и предсказывать в финансовых делах страны трудно, а надо обладать психологическим инстинктом и угадывать настроение. И действительно, они настроение угадали и вовремя продали то, что нужно было продать, и купили то, что надо было купить.

Делавар ничего не угадал. Вначале он только улы-

бался: «Ну да, ну да, как же франку не подниматься, когда у правительства на носу кантональные выборы!» — говорил он тем биржевикам, которые верили в его гений и счастливую звезду. Сам Делавар специальной игрой на понижение французской валюты не занимался, и ее повышение его не разорило. Однако он потерял довольно много денег. Теперь подсчитывать с карандашиком в руке, сколько у него капитала во франках, становилось неприятно. Так было и у других. По-прежнему люди бодро говорили, что это потеря чисто фиктивная, что ее надо приветствовать, так как она свидетельствует об оздоровлении французского народного хозяйства, и что скоро начнется соответственное понижение товарных цен. Но это никого не утешало. Товарные цены не понижались, да если бы они и понизились, то это для Делавара не имело никакого значения: ему было совершенно все равно, проживать ли полтора или два миллиона франков в месяц: его состояние прежде увеличивалось на миллионы в день. На бирже он все так же весело улыбался. Биржевики, верившие в его звезду, теперь поглядывали на него раздраженно. Один из них напомнил ему его прежние предсказания. Делавар, успевший о них забыть, очень обиделся. С другими же сошелся на том, что ругал Леона Блюма. Его на бирже разрешалось ругать не только справа, но и слева: лишь бы ругали.

Единственное выгодное дело, сделанное в эти месяцы Делаваром, было связано с фильмом. В это дело он вложил своих около пятидесяти миллионов франков, и они обошлись ему всего в сто тысяч долларов. Прибыль, по общему мнению, ожидалась большая. Делавар теперь все больше интересовался кинематографом. Говорил даже, что съездит в Нью-Йорк и в Голливуд. Альфред Исаевич кивал головой. Делавар отдавал должное его опыту и знанию дела, хотя про себя думал, что Пемброк рутинер и слишком стар. Они ни разу не ссорились; трения, конечно, бывали, но всегда легко улаживались — Альфред Исаевич знал, что большего в отношениях между деловыми компаньонами и требовать нельзя.

Своего образа жизни Делавар не менял, по-прежнему тратил очень много, вел большую игру в клубе. Сократил он только пожертвования, да и то не очень: там, где это бывало связано с оглаской, жертвовал

столько, сколько и прежде, во избежание слухов, будто его дела пошатнулись. Но как раз в тот день, когда доллар на «черном рынке» дошел до 350 франков, потеряв две пятых своей прежней цены, Делавар опять получил от Дюммлера сообщение, что Гранду удалось найти здание для «Афины». «Оно гораздо лучше первого, и за него просят именно пять миллионов, — писал Дюммлер, — а вы любезно изъявляли согласие дать приблизительно такую сумму. Я осмотрел дом, и мы были бы вам весьма благодарны, если бы и вы его осмотрели. Это дело спешное: Гранд обещал дать ответ не позднее четверга, так как есть и другие покупатели. По его словам, дом стоит много больше!»

«Ну, это они, голубчики, подождут!» — подумал, мысленно выругавшись, Делавар. Он действительно сгоряча согласился дать до пяти миллионов, но тогда это составляло меньше десяти тысяч долларов, а теперь около пятнадцати. «Да и вообще все это ерунда! «Афина» не растет, записываются старые девы, никакого влияния она не приобретает, и дом им совершенно не нужен. Нужен только прохвосту Гранду».

Он вызвал Гранда по телефону и поговорил с ним грубовато, как иногда умел. Говорил он из своего кабинета, так что секретарша разговора не слышала. Но когда она зашла в его комнату, то увидела на его лице то жесткое выражение, которое появлялось у него очень редко. Он и с ней говорил на этот раз ммуро — так Наполеон мог отдавать приказания секретарям по получении известия о гибели французского флота под Трафальгаром.

Дюммлеру Делавар написал очень вежливое и любезное письмо: сказал, что при нынешнем положении «Афины» покупка собственного дома не представляется ему целесообразной. Дал понять и то, что он уже дал немало денег и что все расходы лежат исключительно на нем. «Не поймите меня дурно, дорогой друг и брат, — писал он, — я по-прежнему твердо верю в нашу идею, в идею «Афины», но отложим большие траты до лучших времен, довольствуясь пока нашим милым, хотя и скромным, помещением. Я уверен, что вы со мной согласитесь и на меня не разгневаются. Это было бы мне крайне тяжело ввиду глубокого уважения и искренней симпатии, с которыми я всегда к вам относился и отношусь».

II.

«Ce procédé très simple a l'inconvénient d'astreindre à des conditions d'amorçage d'oscillation qui empêchent de se mettre dans les meilleures conditions de rendement, c'est à dire d'obtenir dans l'antenne le plus de puissance possible, pour une puissance donnée fournie par la batterie, la dynamo ou les redresseurs de courant, qui sur le circuit de l'anode, fournissent le puissance...»¹

Тони чувствовала, что все равно не поймет этой фразы, хотя бы провела над ней весь остаток жизни. Экзамен в школе, как все экзамены во Франции, был трудный. Практическую радиотехнику она усвоила недурно и даже составляла несложные приборы. Но нужно было выдержать экзамен и по теории. Знала, что никогда его не выдержит и, следовательно, не получит диплома. Фергюсон, которому она показала учебник, просмотрел его так, как люди читают газету. «Что же в этом непонятного? Это простое популярное изложение», — сказал он. Ее самолюбие было задето, она ответила холодно. Он огорчился и обещал достать для нее другое руководство.

«Очень скоро не на что будет жить, — думала Тони. — Фергюсон скоро уедет. В сущности, он хотел бы иметь со мной до конца только платонические отношения... Или, скорее, полуплатонические, — думала она с той спокойно-торжествующей ясностью ума, которая у нее бывала после впрыскивания. — Тогда придется продать бриллианты! В душе она давно знала: бриллианты будут проданы. — Я отдам наследникам деньги, но не все. На какую-то долю я имею право. Кажется, при находке клада нашедший имеет право на треть. Я, конечно, трети не возьму, возьму десятую долю и, разумеется, так им и скажу, и они не только согласятся, но будут мне благодарны: это для них клад, свалившийся с неба подарок. Гранду я из этих денег не дам ничего, буду их от него прятать. И вообще все — все равно, ни в чем страшного нет, и в правде ничего

¹ «Это очень простой способ при том неудобстве, что он создает условия, вызывающие колебания, которые мешают возникновению наилучших условий, повышению коэффициента полезного действия, то есть получению на антенне наибольшей мощности, возможной при данной мощности, поставляемой электробатареей, динамомашинной или выпрямителем, которые подают ток на гальваническую цепь анода» (фр.).

страшного нет, какова бы она ни была... С морфием все равно, это высшее, самое счастливое, самое свободное из всех человеческих состояний. А они хотят, чтобы я от этого отказалась! Отказаться от этого то же самое, что отказаться от жизни... Никогда не поздно: под морфием жизнь *всегда* счастье... Дюммлер прав в том, что пути к счастью различны, несравнимы, неисповедимы. Прав и тот грек, о котором говорил Фергюсон: для богов все прекрасно, только люди думают, что одно справедливо, а другое несправедливо. Но пусть я «дегенератка»! Да, вероятно, у меня тяжелая наследственность, и уж в этом я никак не виновата... Гранд все врет, но если бы он в самом деле хотел отравиться, то я ему предложу морфий, и у него желание пройдет. Нет, я ни гроша ему не дам: не могу».

Гранд накануне приходил к ней, умолял достать для него еще денег, грозил покончить самоубийством. Она сказала, что у нее ничего нет. «Фергюсон не отказал бы еще в новом авансе, но этого теперь нельзя было бы даже назвать авансом: он и без того заплатил мне за три месяца вперед, хотя должен скоро вернуться в Америку. В последний раз дал со своей обычной корректностью, говорил: «Разумеется, сделайте одолжение, сколько вам угодно», но на его лице скользнуло удивление. Нельзя еще просить. И незачем: Гранд устроится, такие люди никогда не пропадают, и он, конечно, в мыслях не имеет кончать с собой. Да, Фергюсон скоро уедет, он уже об этом думает... Скажет, что выпишет меня в Америку, но не выпишет, и незачем мне туда ехать...»

Она опять углубилась в книгу. Рассматривала рисунки и схемы: какие-то шарики, треугольники, сплошные и заштрихованные линии, над ними спирали. Она долго смотрела на рисунок. Вдруг спираль превратилась в Гранда, и рисунок стал непристойным. «Так и есть, дегенератка!.. Все равно!..» Она поспешно спрятала книгу.

III.

Фергюсон просмотрел в книжном магазине несколько книг по радиотехнике и выбрал самую легкую, без всяких математических формул. Ему было забав-

но, что могут быть *трудные* книги по такому предмету. Тони предполагала, что непонятливость понизит ее в его глазах (это, впрочем, и не очень ее беспокоило). На самом же деле ее неспособность к точным наукам казалась ему очень милой. Все строго логичное и не должно было быть ей понятным. Она жила *вне* этого. Может быть, она даже была *выше* этого (как ни трудно ему было бы признать, что есть что-либо выше логической мысли).

Под разными предложениями Фергюсон больше не посещал заседаний «Афины»; ему даже было немного совестно вспоминать о них, особенно о ритуале. Тони тоже уделяла обществу меньше времени, чем прежде. Обычно они проводили вечера вместе. Обедали в ресторанах, и хорошее вино способствовало доброму настроению. Теперь они были почти *sorains*,¹ — это слово приводило его в восторг своей неожиданностью, тем, что он мог быть *sorain* с женщиной на тридцать пять лет его моложе. «Вторая молодость» — обычно в эти слова вкладывалась насмешка; он никакой насмешки в них не вкладывал.

За обедом они теперь говорили обо всяких пустяках, точно способность каждого к умным разговорам была уже вполне доказана и больше подтверждений не требовала; незачем было говорить о Достоевском. Часто ходили в театры и даже не всегда в умные, передовые, где шли глубокомысленные или новаторские пьесы, — бывали на спектаклях легкой комедии или фарса, он хохотал и хвалил французское остроумие. Его веселый, милый, почти детский смех веселил ее, и она становилась очаровательной.

Иногда в театре или в ресторане он ее спрашивал: «Как, по-вашему, этот господин на вид старше меня? У него больше седых волос?» — и с тревогой ждал ее ответа. Ответ обычно бывал утешительным, так как он спрашивал о стариках. Оба они смеялись. После театра, случалось, «по-студенчески» заходили в бар и у стойки выпивали по рюмке коньяку — Тони объясняла, что после этого спит лучше. В гостинице швейцар радостно-благодушно желал им доброй ночи, а то, на началах полного — не гражданского, а человеческого — равенства, осведомлялся, в каком театре они были: в англосаксонских странах, особенно в Англии,

¹ Приятели (*фр.*).

это было бы невозможно. С другой же стороны, он называл Тони «madame» и не сказал бы ей, например, «sister». По-видимому, швейцар не сомневался в том, что Тони любовница американца, и находил это вполне естественным.

Расставались они в коридоре у дверей. Иногда Фергюсон слышал, как она раздевается, слышал плеск воды в ванной. Это волновало его. Он вставал раньше нее, его комната убиралась тотчас — он всем в гостинице щедро давал на чай. После того как постель была убрана, он весело стучал Тони и приглашал ее пить кофе. Ему было немного совестно просить о продлении университетской командировки. Однако некоторая польза от нее была, и он знал, что ее продлили бы, даже если бы пользы не было: он считался гордостью факультета.

Затем что-то изменилось. Он сам не знал, что именно. Никакой ссоры, никакой размолвки между ними не произошло. Но их отношения стали как будто натянутыми. Он приписывал вину себе и спрашивал себя, уж не охладел ли к Тони. «Нет, нет, это она стала другой. Ей теперь, видимо, со мной тяжело!» Тони в самом деле стала очень нервна; она и физически подурнела. Как будто убавилось у нее блеска, а резкость, и прежде так его огорчавшая, еще усилилась. Она больше не говорила ему любезностей, не называла его «небанальным человеком», что у нее было если не единственной, то высшей похвалой. Ее поступки стали еще более неожиданными, чем бывали раньше. Теперь он мог предвидеть: она сделает или скажет именно то, чего меньше всего можно было ожидать. Это было непонятно. Как человек строгой логической мысли, он не способен был входить в то, что казалось ему чуждым логике. Фергюсон, тонкий наблюдатель в лаборатории, очень немногое замечал в жизни, в людях, даже в женщинах.

Рядом с книжным магазином была кондитерская. Тони любила русские конфеты, называвшиеся пьяными вишнями, она так называла их по-английски. «Avez-vous des cerises ivres?»¹ — спросил он. Продащица изумленно на него взглянула, но, когда он объяснил, что именно ему нужно, эти конфеты нашлись и здесь. «Les idées russes gagnent le monde»², — с улыбкой

¹ «Есть ли у вас пьяные вишни?» (фр.)

² «Русские идеи правят миром» (фр.).

подумал Фергюсон, — коммунизм, икра, пьяные вишни, балет».

На доске в гостинице ключа Тони не было. Она то оставляла ключ в дверях, то уносила его с собой. Ключ торчал в дверях ее номера. Фергюсон постучал, никто не откликнулся. Он вошел в комнату; они постоянно заходили друг к другу. Никого не было, он положил на стол книгу и конфеты. Осмотрелся: один никогда здесь не бывал. Дверь в ванную комнату, сбоку от ночного столика, была отворена, там виднелось что-то белое, розовое. Ему вдруг захотелось туда войти. По всем его понятиям, это был и бессмысленный, и неприличный поступок. «Нельзя, это что-то патологическое!» — подумал он и, покраснев, подошел к порогу. Он не вошел в ванную комнату и отвернулся. На ночном столике рядом с какой-то спринцовкой стояла склянка с латинской надписью. Наверху этикетки крупными буквами было написано: «Опасно. Яд». Он чуть наклонился — и помертвел.

«Не может быть! — сказал он себе, вернувшись в свою комнату. — Не может быть!.. Но если это и так, то что же из этого следует? Верно, ей предписал врач!.. Конечно, ей предписал врач... Отчего же она мне не сказала? Женщины не любят говорить о таких вещах, зачем же она должна была мне сказать?» Он вспомнил, что настроение у Тони менялось беспрестанно, что иногда в очень дурном настроении уходила от него в свою комнату и скоро возвращалась неузнаваемой: веселой, оживленной, остроумной. «Нет, никаких сомнений быть не может!.. Но это просто болезнь, это ничего не меняет, как ничего не могло бы измениться, если б оказалось, что у нее болезнь сердца или печени», — говорил он себе. Понимал, однако, что это меняет очень многое, меняет *все*.

Минут через пять он по телефону велел подать в номер кофе и коньяку. Чувствовал, что должен принять очень важное решение. «Тогда именно не надо пить... Надо обдумать, надо все обдумать. Я сам виноват... Это был неджентльменский поступок... Не надо показывать виду... Ни одного звука... Я все обдумаю не торопясь... Что, если она сейчас вернется? Все было так хорошо... Уехать от нее? Не надо торопиться... Надо очень, очень подумать», — говорил он себе.

IV.

В студии уже была готова гостиная нью-йоркского отеля. Яценко решительно отказался сделать барона шпионом, и на этом чуть не произошла настоящая ссора с Альфредом Исаевичем.

— Вы губите ваш собственный сценарий, вы губите все дело! — кричал Пемброк. — Я уже велел Менцису устроить здесь чудный циклофон! Этот рутинер профессор Лауренс не ответил на мою телеграмму, ну, так он не будет консультантом, и мы поставим циклофон в студии. Ну, так это будет не самый большой циклофон в мире! Ну, так он будет не совсем такой, как у Лауренса! Что за беда! Эти профессора такой же невыносимый народ, как писатели!

Позднее он несколько успокоился, но все же горько жаловался Наде:

— Тем хуже для сэра Уолтера! Я все сделаю в моем следующем фильме, и это будет грандиозный фильм, такой, какого человечество не видело со времен Сесилия Б. де Милля! В мире сегодня есть две грандиозные идеи: разложение атома и Разъединенные Нации! — сказал Альфред Исаевич. Он повторялся чаще прежнего, но теперь опять называл Объединенные Нации Разъединенными. — Я хотел их объединить в одном фильме, да что же делать, когда у них везде рутина, канцелярщина, красная тесемка! Все против меня: Делавау ведь теперь, оказывается, тоже что-то понимает в кинематографе и во все вмешивается! А моя нью-йоркская экипа не может тут придумать конфликта, а ваш сэр Уолтер артачится...

«Сэром Уолтером» Альфред Исаевич в последнее время называл Яценко, когда не называл его великим писателем.

— Обойдемся и без Объединенных Наций, — весело сказала Надя. — Но в этом, следующем фильме я буду играть первую роль, правда?

— Может быть, вы уже хотите подписать контракт? — саркастически спросил Пемброк, впрочем, все больше благоволивший к Наде; он часто с ней болтал и даже иногда советовался: оценил ее толковый практический ум. — А в Америку я вас повезу. На свой риск!

— Правда? — спросила Надя, вспыхнув от радости.

— Правда. И вы приедете к нам погостить в Сильвиа-Хауз... Наденька, я из вас сделаю человека!

— Сделайте, Альфред Исаевич, сделайте, — сказала Надя. Она любила старика и редко на него обижалась.

— Вы думаете, что если есть талант, то этого уже достаточно на экране? Нет, sugar plum, на экране нужно, чтобы у каждого все было на своем месте. Как вам это объяснить? Вот, например, у вас чудные волосы, я редко видел такие красивые, — галантно вставил Пемброк, — но если бы эти волосы у вас росли не на голове, а на носу, то было бы нехорошо, правда? И еще одно: в кинематографе актер должен уметь работать ровно и очень быстро. Иначе он губит дело. Я вас научу нашим американским темпам, — говорил Пемброк, впрочем, без большого убеждения в голосе: он не был уверен, что в Америке действительно существуют какие-то особенные темпы: напротив, ему часто казалось, что дела делаются в Нью-Йорке и в Голливуде довольно медленно и что когда нет войны и не строятся военные заводы, то никто никому не спешит. — И вы увидите, что у нас будет колоссальный успех! На нас посыпятся всевозможные Оскары! Но дело не в Оскарах, а в том, чтобы мы были довольны, чтобы вы были довольны — сказал он с таким видом, с каким Пушкин, быть может, писал: «Ты сам свой высший суд». Альфред Исаевич поглядывал на Яценко, который в этот день был с ним особенно холоден. — И мы, Виктор Николаевич, будем успехом обязаны прежде всего вам, вашему большому таланту. Разве я не понимаю, что в вашей идее сочетания рассказа с экраном есть зачаток будущего? Но вы должны понять, что принцип кинематографа в совмещении двух начал: во-первых, конфликта, то есть напряженная трагедия, и, во-вторых, промежутки здорового смеха. Если б в ваших «Рыцарях Свободы» было бы больше промежутков здорового смеха, то пьеса очень выиграла бы. Хотя она, разумеется, и так превосходна!

Яценко, ничего не отвечая, ушел в свой кабинет. Пемброк опять вздохнул. Хотел было даже постучать пальцем по лбу, но не сделал этого из уважения к Наде.

— Отчего он у вас такой, Наденька? Его погубит характер! Если бы не его характер, я тотчас бы подписал с ним контракт еще на два года, с жалованьем в тыс... в восемьсот долларов в неделю.

Надя чувствовала, что кое-что как будто может треснуть в ее отношениях с Виктором Николаевичем. Но по своей жизнерадостности она этому большого значения не придавала. Ей были ясны причины их расхождения, а когда все ей было ясно, она редко тревожилась. «Первое — он сердится, что я все прошу увеличить мою роль. И еще больше рассердится, если я настою на своем. Только при их мужском эгоизме можно не понимать, как это для меня важно!» Надя очень хвалила «The Lie Detector» и говорила, что он в этой пьесе *перекликается* с Мольером. Это слово она недавно вычитала у какого-то писателя и часто его употребляла. Яценко находил его идиотским.

По второй причине их расхождения совесть у нее была не так спокойна: это было ухаживание за ней Делавара. Делавар не нравился Наде, хотя она говорила, что «обожает могущественных людей». Но ее карьера теперь в значительной мере зависела от него, он не раз небрежно замечал, что решил заняться кинематографом как следует и, значит, мог быть ей полезен еще больше, чем Пемброк, который был стар и собирался закончить карьеру. Наде и в голову не могло бы прийти «продаться» Делавару или кому бы то ни было другому. Все же ссориться с ним не следовало. Она принимала его ухаживания весело, «кокетничала»: знала, что никогда не позволит ни ему, ни себе пойти дальше, чем было допустимо. «Конечно, Виктору это не нравится. Но он должен был бы иметь ко мне больше доверия. Кроме того, он мог бы понять, что мне нужна карьера и что этот тип может быть мне очень полезен. И наконец, если ему это так, так неприятно, то он мог бы и сам положить этому конец или, еще лучше, потребовать от меня, чтобы я положила. Как это мне ни неприятно, я исполнила бы его требование», — со свойственной ей логичностью думала она.

Яценко действительно никогда с ней об этом не говорил. На Новый год Делавар послал Наде огромную корзину цветов. Виктор Николаевич только пожал плечами и сказал, что ничего не поделаешь, надо пригласить этого *левантинского Наполеона* на обед. «Тысяч восьми как не бывало: его в ресторан среднего ранга не позовешь», — сказал он равнодушным тоном, точно все было в деньгах. Они Делавара пригласили, и Яценко был с ним очень любезен. Надя видела, что он

злится, и это немного ее забавляло. Веселило ее и то, что выходило чуть похоже на «Рыцарей Свободы». «Ну что ж, активизировал меня в Лине, а его в Лиддевале, вот и напрозорчил, мы и активизировались», — с той же лукавой улыбкой думала она.

По ночам по-прежнему был «медовый месяц». Иногда обоим казалось, что они страстно влюблены друг в друга. Но днем они встречались и разговаривали мало, хотя теперь оба проводили целый день в студии. Яценко не выходил из своего кабинета. Надя быстро подружилась со всеми, знала каждую мелочь в постановках, бегала из одного помещения в другое и имела очень занятой вид. Во избежание сплетен было решено, что она к нему в кабинет будет заходить редко: в студии не знали, что они жених и невеста; почему-то они никому об этом не говорили и просили Пемброка не говорить. Завтракали они в кофейне за общим главным столом, хотя там были столики и на двоих. Уезжали в пять часов, когда начинался общий разъезд, иногда в разных автомобилях. Вечером часто бывали в гостях или в театре. Раза два были у Дюммлера, которому Надя очень понравилась. Об «Афине» Яценко ей не говорил: понимал, что она вытаращит глаза и решительно ничего не поймет. Впрочем, он бывал в «Афине» очень редко.

Альфред Исаевич щедро заплатил Наде за исполнение роли горничной. У нее появились деньги. По утрам она приезжала в студию поздно: ездила по портникам и модисткам. Виктор Николаевич шутил, что у нее «обезьянья» любовь к вещам. «Не к вещам вообще, а к красивым вещам», — обиженно отвечала она. Красивые вещи в самом деле доставляли ей почти физическое наслаждение. Через месяц, расспросив обо всем благоволившую к ней знаменитую артистку, она одевалась уже не по прошлогодней моде, а по самой последней.

Знаменитая артистка все еще была занята в другом фильме. Но сцены, в которых она не участвовала, очень быстро подготавливались и ставились. Много месяцев Луи заставлял разыгрывать по нескольку раз. Как ни дорого стоила эта его требовательность, Пемброк ею восторгался: «Необыкновенно культурный режиссер! Он *перекликается* с Рене Клером!» — говорил Альфред Исаевич, слышавший это слово от Нади и тоже его оценивший.

Кинематограф раздражал Яценко, как его раздражали и его прежние занятия. Иногда он думал, что все фильмы ничего не стоят и что самые плохие из них это наиболее прославленные, так как они несколько лучше подделываются под искусство и поэтому больше ему вредят. «Многие находят, будто вред кинематографа в том, что в Голливуде сидят невежественные люди. По-моему, беда, что они недостаточно невежественны! Им надо было бы каждый день выпускать фильмы с Лаурелом—Харди. Лично я ни разу в жизни и улыбнуться не мог ни от одного gag'a Чаплина. Его «Диктатор» — точно такая же пошлость, как любой голливудский фарс. Но для мирового благополучия Чаплин необходим: тут и поломанный котелок, и драка, и глубокая идея, все за восемьдесят франков в партере».

Однако порою он понимал, что его раздражение несправедливо. И повторял себе, что нет ничего пошлее, чем «сатира на Голливуд»: она еще банальнее самого Голливуда. «Я не могу отрицать, что в кинематографическое дело вносится очень много ума, таланта, изобретательности. Не говорю уже о научных фильмах, о news-reels¹, это лучшие создания кинематографа. Но и, вообще, разве Голливуд в своих драмах, в своих комедиях так уж отстает от театра? Может быть, и вообще мое представление об искусстве слишком узко. То, что мне в чужом искусстве нравится, в самом деле хорошо, в этом я, к счастью, вполне уверен. Но относительно того, что мне не нравится, у меня уверенности нет. Я не могу от себя скрывать, что в мое понятие о настоящем искусстве не входит множество произведений, теперь считающихся шедеврами. «*Craignons de blâphémer la beauté inconnnue*»², — говорил Анатоль Франс. Я не имею ответа на вопрос, каковы признаки *настоящего* искусства. Конечно, и без этого можно заниматься искусством — так все писатели и делают, но так делать не следует. В частности же, театр, быть может, слишком искусственный жанр вроде скульптуры памятников или батальной живописи, — думал он. — Точно так, как невозможен Наполеон, несущийся по «полю брани», как невозможен Петр Великий с простертой дланью, на вздыбленном коне

¹ Кинохроника (англ.).

² «Будем опасаться осуждать незнакомую красоту» (фр.).

или поэт в задумчивой позе, окруженный на пьедестале музами или своими героями, — так же неестественны, банальны, почти нелепы и неизбежная «большая сцена второго действия», и остроумные *отточенные* диалоги французских драматургов, и разные *сверчки*, и рубка вишневых садов за сценой, и трогательные речи трогательных чеховских девушек, и даже *монологи* толстовского Никиты. За два часа на сцене совершается больше событий, чем в жизни за десятилетие. Сцена всегда все огрубляет и не может не огрублять. Надо было бы писать пьесы как пишут стихи, писать такие драмы, которые в театре ставить нельзя. И тогда уже, наверное, можно *сочетать* сценический диалог с рассказом, ибо отпадает единственный довод против этого: опасение, что зрителю будет скучно. На самом же деле все, к несчастью, довольно просто: люди, связывая себя по рукам и ногам, пишут и сценарии, и пьесы потому, что это привычный и при навыке довольно верный путь к деньгам и к известности. Создалась мощная машина для протитуирования искусства, и почти все мы, сознательно или бессознательно, участвуем в работе этой машины... Да, как ни неприятно, но немного участвую и я. Моя вторая пьеса не лишена достоинств, но это, к несчастью, пьеса, написанная *для успеха*, то есть из честолюбия. Толстой говорил, что писать надо тогда, когда *нельзя* не писать, как *нельзя* не кашлять, если простужен. А разве я так пишу?! Разве кто-либо вообще теперь так пишет?! Да еще есть ли у меня *что* сказать? Во второй моей пьесе уже есть повторения того, что было в первой». Он, морщась, почему-то вспомнил о тех английских фразах и словах, которые вставил в русский текст пьесы. «Для этого были основания, но все-таки это гадко и увеличивает неестественность того, что я пишу. Единственное утешение: другие драматурги поступают еще хуже. Некоторые и не скрывают, что пишут ради денег, — я хоть отроду ради денег не писал. Другие продают свои романы, часто превосходные, для переделок в пьесу или в фильм, а затем проклинают театр и кинематограф, кричат, что их творения были кем-то изуродованы. Зачем же они продавались, если не для популярности и не для денег? Они скажут, что им нужно было «непосредственное общение со зрителями», «вибрирование аудитории», вспомнят что-то из Древней Греции. Да еще большой соблазн для нас всех в так называемой

новизне. «И долго буду тем любезен я народу, что звуки *новые* для песен я обрел»¹. Едва ли народу нужна именно *новизна* звуков, он ее и не замечает, и нет ничего хуже *умышленной* новизны. Новизна приходит сама собой и почти никогда не приходит, если к ней стремятся нарочно. Всякое сколько-нибудь значительное произведение искусства пишется симпатическими чернилами: только *настоящий* читатель находит про-явитель. Он поймет, что он внес, хотя бы форма новой и не казалась. Тысяча читателей найдется. И каждый писатель должен оставить хоть одну *свободную* книгу, и писать ее нужно всю жизнь, не заботясь о единстве настроения и стиля. Люди, создавшие чудесные средневековые соборы, обо всем этом и не думали. Некоторые из зданий строились веками, каждое время вносило свое, и именно эти соборы самые прекрасные из всех...»

На полках кабинета месье Луи были переплетенные тома его декупажей. От скуки Яценко просматривал один за другим. Были на полках также книги О'Нила, Клоделя, Жироду. «Разумеется, месье Луи никогда в жизни не признал бы большим писателем ни одного из них, если бы они уже не получили признания от «элиты». Вероятно, все это будет не сметено, а просто убрано временем, останется чисто теоретическая известность и несколько строк в историях литературы, да и то больше по снисходительности историков и потому, что историк сам будет такой же месье Луи».

Были на полках и те драматурги-реалисты, которых разрешалось ценить и «элите»: Бек, Порто-Риш, Жюль Ренар. У них Виктор Николаевич многим восхищался. Тем не менее почти все казалось ему недостаточно значительным прежде всего по сюжету. Какое мне дело до бедного Пуаль де Каротта или до этой «Парижанки», так нехорошо обманывавшей своего мужа (почему именно она — парижанка из двух миллионов!). Правда, и то и другое прекрасно написано. Да и о чем угодно другом, конечно, тоже можно было бы сказать: «Какое мне дело?» Но все-таки вольно ж им было останавливаться именно на этом! Как мы все, они заблудились в трех соснах искусства двадцатого столетия...»

¹ Из чернового варианта стихотворения А. С. Пушкина «Памятник» (1836).

Чтение отточенных и неотточенных диалогов с остротами, с каламбурами, с большой сценой второго действия было утомительно. Романов в библиотеке месье Луи не было. Но рядом с пьесами Жюлья Ренара стояло переплетенное издание его «Дневника». Яценко начал его читать — и зачитался. «Господи, насколько это лучше всего другого, им написанного!» Человек писал пьесы по всем правилам драматургии, и была недурная, но, в сущности, пустяковая литература. А стал писать *это* — и обессмертил себя. Быть может, лучшее из всего написанного людьми писалось на отрывных листках записной книжки, без забот об издателях, читателях и потомстве?... После этого интерес к «The Lie Detector» у него ослабел. Он, правда, говорил себе, что если эту пьесу написал для успеха, то лишь с той целью, чтобы проникнуть в театр и создать себе имя: «А тогда можно будет писать так, как *мне* хочется... Впрочем, то же самое, вероятно, говорили себе вначале и другие драматурги, позднее ставшие ремесленниками по изготовке доходных пьес. Разумеется, я на это не пойду!»

Потеряв интерес к своей пьесе, он почти махнул рукой на сценарий и даже кое-что изменил в нем по желанию знатоков кинематографического дела.

Как-то раз в баре студии Яценко неожиданно стал подсчитывать, сколько денег у него останется перед возвращением в Америку. Оказалось, что останется не более восьми тысяч долларов. «Ну что ж, этого, при скромной жизни, хватит года на два. Можно будет писать, не заботясь о зарплате. А там будет видно. Если окажется, что вся моя литература ничего не стоит, то можно будет вернуться в кинематограф или в ОН. И совершенно все равно: в кинематограф или в ОН, ибо и то и другое вздор. Буду писать свободную книгу, быть может, книгу отрывков».

Когда бармен подал ему счет, Яценко вспомнил, что в этом своем плане и даже в денежном расчете он не принял во внимание Надю, точно никакой Нади и на свете не было. Это его поразило. «Разумеется, с Надей на восемь тысяч долларов прожить два года почти невозможно, но дело и не в этом. Она живая женщина, ей нужна работа, люди, деньги, успех. Я буду писать, а что будет делать она? Как же я мог об *этом* забыть! Неужели я разлюбил ее? Или я слишком стар? Да нет, вздор!» — с недоумением и почти с

ужасом думал он. «Нет, я люблю Надю, я очень ее люблю, и как человека тоже... Правда, это подозрительно, когда начинаешь любить женщину «как человека». В ней почти ничего не изменилось. Единственное только, что она говорит теперь гораздо увереннее, чем прежде. Говорит о таких вещах, о каких прежде говорить бы не решилась... У нее появилась self-assertion¹. Но если и так, то что же тут, собственно, плохого и почему же это мне неприятно?.. Я знал женщин, которые очень любили своих мужей, но после их смерти скоро оживлялись и становились самостоятельными: мужа их подавляли. Уж я никак не собирался «подавлять» кого бы то ни было, а всего менее Надю».

Через несколько дней Пемброк, с которым Надя два раза разговаривала наедине, позвонил ей по телефону:

— Я нашел для вас выход, honey! — кричал он. — Великий писатель наконец одобрил весь декупаж. Все сносно, но я пришел к выводу, что вашу роль действительно надо увеличить. Убедите великого писателя, чтобы горничная была навеселе! Помните, что нет ни одной хорошей пьесы без подвыпивших людей! Это для актеров клад! Я даже сужу о них по тому, хорошо ли они изображают пьяниц и еще заик. Самая благодарная сцена у Хлестакова — это когда он пьян. Что?.. Я не слышу!.. Почему у вас в Париже телефон работает не так, как в Америке?..

Надя передала Яценко совет Альфреда Исаевича, передала с осторожной улыбкой, снимавшей с нее ответственность. Виктор Николаевич холодно ей ответил, что увеличить роль французской горничной невозможно.

— Если хочешь, я могу сделать ее итальянкой, но я не вижу, где и почему она будет петь песенки.

— А можно ей быть подвыпившей?

— Это тоже было бы неправдоподобно, — сказал Яценко, с неприятным чувством подумав, что у него и так есть в пьесе полупьяные люди и что он действительно отчасти руководился желанием дать благодарную сцену для актеров. «А мысль о волчице барона была навеяна легендой, о которой говорила Тони. Все время ворую у жизни. Проклятое ремесло! Разговариваешь с людьми и подсматриваешь: нет ли у них

¹ Отстаивание своих прав (англ.).

чего-либо такого, что пригодилось бы для «творчества». И так поступают, верно, все писатели, даже великие... Это как подслушивать у дверей или читать чужие письма!..»

Он увеличил роль горничной баронессы и очень себя за это ругал. Месье Луи писал в день двадцать страниц декупажа. Они тотчас переписывались, переводились, рассылались агентам. Кое-что Яценко все-таки отвергал или менял. Раза два у него опять чуть не дошло до ссоры с Альфредом Исаевичем. Надя их мирила. Макс Норфольк в художественной части одобрял все и, видимо, веселился. Он был совершенно убежден, что все фильмы более или менее равны по качеству, и только удивлялся тому, что умные и образованные люди, как Джексон и месье Луи, могут этого не понимать. Зато за расходами Норфольк следил очень внимательно: оберегал интересы Делавара.

Благоволивший к Наде месье Луи тотчас составил для нее номер декупажа. В ее комнатку поставили огромное створчатое зеркало, и она перед ним репетировала роль. В мастерской все относились к ней прекрасно. Роль горничной была так незначительна, что ни одна из артисток, участвовавших в фильмах Пемброка, ей не могла завидовать. Артистка, игравшая Марту и пока только изредка приезжавшая в студию, *обласкала* Надю и давала ей советы.

Номер 56-й шел одним из первых. Надя волновалась чрезвычайно. Ей дали лучшего гримера, все товарищи, мужчины и дамы, искренно говорили ей, что она очень хороша собой в платье горничной. Первая съемка была назначена в десять часов утра. Яценко занял место на верхней площадке у фонарей. Раздавались звонки, суетились техники, мастеровые, фотографы, налаживались аппараты. Всем этим, как капитан корабля в бурю, распоряжался месье Луи, которого в студии очень почитали и любили. За работой он был строг и смотрел на всех с видом полицейского, составляющего протокол шоферу.

Наконец раздался протяжный звонок, какой-то свист, напоминавший Виктору Николаевичу дореволюционные русские вокзалы, кто-то страшным голосом прокричал «Silence!»¹, и настала мертвая тишина.

¹ «Тишина!» (англ.)

Надя в костюме горничной подходила украдкой к столику с напитками и, оглянувшись по сторонам, пила прямо из горлышка бутылки. Затем, понемногу пьянея, напевала «Santa Lucia».

Яценко смотрел на Надю и с огорчением думал, что таланта у нее нет. «Она кому-то довольно мило подражает. И конечно, так будет и в других ролях. В роли Лины Надя была бы совсем плохо. Между тем я никому другому эту роль отдать не могу. Бедная! Сейчас Луи ей скажет все это», — думал Виктор Николаевич, тревожно поглядывая на режиссера.

Однако, к крайнему его удивлению, Луи остался доволен игрой Нади и похвалил ее — правда, не очень горячо, — все знали, что очень горячо он никого не хвалит. Надя сияла. «Прекрасно! Превосходно!» — решительным тоном сказал ей Яценко. Ему было советно врать, но он знал, что сказать правду было бы невозможно. «Неужто ему в самом деле понравилось! Ведь он на своем веку должен был видеть множество начинающих актеров! Или они все так привыкли к издевательствам над искусством, что потеряли последние остатки художественного чутья и вкуса?» Немного поколебавшись, Виктор Николаевич попросил Норфолька узнать *настоящее* мнение месье Луи. «Спросите его, пожалуйста, от себя», — смущенно сказал он. «С удовольствием! Непременно!» — ответил старик, глядя на него смеющимися глазами. Через полчаса он сообщил, что месье Луи в восторге от игры Нади. «Еще нет, говорит, школы, но настоящий талант, самый настоящий талант!» «И я позволю себе всецело присоединиться к его мнению. Это самородок!» — сказал Норфольк. «Выражение у него довольно наглое, — с досадой подумал Яценко. — Что же это все-таки значит: я ли ничего не понимаю, или они сошли с ума?»

Впрочем, месье Луи номера 56-го сразу не утвердил. Номер был поставлен во второй, в третий раз. Режиссер давал Наде указания, немного ее удивлявшие. Ей казалось, что она и в первый раз сыграла роль «с огоньком». Да и другие присутствовавшие на съемке лица не находили большой разницы между первым, вторым и третьим разом. Тем не менее месье Луи повторял: «Вот теперь вышло уже много лучше». К полудню он объявил, что после завтрака съемка будет повторена в четвертый раз. Макс Норфольк

только пожал плечами, зная, каких денег стоят все эти ненужные, почти ничего не меняющие повторения. Между художественным руководством и второй финансовой группой шла глухая борьба, не обострявшаяся оттого, что они встречались редко. Месье Луи с мрачной шутливостью называл ее «борьбой льва с акулой».

Во время завтрака Норфолька вызвали из ресторана к телефону. Вернувшись, он объявил, что сейчас приедет Делавар. Это вызвало волнение. До сих пор он ни разу в студию не приезжал. Делавар был только вторым по важности человеком в предприятии: первым был Пемброк; но к Альфреду Исаевичу все успели привыкнуть, он был стар, добродушен и не очень старался внушать уважение важностью. О главе второй, финансовой группы ходили слухи, будто он гениальный делец с огромным будущим. Встретили его торжественно. Он быстро прошел по разным помещениям студии, как Наполеон перед выстроившимися на приеме людьми. За ним шел Макс Норфольк с видом начальника штаба, почтительно представляющего императору незнакомых ему офицеров. Шли за Делаваром и другие высшие служащие студии (кроме режиссера), и у них при этом был тоже чрезвычайно почтительный вид. Это почти всеобщее пресмыкательство перед богатством чрезвычайно раздражало и месье Луи, и Виктора Николаевича. Делавар изъявил желание присутствовать при съемке и с изысканной любезностью поздоровался с Надей.

Снова раздались звонки и свистки, засуетились люди, зажглись фонари, послышался дикий крик: «Silence!» Надя опять проделала то, что ей полагалось. Делавар, отказавшийся от предложенного ему кресла, был в восторге. У него на лице была написана улыбка наслаждения, вроде той, с какой на объявлениях изображаются люди, пробующие новое мыло для бритья или патентованный бриллиантин. Он рассыпался в похвалах. Но месье Луи, быть может, считавший необходимым подчеркнуть свою независимость, заставил проделать все в пятый раз. После этого номер был утвержден. Глава второй финансовой группы велел послать за шампанским.

В это время в студию приехал и Пемброк. Надя, высшие служащие, автор сценария, Норфольк были приглашены в кабинет режиссера. Там Делавар сказал очень милое слово. Все выпили по бокалу теплого

шампанского и разбились на группы. Альфред Исаевич, бывший в особенно хорошем настроении духа, сообщил Яценко, почему-то вполголоса, что фильм был им утром на прекрасных условиях продан в Бельгию.

— Ах, как я жалею, что из-за этого я не попал к съемке Нади! Впрочем, теперь, может быть, уже нельзя называть ее Надей, а? Все говорят, что она играла, как Кэтрин Хепберн! — с чувством говорил Пемброк, пожимая Виктору Николаевичу обе руки. — Кто говорит? Все! Делавар в совершенном восторге. Правда, его мнению грош цена, — шепотом поправился Альфред Исаевич, — но мне Луи сказал то же самое, а его мнение — это не фунт изюму. Я скоро выскажу вам и свое мнение! — внушительно сказал он. В начале своей карьеры Пемброк еще чуть-чуть сомневался в том, что он кинематографический гений, и даже иногда разговаривал с режиссерами и артистами не без тревоги: вдруг скажет что-нибудь такое, что подорвет его художественный авторитет. Но после тридцати лет почти непрерывных успехов его сомнения исчезли: он знал, что ни в оценке сценария, ни в оценке артистов не ошибается. — Дорогой мой, что «Рыцари», зачем вам «Рыцари», зачем вам театр, когда вы в Голливуде оба станете знаменитостями! Вы будете загребать деньги! Какой вы способный, талантливый человек! Это ваш первый сценарий, а вы сделали так, точно всю жизнь этим занимались! Комментарии излишни! Я вам говорил, что основа всякого сценария конфликт, и вы нам сразу дали превосходный конфликт, правда, не трагический. Камерный конфликт! Это тоже очень недурно.

— Я, может быть, и всю пьесу назову «Конфликт», — злобно сказал Яценко.

— А что вы думаете? Это не такая плохая мысль. Надо ее обмозговать... И вы знаете, эта мурлыкающая горничная, как я теперь вижу, это была тоже находка! Сам Шекспир вставлял в свои трагедии смешные сценки, чтобы дать зрителю передышку здорового смеха... Это я вам сказал — и что же: через неделю вы мне приносите мурлыкающую горничную и вдобавок так хорошо, говорят, мурлыкающую! Bravo! От души вас благодарю!

— Не стоит благодарности, — отвечал Яценко, опять почувствовавший желание задушить этого человека. Он оглянулся на Делавара, который с бокалом

шампанского в руке, ласково улыбаясь, разговаривал с Надей. Она смыла грим, но еще была в костюме горничной.

— ...Эта сцена, когда вы с ненавистью смотрите на вошедшую баронессу сбоку! Изумительно! — говорил Делавар. — Я в эту секунду понял, как я был прав, что занялся кинематографическим делом. Стоило хотя бы только для того, чтобы открыть такой талант! Теперь я займусь кинематографом вплотную. У меня в жизни девиз сен-сирской военной школы: «Учись, чтобы побеждать...» А я понятия не имел, что вы хотите переехать в Соединенные Штаты, — говорил он. — Вот отлично! Мы ведь и все туда собираемся. За чем же у вас стало дело?

— Виза. Очень трудно получить визу.

Он расхохотался.

— Да отчего же вы мне не сказали раньше! Я позвоню, если нужно, президенту.

— Какому президенту?

— Президенту Соединенных Штатов. Это некий мистер Трумэн, — весело объяснил Делавар.

V.

Тони провожала Фергюсона в Орли.

Пока он проделывал формальности, она вошла в бар аэродрома и купила плоскую дорожную бутылочку коньяка со стаканчиком. Фергюсон, прежде пивший мало, с некоторых пор стал пить гораздо больше. Купила еще у цветочницы букет. «Если я почувствую себя совсем плохо, что ему сказать?» — думала она. Уже несколько дней чувствовала желудочные боли и тошноту.

— ...Гранд, когда подносит дамам цветы, всегда объясняет их символическое значение, — с бледной улыбкой сказала она, отдавая ему подарки. — Я не знаю языка цветов, но если эти розы скажут вам, что я вам очень, очень признательна за все, то они скажут правду.

Фергюсон был тронут; знал и то, что триста франков имеют для нее значение. Ему было мучительно ее жаль.

Никакого объяснения между ними не произошло. Он сказал ей, что университет спешно требует его

возвращения; убеждал ее переехать в Соединенные Штаты, говорил, что скоро сам опять придет во Францию. Выходило противоречиво и неправдоподобно, он не умел лгать. Тони кивала головой и ни о чем его не спрашивала.

Не клеился разговор и теперь, за столиком бара; оба поглядывали в сторону дорожек, ожидая сигнала. Фергюсон опять сказал, что они, *конечно*, увидятся очень скоро.

— ...Этот ваш драматург Джексон уверяет, будто над всей Европой навис рок: рок американской визы. Будьте совершенно уверены, визу я достану, лишь бы вы согласились переехать. И насчет работы будьте спокойны, работу я вам легко найду... В Нью-Йорке... В моем маленьком университетском городке достать работу, конечно, очень трудно. Но это ведь совсем близко. Я приезжаю в Нью-Йорк раза два в месяц, а *тогда* буду приезжать чаще... Да, этот рок визы не так страшен.

— Помнится, он говорил о трех роках, — так же слабо улыбаясь, сказала она. — Нависший над всем миром рок войны, затем рок визы, а для очень многих и рок доллара... По поводу третьего рока: я вам еще должна деньги. — Он вспыхнул. — Вы мне заплатили вперед за три месяца, а я с тех пор не проработала у вас и трех недель. Но когда я взяла у вас, я не знала, что вы уедете так скоро. Мне очень совестно, что я не могу вам вернуть.

— Ради Бога! — сказал он. — Во-первых, вы мне ничего не должны. Я вам пришлю русские журналы, и вы обещали мне переводить и дальше. Скорее я буду вам должен... Я не решался вам это сказать, но если бы вы мне позволили заплатить вам еще вперед? А то надо будет посылать вам плату через банк или по почте. Вы бы только избавили меня от лишнего труда.

— Я отлично знаю, что вам никакие переводы не нужны. Вы мне их давали из деликатности, — сказала она, глядя мимо его лица, в пространство. Прежде он в таких случаях оглядывался: нет ли кого-либо позади?

— Клянусь вам, что мне нужны переводы! — сказал он с преувеличенным жаром, не подходившим для таких обыкновенных слов.

— А если они вам нужны, то вы в Америке легко найдете какого-нибудь русского студента, который будет переводить лучше, чем я. Я ведь в точных науках

ничего не понимаю, вы могли в этом убедиться и по учебнику радиотехники.

— Вы переводите прекрасно!.. Дорогая моя, разрешите оставить вам денег, умоляю вас!

— Очень вас благодарю, но это невозможно... Давайте говорить о чем-нибудь другом, — с улыбкой сказала она и подумала, что его деньги могли бы быть для нее последней возможностью спасения. «Бриллианты придется продать через неделю... Нет, все равно, его переводы не выход». — Давайте говорить о чем-нибудь другом. Погода прекрасная, перелет будет легкий. Ведь вы летите семнадцать часов?

— Да, с двумя остановками: в Ирландии и в Нью-фаундленде, — сказал он.

В эту минуту был подан сигнал к посадке. Оба они обрадовались и сделали вид, что настала тяжелая минута.

У барьера он поцеловал ей руку, затем быстро, со слезами на глазах, поцеловал ее, оглянувшись на других пассажиров. Никто не обращал на них внимания: все целовались. За барьер провожавших не пускали. Аэроплан стоял очень близко. Фергюсон быстро взбежал по лесенке — быстрее, чем сделал бы, если б она на него не смотрела, — и занял свое место. Поспешно смахнул слезы и с улыбкой неловко прильнул лицом к иллюминатору. Через толстое стекло было плохо видно. Она прошла вдоль барьера и остановилась против его окна. Оба с улыбками помахали друг другу рукой. И оба желали, чтобы аэроплан поднялся возможно скорее.

Когда аэроплан отлетел, Фергюсон прошел к умывальнику — пить на людях ему было неловко. Он залпом выпил полный стаканчик коньяку и вернулся. «Несчастливая, трогательная, сумасшедшая женщина! — думал он. — Но я поступил правильно...» Ему было очень тяжело. Быть может, единственным утешением и было то, что ему очень тяжело.

Аэроплан уже летел над морем, когда Фергюсон стал успокаиваться. «Как это ни гадко, алкоголь облегчает *все*», — думал он. Он достал из несесера взятую на дорогу последнюю книгу журнала. Там была статья о применении атомной энергии для мирных целей. Она была не слишком интересна, все общие места. Но почему-то в этот вечер он читал статью с волнением. «Как это могло бы изменить всю нашу

жизнь! Зачем войны, зачем революции, зачем международные трибуналы, когда благ будет больше, чем нужно человечеству? Это, собственно, и есть главная, чуть ли не единственная серьезная задача, ей стоило бы отдать жизнь», — подумал он.

Его поразила мысль, что он мог бы в своей лаборатории при помощи атомной энергии проделать новые химические реакции природы. «То, что Берглю делал при помощи вольтовой дуги. Для начала синтез ацетилена. Затем синтез угольной кислоты, альдегидов, спиртов, сахара, белка! Да, у нас кое-что делается в этом направлении, но так случайно и не систематично. А в Европе еще никто не может этим заниматься, у них почти нет наших источников атомной энергии. Ведь так можно создать новую химию! — думал он с сильным волнением. — Затем надо искать катализаторы, которые заставили бы атомную энергию действовать иначе: не скорее, а медленнее. Как их назвать? Замедлители? Отрицательные катализаторы? Или сокращением нескольких слов: Catalyst of atomic energy¹: CAE? Я знаю, где их искать, и если удастся найти, то практическое значение будет огромным... Жизнь отчасти сводится к химическим реакциям. Если удастся их замедлить, то, быть может, это будет означать борьбу со смертью, ее преодоление!.. Она сказала: «Эти розы скажут вам, что я вам очень, очень признательна за все...» Бедная, как ее жаль!.. А если вещества, подвергнутые действию атомной энергии, станут положительными катализаторами в реакциях природы? Если они заменят хлорофилл? Тогда с акра земли будет собираться, быть может, больше хлебов, овощей, фруктов, чем теперь на тысяче акров. В Индии, в Китае, в России погибали и погибает от голода десятки миллионов людей. Наука не знает границ... Я пошлю Тони телеграмму из Шеннона... Все остальное это проблема распределения. Если же политики и экономисты не справятся с проблемой распределения, когда наука им даст неограниченные возможности производства, то, значит, их-то, а не японцев в Хиросиме, надо было истребить атомной бомбой...» Волнение его росло. К этим опытам можно было приступить немедленно. Он думал о том, каких сотрудников привлечет, как будет ставить опыты, сколько времени они продлятся. «Это-

¹ Катализатор атомной энергии (*англ.*).

му я и отдам остаток своих дней. Как мне это раньше не приходило в голову! Дюммлер говорил, что каждый человек сам находит *свой* путь к счастью, свой способ освобождения: общих способов нет. Я прежде не очень это понимал, как и многое из того, что он говорил. Теперь понимаю: мое освобождение в *этом*, и мой путь к счастью».

Когда Тони вернулась в гостиницу, было уже темно. Она зажгла все лампы номера. Ее вещи были сложены. По счету было заплачено до завтрашнего дня. На следующее утро она переезжала в помещение «Афины». «Последний день их буржуазного комфорта», — думала она пренебрежительно, хотя расставаться с комфортом было не так легко. В той старой запущенной квартире на пятом этаже не было не только ванны, но и проточной воды.

Она не любила Фергюсона, но ей было очень тяжело. «Он *был* совершенный джентльмен, все-таки это их буржуазное понятие хорошо и драгоценно. Друг и джентльмен. Много ли я видела в последнее время друзей и джентльменов? Дюммлер джентльмен, но не друг, ему девятый десяток, он скоро умрет, он меня не любит и остерегается. Говорил, что считает меня «способной если не на все, то на очень многое». В этом он сходится с Грандом, которого так презирает. Фергюсон преувеличивал мои качества. Что-то есть странное в его внезапном отъезде. Мы просто были с ним в совершенно разных плоскостях, нам бывало скучно друг с другом, как мы ни старались делать вид, будто нам очень весело. А какая же любовь, когда людям скучно быть вместе? Все же, может быть, он был моей последней зацепкой в жизни... Или в *самом деле* пойти к *ним*?»

Она в десятый раз перебирала в памяти то, о чем думала: «За коммунистами правда, а главное, скоро будет и сила. Сила всегда со временем становится правдой, надо только продержаться. Если *они* победят, то кому придет в голову попрекать их преступлениями, все равно выдуманнными, преувеличенными или действительными? То, что казалось преступлением, станет подвигом, будут говорить о величии их души: они не боялись проливать кровь во имя своей идеи, они брали грех на свою совесть... По-видимому, такова моя судьба, делать мне больше в жизни нечего...» На минуту ей

пришло в голову, что это недостойно в отношении коммунистов. «Идти к ним оттого, что я морфинистка, что у меня никого и ничего нет, что я осталась без копейки, что иначе пришлось бы пойти на *воровство*».

Вещи уже были в чемоданах. Она выдвигала и закрывала один ящик за другим: не забыла ли чего-либо? Вытащила даже нижний ящик комода, выдвигающийся очень туго. Это усилие ее утомило. Боль усилилась. «Странно, что уже с неделю не проходит... Нет, к доктору не пойду, дорого», — думала она. Денег у нее оставалось тысяч шесть. Этого могло хватить при большой бережливости на десять дней. «И все-таки не надо было соглашаться на предложение Фергюсона... Завтра же возьму их из ящика и отнесу ювелиру. Нет, завтра нельзя. На этой неделе», — рассеянно думала она, наклонившись к верхним боковым ящикам. Комод был с зеркалом. Она увидела, что на лбу у нее вскочил прыщ. «Утром не было... Только что ли вскочил или уже был, когда мы прощались?»

Последней она положила в чемодан книгу: ту самую, в которую никогда не заглядывала. Хотела было положить ее на дно чемодана. И неожиданно для себя, вдруг о чем-то подумав, села в кресло, открыла эту книгу на главе «Первые симптомы отравления наркотиками». Тони пробежала одну страницу за другой, страшные слова мелькали у нее в глазах. Пробежав короткую главу до конца, она стала читать все снова, стараясь вдуматься *по-настоящему*. Лицо ее все бледнело.

«Теперь уж одна дорога, — думала она, когда понемногу пришла в себя. — Другого выхода нет... Да, перед ними стыдно. Какой-нибудь драматург вроде Джексона напишет об этом что-либо пошлое антикоммунистическое: вот, мол, с кем они работают! Эти глупенькие Джексоны думают, что мы нужны коммунистам! Нет, коммунисты нужны нам! Так вы, господа Джексоны, хорошо устроили мир! Пеняйте же на себя, что мы к ним уходим: вы нам чересчур противны, вы нас до этого доводите!» Все же мысль о том, будто ее кто-то довел до состояния, в котором она находилась, показалась ей неубедительной. «Просто здесь все слишком гадко и скучно... А может быть, эта проклятая книга преувеличивает? Ведь тот говорил, что они все преувеличивают, запугивают людей. А если правда, то тем более все равно: сознание померкнет, ничего

понимать не буду. Страшного нет. В жизни ничего страшного нет...»

И в самом деле, с этого дня ее сознание стало омрачаться все более. Ее немногочисленные знакомые посматривали на нее с тревожным удивлением. Она не всегда их понимала, иногда по нескольку раз в течение разговора повторяла одно и то же. Дозы морфия все учащались и увеличивались. Грезы после них становились все более реальными и занимали теперь большую часть ее дня и ночи. Самым лучшим ее временем теперь был поздний вечер: никто больше ее беспокоить не будет, делать больше ничего не надо, — только впрыснуть морфия. Ей казалось, что в пору этих *грез* она все лучше видит, лучше замечает, лучше понимает, чем в том состоянии, которое другие люди называли нормальным.

VI.

— Не могли ли бы вы изложить мне все это письменно? — спросил Норфольк.

— Письменно? Помилуйте, зачем письменно? — сказал Гранд изумленно.

— Я вам сейчас объясню. Но не хотите ли вы выпить вина? Мой босс разрешил мне заказывать здесь в гостинице все, что угодно. Он очень щедр, месть Делавар, это в нем подкупающая черта. За щедрость я прощаю людям все недостатки, а за скупость не прощаю им ни одной добродетели... Оцените этот мой афоризм, он сделал бы честь Оскару Уайльду... Не хотите выпить? Очень жарко, хотя только май месяц. Я пью белое вино пополам с ледяной водой. Ради Бога, не говорите, что разбавлять хорошее вино водой это варварство! Так говорят люди, не знающие ни химии, ни истории. В вине ведь все равно очень много воды, и Людовик XIV всегда разбавлял наполовину водой свои вина, между тем они у него были, надо думать, недурные, и он знал в них толк... Разрешите вам налить? — спросил Макс Норфольк и налил Гранду вина из стоявшей перед ним бутылки. — Впрочем, если вы предпочитаете пить вино чистым, сделайте одолжение. Правда, недурное шабли?

— Очень хорошее, — сказал Гранд, широко улыба-

ясь и показывая квадратные зубы. Почему-то болтовня и особенно вид старика несколько его беспокоили. — В чем же дело?

— Что «в чем дело»? Ах, почему в письменной форме? Да. — Он задумался, внимательно глядя на гостя. — Вот в чем дело. Я плохо знаю французские законы, но наши, американские, кажется, помню. По законам моего штата шантаж в письменной форме рассматривается как felony¹, а устный шантаж только как misdemeanour². В первом случае тюремное заключение много продолжительнее... Ради Бога, не говорите: «Да вы с ума сошли!» или «Как вы смеете?» Не говорите также, что только мой преклонный возраст мешает вам раздробить мне голову. Кстати, возраст мой действительно преклонный, но я имею при себе эту штучку, — сказал Норфольк. — Он небрежно вынул из кармана револьвер и тотчас положил его обратно. — Вы даже не могли бы донести, что я ношу при себе оружие: у меня есть разрешение. Видите ли, я сам когда-то служил в полиции, а полицейские всех стран объединились гораздо раньше и лучше, чем пролетарии всех стран. Они друг другу не отказывают в небольших одолжениях.

— А вы забавный старичок, — сказал Гранд. Он тотчас оправился от удара, и Норфольк, как знаток, это оценил. — Так вы решили, что я шантажист?

— Нет, дорогой мой, вы дилетант шантажа: разница громадная. Профессиональные шантажисты действуют иначе. Вы дилетант, хотя, может быть, и очень способный. Я нисколько не отрицаю: у шантажа великое прошлое и еще более великое будущее. На шантаже построена вся политика больших государств, только там он называется политической силой. Что поделаешь, им можно, а нам нельзя. Разумеется, вы почти ничем не рисковали, предлагая мне, по вашему собственному выражению, выдать вам «слабые пункты кирасы» моего Ахиллеса и поделить прибыль. При этом вы ничем не рисковали, так как наш разговор происходит без свидетелей. Но вы наняли сыщика для того, чтобы он следил за моим боссом. Забавно то, что мой босс этого и не заметил, хотя ваш человек ходил

¹ Преступление (англ.).

² Судебно наказуемый проступок (англ.).

за ним и прежде. Разумеется, я заметил его тотчас. Я навел справки, оказалось, что это не полицейский, что это частный заказ. Ну хорошо, я ведь мог направить полицию по следам вашего частного сыщика. Его арестовали бы, он, конечно, объявил бы, что заказ дан ему вами. Полиция обратила бы на вас внимание. Согласитесь, было бы нехорошо. Ваше единственное смягчающее обстоятельство: вы не могли узнать, что я имею отношение к полиции.

— А отчего бы вам и не принять мое предложение? — нерешительно спросил Гранд. — Может быть, я вам предложил недостаточный процент? Скажите откровенно: мы легко сговоримся.

— Не могу, дорогой мой, не могу. Я проделал множество профессий, но шантажистом никогда не был. На старости лет трудно начинать новую жизнь. Кроме того, босс отлично мне платит, и я ему благодарен. Очень сожалею, пожалуйста, извините меня.

Он весело рассмеялся. Гранд улыбнулся и закурил папиросу.

— Я рад, что вы такой веселый старик. Могу ли я узнать, чему вы так радуетесь?

— Можете узнать. Дорогой мой, да как это вас угораздило! Если есть в мире человек маловосприимчивый к шантажу, то это именно мой босс! Ему все равно, лишь бы был шум. Позавчера его какая-то темная газетка назвала финансовым кондотьером, он уже два дня ходит гордый, как Цезарь Борджиа. Нет-нет, у меня создается печальное мнение о вашем уме, дорогой мой. На что тут можно было рассчитывать?

— Если бы оказалось, что за ним есть грешки, то было бы на что рассчитывать, — сказал обиженно Гранд.

— Какие грешки? Что мог обнаружить ваш сыщик? Никаких предосудительных пороков босс не имеет. Допустим, что у него оказались бы три любовницы одновременно. Ведь это репутации человека никак повредить не может, разве только если он первый министр Англии. Нет, дорогой мой, вы совсем неопытный шантажист, уж вы на меня не сердитесь. Если бы дело было года два тому назад, то вам надо было бы раскопать что-либо по экономическому сотрудничеству с немцами. Таких случаев шантажа было великое множество. Но для этого никакой слежки на улицах не нужно. Да и потом, это так устарело и надоело! Ну,

торговал с немцами, кто же не торговал? Германские оккупационные власти тратили во Франции полмиллиарда франков в день французских же денег: куда-нибудь же должны были идти эти деньги, правда? Разница тут преимущественно количественная, а нравы в Западной Европе мягкие, по крайней мере в отношении денежных людей. Все Робеспьеры давно казнены, и слава Богу. А те, что нажили на немцах побольше, те в громадном большинстве догадались в 1944 году спасти хоть одного еврея или социалиста. И притом все, работавшие на немцев, работали по принуждению, по одному принуждению. Да и надо же было, черт возьми, промышленникам платить служащим и рабочим. О чем тут говорить? Так было всегда и везде. Даже в Англии было бы то же самое, если б немцы ее оккупировали. А на Британских островах Ла-Манша, захваченных немцами, так именно и было. Следовательно, если б на моего босса и упало несколько капель золотого ливня, то *петь* он все-таки для вас не станет... В былые времена на пирушках гостей просили петь, никто, разумеется, не хотел, заставляли чуть не силой. Отсюда, по-видимому, и пошло это выражение: *faïre chanter*¹. Какой милый и шуточный французский язык! По-английски то же самое называется так грубо: *blackmail*². Кстати, в Англии за шантаж, кажется, полагается пожизненная тюрьма. Во Франции нравы мягче, все же, дорогой мой, зачем так рисковать? Зачем так рисковать, а?

— Меня ввела в заблуждение молва, — сказал Гранд. — Я не имел чести лично вас знать, но тоже навел справки, как, по-видимому, и вы обо мне. Боюсь огорчить вас, однако из этих справок не следовало, что вы должны скоро получить премию за добродетель. Кто-то мне сказал: «Он такой же умник, как вы!»

— Может быть, может быть... Но мы с вами, так сказать, поляризованы в разных плоскостях. Ваш умственный свет поляризован в плоскости жулика, а мой в плоскости Дон-Кихота. Не думайте, однако, дорогой мой, что я вам желаю зла. Помилуйте, теперь в Германии на свободе гуляют тысячи молодых людей, которые в застенках собственными руками истязали, замучивали

¹ Буквально: заставлять петь, в переносном смысле: шантажировать (*фр.*).

² Шантаж, вымогательство (*англ.*).

людей насмерть. И эти молодцы живы и здоровы, а после скорой неминуемой амнистии выйдут на свет Божий, будут заниматься политикой если не в застенках, то в парламентах в ожидании новых застенков. А Россия? Говорят, там на службе у ГПУ состоят миллионы людей. Что же, казнить их всех после падения большевиков? Нет, громадное большинство будет тоже амнистировано, — сказал он и с досадой вспомнил, что это говорит Макс в пьесе Джексона. — А если так, то что же я могу иметь против рядовых прохвостов?.. Виноват, против милых, симпатичных дилетантов шантажа. Не скажу, что решительно ничего, но я давно примирился с тем, что я мира не переделаю. Принимаю его таким, каков он есть! Благословлять не благословляю, а принимаю! Да, конечно, на свете есть множество людей в тысячу раз хуже вас. Живите на здоровье, дорогой мой! У вас, наверное, есть свои достоинства. У Ставиского были, у Аль Капоне были... Выпьем еще, а?

— С удовольствием, — сказал Гранд. «Проклятый старикашка», — подумал он, впрочем, без злобы. Ему даже было несколько смешно.

— Отличное вино... Конечно, вы не требуете от меня чувств, которые были бы характерны для первых времен христианства? Не скрою, если у меня представится случай сделать вам какую-либо небольшую неприятность, то я, может быть, от этого соблазна и не воздержусь. Но я это сделаю против убеждения, да и то не наверное... Нет-нет, никаких недобрых чувств я к вам не испытываю. Я даже готов был бы оказать вам услугу. Позвольте, например, дать вам совет: уезжайте подбру-поздорову.

— Куда и зачем?

— Куда вам угодно. Чем дальше, тем лучше. Например, в Каракас? Или в Эфиопию, а? Зачем?.. Видите ли, мне по знакомству показывали ваше досье. Полиция вами интересуется, дорогой мой. Говорю как джентльмен с джентльменом. Не скажу, что она *очень* интересуется, но интересуется. Скорее всего, никаких мер пока принято не будет. Однако гарантировать ничего нельзя. Право, уезжайте. Подумайте, ведь мне все равно, останетесь ли вы в Париже или нет. Я и боссу ни одного слова о нашем разговоре не скажу. Я в этом деле лицо не заинтересованное. Вы ведь больше не будете делать попыток подкупить меня. Знаю, знаю,

у многих людей есть такое убеждение, будто подкупить можно всякого человека. Это неверно. Даже настоящих злодеев не всегда можно купить, все зависит от формы, от дела, от риска. Ну вот, я никак не идеализирую повешенных в Нюрнберге людей. Но если б, например, союзное командование предложило фельдмаршалу Кейтелю или даже Герингу миллион долларов за то, чтобы они умышленно проиграли войну, то те, наверное, отклонили бы это предложение. У всякого человека своя честь, правда?.. И свое удовольствие. Jedes Tierchen hat sein Plaisirchen¹, — повторил старик свою любимую поговорку. — Не хотите больше вина? Конец бутылки приносит счастье.

— Выпейте его сами, — сказал Гранд, вставая и улыбаясь. — Прощайте.

— До приятного свидания, — сказал Норфольк, крепко пожимая ему руку.

VII.

Постановка была кончена.

Актеры, техники, даже статисты приходили прощаться к Пемброку и благодарили его. Он тоже всех благодарил и обещал не забывать при следующих постановках. Фильм обошелся дорого, был большой перерасход, но Альфред Исаевич знал, что перерасход бывает почти всегда, и в своих сметах даже принимал это во внимание: расход — такой-то, перерасход — такой-то.

Все же он любезно и ласково отклонял просьбы артистов повезти их в Америку. Туда отправлялись с ним только Делавар и его секретарь Норфольк, а также Яценко и Надя: да и то Виктор Николаевич ехал на свои деньги. Надя получила не «квотную» визу, а временную, на пять месяцев, и была этим очень разочарована. Пемброк утешал ее.

— ...Для начала вы осмотритесь. А если, как я надеюсь, вам у нас понравится, то мы как-нибудь с сэром Уолтером устроим вам и постоянную визу.

— Это я уже давно слышу.

— Darling, в один день ничего не делается.

¹ У каждого маленького животного есть свое маленькое удовольствие. — *Пер. с нем. автора.*

— Альфред Исаевич, какой там «один день»! Я хлопочу уже почти год!

— Другие ждут и больше. А у вас вдобавок такое неопределенное семейное положение. Какой-то муж-большевик остался в России, жена едет без мужа. Когда же наконец вы получите развод?

— Надеюсь, скоро.

— Это я тоже давно слышу... Если б вы были женой сэра Уолтера, все было бы в порядке, — сказал Альфред Исаевич, искоса взглянув на Надю. — Поверьте, мне было не так легко достать для вас и временную визу!

— Ведь ваш Делавар обещал позвонить по телефону президенту Соединенных Штатов! — саркастически сказала Надя. Альфред Исаевич рассмеялся.

— Он не очень «мой». Уж, скорее, «ваш», да... Надеюсь, вы ни минуты не верили, что он в самом деле может позвонить президенту! *Мне* он этого не сказал бы. Вообще, Наденька, — вставил Пемброк серьезно, — лучше держитесь подальше от Делавара. Я ничего дурного не хочу о нем сказать, но я старик, и я вас очень люблю. Ваш сэр Уолтер сумасшедший, однако он очень порядочный человек, совершенный джентльмен. Выходите замуж за сэра Уолтера.

— А если сэр Уолтер не пожелает на мне жениться?

— Тогда и слепому будет ясно, что он сумасшедший.

— Какой вы галантный, Альфред Исаевич! Разводьтесь с миссис Пемброк, и я выйду замуж за вас.

— Нет, спасибо, я очень доволен миссис Пемброк. У нее только один недостаток. Я очень гостеприимен, а она меньше, гораздо меньше. Кажется, у Лескова какой-то денщик говорит, что на свете есть только его барин и он сам, а все остальные сволочь.

— Спасибо, что предупредили. Вы, кажется, звали меня погостить в вашем Сильвия-Хауз.

— Вы меня не поняли! Сильвия не считает всех других сволочью, избави Бог! — поправился Альфред Исаевич. — Но барин, то есть я, это особь статья... Ну, хорошо, моя милая, так готовьтесь к отъезду. Билеты нам всем обещаны. Делавар тоже едет. Помните то, что я вам сказал.

— Да что вы ко мне пристааете с Делаваром! Мне на него, с вашего позволения, начихать.

— Не даю вам позволения, это уже было бы слиш-

ком. Во-первых, он ваше начальство, а во-вторых, вам Делавар может пригодиться. Пока он понимает в кинематографе столько, сколько свинья в апельсинах. Но все-таки вам надо поддерживать с ним контакт.

— То-то и есть, вы по крайней мере это понимаете, не то что мой козырь! Контакт, но не слишком тесный, правда?

— Я таких вещей не говорю и не думаю, — целомудренно сказал Пемброк, не любивший вольных шуток у дам.

— Вы прелесть, Альфред Исаевич!

— Так что на меня вам не «начихать»?

— Как можно! Вы свой брат, русский интеллигент, — сказала Надя, знавшая, чем его можно подкупить. — И вы непременно поставите в театре «Рыцарей Свободы», и я завоюю Америку в роли Лины.

— Это мы еще посмотрим, sugar plum. Не хвались, идучи на рать.

— А я хваюсь... Кстати, вы оплачиваете только мой билет в Америку?

— Я с радостью платил бы вам и суточные, но сэр Уолтер слышать не хочет.

— Об этом надо говорить не с сэром Уолтером, а со мной. Я пока не его жена, да если и стану, то this is a free country. Видите, как я хорошо произношу ти-эйч! А какие именно суточные, Альфред Исаевич?

— Скромные, Наденька. Убедите сэра Уолтера подписать со мной контракт в качестве сценариста на два года, и я в виде взятки подпишу контракт и с вами.

— На каких условиях?

— На скромных. Вы еще не Грета Гарбо... А наш фильм уже продан в пять стран! — весело сказал Пемброк. — Мы, конечно, повезем с собой ленту в Нью-Йорк. Все зависит от Америки.

— Все вообще в мире зависит от вашей Америки!

— И слава Богу! — сказал Пемброк.

VIII.

Идея, пришедшая в голову профессору Фергюсону на аэроплане, оказалась превосходной. Он всю дорогу думал о ней, и у него сложился в уме план опытов.

В свой городок он приехал в одиннадцать часов утра. Предупрежденная им по телеграфу уборщица,

работавшая у него много лет, оставшаяся у него после развода и всецело бывшая на его стороне против жены, чисто убрала его уютную квартиру, возобновила телефонное сообщение, пустила в ход газовый ледник. Они очень обрадовались друг другу. На столе стоял завтрак: *grape-fruit*, ледяная вода, молоко, свинина с бобами, салат с майонезом и ананасом и *Deep Dish Apple-pie*¹. Французы с высоты своего тысячелетнего авторитета могли с презрением относиться к американской кухне, но все это было свое, родное и, что бы там ни говорили, лучшее в мире.

За завтраком он болтал с уборщицей, узнавал местные новости, отвечал на ее вопросы, сообщал, что во Франции теперь есть и хлеб, и мясо, и фрукты, что о войне много говорят и никто серьезно о ней не думает, что Европа понемногу восстанавливается благодаря плану Маршалла. Уборщица все это слушала удовлетворенно, но неодобрительно отозвалась о легкомыслии парижанок и тревожно его спросила, уж не ел ли он там лягушек. Фергюсон уверил ее, что лягушек не ел, что обобщать ничего нельзя и что женщины в Париже есть, как везде, самые разные. При этом вспомнил Тони — здесь и это воспоминание не было тяжелым: с улыбкой представил себе ее в этой обстановке, в разговоре с этой уборщицей. Он был в восторге, что вернулся домой.

После завтрака Фергюсон сделал несколько визитов, затем заехал в лабораторию. Все оказалось в полном порядке. Он собрал главных сотрудников, вкратце изложил им свою идею и распределил между ними задания. Опыты начались на следующее утро. Результаты их скоро оказались чрезвычайно важными.

Фергюсон сделал сообщение на собрании химического общества, затем сам кое-как перевел текст на французский язык и по воздушной почте отправил знакомому академику в Париж. Тот в следующий понедельник доложил о его работах Академии наук, и в «*Comptes Rendus*»² появились три страницы — предельный размер доклада. Успех был большой, тот самый ученый успех — у нескольких сот человек на земле. Очень скоро стали появляться дальнейшие сообщения, уже за общей подписью его и сотрудников: «Фергюсон и Блэк», «Фергюсон и Джонсон» и т. д. Как обычно в

¹ Яблочный пирог в глубоких тарелках (*англ.*).

² «Доклады» (*фр.*).

таких случаях бывает, в новую область бросились ученые в других американских лабораториях. Все корректно признавали его приоритет, подтверждали результаты его опытов, сообщали результаты своих. Европейские ученые таких опытов производить не могли: у громадного большинства из них не было ни циклотронов, ни даже изотопов, вообще почти ничего не было. Но они чрезвычайно заинтересовались, посылали лестные письма, задавали вопросы. В ученых кругах говорили, что Фергюсон, вероятно, получит Нобелевскую премию. Даже недоброжелатели признавали, что он имеет на премию права.

По случайности он в это время получил отличие, не имевшее никакой связи с его последними открытиями. В пору войны Фергюсон оказывал услуги французским ученым, бежавшим от Гитлера в Америку, и состоял председателем какого-то комитета; его участие в работах, закончившихся изобретением атомной бомбы, тоже стало известно в Париже. По несколько запоздавшему докладу французское правительство наградило его орденом Почетного легиона. Об этом в газетах появились телеграммы на первой странице: «French decorate American»¹. Репортеры появились в лаборатории, узнали о последних работах Фергюсона и, как водится, напутав, сообщили о них в печати с указанием его возраста, роста и веса. О его исследованиях появились и серьезные заметки в воскресных приложениях больших газет. Условная, теоретическая известность у него была уже давно. Теперь к его славе, кроме Нобелевской премии, уже ничто ничего прибавить не могло.

Сам он думал об этом с улыбкой. По его мнению, в точных науках были работы гениальные, как, например, работы Эйнштейна, Майкельсона, Пастера, Генриха Герца, были и просто счастливые, как открытие радия или рентгеновских лучей. Фергюсон и вообще не считал себя гениальным ученым, но мысль, пришедшая ему на аэроплане при чтении популярной статьи, уж никак гениальной не могла быть названа: она была именно счастливой. Он знал, что в молодости производил исследования, представлявшие собой значительно большее усилие мысли, — и они славы ему не приносили. Да и теперь, быть может, без Почетного легиона его заслуги так бы и не стали известны широкому кругу

¹ «Французы награждают американца» (англ).

читателей. Все же слава доставляла ему радость. Теперь он был уж вполне уверен, что нашел свой путь к счастью, — путь наиболее для него естественный: наука и труд.

Слава помогла ему и в деле визы для Тони. Он дал ей affidavit, достал еще другой от богатого знакомого. Все же формальности могли бы продолжаться довольно долго. Фергюсон съездил в Вашингтон, пустил в ход все связи, получил визу гораздо скорее, чем другие, и по тому, как его везде принимали, видел, что стал знаменитым человеком.

Мысль о Тони была ему тяжела. «Было что-то нехорошее в моем бегстве. Я займусь ею, когда она придет, но, может быть, займусь издали: сюда, конечно, ее не привезу, но устрою в Нью-Йорке... Очень легко предоставить погибающему полное право и полную возможность погибнуть. Что же я мог сделать? И что же я могу сделать теперь?» Думал, что она, вероятно, нуждается. По своей щедрости он охотно послал бы ей то небольшое, что было у него на текущем счете. Но по своему джентльменству опасался, что в этом тоже было бы что-то не очень достойное, почти грубое, — «точно я откупаюсь!» Он написал ей сейчас же после приезда в Соединенные Штаты, написал очень мило. Ответа не было. Фергюсон знал породу людей, которые с легкой гордостью говорят: «Я никогда на письма не отвечаю». Тони к этой породе не принадлежала. «Сердится? Или с ней что-либо случилось? Уже что-либо случилось?..» Он написал вторично, приложил работу для перевода и чек на довольно значительную сумму, много большую, чем нужно было бы для билета второго класса. Заодно известил ее, что виза ей послана американскому консулу, что работа для нее в Нью-Йорке найдется. Хотел было написать: «Умоляю вас приехать», но подумал и написал: «Убедительно советую вам приехать».

Ответа и на этот раз не было очень долго. Письмо было послано заказным. Фергюсон был очень обеспокоен. Хотел было даже запросить по телеграфу Дюмлера, но в этом было бы нечто неловкое и ее компрометирующее. Тони несколько раз ему снилась. Понемногу мысль о ней стала у Фергюсона почти навязчивой.

Политикой он больше не занимался. Уоллес совершенно его разочаровал. Теперь он интересовался планом Баруха о контроле над атомной энергией. Об этом прочел доклад в Нью-Йорке, выслушанный с большим

вниманием. Фергюсон подумал, что ему следовало бы прочесть такой же доклад и в Лондоне, и в Париже. Не мешало и подробнее ознакомить европейских ученых с его последними работами. Несмотря на свой еще увеличившийся авторитет в университете, он не хотел так скоро просить о новой командировке — это было бы недобросовестно. Думал, что, быть может, летом съездит на свои деньги опять в Европу, — в душе чувствовал, что не поедет. «Что я сказал бы Тони? Притворялся бы, что ничего не знаю? Или читал бы ей безнадежные проповеди?»

Месяца через два Фергюсон наконец получил от нее письмо. Она прилагала перевод, сделанный на этот раз совсем плохо, просила больше ничего ей не посылать, благодарила за визу и деньги. О приезде не сообщала ничего. Ему показалось, что почерк у нее стал шатающийся.

Это письмо совершенно его расстроило. В первую минуту он сказал себе, что, *в сущности*, мог бы быть доволен. «Теперь моей вины больше уж никакой нет». Потом он подумал, что жизнь его тоже, в сущности, кончилась. Фергюсону и раньше казалось странным, иногда даже смешным, что ему скоро будет шестьдесят лет. Он и до своей поездки в Европу иногда полушутливо называл себя стариком, и другие, особенно дамы, весело улыбались и протестовали. «Теперь и шутить не над чем. Кончена жизнь».

В эту ночь он видел Тони во сне — их обед в Латинском квартале за бутылкой вина, слышал ее смех, видел *тот* ее жест (действовавший на него так же, как на Яценко и на Гранда). Проснулся он с жгучей сердечной болью. У него выступили слезы. Знал, что больше никогда ее не увидит и что никогда у него не изгладится воспоминание о ней. «Я как те четырнадцатилетние мальчики, которые хотели бежать в пампасы, но были пойманы и водворены домой... Путь к освобождению как будто найден, но пампасов никогда больше не будет...»

IX.

Тони долго читала и перечитывала первое письмо Фергюсона, рассеянно поглядывая на стоявший перед ней кофейник. Фергюсон часто пил у нее кофе и тревож-

но удивлялся тому, что она заваривала три столовые ложки на две чашки. «Поэтому вы такая нервная, это слишком много», — говорил он. Тони и теперь слышала его интонацию: «much too much». Он часто употреблял слово «much» и разные выражения с этим словом, говорил: «much of a muchness», «much cry and little wool», «he is not much of a painter»¹... — «С ним все кончено, ничего отвечать не надо».

Утро опять было очень тяжелое. В кровати плакала, — вообще плакала редко. Решила вечером впрыснуть морфий, хотя в этот день по расписанию не полагалось. Затем оделась, достала из стального ящика ожерелье, перед зеркалом поправила брови, напудрила красные пятна на подбородке. Уже спустившись до площадки третьего этажа, заволновалась: закрыла ли газ, потушила ли папиросу в пепельнице, — вдруг пожар! Вернулась — все оказалось в порядке, опять начала спускаться и вспомнила, что ключ в двери повернула не двойным поворотом. Подумала (как все чаще в последнее время), что, кажется, сходит с ума, — и не поднялась. На улице она встретила средних лет даму, недавно записавшуюся в «Афину». Та как раз шла за карточкой и, видимо, хотела, чтобы секретарша поднялась с ней. Тони, плохо слушая, смотрела в пространство мимо лица этой дамы. «Недурна собой... Папа говорил, что в Великороссии таких называли «стариковским утешением»... Чего ей надо?.. Что она говорит?..»

— ...Кажется, еще двенадцати часов нет, — сказала дама, напоминая, что приемные часы от десяти до двенадцати.

— Я ушла без десяти двенадцать. Нужно спешно отправить телеграмму, — солгала Тони.

Когда дама отошла с недовольным видом, Тони отправилась на почту и, войдя, вспомнила, что никому телеграммы отправлять не надо. «Ну да, я схожу с ума», — подумала она, соображая, куда же ей надо было идти. Вспомнила: тот ювелирный магазин находился недалеко от гостиницы Гранда. У нее задержалась в памяти надпись: «Покупка и продажа драгоценностей. Платят самые высокие цены».

В автобусе она растерянно взглянула на подошед-

¹ «Почти то же», «много крика и мало шерсти», «в нем от художника немного» (англ.).

шего кондуктора. «У меня нет билетиков!» — сказала она таким тоном, точно совершила преступление и сознается. Затем поспешно вынула деньги из сумки. Кондуктор и соседи смотрели на нее удивленно. Автобус остановился у церкви. Она оглянулась, опять забыв, куда идет. Вошла в церковь, хотя уже несколько лет сочувствовала безбожникам (да и церковь была чужая, католическая, — ей все нерусское казалось враждебным). У входа под афишей с изображением молящейся женщины и с надписью «J'ai choisi Dieu»¹ продавались свечи. У нее почти не было денег, она спросила самую дорогую, в пятьдесят франков, и машинально сделала то, что делали другие: опустила руку в раковину, перекрестилась (православным, а не католическим крестом) и низко поклонилась. Засветила свечу от другой, стоявшей у нежно-голубого бархатного покрывала, на котором золотыми буквами было написано: «Ave Maria», вставила свою свечу в углубление рядом с другими и опустила на один из маленьких соломенных стульев, странно выделявшихся своей убожеством в этой величественной, великолепной церкви с золотом, мрамором, бронзой, цветными стеклами окон. Людей было немного. Около нее молился нестарый человек без ноги, за ним женщина с ребенком на руках. Ей вдруг стало жаль и себя, и их, и всех людей. «А может быть, правда здесь? Может быть, уйти сюда? Может быть, выход в этом?.. Нет, теперь поздно... Нет, это прошлое... Будущее с теми... Адрес они нам дали. Пойти к ним? Но оттуда уже возврата нет... Я еще подумаю...»

Она зашла в магазин и, как осенью в Ницце, попросила оценить ожерелье. Ювелир даже не вынул лупы.

— Я этим не занимаюсь. Думаю, тысяч пять вам дадут, — сказал он.

— Как пять тысяч?

— Может быть, шесть. Стекла сделаны хорошо.

— Что вы говорите!.. Разве это ненастоящие бриллианты?

Ювелир взглянул на нее с недоумением.

— Конечно нет.

— Вы ошибаетесь!

— Какое же тут может быть сомнение? Если б они были настоящие, они стоили бы миллиона три.

¹ «Я избрала Бога» (фр.).

— Я именно отдавала их для оценки ювелиру в Ницце. Он так их и оценил в три миллиона.

— Это невозможно, — сказал ювелир, подняв брови. — Любой ребенок мгновенно признает, что бриллианты ненастоящие. Вы спрашивали в ювелирном магазине?

— Да! Конечно!

— Вы ошибаетесь. Или же вы показывали не те камни, — сухо, подозрительным тоном, сказал ювелир. — Извините меня, я очень занят.

Она растерянно вышла из магазина.

В гостинице Гранда ей сказали, что он уехал, не оставив адреса.

Больше сомнений быть не могло. Она вышла из гостиницы. Не знала, что теперь делать, и чувствовала почти облегчение: «Не продала!.. Я не продала!.. Судьба... Во всем судьба... Нечего и думать о том, чтоб бороться с судьбой...» Вспомнила какие-то стихи о судьбе, тотчас ее оживившие. «Теперь все кончено, и слава Богу!»

Х.

Перед отъездом в Америку Яценко зашел к Дюммлеру. Он в последнее время редко видал старика. Знал, что дела «Афины» идут худо. К удивлению Виктора Николаевича, главной причиной полного упадка общества оказалась именно речь Николая Юрьевича. Она почти всех разочаровала и многих раздражила. Делавар говорил, что получено немало писем с отказами и даже с протестами. Новых же кандидатов было очень мало. «Затяга оказалась мертвой. Старик взял не ту линию, какую надо было, — пояснил Делавар с усмешкой. — Жаль, конечно, он возлагал на это дело такие надежды!»

На Avenue de l'Observatoire Яценко встретился с Дюммлером у подъезда его дома.

Старик возвращался с прогулки. На перекрестке остановился, передохнул, вынул из кармана письмо, хотел было еще раз прочесть адрес на конверте, но достать очки было слишком утомительно. «Нет, я правильно написал, — подумал он, опустил письмо в ящик и почувствовал удовлетворение: теперь их дело. Если я сегодня умру, она прочтет...» Николай Юрьевич пошел дальше очень медленно, сильно сторбив-

шись. Как бывает с очень старыми людьми, он физически вдруг сдал чуть не в несколько дней. Дюммлер опять не сразу узнал гостя, но когда узнал, с очень ласковой улыбкой пожал ему руку. «Весь как-то странно скрючен вроде телефонной трубки», — подумал с болью в сердце Яценко.

По лестнице Дюммлер поднялся с большим трудом, шагая с одной ноги.

— ...А я к вам звонил, удивлялся, что не заходите, — сказал он, тяжело опускаясь в кресло. — Вас никогда дома нет. Я соскучился, — говорил он со своей обычной приветливостью, теперь еще чуть более равнодушной, старомодной и гран-сеньорской. «Сейчас вид совсем такой, будто вынет из кармана табакерку да еще назовет ее *табатежкой*», — подумал Яценко.

— Да, я весь день на службе, а затем все какие-то дела, никому не нужные свидания или длинные скучные обеды. Возвращаюсь в такие часы, когда поздно было бы тревожить вас.

— Правда, я к вечеру теперь уж почти никуда не пожусь... В четырнадцатом веке состоялось, — начал он с расстановкой и на мгновение остановился, — в четырнадцатом веке состоялось официальное свидание германского императора Вячеслава с французским королем Карлом VI. Император был запойный алкоголик, а король тихопомешанный. И придворные никак не могли устроить встречу: когда у короля светлый промежуток, император совершенно пьян; когда император в виде исключения трезв, у короля припадок безумия... Так, очевидно, и мы с вами, — сказал, смеясь, Дюммлер. «Опять исторический анекдот, а я хотел поговорить *просто*», — огорченно подумал Яценко.

— Я приехал проститься, Николай Юрьевич. Послезавтра едем.

— Уезжаете в Америку? Рад за вас, огорчен за себя, — говорил старик. — А я погулял, то есть, точнее, посидел полчаса в Люксембургском саду. Каждый раз, как прихожу туда, подумываю, что, быть может, в последний раз: корабль уже вышел из Делоса... Не помните? Это из «Федона»¹: Сократ должен был умереть в тот день, когда из Делоса вернется посланный туда корабль... Не подумайте, избави Бог, что я срав-

¹ Книга Платона.

ниваю себя с Сократом, но «Федон» — именно та книга, которую мне теперь полагалось бы читать. Перечел. Да, многое хорошо, кое-что даже убедительно... Надо бы еще обойти старые кладбища. На некоторых лежат известные когда-то люди, с которыми или вблизи которых прошла жизнь. И их надо бы посетить в последний раз. Да, перечел «Федона»... У вас какая философия смерти? Верно, такая же, как у большинства людей: «никогда об этом не думать»?

— Я не знаю, кто и что мог бы предложить лучше.

— Можно найти лучше. Я и «Афину» основал для этого, — сказал Дюммлер. Виктор Николаевич смотрел на него удивленно. «Он все же несколько раз по-разному объяснял мне, зачем основал «Афину». Не только для этого, разумеется. У китайцев есть изречение: «Знай, что уже поздно, очень поздно». Стараюсь не испортить некролога, тех десяти строк, которые обо мне поместит «Le Monde»... В таких случаях принято утешаться: «что ж, пожил достаточно, знал хороших людей». Действительно пожил и знал, да утешение в этом слабое. Вот стал с немалым увлечением хвататься за всякие соломинки вроде загробного существования. По-моему, закон сохранения энергии предполагает бессмертие души, как вы думаете? Пьер Кюри погибает под колесами грузовика, куда же девалась потенциальная умственная энергия Пьера Кюри? Но, к сожалению, меня не очень утешит бессмертие души в какой-либо термической форме. Или хотя бы и в психической, да не *в моей*.

— Вы оставите после себя ваши книги.

— Хорошо бессмертие! Во-первых, их давно никто не читает. А во-вторых, и ценного в них мало. Это Вальтер Скотт на смертном одре говорил, что ни за что не желал бы выпустить ни одной строчки из своих писаний... Что ж, стараюсь верить и Платоновым доказательствам бессмертия. Помните, ученики Сократа на каждый его сильный довод говорят просто: «Да, это так», но когда его довод слаб, они с жаром восклицают: «Клянусь Юпитером, это верно!..» Деликатные были люди, деликатные... Изумительный человек был Платон, а все-таки до первых страниц «Иова», до Экклесиаста ему далеко. По силе и сжатости выражений с ними нельзя сравнивать и хоры «Царя Эдипа». Ведь там тоже, помнится, об этом, как во всех величайших произведениях литературы. «Экклесиаст» да еще,

пожалуй, «Война и мир» — единственные произведения, из которых нельзя выкинуть ни одной страницы.

— Из «Войны и мира» можно выкинуть философско-исторические главы.

— Я говорю, конечно, не о них. А по общему правилу, из любой книги можно без ущерба многое выкинуть, имейте это в виду. («У меня надо было бы, верно, выкинуть три четверти!» — подумал Яценко, подавляя вздох.) Что до бессмертия души... Нет, не стоит говорить. Ах, мой друг, как жаль, как жаль, что эта камера смертников так изумительно прекрасна!

— Париж?

— Земля вообще. Я сегодня старался *впитать* в себя всю эту красоту, «унести ее с собой». А куда унести? — спросил он, точно разговаривая сам с собой. — Ах, много у меня связано воспоминаний со всей этой частью Парижа!.. Сидел давеча в кофейной. Одно «утешение», тоже очень плохое: скоро и вспоминать-то будет некому... Простите, что говорю это: знаю, что неделикатно, а порою удержаться не могу. Да, да, жду смерти с *любопытством*, как говорил покойный друг мой Бергсон, так неудачно выбравший для нее момент: он, как вы помните, скончался в худшее время всей французской истории...¹ Я посетил его незадолго до его кончины... Скоро и мне предстоит удовлетворить это любопытство. Именно «нездоровое любопытство».

— Пишите воспоминания, — сказал Яценко. — Вы так много видели.

— Это правда. Видел многое и особенно многих. Следовало бы написать, конечно. Каждый человек может и должен написать воспоминания. Как бы изменилось, например, наше представление о Петре Великом, если б правдивые воспоминания оставил Меншиков. А автобиография Алексея Орлова, какая это была бы важная и страшная книга! Тогда, конечно, писать надо бы без оглядки на читателей. Вот как дирижеры: они, впрочем, принадлежат к худшим лицедеям искусства, хотя и дирижируют спиной к публике. Уж если писать настоящие воспоминания, то надо дать ключ к своей душе. Иначе это будет вроде знаменитой теоремы Ферма, к которой автор не дал ключа и ключ затерян.

¹ Анри Бергсон умер в 1941 году.

— Отчего же вы не пишете?

— Поздновато: именно не успею дать ключ... Старость сама по себе была бы еще не очень дурным возрастом: страстей больше нет, ума прибавилось, ошибок делаешь меньше... Вопреки принятому мнению, я сказал бы, что чем дальше уходят воспоминания человека, тем они постыднее... Да, в «маловременной жизни света сего» старость вполне можно было бы претерпеть не без удовольствия, если б не разные немощи и болезни. Ну что ж, с какого права требовать слишком многого? Коли есть какое-то бессмертие души, то, конечно, слава Богу. А нет, так желаю себе кончины по возможности не очень долгой. А то если буду долго болеть, то и ухаживать на третий день будет некому: в первые два дня будут забегать *почитатели*. Ведь у меня еще несколько осталось: как-никак, прожил очень долго *pro rege, lege, grege*,¹ имею, значит, право на почитателей по выслуге лет. И на похороны человек двадцать все-таки придет, если будет хорошая погода... Умер бы я в моем родном Петербурге, было бы иначе. Может быть, моим именем даже назвали бы какую-нибудь улицу... Правда, позднее, лет через сорок, ее переименовали бы в честь какого-нибудь другого покойника... Говорят, люди живут для двух строк в этом словаре, — сказал он с усмешкой, показывая на лежавшую на столе толстую книгу в розовом переплете с черным тиснением. — Обо мне эти две строки давно есть, помнится: «Дюммлер Николай, русский теоретик анархии, родился в Петербурге (теперь Ленинград) в... Впрочем, не скажу в каком году: это слишком страшно... В следующем издании будет добавлено: «умер в Париже в 1950 году».

— Почему же именно в 1950-м? Вы еще поживете.

— Какой-то 95-летний аббат представлялся Наполеону. Император пожелал ему дожить до ста лет. «Ваше Величество, зачем же ставить пределы милости Господней?» — сказал аббат... А я так стар, что сам себя в зеркало не вижу!

— Значит, вас зачислили в «теоретики анархии»?

— Так точно, — сказал Дюммлер. Он теперь говорил еще более обрывисто, чем прежде, точно у него и времени больше не было для разъяснения своих мыслей. — В этом отчасти верно только то, что я почти

¹ За закон, царя и паству (*лат.*).

всегда и почти во всем на стороне трудящихся и угнетенных. Не потому что мой отец и дед владели крепостными, а *хотя* они владели крепостными. Оба были не злые люди, но... Не все ведь и наши крестьяне были Платоны Каратаевы... Привилегированные люди в мире обычно теоретически допускают необходимость некоторых социальных реформ, но в душе думают, что в общем все идет отлично. Я этого никогда не думал: ни прежде, когда был богат, ни еще менее с тех пор, когда началась для меня эмиграция, «*cette indigne moitié d'une si belle histoire...*»¹. Верно, поэтому они меня сделали анархистом! Что за вздор! Помню, меня однажды выругала Луиза Мишель: «Какой вы анархист, Nicolas, и какой вы революционер! Вы скорее дилетант». Где это было?.. Все стал забывать... У кого-то из зажившихся на свете коммунаров? Может быть, у Вайана? А то у Рошфора в ту пору, когда он еще был левым? Покойная Луиза, милое было существо, именно и хотела меня ругнуть, а что это значит: дилетант? Буквально: *un homme qui se délecte*, наслаждающийся человек. Может быть, она и верно обо мне сказала. Мамонтов...² Кажется, я вам как-то говорил об этом моем друге? — спросил он, с беспокойством взглянув на Яценко: еще больше прежнего опасался, что все забывает. — Мамонтов прожил свой век и умер дилетантом.

— Я хотел бы прожить свой век, как вы, — с полной искренностью сказал Яценко. — И если это называется дилетантизмом, то пусть буду дилетантом и я.

— Вы? Полноте! Какой вы дилетант! У вас с Мамонтовым ни малейшего сходства нет. Он был прежде всего *homme à femmes*³, отчасти как я, но еще больше. Для него *весь* смысл человеческого существования был в женщинах, в любви, обычно, хоть не всегда, полуромантической. Теперь и жизнь не такая. Дилетанты были возможны в мое время, еще больше в мамонтовское. А у вас есть духовная серьезность, высокая душевная тесситура, какой у Мамонтова не было. И уж дилетантизма у вас нет никакого. Вас ведь и жизнь

¹ «Эта дурная половина столь прекрасной истории». — *Пер. с фр. автора.*

² Герой романа М. А. Алданова «Истоки» (1950), действие которого происходит в 1870-е годы.

³ Бабник (*фр.*).

заставила работать, вы мне говорили, чуть не с детства, с восемнадцати лет. Вы будете работать всю жизнь тяжело и плодотворно. Станете большим писателем, прославите свое имя.

— Вы забываете, Николай Юрьевич, что и я далеко не молод. Правда, у меня треть жизни была вычеркнута большевиками. Мне иногда так жаль, не говорю, жаль только себя, тем более, что ведь я все-таки вырвался из клетки на свободу, а мучительно жаль всех, которые в клетке остались, жаль, что пропала их жизнь, дарования многих из них.

— Кто это сказал: «Fate and the dooming gods are deaf to tears»...¹ Из России идет волна глупости... Я где-то читал, что при Гитлере какой-то мальчик-вундеркинд выучил наизусть «Mein Kampf». Мне иногда кажется, что и у нас в России происходит нечто сходное... Быть может, время поможет. Древние воздвигали статуи Времени: «тому, кто все исцеляет...» Жаль, что вы уезжаете, я так рад был нашим встречам и разговорам. Ваша невеста едет с вами?

— Да. Она тоже хотела нынче побывать у вас, но ее, апатридку², мучают теперь разными формальностями, буквально ни одной свободной минуты нет.

— Знаю, знаю. Нет ничего хуже и противнее, чем бегать по полицейским канцеляриям и присутственным местам. Это, пожалуй, еще тягостнее, чем посещать больницы. Передайте вашей невесте мой самый сердечный привет. Она теми своими качествами, которых у вас нет, будет вам и полезна в жизни. У вас нет локтей, Виктор Николаевич. Честолюбие, впрочем, у вас есть... Генерал Скобелев говорил какой-то французенке: «Vous serez ma Joséphine...»³ Лучшей жены вы не нашли бы. Очень, очень она мила, ваша Надя. Ее род красоты: Матисс, но не поздний, вроде той «Dogmeuse»⁴ с неправильным ракурсом руки. Ах, Матисс, — вздохнул старик. — Конечно, талант. Если бы я был физиком, я измерил бы его красную краску в единицах длины световой волны, кажется, они называются ангстремами? После нее цветущий мак представляется сероватым. А все-таки не очень это хорошо.

¹ «Судьба и осуждающие боги глухи к слезам». — *Пер. с англ. автора.*

² Апатриды — лица без гражданства.

³ «Вы будете моей Жозефиной...» (*фр.*)

⁴ «Спящая» (*фр.*).

Ренуар был последним *великим* художником... Да, передайте привет *Кате*¹ и женитесь на ней поскорее. У нее и характер очень милый... Для всей современной молодежи характерна чрезмерная любовь к «гип»². Это ничего хорошего миру не предвещает. И эта ваша Катя очень любит жизнь, свет, их радости... Очень они смешные и жалкие, нынешние молодые люди... А может быть, это у меня обыкновенное старческое брюзжание.

«Сдает Николай Юрьевич. Называет Надю Катей. Или он вспомнил кого-нибудь другого?» — грустно подумал Яценко.

— Что «Афина»?

Старик вздохнул.

— Тут и есть главное мое огорчение. Плохо дело с «Афиной». Ничего из этой затеи не вышло и не выйдет. Помнится, вы мне как-то сказали, что «Афина» вам напоминает Объединенные Нации. Или я это вам сказал? — Он засмеялся. — Сходство, конечно, небольшое. Вот как у вас в Соединенных Штатах бородатый донкихотообразный дядя Сэм современных карикатур не очень похож на бритого и никак не донкихотообразного американца наших дней. И тем не менее в обоих случаях какое-то малозаметное сходство есть. Даже и не разберешь, кто кого пародирует. И у них, и у нас собрались люди с бору да с сосенки, совершенно различные по взглядам. Я тянул к идее рационального переустройства мира, Тони к какому-то мистицизму, другие к коммунистам, и были, кажется, просто аферисты, которых называть не буду, так как это только подозрения. Нет, уж мне-то, во всяком случае, не удалась 1001-я по счету попытка послужить картезианскому началу в жизни, как не удалась она — в несколько большем масштабе — и покойному президенту Вильсону. А тут еще мое вступительное слово. После него мы получили много писем с заявлениями о выходе из общества, оно, мол, стало антибольшевистской организацией. Формально эти господа отчасти правы: я действительно не должен был говорить о коммунистах, поскольку мы общество аполитическое. Но не скрою, я сказал эти несколько слов не случайно.

¹ Катя — героиня романа М. А. Алданова «Истоки», жена Мамонтова.

² «Веселье» (англ.).

Я рассчитывал применять наименее заметный способ *отсеивания* нежелательных групп: незаметно освободиться от попутчиков, от мистиков, от всяких сомнительных людей. Да, боюсь, много ли тогда останется в «Афине» народу? Нет, плохо идет это мое дело. Кандидатов мало, денег мало, докладчиков мало, а главное, я сам слишком стар. Поздно хватился переделывать мир. Может быть, и для меня это была последняя зацепка в жизни. Все же буду продолжать, пока хватит сил... А тут еще уход Тони. Она тоже после моего доклада была сначала со мной очень холодна. Я не удивился: она ведь левая до нестерпимости. И вот, представьте, на днях явилась ко мне, говорит, что была в восторге от моего выступления, что она ненавидит коммунистов! Тут же сдала мне кассу и взяла бессрочный отпуск: получила какую-то работу в провинции. Кажется, что-то с ней творится нехорошее. Уж не сходит ли медленно с ума? В ней теперь есть страшная привлекательность полусумасшедшей. Вдруг она именно на «Афине» сорвала душу? Всякое бывает.

— Ну о ней я не очень жалел бы. А Делавар уезжает с нами в Америку.

— Знаю, он сообщил. Денег на дом «Афины» он не дал... Хорошее имя Делавар, оно так и просится для авантюра. А имя важная вещь. Например, человека с фамилией *Xaintrailles* и представить себе трудно иначе как рыцарем и сподвижником Жанны д'Арк... Вот вы в пьесе изобразили финансиста-циника. И вышло, извините меня, не очень своеобразно. Делавар, видите ли, делец-идеалист. Он и в самом деле идеалист, но не так, как он думает. Да, так передайте невесте мой сердечный привет. Ведь она поступила на службу к этому Альфреду... Как его? Кстати, вы не говорили с ним об «Афине»?

— Говорил. Слышать не хотел и даже испугался. «Помилуйте, говорит, зачем мне греческая богиня! Я, говорит, своим еврейским Богом, в общем, доволен, хотя он с нами в последние годы не церемонился. И тайных обществ, говорит, я терпеть не могу», — сказал, смеясь, Яценко. — Нет, он денег на это не даст. Но вот я, Николай Юрьевич, хотел перед отъездом внести свою лепту и привез вам чек на пять тысяч, вот он.

— Что ж, я не отказываюсь, спасибо. Понимаю, и вы разочаровались в «Афине» или, вернее, никогда не

были очарованы? А молодежь все идет к коммунистам... Говорят, коммунисты исправятся! Не могут они исправиться. Обман и террор зародышевые болезни большевизма, а зародышевые болезни неизлечимы.

— Чем же, по-вашему, все это кончится?

Дюммлер развел руками.

— Я готов был кое-как предсказывать до того, как разложили атом. Теперь ни ума, ни фантазии у меня больше не хватает.

— Так скажите, Николай Юрьевич, лично обо мне: правильно ли я поступил, уйдя из Объединенных Наций?

— В кинематограф уходить не надо было. Эти Пемброки и Делавары, как школа меркантилистов XVIII века: те деньги привлекают к промышленности, а эти к литературе. Вы это преодолете. Повторяю, отчего бы вам не перейти в ЮНЕСКО? Вдруг это теперь последняя надежда человечества: работа элиты над просвещением и воспитанием людей? Что бы там ни говорили скептики, это *настоящее*. Видите ли, в мои годы, да еще будучи stateless¹, можно расценивать события и идеи беспристрастно. Не знаю, не знаю, кому принадлежит будущее. Весь мой жизненный опыт убеждает меня в том, как был прав президент Линкольн. Он сказал: «I claim not to have controlled events but confess plainly that events have controlled me»². Мы говорили о Тони. Она, видите ли, «бескрайняя». «Русская бескрайность»! Странно, на моей памяти почти все было торжеством случая... Я знал на своем веку разных русских политических деятелей. В доме родителей я встречал сановников старого строя. Мать моя была одной из очень немногих дам, у которых в Петербурге бывали и правые, и левые. Из министров царского времени выдающимся человеком был Лорис-Меликов. Мамонтов как-то назвал его «великим человеком». Что же из этого? И более великие люди в конце концов были «человечки». Лорис принадлежал к большой русской государственной традиции, которая началась с Ордын-Нащокина, шла через верховника Голицына, через Сперанского, через него самого и

¹ Без гражданства (*англ.*).

² «Я не претендую на то, что я руководил событиями. Откровенно признаюсь, что события руководили мною». — *Пер. с англ. автора.*

кончилась на графе Витте. Они отнюдь не были глубокими мыслителями. Они были просто умные люди с большим житейским опытом, исходившие из простой и как *будто* бесспорной истины: тысячи лет из истории народа не вычеркнешь. Поэтому они и хотели *починить* нашу вековую монархию. Лорису это могло удасться, так как Александр II сам так думал и был лучшим из русских царей. По роковой случайности, по одной из многочисленных роковых случайностей истории это дело навсегда сорвалось 1 марта.

— Я думаю, вы гораздо лучше знали революционеров, а они много интереснее, — сказал Яценко.

— Именно потому, что я их знал много лучше, я не уверен, что они были *много* интереснее. Вдобавок у них действовал, если можно так выразиться, естественный подбор наоборот. Лучшие из них погибли, властью овладели худшие... Тоже *могли* не овладеть, но, кажется, ни у кого в истории не было такого дьявольского счастья, как у большевиков. Вот они и доказали, что Сперанские, Лорисы, Витте ошибались: из истории отлично можно выкинуть тысячу лет. Конечно, некоторая историческая традиция была и у них, но, что бы там ни говорили иностранные социологи, все наши классические писатели, музыканты, художники, за исключением разве двух или трех, были и в жизни, и в политике никакие не бескрайние, а очень умеренные люди: Ломоносов, Пушкин, Гоголь, Тютчев, Тургенев, Гончаров, Чехов, Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков. И быть может, они не хуже выражали русскую душу, чем Тони со Сталиным. Посмотрим, что создадут новые властители. Посмотрим, как они кончат. Вы помните, кто-то наметил человечеству путь: «from humanity through nationality to bestiality»¹. Я в такой путь человечества не верю. Мы верили в прямо противоположное, и я продолжаю верить. Но жизнь нас оставила в стороне от большой дороги истории. Нам с полным успехом вставляли палки в колеса и реакционеры, и коммунисты. А мы не вставили в колеса палок ни тем ни другим, хотя это было нашей исторической задачей... Посмотрим, как справятся на Западе... До сих пор они справлялись не очень хорошо, но и не очень худо. «Либералы» выиграли войну, и даже не одну войну, а обе. Клемансо и Чер-

¹ «От гуманизма через народность к скотству» (англ.).

чиль ни в умственном, ни в волевом отношении ничего не теряют по сравнению с диктаторами самого хорошего, самого модного образца. Были выдающиеся люди среди нас и в России, но они вышли на арену в гораздо менее благоприятное время, чем англичане или американцы. А время «выхода на арену» надо выпрашивать у Господа Бога осмотрительно. Что, кстати, нам *больше* ставится в вину: то ли, что мы не умели проливать чужую кровь, или то, что мы не хотели проливать ее? Что ж делать, мы родились в один из кратких *lucidus intervalla*¹ человечества, точнее, в единственную цивилизованную эпоху в его истории. Кажется, Вирджиния Вульф сказала, что человеческая природа изменилась в 1910 году. А она, голубушка, человеческая природа, решила с блеском показать, что и не думала она ни в каком году меняться. И самое страшное в ней, пожалуй, лицемерие. Мы все как те восточные проститутки, которые из стыдливости носят чадру. Была, была доля правды в том, что говорил мне один друг молодости: из джунглей вышли, в джунгли вернемся. Только теперь джунгли называются «освобождением людей от капиталистического рабства». Но это вопрос номенклатуры и педагогики. В новейшей истории большевики первые сказали миру, что с человеком можно делать все, решительно все, что угодно. Для известного исторического отрезка времени они правы. Однако я от матери унаследовал недоверие к скептикам и мизантропам. Конечно, две неслыханные в истории бойни на протяжении четверти века не могли иметь *happy ending*². Что вы сказали бы, если бы Шекспир закончил «Макбета» веселеньким балетцем?

Яценко вздохнул. Ему очень хотелось поговорить о себе, о своих планах, о своей книге, о том влиянии, которое оказал Дюммлер на ход его мыслей. Но он видел, что это не удастся: его собеседник был слишком поглощен своими мыслями. «У нас общая беда: и ему, и мне *не с кем* говорить». Впрочем, старик сам подумал, что не дает гостю сказать слова.

— Простите меня, — сказал он, — в последнее время я все больше злоупотребляю монологами, и, главное, как будто бессвязными. Этому я тоже, кажется, научился у Мамонтова. Он в молодости имел на меня большое влияние, хотя начал я жизнь почти с

¹ Период просветления (*лат.*).

² Счастливая развязка (*англ.*).

ненависти к нему. Я подражал ему во всем. Он часто бывал многословен, но бывала у него и *imperatoria brevitatis*¹, мало свойственная ораторам и *causer*'ам. Боюсь, однако, что я заговариваюсь: ничего не хочу уносить с собой в могилу, а унесу много... В мои годы нужно тревожно на себя оглядываться: не выжил ли ты, братец, из ума? Что, я нынче не наговорил глупостей?

— Нет, я не заметил, — сказал, смеясь, Яценко. — Кем же он все-таки был, этот Мамонтов?

— Никем. Он был умнее многих прославившихся людей, но ничего из него не вышло. Впрочем, он и умер, по глупому выражению, «безвременно»... Французский король спросил герцога д'Юзес, отчего в их роду не было ни одного маршала. Тот ответил: «Государь, мы не доживаем: нас убивают на войне раньше». У Мамонтова были все шансы стать маршалом, если бы при своих взглядах он мог за что-либо воевать... А я вот и жил до смешного долго, но маршалом не стал. Жаль: хотелось бы узнать, как это себя чувствуют маршалы. Впрочем, вы Мамонтова не знали, и он вам совершенно не интересен. Как, вероятно, и все то, о чем я говорю.

— Мне чрезвычайно интересно все, что вы говорите, Николай Юрьевич.

— Вы очень любезны, — сказал Дюммлер, — Вы спрашивали об «Афине». Я и бываю там теперь редко, это помещение печально, как на море заколоченная на зиму гостиница... Очень милая, ваша невеста, очень, — неожиданно сказал он, внимательно глядя на Яценко. — У нее могут быть некоторые небольшие недостатки, но ведь надо помнить и то, через какую школу она прошла. Ведь она советское дитя. Тут снисходительность обязательна.

— Снисходительность? — с недоумением спросил Виктор Николаевич. Ему было непонятно, что хотел сказать старик и зачем он это сказал.

— Ну что ж, счастливого вам пути. Простите, что нагнал на вас тоску. Это мне, в общем, не свойственно. Как ни правдоподобно теперь, к несчастью, что мир погибнет, мне не хочется расставаться с «просветленным состоянием», в котором прошла последняя и, несмотря на просветленность, худшая часть моей жизни. Просто душа этого не приемлет. После Дюнкерка и взятия Парижа теоретически все было почти кон-

¹ Царственная краткость (*лат.*).

чено, но душа Черчилля и де Голля этого не приняла. Они все поставили на «почти», на «а вдруг» и спасли мир тем, что действовали вопреки рассудку. Тогда, правда, можно было надеяться на глупость врага, и эта надежда именно и оправдалась. На что надеяться теперь? Смысл жизни только в том, чтобы помогать *tuche* за счет *moiga*. И тут ни от какого орудия воздействия отказываться нельзя: ЮНЕСКО так ЮНЕСКО. Кинематограф так кинематограф... Наша главная надежда, наша единственная надежда: на «искорку». Какое счастье, что в душу человека заложена эта непонятная любовь к свободе и к правде! Искорка эта слаба, она еле заметна, она часто *почти* гаснет, она исчезает в одном месте и проскакивает в другом, но в ней есть своя огромная сила. Миру теперь нужно возрождение или, быть может, создание духовных ценностей, которых было мало у царей и революционеров, у Бисмарков и у Марксов. Уж лучше иметь спорные, пусть даже ошибочные, но не гнусные духовные ценности, чем не иметь никаких. Для меня есть одна ценность, и по сей день совершенно бесспорная — это свобода. Прежде я верил еще в другую, в человеческое достоинство, теперь, после всего пережитого, в нее верю меньше. Эти полторы ценности предполагают еще многое: не задавливать людей трудом, помнить, что и бедным людям хочется жить. Я теперь смотрю на жизнь немного со стороны. Сахарина, однако, терпеть не могу и в жизни, и в искусстве, и в философии... Прежде я еще мог писать... А теперь я — как люди, которые потерпели крушение и из спасательной лодки смотрят на встречный пароход. Я даже и сигналов не подаю. Пароход не видит и проходит мимо... До новых общечеловеческих катастроф я не доживу, передо мной уже вплотную *tuche*, а *moiga* в виде удара или рака предстательной железы: вопрос только в том, что из двух придет раньше. Я уж предпочел бы воспаление легких... А то будет один из тех несчастных случаев, которые так часто происходят со стариками — упал, ушибся — и укорачивают их жизнь или умирание. Был человек — и нет человека. Смешно и гадко: меня иногда в мои годы еще тянет на какую-то работу! Случается, по воскресеньям злюсь, что нет почты. А иногда, напротив, думаю: «Слава Богу, до понедельника не будет ни одного письма». Вы видите, я «раздираем противоречиями», как пишут умные литературные критики о разных персонажах романов.

— Зачем же... — начал было Яценко, но Дюммлер перебил его:

— Сегодня я проходил мимо одного дома... Там жила женщина, которую я когда-то любил... Нет, все-таки неужто ничего не останется?..

У него вдруг выступили на глазах слезы. Он встал и обнял Яценко.

— Прощайте, дорогой мой, мы больше никогда не увидимся. Помните, что надо *все-таки* принимать жизнь. Часто говорят: «Начинать все сначала? Нет, ни за что!» А я с великой, с несравненной радостью все начал бы сначала: опять старый Петербург, опять наш дом, и все «продолжение следует». Все принимаю, все! По завету Данте: «*Alla Fortuna come vuol soi pronto*»¹.

— И я был бы готов начать все сначала. Прошел бы снова через страшные советские годы, лишь бы снова увидеть Россию времен моего детства... И не что-либо там важное, основное... Я иногда вижу перед собой уголок Летнего сада — и на глазах выступают слезы. Тургенев где-то описывает природу «великорусской Украины». Мой отец был родом из тех мест, и он полшутливо говорил, что он не простит Тургеневу двух слов в этом описании: вишни будто бы там были «жидкие». Как сейчас помню, отец говорил: «А на самом деле таких вишен нигде в мире не было и не будет!»

— Да, это у нас у всех. К таким вишням и сводится понятие родины... На прощание же я хотел бы сказать вам одну вещь. Нет, не одну, а две. Первое: служите людям *все-таки*, служите добру *все-таки*. У вас в душе есть холод, который скажется на ваших произведениях. А в литературе, как в старинной энкаустике, качество достигается только прокаливанием красок. Прокалите вашу душу. И второе, помните пушкинский стих: «На свете счастья нет, а есть покой и воля...» В мою память повторяйте этот стих себе иногда и вы... Больше же всего берегайте независимость своей мысли. В каждом художнике сидит льстец Рубенс, хотя бы он угождал не власть имущим, а толпе, настроенной против власти, и угадывал, что ей нужно. Настоящие писатели и оплакивать общественные бедствия, человеческое падение должны не так, как все, а по-своему. Вот как во Франции одни короли носили не черный, а фиолетовый траур.

Яценко вернулся домой расстроенный. Ему иногда,

¹ «Я готов к Судьбе, чего бы она ни пожелала». — *Пер. с итал. автора.*

в добрые его минуты, приходило в голову, что с каждым человеком надо всякий раз расставаться так, точно его снова в жизни не суждено увидеть. Теперь же и в самом деле было очень вероятно, что с Дюмлером он никогда больше не встретится. «А в душе он у меня засел навеки. Если моя книга окажется романом, я его в ней выведу...»

Дома его ждала Надя, радостно возбужденная приготовлениями к отъезду. Он был утомлен и хотел отдохнуть, но оказалось, что это невозможно: надо было тотчас идти обедать, после обеда Надя должна была куда-то уехать.

В ресторане он сказал ей, что чувствует себя так, точно вернулся с похорон.

— Николай Юрьевич, конечно, прекрасный человек, — сказала Надя, — но все-таки, право, тебе надо встречать людей помоложе. Ведь он вдвое старше тебя. Чем мы виноваты?

— Да я тебя и не виню. К тому же ты у него и не была... Он говорил, что твой жанр красоты Матисс.

— Матисс? — с тревожным изумлением спросила Надя. — Да ведь у Матисса не женские лица, а какие-то перекошенные рожи!

— Не перекошенные, а «деформированные», — сказал Виктор Николаевич, засмеявшись. — Надо говорить «деформированные». И не все. И ты должна быть в восторге: это самое лучшее, что можно сказать о женщине.

— Правда? Сам-мое лучшее?

— Сам-мое лучшее.

— Я страшно рада. Ты ему передал мой сердечный привет? Я ему еще позвоню завтра утром, он страшно милый... А я сговорила с «Америкэн Экспресс», они приедут за нашими вещами накануне отъезда. И предствавь, очень недорого: они считают за багаж по кубическим метрам... Не забудь, кстати, завтра купить ярлычки, у меня вышло восемь штук багажа. Это очень много?

— У Греты Гарбо, верно, не восемь, а тридцать восемь, — сказал Яценко и подлил себе вина. «Да, это и есть жизнь... Конечно, снисходительность обязательна, но мне и снисходительности не надо. Я люблю ее, — подумал он. — Я просто пропал бы, если бы она умерла или безнадежно заболела. Мы волнуемся обо всяких пустяках, когда большие несчастья так неизбежно близки, так страшно близки».

XI.

Сказали, что выйти из подземной дороги надо на площади предместья, затем повернуть направо, идти до самого конца широкой улицы, а у виллы номер 24, где в палисаднике будет стоять детская колясочка, позвонить три раза подряд, очень быстрыми короткими звонками. В руках держать зеленый кулек с апельсинами.

Тони казалось, что ее решение принято. Казалось также, что воли у нее больше нет: все решит судьба. Она побывала несколько раз у человека, которого в пору Résistance называли Блондином. Он не был ни французом, ни русским, она не знала, кто он такой; о нем в последнее время говорили таинственно, и это всегда влекло ее к людям. Он очень заинтересовался ею лишь тогда, когда узнал, что у нее есть виза в Соединенные Штаты. Дал ей открытку с каким-то вздором, все подробно объяснил; она дома записала, вызубрила наизусть и сожгла записку. Думала, что теперь уже поздно было бы отказываться, но думала также, что если б она отказалась, то никто не обратит особенного внимания: значит, не решилась, черт с ней. Решила, что если ее примут, то она навсегда бросит наркотики. «Тогда будет другой смысл жизни, а épreuves¹ им не нужны».

Незадолго до этого дня она побывала у Дюммлера. Он, как всегда, был очень любезен и ласков, но поглядывал на нее с беспокойством и спросил, не больна ли она. «О нет, я совершенно здорова», — ответила Тони. На столе у него лежала немецкая книга «Мир как воля и представление». Слово «воля» ее заинтересовало, она попросила дать ей почитать.

— Это очень трудная книга, — сказал старик, — но, разумеется, возьмите. А я думал, что вы преимущественно читаете стихи. — Ему казалось, что стихи на нее действуют как орган на полумузыкальных людей. «Понимает ли она что-либо в поэзии, это другой вопрос. В известном смысле это, впрочем, лучше и реже, чем понимание. Вероятно, она без стихов и не могла бы жить. Поэты сами не знают, что они могут сделать с такими людьми». Тони скоро увидела, что взяла книгу по ошибке: в ней ничего не было о потере воли. Читать было не легче, чем тот учебник радиотех-

¹ Отбросы (фр.).

ники. Вдобавок и в книге Шопенгауэра были рисунки, какие-то схемы, полукруги, шарики с надписями: «*somptuosum*», «*damnosum*», «*periculosum*»¹. В кровати поздно ночью она все смотрела на рисунок и даже не старалась понять. Ей мучительно хотелось морфия. Так как твердо решила *бросить* тотчас после свидания на вилле, то приняла тройную дозу. «Под конец не все ли равно?»

На следующий день у нее с утра болела голова. Тони сварила себе кофе и не прикоснулась к нему. Праваца шприц лежал в стальном ящике. Она несколько раз подходила к ящику, один раз отворила его, там теперь лежали поддельные бриллианты. Вспомнила Гранда, подумала, что любила его, и почувствовала почти физическую тошноту. «Нет, нельзя впрыскивать так рано. Оставлю на ночь, иначе и не засну». Затем в памяти, как у нее часто бывало, образовался провал: позднее не помнила, что делала все утро, где завтракала. Почему-то провал относился лишь к половине дня. Под вечер она убрала храм. Опять много пыли скопилось между змеями статуи. «Как я могла серьезно верить во все это? Впрочем, я не очень серьезно и верила». Долго смотрела на одну из змей и вдруг отдернула руку с тряпкой. «Кажется, книга не лжет. Уже начинаются галлюцинации!..» Выпила воды, закончила уборку, выдвинула ящик. Там оказался звонок Кут-Хуми. Она позвонила, послушала, сначала с усмешкой: «Да, Гранд был прав: все дурачье...» Потом галлюцинация возобновилась. Она бросила звонок, прикрыла змею тряпкой, опять отдернув руку, села в кресло, у нее началось сердцебиение. «Звонок надо будет унести... А то оставить его Дюммлеру в подарок? Пусть любитесь своим детищем!.. Все дурачье. И все мерзавцы!..»

Ложась спать, она проверила открытку. Осматривала ее много раз, то отклеивала, то снова приклеивала негатив — знала, впрочем, что он сам по себе значения не имеет. В девять часов она вышла из дому, купила апельсины. Вернувшись домой, сделала кулек, зеленая бумага была ею куплена давно. Подумала, что в лавках никогда фруктов в зеленую бумагу не завертывают. «Скорее это может вызвать подозрение?.. Но им виднее, не их же учить! Обыкновенный кулек может быть у кого угодно, поэтому они и велели сделать

¹ «Дорогостоящий», «гибельный», «опасный» (лат.).

зеленый». Затем впрыснула себе огромную дозу морфия и легла спать, подумав, что выехать нужно пораньше, вдруг будет *rappe*¹ в метро. Засыпая, думала о своей прабабке-ведьме. «Да, она не так глупо прожила жизнь. Для *этого* стоило!..»

В подземной дороге осматривалась, нет ли за ней слезки, и сама себе ответила, что *пока* слезки быть не может. «Позднее — да. Позднее надо будет всегда осматриваться, следить за каждым своим шагом, за каждым идущим по улице человеком... Нынешняя жизнь кончена — и слава Богу!» Опять перебирала в памяти, *что* там надо будет сказать, — все помнила твердо. «Какие могут быть неритуальные вопросы? Верно, спросят, как и мы спрашивали, зачем я к ним иду?» Хотя ей теперь было смешно, что она увлеклась таким вздором, как «Афина», Тони думала, что ритуал этого общества облегчил ей переход к коммунистам. «До «Афины» я об этом и не думала. Но если Дюммлер прав, если нет причин считать лучшим один способ освобождения, а худшим другой, если нет общего пути к счастью, то я права. Я нашла этот путь. Чем он хуже других? Во всяком случае, он чище, чем мой *роман* с Грандом. Вот кто типичен для их мира, а не Дюммлер!.. И слово у *них* какое гадкое: роман!» Теперь под *ними* она разумела то коммунистов, то антикоммунистов.

Проходя по длинному коридору к другому пути, вдруг почувствовала себя совсем плохо. На перроне опустилась на скамейку. Апельсин выпал из кулька и покатился, на нем мелькнула надпись «*damnosum*», она чуть не вскрикнула, точно апельсин мог ее выдать. Подняла апельсин, оглядываясь по сторонам, положила его в кулек, тяжело дыша. «Так и есть, галлюцинации!..» Представила себе рисунок в немецкой книге, и опять, как тогда в учебнике радиотехники, он перешел в непристойную картинку с Грандом. «Вот, вот, схожу с ума! Надо торопиться, потом и к *ним* нельзя будет! И ничего не останется, ничего, кроме дома умалишенных...»

Она взглянула на часы, пропустила один за другим два поезда, села в третий и вышла на указанной ей станции. На лестнице остановилась, взявшись крепко рукой за перила. «Нет другой дороги... А если дегенератка, так тем более нет другой дороги!» — мысленно

¹ Пробка, авария (*фр.*).

повторяла она. Посмотрела на часы: всего двадцать восемь минут третьего. «Может быть, мои идут неверно?» Спустилась к кассе, над которой были часы. Прийти надо было — особенно в первый раз — совершенно точно. «Отстают на две минуты. Запомнить: на две минуты. Эта кассирша, верно, воровка...» Тони и в себе, и в других больше ничего не видела, кроме мерзости, и это доставляло ей наслаждение. «Я пропала, а вам и пропадать незачем, вы от природы мерзавцы, — думала она, с ненавистью глядя на спускавшихся в подземную дорогу людей. — Эта дылда похожа по фигуре на обернутый шелком сосновый пень. Куда-то торопится, верно, рассказать гнусную сплетню, заранее восторг на лице... Этот иностранец убежден, что все женщины от него без ума, и галстучек какой нацепил, купил на распродаже в универсальном магазине... Этот господин с ленточкой несколько лет тому назад восхищался фюрером, делал делишки с немцами, а потом пожертвовал сто франков на Резистанс и всех уверяет, что он с первого дня, с самого первого дня... Кого этот городской сегодня избивал?.. Они это называют *passer à tabac*¹, и слово какое игривое. А эта, тоже иностранка, ищет, кому бы продаться... Все продажны, все», — думала она. И тут же ей вспомнилось, что и Анне Карениной все точно так же кажется мерзким в ее последний день, перед самоубийством. «Но если я вспоминаю Анну, то, значит, я не сплю и не брежу?.. Нет, это ничего не доказывает: литература тоже часть нашей жизни, и люди из знаменитых романов тоже нам сняты вместе с людьми, которых мы знали. Для меня чувства Лермонтова и Языкова всегда были реальнее, чем мои собственные чувства... Быть может, наоборот, наяву я не стала бы думать мыслями Анны?.. Анна покончила с собой, а я, напротив, начинаю новую жизнь. Или же мне в морфийном бреде кажется, будто я что-то начинаю, куда-то иду, а я сплю на своей постели?.. Да, о чем же я думала? Об этих людях, которых я будто бы ненавижу, как их ненавидела Анна Каренина. Нет, я их не ненавижу, они просто для меня не существуют. Конечно, они ненавидят нас, коммунистов. Если правда, что я коммунистка, если я в самом деле иду к ним, а не грежу. Они называют свободой рабство, в котором все они находятся у денег. Ничего, придут сюда коммунисты, они все перекрасят, кто на

¹ Поколотить (фр.).

следующий же день, кто через месяц. И сам Дюммлер, если доживет, перекрасится, он, верно, только месяца через два и с достойным письмом в редакцию «Правды»: признает свои заблуждения, найдет философское объяснение и расскажет исторический анекдот...»

Вправо уходила широкая красивая засаженная деревьями аллея. Проверила название — да, та самая, — нашла сторону четных номеров. «Эти «аристократы» дети лавочников и нажились на войне... Еще десять домов... Еще восемь. Пока могу отказаться. А когда дойду до того палисадника, то уже нельзя будет... Нет, можно будет и тогда, нельзя будет, только когда позвоню. Три раза подряд, быстрые короткие звонки, помню, помню, я все-таки еще не совсем сошла с ума... Чепуха эти *damnosum* и вся эта немецкая книга, которой Дюммлер будто бы так восхищается... Да, и он тоже хорошо... Тридцать четыре минуты третьего. Тридцать четыре плюс две: тридцать шесть. Раньше тоже не следует приходить, и гулять около той виллы нельзя: он еще, может быть, будет подглядывать из окна, следить, как я себя веду... «Не здесь ли продается детская колясочка?» Спросить очень спокойно, чтобы не дрогнул голос. И надо, чтобы была *приветливая улыбка*... И все для себя замечать... Ничего, если он заметит, что я все замечаю. Это даже лучше: оценят...»

Затем долго сидела на скамейке, чтобы не прийти слишком рано. Думала о Гранде. «Конечно, он вор, самый настоящий вор. И я знала, что он на все способен. Да, да, совершенно ясно, как это было. Я ему в последний раз денег не дала. Если б были, дала бы, но их не было. Делавар отказался купить дом. Из афер ничего не вышло. Может быть, он проигрался или выдал чек без покрытия, кажется, это так у них называется. Вот он решил и на простую кражу. Вероятно, он это сделал тогда, когда я с Фергюсоном ездила в Страсбург. Я тогда оставила камни в ящике, он взял их и заказал поддельные. Риска не было никакого, он знал, что я жалобы не подам и не могу подать: надо было бы объяснить, откуда эти бриллианты и почему я их пять лет не отдавала властям, и почему я ходила их оценивать, и что это за стальной ящик в стене, и что это за помещение, и какая «Афина». Я сделала бы посмешищем и Дюммлера, и Фергюсона: вот какого они достали *Хранителя Печати!*.. Зачем он вставил вместо настоящих камней поддельные? Он мог просто унести ожерелье. Но он надеялся, что я скоро не про-

дам и не замечу подделки. Через год следы были бы потеряны, я подозревала бы не его, а кого-нибудь другого. Все-таки ему, верно, не хотелось, чтобы я подозревала его в воровстве. В чем угодно другом, но не в воровстве, не в таком воровстве... Он меня немного любил и очень преувеличивал мою любовь к нему, думал, что я и *поэтому* на него не донесу... Где он теперь?» Тони посмотрела на часы. Было без шести минут три. «Еще шесть минут — и все будет кончено».

Она сделала над собой усилие: в последний раз припомнила, перебрала свои доводы: «Капиталистический строй идет к концу, он теперь только плодит разных Грандов, через десять лет с ним будет кончено. Будущее за коммунистами, они создадут такой мир, где никаких Грандов не будет, где человеку незачем будет быть Грандом. Все верно, все правильно...» Но эти доводы теперь ничего, кроме смертельной скуки, у нее не вызывали, и ее почти утешало, что, быть может, она бредит. «Я не всегда так думала. А что, если эти мысли во мне развивались по мере того, как морфий разрушал мою душу? Да, я несчастная ёраве... Однако миллионы людей разделяют эти взгляды. Если эти миллионы людей ошибаются, то не стыдно ошибиться и мне... Стыдно только одно: то, что я приняла окончательное решение лишь тогда, когда жить мне больше стало нечем и не для чего... Фергюсон звал, хотя и не очень звал. Вероятно, догадался, что я морфинистка, и теперь замечает следы. Он стал бы меня «отучивать», нет, благодарю. Если отучусь, то без его квакерских наставлений... А вдруг они меня именно к нему пошлют? Нет, он больше над бомбами не работает, и я не поеду, я не раба. Им будто бы именно рабы нужны, это и называется партийной дисциплиной... Если б не безвыходное положение, если б не то, что я ёраве, я еще, быть может, подумала бы... Они обещали дать денег и на билет, и на расходы в Америке. Конечно, всегда и во всем деньги! Мы, все мы, стараемся это звуалировать, но, так или иначе, хоть в глубине, хоть отдаленно, хоть косвенно, — деньги. Я и иду к тем, кто власти денег положит конец, — сказала она и снова почувствовала невообразимую скуку, даже широко зевнула. — Вот показалось солнце... Странно, все эти гуманные, коммунистические идеи не действовали, а погода действует... Может быть, так тоже при морфии? Врет книжка! От судьбы не уйдешь. Я ведь знала, что все будет именно так, как было».

Она почувствовала прилив бодрости, быстро встала и пошла дальше. Говорила себе, что идет как лунатичка, как замороженная, что не идет, а ее *туда* несет какая-то сила, влачит какой-то магнит.

Но говорила она это себе неуверенно, да и почти не помнила, *как* туда шла. Помнила только прилив бодрости, а бодрость и отчаяние постоянно у нее сменялись уже давно.

На калитке виллы был номер: тот самый. В палисаднике стояла колясочка. Дом был как дом, и из окон как будто никто не смотрел. Тони позвонила три раза. Чуть не позвонила в четвертый — тревожно подумала, что могла позвонить. «Теперь все кончено! Нет возврата!..» Послышались шаги. Дверь отворил высокий брюнет с блестящими черными глазами. У него в руках была книга в желтом переплете. Тони впилась в него глазами. «Господи! Где я его видела? Где? Когда?..»

— Что вам угодно, сударыня? — ласково спросил он, скользнув взглядом по кульку, который Тони держала не совсем естественно, точно священный предмет.

Все происходило, как было сказано, все было в порядке, но Тони тряслась мелкой дрожью. «Так было и с ведьмой».

— Не здесь ли... Не здесь ли продается детская колясочка?

Голос ее все же дрогнул, как ни часто дома она репетировала эту фразу. Забыла и о приветливой улыбке. «Не примут!» — со страстной надеждой подумала она. Но черный человек, вероятно, привык к тому, что приходившие к нему люди волновались.

— Да, здесь. Войдите, пожалуйста, — сказал он по-французски, с довольно сильным твердым акцентом, как будто в самом деле балканским или чешским. «Во всяком случае, не русский», — почему-то с удовлетворением подумала Тони.

Они вошли в переднюю.

— Вы хотите купить колясочку? Она стоит 2 200 франков.

— Да, я хочу купить колясочку, но это для меня слишком дорого, я могу дать 1500, — сказала Тони. Ритуал кончился. Черный человек улыбнулся и ввел ее в другую комнату, тоже просто убранную. «Все самое обыкновенное! Как странно!» — подумала Тони.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал он ободряющим тоном. — Ну что ж, значит, все в порядке. Об условиях вам сказали?

— Да.

— Я вам заплачу за месяц вперед. Вы принесли то, что было сказано?

— Принесла, — поспешно ответила Тони и вынула трясушимися руками открытку. «Кончено!.. Как все просто! Как все страшно просто!.. На открытке было написано по-французски: «Сердечный привет и мои лучшие пожелания». Высокий брюнет внимательно осмотрел открытку и поскоблил ногтем вторую строчку между словами «мои» и «лучшие». Крошечный, совершенно незаметный негатив упал на его ладонь.

— Приклеено не очень хорошо, — сказал он. — Вы, верно, купили не тот клей. Но этому научиться легко, а кроме того, мы теперь почти не пользуемся микрофотографиями, это слишком хлопотно. Вам что дали?

— Страницу из Виктора Гюго, она была разделена на пятьсот групп...

— Я не сомневаюсь, что вам дали вздор, но вы не должны были говорить.

— Ведь вы меня спросили.

— Моя обязанность была спросить, а ваша — не отвечать. Но я понимаю, что вы могли ошибиться. Мы слышали, что вы знаете радиотехнику? Об этом с вами поговорят позднее... Ну хорошо, теперь мы можем съесть апельсины. Надеюсь, вы купили сладкие, а то я кислых не люблю, — сказал, смеясь, высокий брюнет. — Хотите рюмку портвейна? Выпьем, познакомимся поближе, — приветливо сказал он и протянул ей руку. Рука у него была совершенно холодная.

Больше она ничего не помнила. Тысячу раз себя затем спрашивала, было ли это, или же все ей грезилось. То казалось, что *было*, то казалось, что грезилось. Теперь грань между жизнью и бредом у нее потерялась совершенно.

Часть пятая

I.

Из Парижа в Гавр все ехали вместе. Разделение по богатству произошло лишь при посадке на пароход. Делаваара с почетом отвели в его каюту, обычно снимающуюся для коронованных особ или для министров, путешествующих на государственный счет. Она состояла из трех комнат с ванной и называлась «Фонтенбло». Кюота Пемброка была тоже хороша, но гораздо менее роскошна. Это было Альфреду Исаевичу немного досадно. Во Франции не было обычая газетных интервью с отъезжающими пассажирами; в Нью-Йорке, Альфред Исаевич знал, репортеры прежде всего обступят человека, прибывшего в каюте высокопоставленных людей. «Интересно, что он им может сказать? Разве только, что во Франции была хорошая погода, — иронически думал Пемброк. — Кто он вообще такой!»

— Странно, что он своему секретарю не дал одной из своих трех комнат, — сказал Альфред Исаевич Наде еще на пристани, пока проверялись паспорта. — Оказывается, он для него взял особый билет во втором классе. Во-первых, это только лишний расход: в его каюте две спальни. А во-вторых, уж если ты такой гран-сеньор и везешь секретаря, то вези старика тоже в первом классе. Может быть, он хочет оставаться один, чтобы секретарь не мешал ему в его глубоких размышлениях?

— Значит, он будет и обедать отдельно от нас? — спросила Надя, очень взволнованная отъездом.

— Может быть, иногда будет спускаться к нам и обедать в общей зале как простой смертный. Черчилль всегда обедает в общей зале. Правда, он только Черчилль, а не Делаваар.

Всю дорогу Надя беспокоилась, как бы отправленный накануне багаж не опоздал, не попал на другой пароход или не затерялся. Но как только они поднялись на борт огромного парохода, она еще издали увидела свой главный, особенно важный сундук и чрезвычайно обрадовалась.

— Слава Богу, все вещи есть, и твои, и мои! Все в полном порядке!

— Я так и думал, что все будет в порядке... Эти три в каюту 226, а все остальное в 175-ю, — указал Яценко носильщикам. — А может быть, тебе сундук в каюте не нужен?

— Как не нужен! Все нужно! Разве ты не знаешь, что на этом пароходе *одеваются*, — обиженно сказала она. Носильщики взяли чемоданы. И как только разделили их багаж, Яценко почувствовал, что началось что-то новое в его отношениях с Надей.

Альфред Исаевич, опытный путешественник, поглядывал на Надю со снисходительной улыбкой. Они условились встретиться в главном баре первого класса в четверть восьмого. Обед был в восемь.

Несмотря на очень дурное настроение, в котором все время находился Виктор Николаевич, на него тоже подействовала волнующая, бодрящая суэта отъезда. «Хлопоты кончились, а там будет видно», — думал он. Устроившись в своей каюте, Яценко прошел по главным помещениям, стараясь запомнить, где что находилось, куда какая лестница ведет. На палубе он столкнулся с Надей. На нее произвели очень сильное впечатление размеры парохода, роскошь зал, элегантность дам. Теперь не могло быть никаких сомнений в том, что они будут в Соединенных Штатах. Она была оживлена, весела и добра.

— Ах, какая красота! Я просто не могла себе представить, что здесь все так роскошно и удобно! Моя каюта чудная! Я уже познакомилась с соседкой, она американка, и, кажется, очень милая. Она сказала, что я говорю по-английски без малейшего акцента!.. И ванная рядом. А в умывальнике горячая су — кипятки!.. По-турецки вода — су... Я не слишком нарядилась?

— Слишком.

— Нет, ты посмотри, ты даже не посмотрел! Я надела лиловое. Что ты думаешь?

— Думаю, что ты надела лиловое.

— Ну да, ты всегда такой!.. Скажи правду, разве ты не рад, что едешь?

— Рад, — искренно сказал он.

— То-то. А я просто не могу поверить! Столько мечтала об этом — и вдруг еду! Милый, условимся так, чтобы хоть в дороге не хандрить! Давай пять дней наслаждаться жизнью без всяких забот!

— Давай.

— Я тебя люблю, и ты, кажется, меня еще немного любишь, правда?.. Так ты не надел смокинга? Впрочем, я видела, большинство мужчин без смокингов. Ну, пойдём искать Альфреда Исаевича. На радостях я выпью. Как ты думаешь, будет качать?

— Нет, море как зеркало.

Альфред Исаевич уже сидел за столиком бара в огромном покойном кресле. Он тоже был в хорошем настроении духа.

— ...Ну, что, осмотрелись на этом небольшом парусном суденышке?.. Now¹, sugar plum, я угощаю вас шампанским! Вы знаете, теперь у нас в Америке мода: когда какой-нибудь туз уезжает, то он перед отъездом устраивает на пароходе party² для провожающих.

— Это отличная мода, но нас никто не провожает, мы с Виктором не тузы, — весело сказала Надя.

— Зато нас в Нью-Йорке будут встречать. Явится и мой директор, и интервьюеры. Но именно потому, что здесь нас никто не провожает, нам, бедненьким, надо утешать друг друга. Наденька, вы какую марку предпочитаете?

— Все марки.

— Что ж пить теперь шампанское, уж лучше за обедом, — сказал Яценко, чувствуя, что и он приходит в какое-то особенное светское состояние.

— Нельзя. Пароход отойдет до обеда, а у меня такое правило: пить шампанское в момент отъезда... Вот и он, красавец и, разумеется, в смокинге, не то что мы, грешные, — сказал Альфред Исаевич, увидев издали Делавара. Смокинг очень к нему шел. Надя смотрела на него с сочувственным любопытством. — Ваше Превосходительство, какую марку шампанского вы предпочитаете? — спросил Пемброк, переходя с южнорусского языка на бруклинский.

— Поммери 1911 года у них, конечно, нет. Тогда Монтебелло 1929-го, — весело сказал Делавар, садясь рядом с Надей. — Господи, какие ужасные фрески в этом баре. Пьеро делла Франческа, если б зашел сюда, то немедленно бы удавился. Я обожаю Пьеро делла Франческа.

— That's right, — сказал Пемброк, тотчас скиса-

¹ Теперь (англ.).

² Вечеринка (англ.).

вший от таких разговоров. — Стюард, дайте нам шампанского... Скажите ему сами ваш год, я уже за- был. Вы обедаете с нами или у себя, посреди великоле- пия вашего «Фонтенбло?»

— Год 1929-й. Это небывалый год в истории фран- цузского виноделия. Обедаю я, разумеется, с вами... Кстати, у меня в «Фонтенбло» замечательные boiseries¹.

— Значит, нельзя будет за столом разговаривать по-русски, — сказал Наде Пемброк, пока Делавар обсуждал со стюардом марки вин. — Сэр Уолтер, бросьте мерехлюндию! Едем в Америку, не плохая страна, а? Я люблю Францию, но всегда рад, когда возвращаюсь домой. Сильвия как будет рада!.. А я вам, между прочим, приготовил сюрприз.

— Какой? Альфред Исаевич, какой?

— Дорогая, на этом суденышке будет впервые по- казан наш фильм! Они меня умолили дать им ленту.

— Ах, как я рада! Я в восторге! — сказала Надя.

— Buenos, — сказал Пемброк, довольный своим сюрпризом. — Buenos Aires! Я страшно рад, что через неделю буду дома. Первым делом я приглашу к себе Мак-Киннона. Время от времени надо делать check up.

II.

На этом же пароходе был и Гранд.

Опасность во Франции ему как будто не грозила. Он в самом деле был уверен, что Тони жалобы на него не подаст. Но слова Норфолька о том, что полиция собрала о нем какое-то «досье», произвели на него впечатление. Гранд три раза сидел в тюрьме, и, хотя это было не во Франции, материал для «досье» у французской полиции мог быть. Благоразумнее было поскорее уехать.

Кроме того, Гранд очень боялся встретиться в Париже с Тони. Ему было перед ней совестно. Гораздо легче и приятнее было бы, если б украденные им бриллианты принадлежали богатому человеку: Гранд убежденно считал всех богатых людей мошенниками — как Фенелон считал всех республиканцев ворами. Но, в

¹ Деревянные панели (*фр.*).

конце концов, эти бриллианты не были собственно-стью Тони и достались бы наследникам погибшей дамы, то есть, верно, также богачам.

Немного поколебавшись, он выехал в соседнюю страну и там продал три бриллианта из десяти. В библиотеке заглянул в словарь, узнал, какие страны заключили и какие не заключали конвенций о выдаче уголовных преступников, и остановился на одной южноамериканской республике, где, по слухам, была чрезвычайно удобная, приятная, недорогая жизнь и где люди, имевшие деньги, могли быстро нажить еще очень много денег. Слова «уголовные преступники» были ему неприятны, но он опять подумал, что уж после войны в Европе, наверное, не осталось ни одного честного богатого человека, — это его утешило. Он даже при случае выписал в тетрадку из соседней статьи в словаре случайно попавшуюся очень милую цитату.

Там же он купил билет первого класса на великолепный пароход, на который стремились попасть все богатые люди. Вернулся он в Париж за три дня до отъезда, а перед самым отъездом позвонил по телефону Дюммлеру (не из своей гостиницы, а из почтового отделения). Что-то придумал: внезапно заболел, подвергся операции, лежал, не мог написать. Дюммлер выслушал его холодно и сказал, что заседаний «Афины» летом не будет. Очевидно, он ничего о бриллиантах не слышал. «Все в полном порядке! Из Франции без всяких историй выпустили, назад впустили, старик трубки не повесил. Значит, милая Тони не только жалобы не подала, но, очевидно, даже никому и не сказала! — радостно, с нежным чувством к Тони подумал Гранд. — Впрочем, она, может быть, еще и не заметила? Тем лучше!» Он попросил Дюммлера всем сердечно кланяться. «Я так измучен операцией и так плохо себя чувствую, что завтра уезжаю на отдых в санаторию!» — простонал он. Дюммлер пожелал ему поскорее поправиться и не выразил желания повидать его до отъезда.

После этого разговора Гранд пришел в такое хорошее настроение, что решил было послать Тони денег. Но затем подумал, что она обидится. Притом на переводе надо было бы указать адрес отправителя. «Можно, конечно, дать ложный адрес, да зачем же ей, бедной, было бы напрасно меня искать? В сущности, я

оказал ей услугу. Она сама говорила, что это у нее навязчивая идея: боялась продать чужую вещь! Глупенькая... Правда, тогда она имела бы деньги. Но такой женщине, как она, лучше быть без денег и зато без навязчивой идеи. А я ей что-нибудь позднее пришлю».

Семи остальных бриллиантов он не продавал и решил показать их на таможне в Нью-Йорке: пошлины с него требовать не могли, виза была проездная. Вообще твердо решил впредь без необходимости ничего рискованного не делать. «Моисей был все-таки в общем прав, десять заповедей хорошая вещь. Есть достаточно способов жить, не нарушая уголовного кодекса, вот как живет Делавар». Перед отъездом Гранд купил дорогие уиттоновские чемоданы, несколько шелковых рубашек и галстуков, золотые часы Longines (старые продал как раз перед делом с бриллиантами). На улицах все же осматривался, пешком не ходил, ездил на автомобилях — полиции больше почти не опасался, но боялся наткнуться где-нибудь на Тони.

В последний день он пообедал в лучшем ресторане, заказал свои любимые блюда, самые дорогие вина. Гранд говорил любовницам, что после любви лучшая радость жизни — хороший обед и что он чувствует себя вполне порядочным человеком только в дорогом ресторане, когда твердо знает, что есть чем заплатить. После обеда он отправился на симфонический концерт. Исполняли Пасторальную симфонию Бетховена, его любимую. Гранд слушал со слезами. Садясь в автомобиль, опять вспомнил о Тони. Ему было чрезвычайно ее жаль. «Надо, надо что-нибудь сделать, но как? — думал он. — Нет, во-первых, это было бы рискованно. Во-вторых, у нее тотчас появилась бы опять ее навязчивая идея. В-третьих, как только я устроюсь в Южной Америке, я ей пришлю денег».

Он вернулся в свою гостиницу — не в ту, в которой жил прежде, а в другую, одну из лучших. У входа стоял старик нищий. Гранд пошарил в кармане, мелочи у него не оказалось. Он дал сто франков. «Бедный человек, кажется, ошалел! — радостно подумал он. Вошел, не оглянувшись по сторонам. — Никакого полицейского досье не существует, все выдумал проклятый старик».

В Гавр он решил отправиться на автомобиле. Не-

брежно велел швейцару сговориться с шофером, не торговался, щедро всех наградил в гостинице и выехал с большим почетом. Этот общий почет тоже был немалой радостью жизни. У Гранда и прежде иногда бывали деньги, но их что-то давно не было, и они доставляли ему необыкновенное удовольствие. Он опять вспомнил разные изречения о золоте.

На пароход он взошел не слишком рано, как и полагалось привычному к путешествиям богатому человеку. В прекрасную одиночную каюту отнесли его превосходные чемоданы, он немного даже пожалел, что они такие новенькие: пригодились бы наклейки вроде «Waldorf Astoria», «Savoy Hôtel», «Negresco». После некоторого колебания — проклятые воры иногда заглядывают в каюты — он для верности положил три бриллианта в мыльницу, лежавшую в несессере, который нарочно не затворил на ключ, — это был испытанный способ хранения драгоценностей, основанный на психологии воров. Остальные четыре спрятал на дно уиттоновского сундука. Деньги решил носить с собой в бумажнике. Надел смокинг, не новый, но еще хороший, он сшил его как раз перед войной и с тех пор не пополнял. «В Англии теперь все лорды носят довоенные фраки и смокинги...» Проверил, все ли в порядке: бумажник, паспорт, ключи, зажигалка, портсигар, — вышел на палубу, прошел по главным гостиным, заглянул в еще пустой ресторан, пробежал карту блюд — меню было изумительное, а на карте вин было не менее ста названий. Поднялся на верхнюю палубу. Вдруг при слабом свете кончающегося дня ему показалось, что к лестнице подходил Делавар. «Вот тебе раз!.. Экая досада!» — подумал он. Гранд спустился к отделению кассира, где висел на стене список пассажиров первого класса. Разыскал себя — все правильно, посмотрел на букву Д — никакого Делавара не было. «Верно, я ошибся, не он...» Однако пробежал весь список и под буквой «Л» увидел: де Лавар. «Он!.. Уже стал дворянином и французом!»

Это была первая неприятность за день, даже за всю последнюю неделю. Впрочем, большой неприятности тут не было. «Если Дюммлер ничего не знает, то, конечно, не знает и этот прохвост. В последний раз он был груб, и, разумеется, я к нему не подойду. Раскланяться можно, а затем пусть он поступает как ему угодно! Черт с ним!» — подумал Гранд. Отправился в

бар и заказал «Том Коллинс», бармен принял заказ с таким видом, точно именно это и должен был заказать настоящий знаток. Рядом с ним у соседнего столика старый величественного вида американец, молчаливо с ним согласившись, заказал то же самое. Гранд выпил коктейль, настроение духа стало у него еще более приятным: он путешествовал на одном из лучших в мире пароходов, в первом классе, в одноместной каюте и, как все джентльмены на этом пароходе, был хорошо одет, имел достаточно денег, за все честно платил, уголовного кодекса нарушать не собирался, принадлежал к ордену богатых людей. На столике тоже лежал список пассажиров, в списке были графы, маркизы, баронессы, был, кажется, знаменитый французский писатель — или его однофамилец? «Да, превосходный пароход! Только «Норманди» был лучше, я на нем плыл, когда он в первый раз пересек океан», — сказал кто-то рядом с ним. «Норманди» все же немного качало, а этот не качает ни в какую погоду», — ответил другой. Гранд оглянулся на разговаривавших людей, очевидно, тоже принадлежавших к ордену, — и далеко в углу огромной комнаты увидел Делавара. Он сидел с очень красивой молодой дамой, со стариком еврейского типа и с господином средних лет, в котором Гранд узнал русско-американского драматурга, записавшегося в «Афины» и два раза там побывавшего. Опять заглянул в список пассажиров: там значился и Вальтер Джексон. Гранд еще раз разыскал себя — почти рядом с ним был указан лорд с одной из тех благозвучных фамилий, какие бывают только у лордов.

Мальчик в мундире разносил газеты, журналы, папиросы. Гранд подошел к нему, спросил «Лайф» и «Мальборо», мальчик сказал «Yes, sir» тоже с таким видом, точно ничего иного от порядочного человека и не ожидал. «Когда выйдет пароходная газета?» — спросил Гранд. Газета совершенно его не интересовала, но он давно не разговаривал, и это его тяготило. Узнав, что газета выйдет завтра утром и тотчас будет разнесена по каютам, он одобрительно кивнул головой; спросил еще, где телеграфное отделение, хотя и это было ему совершенно ненужно, и отпустил мальчика, дав ему на чай не больше чем полагалось, чтобы его не приняли соседи за выскочку. Ему вспомнилась тема из Пасторальной симфонии. «Ах, какая дивная вещь!.. Я

все-таки буду играть на пароходе, не могу без музыки!» — подумал он и, оглянувшись в сторону рояля, опять увидел стол Делавара. «Вероятно, это его кинематографические люди, ведь этот жулик занялся кинематографом. Дама очень, очень недурна, надо бы познакомиться. Если они случайно обо мне заговорят, то он, конечно, скажет, что я прохвост. Но это никакого значения не имеет, так как драматург, наверное, догадывается, что сам Делавар прохвост. К драматургу можно будет потом подойти, этого даже требует вежливость». Он принадлежал к ордену порядочных богатых людей, но понимал, что перезнакомиться с другими членами ордена будет нелегко, а молчать пять суток ему никак не хотелось. «Разве за бриджем познакомлюсь? Здесь, наверное, будут составляться партии...» В молодости Гранд передегивал карты, но теперь об этом не могло быть и речи: предполагал играть как джентльмен с джентльменами, и только для удовольствия. Рядом с ним прекрасно одетые члены ордена переговаривались по-французски и по-английски о том, что пароход отойдет ровно в восемь и что ожидается очень хорошая погода.

III.

Норфольк тоже был задет тем, что ему было куплено место во втором классе. Сам он обычно путешествовал в третьем, а то и на грузовых судах. Случалось ему в былые времена ездить и в теплушках, и в вагонах для скота. Комфорта во втором классе было больше чем достаточно, но его расположение к Делавару ослабело. К тому же, как и Пемброк, он не понимал, в чем дело: в каюте из трех комнат было место и для него.

Забыв заpastись в дорогу книгами, он прежде всего, прежде даже, чем зайти в бар, справился, где находится на пароходе библиотека, там выбрал последнюю книгу Бертрانا Рассела и уголовный роман Уоллеса. За ним в комнату вошла молодая дама. Он тотчас узнал в ней ту русскую, которую в свое время встретил у ниццкого ювелира. «Господи, как она изменилась!.. И волосы как будто стали другие». Норфольк — по-европейски, первый — почтительно поклонился. Дама взглянула на него удивленно и, по-видимому, не сразу его узнала. Холодно ответила на поклон и стала рыть-

ся в каталоге. «Подурнела, но еще хороша!.. Бриллиантов на ней больше нет». Он наудачу сказал, что мир очень мал. Она что-то пробормотала. «Почему мы такие сердитые?»

Библиотекарь спросил имя дамы и номер ее каюты. Фамилию Норфольк разобрал плохо, это была фамилия на «офф». После того как книга была записана, дама вышла, ничего не сказав. «Необщительная особа», — подумал Норфольк. Когда библиотекарь записывал его книги, он прочел в тетради, что она взяла английский перевод романа русского автора. «Кажется, это эмигрант-контрреволюционер, чуть ли не белый генерал».

Из библиотеки дама прошла в бар. «Походка у нее какая-то странная, неуверенная, точно у нее кружится голова. Качки, однако, никакой нет. Войти за ней в бар все-таки не совсем удобно, — с сожалением подумал он. — Познакомимся позднее». Когда позвонили к обеду, Норфольк немного подождал. В столовой русская дама сидела за четырехместным столом. «Кажется, у стола № 8 есть свободное место?» — спросил он стюарда и, получив утвердительный ответ, подошел к этому столу. Поклонился, сел и изобразил на лице легкое удивление.

— Нам достался хороший стол, — сказал он по-французски с улыбкой. Выяснилось, что американская чета по-французски не понимает. Норфольк заговорил по-английски и выразил надежду, что погода останется хорошей. Чета тоже на это надеялась. Было еще что-то сказано о меню обеда. После этого он мог обратиться к русской даме. «Увы, в моем возрасте все становится прилично, — со вздохом подумал он. Она теперь стала как будто приветливей». — Кажется, мы немного выпили, вот и отлично. — А волосы она выкрасила плохо: корни немного выделяются. И совсем ей не надо было краситься, у нее цвет волос был прелестный... Да, выпила...»

— Вы живете во Франции или в Америке? — спросил он опять по-французски. Дама немного подумала.

— Я жила во Франции, но теперь переезжаю в Америку, — тоже по-французски ответила она. С библиотекарем она говорила на хорошем английском языке, но Норфольку хотелось, чтобы разговор велся на языке, не знакомом их соседям. «Будем поддерживать фикцию, будто она по-английски не знает. Собственно,

мне от нее ничего не нужно... То есть, может быть, и нужно, да поздновато...»

— Я надеюсь, что нас освободят на пристани еще при свете дня, — сказал он. — Вы Нью-Йорка не знаете? Ни в один незнакомый город не надо в первый раз приезжать вечером: немедленно овладевает тоска. Единственное исключение: Венеция. Она, напротив, ночью чарует. Но, может быть, вас встречают друзья?

— Нет, у меня никого там нет. А вы там живете?

Он назвал свою фамилию, сообщил, что работает в кинематографическом предприятии и едет со своим патроном в Нью-Йорк по фильмовым делам. Дама сказала, что едет в Америку искать работы.

— И вы ее найдете, хоть и не в первый день. Нью-Йорк превосходный город, Америка лучшая и самая гостеприимная страна в мире. Говорю это беспристрастно, так как я по происхождению не американец. Вы легко получили визу?

Она опять немного подумала.

— Я русская, родилась в Петербурге, а русская квота теперь не так забита, как, скажем, польская или немецкая.

— Почему?

— Потому что проклятое советское правительство никого из России не выпускает.

— Ах да, — сказал он. «Но, кажется, в Ницце она говорила, напротив, что-то очень левое и радикальное», — вспомнил Норфольк.

— Вы ведь эмигрантка?

— Да. И предупреждаю вас, что я правая и монархистка.

— Вот как, — сказал старик. «Зачем она мне это говорит?» — с недоумением подумал он. — Я левый и республиканец, но это не помешает нам разговаривать, правда? У нас в Америке полная свобода. Однако, если память мне не изменяет, в Ницце вы не называли ваше правительство проклятым, напротив.

Она густо покраснела.

— Вам именно изменяет память.

— Тем лучше, потому что я большевиков терпеть не могу, как вообще всех профессиональных благодетелей человечества. Кроме того, они пролили слишком много крови даже для благодетелей человечества. В этом отношении уже французские революционеры 1794 года плохо знали меру. Правда, трудно сказать,

кто больше совершил злодеяний: они ли или какой-нибудь Людовик XIV, которого так любят ненавидящие их историки. Французские революционеры хоть пытками не пользовались, в отличие от Людовиков. А ваши, говорят, восстановили пытку. Не все ли, верно, думают, равно: во имя великой идеи дурачье проглотит и это... Но бросим политику, от нее и при хорошей погоде у меня может сделаться морская болезнь... А что, вы тогда в Ницце продали бриллианты?

— Бриллианты?.. Нет, у меня их украли.

— Как украли?

— Так украли. Подменили настоящие фальшивыми.

— И полиция ничего не нашла?

— Я не обращалась к полиции.

«Неужто просто лгунья? А может быть, и не совсем нормальная», — спросил себя он.

— Не смею вас расспрашивать, — сказал он изумленно и заговорил о другом. Дама отвечала довольно охотно, но перед каждым ответом с полминуты думала, это его раздражало. Ему вдобавок казалось, что она думает затрудненно. «Ах, глазки уже не те: были чудесные! Рановато». Все же Норфолк был очень рад знакомству. Ему жизнь была не жизнь без общества молодых женщин, особенно таких, каким он мог покровительствовать. «Отеческое чувство, отеческое чувство, — подумал он. — Что-то очень много у меня развелось дочерей, с тех пор как не стало любовниц, и все дочери были хорошенькие. Ни к одной некрасивой отеческого чувства никогда не испытывал. Довольно гадко быть стариком. Это во мне проклятый Вальтер Джексон недурно подметил в своей пьесе. Хотя не Бог знает какое психологическое открытие, но он кое-что подмечает и понимает в людях. Вообще, и таланта не лишен».

Когда обед кончился, он для приличия еще поговорил с американской четой, затем сказал даме, что чрезвычайно рад знакомству и что будет все вечера проводить в баре второго класса. «Я бываю у босса в первом, но там неинтересные дамы», — сказал он. Надя в самом деле ему не так нравилась, и ей уже покровительствовало трое мужчин. Поздно вечером в каюте он читал то Рассела, то Уоллеса, но не раз отрывался, думал о русской даме, и нежность скользила в его выцветших глазах.

Как пассажир второго класса, Норфольк не имел права бывать в залах первого. Но Делавар заявил пароходному начальству, что должен работать с секретарем, и начальство не могло отказать человеку, занимавшему самую дорогую каюту. Его секретарь получил разрешение бывать в первом классе, с тем ограничением, что завтракать и обедать он будет у себя.

Работы было немного. Делавар диктовал какую-то записку. Диктовка сводилась к тому, что он довольно бестолково высказывал какие-то мысли, которым Норфольк затем придавал литературную форму. Делал он это с таким видом, будто лишь стенографировал слова своего хозяина. Записка касалась общего политического и экономического положения Западной Европы, и Норфольк про себя удивлялся: как этот человек, наживший огромное состояние и, очевидно, тонко разбиравшийся во всяких частных делах, решительно ничего не понимал во всем том, что касалось общих и государственных вопросов. Такое же чувство испытывал Яценко, когда за обедом Делавар рассуждал о политике. «Нет, я довольно неудачно его «активизировал». Мой Лиддеваль значительно умнее», — подумал он.

Форму Норфольк своей записке дал хорошую. Делавар был доволен. Он, очевидно, придавал своей записке очень большое значение. Диктовал он около часа утром, затем снова от двух до трех. Никогда не отдыхал после завтрака, говорил, что это дурная привычка, преждевременно старящая людей. От одиннадцати до двенадцати он занимался гимнастикой. Днем в гостиной садились играть в карты. Партия составлялась на следующий же день после отхода парохода. Надя любила бридж, но играла плохо. Пемброк согласился играть только по маленькой.

— По половине цента! — решительно сказал он. На пароходе франки были тотчас забыты, и все счета велись на доллары. Именно ввиду богатства Альфреда Исаевича его заявление звучало очень мило.

— По какой вам угодно! — ответил Делавар, и это тоже вышло недурно: все знали, что он привык не к такой игре. — Хотя бы и совершенно без денег.

— Нет, без денег скучно, — сказала Надя. — Это странно: если я выиграю пять долларов, то от этого я счастливее не стану, а вы, господа миллионеры, тем

более, и все-таки без денег играть невозможно. Но где же мы возьмем четвертого, если глубокочтимый Вальтер Джексон до карт не опускается? Он занят высшими проблемами человеческого бытия, — говорила она, сама удивляясь тому, что говорит о нем иронически.

— И не надо ему играть: пусть творит! — решительно заявил Пемброк, окончательно усвоивший такой тон, точно Яценко был Гёте, еще, к сожалению, не всеми признанный. Он больше и не говорил, что сэр Уолтер внес свежую струю: это было бы недостаточной похвалой.

— Возьмем моего секретаря Норфолька, — предложил Делавар. — Он сказал мне, что умеет играть.

— Ах да, ведь вы раздобыли ему пропуск в первый класс. Ну что ж, отлично, он очень приятный и остроумный человек. Тогда тем более надо играть по маленькой: он ведь человек бедный.

— Он у меня получает достаточное жалованье, — ответил не совсем довольным тоном Делавар. — И наконец, я могу покрывать его проигрыш.

— Узнаю вашу королевскую натуру, — сказал Пемброк. Они начинали отпускать друг другу колкости. — Тогда зовите его сюда.

Но опасаться за карман старика никак не приходилось. После первых же робберов выяснилось, что он играет не просто хорошо, а превосходно. Вдобавок играл очень любезно и приятно: никогда никого не порицал за промахи, ни с кем ни о чем не спорил, чужие ошибки разъяснял только в том случае, если его об этом спрашивали. Объявлял карты по-своему, так что вначале вызывал некоторое недоумение. Но к концу третьего роббера с ним уже и спорить никто не решался. Все были поражены мастерством его розыгрыша, и даже Делавар, никого не любивший хвалить, признал, что труднее лучше играть, чем старик.

— Я и не знал, что вы такой артист, — сказал он ему. — Вы могли бы сделать состояние в моем парижском клубе.

— Я почти никогда не играю, — скромно ответил Норфольк. — Правда, в свое время я вел немалую игру, у меня тогда были деньги, и раза два или три я даже на конкурсах получал первые призы.

— Отчего же вы раньше не сказали? — благодушно спросил Альфред Исаевич. — Если бы я знал, что я имею дело с чемпионом, то я и карт в руки не взял бы.

— Да я думал, что все позабыл, но видно... — начал старик и вдруг раскрыл рот. Он увидел, что за одним из далеких столиков играет в карты Гранд.

— Что «но видно»?

— Нет, ничего, — ответил Норфольк.

Следующую партию он разыграл, хотя тоже мастерски, однако более рассеянно; затем в промежутках между робберами почти не разговаривал, что не было ему свойственно. Почему-то совершенно непонятным образом Норфольку внезапно пришла мысль, что должна быть какая-то связь между Грандом и той русской дамой. Решительно ничто в пользу такого предположения не говорило. «То самое полицейское чутье, о котором говорилось в романе Уоллеса... Я непременно расспрошу ее, непременно... Хотя бы пришлось разориться на вино. Такие всегда легко пьянеют. Расспрошу из любопытства, только из любопытства», — думал он.

IV.

Скучать в занятом праздничном безделье парохода было невозможно. Надя, вообще никогда не скучавшая, наслаждалась путешествием необыкновенно. Впереди были Америка, карьера, слава; теперь была очаровательная жизнь. Завтракала она в восемь часов у себя в каюте с соседкой, с которой очень подружилась. Затем наверху, поздоровавшись со всеми, спросив, как кто спал, выразив восторг по тому случаю, что солнце и ветерок, совсем не жарко, море гладко как зеркало, она часа полтора необыкновенно быстрым, энергичным и деловитым шагом ходила по палубе: положила себе правилом делать каждое утро пятьдесят кругов по ней. Этот шаг вызвал бы общее изумление в любом другом месте, но на корабле так же быстро, энергично и деловито ходили еще десятки молодых людей, девиц и дам. С некоторыми из них Надя уже была знакома и почти со всеми обменивалась улыбками. Затем она спускалась к огромному бассейну, но не купалась, ссылаясь на то, что не взяла с собой купального костюма; Делавар, часто ее сопровождавший, говорил, что костюм можно купить в одном из магазинов парохода. Но ей не хотелось бросаться в воду рядом с молоденькими хорошень-

кими девушками, которых на пароходе было много. По сходной причине она редко останавливалась на верхней палубе у тех мест, где молодежь играла в пинг-понг, корабельный теннис и shuffle-board¹, было обидно, что ей не восемнадцать лет. Часов в одиннадцать она ложилась в складное парусиновое покрытое пушистым пледом кресло на палубе и разговаривала то мило-кокетливо с Делаваром, то мило-степенно с Пемброком, то мило-любовно с Яценко.

Они записались на *premier service*², и к завтраку их звал гонг ровно в двенадцать. Подавалось множество блюд, одно лучше другого. После завтрака Надя опять бегала по палубе — теперь полагалось двадцать кругов. Альфред Исаевич, проходя по палубе в свою каюту для отдыха, испуганно на нее смотрел как на тихопомешанную, хотя привык к кинематографическим артисткам и больше ничему у них особенно не удивлялся. Делавар гулял с Надей, описывал сокровища *своего* Люксембургского замка (о *своих* вещах он мог говорить часами, они все были изумительны). Спрашивал ее, любит ли она Апокалипсис и видение саранчи, говорил ей, что у женщин есть тридцать прелестей: три красные — губы, ногти, щеки; три белые — кожа, зубы, руки; три черные — глаза, брови, ресницы, перечислял на память все тридцать. Она слушала не без удовольствия, но думала, что этот прославленный делец глуп. Глаза у него при разговорах с ней блестели почти неприлично. «Конечно, я могла бы женить его на себе», — думала Надя; удовольствие было двойное: оттого, что «могла бы женить», и оттого, что и не подумает это сделать. Физически он ей нравился, нравилось и его увлечение, переходившее, как ей иногда казалось, в настоящую страсть. «Но, во-первых, я никогда Виктора не брошу, а во-вторых, это было бы просто смешно до глупости: как это я буду замужем за левантинским богачом, который и по-русски ни слова не знает! Нет уж, русская и должна идти за русского. Главное же, янисколько не люблю его. Ни в коем случае не заходить в его каюту: уж очень он зовет, а кто там их знает, левантинцев?»

В три часа Надя, Пемброк и Делавар ходили в кинематограф. В пять сходились в гостиную на бридж.

¹ Шафлборд (*англ.*) — игра с передвижением деревянных кружочков по размеченной доске.

² Первая смена (*фр.*).

В семь полагались еще круги, и наступало лучшее время: обед, к которому *одевались*. Надя окончательно убедилась, что не полнеет, и почти не соблюдала режима. Стюард приносил по рюмке ледяной водки Пемброку и Яценко, замысловатые коктейли Делавару, французские аперитивы Наде — она решила перепробовать по дороге разные напитки и каждый вечер заказывала другие. Пили все больше обычного. Альфред Исаевич неизменно говорил, что Суворов пил английское пиво с сахаром. «А все-таки, Наденька, очень много есть и пить не надо, — рассудительно советовал Пемброк Наде, — все надо делать в меру, вы лучше не бегали бы по палубе как сумасшедшая три раза в день. Зачем вы это делаете? Только еще что-нибудь себе наживете. Какое у вас давление крови?» — «У меня нет никакого давления крови!» — возмущенно отвечала Надя. «Вот я же не бегаю по палубе, хотя мне сам Мак-Киннон сказал, что у меня сердце, как у молодого человека...» Проглотив с видом человека, берущего крепостной вал штурмом, свою рюмку ледяной водки, он приходил в еще лучшее, уж совсем праздничное настроение. Делавар с восторгом смотрел на Надю и старался ее забавлять. Он оказался недурным имитатором и отлично подражал кинематографическим звездам. Этот род дарования всегда изумлял Яценко — сам он был совершенно его лишен; обладали же даром подражания нередко ограниченные и даже просто глупые люди. «Выходит так, они видят в человеке такое, что от умных ускользает, — с недоумением думал Виктор Николаевич. — Зато этот господин сам точно создан для имитаторов, разве только неизбежно будет походить на карикатуру: он живая карикатура на самого себя».

После обеда Пемброк решительно отказывался играть в бридж. На пароходе каждый вечер танцевали либо в большой зале, либо в главной кофейне, в середине которой пол нарочно для танцев был сделан из очень толстого стекла, освещавшегося вечером снизу разноцветными огнями. Альфред Исаевич любовался танцевавшими парами и, одобрително кивая головой, говорил, что обожает румбу; впрочем, иногда забывал, что надо любить все новое, и с видом отставного удальца утверждал, что ничто не может сравниться с полькой, венгеркой и мазуркой. Делавар знал все новые танцы и танцевал их с Надей, тут же объясняя

ей, как их надо танцевать. Крепко держа ее за талию и за руку (он рассчитывал при этом на магическую силу своего рукопожатия), говорил о красоте ее *ножек*, говорил о фресках Пьеро делла Франческа, повторял, что поставит для нее грандиозный фильм, и с очень значительным видом шептал, что она непременно, непременно должна посмотреть замечательные *boiseries* в его каюте. При этом зрачки его красивых глаз опускались. В его словах часто не было ничего глупого, но говорил он их так, что от них веяло глупостью, и вид при этом имел очень значительный, какой мог быть, например, у номиналистов, когда они вели философский спор с реалистами. Наде при разговорах с ним наедине было и забавно, и приятно, и немного жутко. Часов в десять, когда читать надоедало, заходил в зал Яценко и посматривал то на Надю, то на Делаvara.

Надя в первый же день, смеясь, ему объяснила, что ей от Делаvara нужно.

— ...Конечно, он в меня влюблен, — говорила она весело. — Ты знаешь, я даже думаю, что если бы я очень хотела, то он на мне женился бы.

— Я этого не думаю, но что ж, попробуй.

— Ей-богу, женился бы! Он предпочел бы *так*, но если *так* нельзя, то женился бы, даю тебе слово Пемброка! И согласишься, это очень мило с моей стороны, что я за него не выхожу. У него миллиард франков, и моя карьера в кинематографе была бы молниеносной.

— Отчего же, выходи за него замуж. У меня миллиарда нет, и я тебе молниеносной карьеры обеспечить не могу.

— Ты просто скромная недурная партия, а Делавар партия превосходная. И если хочешь, он даже мне нравится, он очень сильный и властный человек. Ты вот думаешь, что ты его «активизировал» в Лиддевалье? То есть ни малейшего сходства нет, кроме того, что оба деловые люди. Ты вообще слишком упрощаешь людей. Твой Лиддеваль мелкий жулик. А Делавар правду говорит, что для него деньги — ничто. Альфред Исаевич его называет трубадуром! Скажи я ему одно слово — он мне отдаст половину своего состояния.

— Вот ты попробуй.

— Я тебе говорю, что отдаст! И через год снова их наживет!

— У тебя даже глаза заблестели. Что ж, выходи за трубадура замуж. Совет да любовь.

— Нет, уж не стоит менять. Дай, думаю, выйду за тебя. Жалко ведь: ты без меня пропадешь.

— Как-нибудь проживу. И все ты врешь: ты с Делаваром горда, как Юнона, к которой пристал простой пастух Эндимион.

Она смеялась.

— Ты теперь и говорить стараешься, как твой Дюммлер!

Утром он гулял с Надей по палубе, еле поспевая за ее гимнастическим шагом. «Ах, ее несчастная vitality!» — теперь со вздохом думал Яценко, и прежде так восторгавшийся этим ее свойством. Отбыв повинность, он большую часть дня проводил в кресле на палубе. На пароходе выходила каждое утро газета. В ней появились заблаговременно напечатанные во Франции статьи, объявления, заметки, но две страницы отводились последним, получавшимся по беспроводному телеграфу новостям. Именно вследствие сжатости этих новостей из пароходной газеты еще больше, чем из других, было ясно торжество зла над добром в мире. На одной странице сообщалось о действиях разных гангстеров, на другой о действиях некоторых правительств, и порою совершенно нельзя было понять, чем одни отличаются от других. «Конденсированное зло как есть конденсированное молоко. Как же могут при этом уцелеть идеи, о которых в моей пьесе кратко говорит Лафайет? Эти идеи устарели, но их дух, «лафайетизм», со всеми необходимыми огромными поправками и дополнениями к нему, это все же единственное, что может помешать превращению мира в грязное кровавое болото. И разумеется, *тьма* теперь идет с Востока. Договор с разными Александрями Невскими, заключенный большевиками в 1941 году, просуществовал столько же времени, сколько их договор с Риббентропом. Великое же несчастье человечества в том, что разрешен будет *моральный* спор лишь в зависимости от соотношения военной мощи. Ничем не могут помочь и Объединенные Нации, где из произносящихся ста слов девяносто девять лживы или слащаво-лицемерны, как те надгробные речи, которые своим полным противоречием правде об умершем производят на людей, его знавших, впечатление неприличия или издевательства... О моем отце ничего нигде не писали». Он вспомнил похороны матери. Слишком страшно было думать о том, что теперь лежало под

могильным памятником на петербургском кладбище. «А папа вообще неизвестно где был закопан. А я пожимал руку его убийцам».

Работы у него больше никакой не было. «Это тоже наша писательская беда, — думал Виктор Николаевич. — Когда кончил одну вещь, тотчас начинай другую. В таком положении из всех людей только мы да еще композиторы: либо пиши *всегда*, а это невозможно, либо будь полжизни бездельником». Тем не менее безделье не очень его тяготило. «С другой стороны, есть и очарование в нашей свободе: работаешь в любое время, утром, днем, ночью, никаких обязательных часов нет, а несколько дней можно и бездельничать без угрызения совести».

В Париже он по случаю купил коллекцию старых русских книг. С тех пор как у него оказалось немало лишних денег, доставлял себе это удовольствие, в котором, впрочем, не отказывал себе, в меньших размерах, и прежде, даже в Петербурге, где еле сводил концы с концами. Большая часть коллекции была отправлена в Нью-Йорк в заколоченных ящиках, но несколько книг он взял с собой и теперь их читал. Нашлось несколько томиков Тургенева. Он не любил этого писателя и считал его второстепенным. Слова «Тургенев и Толстой» всегда казались ему оскорбительными, как, впрочем, и слова «Толстой и Достоевский»: рядом с Толстым не должно было ставить никого. Теперь на пароходе Яценко — неизвестно для чего — выписал из «Дворянского гнезда» две позабывшие его фразы: «Что-то грациозно-вакхическое разливалось по всему ее телу...», «Однако уже, кажется, одиннадцать часов пробило», — заметила Марья Дмитриевна. Гости поняли намек и начали прощаться...» «Какие приятливые гости! А все-таки написал он и одну необыкновенную книгу «Отцы и дети», и несколько маленьких шедевров, как «Старые портреты». И этим слава его оправдана...» Но вся вообще жизнь, изображавшаяся Тургеневым в романах и рассказах, вызывала у него полное недоумение. «Неужто в самом деле была такая Россия? Во всяком случае, кроме ее природы, кроме чудесных лесов, рек, равнин, *ничего* от нее не осталось, и народ в ней живет совершенно другой».

В одной из наудачу захваченных книг Яценко наткнулся на слова Феофана Прокоповича: «Суть

неции (и дал бы Бог, дабы не были многии) или тайном бесом льстимии, или меланхолией помрачаеми, которыи такова некоего в мысли своей имеют урота, что все им грешно и скверно мнится быти, что либо увидят чудно, весело, велико и славно, аще и праведно, и правильно и не богопротивно, например: лучше любят день ненастливый, нежели ведро, радуются ведомостями скорбными, нежели добрыми; самого счастья не любят, и не вем как то о самих себе думают, а о прочих так: аще кого видят здрава и в добром поведении, то, конечно, не свят; хотели бы всем человеком быти злообразным, горбатым, темным и неблагополучным, и разве в таком состоянии любили бы их».

Его решение было принято. Он знал, что уйдет и из кинематографа, как ушел из ОН, и уйдет по тем же причинам. Теперь беспристрастно оглядывался на свою литературную работу. «Мои «Рыцари Свободы» были вполне *честной* пьесой. Может быть, эта пьеса нехороша или устарела по *фактуре*, может быть, Тони права в том, что я слишком рационалистичен. Может быть, Лина не очень «активизировала» Надю или даже не была на нее похожа, может быть, Лиддеваль не «активизировал» Делаваара, и самая мысль о том, чтобы показать Надю и Делаваара «в движении» — не в статическом, а в динамическом состоянии, — была неправильна, так как они оба по природе к движению, к драме едва ли способны. Но это была *моя* мысль, за успехом я не гонялся и даже, когда писал, не имел почти никакой надежды на постановку; то есть писал так, как только и надо было бы писать. Пемброк купил пьесу случайно да, вероятно, никогда ее и не поставит. В «Рыцарях Свободы» была большая идея, одна из больших идей века. Их сюжет был очень значителен. «The Lie Detector» как пьеса много лучше, много лучше и диалог. Но сюжет и идея уже гораздо менее значительны, а главное, здесь я пошел на уступки, о которых стыдно вспоминать. Не случайно в этой пьесе оказалась одна декорация и очень немного действующих лиц. Так теперь пишут почти все, именно для облегчения постановки. Драматическое искусство изменилось оттого, что жизнь вздорожала. Да, я эту пьесу писал для успеха, хотя и не только для успеха. Это, во всяком случае, был предел возможных уступок, дальше — правда, значительно дальше — анти-

искусство. Согласившись же на фильм, я предел перешагнул, и это тотчас почувствовали Пемброки и Делавары, теперь желающие купить меня для постоянной работы. И конечно, если уж «изобличать», то не кинематограф, что легко и банально, а писателей, идущих в кинематограф. Теперь, будучи обеспечен на год или два, я даже не имел бы оправдания в бедности. По существу, в бедности дело бывает и редко: за исключением эмигрантов, писатели почти никогда не голодают, по крайней мере в настоящем смысле слова. Нас соблазняют деньгами, собственно, не с целью подкупа: в конце концов, кому мы так особенно нужны? Человечество и вообще могло бы обойтись без писателей, а люди «подкупающие» тем более. Нам просто говорят, чтобы мы позаботились о человеческом развлечении. А так как развлекать людей легче всего несложным, условным, занимательным, *приятным* искусством, то вы нам такое и подавайте: нам будет хорошо, и уж вы тогда никак не останетесь в убытке».

В смягченной форме он изложил эти мысли Наде. Они очень ей не нравились. «Что же, по-твоему, подаванием вам надо жить, что ли? — спрашивала она. — А то уж лучше ты оставался бы в Объединенных Нациях! Меня только не брани: я тебя никогда не уговаривала уходить оттуда! Было бы второе ремесло, как у многих других».

Он знал, что это правда. «Она, однако, не понимает, что второе ремесло высасывает из нас соки. Разумеется, писатели ничем не лучше, чем другие люди: из-за болезненного честолюбия и тщеславия они, скорее, даже хуже большинства других. Но чаще всего писатели, при втором ремесле, фактически больше искусством заниматься почти не могут и уж, во всяком случае, не дают того, что могли бы дать. Теперь все эти Лиги Наций, ООН, планы Маршалла создали новый, огромный, казенный пирог, на который и набросилось множество предприимчивых честолюбивых людей, они соблазнили и меня. Это легко сказать: «Vivre en bourgeois et penser en demi-Dieu»¹. Какие уж мы полубоги! Да, у нас, людей искусства, есть свой «Мост вздохов»: символически выражаясь, с одной стороны,

¹ «Жить как буржуа и думать как полубог». — *Пер. с фр. автора.*

дворец, с другой стороны, тюрьма — выбирай. И столь многие, «сребролюбием недуговав», выбирают либо казенный пирог, либо легкое *приятное*, то есть очень плохое, искусство. Каждый должен решить, чему хочет служить. И мне теперь ясна связь моего личного *освобождения* с общим огромным делом освобождения человечества. В мире идет одна великая борьба, каждый обязан стать на ту или другую сторону, я свою сторону выбрал давно: за свободу *нынешнего* человека против небывалого рабства с санаториями и со всякими хорошими обещаниями в будущем. Но нельзя участвовать в борьбе, если одновременно ради выгоды работаешь в учреждениях лицемерных, в предприятиях, развращающих мысль и вкус рядовых людей. Я сначала пристроился к одному казенному пирогу, теперь меня приглашают пристроиться к другому, и я не буду себя убеждать в том, что первый служит идее мира, а второй служит искусству... Да и дюммлеровская «Афина» была сбившейся на пародию Организацией Объединенных Наций. Впрочем, слова «пошлость», «пародия» тут не подходят. Но Дюммлер прав: было что-то общее, ирреальное, не поддающееся определению. Быть может, оно было связано с тем, что взята была прекрасная идея, в которую почти никто из основателей не верил, что пытались объединить людей, которых объединить невозможно, что в дело вошли люди, ставящие себе совершенно разные цели, что примазались и господа, никаких целей, кроме личных и скверных, не имевшие. Получилось что-то ненужное, порой уродливое, вводящее людей в заблуждение, дающее несбыточные обещания, порождающее ложные иллюзии. И Лига Наций, и ОН, и многие личные драмы — все это тот же «звонок Кут-Хуми». — Он вдруг с радостью подумал, что так, быть может, назовет свою книгу. — Но я даже не мог бы передать все то, что кажется мне ирреальным. Я не буду участвовать в проституировании мысли, принимающей характер общественного бедствия. Хороши ли мы или нет, со всеми нашими моральными недостатками, со всеми нашими смешными сторонами, с нашей профессиональной манией величия, мы, писатели, *все-таки* соль земли. И наше освобождение от власти денег, от соблазна *успеха* — это важная часть общего вопроса об *освобождении*. Умные люди, правда, говорят, что задача нашего времени — это создать свободные *учрежде-*

ния. Но это недалеко ушло от большевистских представлений: пока нужны концентрационные лагеря, а потом придут хрустальные дворцы...»

Яценко со смешанными чувствами подумал, что все же в нем очень сильно то морализующее начало, о котором говорил ему Дюммлер, цитируя Оскара Уайльда. «Где же я найду точку приложения для новых своих взглядов, если брошу литературу? Если же не брошу, то попытаюсь по-новому увидеть углубленную правду, а в ее свете человеческую душу».

О «Рыцарях Свободы» Пемброк теперь только изредка упоминал, как-то скороговоркой сказал, что вынужден отложить постановку на неопределенное время этой удивительной пьесы, — сказал с таким выражением ужаса и отчаяния, какое могло быть у Гоголя, когда он бросил в печь «Мертвые души» (если это в самом деле было). Яценко хотел было спорить, но заранее почувствовал необычайную скуку и не поспорил.

Как будто все стало ясным и в отношениях с Надей. Он знал, что женится на ней, как только она получит развод. «Это главное предложение, все остальное придаточные, разные «хотя»: «хотя не влюблен», «хотя я люблю ее «как человека», «хотя столько лет разницы в возрасте тяжелое препятствие», «хотя она и для своих лет еще слишком молода», «хотя она любит все то, что я не люблю или почти разлюбил: успех, деньги, светскую жизнь, *having a good time*¹». Теперь у нее все это, вероятно, будет и без меня. Даже слишком много будет всего этого!» — думал он, морщась при мысли о Делаваре.

Яценко прекрасно знал, что Надя Делаваром не увлечена. «Если б была увлечена, она, со свойственной ей честностью и прямоотой, мне это сказала бы и уж, во всяком случае, не стала бы над ним смеяться... Она сказала бы, а что я ответил бы?» — с внезапной злобой спросил себя он, вдруг ясно почувствовав, как он ненавидит Делавара. «Он стал мне действовать на нервы еще с первого дня нашего знакомства... Что я ответил бы? Я сказал бы ей, что он на ней не женится, что он ее бросит, даст ей денег и бросит... И то, что я ей *это* сказал бы, показывает, конечно, что я в нее не влюблен: влюбленные в таких случаях отвечают иначе. А

¹ Приятное времяпрепровождение (англ.).

если б месье Делавар великодушно предложил ей руку и сердце? Нет, ему я ее не отдам!.. Но для видимости пришлось бы начать соревнование в благородстве с Надей: она сказала бы, что *не может* меня бросить, я ответил бы, что она *должна* меня бросить. Делавар — это, конечно, ерунда. Но она просто была бы свободнее без меня, может быть, даже и счастливее? А вдруг окажется, что никакого успеха у нее нет? Тогда я умолял бы ее взять у меня денег, а она отказывалась бы. С точки зрения «нецых» это, впрочем, еще недостаточно «злообразно»: надо было бы, чтобы она меня умоляла дать ей денег, а я отказывался бы. Я мог бы еще ей предложить, что я останусь на службе, если она откажется от кинематографа. Так Генрих IV предлагал своей жене бросить любовника и в обмен соглашался бросить своих любовниц... Нет, пусть она решает вполне свободно: выходить ли ей за меня или нет», — нерешительно отвечал он себе, понимая, что ее отказ был бы для него *все-таки* тяжелым ударом. «Значит, я стар. Во всяком случае, тут необходимо быстрое решение, хирургическая операция... Все хирургические операции удаются, только больной умирает...»

Он думал также, что если б Надя его бросила, то он постарался бы себе создать такую жизнь, как Дюммлер. «Он провел свой век лучше, чем кто бы то ни было другой из всех, кого я знаю... Но это одиночество старого холостяка, эта квартира без женщин, его одинокие, нескончаемые ночи...»

Иногда он все же не без удовлетворения думал, что кое-что, правда, не то — «избави Бог! совсем не то!» — он предвидел в «Рыцарях Свободы». Надя не очень походила на Лину, Делавар только отдаленно был похож на Лиддеваля, никакого романа между Надей и Делаваром не могло быть — «интуиция» позволила ему лишь схватить что-то очень внешнее, поверхностное, маловажное. «Мы все только ходим около жизни, кое-что интуицией чувствуем, но немногое. Иначе мы и жить не могли бы, — думал он. — Нет, я все-таки не назову свою книгу «Звонок Кут-Хуми». В таком заглавии было бы что-то искусственное, неприятно-эстетское. Дюммлер говорил о «Pursuit of Happiness». Это было бы недурное заглавие для книги: «Путь к счастью», или «Освобождение» — в сущности, это почти одно и то же. Пьесы же надо бросить. В обеих пьесах есть вдобавок искусственность, почти фальшь, проис-

ходящая от того, что действующие лица — иностранцы. Нет, с театром кончено. Если я вообще буду писать, что сомнительно, то, скорее всего, напишу трудночитаемую психологическую книгу с множеством всевозможных отступлений, и пусть критики говорят о непродуманности плана, о сумбурном строевании, о плохой *композиции*, я *постараюсь* стать равнодушным к этому», — подумал он, возвращаясь к все большему его мучившим мыслям. «Знаю, как это трудно. Сам Достоевский не мог от этого вполне освободиться: в своих письмах он часто беспокоится об *эффекте*, который произведет то или другое его произведение, — и слово какое неприятное употреблял: «эффект». Но всем, и большим писателям, и нам, грешным, одинаково необходимо освободиться от всех видов тоталитаризма, даже от полутоталитаризма театрального и книжного рынка: «пиши так, чтобы нам нравилось, или не пиши и пропадай, как пропал бы сам Марсель Пруст, если б не мог жить на свои деньги, писать независимо и быть собственным издателем. Талант, а тем более гений, профессией быть не может. Между тем мы сделали ремеслом то, что по самой природе своей ремеслом быть не должно».

Один вечер выдался холодный. Пароход немного качало. В небе мерцали всего три звезды. Оно было мрачное, темное с редкими беловатыми фигурами и полосами, как на картинах Греко. Внизу было одноцветно-черное море. Виктор Николаевич опустил руки в карманы надетого в первый раз на пароходе пальто. В правом кармане он нашел большой конверт с брошюрой и журналом. «Это еще что? Ах да...» Перед отъездом из Парижа он побывал опять в ЮНЕСКО, у него там были знакомые, и он все больше интересовался этим учреждением. Там тоже были вержливые служители, справлявшиеся о посетителе, звонившие куда-то по телефону и выдававшие затем пропуск, тоже висели разноцветные карты мира, тоже продавались в киосках газеты, тоже на дверях комнат были прибиты карточки с именами, все как в ОН; с внешней стороны разница была лишь в том, что в кабинетах высших служащих были умывальники, — это огромное здание прежде было гостиницей. В ЮНЕСКО ему и дали эти издания.

На палубе было пусто и неуютно. Он вошел в ярко освещенную маленькую гостиную. «Si le roi le savait,

Isabelle)¹, — пела с неподражаемым искусством Эдит Пиаф. Он сел в кресло и, прислушиваясь к граммофону, стал просматривать бывшую в желтом конверте брошюру. «Организация ставит себе целью способствовать миру и сотрудничеству между народами посредством воспитания, науки и культуры», — неуклюже переводил он мысленно. В брошюре указывалось, что именно организация будет делать для достижения этой цели, а также то, что уже делается. «Да ведь это и есть выход, разумеется, только как символ, — подумал Яценко. — Конечно, не ЮНЕСКО сама по себе. Вероятно, и там так же пахнет казенным пирогом, как в ООН и в других таких же организациях. Но, по крайней мере, в теории это первая, и единственная, пожалуй, в настоящее время практическая попытка воплотить в жизнь картезианские начала. В этом теперь главная надежда человечества, его «путь к счастью», который и в кавычках, и без кавычек будет поважнее моего. Дюммлер как-то при мне повторял слова Прудона: «L'ironie est le caractère du génie philosophique, l'instrument irresistible du progrès»². Да так ли это? Нельзя ли сократить роль иронии и в моем миропонимании? Буду ли я еще что-то писать или нет, мой путь впредь будет иной, чем до сих пор».

Волнение у него все росло. «Isabelle, si le roi le savait...» «Да, да, если бы они знали?.. Идее мирного развития человечества, идее разумного соглашения, служению разуму и знанию *стоит* отдать остаток жизни. Все же какая-то новая жизнь появится, и строить ее будут новые люди, верящие в нее и в разумное начало в человеке, что бы такое он ни натворил в последние сорок лет. В этом строительстве найдется и место для меня, со всеми моими слабостями, со всеми моими грехами и ошибками, даже с малым запасом отпущенной мне веры».

И вдруг непонятным образом при звуках этой очень хорошей, никак его не волновавшей песенки ему стало особенно ясно, что и Надя воплощает в себе кое-что из препятствий на пути к его резонерской свободе. «Но если так, то, значит, я не люблю ее, — сказал он себе. — Может быть, вся моя душевная

¹ «Если бы король это знал, Изабель» (фр.).

² «Ирония — особенность философского гения, могущественное орудие прогресса». — Пер. с фр. автора.

жизнь в последние недели была «освобождением» и от нее? Она слишком молода для меня и слишком любит все то, чего я больше не люблю... Тогда мой долг был бы сказать ей это, — подумал он, твердо зная, что *первый* никогда этого ей не скажет. — Но моя совесть спокойна. Писать я, быть может, не буду — и слава Богу! Пусть пишут настоящие большие люди, пусть выходит в год сто книг, как когда-то, а не как теперь, сто тысяч книг, которых прочесть все равно нельзя и которые навсегда забываются через несколько месяцев. Да и они должны создавать *добрую* литературу. Прав был и тут Дюммлер, и что же мне делать, если добрая литература почти всегда мне в художественном смысле неприятна и скучна? Нет, если я уйду от Нади, то уйду в то, что называется двумя испошленными словами: «общественное служение». Мое главное «освобождение» будет в этом».

V.

На третий день в пароходной газете появилась заметка с большим заголовком «The Lie Detector».

«Благодаря исключительной любезности больших кинематографических деятелей, м-ра Пемброка и м-ра де Лавара, а также знаменитого драматурга м-ра Джексона, совершающих рейс на нашем пароходе, на долю г.г. пассажиров выпадает редкая радость: завтра в 2 часа 30 в театральном зале будет показан фильм «The Lie Detector», только что поставленный м-ром де Лаваром и м-ром Пемброком по известной пьесе м-ра Джексона. Фильм этот еще нигде не шел. Знатоки предсказывают ему огромный успех».

Дальше перечислялись имена актеров. Имя Нади было набрано жирным шрифтом, и в очень лестной форме сообщалось, что она тоже путешествует на пароходе. Было также сказано, что собственники фильма любезно предоставили его в распоряжение администрации совершенно безвозмездно. Однако администрация решила в их честь сделать пожертвование в благотворительный фонд пароходного общества.

В тот же день Пемброк, Делавар и особенно Надя и Яценко стали предметом общего почтительного интереса. К ним подходили и представлялись более бойкие из пассажиров, молодые люди и девицы просили

об автографах. Представитель благотворительного фонда посетил их в каютах и благодарил. Альфред Исаевич был очень доволен, хотя его чуть задело, что при втором упоминании в заметке на первом месте был назван Делавар. Но автор был знаток человеческой души, имел немалый опыт с путешествовавшими знаменитостями и вдобавок не знал, что де Лавару принадлежало только сорок процентов в деле.

— ...А я и понятия не имел, что вы французский дворянин! Вероятно, ваш предок-крестоносец застрял когда-то на востоке, — съязвил Альфред Исаевич. Делавар пожал плечами и сделал вид, что он тут совершенно ни при чем. Формально было действительно так: «де Лаваром» его записал Макс Норфольк, нашедший, что давно пора пожаловать боссу дворянство. «Попробуем, а там видно будет. Он не рассердится и в крайнем случае взвалит все на меня». Босс и в самом деле не рассердился. С этого дня Альфред Исаевич называл его виконтом. Виктор Николаевич был очень доволен.

Зал был переполнен еще минут за десять до начала спектакля. Когда Надя вошла, несколько человек встали и предложили ей занять их место. Она, отрицательно мотая головой, поблагодарила их улыбкой — и Пемброк, и Норфольк, и Яценко одновременно подумали, что у нее уже именно такая улыбка, какая полагается кинематографической знаменитости.

Фильм имел большой успех. Пассажиры этого парохода видели все и всех в театральном мире и никогда шумно восторга не выражали. Но и на них подействовала праздничная атмосфера, присутствие в зале автора и звезды. При появлении на экране горничной раздались довольно долгие рукоплескания. Позднее публика была в недоумении: неужели в самом деле кинематографическая звезда согласилась играть столь маленькую роль? Тем не менее после окончания фильма аплодировали много, и даже кто-то вызвал автора, который быстро и незаметно скользнул к выходу. Сотрудник паровой газеты просил сообщить подробности о постановке. Альфред Исаевич сиял.

— Огромный успех! Огромный! — говорил он.

— Триумф! Полный триумф! — говорил Норфольк.

Фильм и в самом деле был очень недурен. Играли все хорошо, особенно знаменитая артистка с остано-

вшимися глазами. Надя, порозовевшая и похорошевшая, принимала комплименты, давала автографы, сердечно благодарила. Прежние ее съемки, даже песнь комсомолки на оружейном заводе, не дали ей в свое время и десятой доли нынешней радости — так там все было серо, и так у всех над всем преобладал страх: что скажут рецензенты «Правды» и «Известий». Публика этого парохода, конечно, была самая избалованная в мире.

Делавар пригласил своих спутников в «Фонтенбло».

Он по-настоящему влюбился в Надю, готов был на ней жениться, готов был перевести на ее имя миллионы. Мысль, что он для нее никаких денег не пожалеет, наполняла его гордостью. Раз даже подумал о дуэли с американским драматургом, но Джексон был недостаточно известный человек, и в Соединенных Штатах дуэли были не приняты, и секундантов было бы достать невозможно. Надя снилась Делавару каждую ночь. Ему приходили в голову и благородные, и менее благородные планы. Он раза три звал Надю в свою каюту — полюбоваться *boiseries*; она под разными предложениями отказывалась. Теперь в его гостиную принесли Монтебелло 1929 года, и он опять сказал небольшое, очень милое слово.

Бридж был отложен до шести часов. Надя зашла в каюту Виктора Николаевича — бывала у него на пароходе из приличия очень редко. Но в это время дня в каютах никого не было. Она его обняла и горячо благодарила.

— ...Правда, ты свинья. Моя роль такая крошечная, что неловко смотреть людям в глаза! Но я знаю, что я имела успех и что без тебя я никакой роли не получила бы. Ты свинья, но я всем тебе обязана! Это очень неприятно быть всем обязанным свинье!

Он понимал, что она ругает его все-таки не совсем шуточно. Тем не менее он был тронут. Они затворили дверь.

Выйдя из каюты, Надя отправилась к себе переодеться: теперь как известная всем на пароходе звезда она должна была бы менять платье три раза в день, но скоро подсчитала, что платьев не хватит. Она зажгла лампу. На столике лежала телеграмма. Надя не сразу поняла, что это такое: забыла, что на пароход можно

телеграфировать. «Телеграмма? В чем дело! От кого?..»

Поверенный, взявший на себя ее бракоразводное дело, сообщал, что пока, по формальным причинам, развода получить нельзя и что дело затянется. Обещал сообщить все письмом и просил указать нью-йоркский адрес.

VI.

— Так теперь вы, *дорогой мой*, решили заняться шантажом? — спросил, немного успокоившись, Гранд. — А как же законы вашего штата? Не сделаете ли вы мне ваше предложение письменно?

— Давайте говорить серьезно, — сказал Норфольк. — Тони мне все сказала.

— Кажется, вы мне говорили, что наши умственные источники света поляризованы по-разному. Очевидно, у вас изменилась плоскость поляризации?

— Давайте говорить спокойно, откровенно, деловым образом. Да, если хотите, вы указали мне способ действий. Вы начали. Я тоже дилетант... Мы, кстати, и разговариваем с вами *неправдоподобно*. О таких делах настоящие люди, не дилетанты, верно, разговаривают иначе. Слишком много иронии, — сказал с досадой старик. — Ирония хорошая вещь, но не надо ею злоупотреблять. Ею злоупотребляют только очень несчастные люди. Мне еще можно, а вы молоды, бодры, умны. Будем говорить без иронии, надоело. Тони мне все рассказала.

— Хорошо, будем говорить серьезно. Вы сказали, что политика силы — это псевдоним шантажа. Но ведь для того чтобы ее вести, надо иметь силу. Скажем правду, у вас ничего нет. Я в свое время предлагал вам соглашение, выгодное для обеих сторон. Вы же просто хотите, чтобы я ни с того ни с сего отдал вам мои бриллианты.

— Не ваши, а те, которые вы украли!

— Если вы будете говорить в таком тоне, то я попрошу вас выйти вон! — вспыхнул Гранд.

— Пожалуйста, извините меня. У меня это слово сорвалось.

— То-то... Вы меня тогда угощали хорошим Шаб-ли, — сказал Гранд. Голова у него быстро работала.

«Что у него в руках?.. Неприятно... Эх жаль, только что начал новую жизнь». — Хотите я закажу? — Он взялся за телефон. — Что прикажете? Впрочем, у меня и в каюте есть арманьяк. Хотите?

— Ну что ж, дайте, — не сразу ответил Норфольк. — Кстати, у вас телефон только местный, пароходный?

— А то какой же?

— Мой босс из своей каюты «Фонтенбло» может в любую минуту вызвать Париж или Лондон.

— Подумайте, до чего дошла техника! Нет, я могу отсюда говорить только с буфетом. Неужели он может прямо из каюты позвонить в Париж?

— Может. И я с его разрешения в Париж и позво-ню, если мы не договоримся.

Гранд сделал вид, будто не расслышал, достал несессер. Норфольк внимательно на него смотрел. «Бриллианты здесь, я так и думал...»

— Покорно вас благодарю... Нет ли у вас другого дорожного стаканчика?

— Нет. Я выпью из этого, — сказал Гранд и взял стакан со стеклянной полки над умывальником. — Здесь два, я для зубной щетки употребляю тот, левый.

Они выпили.

— Вы меня подкупаете тем, что так любите пить, — сказал Гранд. — Я тоже люблю. Без этого я и разговаривать с вами не стал бы.

— Отчего же нет? Вы сказали, что я вам ничего не предлагаю. Это неверно. Я вам предлагаю оставить себе четыре бриллианта из десяти.

— Почему же такое великодушное предложение?

— Я учитываю конъюнктуру и соотношение сил. Если дойдет дело до прокуратуры, то моя приятельница получит камни не скоро, а у нее нет ни гроша.

— Ни гроша? — спросил Гранд и задумался. — Да, в самом деле, откуда же у нее могут быть деньги? Я и то удивляюсь, как она купила билет. Бедная... Но насчет прокуратуры вы это забудьте думать. Ни к какой прокуратуре вы обратиться не можете и не обратитесь.

— Почему?

— Потому что для этого нужны были бы доказательства.

— А вы думаете, у меня их нет? Во-первых, у Тони остались ваши поддельные бриллианты. Полиция, ко-

нечно, легко выяснит, кто и кому их заказывал. Кроме того, я вам, помнится, говорил, что у парижской полиции есть ваше досье. Кроме того, полиция меня знает. Кроме того, на этом же пароходе путешествует мой босс, который видел настоящие бриллианты Тони.

— Все это пустяки. Во-первых, я *мог* заказывать бриллианты по просьбе самой Тони. Во-вторых, никакого досье полиции обо мне не имеет. В-третьих, я вас обоих тотчас привлек бы к ответственности за клевету. В-четвертых, шум и вам будет не очень приятен, особенно Тони, — многозначительно сказал Гранд. «Какую-то кость придется ему выкинуть, очень подлый старик», — думал он.

— Я вообще, как уже, кажется, говорил вам, всегда предпочитаю полубовное соглашение. Но как вам угодно. Не дадите шести бриллиантов?

— Не дам, конечно. Добавьте, что у меня их осталось всего семь.

— Куда же делись остальные? — тревожно спросил Норфольк. Он этого в особенности опасался.

— Продал.

— Зачем?

— Глупый вопрос!.. Впрочем, извините, мы условились говорить вежливо. Станный вопрос. Нужны были деньги, потому и продал. Тони, верно, вам сказала, в каком материальном положении я был перед делом. Если б не такое положение, разве я сделал бы неприятность этой милой женщине?.. Скажите, как ее здоровье?

— Неважное, неважное, — сказал Норфольк. — Зачем же вы продали три бриллианта? Достаточно было бы продать один.

— Вы что, считали в моем кармане? У меня были долги. И я уезжал за границу. И за эту каюту надо было заплатить, правда? Я продал три бриллианта.

— Почему?

— Один за триста сорок тысяч французских франков, другие два за шестьсот пятьдесят.

— Продешевили, они стоили много дороже, — сказал Норфольк, чтобы сделать ему неприятность.

— А вы откуда знаете? Вы разве их видели?

— Видел раз, в Ницце, и я знаю толк в драгоценных камнях... Они у вас тут, в несессере?

На лице Гранда скользнуло неприятное удивление.

— В несессере? Почему вы думаете? Кто же держит бриллианты в несессере?

— Многие. Человек хранит у себя драгоценности и боится воров. Если он не хитер, он запрет их в сундук на ключ. Если он хитер, то он рассуждает так: вор взломает сундук, но ему не придет в голову, что ценные вещи могут храниться в незапертом чемоданчике или шкафу: поэтому положу-ка я их на полку и прикрою полотенцами или газетой, а шкафа не затворю. Если же человек очень хитер, то он себе скажет: вор не дурак, он понимает, что я для отвода глаз могу положить драгоценности на полку под полотенце, и он именно там и будет искать. Поэтому очень хитрый человек, в отличие от хитрого просто, сделает то же самое, что нехитрый: спрячет все под замок... В несколько иной форме то же самое происходит порою в политике: ультраобманщики, в отличие от обманщиков просто, говорят о своих планах совершенную правду, с полным основанием предполагая, что им все равно не поверят: люди будут искать в их словах скрытый смысл, конечно, какой-нибудь скрытый смысл найдут и таким образом попадутся на удочку. Так делал Гитлер. Обманщики расходятся с честными людьми, но ультраобманщики с ними сходятся.

— Слишком много вы болтаете... Так вы меня не считаете *очень* хитрым человеком?

— Если б я был помоложе, то я, может быть, решил бы без вашего ведома заглянуть в эту каюту, скажем, часа в четыре, когда каюты пустуют. Никаких инструментов у меня с собой нет, и хотя бы уже поэтому я ваших уиттоновских сундуков не тронул бы, но в несессер позволил бы себе заглянуть.

— Значит, вы готовы только на простую кражу, а на кражу со взломом вы не пошли бы? Это делает вам честь. Надеюсь все же, что вы в мою каюту не заглядывали?

— Нет. Риск был бы слишком велик: могла бы, например, войти горничная, и вышла бы большая неприятность. Кроме того, заметив кражу, вы подняли бы на ноги пароходную полицию. Я решил, что гораздо проще зайти к вам в гости и поговорить по-джентльменски. Рад был вдобавок при случае отдать вам визит... Покажите же мне бриллианты.

Гранд подумал, пожал плечами и достал камни из несессера.

— Не подумайте только, что я вам их отдаю, — сказал он. — С вашего разрешения я их вам в руки не

дам, вы можете полюбоваться ими на расстоянии. Видите, здесь три, остальные четыре лежат в сундуке, их я вам не покажу: слишком утомительно.

— Но я хотел бы получить и те.

— Перестаньте шутить. Небольшую сумму я готов был бы вам заплатить, и то лишь потому, что мне жаль Тони.

— Что вы называете небольшой суммой?

Гранд еще подумал.

— Я вам дам один бриллиант.

Норфольк встал со складного стула. «Был бы моложе и сильнее, дал бы ему пощечину!» — подумал он, скрывая бешенство.

— Жаль, очень жаль, что вы не идете на соглашение. Прощайте, я иду сообщить о деле капитану парохода.

— Идите, идите, дорогой мой, — сказал Гранд. Старик отворил дверь. «Кажется, в самом деле подаст жалобу», — подумал с тоской Гранд. Понимал, что независимо от дальнейшего он вылетит из ордена богатых людей после первого же сказанного капитану слова. Блеф был с обеих сторон. Норфольк перешагнул через порог, но не прочь был вернуться. — А не хотите допить арманьяк?

— Какая ваша последняя цена?

— Два бриллианта.

— Не могу! Три — и, клянусь, это мое последнее слово, — сказал Норфольк и опять сел на стул. — Послушайте, у вас останутся четыре бриллианта, они стоят полтора миллиона франков. Этой суммы хватит в Америке надолго, вы умный и ловкий человек. А она нищая, у нее ничего нет, она едет искать там работы и, может быть, ничего не найдет. Вдобавок она больна. Эта женщина вас любила, и вы ее любили или, по крайней мере, говорили, что любите. Неужели вам не совестно?

Гранд с полминуты сидел молча и вдруг заплакал. Норфольк смотрел на него с изумлением. «Плачет по-настоящему, почти как ребенок!»

— В чем дело? Я, право, не хотел... Вы легко можете исправить свою вину.

— Я вам отдам эти бриллианты... Три бриллианта... Я сам хотел послать ей деньги из Южной Америки, — сказал Гранд, вытирая глаза платком. — Вы мне, конечно, не верите, но это так, даю вам слово!

— Я вам верю.

— Я любил ее. Рана зажила, но шрам остался, — сказал Гранд. Это изречение немного его утешило. — Я сейчас дам вам три бриллианта.

— Вот это гораздо лучше, — сказал старик и выпил еще арманьяка. «Не потребовать ли все-таки четыре? Нет, нельзя. Еще взбесится!»

— Если б вы с самого начала сказали, я не торговался бы. Чем она больна?

— По-моему, сильнейшим нервным расстройством.

— Это от морфия, — сказал Гранд. Он подумал, что следовало бы послать Тони цветы. «Розовые хризантемы — «вы меня не поняли»? Хотя что же тут непонятного?.. Эдельвейс — «сохраним друг о друге воспоминание, полное благородства»? Нет, она рассердится. И тогда надо было бы к ней зайти. Нельзя, нельзя. Хорошо, что она едет во втором классе и что послезавтра мы будем в Нью-Йорке. Не встретиться бы на пристани... Бедная, так ее жаль».

— От морфия! Она морфинистка?

— Да. Вы не знали?

— Понятия не имел! — сказал старик пораженный. «Вот оно что! Это многое объясняет!» — подумал он и назвал себя старым дураком.

Теперь Гранд смотрел на него с любопытством. «Старичку Тони нравится! В его годы — и туда же! Я, впрочем, и предполагал, что он фальшивый Дон Кихот. Может быть, он и комиссию с нее получает? Моя психопатка способна была предложить ему пятьдесят процентов! Я посоветовал бы ей больше четверти не давать», — подумал он и сразу совершенно успокоился. Гранд почти никогда долго ни о каких своих действиях не жалел — «ну, ошибся, кто же не ошибается?» О трех бриллиантах жалел, но тоже не слишком: не был скуп, и оставалось у него достаточно. Еще тяжелее было бы выскочить из ордена. «Может быть, оно даже и к лучшему: она несчастная и сумасшедшая, потому отчасти и несчастная, что сумасшедшая. Теперь она, конечно, никаким наследникам отдать ничего не может, значит, я ее спас...» На старика же он был несколько зол: «Я понимаю, шантажист, но будь шантажистом вежливым! А он пристал с ножом к горлу! «Украли!» Невоспитанный человек!» Ему было совестно, что он заплакал. «Сдают нервы».

— Вы сами отдадите ей бриллианты? — спросил Норфольк.

— Нет, мне тяжело было бы с ней встретиться. Отдайте ей с моим сердечным приветом... Принесите мне от нее расписку, что я купил у нее десять бриллиантов, и я вам передам три.

— Расписка приготовлена. Именно такая, — сказал старик. Гранд кисло улыбнулся. — Вот она. Вы знаете почерк Тони? Дайте мне три бриллианта, и я вам передам расписку. Если хотите, я положу расписку на умывальник, а вы рядом положите камни, и мы возьмем одновременно, — добавил он, хотя знал, что в такой предосторожности никакой надобности нет. Гранд пожал плечами.

— Вы умный человек, но комедиант.

— Я это часто слышал, однако это неверно, — сказал Норфольк.

— Только, пожалуйста, не забудьте отдать ей бриллианты.

— Нет, я не забуду. Вы видели, что у меня хорошая память, — ответил старик.

— Но я теперь не вполне уверен, что у вас именно донкихотская плоскость поляризации, — сказал Гранд, оскалив квадратные зубы в улыбке. Лицо Норфолька искажилось злобой. Он отвернулся и вышел.

VII.

Состоялся и бал-галá в предпоследний день рейса, и концерт, в котором по традиции приняли участие находившиеся на пароходе известные артисты. В понедельник, под вечер, вдали показалось что-то длинное, бледное. Моряки говорили, что это земля.

Среди пассажиров третьего класса распространился слух, что их высадят лишь на следующий день. Наиболее же мрачные, в громадном большинстве иностранцы, говорили, что может пройти и три дня.

— ...И то, если вы не попадете на Остров Слез и если вас не отправят назад... Не может быть? Очень может быть! — говорил Ди Пи¹, бывший венец, бывший владелец галантерейного магазина на Кернтнерштрассе. Он всем в дороге рассказывал, что настоящая

¹ Перемещенное лицо (*англ.* displaced person).

жизнь была только при императоре Франце Иосифе и что у него были лучшие галстуки в Европе. «Эрцгерцоги могли покупать и даже иногда покупали! — говорил он и меланхолически добавлял: *Aber für das Gewesene giebt der Jude gar nichts*»¹.

Как полагалось по всем фильмам, пассажиры выстроились в несколько рядов на палубах, чтобы увидеть статую Свободы. Но вечер был туманный, впереди ничего не было видно, кроме бесчисленного множества разноцветных огней. И только по этим огням можно было догадаться, где дома, где корабли, где мосты.

К двигавшемуся теперь очень медленно пароходу подошло что-то темное. Точно прямо из воды всплыл и оказался на палубе осанистый человек в тужурке и фуражке. «Инспектор!..» — «Доктор!..» — «Начальник полиции!» — слышался почтительный шепот, и испуганный, и полный надежды, точно теперь все и должно было решиться. Свистки учащались. «Вот и Америка!» — «Ну, посмотрим, что с нами тут будет». — «Хуже, во всяком случае, не будет...» — «Это небоскребы? Не может быть! Я думал, что они гораздо выше!» — «Чего вам нужно еще! Смотрите, где у того верхний этаж!» — «Какой это верхний этаж! Это звезда!» — «...Самый большой порт в мире!» — «Да, это вам не Гдыня». — «Тетья, наверное, будет на пристани», — говорили негромко люди, в большинстве нерадостно прожившие последние годы в Европе. Все были очень взволнованны.

В девятом часу пароход с протяжным свистом остановился, причалив не то к пристани, не то к чему-то тоже плавучему, что как будто вдруг могло сорваться с цепи и уйти в Европу: в Америке все возможно. Долгий страшный свисток еще усилил оживление. Но тотчас стало известно, что медицинский осмотр, допрос и проверка документов начнутся лишь на следующее утро. Утомленные люди, кряхтя и упрекая друг друга в легковерии, раскладывали чемоданы и мешки, с трудом сложенные еще с утра. «И куда было так спешить! Ты еще должна была перевязать эти проклятые ремни!» — «Выдумали: инспектор!» — «Какой это к черту был инспектор! Это был черт знает кто, а не инспектор!» — «Я с самого начала говорил, что нас

¹ «Но за то, что прошло, еврей не даст и ломаного гроша» (нем.).

сегодня не высадят! И завтра тоже не высадят, помяните мое слово!..»

Макс Норфолк тоже находился на палубе третьего класса. Его всегда тянуло к непривилегированным людям, к *underdogs*¹. Он тотчас и здесь кое с кем познакомился.

— ...Вот оно, мое счастье, — саркастически-горестно говорил венец. — Другие люди уехали в Америку до прихода к власти дорогого Гитлера, а я все время жил в Европе. Если это можно назвать «жил». Уезжаю же я в Америку тогда, когда дорогого Гитлера больше нет!.. Если, впрочем, его действительно больше нет? Вполне возможно, что он жив и здоров и даже едет с нами на этом пароходе. У него, наверное, были аффидэвиты от миллиардеров, и бумаги у него в полном порядке. Приклеил себе бороду, надел темные очки, называется теперь Рабинович и едет в первом классе в Нью-Йорк, а? Вы этого не думаете?

— Нет, я этого не думаю, — смеясь, ответил старик.

— Не знаю, не знаю... Увидите, теперь Европа расцветет, как только я оттуда уехал. А в Соединенных Штатах, наверное, начнется кризис, а? Такое мое счастье!.. Подъехать к Нью-Йорку и не видеть статуи Свободы! Как бы только я ее не увидел на обратном пути! Может быть, меня не пустят в Америку.

— Отчего же не пустят? Ведь у вас есть виза.

— А если у меня завтра найдут трахому? Я в жизни не болел трахомой, но разве можно знать, что они найдут? Я дал под присягой подписку, что я не содержатель публичного дома и что я не собираюсь уничтожить американский государственный строй. Хорошо, я как-нибудь им завтра докажу, что публичного дома у меня нет, но как я могу доказать, что я не собираюсь убить президента Трумэна? И особенно как я могу это доказать, если я по-английски знаю только «плиз, мистер консул»?

— Вас никто не встретит?

— Вероятно, никто. У меня племянник в Филадельфии, у него магазин готового платья, он мне прислал чудный аффидэвит. Консул просто остолбенел, когда его увидел, и сказал мне: «Ну, господин Эпштейн, вам нечего беспокоиться...» Впрочем, он, может быть, сказал что-нибудь другое: откуда я могу

¹ Неудачники (англ.).

знать, что он сказал?.. Но дядя хорош только американский. Кому нужен европейский дядя? Мой племянник, наверное, теперь думает: «Аффидэвит я дяде дал, и с него совершенно достаточно. Если же я выеду встречать дядю, то он сядет мне на шею». А оспа! — с ужасом сказал венец. — Я привил себе оспу и заплатил за это как все. Но у других она привилась, а у меня, конечно, нет! Верно, заставят прививать опять!

— Зачем так мрачно смотреть на вещи? — сказал Норфольк смеясь. Он вспомнил, что читал что-то сходное в пьесах Вальтера Джексона. «Впрочем, образ сверхпессимиста не слишком интересен». — Я понимаю, что о вашей жизни можно написать целый роман...

— И какой! — прервал его венец.

— Авантюрный роман, как о жизни всякого человека, особенно путешествующего на пароходе в третьем классе. Читать, впрочем, никто не будет, потому что несчастья беженцев всем надоели. Но в конце концов все выходит если не хорошо, то, по крайней мере, сносно. Мудрый Спиноза сказал, что свободному человеку ничего не нужно, тем более что все в мире одновременно и плохо, и прекрасно.

— Неужели Спиноза это сказал? — спросил недоверчиво венец. — Но если он это и сказал, то что он мне рассказывает, будь он хоть двадцать раз Спиноза! Что было прекрасного в Гитлере? И я могу вас уверить, что свободному человеку, например, виза в Америку может быть очень нужна.

Норфольк разыскал Тони. «Может быть, тот мерзвец и соврал. В моей коллекции только морфинисток не хватало!» — думал он, внимательно в нее всматриваясь.

— Где вы остановитесь в Нью-Йорке? — спросил он ее.

— Не знаю. Буду искать гостиницу. Говорят, теперь Нью-Йорк совершенно переполнен?

— Да. Позвольте вам рекомендовать один недорогой отель в центре города, недалеко от Бродвея. Меня там знают, я там долго жил, и я думаю, что если вы на меня сошлетесь, то вам комнату найдут. Хотите?

— Хочу, — ответила она, подумав. Он вынул карточку и записал название и адрес гостиницы. — Очень вас благодарю. Вы и сами там остановитесь?

— Нет, я ведь еду с кинематографическими магнатами, на счет их предприятия. Для нас заказаны комнаты в «Уолдорф Астории», — сказал он оправдывающимся тоном. — Вы разрешите мне к вам зайти?

— Я буду очень рада. И еще раз вас благодарю. Вы мне оказали большую услугу... Хотя и поздно.

— Поздно для чего?

Она с вызывающей, *прежней*, улыбкой смотрела на него.

— Много будете знать, скоро состаритесь. Это у нас есть такая поговорка, — сказала она.

— Я ни о чем вас не спрашиваю. Если хотите что-либо рассказать, расскажите. Давайте посидим где-нибудь на прощание, — сказал он, всматриваясь в нее все внимательнее. «Может быть, она от волнения перед приездом даже увеличила дозу? Тогда сейчас же все о себе расскажет...»

— С большим удовольствием. Я сама хотела вам предложить это, — с вызовом в тоне ответила она. — Только ведь вы, в сущности, не знаете, кто я такая. Может быть, я агентка Коминтерна?

— Я думаю, вы последняя женщина, которую большевики взяли бы в агентки, — сказал он смеясь.

— Почему? — быстро спросила она. — Потому что я ненормальна?

— Потому что вы слишком нервны. Впрочем, я не настаиваю, им могут быть нужны всякие люди. Так вы агентка Коминтерна?

— Я сама не знаю, — ответила она серьезно.

«Уже пьяна!» — тревожно подумал Норфолк.

— Во всяком случае, я отроду ни одной шпионки не видел. Очень приятно познакомиться с первой, — сказал он, неуверенно стараясь обратить разговор в шутку.

В этот последний вечер в другом конце парохода у Виктора Николаевича был разговор с Надей.

— Ты понимаешь, твое предложение застает меня врасплох, — взволнованно говорила Надя. Ей действительно так казалось, хотя она думала о его словах целый день. — Совершенно врасплох! Конечно, эта телеграмма была для нас полной неожиданностью. Я думала, что месяца через два мы будем женаты. Посмотрим еще, что будет в письме адвоката. Во всяком случае, до того ни о каком решении не может быть речи!

— Разумеется, — поспешно сказал он.

Ему было ясно, что Надя уже приняла его предложение. «Она огорчена, но я предполагал, что она будет огорчена гораздо больше», — думал он с неприятным чувством. Ему самому было совестно этого

неприятного чувства: он почти с облегчением узнал от Нади, что ее развод откладывается на неопределенное время. «Судьба мои колебания разрешила, и разрешила благоприятно... Теперь ясно: освобождение «во всех смыслах». Но отчего же мне неприятно, что *она* не так огорчена? Для начала новой жизни не очень подходит психология собаки на сене...»

— Ты говоришь, что я должна сохранить свободу. Что это означает на деле? Только то, что я поселюсь не в твоей квартирке, а в гостинице, больше ничего, — быстро говорила она, нервно вертя кольцо на пальце. — Наша любовь остается и останется прежней.

— Разумеется, — подтвердил Яценко. Слово «квартирка» его задело. В нем ему послышался намек на его бедность, хотя Надя этого и в мыслях не имела.

— Я понимаю, в Америке нельзя жить в одной квартире, если мы не венчаны. Об этом тотчас узнает консьерж или, как у вас говорят, суперинтендант. Говорят, на этом можно погубить карьеру, я тоже слышала, — говорила она. «Я ничего об этом не сказал. Она сама об этом подумала, и еще до того, как мое предложение застало ее «врасплох». Что ж делать, она не может быть другой. У нее трезвый практический ум, и это не мешает ей быть прелестным существом», — думал он. — Ты согласен со мной?

— Да, это *тоже* имеет некоторое значение.

— Как «тоже»! Только это и имеет значение. Что же еще?

— Я беспокоюсь не о том, что подумает мой суперинтендант, — сказал он и тотчас, спохватившись, подавил раздражение. Надя покраснела. — Знаю, знаю, что и ты думаешь не об этом. Но есть и другие причины. Я старше тебя на много лет. Ты гораздо моложе меня и душой. Конечно, ты могла бы всегда от меня уйти, — сказал он, бросив на нее быстрый вопросительный взгляд. — Не сердись. Я говорю то, что должен был бы сказать всякий порядочный человек.

— Ты вообще слишком много думаешь о том, что должен делать порядочный человек!

— Может быть. Если ты выйти замуж за меня не можешь, то ты должна быть совершенно свободна.

— Но я люблю тебя!

— Ты знаешь, *как* я тебя люблю. Пока ты любишь меня...

— Не «пока», а так всегда будет! — перебила его

Надя со слезами в голосе. Она сама не понимала, о чем с ним спорит и почему спорит: то, что он предлагал, было разумно. Однако ей было очень больно.

— Так будет, пока ты будешь хотеть, чтобы так было, — сказал Яценко и закурил папиросу. — Я предлагаю что-то вроде «свободной ассоциации», — шутивным тоном пояснил он.

— Повторяю, вся разница будет в том, что мы будем жить раздельно.

— Я достану для тебя комнату в гостинице.

— Дело не в этом. Альфред Исаевич мне сказал, что для меня будет комната в «Уолдорф Астории».

— Ты уже говорила с Альфредом Исаевичем?

— Не об этом, конечно, не о том, о чем сейчас с тобой. Но он давно мне намекнул, что в Америке мне не очень удобно жить у тебя, пока мы не венчаны: «Когда повенчаешься, тогда и переезжайте, а до того живите раздельно...» И не вздумай говорить, что ты будешь за меня платить! Платить буду и не я, а фирма Пемброка. Он сам говорит, что это входит в издержки производства.

— Какое производство, когда у тебя нового договора нет?

— Новый договор скоро будет. Они предлагают мне суточные, пока не окажется для меня роли. А когда будет роль, то будет и договор.

— «Они»? Кто «они»?

— Да Пемброк же, конечно! Фирма Пемброка. — Она вдруг расхохоталась. — Неужели ты в самом деле ревнуешь меня к Делавару? А я его просто терпеть не могу!

— В мыслях не имел! — сказал Яценко, пожимая плечами. — Теперь это твое дело, но я не советовал бы тебе соглашаться ни на какие суточные. Я тебе найду комнату в гостинице поскромнее.

Она вздохнула.

— Тогда контакт с Альфредом Исаевичем будет потерян или, во всяком случае, очень ослабеет. Ведь к нему будут каждый день приезжать самые важные кинематографические люди, он обещал знакомить меня со всеми. И ты понимаешь, что в Америке одно отношение к артистке, которая остановилась в «Уолдорф Астории», и другое — к такой, которая живет Бог знает где. Пойми же, как это важно для моей карьеры! Ты знаешь, Альфред Исаевич сказал мне, что тотчас заключил бы договор и со мной, если б ты с

ним подписал контракт на два года. Но ты не хочешь, — сказала она полувопросительным тоном.

— Не хочу и не могу, — сухо ответил он. — Я тебе сто раз объяснял.

— Знаю, знаю, незачем объяснять в сто первый! Ты считаешь это «проституцией»! Я не считаю, и никто не считает, но это твое дело. Я убеждена, что Альфред Исаевич все равно мне работу даст. Наконец, скоро будут поставлены «Рыцари Свободы». Я буду получать жалованье. И я тебе тоже сто раз говорила, еще в Ницце, что *не хочу и не могу* жить на твои деньги.

Он спорил еще долго, но чувствовал, что спорит без желания переспорить.

«Да, она, как мы все, *не может* быть другой. Если никто никого не может переспорить, то уж тем более никто никого не может переделать. У нее свой «путь к счастью», это успех, «красивая жизнь», как у большинства людей. Может быть, она всего этого и добьется. Есть кинематографические звезды, которые так же далеки от искусства, как она...»

— Впрочем, еще будет время обо всем поговорить. Ты уже уложила вещи?

— Нет, еще не все. Кстати, мое лиловое имеет, кажется, бешеный успех, а стоило всего восемь тысяч, — сказала Надя.

Часов в одиннадцать в залу заглянул Макс Норфольк, совершавший свой вечерний обход парохода. Он попросил разрешения присесть. Они и на пароходе не раз разговаривали о самых разных предметах. «Умный и образованный человек, — думал о нем Яценко, — но у меня не лежит душа к людям, устраивающим ремесло из остроумия. Теперь он для меня особенно старается: догадался, что я его изобразил в Максе. И он все больше походит на моего Макса; вот уж именно не очень интересная жизнь старается подражать не очень хорошему искусству».

У Норфолька был необычный для него растерянный вид.

— Правда ли, м-р Джексон, что вы скоро собираетесь бросить кинематограф? — спросил старик.

— Да, это правда.

— Не мое дело давать вам советы, и вам, конечно, совершенно безразлично мое суждение, но я думаю, что вы правы. Мисс Надя сказала мне, что вы считаете работу над фильмами... Она употребила резкое слово.

Это, конечно, так, хотя в теории могло бы быть совершенно иначе. Верно, вы будете писать романы?

— Может быть. Еще не знаю.

— Как я вам завидую! Я пробовал когда-то заниматься литературой, да не оказалось никакого таланта. Кроме того, мой общий коэффициент смешного в отношении людей оказался слишком высоким. Природу я люблю, но природа давно описана. Идеи тоже люблю, но тогда надо было бы писать философские книги. Если хотите, я и людей люблю, однако они в моем изображении всегда выходили бы слишком смешными и жалкими... Сам Марсель Пруст бессмертен, если можно так выразиться, мертвым бессмертием: его читают, но не перечитывают. Он был органически неспособен ценить красоту мира. Впрочем, и жестокая литература всегда отстает от жизни. Вы следили за процессами расистов?

— Конечно. Как все.

— Помните там фигуру Рудольфа Гесса? Его не надо смешивать с тем Рудольфом Гессом, который считался третьей особой третьего, но не последнего рейха, пока на процессе не оказался просто кретином. Нет, я говорю о другом человеке, занимавшем гораздо более скромное положение: он был начальником Освенцимского лагеря и на процессе откровенно показал, что сначала отравил газами, а затем сжег в печи два с половиной миллиона людей, «потому что ему это приказал сделать Гиммлер именем фюрера». Наладил фабричное производство с побочными продуктами вроде волос, жира, золотых пломб. Согласитесь, что никакой романист этого не придумал бы. Предупреждаю вас, если б вы хотели изобразить этого господина, то вы потерпели бы полную художественную неудачу. Однако в литературе сентиментальность еще хуже мизантропии. За нее критики тоже очень ругают. Все авторы боятся критики и, верно, после выхода книги с тревогой по ночам представляют себе все грубое и издевательское, что может сказать о них критик. Ведь публика не отдает себе отчета в том, что самая нелюбезная рецензия — это только мнение о книге мистера Джонсона или мистера Томсона.

— Не знаю, что вы называете сентиментальностью, но если я еще буду писать пьесы или рассказы, то буду писать хороших людей.

— Я выбирал бы людей средних, то есть тех, что все-таки ближе к хорошим, чем к дурным. Они, назло

мизантропам, составляют большинство в человечестве. Впрочем, я вас понимаю. Вы человек серьезный, я сказал бы даже важный, разумеется, «раздираемый сомнениями», но любящий добро, ищущий его и, главное, понимающий, в чем оно.

— Вы очень любезны, — перебил его Яценко. «Приблизительно то же самое мне говорил Николай Юрьевич, — подумал он. Эта мысль была ему приятна. — Но в том-то беда, что она мне *приятна*».

— Добавлю, что вы, как громадное большинство писателей, все упрощаете. Простите, что вам говорю это. Но, быть может, мы больше никогда не увидимся, отчего же на прощание не сказать? Вы даете только первое приближение к истине. Ну вот, скажем, вы познакомились с каким-нибудь человеком, поболтали с ним за вином, он любит выпить, он ничего не подозревает, у него плохая и глупая привычка откровенничать. А вы тут как тут: подметили кое-как кое-что, разумеется, больше внешнее. И вот у вас персонаж, которым вы, верно, очень довольны. А он все-таки гораздо сложнее, чем вы думаете. А уж четвертого измерения вы и совсем не видите. Его видят только очень немногие гениальные писатели. Английский математик Хинтон, при помощи каких-то физических фокусов и психологических приемов, довел себя до того, что *видел* четвертое измерение. А вы не видите. Попадетс я вам Норфольк — возьму и огрублю Норфолька, — сердито сказал старик. — У вас, кажется, и Лиддеваль навеян моим боссом. Только этого вы добавок приукрасили. Первое приближение к истине, первое приближение к истине. Вы думаете, что вы знаете людей? Так думают все писатели. Это чистейшая иллюзия. В ваших произведениях вы сами составляете человека, поэтому он вам и ясен. Так часовых дел мастер знает часы, которые он сам же собрал. А в жизни с людьми, не вами сочиненными, вы теряетесь. И не только вы, конечно. Все писатели таковы, кроме двух-трех человек. Все остальные, даже самые знаменитые, бессмертны, если можно так выразиться, только мертвым бессмертием.

— Да я ни на какое бессмертие не претендую, ни на живое, ни на мертвое, — ответил Яценко смущенно.

— Полноте, всякий солдат хочет быть если не фельдмаршалом, то хоть фельдфебелем, а уж фельдфебельский *жезл* у каждого в ранце, — сказал Норфольк, поднимаясь. — Я, впрочем, немного преувели-

чиваю. Я не отрицаю, писатели *кое-что* видят из того, что от нас ускользает. И вы кое-что во мне увидели, это правда... Позвольте с вами проститься, мне еще надо пойти к боссу. Кстати, он мне сегодня увеличил жалованье. Что ж, капиталистический строй имеет некоторые преимущества... Очень скромные сами по себе, но сильно выигрывающие от сравнения. Все прежние экономические системы были хуже его, а все предстоящие будут не лучше и, уж во всяком случае, скучнее. Я его больше и не ругаю, тем более что тут на каждое общее место так легко ответить противоположным общим местом... Мой босс, по крайней мере, не скуп и вдобавок чрезвычайно любит женщин, что меня всегда подкупает в людях. Я должен отнести ему проект интервью, которое он завтра будто бы даст репортерам.

— В ваши обязанности входит и составление интервью?

— Я представляю проект, а он его забракует. Он уверяет, что всегда импровизирует и всегда выходит отлично. Я состою Аристотелем при этом Александре Македонском, но отвечаю за него еще гораздо меньше, чем Аристотель за Александра.

VIII.

Пристань походила на исполинскую фабрику из фильма передового режиссера.

Пемброк с Надей спустились с парохода в числе первых. Надя была в еще более возбужденном состоянии, чем в тот день, когда садилась на пароход: попала в самую главную страну в мире! Альфред Исаевич объяснял ей все с таким гордым видом, точно Америка была его собственным именем, которое он очень хорошо и удобно обставил.

Багаж был разложен по первым буквам фамилий пассажиров; чемоданы Нади оказались далеко от вещей Яценко и Пемброка. Она все волновалась, что их украдут, и не хотела было отходить, но Альфред Исаевич, улыбаясь, объяснил ей, что этого никак быть не может. Все же он приставил к вещам носильщика и повел Надю в большую освещенную сверху залу, где дамы какой-то благотворительной организации угощали приезжих Ди Пи кофе в картонных стаканчиках, бутербродами и сухим печеньем. Надя смотрела на

них с восторгом. Нигде в мире этого не было. Ди Пи были именно такие, какими им надлежало быть: испуганные, растерянные, плохо одетые; они с изумлением принимали картонные стаканчики от улыбавшихся дам. «Верно, бедные, лет десять, а то и всю жизнь, не слышали ласкового слова!» — говорила вполголоса Надя.

Пемброк одобрительно кивал головой. Он еще на пароходе сообщил репортерам о своих планах и принял своего директора, который доложил, что дела в совершенном порядке. Оказалось также, что у Сильвии все благополучно: от нее пришла длинная телеграмма из Калифорнии. Директор хотел остаться на пристани, но Альфред Исаевич отпустил его. Он был очень весел, как всегда при возвращении в Соединенные Штаты.

Надя изучала американскую жизнь. Везде были автоматы, огнетушители, телефонные будки, объявления магазинов и гостиниц. Висели надписи: «No smoking»¹ — и все курили, «Stop. Danger!», «Watch your step!»² — и никто на них не обращал внимания. Она с жадностью искала по стенам театральных объявлений, но именно их было очень мало. Издали ей показалось, что как будто висит театральная афиша, — оказалось: «My beer is Rheingold, the dry beer»³. Альфред Исаевич объяснял ей, что в одном Нью-Йорке больше телефонов, чем во всей Европе, вместе взятой. «Где же бегает Виктор?» — думала она. Ей хотелось, чтобы он, а не Пемброк показывал ей Америку.

Среди первых отпущенных на свободу пассажиров был Гранд. Он с самого начала показал таможенным чиновникам свои бриллианты и объяснил, что едет в Южную Америку. Носильщик, видимо, очень им довольный, нес за ним превосходные новенькие чемоданы. Гранд учтиво поклонился Наде. На пароходе Делавар его ей не представил, сказав кратко, что это прохвост. Наде не верилось: такое милое у него было лицо. Впрочем, она теперь была расположена ко всем людям.

— Вот видите, honey, у вас во Франции сегодня пьшут специально для нас, янки: «Smoking is not allowed»⁴, и они думают, что это по-американски. А у нас

¹ «Не курить» (англ.).

² «Стоп. Опасно!», «Будьте внимательны!» (англ.)

³ «Мой выбор — Рейнгольд, сухое пиво» (англ.).

⁴ «Курение не разрешается» (англ.).

пишут: «No smoking» — насколько это проще и какая экономия! Вот она, американская efficiency!¹ — говорил Пемброк. Он увидел плакат «Welcome home»² — и чуть не прослезился от умиления. Надя огорченно чувствовала, что к ней, с ее пятимесячной визой, эта надпись пока не относится.

Тем временем Делавар давал интервью.

Ему уже стало ясно, что с Надей ничего не будет: такая подходящая обстановка, как на пароходе, больше не повторится. Он вспомнил слова Наполеона: «В любви есть только одна победа: бегство». Эти слова несколько его успокоили. Еще больше его утешила мысль о репортерах, которые скоро его *обступят*. Хотя он знал, что репортеров угощать не обязательно, велел подать в гостиную «Фонтенбло» три бутылки шампанского. Пришло всего два человека; они, видимо, были удивлены, но приятно.

— ...Европа переживает серьезный кризис, — очень отчетливо, с расстановкой, почти так, как он диктовал секретарям, говорил Делавар. — Возможность войны, конечно, не может считаться совершенно исключенной, но есть все основания думать, что войны не будет, так как ее никто не хочет. Здравый смысл человечества может восторжествовать, должен восторжествовать и восторжествует! — с силой сказал он. (Репортеры уныло записывали на всякий случай: догадывались, что в редакции все это будет брошено в корзину.) — Европа, и в частности Франция, понемногу оправляются от последствий войны, которые, конечно, не могли не быть тяжкими. В этом отношении очень большую роль сыграл и план Маршалла. Теперь же основная задача человечества заключается в том, чтобы не для разрушительных, а для конструктивных целей была использована атомная энергия. Додумавшийся до нее пылкий гений человечества, быть может, в первый раз в истории мира вызвал к бытию силы, с которыми при неблагоприятно сложившейся конъюнктуре было бы трудно справиться. Вы все помните легенду об *Arpenti sorcier* (он перевел эти слова на английский язык): ученик колдуна вызвал злого духа и не мог водворить его на прежнее место. Этой тяжелой проблеме, повисшей над всем человечеством, будет посвящен грандиозный фильм, который я намерен поста-

¹ Эффективность (*англ.*).

² «Добро пожаловать домой» (*англ.*).

вить при участии моего друга м-ра Альфреда Пемброка из Голливуда...

Норфольк все время многозначительно кивал головой, как бы приглашая репортеров оценить глубину мыслей босса. «У него на лице такое выражение, какое могло быть у Линкольна в те минуты, когда он произносил Gettysburg Address»¹, — весело подумал старик.

Багаж Яценко попал во вторую залу. Когда осмотр кончился, Виктор Николаевич отправился разыскивать своих спутников и вдруг с изумлением увидел Тони. Он не сразу ее и узнал: так она изменилась. «На лице совершенная *tourneur*!² Что с ней?»

— Какими судьбами? — спросил он по-русски. — Так вы тоже путешествовали на этом пароходе?

— Да, я тоже путешествовала на этом пароходе.

— Я и не знал, что вы собираетесь в Америку. — «Какой у нее теперь Аффективный Мотор?» — хотел спросить он. — Но как же мы не встретились?

— Вы путешествовали в первом классе, а я во втором, поэтому встретились только теперь... А помните, я говорила вам, что мы будем встречаться, что наши жизни перекрещены. Говорила я это?

— Говорили, — сказал он с внезапным очень неприятным чувством.

— То-то. Предчувствия меня никогда не обманывают. Вы меня *никогда* не забудете. Вспомните на смертном одре, будете вспоминать и дальше.

«Совсем сошла с ума!» — тревожно подумал он. Вдруг насмешливость, давно ее оставившая, засветилась в ее глазах. Она опять, как прежде, откинула голову налево и назад, но Яценко теперь смотрел на нее только с жалостью. — Надеюсь, вы в Америке откроете отделение «Афины»?

— И рад бы, да не могу. Я не умею *звонить*, — саркастически ответил он. Тони засмеялась.

— Здесь не нашли, так можно искать в другом месте. Либо в стремя ногой, либо в пень головой, — медленно с расстановкой ответила она. У конца низкого стола, на котором лежали ее чемоданы, появился таможенный инспектор. Она засуетилась и отошла к столу. Яценко с недоумением смотрел ей вслед.

Кто-то его окликнул. Норфольк подошел к нему, поглядывая на него с любопытством.

¹ Геттисбергская речь (англ.).

² Оцепенение (фр.).

— Вы знаете эту даму? Я тоже. Она русская... Даже очень русская.

— Да, я ее знаю, — сухо ответил Виктор Николаевич. «Ничего она не русская! Надя гораздо более русская, чем эта изломанная неврастеничка».

Старик наклонился к нему и сказал с выражением одновременно загадочным и фамильярным:

— Вот что, этой женщины вы ни в каком произведении не выводите. Она вам не удастся, это будет самый худший ваш образ. Тони вся четвертого измерения, правда, довольно плоского, есть ведь и такое: человек может быть пошл и в своем четвертом измерении.

— Я ее не выводил и не собираюсь выводить, как вообще живых людей не пишу. Если у кого что подмечаю, то это еще не значит, что я его «вывожу», — сердито сказал Яценко. — Но где же все наши? Вы их не видели?

— Не знаю, я был занят своим багажом. Да вот они.

— Норфольк? Где же вы пропадаете? — окрикнул старика Делавар, появившийся на пороге с Надей и Пемброком. Имя без «мистер» резануло Норфолька.

— Вот он наконец-то... Я тебя ищу уже полчаса! — взволнованно говорила Надя. — У меня все прошло совершенно благополучно: я не заплатила ни одной копейки! И они были очень очень любезны!

— Look, sugar plum, почему же им быть нелюбезными? — спросил Пемброк. — Это цивилизованные люди, и они видят, что имеют дело не с жуликами... А вы, сэр Уолтер, что-нибудь заплатили?

— Ничего.

— И виконт тоже ничего. Ну, едем... Я забыл, сэр Уолтер, где вы живете?

— На 84-й улице Вест.

— Мы вас подвезем, хотя это и не по дороге в «Уолдорф Астории». Едем, господа, вещи уже отправлены.

— Прощайте, миссис Надя, — сказал Делавар с видом спасшегося бегством императора.

В денежной честности Тони был пробел. Она ни за что не попользовалась бы чужой копеечкой, но платить таможенные пошлины не считала себя обязанной. Иногда в прежние времена даже с некоторой гордостью рассказывала знакомым, что провезла из Швей-

царии или из Бельгии какие-то вещи, ничего на таможене не заплатив. Три бриллианта свалились ей на пароходе совершенно неожиданно; за них на границе надо было бы заплатить большие деньги, которых у нее и не было. Она спрятала камни в корсаж.

Это, вероятно, сошло бы благополучно, если бы в чемодане у нее не оказалась спринцовка. Утром этого дня у Тони оставалась только одна доза морфия. Она хотела было выбросить ее за борт, но подумала, что именно в первый день в чужом городе ей будет особенно тоскливо. «Ну что ж, ведь пустяк, осталась такая малость», — решила она и спрятала морфий на дно сундука.

Опытный чиновник, найдя спринцовку, внимательно посмотрел на Тони, очень тщательно проверил весь ее багаж и нашел скляночку, показавшуюся ему странной. Он позвал другого чиновника, пошептался с ним, позвали еще кого-то, врача или аптекаря. Тони что-то путано объясняла. Инспектор слушал ее с каменным лицом, затем вызвал какую-то даму и пригласил Тони в отдельную комнату для личного осмотра.

Вечером она была доставлена на Эллис-Айленд.

IX.

Для Норфолька тоже была снята комната в «Уолдорф Астории». В другое время он очень оценил бы ее роскошь и комфорт — после тех условий, в каких жил в Лондоне, на Ривьере и в других местах. Но ему было не до гостиницы. У него не выходил из головы последний разговор с Тони.

Он просто ничего не понимал. Теперь ему было почти ясно, что перед ним женщина, не вполне нормальная умственно, хотя и со светлыми промежутками. Она говорила о морфии, о видениях, о десяти своих воображаемых жизнях. Начала, впрочем, с какого-то звонка Кут-Хуми. Он слушал с изумлением и даже, вопреки своему обычаю, не шутил.

— Не волнуйтесь, — иронически сказала она. — Звонок был делом Гранда, я к нему не имела отношения... Просто мне нравилось, что люди так глупы.

— Меня трудно удивить глупостью людей, — сердито сказал Норфольк. — Но это не резон, чтобы пользоваться их глупостью для уголовных или полуголовных действий.

Тони смотрела на него с пьяной насмешливой улыбкой.

— На словах вы отрицаете буржуазную мораль, а на деле...

— Я ее не отрицаю, и она не буржуазная: Моисей не был капиталистом, а в «Коммунистическом манифесте» ничего о десяти заповедях не сказано.

— А на деле вы такой же буржуа, как они все. Вы и не понимаете, что может быть радость, освобождение, счастье в полном, совершенном презрении ко всему этому. Не понимаете и не поймете!

— Что же тут непонятного? Так, верно, думают все люди, кончающие жизнь на электрическом стуле, — сказал он, с беспокойством взглянув на нее. — Надеюсь, у вас это чистая теория?

— Не надейтесь, — ответила она и, выпив залпом большую рюмку бренди, заговорила о своей прабабке-колдунье и о том, что ей самой тоже пожал руку своей холодной рукой Князь Тьмы, принявший ее на службу в разведку международной организации. Норфольк слушал, вытаращив глаза.

— Послушайте, — сказал он холодно, изменившись в лице. — Все остальное, все звонки Кут-Хуми не имеют значения и не слишком меня интересуют. Но *это!*.. Это какая жизнь: настоящая или воображаемая?

— Не знаю... Никакой разницы нет, — ответила она, подумав довольно долго.

В эту минуту его вызвали к Делавару. Больше он Тони не видел.

«Сумасшедшая в полном смысле слова, — подумал Норфольк теперь, сидя в ванне своего номера. — Если это просто ей приснилось, то беды нет. Быть может, очнется и станет прежней милой барышней. Но что, если все это правда? Тогда ее скоро поймают, посадят в тюрьму, она скажет обо мне, и мое положение станет весьма неприятным!» Он поймал себя на том, что уже думает о своих *будущих* показаниях властям. «Почему же вы, будучи американским гражданином, не донесли на женщину, отправленную в Соединенные Штаты с целью шпионажа?» — «Потому, что эта сумасшедшая была под двойным действием морфия и алкоголя, я просто мало понял в ее болтовне», — отвечал он следователю, *пожимая плечами* (заметил, что уже пожимает плечами, сидя в ванне). — «Впрочем, едва ли она сообщит властям, что все рассказала мне. Зачем ей это делать без всякой пользы для себя, когда я ей оказал громадную услугу? Разве только из «презрения к буржуазной морали»? Но дело не в моей юридичес-

кой ответственности. Моя моральная обязанность была *донести* еще на пристани...»

Его отеческое чувство к Тони чрезвычайно ослабло после этого разговора с ней. Все же он себе представлял, как ее арестуют по его *доносу*, как будет устроена очная ставка, как она будет на него смотреть, — и чувствовал, что донести нелегко. Говорил себе также, что на очной ставке всплыло бы и многое другое. «Как вы узнали, что она морфинистка?» — «Мне это сообщил Гранд». — «Кто это?» Всплыл бы и этот господин, уголовное дело с бриллиантами, я в качестве шантажиста Дон Кихота. Этому они никогда не поверят, — думал он, вспоминая свою службу в полиции. — Затем всплыла бы и история с их идиотской «Афиной». Босс, наверное, в восторге от этого не будет. Во всех газетах были бы мои портреты в обществе жулика и шпионки (если она шпионка?). Я потерял бы место, а после такой рекламы найти службу в Америке было бы невозможно, я скоро очутился бы на улице», — говорил он себе, но чувствовал, что, как ни основательны все эти соображения, главное не в них, а в том, что *доносить* вообще тяжело, а ему на молодую красивую и несчастную женщину в особенности.

«Разумеется, если б я твердо знал, что все это правда, что она коммунистическая агентка, я донес бы без малейшего колебания. Я американский гражданин, я обязан исполнить свою гражданскую обязанность и тотчас сообщить о ней властям, а то, как она на меня посмотрит на очной ставке, не имеет ни малейшего значения. Но что, если все это пьяный бред? Тогда я без всякой необходимости поставлю себя в очень тяжелое, почти безвыходное положение. Нет, надо сначала ее повидать еще раз и заставить ее сказать мне всю правду», — думал Норфольк, одеваясь.

На Бродвее было слишком много магазинов съестных припасов, слишком мало книжных магазинов, слишком много световых реклам, слишком мало никуда не торопящихся людей. Он купил газету, известную по перепечаткам всему миру, и нашел, что она слишком велика: «Не стоит терять столько времени». С газетой он вошел в большую «кафетерия». В свое время, приезжая из Бруклина в Манхэттен по делам, изредка позволял себе здесь обедать, когда бывали деньги. В кафетерии было слишком много блюд. После Европы его раздражало, что надо поскорее съесть

обед и освободить место для других. Выбрал себе столик в углу, где было окошечко в бар. Через окошечко получил виски, к концу обеда спросил еще бренди, пошел к стойке за второй чашкой кофе. Когда он нес чашку назад к столику, его озарила мысль: надо сейчас же, сейчас поехать к Тони и предъявить ей ультиматум: либо она немедленно уедет назад во Францию и больше носа не покажет в Соединенные Штаты, либо он немедленно донесет на нее полиции!

«Превосходная мысль! Эта психопатка должна будет принять мой ультиматум! У нее другого выхода не окажется. Деньги? Я ей достал бриллианты, ей останется достаточно для того, чтобы начать честную жизнь. Если *то* и правда, ее милые заказчики оставят ее в покое, увидев, с кем имеют дело. Пусть она им вернет их аванс, и они на нее плюнут. Ведь они ее наняли, не имея понятия о том, что она полоумная и морфинистка, как и я не имел понятия, пока мне этого не сообщил Гранд: в чужую душу не влезешь. Это самый лучший выход для всех. Просто замечательная мысль!» — думал радостно Норфольк. Он купил у выхода сигару и решил поехать на автомобиле. Хотя разговор, очевидно, должен был быть тяжелым, он по дороге подумывал о нем не без удовольствия. Думал, что его жизненная философия — то самое, что он говорил Яценко, — верна. «Все люди очень слабы, всем надо в меру сил помогать, чтобы они не стали совершенными прохвостами, потому что может им стать и очень хороший человек. Для этого вовсе и не надо любить людей, надо только, как это иногда ни трудно, преодолевать отвращение», — думал он.

Старый управляющий гостиницы тотчас его узнал и встретил довольно приветливо. Сказал, что он мало изменился, разве только еще поседел. «А вы даже не поседели», — ответил Норфольк любезностью на любезность. Они поговорили о Европе, о возможности новой войны, о погоде в Нью-Йорке, выразили надежду, что войны не будет, а жара скоро спадет. Норфольк вскользь упомянул, что остановился в «Уолдорф Астории». Это произвело на управляющего впечатление, и он стал еще любезнее.

— А у вас здесь остановилась моя племянница, я рекомендовал ей вашу гостиницу, — небрежно сказал Норфольк, преодолевая легкое смущение, и назвал фамилию Тони.

— Нет, такой у нас нет.

— Как нет? Она сегодня приехала. У вас, должно быть, еще ее не записали?

Управляющий ответил, что в гостинице все комнаты заняты и что последние дни никто не приезжал. По требованию встревожившегося Норфолька он навел справку у швейцара; тот подтвердил, что комнат сегодня и не спрашивали.

— Она не могла не приехать! Может быть, ей у вас сказали, что все занято, и рекомендовали другую гостиницу? Я знаю, что она прямо с пристани должна была поехать к вам.

Навели еще справку у мальчика: нет, никто не приезжал. Норфольк растерянно смотрел то на управляющего, то на швейцара.

— Да ведь вашей племяннице известно, что вы остановились в «Уолдорф Астории»? — со скрытой насмешкой спросил управляющий, хорошо его знавший.

— Кажется... Да, известно.

— Так чего же вам беспокоиться? Верно, она к вам уже позвонила или позвонит вечером. А если нет, то поезжайте на пристань и справьтесь, — посоветовал управляющий и дал ему имя своего друга, чиновника на пристани.

В «Уолдорф Асторию» никто не звонил. Норфольк отправился на пристань. Знакомый управляющего оказался любезным человеком и согласился навести справку. Однако, вернувшись, он стал менее любезен, сообщил сведения очень холодно и поглядывал на старика подозрительно. Записал даже его адрес. Его не смягчили и слова: «Уолдорф Астория».

— ...Она скрыла на таможне бриллианты. Кроме того, у ней найдены наркотики. Больше ничего не могу вам сказать. Вероятно, ее отправят назад во Францию. Вы меня извините, я очень занят.

Только за бренди можно было немного разобраться в том, что произошло. Макс Норфольк зашел в бар.

После первой рюмки он подумал, что дело сложилось не так дурно. «Если даже эту сумасшедшую посадят в тюрьму, то, значит, не по обвинению в шпионаже. Кажется, такие дела кончаются конфискацией и штрафом. Штрафа она из своего жалованья заплатить никак не может. И разумеется, ее почтенные работодатели тоже за нее денег не внесут: увидят, какое сокровище приобрели, им морфинистки, да еще попадающиеся через час после приезда, не нужны. А так как она

морфинистка, то наши власти просто отберут камни и вышлют ее назад. Там работодатели ее на порог не пустят: «Черт с тобой, ты держи язык за зубами, и мы будем молчать». Все же ему было досадно. Ему хотелось приходиться к Тони по вечерам, пить и болтать.

После второй рюмки он стал думать о забавной стороне дела. «Без моего отеческого участия она не получила бы трех бриллиантов. Я думал, что ее осчастливил. На самом деле она из-за них провалилась. Таков был результат моего вмешательства в события. Правда, я ее все-таки осчастливил именно тем, что она провалилась, но она этого не знает и теперь, может быть, проклинает меня. Быть может, она шпионка, но задержали ее за то, что она провезла беспошлинно товар, а это безнаказанно делают в том или другом масштабе пять дам из десяти. Гранда, которому и по духу, и по букве законов давно место на каторге, беспрепятственно пропустили в Америку, а сотни тысяч честных людей визы не получают потому, что родились не там, где следовало. Их содержат в лагерях Германии на средства американского налогоплательщика, тогда как они могли бы зарабатывать хлеб полезным трудом, если бы получили бумажку с печатями, называемую визой. Почтенные работодатели прогонят Тони, но выживший из ума антибольшевистский старец Дюммлер примет ее назад в свое идиотское общество. Все же самое интересное в этой истории то, что эти болгарские или другие коммунисты ее к себе не звали: она сама их нашла и к ним явилась, они даже не подозревали о ее существовании. Да, Тони отчасти права: не только они виноваты в том, что существующий строй порождает такое количество людей, которые его ненавидят, которым он надоел, которым просто скучно, которые почему-либо попали в безвыходное положение. И тогда не коммунисты приходят, а к коммунистам приходят. Обычно это происходит постепенно, сначала дают *им* палец, потом ручку, потом становятся рабами. Морфий — только частный случай, быть может, и неинтересный. У них, наверное, служит множество подмоченных людей и всякого рода неудачников. Чаще же всего деньги. И даже тогда, когда как будто они ни при чем, поискать хорошо — окажутся все-таки деньги. Можно было бы даже учредить такое общество: страховка людей против самих себя, — чтобы не бросались в воду, чтобы не прибегали к наркотикам, чтобы не становились шпионами...

Надо, надо чинить существующий строй: тот, что придет ему на смену, будет неизмеримо скучнее, но и этот достаточно скучен и тяжел...»

После третьей рюмки он вышел на Бродвей уже скорее в добром настроении духа. Световые рекламы его больше не раздражали, и он больше не находил, что гастрономических магазинов слишком много. «Люди совершенно правы, что веселятся, не думая ни о каких катастрофах: все равно никому лучше не стало бы, если б они об этих катастрофах болтали ерунду». Норфольк был рад, что вернулся в Соединенные Штаты, и теперь испытывал почти такое же чувство, как профессор Фергюсон в своем городке. «Есть немалая доля правды в этой голливудской олеографии: иммигранты плачут от радости при виде статуи Свободы, — думал он. — Конечно, ни одна страна в мире не дает такого впечатления крепости, прочности, вечности, как эта. В политике хорошо, *иногда* хорошо, только то, что возможно. В нашем зигзагообразном прогрессе надо, в сущности, лишь немного способствовать преодолению обезьяны в человеке, больше ничему. И если в этой благословенной стране магазины ломаются от товаров, то это тоже в конечном счете способствует преодолению обезьяны. Разумеется, жаль, что Тони так же внезапно выключится из моей жизни, как внезапно в нее включилась. Но все равно она *моей* быть не могла бы, и никто больше *моей* не будет... да и вообще ничего больше *моего* нет... Вот разве только это: «My beer is Rheingold, the dry beer».

Норфольку вдруг пришло в голову: что, если Тони сознается американским властям и в шпионаже! «От нее всего можно ожидать! Впрочем, ей тогда, верно, предложат стать двойной агенткой. Значит, опять все в порядке: и в Америке останется, и будет получать жалованье с двух сторон, и я буду к ней заезжать!» Эта мысль очень его утешила. Он сел в автобус и поехал назад в гостиницу.

Х.

Пемброк еще на пароходе пригласил Надю и Яценко пообедать с ним в «Waldorf Astoria», добавив, что виконта не позвал: «Ну его!» Но они, не сговариваясь, отказались: оба чувствовали, что этот первый вечер в Нью-Йорке должны провести вдвоем.

Надя все время ахала по пути от пристани. «Ах, какое движение! И какие огромные автомобили! Европейские по сравнению с ними кажутся игрушечными!.. Бродвей! Неужели это Бродвей? Наконец-то увидела: я столько лет мечтала увидеть Бродвей!» — говорила она. Еще больше ее поразила своим великолепием самая знаменитая в мире гостиница. Ей была отведена довольно скромная комната. Она сделала gaffe¹: спросила у вносившего чемодан слуги, есть ли в номере своя ванная. Слуга ответил, что у них нет комнат без ванн, — потом Надя, вспоминая, краснела. Долго обдумывала, какое платье надеть. «Самое нью-лукистое² у меня это лиловое, но, может быть, оно слишком ярко? Это зависит от того, куда меня нынче повезет Виктор...»

Яценко отправился с пристани на свою квартиру. Он ее не любил и все собирался переехать. Дома все оказалось в порядке: иными словами, выяснилось, что если часов шесть или восемь позаняться уборкой, разбором вещей, книг, бумаг, то потом можно будет жить и работать. Вода в ванне шла еле теплая, желтоватая, телефон был выключен, окна были темно-серые от грязи, почтовый ящик был забит какими-то листками, объявлениями, просьбами о пожертвованиях. Новый незнакомый суперинтендант никакой уборщицы не знал. «Все-таки преимущества американского комфорта перед европейским немного преувеличены, — думал Яценко, купаясь. — Здесь я все и решу... 84-я улица не Avenue de l'Observatoire, и у меня очень мало общего с Николаем Юрьевичем, но и моя жизнь может стать похожей на мудрую жизнь Дюммлера. В борьбе «мой-ра» и «тюхе» и я добился кое-каких успехов. В сущности, личная жизнь кончена. Взято было от всего не очень много, но и не так мало. У многих других, верно, было меньше. Что ж, начну школу старости. И личных врагов не надо. Политических противников в «общественном служении», конечно, нельзя не иметь: ровно столько, сколько необходимо, не больше. Да, «на свете счастья нет, а есть покой и воля...» А я вдобавок из тех людей, которым хочется повесить афишу, все равно какую, — на том заборе, где написано: «Défense d'afficher...»³ Освобождение будет. Мой путь шел через

¹ Оплошность (англ.).

² От англ. new look — выглядящее новым.

³ «Расклеивать афиши запрещено...» (фр.)

советский холодильник, через ОН, через «Афину», через кинематограф. Разумеется, это частный случай: мой случай. Путь других иной, но цель и задача та же».

Как было условлено, он заехал за Надей в шесть часов вечера. Она встретила его восторженно. Все в Америке было изумительно. Они отправились осматривать Нью-Йорк.

— Вот видишь, я, значит, не похожа на твою Лину, хоть ты меня в ней будто бы «активизировал»: мне здесь все нравится, решительно все! Ах, какая страна и какой город! Кто это у Бальзака смотрит на Париж и думает о том, как он его завоеует?

— Растиньяк.

— Да, и я как Растиньяк! Вот увидишь, этот первый в мире город меня узнает!

Она из автомобиля восхищалась вышиной Эмпайр Стэйт Билдинг, шириной Гудзона, узостью Уолл-стрит, живописностью китайского города и даже на Бауэри сказала что-то о «потрясающих социальных контрастах». Больше всего ей понравилась Fifth Avenue¹. Надя объявила, что будет жить именно здесь.

— Park Avenue считается еще лучшим адресом, — сказал Яценко.

— Я не снобка! Буду жить здесь не потому, что это модная улица, а потому, что это лучшая улица в мире.

— Лучше Avenue Foch?

— Иок! На твоей Avenue Foch нет ни одного магазина и ни одной гостиницы!.. Как ты думаешь, мне продлят визу?

— Продлят. Даю тебе слово Пемброка.

— Если не продлят, я утоплюсь в Гудзоне. После этого городка ни в каком другом жить нельзя... И не смейся над Альфредом Исаевичем, я тебе это запрещаю! Он очаровательный человек и наш большой друг.

— Он очаровательный человек и наш большой друг, но он общественный отравитель.

— Почему общественный отравитель? Что за вздор! — обиделась Надя. — Он, напротив, занимается просветительной работой.

— Да, как мадам Лафарж занималась химией, а Джек-Потрошитель — хирургией.

— Какой вздор! Как тебе не стыдно! — возмущенно сказала Надя.

¹ Пятая авеню (англ.).

— А что почтеннейший виконт де Лавар? — спросил Яценко.

— Я только что ему отдалась. — Ей было забавно и приятно, что Виктор ее ревнует. — Свадьба завтра!.. — Она расхохоталась. — Постой, я забыла тебе рассказать: Альфред Исаевич показал мне две вечерние газеты. Его интервью есть в обеих, строк двадцать—тридцать в каждой, в одной даже с портретом, а о Делаваре в одной ни слова, а в другой пять строк. Он, конечно, в бешенстве. Альфред Исаевич делает вид, будто сожалеет, а на самом деле он в восторге. Со знайся, что и ты в восторге!

— Вот уж мне все равно.

— Ври больше! Точно я тебя не знаю! А теперь вот что, на первый день достопримечательностей довольно... Не пугайся: я не требую, чтобы ты ездил со мной по городу и завтра. Но я голодна как зверь. Куда ты везешь меня обедать?

Он назвал несколько французских ресторанов; она потребовала, чтобы он повез ее в американский. Они поехали в известный ресторан на Бродвее. Надя слышать не хотела ни о каких европейских напитках. Заказала сначала Scotch and soda, потом Rye¹ and soda, восторгалась ими, старалась запомнить разницу во вкусе. Выбрала по карте Roast lamb with brown gravy, Cole slaw, spiced peach and cottage cheese², ела с аппетитом и восхищалась.

— Ах, как хорошо!.. Ах, как вкусно! Я в жизни так хорошо не ела! У них новые идеи вместо наших вечных escalope de veau, côte de porc, épaule de mouton³!..

Яценко, дразня ее, говорил, что Вателя или Эскофье от такого блюда разбил бы удар.

— Все вздор! Все вздор! И почему уж французы такие бесспорные законодатели в еде? А порции! Смотри, какой бифштекс подали этому господину! Он больше трех европейских!

Немного испугали ее только цены: «Что правда, то правда: в Париже дешевле». Когда подали счет, Надя вынула американские деньги. Еще плохо в них разбиралась, но они уже были разложены у нее по отделениям кошелек в сумке.

¹ Хлебная водка (англ.).

² Жаркое из ягненка с подливой, салат из капусты, персики с пряностями и творог (англ.).

³ Эскалоп из говядины, свиная вырезка, баранья лопатка (фр.).

— Вот моя половина.

— Ты что? Совсем помешалась на радостях?

— С нынешнего дня я за все плачу половину, — решительно заявила Надя. — Свободная ассоциация так свободная ассоциация! И за автомобиль тебе полагается не менее трех долларов, вот они. Не беспокойся, сегодня я, конечно, выйду из бюджета, но в общем моих суточных вполне хватит. И увидишь, я скоро буду получать у Альфреда Исаевича жалованье! Ты ведь знаешь, у меня мертвая хватка.

Он вспомнил, как тридцать лет тому назад, после своего первого бегства из Петербурга, обедал в Финляндии с Мусей Кременецкой. «Да, тогда было другое! Тогда мне было достаточно ночью вспомнить, что существует Муся, и все озарялось светом... А что, если все в моем нынешнем состоянии объясняется очень легко: я просто потерял любовь к жизни? О, не в такой мере, чтобы покончить с собой. Нет, я только ничем больше *очень* не дорожу: ни успехами, ни творчеством, ни даже Надей... Она уйдет от меня, потому что слишком будет скучно живой женщине с таким человеком, каким я понемногу становлюсь... Ну что ж, «общественное служение» будет».

После обеда он, по желанию Нади, повез ее в Радио-Сити. Там ее восхищению не было пределов. Здание было изумительно, и еще изумительнее был новый фильм.

— Уж это, извини меня, я понимаю лучше, чем ты! — говорила она. — Конечно, и в Голливуде ставят плохие фильмы, но, в общем, и английским, и французским, и итальянским фильмам очень далеко до лучших американских.

В ночном клубе, куда они поехали из Radio City, она тотчас, заглянув в карту вин, объявила, что слышать не хочет о шампанском. Виктор Николаевич понял, что дело не в ее новом американском патриотизме, а в ценах. Он заказал что-то американское. Надя слышала, что в этом клубе собираются «все знаменитости». Яценко ни одной знаменитости не видел, да если б они тут и были, то он все равно их не знал. Но ему не хотелось разочаровывать Надю, и он стал сочинять:

— Видишь того старого джентльмена в углу? Это бывший президент Гувер. А вот тот брюнет — знаменитый физик Роберт Оппенгеймер, тот, что изобрел атомную бомбу.

— Где? Какой? — спрашивала Надя так взволно-

ванно, что ему стало совестно. Впрочем, ей интересны были преимущественно знаменитости кинематографические; тут он врать не мог: Надя их видела на экране сто раз.

— Это знаменитый ночной клуб, правда? Самый знаменитый во всем мире?

— Самый знаменитый во всем мире, — подтверждал он.

Когда Надя выпила еще несколько рюмок, она снова заговорила о «свободной ассоциации»:

— ...Но ты согласен со мной, правда? — спрашивала она. — Как часто ты будешь приезжать ко мне?

— Каждые полчаса.

— Ты глуп! Мы могли бы каждый день вместе завтракать. Хотя нет, по утрам ты будешь работать. Ты что будешь писать? Твой «Путь счастья»?

— Мой «Путь к счастью». Или я назову: «Путь к освобождению».

— Тогда завтрак только помешал бы тебе работать. Нет, ты приходи каждый день в пять часов. Ты будешь у меня пить чай. А затем мы, наверное, раза три-четыре в неделю будем вместе обедать.

— То есть в те дни, когда Пемброк и Делавар не будут звать тебя на обеды с кинематографическими людьми? В эти дни на затычку пригожусь и я?

— Ах, как ты поглупел! Я тебя обожаю, но ты очень, очень поглупел! Во всяком случае, мы будем встречаться каждый день!

— И каждую ночь? — спросил он и сам немного удивился: такие слова не очень соответствовали его новому душевному настроению.

Она смеялась.

— Иок! Вдобавок ты стал еще хвастуном! Мы будем устраиваться, как полагается во всех французских романах. У нас будет адюльтер!

— В американских гостиницах заниматься адюльтером неудобно: дамы не могут принимать мужчин или, по крайней мере, двери номера должны быть открыты. Это нас немного стеснило бы.

— Тогда я буду приезжать к тебе. В твою *гарсоньерку*! Ведь, правда, у тебя *гарсоньерка*? Чудно! У тебя будут, тоже как во французских романах, портвейн и бисквиты... Это очень стыдно, что я спросила, есть ли в комнате ванна?

— Очень стыдно.

— Так стыдно, что надо удавиться?

— Лучше было бы удавиться, но все-таки поживи еще.

— Я поживу. Но я недолго останусь в этой гостинице. Я завтра же начну искать себе квартиру, а из первого заработка ее обставлю. Увидишь, как я хорошо ее обставлю! И без помощи декораторов! У меня есть свои идеи. Если б только я знала, что меня через пять месяцев не турнут из Соединенных Штатов! Что ж, тогда продавать за бесценок все, что я куплю?

— В пользу кого же продавать? Ведь ты утопишься в Гудзоне.

— Я и не думала, что ты так глуп!.. Смотри, президент Гувер уходит. Я думала, что ему окажут больше почета! Метрдотель и столика не отодвинул!

— Америка демократическая страна. Теперь Гувер такой же рядовой гражданин, как я.

— И как через пять лет буду я! Ты знаешь, я уже теперь могла бы выдержать экзамен на гражданство. Я не то, что твоя Лина! Спроси у меня, сколько было президентов Соединенных Штатов! Тридцать три!

— Bravo!

— Но мы говорим серьезно. Утром и днем мы оба работаем, а с пяти вечера вместе. Оба независимы, оба свободны... Я буду ездить к тебе на subway. Видишь, я уже говорю сабвэй, а не метро! И ты знаешь, меня все в гостинице чудно понимают! И я тоже почти все понимаю, если только говорят не очень быстро... Подумай, как будет хорошо. Ты работаешь, я работаю, свободная ассоциация! Это твоя идея. Возьми на нее патент.

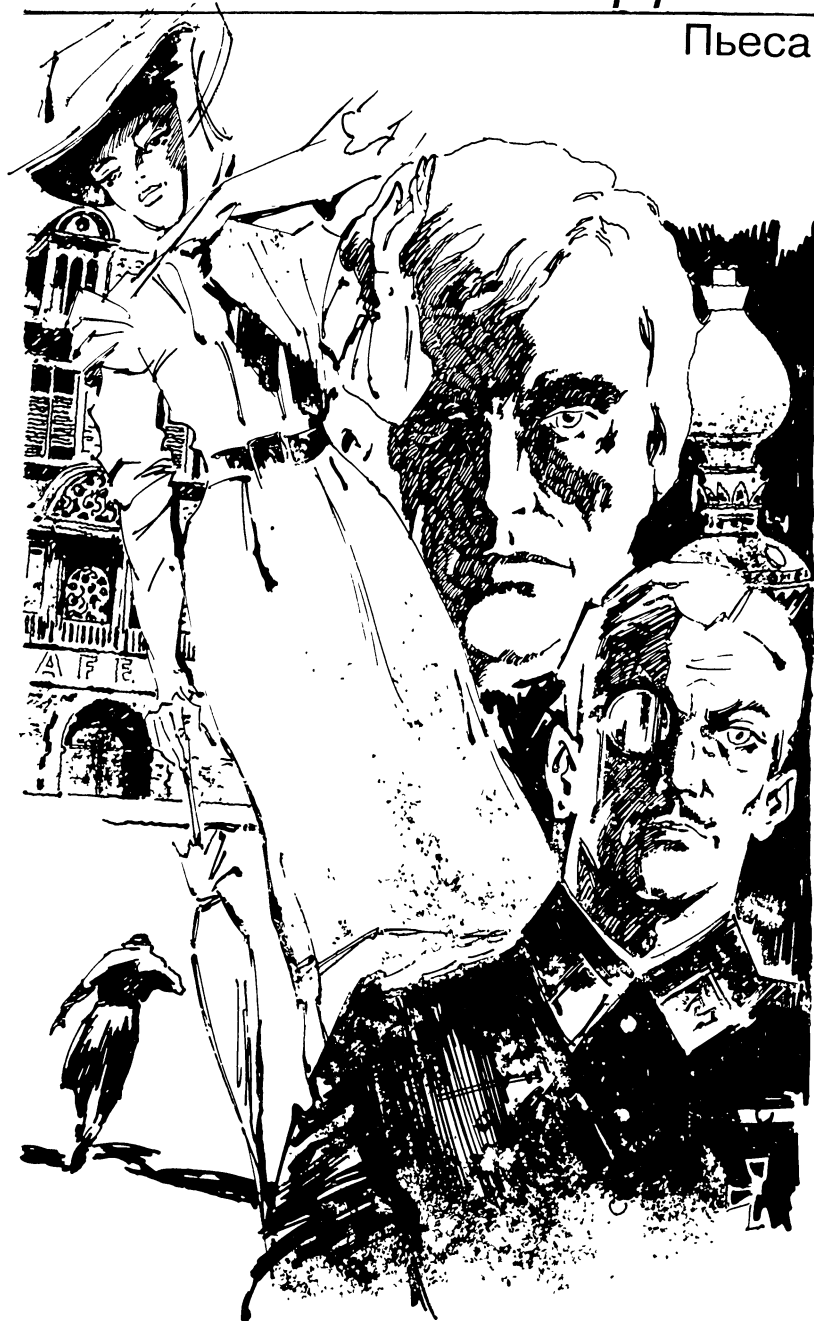
— Возьму патент, — ответил Яценко. Он твердо знал, что разойдется с Надей, и, вероятно, очень скоро. «А все-таки я люблю ее, она прелестное существо, и я не знаю, что со мной было бы, если б она умерла. Для меня начинается старость, болезни, — лишь бы у нее все было хорошо».

— И главное, помни одно: пока ты меня любишь, — где угодно, когда угодно. А когда ты меня разлюбишь, мы останемся навсегда друзьями. Навсегда! До конца наших дней!

Они с улыбкой смотрели друг на друга.

ЛИНИЯ БРУНГИЛЬДЫ

Пьеса



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Антонов Павел Михайлович — опереточный артист, приближается к 60 годам.

Ксана — его дочь, 18 лет.

Ершов Василий Иванович — заштатный смотритель, 65 лет.

Никольский — артист, 32 лет.

Никольская — его жена, 30 лет, артистка.

Иван Александрович, 35 лет.

Спекулянт — человек неопределенной национальности и неопределенного возраста.

Фон Рехов — германский офицер, комендант пограничного пункта, 48 лет.

Аккомпаниатор — еврейский юноша.

Марина — кухарка Ершова, глупорожденная, лет 40.

Немецкий вестовой.

Лакей.

Действие происходит осенью 1918 года в небольшом местечке, служившем тогда пограничной станцией между большевистской Россией и занятой немцами Украиной. Местечко находилось во власти немцев. Действие эпилога — в 1937 году, в Париже.

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Угловая комната в старом доме: кабинет в казенной квартире зрителя. Обстановка бедная; вид запущенный. В правой и левой стене угловой комнаты — по окну. На стене — карта театра войны. Пианино, этажерка с книгами, два стола. На полу лежат старые, испачканные чемоданы. Седьмой час вечера. На сцене Антонов и Ершов. Первый в дорожном грязном платье, в высоких сапогах. Второй в домашней куртке.

Антонов (*ходит по комнате и разбирает вещи в чемодане, говорит с большим волнением, со слезами в голосе*). Спасибо вам, милый, дорогой, сердечное, душевное спасибо от старого русского актера. Нам вас истинно Бог послал! До гроба жизни буду вас помнить, Василий Степанович!

Ершов. Василий Иванович.

Антонов. Простите, ради Бога! Я тогда, в приемной коменданта, не расслышал вашего имени-отчества. Да и голова идет у меня кругом. Ведь вы только подумайте, что с нами было, что мы пережили! Десять дней ехали по полям, по лесам, осенью, в такую погоду, ехали крадучись, точно воры, прятались от застав, от дозоров, ночевали в грязных избах. И под конец нас ограбили! (*Кричит.*) Кровопийцы! (*Почти истерически.*) Тридцать пять лет трудился как проклятый, всю Россию изездил, играл, пел в лучших опереточных труппах, отказывал себе во всем, копил копейку, чтобы на старости лет не умереть с голоду, чтобы оставить дочери что-нибудь, — и вот в одну ночь всего лишился, всего до копейки! Теперь гол как сокол! После тридцати пяти лет честного труда, какого труда, каоторжного актерского труда!

Ершов (*флегматически*). Могли и зарезать.

Антонов (*с жаром*). Еще как могли! То есть истинное чудо, что не зарезали. Теперь ведь ни суда ни следствия. Господи, до чего дожили! Из Петрограда, чтобы в Киев проехать русскому человеку, нужна виза, а? Надо прятаться как вору, а? По дороге из Петрограда в Киев грабят, как в брынских лесах!

Ершов. И много у вас украли?

Антонов. Все, что было, все до копейки! Только на минуту вышел, нужно было, возвращаюсь в избу — нет чемодана! Верьте слову старого русского актера: когда увидел я, что украли чемодан, сел я на грязный пол и завыл диким криком! Не могу понять, как я в ту ночь не сошел с ума. Ксаночка моя всю ночь мне к голове компрессы прикладывала. *(Опять кричит.)* Ограбили старого человека, честного певца, известного всей России! *(Тотчас успокаивается.)* Извините меня.

Ершов. Наш мужичок-богоносец — мастер воровать.

Антонов. Буду я его, богоносца, помнить. Без стыда подумать не могу, что участвовал в концертах-митингах. «Варшавянку» пел, старый идиот! *(Не то говорит, не то напевает.)* «Вихри враждебные веют над нами...»

Ершов *(фальшиво подтягивает).* «Темные силы нас тяжело гнетут...»

Антонов. Ей-богу, пел, этакий осел! Но ведь все пели, все!

Ершов *(саркастически).* Я не пел... Теперь немного охрипли, а? Зато больше нет темных сил... *(С любовью.)* И много у вас слямзили?

Антонов. Все, что было! Выехали мы из Петрограда налегке. Захватили только самое необходимое: ну, сценические костюмы, белье, собрание рецензий обо мне. Деньги я вез в маленьком ручном чемоданчике. Были у меня там и царские, и керенки, всего тридцать две тысячи с сотнями. «Заем Свободы» был... *(Смущенно.)* Ну, «Заем Свободы»!

Ершов *(саркастически).* Да на «Займе Свободы» богоносец не разживется. Золота не было?

Антонов. Двадцать две золотые десятирублевки. Еще от жены-покойницы серьги остались бриллиантовые, два кольца и мой золотой портсигар. *(Внушительно.)* Поднесли мне в Саратове, в день двадцатипятилетия сценической деятельности. Чествование было на всю Россию! В «Русском слове» была корреспонденция, в «Огоньке» появился мой портрет, о местной печати я и не говорю. Телеграмм сколько было!.. Я играл Менелая, это моя коронная роль. Так вот, и портсигар тоже стащили, разбойники.

Ершов. И спутников ваших обчистили?

Антонов. Их не обчистили, потому что у них не было ни... *(оглядывается)* ни гроша. Ведь спутники

мои — это кто? Дочь Ксана, начинающая артистка, по сцене Кастанльская... У нее большой талант, не я один — все говорят. Вся в меня. Затем актеры Никольские, муж и жена, и этот Иван Александрович.

Ершов. Жаль, что я не мог вас всех приютить: квартира у меня маленькая. Вас с дочерью поместить могу, а остальные трое уж как-нибудь проживут в корчме, я им указал.

Антонов. Родной мой, да мы и так по гроб жизни вам благодарны! Ведь вы же нас совершенно не знаете. *(Полувопросительно.)* Ну, меня, верно, понаслышке знаете?

Ершов. М-да... Врать не стану: ни малейшего понятия не имел.

Антонов *(с явным неудовольствием)*. Вы, вероятно, не очень интересуетесь искусством? Могу без хвастовства сказать: меня русский народ знает. Я первый Менелай России и второй генерал Бум... Ну, одним словом, увидели вы, что приехали на этот пограничный пункт несчастные, ни в чем не повинные, ограбленные люди, увидели, что им негде преклонить голову... *(Подносит платок к глазам.)* Приютили, обогрели... Нет, все-таки свет не без добрых людей... Экий платок грязный, извините: мы ведь прямо с телеги.

Ершов. А остальные трое, значит, артисты вашей труппы?

Антонов. Никольские — актеры. А этот, Иван Александрович, наш аккомпаниатор, пристал к нам в Пскове. *(Понизив голос, с конспиративным видом.)* По секрету скажу вам, я думаю, он вовсе не артист, а так, под видом артиста пробирается на Украину. Говорят, к артистам украинцы и немцы относятся хорошо... Но это тайна, я только вам говорю. Ну а мы с Ксаночкой что же... Когда стало в Великороссии совершенно нечего жрать, решили мы пробраться к вам, на Украину. Что ж сидеть у товарищей? *(Со злобой.)* Тамбовский волк им товарищ. Думаем играть в Киеве. Меня там отлично знают. Обратились мы с Никольскими в Петрограде в Украинское консульство... *(Нерешительно.)* Собственно, я могу считаться как бы украинцем: моя фамилия, Антонов, правда, великорусская, но предки, кажется, жили где-то на юге. Брат моей покойной жены и сейчас в Ростове-на-Дону инспектором гимназии. Да я сам везде на юге играл с огромным успехом, в Киеве у Бергонье пел два года. У Никольских тоже есть в Одессе троюродная сестра. Так вот

подите же, отказали мне в консульстве в бумагах: говорят, нет оснований, черти этакие. Вы подумайте только, из Петербурга в Киев русскому человеку проехать нет оснований, а? До чего дожили, а? Что ж нам было делать? Недохнуть же с голоду! Решили пробираться нелегально, вот и попали к вам. Но как теперь быть, оставшись без гроша?

Входит Ксана, в пеньюаре, с распущенными волосами. Она прямо из ванны.

Ксана. Папочка, вы все об этой краже? Бросьте! Ну что же делать? Главное, мы через границу перешли и мы живы и здоровы. *(Целует отца.)* Папочка, ванна у них какая! Просто выходить не хотелось. Теперь я чистенькая, все свежее! Господи, как я рада и счастлива! Спасибо вам, милый Василий Иванович. *(Неожиданно для самой себя вдруг целует и Ершова.)* Извините меня, ради Бога!

Ершов. В жизни бывают и более неприятные сюрпризы.

Ксана. Я так счастлива. Вот не думала, что можно быть счастливой от ванны! Папа, теперь идите мыться вы... Василий Иванович, милый, дорогой, а можно будет и Ивану Александровичу у вас выкупаться?

Ершов *(не без гордости)*. В нашем городишке есть две ванны: у меня и у ксэндза.

Антонов. Что это ты, Ксаночка, так заботишься об Иване Александровиче? Смотри у меня...

Ксана. Я о них всех трех говорю. В той корчме, верно, и рукомойника нет. Папочка, будет когда-нибудь весело вспоминать, как мы в двадцатом столетии, в 1918 году, пробирались на телеге из Петрограда в... уж я сама не знаю куда. Ведь это, Василий Иванович, Могилевская губерния?

Ершов. Была Могилевская губерния и больше не будет. Теперь это Украина и «зона немецкой оккупации».

Антонов *(проникновенным голосом)*. Это тебе, Ксаночка, Бог даст, когда-нибудь весело будет вспоминать. А я не жилец на этом свете! Еще годик-другой, может, и протяну...

Ершов *(радостно)*. Может, и того не протянете. Старому человеку долго ли умереть?

Антонов *(с неудовольствием)*. Мне пятьдесят пять лет.

Ершов. Я думал, вам больше.

Ксана. Папочка, вы на моей памяти говорите лет двенадцать, что вы не жилец на этом свете. И мама рассказывала, что вы ей это всю жизнь говорили. А на самом деле, папочка, вы здоровы как бык! Не сердитесь. *(Снова его целует.)* Десять дней под дождем ехали в телеге, и хоть бы вы насморк схватили. *(Смеется.)* Василий Иванович, а долго, вы думаете, немцы нас здесь продержат?

Ершов. Ровно столько, сколько им вздумается.

Ксана. Ну все-таки?

Ершов. Порядок такой: комендант обо всех нелегально прибывших посылает запрос немецкому командованию в Киев. Оттуда и приходит ответ... Если приходит.

Антонов. А бывает, что отказывают?

Ершов *(с удовольствием).* Сколько угодно.

Ксана *(с ужасом).* И что же тогда?

Ершов. Тогда комендант отсылает под стражей обратно, за красные огни.

Ксана *(так же).* За какие красные огни?

Ершов. А вот посмотрите. *(Подводит их к левому окну.)* Видите, горит линия красных фонарей. Это граница. За ней товарищи.

Ксана. Граница! Как близко! А нам казалось, что мы еще с четверть часа ехали в тележке, после того как перебрались через границу...

Ершов. Ну да. Вы доехали до немецкого кордона. Он вот где. *(Ведет их к окну в правой стене.)* Видите? Там вас задержали и привели сюда, в чистилище, к коменданту.

Антонов. Значит, это здание помещается между двумя кордонами?

Ершов. Наше местечко маленькое и поганенькое. Во всем местечке только один большой дом, вот этот, где мы сейчас находимся. Естественно, немцы его и реквизировали для комендатуры. Дом окружен садом, за ним идет пруд. Поэтому их кордон проходит не на самой границе, а подальше. Но тут, разумеется, уже украинская земля. Иными словами, тут единственные хозяева — немцы.

Антонов. Тяжело русскому человеку видеть на своей земле немцев, но я прямо скажу: увидел я после товарищей этого коменданта в германском мундире и чуть не заплакал от радости...

Ксана. Папа, это стыдно говорить!

Антонов. Знаю, что стыдно, но мне Бог простит

после всего того, что мы пережили. (*С нежностью.*) Патриоточка ты моя!.. Здесь я по крайней мере за тебя спокоен. Ведь я ночей не спал: что я сделаю, если в избе попадутся негодяи. Ведь я старик и оружия у меня нет.

Ксана. При нас был Иван Александрович!

Антонов. Да что же он мог бы сделать? Ну да что об этом говорить... Ведь тут порядок?

Ершов (*видимо неохотно*). Пока порядок... Может, скоро будет и беспорядок.

Ксана. А кто этот комендант?

Ершов. Капитан фон Рехов, немецкий фон-барон. Он тут царь и бог. Других офицеров нет.

Антонов. Порядочный человек?

Ершов. Повесить его не мешало бы, но человек он как будто порядочный. Или ловко прикидывается порядочным.

Ксана. Так за что же повесить?

Ершов. А я, барышня, делю всех людей на два разряда: одних достаточно повесить, а других надо посадить на кол. На кол с перекладиной, как турки сажали.

Ксана (*хохочет*). Разве что так!.. Он красивый, ваш комендант.

Антонов. Со мной он сначала был сух и вежлив, но потом, как увидал Ксаночку, вдруг стал чрезвычайно любезен.

Ершов. Он немец сентиментальный.

Антонов. И по-русски он прекрасно говорит.

Ершов. Еще бы, ведь он учился в русской гимназии. Поэтому его и назначили в эту дыру комендантом. Да еще для отдыха: если не врет, был тяжело ранен.

Ксана. Неужели? У него на груди крест. Это, верно, их Железный крест?

Ершов. Ну да... Верно, связи есть, оттого и дали.

Антонов. А вы, значит, хорошо его знаете, коменданта?

Ершов. Знаю, конечно. Чуть не каждый вечер заходит ко мне поболтать, надоел хуже горькой редьки. Ведь в нашем местечке нет ни одного образованного человека. Немцы все солдаты или унтера. А фон Рехов — природный говорильщик, вот он ко мне и ходит. Одно хорошо: его незачем слушать, он сам себя слушает.

Антонов (*с любопытством*). А вы здесь давно?

Ершов. Я? Без малого сорок лет.

Ксана (*всплеснув руками*). Сорок лет в этой дыре?

Ершов. Так точно, барышня. Не все ли равно, здесь ли жить или хоть в Париже? Совершенно все равно, здесь скверно, а в Париже, может, еще хуже.

Антонов. Извините меня, Василий Иванович, вы подошли к нам в комендатуре и так мило, так сердечно предложили гостеприимство чужим людям... Век не забуду. (*Подносит платок к глазам.*) Но ведь мы, собственно, и не знаем, кто вы. Сказали — Василий Иванович Ершов, а кто да что, не знаем. И почему вы здесь живете, в этом доме, тоже не знаем. Это что за здание?

Ершов. Это дом умалишенных.

Ксана вскрикивает.

Не пугайтесь, барышня. Те люди, которых называют сумасшедшими, — те люди отсюда эвакуированы три года тому назад, в пору нашего отступления 1915 года. С той поры здание пустовало. Ну а когда немцы заняли эти места, они реквизировали здание для комендатуры.

Антонов (*не без легкого беспокойства*). А вы, Василий Иванович?

Ершов делает свирепый жест, изображая буйно помешанного. Ксана вскрикивает, потом хохочет. Мужчины тоже смеются.

Ершов. Не волнуйтесь, я пациентом этого здания не был. Мог, конечно, стать, как вы, как она и как все, но по счастливой случайности не стал. Я был смотрителем дома умалишенных. А так как мне шестьдесят пять лет и я выходил за штат, то при эвакуации меня на Волгу не захватили. Это моя казенная квартира. Немецкий комендант разрешил мне тут остаться. На моей же квартире, где я прожил сорок лет, да «разрешил остаться». И на том спасибо. Мог и повесить. Спасибо, что не повесил.

Антонов. А что вы скажете, родной, о той мысли, о которой я вам говорил: если б нам тут поставить спектакль, а?

Ершов. Это в нашем-то местечке! (*Смеется.*)

Антонов. Я думаю, будет сбор.

Ершов. Не будет сбора.

Антонов (*с неудовольствием*). Ну, вы как будто, Василий Иванович, уж очень мрачно смотрите на ве-

щи. У меня везде, куда я только приезжал, всегда бывал полный сбор.

Ершов. У нас не будет.

Антонов. Уж будто меня тут никто не знает?

Ершов (*радостно*). Ни одна живая душа. (*Смягчается при виде огорчения Антонова.*) У нас ведь дрянной народ, невежественный. А впрочем, может, кто-нибудь и придет. Начальство придет — щирые украинцы. Евреи придут: они любят наше русское искусство.

Ксана смеется.

Антонов. Хоть что-нибудь соберем, и на том спасибо... Но где же тут играть?

Ершов. Уж если затевать эту ерунду, то только здесь, в этом самом доме. Дом старый, от помещика остался большой зал с эстрадой. Крепостник-помещик имел тут домашний театр. Должно быть, посекал актеров. Может, так и надо было.

Антонов. А разрешат нам воспользоваться залом?

Ершов (*радостно*). Верно, не разрешат. Зал в двух шагах от кабинета коменданта. Он, подлец, скажет, что ему мешает музыка. Впрочем, может быть, и не скажет. Особенно если его попросит барышня.

Антонов. Ну а сколько с нас могут взять за этот зал?

Ершов. Кому же платить? Императору Вильгельму, что ли? Ему не нужно.

Антонов. Я думал, коменданту.

Ершов. Взяточку? (*С сожалением.*) Фон Рехов не берет: он миллионер. Если бы не был миллионером, брал бы, конечно... Так как же, господин, насчет ванны? Печь, верно, уже остыла.

Ксана. Горячая, как огонь.

Ершов. Не угореть бы от дыма?.. А может, мы сначала закусим? Ужин у меня в восемь часов. Я велел моей дуре пока приготовить легкую закуску.

Ксана. Я правду скажу: голодна как волк.

Антонов. Родной мой, мне совестно: столько хлопот мы вам причинили.

Ершов. Без хлопот на свете не проживешь. Я сейчас велю подать. (*Подходит к двери и кричит.*) Марина, подай живее, дура ты этакая, хамка!

Антонов и Ксана изумленно на него смотрят.

Вы не удивляйтесь: это моя кухарка за повара, она же камеристка. С ней иначе нельзя разговаривать. Она от рождения придурковатая и... барышня, не слушайте... эротоманка. Нельзя сказать, чтобы писаная красавица, но убеждена, что все мужчины от нее без ума и приста- ют к ней.

Ксана хохочет.

Не смейтесь, барышня, у нее этот пунктик, а у нас с вами какой-нибудь другой, вот вся и разница.

Антонов. Родной мой, зачем же вы взяли в каме- ристки придурковатую эротоманку?

Ершов. Никто не хотел служить в сумасшедшем доме. Говорят: боязно, еще сам с ума спятишь. А ей не с чего было и спятить. И потом, не все ли равно? Эта хоть не воровка. Так глупа, что и воровать не умеет. Вот она, красотка...

Входит Марина с подносом. Она бросает игриво-подозрительный взгляд на Антонова и, проходя мимо него, боязливо отшатывается. Ставит поднос на стол, опять проходит мимо Антонова и, застыдив- шись, убегает.

Пошла прочь! Экая дурица! Барышня, Павел Михай- лович, прошу, чем Бог послал.

Антонов. Господи, какие вкусные вещи! Ксаночка, смотри, белый хлеб! Ей-богу, белый хлеб!

Ксана. Сардинка! Грибки! Папочка, это обман зре- ния!

Антонов. Селедка с зеленым лучком! Ветчина! Нет, не верю: это конина, которая прикидывается ветчиной! Господи! Год всего этого не ели! Я, Василий Иванович, иногда в Петрограде думал: существовала ли в самом деле когда-нибудь ветчина, или это был сон, мечта поэта.

Ершов. Через день привыкнете к мечте поэта. Буде- те ругаться, что недостаточно соленая.

Антонов. Да вы шутите, родной мой. Я просто глазам не верю: может, все это из картона или из стекла?

Ершов *(смягчается и веселеет при виде водки).* Из стекла только это. *(Поднимает бутылку.)* Белая го- ловка, прямо со льду. Вы, барышня, верно, крепких напитков не пьете?

Ксана. Нет, отчего же? *(Деловито перечисляет.)* Я пью самогон — раз, денатурат — два, горилку — три...

Антонов. Не слушайте, Василий Иванович. Насчет самогона и денатурата она, конечно, врет. А водку хлещет отлично... Нет, мне не наливайте. *(Со вздохом.)* Не пью, зарок дал. Прежде пил и чуть голоса не испортил... Разве одну рюмочку? *(Пьют и закусывают.)*

Ксана. Господи, как вкусно!

Ершов. Грибков возьмите, барышня... Бывает, правда, что отравляются грибами. Еще по одной, Павел Михайлович?

Антонов. А как же зарок? Разве последнюю?

Ершов. Теперь по всем обязательствам мораторий, и по зарокам тоже. *(Пьют.)* К ужину будут цыплята.

Ксана. Цыплята! Папочка, цыплята! И сладкое будет, Василий Иванович?

Ершов. Пирог со сливками.

Ксана. Пирог со сливками!

Антонов. Мы год питались кониной и дрянным черным хлебом с соломой... Василий Иванович, век не забуду вашей ласки! *(Подносит к глазам платок.)* Обогрели, накормили...

Ксана. Папочка, бросьте! Ведь не думали же вы, что на свете существуют только грабители. Вот и по дороге мужики очень хорошо к нам относились, кормили, кое-где и от денег отказывались. Только один вор нашелся, а вы всех ругаете. Нет, есть и хорошие люди.

Ершов. Мало, барышня. Да и хороших не мешало бы перевешать. Павел Михайлович, а как же ванна?

Антонов. Иду, родной мой, спасибо вам. *(В дверях.)* А все-таки Василий Иванович, признайтесь, что вы меня в приемной коменданта узнали по фотографиям. Мои портреты были и в «Огоньке», и в «Пензенской мысли», и в «Симбирской заре» — везде были.

Ершов *(после водки, миролюбиво).* Хорошо, признаюсь... Полотенце, мыло и простыню вам Марина принесет. *(На ухо вполголоса.)* Смотрите, чтобы она вас не изнасиловала. Я видел, вы ей понравились.

Антонов *(польщенно).* Ну ее к... *(оглядывается)* к черту! *(Уходит.)*

Ершов. Барышня, вы меня извините, я еще схожу на станцию газеты купить. В семь часов придет киевский поезд. Если не сойдет с рельсов... А вы пока, что ли, книжку почитайте. Вот на этажерке у меня так называемые классики... Много и у них вздора, но все-таки они писали лучше нынешних.

Ксана *(берет наудачу книгу с полки).* Крафт-Эбинг. Что это такое?

Ершов (*поспешно отбирает у нее книгу*). Нет, это не то. (*Берет другую.*) Шекспир. Вот и отлично. Читали Шекспира?

Ксана. Читала, разумеется... Впрочем, зачем врать? Не читала и не буду читать: это для взрослых... для мужчин. Я вижу, у вас пианино.

Ершов. Осталось в конференц-зале, я его перенес сюда, потому что там сыро.

Ксана. Вы любите музыку?

Ершов (*зевая*). Страстно.

Ксана (*смеется*). Сейчас видно. Играете?

Ершов. Только «Чижика». Но зато «Чижика» играю изумительно. (*Наигрывает одним пальцем «Чижика».*) А вы, если желаете, поиграйте, барышня. Я вернусь минут через двадцать, это близко. Через два часа сядем за стол. Верно, дура Марина пережарит цыплят. (*Уходит.*)

Ксана садится за пианино. Негромко поет и аккомпанирует себе романс (по выбору артистки). Входит Иван Александрович, незаметно приближается к Ксане и слушает.

Иван Александрович. Как вы плохо играете, Ксаночка.

Ксана (*вскакивает*). Мерси!

Иван Александрович. Милая, нельзя же иметь все таланты. Голос у вас прелестный, а играете вы плохо. Ничего, вы подрастаете и научитесь. Где папа?

Ксана. Купается. Знаете, это, оказывается, сумасшедший дом! Василий Иванович был его смотрителем.

Иван Александрович. Что вы говорите?.. Можно вас поцеловать?

Ксана. Нет, нельзя.

Иван Александрович. Отчего вдруг такие строгости? (*Озабоченно.*) Никак нельзя?

Ксана. Никак нельзя. (*Солідно.*) Вы, кажется, забываете, Иван Александрович, что мы в чужом доме.

Иван Александрович. Но ведь это сумасшедший дом. Вы забываете, что это сумасшедший дом. Здесь все можно, все, что угодно. Ради Бога, позвольте. (*Скороговоркой.*) Милая, дорогая, ненаглядная, золото, ангел, светик, красавица, позвольте... Не позволяете? Ну, так я поцелую вас без позволения. (*Целует ее.*) Скажите: «Как вы смеете!» (*Целует ее еще раз.*) Теперь скажите: «Да вы с ума сошли!..»

Ксана отбивается и смеется.

Вот так... А что? Вперед будете шелковая. Господи, Ксаночка, милая, мы бежали, мы свободны!

Ксана. Не очень еще свободны. Что, если немцы отправят нас назад?

Иван Александрович. Не отправят. А то удерем и от проклятых немцев... В корчме говорят, что комендант порядочный человек.

Ксана. Он красивый, этот барон.

Иван Александрович (*с неудовольствием.*) Ах красивый! Вы и это успели заметить?

Ксана. Успела. Я очень наблюдательна.

Иван Александрович. Вы Мессалина! (*Опять ее целует.*) Вот вам за развратное поведение! Сколько вам лет, Мессалина Павловна?

Ксана (*по-детски*). Восемнадцать-девятнадцатый.

Иван Александрович (*передразнивает*). «Восемнадцать-девятнадцатый». (*Целует ее опять.*) Какая вы вкусная, в пеньюаре после ванны! Не бойтесь, я тоже отлично умылся в корчме. Господи, как я рад!

Ксана. Ну так вот что: скажите мне теперь ваше настоящее имя.

Иван Александрович. Что?!

Ксана. Вы, верно, меня считаете дурочкой. А я сразу догадалась, что никакой вы не актер и не аккомпаниатор. Разве вы похожи на опереточного актера? (*С волнением, торжественно.*) Я ни о чем вас не спрашиваю: я понимаю, что это тайна. Но скажите только, как мне вас называть.

Иван Александрович. Называйте меня запросто: «глубокоуважаемый Иван Александрович».

Ксана. Вы вечно шутите, я этого не люблю... Не хочу вас называть выдуманном именем. И имя нехорошее: это Хлестаков — Иван Александрович.

Иван Александрович. А ведь правда! Я об этом не подумал.

Ксана. Ага, значит, вы признаете, что имя выдуманное. Я сразу догадалась. (*Мечтательно.*) Я хотела бы, чтобы вас звали Андрей — как в «Войне и мире» князь Андрей... Конечно, вы не актер.

Иван Александрович. А кто же я, Ксаночка?

Ксана (*понижив голос, таинственно*). Вы контрреволюционер.

Иван Александрович. Какая она догадливая, эта Мессалина! «Яка цикава, ця Мессалына». Мы на Укра-

ине, надо учиться по-украински. Нет, вы точнее скажите, кто я: бывший министр или великий князь?

Ксана. Отчего вы не можете говорить серьезно?

Иван Александрович (*конфиденциально, полупрошепотом*). Так и быть, открою вам всю правду. Я сам генерал Брусилор: бежал от большевиков, пробираюсь на юг, где стану во главе армии. Моя голова оценена в три миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей с копейками!

Ксана машет рукой.

Не верите? Какое безобразие! Не сердитесь, Ксаночка... Нет, я не знаменитость: я обыкновенный «контрреволюционный гад», так, средняя контра.

Ксана. Но если вас отправят туда, назад, за красные огни, то вас там расстреляют?

Иван Александрович. А уж это непременно. И правильно! Я их враг, что же им со мной церемониться? У большевиков многое правильно.

Ксана. Я знала... Я у вас видела револьвер... Я не хочу, чтобы вас расстреляли.

Иван Александрович (*рассеянно*). Я тоже не хочу. Но почему вы думаете, что нас отправят назад? Проверят наши бумаги, и мы мирно поедem в Киев.

Ксана. И там вы нас на следующий день бросите? И меня бросите?

Иван Александрович (*с жаром*). Что вы, как вам не стыдно! Я вас брошу не раньше как через три недели!

Ксана со злобой отталкивает его и отходит.

Ксана, милая, ангел, светик, Мессалина, в чем дело?

Ксана. Оставьте меня в покое!

Иван Александрович. Мадам Кастальская, красавица, бесценная, прелесть, Мессалиночка, Клеопатренка, что я вам сделал? Чего вы от меня хотите?

Ксана. Я хочу, чтобы вы меня оставили в покое и не лезли целоваться!

Иван Александрович. Но я не могу не лезть целоваться, когда вижу такую красавицу, как вы! Вы требуете невозможного! Это выше моих сил!

За окном справа слышен гул. Они подходят к окну. Иван Александрович отворяет. Гул усиливается.

Аэроплан! Немецкий аэроплан! (*Настроение у него сразу меняется.*)

Ксана. Эта огненная точка наверху? Куда же это он?
Иван Александрович. Черт его знает! Будь они прокляты! Дай ему Бог тотчас обрушиться и разбиться вдребезги! Ну, падай же! Не падает! *(Кричит в окно.)*
Да здравствует маршал Фош!

Ксана. Тише! Вы с ума сошли! *(Оттягивает его от окна.)* Что вам немцы сделали?

Иван Александрович. Они мне сделали Брестский мир! Они мне сделали то, что насадили у нас большевиков! *(Захлопывает окно.)* Это ужасно! Чувствовать себя в полной зависимости от них и еще быть им благодарным за спасение жизни! *(Садится с перекошенным злобой лицом.)*

Ксана. А знаете, Иван Александрович, вы... *(с усилием выговаривает ученое слово)* неврастеник. Только что были веселы, как мальчик, а теперь зверем смотрите. Может, вы сумасшедший, а?

Иван Александрович *(угрюмо)*. Может быть. Даже наверное.

Ксана. Так вы лечитесь.

Иван Александрович *(так же)*. Горбатого могила исправит.

Ксана. Что могила, далеко могила... *(Колеблется, полушутливо.)* Если б я была психиатром, я вам указала бы верный способ излечения.

Иван Александрович *(так же)*. Какой?

Ксана *(набравшись храбрости, с напускной веселостью)*. Женитесь на Ксении Павловне Антоновой-Кастальской.

Иван Александрович. Это на вас? Не хочу.

Ксана. А... мерси... почему?

Иван Александрович. Не люблю жениться.

Ксана. Теперь понимаю... Ну не надо... Ну не надо. *(Отходит к столу и перелистывает оставшийся на столе том Шекспира.)*

Иван Александрович смущенно на нее смотрит и подходит к ней.

Иван Александрович. Ксана...

Ксана *(шепотом)*. Оставьте меня...

Иван Александрович. Ксаночка...

Ксана *(кричит сквозь слезы)*. Оставьте меня!

Иван Александрович. Милая моя, я сожалею, что я так ответил... Не считайте меня грубияном или хамом... Но зачем же и вы сказали это с напускной шутливостью? Не делайте этого с другими. Это нехорошо, моя милая девочка.

Ксана (*запальчиво*). А приставать к «моей милой девочке» без намерения жениться — это хорошо?

Иван Александрович (*улыбаясь*). «Без намерения жениться»!.. Как она солидно говорит: прямо как собственная бабушка! Надо было сказать: «с заранее обдуманном намерением не жениться...» Нет, это, разумеется, тоже нехорошо. В свое оправдание скажу только одно: все равно, милая моя Ксения Павловна Антонова-Кастальская, все равно вы рано или поздно — и скорее рано, чем поздно, — отдадитесь человеку, который тоже будет «приставать к вам без намерения жениться».

Ксана. Ни-ког-да! Я хочу иметь мужа, а не любовника! Хочу иметь свой дом, хочу иметь детей. Вы, может быть, думаете, что я демоническая?

Иван Александрович. Вы не демоническая, вы умница... Разве только слишком рассудительная умница.

Ксана. Это плохо?

Иван Александрович. Напротив. В другое время это было бы даже превосходно... Но, милая Ксаночка, сейчас идет страшная война, идет страшная революция, гибнут великие империи, рушатся целые миры! В России тиф, скоро будет холера, чума. Совершенно неизвестно, сколько нам осталось жить... мне в особенности... А вы рассуждаете, как рассуждала ваша бабушка, вы в 1918 году живете морально тихого, спокойного времени. «Без намерения жениться». Я люблю вас, Ксаночка. Но разве я себе принадлежу?

Ксана (*сердито*). Да, да, знаю, вы принадлежите России и свободе! Слышала!

Иван Александрович (*не без досады*). Я совершенно не знаю, что со мной будет через месяц...

Ксана. Пусть со мной будет то же самое: все равно что. (*Смотрит на него.*) Я была бы вам верной, любящей, послушной женой.

Иван Александрович (*колеблется*). Да я не могу на вас жениться... Я женат.

Ксана (*смотрит на него с ужасом*). Вы? Женаты?.. Где же ваша жена?

Иван Александрович. Одна в Петербурге, другая в Москве. Я был женат два раза.

Входит Антонов в купальной простыне.

Антонов. Бритву забыл взять в чемодане. (*Смотрит внимательно, с неудовольствием на дочь и Ивана*

Александровича.) Здравствуйте... Ксения, что же ты так гуляешь, в пеньюаре? Ты поди оденься.

Иван Александрович. Собственно, вы тоже как будто не во фраке, Павел Михайлович.

Антонов (*сухо*). Я дело другое. Поди, милая.

Ксана. Да, папа, правда. (*Поспешно уходит.*)

Антонов (*вполне искренне*). Меня умоляют поставить здесь спектакль. Говорят, мое имя обеспечивает полный сбор.

Иван Александрович. Ну, что ж...

Антонов. Легко им просить... «поставь спектакль», «поставь спектакль»! Ведь расходы будут: статистам плати, афиши закажи, стулья достань. Где на все это взять деньги? (*Трагически.*) Что ж, Ксану послать продаваться, что ли!

Иван Александрович (*с раздражением*). Зачем из всего делать мелодраму? Что вы Мармеладова играете! На расходы я могу дать деньги. (*Вынимает бумажник.*) У меня есть двести пятьдесят рублей. Мне достаточно пятидесяти. Вот вам двести.

Антонов (*нерешительно*). Родной мой, спасибо. Беру, потому что это наше общее дело. Из сбора вам верну. Но достаточно ста. Сто возьму, двести — это много. (*Берет деньги.*) Ну а если не будет сбора?

Иван Александрович. Тогда я опишу и продам с молотка ваши штаны!

Антонов. Родной мой, что же вы сердитесь? (*Нерешительно.*) Если вам жалко, возьмите эти сто рублей назад.

Иван Александрович. Отстаньте, Павел Михайлович... Нам все равно и со сбором и без сбора до Киева не доехать.

Входит Марина. Окидывает их боязливо-игривым взглядом и со смешком подходит к столу за подносом.

Это еще что за красотка?

Антонов (*полушепотом*). Придурковатая эротоманка, служит у Василия Ивановича...

Иван Александрович. Милая, погодите, у вас тут, я вижу, водка.

Антонов (*берет чемоданчик*). А вы не голодны? Мы, кажется, ничего от закуски не оставили.

Иван Александрович. Нет, я есть не хочу. Съел в корчме яичницу из шести яиц. А вот водка... (*Выпивает залпом рюмку, за ней другую.*) Теперь унесите.

Марина берет поднос и игриво проходит мимо Антонова. Тот испуганно прикрывает чемоданчиком шею. Марина выходит.

Антонов. Ну я пойду. Еще раз спасибо, Иван Александрович.

Иван Александрович (*доканчивает*). «От старого русского актера»... Не стоит благодарности.

Антонов с недоумением пожимает плечами и уходит с чемоданчиком в руках. Иван Александрович раздраженно ходит по комнате. На столе ему попадает линейка. Он злобно бьет ею по столу. Стук в дверь.

Войдите.

Спекулянт. Виноват...

Иван Александрович. Что вам угодно?

Спекулянт (*чрезвычайно вежливо, почти подобострастно*). Я желал бы видеть господина Антонова, артиста.

Иван Александрович. Господин Антонов, артист, купается.

Спекулянт. Если не ошибаюсь, вы его помощник? Я имел честь и удовольствие видеть вас в корчме. Имею к вам нижайшую просьбу. Но она в высшей степени конфиденциальна.

Иван Александрович. Можете в таком случае и не говорить. Мне ваша просьба не нужна.

Спекулянт. Ваше лицо внушает мне доверие. (*Понижает голос.*) Мы с вами товарищи по несчастью: я тоже бежал от большевиков и тоже без украинской визы. Приехал всего три часа тому назад. (*Хватается за голову.*) Что это было! Господи, что это было! Кошмар!

Иван Александрович. Говорите, пожалуйста, толком: в чем дело?

Спекулянт (*с достоинством*). Охотно. Мои бумаги должны поступить к этому коменданту. Но мне говорили, что он очень не любит деловых людей. (*Презрительно.*) Этот солдафон думает, что если кто деловой человек, то непременно спекулянт, а если спекулянт, то непременно жулик.

Иван Александрович. Я не смею спорить с комендантом. Ему виднее.

Спекулянт (*не смущаясь*). Что я могу с ним поделать? Кошмар! Конечно, если человек находит, что капиталистический строй никуда не годится, то ничего нельзя возражать. Но зачем ему тогда служить офице-

ром? Или, например, зачем ему бежать от большевиков? Напротив, ему надо бежать к большевикам.

Иван Александрович. Мы могли бы отложить философскую часть разговора до другого раза. Перейдем к нефилософской.

Спекулянт. Охотно. Вы артист, и к вам комендант очень хорошо относится. Я это знаю конкретно. Он отсылает бумаги артистов с благоприятным заключением, и их всегда пропускают... Моя просьба к вам: включите меня в вашу труппу.

Иван Александрович (*изумленно*). Вы хотите быть актером?

Спекулянт (*улыбаясь*). Нет, гораздо лучше. Я хочу быть меценатом. Извините меня, вы будете смеяться, но я страшно люблю искусство. Честное слово. В Питере я ходил в театр почти каждый день: в «Фарс», в «Аквариум». Почти каждый день, что со мной можете поделаться? Я такой человек! Днем работаешь как вол, вечером хочется отдохнуть, развлечься от прозы жизни. Я часто в Питере помогал артистам, и я готов внести на ваше дело три тысячи рублей царскими. (*Умоляюще.*) Возьмите меня в вашу труппу, я вам дам три тысячи рублей... Я дам пять тысяч. У вас будет одним актером больше, не все ли равно?

Иван Александрович. Положим, что все равно... (*Думает.*) Все-таки это довольно странное предложение... Надо подумать...

Спекулянт (*радостно*). Зачем тут думать? Я понимаю, что вас смущает: вы боитесь, что это будет взятка? Помилуйте, какая же это взятка? Я в самом деле страшно люблю искусство, что вы можете со мной поделаться? Вы милые, талантливые артисты, отчего мне вам не помочь? Если б я в Питере предложил субсидию какому-нибудь театру, разве он отказался бы? Нет, такого театра нет ни в Питере, ни в целом мире, я конкретно говорю. В чем дело? И потом, допустим, что я спекулянт. Разве вы хотите, чтобы меня посадили в чрезвычайку? Нет, вы этого не хотите.

Иван Александрович (*веселеет*). Должен признать, что вы говорите довольно убедительно. Но на что вы, собственно, рассчитывали, когда отправились без визы?

Спекулянт. А на что вы рассчитывали? Разве я мог рассчитывать? Если б я в прошлую среду рассчитывал, то в четверг я бы сидел на Гороховой, в чрезвычайке. И потом, я рассчитывал, что комендант возьмет день-

ги. *(С яростью.)* А он не берет! Мне в корчме сказали, что он не берет.

Иван Александрович *(сочувственно)*. Этакий мерзавец!

Спекулянт. Все несчастья в мире происходят от людей, которые не берут взятку.

Иван Александрович. В вас пропал философ... Но как, собственно, вы хотите поступить, если мы согласимся? Ведь наши бумаги уже поданы коменданту.

Спекулянт. Я знаю. Будьте спокойны. При нем состоит унтер-офицер. Тоже солдафон, но не такой болван. Я уже с ним поговорил. *(С приятной улыбкой.)* Он берет. За пятьсот рублей он обещал мне присоединить мои бумаги к вашим. Разве комендант может помнить, сколько нас было — пять или шесть. Будьте совершенно спокойны. Мне нужно только, чтобы вы закрыли глаза.

Иван Александрович *(совсем весело)*. Закрыть глаза за шесть тысяч мы можем.

Спекулянт. Я, собственно, сказал: пять тысяч.

Иван Александрович *(как бы не расслышав)*. Закрыть глаза за шесть тысяч царскими мы можем... Кто вы по национальности, грек? еврей? армянин? Видите ли, у вас несколько хромает дикция, а мы здесь хотим поставить спектакль. *(С очень озабоченным видом.)* Вам придется в нем участвовать, надо сделать пробу. *(Берет со стола книгу.)* Какая удача: Шекспир.

Спекулянт *(озадаченно)*. Чудный писатель!

Иван Александрович. Отличный! *(Раскрывает наудачу.)* Не откажите прочесть ну вот хоть это.

Спекулянт *(сбитый с толку, читает)*. «О, духи ада, жгите меня в сере. Погрузите Отелло в жидкое адово пламя. Дездемона умерла, я убил Дездемону, о!» *(Испуганно.)* Чудная вещь! Но я думаю, будет лучше, если я буду у вас, например, администратором, а?

Иван Александрович *(очень довольный своей шуткой)*. Хорошо, назначаю вас нашим главным администратором. Теперь одно из двух: давайте деньги.

Спекулянт. Охотно. *(Отсчитывает.)* Вот две тысячи задатка.

Иван Александрович *(сурово)*. Три тысячи.

Спекулянт. Я всегда плачу задатком третью часть.

Иван Александрович. Я всегда получаю задатком половину.

Спекулянт. Охотно... Остальное при посадке в киев-

ский поезд. Я вам вполне верю. Между порядочными людьми должно быть полное доверие.

Иван Александрович. Разумеется! (*Смотрит ассигнации на свет: не фальшивые ли.*) Разумеется. (*Кладет деньги в карман.*)

Спекулянт. Ну, не буду вас задерживать... Страшно люблю артистов, что вы со мной можете поделаться? (*Уходит.*)

Иван Александрович (*подходит к двери. Кричит*). Павел Михайлович, сюрприз, есть сюрприз!

В двери появляется Антонов без пиджака, с намыленными для бритья щекнами. За ним Ксана, уже в платье.

Антонов. В чем дело?

Иван Александрович. Не было ни гроша и вдруг алтын. И не алтын, а три тысячи! (*Показывает деньги.*)

Антонов. Господи! Откуда же это?

Иван Александрович. В корчме оказался меценат, ваш горячий поклонник. Слышал вас и в Менелае, и в генерале Буме. Узнал, что вы тут, только что сюда пришел и купил кресло первого ряда на наш спектакль. Дал три тысячи.

Антонов (*недоверчиво-радостно*). Поклонники у меня есть во всей России, это я могу сказать без хвастовства. Но тут что-то не так...

Иван Александрович. Берите деньги, подробности письмом. Ну, вы без пиджака, так пусть пока деньги остаются при мне. Ксаночка, милая, с деньгами мы попадем в Киев. Я бодрился, но теперь могу сказать: без денег нам была крышка. Один язык до Киева не доведет, нужны еще и билеты. Теперь доедем, Ксаночка.

Ксана (*холодно*). Меня зовут Ксения Павловна.

Иван Александрович. Какая злючка эта Антонова-Кастальская!

Ксана. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я не хочу отнимать вас у России.

Дверь открывается настежь. Кто-то в коридоре подобострастно се придерживает. Видны фигуры вытянувшихся людей. В комнату входит комендант фон Рехов, за ним — Ершов. Фон Рехов окидывает внимательным взглядом Ксану и Ивана Александровича.

Ершов. Господин комендант, позвольте вам представить...

Фон Рехов (*очень любезно*). Мы уже знакомы. Мадемуазель. (*Кланяется.*) Так вы устроились здесь, гос-

пода? Очень рад за вас: у Василия Ивановича вам будет гораздо лучше, чем в корчме. Ваши бумаги завтра будут отосланы в Киев.

Антонов. Извините меня, господин комендант, я брился.

Фон Рехов. Это вы меня извините. Вы у себя дома.

Ксана. Очевидно, нам придется провести здесь несколько дней, господин барон?

Фон Рехов. Я не барон... Конечно, немецкому офицеру полагается быть бароном и старым дуэлянтом. Я просто фон Рехов, корпорантом никогда не был и отроду не дрался на дуэли. Видите, ни одного следа мензуры. Вы разочарованы?

Ксана. Напротив. Как вы хорошо говорите по-русски!

Фон Рехов. Гладко, но не хорошо... А вас очень пугает перспектива провести здесь несколько дней? Радости в самом деле немного. Вы артистка?

Ксана. Да, начинающая.

Фон Рехов. Как вы это хорошо сказали! Артисты ведь тщеславное племя: они еще хуже нас, писателей.

Ксана. Вы писатель?

Фон Рехов. Горе-писатель. Кажется, так говорят: горе-писатель? Я немного забыл русский язык, но остался горячим поклонником русской культуры. В каких ролях вы выступаете?

Ксана. Я так мало еще выступала...

Антонов. Мы хотим и здесь поставить спектакль, господин комендант.

Фон Рехов. Здесь?.. Это прекрасная мысль. Мы в этой глуши изголодались по обществу, по развлечениям. Я тут живу полгода. Занятие: проверка бумаг и ловля незаконно прибывших. Хорошо, если спекулянтов, а то и так называемых контрреволюционеров.

Ксана. Вы их отсылаете обратно?

Фон Рехов. Не по своей воле. У нас такое соглашение с большевиками.

Ксана. Соглашение отсылать людей на расстрел?

Фон Рехов. Не будем преувеличивать: расстреливают очень немногих, если вообще кого-нибудь расстреливают.

Ксана. Хотя бы одного человека! Это очень жестокая вещь.

Фон Рехов. Что же делать? Это очень жестокая война... Но вам никакая опасность не грозит. Я не предполагаю, чтобы вы были спекулянткой... *(смеет-*

ся) или контрреволюционеркой. (*Внимательно смотрит на Ивана Александровича.*) Вы тоже артист?

Иван Александрович (*очень сухо и официально*). Да, артист.

Фон Рехов (*с легкой иронией*). Какие роли вы играете? Первого любовника?

Иван Александрович. Играю и первого любовника.

Фон Рехов. Будет очень интересно увидеть вас на сцене... Я с удовольствием даю разрешение на спектакль.

Иван Александрович. Мы и не знали, что для этого нужно разрешение.

Фон Рехов (*холодно*). Здесь без моего разрешения не делается ничего. (*Смотрят друг на друга.*)

ЗАНАВЕС ОПУСКАЕТСЯ

ВТОРАЯ КАРТИНА

Та же обстановка, что и в первой картине. У пианино сидят фон Рехов и Ксана. Горит керосиновая лампа. На пианино бутылка вина и два бокала. Девятый час вечера.

Ксана. Какая печальная, темная ночь!

Фон Рехов. Еще не ночь. Только девятый час. Красные огни горят всего два часа.

Ксана. А со стороны вашего кордона нет огней.

Фон Рехов. Нет, мы не зажигаем. Через нашу линию люди бегут очень редко, и их всегда задерживают: наши часовые дежурят в двухстах метрах один от другого; каждые четверть часа ходят дозоры. В особенно темные ночи мы пускаем прожектор. Не было случая, чтобы кому-нибудь удалось бежать.

Ксана. Жаль!

Фон Рехов. Иногда жаль и мне. Я знаю, что наряду со всевозможными мошенниками бегут прекрасные люди, быть может лучшие люди России. На них за красными огнями охотятся, их подстреливают, иногда их расстреливают... Вы мне об этом сказали, когда мы познакомились, и это слово запало мне в душу. Как все, что вы говорите... Разумеется, мой человеческий долг заключался бы в том, чтобы всячески помогать бегущим. Но как германский офицер я, после Брестского мира, обязан всячески препятствовать их бегству. Мы пошли на компромисс с совестью: если людям удастся бежать, то, по общему правилу, мы их не

выдаем, хотя, собственно, обязаны выдавать. Но это не удастся в отношении некоторых категорий беженцев... У вас теперь говорят «беженцы». Прежде, кажется, не было этого слова.

Ксана. В самом деле, кажется, не было. Я и не замечаю: так привыкла... Вы не уверены в своем русском языке, а на самом деле вы говорите превосходно. *(С улыбкой.)* Лучше, чем русские... Я одно заметила: когда вы сердитесь, у вас вдруг проскальзывает легкий немецкий акцент... Очень легкий. Ведь вы учились в русской гимназии?

Фон Рехов. Да. Я родился в Петербурге, мой отец долго служил там советником посольства. Но по характеру я типичный немец: сентиментальный, методический — одним словом, немец-перец-колбаса.

Ксана смеется.

Происхождение мое смешанное. Семья наша очень древняя. Фон Реховы, как говорится, потомки крестоносцев. Судя по окончанию фамилии, род наш славянского происхождения. Бабка же моя по матери была дочерью богатого еврейского банкира, который находился в родстве с Гейне, чем я очень горжусь. Не меньше, чем крестоносцами. *(Подумав.)* Нет, крестоносцами все-таки горжусь больше. Я всегда думал, что гордиться надо всем, чем можешь, но только если можешь по праву. Современным людям больше всего недостает гордости: личной, государственной, национальной, расовой. Они сами себя не уважают, но обижаются, что их не уважают другие. Вот у вас переименовали Петербург в Петроград. Вы тоже всегда говорите «Петроград», меня это в ваших устах оскорбляет — не за немцев, конечно, а за Россию. Какое неуважение к своей истории: вычеркнуть из нее два столетия! Французы не переименовали бы Парижа, англичане не переименовали бы Лондона.

Ксана. А вот я читала, что английский королевский дом переименовал фамилию с немецкой на английскую.

Фон Рехов. Ну и нелепо. Я не король, но этого не сделал бы. *(С улыбкой.)* Мой отец производил свой род от какого-то швабского короля-миннезингера. Да и Гейне, кажется, считал себя потомком Соломона. Наш род, следовательно, начался с писателей — и писателем кончится: я последний в роде, я не женат и детей не имею.

Ксана. Так вы женитесь и родите детей.

Фон Рехов. Мне иногда кажется, что женщины на меня больше и не смотрят: мне сорок восемь лет. Я всегда был несчастлив в любви. Влюблялся, не пользовался взаимностью и познавал любовь только в самых грубых ее формах. Стыдно сказать: я почти всегда за любовь платил. Покойный брат мой говорил мне: если ты когда-либо женишься, то по привычке, уходя от жены в первое утро, оставишь на ночном столике двести марок... (*Спохватившись.*) Простите меня, я сам не знаю, что говорю... Вы заразили меня откровенностью. Я, разумеется, не должен был бы вам говорить это. Вы не очень сердитесь?

Ксана. Нисколько не сержусь, но очень удивлена. Вы так умны, вы красивы, вы так хорошо говорите! По-моему, вы должны были иметь огромный успех у женщин.

Фон Рехов (*с горечью*). Вот видите, вы говорите в прошедшем времени: должны были... Я ровно на тридцать лет старше вас.

Ксана. Мне всегда нравились только мужчины гораздо старше меня... И гораздо умнее.

Фон Рехов. Вы очень умны, и сами это знаете. Но ум у вас немного... Сказать? Вы не рассердитесь? Немного, как говорят французы, *terre-à-terre*¹.

Ксана (*смеется*). Как? И вы?

Фон Рехов. Почему «и вы»?

Ксана. Мне это уже говорили.

Фон Рехов. Это Иван Александрович? Это он «и вы»?

Ксана (*как бы не слыша*). Вероятно, вы правы... Я отлично знаю, что жизнь не может быть вечным праздником, вечной радостью. Но что же мне делать, я о других не думаю: мне хочется, страстно хочется, чтоб в моей жизни было много, очень много радости, чтобы ну не каждый день, но хоть один из двух был праздником... Это гадко?

Фон Рехов (*улыбаясь*). Отвратительно.

Ксана. Я хочу иметь свой дом, хороший дом, хочу иметь детей и дать им самое лучшее воспитание, окружить их заботой, уходом. Для этого нужны деньги, и я люблю деньги, да, люблю богатство. Знаю, что погубила себя в ваших глазах, но это так... И так думают девять девушек из десяти, только они этого не говорят — не потому, они лучше меня, а потому, что они умнее.

¹ Практический (*фр.*).

Фон Рехов. Это удивительно: вы говорите вещи, чуждые мне и не очень похвальные. Но мне так приятно, так уютно разговаривать с вами в этот темный осенний вечер, на этой забытой Богом станции. (*Смеется.*) Знаете, отчего Василий Иванович вас приютил? Он думал, что вы глубоко несчастны, а органически приятно смотреть на несчастных людей. Когда он увидел, что вы не очень унываете, он потерял к вам интерес.

Ксана смеется.

Выпьем еще вина?

Ксана. Выпьем... Вы нам подарили чудесное вино. (*Пьют.*)

Фон Рехов. Нет, рейнвейн средний. Дома у меня есть большой запас прекрасных вин. Иоганнисбергер есть, лучшее вино в мире... Лютер говорил: «Надо пить назло дьяволу: дьяволу неприятно, что у человека удовольствие».

Ксана. Где находится ваш дом?

Фон Рехов. Настоящий мой дом — на Рейне, недалеко от Бонна. Это наш родовой замок. Замок как полагается: с башнями, с бойницами, с подъемными мостами, не хватает только привидений. Архитектор моего деда удачно его реставрировал, но не догадался устроить зачарованную комнату. Я очень люблю свой замок, но одному в нем бывает и тоскливо... (*Поизлив голос.*) Вот если бы на Рейне сидеть за бутылкой Иоганнисбергера с таким пленительным существом, как вы...

Ксана (*смеется*). Хороша я буду как пленительное существо в немецком замке. Ксана Антонова — в рыцарском замке на Рейне!

Фон Рехов. Тогда вы назывались бы иначе: вы назывались бы — фрау фон Рехов. (*Смотрит на нее вопросительно.*)

Молчанис.

Ксана. Посудите сами: какая я фрау фон Рехов! Меня вся ваша родня засмеяла бы.

Фон Рехов. У меня нет родни.

Ксана. Ну прислуга.

Фон Рехов. Так и запишем: его предложение было отвергнуто из боязни неблагосклонного отношения прислуги.

Ксана. Так вы в самом деле сделали мне предложение? *(С особым удовольствием произносит это слово.)* Я так и думала, но не была уверена. Правда? Честное слово? Как я рада! Мне еще никто никогда не делал предложения... Это не значит, что я принимаю ваше предложение. Но я не отвергаю вашего предложения. Нет, я не отвергаю... Я не знаю... Вы уже позавчера намекнули, что вы любите меня... Но извините меня, мне кажется, что вы увлеклись мною потому, что в этой глуши нет женщин... Не сердитесь, мы с вами знакомы так недавно, мы почти не знаем друг друга... Я и сама себя не знаю. Мне иногда кажется, что можно одновременно любить двух человек.

Фон Рехов *(у него вдруг слышится немецкий акцент. Со злобой)*. Второй — это Иван Александрович? Или нет, он первый!

Ксана. Ну вот видите, вы рассердились и заговорили с немецким акцентом... Что же мне делать, мне кажется, что я немножко люблю вас и немножко его.

Фон Рехов *(встает, со злобой)*. Покорно вас благодарю. Кажется, старик Ершов и в самом деле прав: все сумасшедшие.

Ксана. Я сказала вам правду... Сказать больше? Чтобы вы окончательно прониклись ко мне презрением? Вы мне нравитесь, ужасно нравитесь, но, если б не было вашего имени, вашего замка, вашего богатства, да, и вашего богатства, — я, вероятно, сказала бы вам: «нет»... Довольны? Вы меня презираете?

Фон Рехов. Ваша откровенность обезоруживает. Кажется, вы и пользуетесь ею как маневром.

Ксана смеется.

Как все-таки вы сказали: «Я вам нравлюсь, ужасно нравлюсь»? Повторите.

Ксана. Незачем повторять: вы совершенно точно передали мои слова. Если я не опротивела вам сразу, то... Дайте мне подумать. Вы меня ревнуете к Ивану Александровичу, и вы правы. Он мне страшно нравится, но...

Фон Рехов *(перебивая)*. Он — «страшно», а я — «ужасно»?

Ксана. Не перебивайте, я и без того запуталась. В сущности, я Ивана Александровича знаю еще меньше, чем вас. Я даже не знаю его настоящей фамилии. *(Спыхватывается.)* Ах...

Фон Рехов (*с улыбкой*). Я не расслышал вашей последней фразы. Продолжайте.

Ксана. Я его мало знаю, но он свой... Что ж делать, он женат... Дайте мне подумать.

Фон Рехов. Подумайте... Все равно надо подождать конца войны.

Ксана (*меняя разговор*). Когда кончится эта проклятая война. Кому она нужна...

Фон Рехов. Никому. Марк Твен говорил, что Господь Бог, бесспорно, повторился, когда вслед за человеком создал барана. Эта война чуть не превратила меня в инвалида, я был отравлен газами, и, что глупее всего, нашими же, немецкими газами: в день газовой атаки изменилось направление ветра. Я пролежал три месяца и думал: кто же виноват? На кого сердиться? Разве на ветер? Но мне еще грех жаловаться: есть ведь раны, представляющие собою настоящее издевательство над человеком, над мужчиной. Я видел в лазарете таких раненых и думал, каково должно быть у них отношение к Божественному Промыслу. Могут быть и другие варианты того же вопроса: каково, например, отношение к идее разумности мироздания у сиамских близнецов?.. Лучше всего об этом не думать — и так поступает огромное большинство людей, пока жизнь не прищемит им хвоста.

Ксана. А может быть, есть вещи, недоступные человеческому пониманию.

Фон Рехов. Женскому пониманию — да. Но я, за измученную душу, хочу понять все... Или понять хоть что-нибудь! Иначе не стоило и жить.

Ксана. Да вот вы же не понимаете, зачем нужна была война.

Фон Рехов. Она не была нужна, но с того дня, когда ее объявили, мы вложили в нее смысл. Наша победа, победа Германии, даст миру порядок... Не очень разумный, но все-таки порядок.

Ксана (*с задором*). А у нас говорят, что ваши дела на Западном фронте идут плохо?

Фон Рехов (*опять с легким немецким акцентом*). У вас говорят? Это Иван Александрович говорит? Скажите ему, чтобы он не радовался. У нас на Западном фронте временные неудачи, но... Идите сюда.

Ксана удивленно на него смотрит.

(*Повторяет властно.*) Идите сюда.

Ксана встает.

(Подводит ее к стенной карте, проводит черту и говорит очень внушительно.) Видите эту линию? Это так называемая линия Брунгильды, наша последняя и, могу вас уверить, очень мощная позиция. Если б союзникам удалось ее прорвать, то нам действительно пришлось бы отступить на Рейн и перенести на немецкую землю все ужасы войны. Но ее проЭрвать совершенно невозможно. Мы будем отстаивать ее до последней капли крови. Пусть же Иван Александрович с маршалом Фошем сначала возьмут линию Брунгильды.

Ксана. Почему она так называется?

Фон Рехов. Разве вы никогда не слышали вагнеровской тетралогии?

Ксана. Никогда. Это стыдно? Я страшно невежественна.

Фон Рехов. Счастливица! Сколько наслаждений вам еще предстоит! Сам я играю очень плохо, но люблю и чувствую музыку... Гейне, и не зная музыки Вагнера, говорил о красоте легенды Нибелунгов: «Летняя ночь, бледно-серебристые звезды, готические соборы, и в этой обстановке — страсти, сильнейшие из человеческих страстей: любовь, ненависть, злоба, честолюбие, зависть, мщенье...» И эта легенда положена на божественную музыку, самое прекрасное из всего, что создал гений Германии. Так вот, в тетралогии Вагнера бог Вотан окружил стеной, неприступной стеной огня, свою виновную, но любимую дочь Брунгильду. Мотив Вельзунгов изображает печальную судьбу потомства Вотана. Он повторяется в похоронном марше «Сумерок богов»... Как надо сказать — «сумерок» или «сумерков»?

Ксана. Ей-богу, я сама не знаю! Вы меня сбили, и я много выпила. Кажется, «сумерок». *(Смеется.)*

Фон Рехов. В первом акте «Валькирии» Зигмунд говорит: «Отойди от меня, женщина. Надо мной повис злой рок потомства Вотана». Это обо мне сказано.

Ксана. Почему о вас?

Фон Рехов. У каждого свой рок. И своя линия Брунгильды... В душе у каждого порядочного человека должна быть линия Брунгильды: то, чего он не уступит, не отдаст, не продаст ни за что, никогда, никому... Это подлинная правда человека. Понимаете, Ксана... *(С нежностью.)* Можно называть вас Ксаной?

Ксана. Разумеется. Меня все так называют.

Он целует ей руку. Входят Ершов и Иван Александрович, у которого в руках газета.

Иван Александрович (*в дверях Ершову*). Да что вы мне говорите! Это для них катастрофа! Лилль взят, Лилль взят! (*Видит фон Рехова и Ксану. Останавливается как вкопанный.*) Виноват. Мы не помешали?

Фон Рехов. Нисколько. Я рассказывал Ксении Павловне легенду Нибелунгов.

Иван Александрович. Не стоило рассказывать. Я никогда не мог разобраться во всей этой ерунде. Зиглинда, Воглинда, Ортлинда — одни имена чего стоят! А музыка хороша. (*Садится за пианино и играет «По-лет валькирий».*)

Дверь бесшумно открывается. Появляется немецкий вестовой. Он бросает взгляд на Ивана Александровича, подходит к фон Рехову, что-то шепчет и подает конверт. Фон Рехов вскрывает его и читает бумагу. Лицо его меняется, он искоса смотрит на играющего Ивана Александровича, затем отходит к двери и шепчется с вестовым. Вестовой уходит. Фон Рехов остается у двери и смотрит то на Ивана Александровича, то на Ксану. Иван Александрович обрывает игру.

Фон Рехов. Вы удивительно хорошо играете... для аккомпаниатора... Господа, к большому моему сожалению, я вынужден вас покинуть: меня вызвали по экстренному делу. (*Прощается.*)

Ершов. А вы, комендант, когда кончите дело, приходите чай пить.

Фон Рехов. Спасибо. Не знаю, смогу ли, да и вам, верно, в своей компании приятнее, мне и то всегда совестно. (*Ивану Александровичу, холодно.*) Вы долго здесь пробудете?

Иван Александрович. Не знаю. С час, думаю. А что?

Фон Рехов. Мне надо будет с вами побеседовать. Пожалуйста, зайдите ко мне, когда уйдете отсюда. В мой служебный кабинет.

Иван Александрович (*неприятным тоном*). К вашим услугам, господин комендант. С удовольствием приду.

Фон Рехов. Все удовольствие будет на моей стороне. (*Уходит.*)

Иван Александрович. С тех пор как немцев стали бить на Западном фронте, их просто узнать нельзя, такие они томные.

Ксана. Это неправда, Иван Александрович! Комендант был с нами любезен с первого же дня. Он нисколько не изменился, вы несправедливы.

Иван Александрович. Да их уже и тогда били... И я не подрядился быть справедливым! Почему вы так заступаетесь за коменданта? (*Со злобой.*) *La donna è mobile!*¹

Ершов. Комендант отлично говорит и, как все говоруны, повторяется. Жаль, что у немцев нет этой... как ее? — учредилки или хоть предбанника... Впрочем, нет, этого я и немцам не пожелаю! А уж он там бы заблистал, распустил бы перышки. Ему мало скушать Европу просто, — он хотел бы слопать ее под философским соусом.

Иван Александрович. Бог даст, подавится.

Ершов. Что, барышня, он вам о линии Брунгильды говорил?

Ксана (*сердито*). Ничего ни о какой такой линии он мне не говорил.

Ершов. Ну, так еще скажет. Мне он с весны раза три рассказывал о какой-то «линии Брунгильды» в душе человека. В 1888 году к нам сел один музыкант, тоже помешался черт знает на чем. Через год умер — оказался стопроцентным прогрессистом.

Ксана (*вскакивая*). Я всего этого слышать не хочу! Извините меня, Василий Иванович, это пошло! И гадко так говорить о человеке, которого вы только что звали к себе в гости.

Ершов. Барышня, я не виноват. Поживите с мое, сами увидите, что такое жизнь. (*Подходит к двери и кричит.*) Марина, дура, мерзавка, подавай самовар! (*Возвращается.*) Надо пойти за ней. Верно, побежала насиловать немецких солдат.

Вдруг вдали раздаются выстрелы. Все вздрагивают и взволнованно прислушиваются.

Когда безлунная ночь, всегда постреливают.

Иван Александрович. Это за красными огнями? Кто-то хотел бежать.

Ершов. Да... Кого-то нет, кого-то жаль. Наши клиенты хоть не стреляли. Мы им не давали оружия. (*Уходит.*)

Иван Александрович у окна раскуривает папиросу и напевает: «*La donna è mobile...*» За сценой снова выстрелы. Довольно продолжительная сцена без слов. Иван Александрович напевает все то же, временами затягиваясь и переставая петь. Ксана смущенно уходит. Он с досадой бросает папиросу.

¹ Сердце красавицы! (*итал.*)

Стук в дверь. Не дожидаясь ответа, входит или, точнее, вбегает Спекулянт. Лицо у него очень взволнованное и расстроенное.

Спекулянт (*поспешно*). Извините, мы здесь одни? Здравствуйте.

Иван Александрович. Здравствуйте. Что случилось?

Спекулянт. Случилось несчастье. Я вас ввел в страшное невыгодное дело. Но я не виноват, мне так же скверно, как вам... Кошмар.

Иван Александрович (*нервно*). Да говорите толком.

Спекулянт. Я только что вернулся со станции в нашу корчму. Хозяин меня любит — я ему хорошо плачу, я широкий человек, — он бежит мне навстречу и говорит: «Случилась беда!..» У вас нет валерьянки?

Иван Александрович. Нет... Какая беда?

Спекулянт. Вы помните, этот второй немец, мы с ним вели переговоры. Я ему дал двести рублей задатка и условился, что, как только он положит мои бумаги к вашим, я ему передам остальные триста. Три дня он к черту пропадал, вчера послал ко мне третьего немца с письмом за деньгами. Я дал триста рублей... Дайте мне, пожалуйста, воды...

Иван Александрович (*наливает ему воды. Нервно*). Ну и что же?

Спекулянт (*ньет*). Как это не иметь в доме валерьянки? У вас, верно, не нервы, а канаты... Что, вы думаете, делает этот негодяй? Он подает рапорт коменданту и прилагает эти пятьсот рублей как доказательство. Вы понимаете, чем это пахнет? В военное время.

Иван Александрович (*с бешенством*). Черт их подери!

Спекулянт. Мало того, этот мерзавец, верно, получил от начальства награду, напился пьяный, как свинья, пришел час тому назад в корчму и еще ругался: «Я им покажу, как подкупать немецкого солдата!..» Кошмар! Я дал хозяину корчмы двадцать пять рублей. В корчму я, конечно, не зашел, а побежал сюда к вам условиться, что показывать. (*Хватается за голову.*) Что делать? Боже мой, что делать?

Иван Александрович (*злобно*). Этим мы вам обязаны!

Спекулянт. А чем я виноват? Я хотел проехать на юг, чтобы не умереть с голоду в Питере и чтобы не сидеть в чрезвычайке. Это моя вина? Но теперь не время сердиться. Скажите конкретно, что вы будете

показывать. Вас арестуют самое большое через час или через два.

Иван Александрович (*подумав*). Вы сказали этому унтер-офицеру, что действуете по уговору со мной?

Спекулянт. Разумеется, сказал. Он меня первым делом спросил, не проболтаются ли другие. Я ему ответил, что говорил с вами и что вы будете молчать. Да что они, дети, что ли? Всякий понимает, что я не мог этого сделать без вашего согласия.

Иван Александрович. Значит, вы сказали только обо мне? Об Антоновых ничего не сказали?

Спекулянт. Ни звука. Я с Антоновыми и не имел дела.

Иван Александрович. И не скажете? Ведь они в самом деле тут ни при чем.

Спекулянт. За кого вы меня принимаете? Разумеется, не скажу.

Иван Александрович. Умоляю вас, валите все на одного меня.

Спекулянт. Охотно. Сказать правду, я слышал, что они давно вас в чем-то подозревают. Я вас не спрашиваю ни кто вы, куда вы едете, я ни о чем вас не спрашиваю. Я только хочу знать конкретно: что вы будете показывать?

Иван Александрович (*подходит к правому окну*). Я ничего не буду показывать. Я постараюсь улизнуть.

Спекулянт. Как «улизнуть»? Куда?

Иван Александрович. Ближайшее село за немецким кордоном в шести верстах. Если туда пробраться, можно там переночевать и затем пробираться дальше на юг. Хотите, попробуем вместе?

Спекулянт. Помилуйте, а как перейти через немецкий кордон?

Иван Александрович. Немецкие часовые стоят на расстоянии двухсот метров один от другого.

Спекулянт. Немецкие часовые отлично стреляют на двести метров.

Иван Александрович. Не каждая пуля попадает.

Спекулянт. Не каждая, но очень многие.

Иван Александрович. Мне терять нечего.

Спекулянт. Извините, у меня есть что терять. Это для меня не дело. Пусть меня лучше отошлют через красные огни. Лучше сидеть на земле в Чрезвычайке, чем лежать под землей в могиле. Нет, это для меня не дело.

Иван Александрович. Как вам угодно. Если мне удастся убежать, валите на меня как на мертвого.

Спекулянт. Охотно. Но если вы и будете мертвый?

Иван Александрович. Тогда тем более.

Спекулянт. Мне вас страшно жаль... Счастливого пути. Не сердитесь на меня, разве я виноват. *(Пожимает ему руку.)*

Входит Марина с самоваром, ставит самовар на стол и с тем же игриво-боязливым видом проходит мимо Спекулянта. Он смотрит на нее изумленно.

Что это за женщина? Кошмар! *(Уходит.)*

Иван Александрович в раздумье подходит к правому окну, открывает его и высовывается, ориентируясь. За окном темно. Идет дождь. Он надевает пальто, вынимает из кармана брुक револьвер и кладет его в пальто. Подходит к двери.

Иван Александрович *(нерешительно, негромко)*.
Ксана...

Никто не откликается. Он садится было за стол, берет в руки перо, затем машет рукой и уходит из комнаты. Сцена остается с минуту пустой. Потом появляется Антонов и Ксана, за ними — Марина с подносом.

Антонов. Ивана Александровича нет?

Ксана. Он тут был пять минут назад и не говорил, что уходит.

Антонов. Когда он нужен, его никогда нет. Никольские сейчас придут. *(Марине.)* Поставьте, милая, поднос. *(Смотрит на поднос с неудовольствием.)* К чаю опять холодные котлеты. Вчера тоже были котлеты... Вы не бойтесь, миленькая, я вам ничего не сделаю.

Марина фыркает и убегает.

Экая идиотка, прости Господи! Ксаночка, что, если нам предложить Василию Ивановичу денег за постой? У нас ведь теперь есть кое-какие деньги: у Ивана Александровича хранятся те три тысячи, и спектакль даст рублей семьсот. Как ты думаешь? Нельзя же злоупотреблять гостеприимством человека. Он нас и кормил бы тогда лучше, а?

Ксана. Он не возьмет и обидится.

Антонов. Я тоже боюсь, что обидится. Ну, не надо, будем и дальше есть котлеты. Киев уже не за горами.

Входят Никольские, муж и жена.

Здравствуйте, друзья мои. Теперь все в сборе, кроме Ивана Александровича.

Ксана. Я не понимаю, куда он мог деться. Не гулять же он пошел в такую погоду.

Никольская. Милые, мы очень встревожены: в корчме говорят, будто на кого-то из приезжих поступил донос. Я наперед думаю, что теперь надо ждать от немцев всяких строгостей. Наперед знаю.

Ксана (*с тревогой*). Донос? На кого донос?

Никольская. Мы и сами не знаем, толком узнать ничего не удалось.

Никольский. Ксения Павловна, хотите шоколаду? Я здесь купил в лавке. Вполне сносный шоколад.

Антонов. Никакой донос нам не страшен. Комендант к нам относится как родной отец. Еще сегодня утром он говорил мне, что через неделю получится для нас разрешение... (*Садится.*) К делу, друзья мои! (*Пришмавает сразу другой, не то отеческий, не то диктаторский тон главы труппы.*) Семеро одного не ждут. Итак, спектакль наш назначен окончательно на одиннадцатое число. Ставим мы третий акт «Прекрасной Елены» и отдельные музыкально-вокальные номера. «Прекрасную Елену» придется раза два прорепетировать. Я-то, разумеется, партию Менелая во сне могу спеть без ошибки, но вы, друзья мои... Ксаночка, милая, тебе придется играть Париса. Молодого актера у нас нет.

Никольская. Как нет? А Иван Александрович? Правда, у него баритон, а Парис — тенор...

Антонов. Это мне наплевать с четвертого этажа, что у него баритон. Не мог, что ли, Парис быть баритоном? Но Иван Александрович — наш оркестр: он должен аккомпанировать. Итак, Ксаночка, ты — Парис.

Ксана (*рассеянно*). Мне все равно, папа.

Антонов (*строго*). Ксения, актрисе ничего не может быть все равно. Местечко дрянное, но Сара Бернар горела и тогда, когда играла в Житомире.

Ксана. Хорошо, папа, я буду гореть... Все-таки где же может быть Иван Александрович?

Антонов. Мы его оштрафуем за неявку на заседание... Впрочем, как его оштрафуешь — все деньги у него.

Никольский. Чтоб не забыть, Павел Михайлович. В корчме требуют денег, дайте нам сколько-нибудь из этих трех тысяч.

Антонов (*отечески*). Дам, дам... Напомните мне взять у Ивана Александровича, когда он вернется. А как только приедем в Киев, бабы получат по двести рублей на тряпки.

Ксана (*с интересом*). Двести рублей? (*Вздыхает.*) На дневное платье много, на вечернее мало.

Антонов. Итак, друзья мои...

Ксана (*перебивает его*). Если б вы дали триста, папа, я сшила бы вечернее, лиловое.

Никольская. Я тоже хотела бы получить триста. У Ксаны хоть туфли есть, а я хожу как нищая, мне все нужно. Интересно, что теперь моднее — платья или туфли?

Антонов. Мы приступили к работе, прошу меня не перебивать... Итак, Ксаночка, ты будешь Парис. Ты будешь очень милый Парис, тебе идут роли травэсти.

Никольская. Павел Михайлович, надо говорить «травэсти».

Антонов (*огрызается*). Хоть вам, милая, скоро срок, но вы молоды, чтобы меня учить. Говорю как хочу... вы, разумеется, будете Елена, а вы, голубчик, будете Аякс.

Никольский (*зевая*). Какой — первый или второй? В «Прекрасной Елене» два Аякса.

Антонов. С такого паршивого местечка вполне достаточно, если будет один Аякс. Для ролей Агамемнона, Ореста и других царей найдем полдюжины статистов. (*Никольскому.*) Обойдите вы, милый, завтра здешние лавки и подыщите, но больше пяти рублей ни одному царю не давайте.

За левым окном вдруг вспыхивает яркий свет.

Это еще что такое? Пожар?

Ксана (*в тревоге*). Это прожектор! Папа, это прожектор!

Входит Ершов.

Антонов. Милая, ну прожектор так прожектор. Василий Иванович, почему у них такая иллюминация?

Ершов. Они часто зажигают прожектор в темные вечера... Господа, прошу закусить чем Бог послал. Барышня, прошу за самовар, вы хозяйка. По рюмочке наливки, господа?

Никольская. Вот я так и знала. Вы спросите: «По

рюмочке чего-нибудь?», а Павел Михайлович ответит: «Нет, дал зарок». После чего вы оба выпьете. Все всегда наперед знаю! А моему я пить не позволю. Тебе вредно пить. У тебя печень. Он и так целый день только и говорит, что о напитках и о еде. Это называется артист!

Никольский (*благодарушно*). Мать моя, моя женитьба на тебе — одна из самых роковых ошибок истории. (*Пьет.*) Я артист, но по призванию мне надо было бы родиться в Древнем Риме и быть поваром у какого-нибудь Лукулла.

Никольская. Дурак!

Никольский (*подумав*). Сама дура.

Ершов. Он находчивый, не говорите.

Никольский. Пожаловаться не могу... В корчме говорят, что немцев скоро разобьют вдребезги.

Ершов. Не разобьют немцев.

Никольская. Почему вы знаете? Как вы можете заранее знать, что не разобьют?

Ершов. А если и разобьют, то будет еще хуже: этот Клемансо нас всех в бараний рог скрутит... (*Помолчав.*) Ему восемьдесят лет. Меня в шестьдесят пять по дряхлости уволили за штат от должности смотрителя дома умалишенных.

Антонов. Не умели у нас, Василий Иванович, ценить людей. (*Пьют.*)

Слева вдруг раздаются выстрелы: один, другой, третий. Ксана бросается к окну.

Что это?

Ершов. Да, странно. С той стороны, со стороны товарищей, палят часто. Но это как будто со стороны немецкого кордона.

Антонов. Ксаночка, отойди поскорее от окна!

Ксана (*почти шепотом*). Лишь бы не он! Господи, лишь бы не он!

Антонов. Ксения, отойди от окна, я тебе говорю!

Ксана отходит.

Василий Иванович, что же это значит?

Ершов. Это, вероятно, значит, что кто-то пытался тайно перейти через немецкий кордон. Сумасшедший!..

Ксана. Может, его не поймают.

Антонов. Не поймают, так убьют.

Входит фон Рехов.

Фон Рехов (*много холоднее обычного*). Добрый вечер, господа. Извините, что помешал. Ивана Александровича нет?

Антонов. Нет, исчез куда-то.

Фон Рехов. Я, однако, просил его зайти ко мне.

Ершов. Подсаживайтесь, комендант, чайку выпьем.

Фон Рехов. Не могу. Занят.

Никольская. Господин комендант, я все хочу вас спросить. Говорят, вы недавно были в Вене. Правда ли, что в Вене теперь носят платья с короткой талией и шляпы «клеш»? Ведь мы за время войны от всего отстали, ничего не знаем, ничего!

Антонов. Родная, что вы к коменданту лезете с такой ерундой! Скажите нам, господин комендант: что означает эта стрельба? Если, конечно, не секрет...

Фон Рехов. Нет, это не секрет. Стрельба означает, что кто-то пытался нелегально перейти через наш кордон. Я через несколько минут буду знать, кто и что. Вероятно, его убили.

Ксана вскрикивает. Молчание. Фон Рехов смотрит на Ксану и отводит глаза. В дверях появляется вестовой. Фон Рехов постепенно отходит к нему, тот шепотом докладывает. Все смотрят на них с ужасом.

Пытался бежать ваш Иван Александрович.

Ксана. Вы убили его! Я ненавижу вас!

Фон Рехов. Он жив и невредим.

ЗАНАВЕС ОПУСКАЕТСЯ

ТРЕТЬЯ КАРТИНА

Эстрада большого зала в том же здании. На ней пианино, то, что в первых двух картинах стояло в комнате Ершова. Две двери. Одна ведет в «артистическую». Другая — в коридор, выходящий в кабинет фон Рехова. Шесть часов вечера. На эстраде — Антонов, Ксана, Никольские.

Антонов. Милая моя Ксаночка, ну успокойся, ну приди в себя. Я понимаю, как тебе тяжело. Ведь я отец, я сердцем чувствовал... (*Подносит платок к глазам.*) Я сердцем чувствовал, что у тебя роман с Иваном Александровичем... Что ж, мы все здесь свои люди...

Ну, не сердись, ну, я не то слово сказал: роман — пошлое слово, я знаю. *(Начинает сердиться.)* Ну, хорошо, я пошляк, я выжил из ума. Но пойми же ты, что наше положение отчаянное. *(Сентенциозно.)* Милая Ксана, в твои годы естественно думать, что все в мире в этом: что он сказал, да что он хотел сказать, да как он на тебя взглянул, да что этот взгляд означал. Я сам в твои годы сходил с ума от каждой юбки. Но что же делать, в жизни есть небесная поэзия и есть земная проза.

Ксана *(у нее в течение этой картины вид необычный, глухой голос, устремленный в сторону взгляд, полное отсутствие улыбки)*. Папа, скажите просто: чего вы от меня хотите.

Антонов. Я прежде всего хочу, чтобы ты успокоилась и пришла в себя. Да и нет оснований для такой тревоги: Иван Александрович не ранен, он находится под стражей, его будут судить. Не расстреляют же его за такой пустяк! Обращаются с ним хорошо, его кормят. *(Раздраженно.)* Тогда как нам скоро будет нечего есть.

Никольский. Меня с ней уже третий день кормят одной гречневой кашей с прескверным маслом. Я ночью думал: отдал ли бы ее... *(показывает на жену)* за рябчика с брусничным вареньем. *(Убежденно.)* Отдал бы.

Никольская. Дурак!

Никольский *(подумав)*. Сама дура.

Антонов *(с интересом)*. Вы говорите — «за рябчика с брусничным вареньем»? Как в московской «Праге»?

Никольская. В вас, Павел Михайлович, тоже очень сильно животное начало... Милая Ксаночка, мне вас страшно жаль. Я предчувствовала все это и даже ему говорила...

Никольский. Ничего ты мне не говорила. Все ты врешь, мать моя.

Антонов. Господа актеры, «ша»... Витать в небесах отлично, когда на земле есть текущий счет. А когда вся свободная наличность пятнадцать рублей с копейками, то надо смотреть в глаза грубой действительности. Василий Иванович, спасибо ему, дал займы сто рублей, потом еще пятьдесят... Добрый, хороший человек. *(Подносит к глазам платок.)* Но больше просить его о деньгах я не могу, надо и честь знать: он сам бедняк... Если мы отменим спектакль, то нам крышка. Даже если пропустят в Киев, то ехать нам не на что.

(*Нерешительно.*) Разве попросить у этого фон-барона займы? Он дал бы...

Ксана. Ни за что.

Никольский. Я тоже думаю, что это неудобно.

Антонов. А вы думаете, мне хочется? Мне он и самому стал гадок после этой истории с Иваном Александровичем. Хотя, собственно, чем он виноват? Тут никто не виноват.

Никольский (*внезатно багровея, со злобой, которой от него никак нельзя было ожидать*). Ну, уж это вы меня извините. Я этого вашего Ивана Александровича всегда недолголюбивал. Но я прямо скажу: если человек решил бежать, то сначала надо было вернуть доверенные ему деньги труппы! Да! А вы говорите: «никто не виноват»!

Антонов (*смущенно*). Голубчик мой, да он забыл! (*Без уверенности в голосе.*) Неужели вы сомневаетесь, что он забыл? Просто не подумал впопыхах...

Ксана выбегает в дверь, идущую в «артистическую». Общее смущение.

Никольская. Ну как тебе не стыдно? Свинья ты, право! Что же это такое? Я так и знала, что ты что-нибудь такое ляпнешь. Ты отлично знаешь, что Иван Александрович — благороднейший человек.

Никольский (*смущенно*). Хотя я ничего такого о нем не знаю и не думаю, но я этого не имел в виду... Я готов извиниться перед Ксенией Павловной.

Антонов. Сказали вы, голубчик, как последний хам — это я вам дружески говорю, — но по существу вы правы: так в самом деле не поступают — все наши деньги взял, ускакал, как дурак попался, деньги опечатаны, а мы пропадаем без гроша. (*Ворчит, сам себя передразнивая.*) «Забыл», «забыл»... А ты не забывай!.. Боюсь, не случилось бы с ним беды. Ведь он не актер и аккомпаниатор.

Никольская (*с жадным любопытством*). А кто же он?

Антонов (*таинственно понижая голос*). Я думаю, он видный политический деятель. Если его отошлют за красные огни — каюк. (*Проводит пальцем по шее.*)

Никольская. Какой ужас! Я так и знала!

Антонов. Но ради Бога, никому ни слова, я только вам говорю! Это величайший секрет. Ведь дело идет о человеческой жизни.

Никольская. Клянусь памятью моей матери!.. Я

сейчас приведу Ксану. А ты извинишься, слышишь?
(Уходит.)

Никольский. Говорят, в Киеве отличные рестораны. Так что же бы вы, Павел Михайлович, дали за рябчика с брусникой? Полжизни бы отдали?

Антонов. Ну уж, полжизни. Впрочем, много ли мне и жить осталось. Разве год, а то и меньше. Денька три отдал бы, особенно если таких, как эти.

Ксана, заплаканная, возвращается. Ее ведет Никольская.

Никольская. Милая Ксаночка, вы его не поняли: он стгоряча пожаловался, что Иван Александрович забыл отдать деньги.

Никольский (смущенно). Разумеется, Ксения Павловна... Извините меня, но я не думал, что вы плохо меня поймете: мы, слава Богу, знаем друг друга. (Целует ей руку.)

Никольская. Он ведь втайне в вас влюблен. Я ревную, честное слово.

Антонов. Инцидент исчерпан. За работу, друзья мои, за работу! (Снова принимает диктаторский тон.) Господа, прошу относиться к делу внимательно и серьезно. Мы играем не пустяки какие-нибудь, а «Прекрасную Елену». Вещь классическая, стильная. Пойдите, где же наш оркестр?

Никольский. Какой оркестр?

Антонов. Разве я вам не сказал? Вместо Ивана Александровича я сегодня пригласил на пробу одного еврейского юношу. Мне на станции сказали, что он недурно играет...

Никольская (слезливо). Что же это будет за спектакль? Хорош аккомпаниатор!

Антонов (огрызается). Он получит два пуда муки. За такой гонорар, извините, Падеревский не приехал бы сюда, чтобы вам аккомпанировать.

Никольский. Там в коридоре сидел какой-то мальчишка. Верно, он.

Антонов. Черненький такой? Конечно, он. Позовите его, родной мой.

Никольский выходит.

Ну и спектакль, прости, Господи. Где «Прекрасную Елену» играю, а? После прежних триумфов, а? В Симбирске, в день моего бенефиса, меня после куплетов

Менелая вызывали восемь раз. В театре стон стоял, стены дрожали от рукоплесканий... В зале были губернатор, полицмейстер, все виднейшие местные социал-демократы... *(Поднимает крышку пианино.)*

Входят Никольский и Аккомпаниатор.

Здравствуйте, молодой человек. Так вы говорите, что можете сыграть «Прекрасную Елену».

Аккомпаниатор. Почему нет? Могу.

Антонов. А вы где учились?

Аккомпаниатор. В Ковно, в прогимназии без классических языков.

Антонов. Нет, музыке где учились?

Аккомпаниатор. Где я не учился? *(Потупив глаза.)* Я бывший местный вундеркинд.

Антонов *(недоверчиво).* А ну-ка, сыграйте. *(Открывает партитуру.)*

Аккомпаниатор бойко играет известнейшие мелодии «Прекрасной Елены».

Ей-богу, недурно! Отлично, значит, дело кончено. Вы получаете двадцать пять карбованцев.

Аккомпаниатор. Мы говорили: два пуда муки. Сегодня это стоит двадцать пять карбованцев, а завтра, может быть, будет стоить пятьдесят. Вам нужна музыка, моей маме нужна мука, а карбованцы не нужны ни вам, ни моей маме.

Антонов. Хорошо, два пуда муки... Сюда входит и плата за репетиции.

Аккомпаниатор. Что за вопрос! Разумеется. *(Опять опускает глаза.)* Я только хотел бы, чтобы мое имя тоже было на афише.

Антонов *(смеется).* Что за вопрос! Разумеется... А как вы думаете, молодой человек, сбор у нас будет?

Аккомпаниатор. Сколько составляет полный сбор?

Антонов. Без малого семьсот карбованцев.

Аккомпаниатор. Ну, так я вам гарантирую без малого семьсот карбованцев. Придет все местечко.

Антонов *(соображая).* Если так, то на проезд до Киева нам четверем кое-как хватит.

Ксана. Я без Ивана Александровича отсюда не уеду. *(Плачет.)*

Антонов. Ксаночка, что же делать? Ведь все равно немцы его здесь не оставят. Пошлют в Германию, в крепость.

Ксана плачет все сильнее.

Никольская. Ксаночка, не плачьте. Ну, кончится война, его освободят, он к вам вернется, у меня предчувствие, что вернется.

Никольский. Милая Ксаночка, скушайте шоколадку. *(Сует ей конфету.)*

Ксана. Спасибо, я не хочу.

Никольский. Скушайте, меня шоколад утешает во всех жизненных страданиях.

Ксана. Я люблю только с кремом. *(Ест.)*

Аккомпаниатор. Если вы, мадам, интересуетесь этим господином, который хотел бежать через немецкий кордон, то его сейчас повели к коменданту.

Ксана *(вскрикивает)*. К коменданту? Зачем?

Аккомпаниатор. Разве я знаю? Вероятно, на допрос.

Антонов. А вы откуда, молодой человек, вообще знаете про эту историю?

Аккомпаниатор. Как же я могу не знать о таком вопиющем инциденте? О нем тут все говорят, а я принадлежу к высшей полуинтеллигенции нашего местечка.

Антонов. Вот как?

Аккомпаниатор. У нас говорят, что этот господин не музыкант, а одно очень важное лицо. Говорят, что это сам господин Керенский.

Антонов. Много вздора говорит ваша высшая полуинтеллигенция... За работу, господа, за работу! *(Аккомпаниатору.)* В двух словах сообщая вам содержание и характер пьесы. Королевский сын Парис, чтобы похитить прекрасную Елену, переодевается великим жрецом Венеры. Его на пристани встречают все сановники Греции. Он должен спеть торжественный гимн, а вместо этого поет веселенькие куплеты и неожиданно всех заражает своим весельем. Все начинают плясать и подпевать. *(Напевает.)* «Чтобы ей угодить, веселей надо быть, веселей надо быть...» *(Приплясывает.)* Вот это место, просмотрите партитуру и постарайтесь зазечь нас всех радостью жизни.

Никольская *(со вздохом)*. Массовая сцена нам не удастся. Нас слишком мало.

Антонов *(сердито)*. Вы, может быть, думаете, что это Художественный театр?

Никольский. Дело не в том, что нас мало, а в том, как в нашем каторжном положении, на полуголодный желудок петь веселенькую штучку с этакой радостью жизни.

Антонов. Ничего, споете. Перевоплотитесь. Сальвини в семьдесят пять лет перевоплощался в Ромео. Молодой человек, играйте... Ксаночка, Парис ты мой милый, пой.

Аkkомпаниатор играет, Ксана, глотая слезы, затягивает: «Чтобы ей угодить, веселей надо быть...» Все, приплясывая, подтягивают плачевным хором.

Если возможности театральной труппы это позволяют, то в постановку включается часть последней картины «Прекрасной Елены»: Антонов, покрикивая на актеров, заставляет их прорепетировать выход, затем выходит сам в роли Менелая и поет с хором куплеты.

ЗАНАВЕС ОПУСКАЕТСЯ

ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА

Служебный кабинет фон Рехова — бывший кабинет главного врача. Обстановка соответственная, по усмотрению режиссера. Действие этой картины происходит одновременно с действием картины предыдущей. В кабинете за очень простым столом сидят с одной стороны фон Рехов, с другой — Иван Александрович. На столе телефонный аппарат и папки с бумагами.

Фон Рехов. Передо мной ваше показание, данное вами тотчас после того, как вы были схвачены при попытке перейти нелегально через линию нашего кордона. Вот оно. (*Берет бумагу из папки.*) Допрос производился начальником дозора в присутствии двух свидетелей, немецких солдат. Протокол был вами прочитан, вы его признали правильным и подписали... Это ваша подпись?

Иван Александрович (*почти не глядя на документ*). Да.

Фон Рехов. Кроме того, у меня есть протокол допроса вашего сообщника... Вот... Он показал, что вступил в соглашение с вами и заплатил вам некоторую сумму... (*Брезгливо.*) Вы этого не отрицаете?

Иван Александрович. Не отрицаю.

Фон Рехов. Вы сговорились с сержантом Шульце о том, что он, Шульце, обманным образом присоединит бумаги вашего сообщника к бумагам труппы господина Антонова. За это ваш сообщник уплатил Шульце пятьсот рублей. Вы это признаете?

Иван Александрович (*с легким раздражением*). Да.

Фон Рехов. Какую сумму вы получили от вашего сообщника?

Иван Александрович. Три тысячи рублей.

Фон Рехов. Да, при вас найдена именно эта сумма. Точнее... (*заглядывает в протокол*) три тысячи восемьдесят пять рублей. Деньги приобщены к делу, как и пятьсот рублей, уплаченные сержанту и, разумеется, тотчас им доставленные мне... Конститурую, что ваш сообщник расценил вас в шесть раз выше, чем сержанта.

Иван Александрович. Мой сообщник дурак, но его единственная вина в том, что он хотел проехать из русского города Петербурга в русский город Киев. Я не видел и не вижу ничего дурного в том, что хотел помочь ему совершить это преступление.

Фон Рехов. Так. Может быть, было бы лучше оказать ему эту услугу безвозмездно?

Иван Александрович (*потеряв самообладание*). Я эти деньги взял не для себя, а для того, чтобы помочь старику и девушке, ограбленным вашими друзьями.

Фон Рехов. Милостивый государь, вы забываетесь! (*Сдерживается. С беспокойством.*) Значит, вы хотите сказать, что господин Антонов и его дочь... (*Поправляется.*) ...Его труппа были посвящены в это дело?

Иван Александрович (*поспешно*). Напротив, они решительно ничего не знали, ничего. Но я взял эти деньги без их ведома, для того чтобы им потом помочь.

Фон Рехов (*с видимым облегчением*). Это подтверждается показанием вашего сообщника и тем, что все деньги были найдены при вас. При таких условиях нет никаких оснований для привлечения к ответственности господина Антонова и его труппы... (*Мягче.*) Перехожу к вашей попытке бегства. (*Просматривает протокол.*) Из протокола следует, что вы при свете прожектора были замечены часовыми, которые после предупреждения открыли огонь. Вы все же пытались бежать и сдались лишь тогда, когда увидели перед собой впереди наш дозор. Оружия при вас найдено не было, но шагах в пятидесяти от того места, где вы были арестованы, найден револьвер системы «браунинг»... Начальник дозора спросил вас, ваш ли это револьвер. Вы ответили отрицательно. Так?

Иван Александрович. Так.

Фон Рехов. У начальника дозора — и, разумеется, у меня — нет и не было малейшего сомнения в том, что револьвер ваш и что вы его на бегу бросили, увидев,

что сопротивление бесполезно. (*Многозначительно на него смотрит.*) Но вы ответили отрицательно?

Иван Александрович. Да, ответил отрицательно.

Фон Рехов (*подчеркнуто многозначительно*). Вы продолжаете утверждать, что револьвер не ваш?

Иван Александрович. Продолжаю утверждать. Никакого револьвера у меня не было. Какой-то револьвер мне показали на допросе, но я его никогда в глаза не видал.

Фон Рехов (*так же*). Однако это револьвер русского образца.

Иван Александрович. Какого такого «русского образца»? Браунинги есть во всем мире. Мало ли кто мог его уронить!

Фон Рехов (*слегка разводя руками*). То же самое вы показали в присутствии двух свидетелей и подписали в протоколе. Я не имею возможности доказать, что вы сказали неправду и что револьвер ваш. Всей душой об этом сожалею.

Иван Александрович. Сочувствую вашему горю, но помочь ничем не могу. Револьвер не мой.

Фон Рехов (*бьет кулаком по столу*). Но как же вы не понимаете, что вы себя погубили этим показанием?

Иван Александрович изумленно на него смотрит.

Если б оказалось, что револьвер ваш, то я мог бы подвести вас под германский военный суд. Вас приговорили бы к пяти или шести годам крепости и, разумеется, освободили бы после окончания войны...

Иван Александрович. А так?

Фон Рехов. А так вы окажетесь виновны только в мелком проступке, которого наша власть ни под какие суды не подводит. Я не сомневаюсь, что получу из Киева приказ просто отправить вас назад. Туда, за красные огни.

Молчание. Входит Вестовой и подает фон Рехову бумаги. Из отворенной Вестовым двери доносятся звуки пения: «Чтобы ей угодить, веселей надо быть...» Фон Рехов кладет бумаги на стол, с досадой жестом отпускает Вестового. Вестовой уходит. Дверь затворяется. Пение прекращается.

Как раз вовремя они там занялись репетицией.

Иван Александрович. Не сообразил... Не сообразил...

Фон Рехов (*помолчав*). Я отлично знаю, что вы мне

сообщили не настоящую вашу фамилию. Ни о чем вас не спрашиваю в официальном порядке. Но в частном порядке скажите мне одно: если вас отправят туда, вам грозит расстрел?

Иван Александрович. Без всякого сомнения. (*Молчание.*)

Фон Рехов. Если б было только это ваше показание мне, я его просто забыл бы и предложил бы вам показывать заново. Но вы то же самое показали начальнику дозора и подписали протокол. Я обязан отослать ваше показание в Киев. Сделаю все возможное, чтобы вас признали преступником и убийцей. Но не скрою от вас, надежды мало. Наши суды перегружены работой, в крепостях людей надо кормить, а Германия и сама голодает. В Киеве установилась практика: отсылать в чем-либо виновных людей обратно, в Россию... Как жаль, что вы не выстрелили в воздух.

Иван Александрович. Не догадался.

Фон Рехов (*встает в раздумье и проходит по комнате*). Я постараюсь по крайней мере затянуть дело. До получения ответа из Киева вы и ваш сообщник будете находиться в корчме под домашним арестом. Тюрьмы в этом местечке нет.

Иван Александрович. Риска никакого. Убежать из этого чистилища трудно.

Фон Рехов. Вы думаете?

Иван Александрович. Куда же тут убежишь? Либо за красные огни, либо переходить через ваш кордон. Я убедился, что это невозможно.

Фон Рехов. Совершенно невозможно. (*Многозначительно.*) Уехать можно только легально, с моим пропуском. Но именно поэтому домашний арест не строгий. Наши стражники знают, что убежать отсюда нельзя, поэтому в обеденное время они иногда отлучаются.

Иван Александрович (*насторожившись*). В самом деле?

Фон Рехов. Как раз в обеденное время, в один час сорок пять, ежедневно с этой станции отходит поезд в Варшаву... Вы бывали когда-нибудь в Варшаве?

Иван Александрович (*с недоумением*). Бывал.

Фон Рехов. Хороший город.

Иван Александрович. Отличный.

Фон Рехов. Из Варшавы можно кружным путем проехать куда угодно и нелегально, и даже легально. Из Киева это гораздо труднее, надзор там строже.

Иван Александрович. Как жаль, что нельзя сесть в этот поезд и прокатиться в Варшаву.

Фон Рехов. Для того чтобы сесть в этот поезд, надо было бы иметь на паспорте печать. (*Берет из ящичка паспорт.*) Вот это ваш паспорт. Если б сюда (*показывает*) поставить эту печать, то владелец паспорта мог бы в любой день в обеденное время пробраться из корчмы, пройти на станцию, показать эту штуку и сесть в поезд. Он благополучно доехал бы до Варшавы... Разумеется, вернуться на Украину ему было бы невозможно. Но из Польши сравнительно легко проехать за границу, куда-нибудь в Швецию. А оттуда можно двинуться, например, во Францию, или на Дальний Восток, или куда угодно... Ну-с, беседа наша кончена. Я сейчас позову стражника. Он уведет вас в корчму... Я вернусь через минуту. (*Уходит, оставляя на столе паспорт Ивана Александровича и печать.*)

Иван Александрович поспешно подходит к столу, раскрывает паспорт и берет в руки печать. Через отворенную фон Реховым дверь снова доносятся звуки музыки. Ксана поет: «Ужель меня ты не признала? Ведь я Парис, твой пастушок». Иван Александрович колеблется, затем кладет печать на прежнее место.

Фон Рехов (*возвращается и с изумлением смотрит на лежащий на столе паспорт, затем переводит взгляд на Ивана Александровича. Повторяет с недоумением*).
Допрос кончен.

Иван Александрович. Вы сказали, что поезд в Варшаву отходит в час сорок пять?

Фон Рехов. Да...

Иван Александрович. А когда уходит поезд в Киев?

Молчание. Они смотрят друг на друга в упор.

Какая досада, что вы не забыли на столе печать с пропуском в Киев.

Фон Рехов (*холодно*). Я не понимаю ваших слов.

Иван Александрович. Знаете, бросим кинематографические эффекты. Право, это ни к чему. (*С раздражением.*) Я в Варшаву не поеду. Я вашей сделки не принимаю.

Фон Рехов. Ничего не понимаю. Кто вам предлагал сделку?

Иван Александрович (*отмахивается с досадой*). Да вы предлагаете, разумеется! Бросим кинематограф и будем говорить по-человечески. Вы хотите, чтобы я бежал в Варшаву, откуда проехать в Киев будет мне, как вы

сами предупреждаете, невозможно. А вы тем временем останетесь с Ксенией Павловной тут? Или, может быть, тоже переведетесь в Киев? Нет, благодарю вас.

Фон Рехов (*с немецким акцентом*). Не понимаю, при чем тут Ксения Павловна. Я о ней не сказал ни слова и просил бы вас воздержаться от инсинуаций.

Иван Александрович. Мне отлично известно, что вы любите Ксению Павловну. Вам известно то же самое обо мне. Зачем это отрицать? Зачем играть в прятки? Все надоело. Господи, как мне все надоело. Весь этот обман и еще больше этот эрзац правды. Не люблю подделки. А у вас ведь на эрзаце построено все. Вся ваша философия жизни, даже ваша манера соблазнять женщин — все это фальшивка, хоть, может быть, и очень искусная. Мне ложь особенно противна, когда она похожа на правду. И неблагородство особенно отвратительно, когда оно подделывается под благородство. Ненавижу эрзацы! А главный эрзац души — это у тех, кто, искусно обманывая долгие годы других, под конец обманул, или почти обманул, и сам себя.

Фон Рехов (*сдерживая бешенство*). Я не хочу пользоваться преимуществами моего положения... Ну, хорошо, будем говорить «по-человечески», как мужчина с женщиной. Вы упомянули о Ксении Павловне. Подчеркиваю, что это вы о ней упомянули. Каковы факты? Вы, как мне известно, женаты, но вы считаете возможным домогаться любви девятнадцатилетней девочки: вы предлагаете ей, очевидно, незаконное сожитительство, так как ничего другого предложить не можете. Я не женат, я свободен, я предлагаю ей руку и сердце, и в этом вы как будто усматриваете нечто вроде преступления. Странно!

Иван Александрович (*с все растущей злобой. Он слегка воспроизводит немецкий акцент и интонацию фон Рехова*). Ах, вы «предлагаете ей руку и сердце»? Этого я не знал. Очевидно, это она от меня скрыла... Нет, преступления тут нет. Тут есть нечто худшее. Вам пятьдесят лет, вы чувственный человек, которого на склоне дней потянуло на чистоту, на сантименты, на тургеневский жанр, на «девятнадцатилетнюю девушку».

Оба вскакивают.

Насквозь вас вижу! Вы говорили с ней о Нибелунгах, а думали никак не о Нибелунгах. Я предлагал Ксении «незаконное сожитительство», и в моем предложении ничего грязного не было. А вы предлагали ей закон-

ный брак, и это была грязь... Вы и трюк с револьвером прорежиссировали, чтобы от меня отделаться самым благородным образом. Это был шедевр эрзаца. Ну а я все-таки не поеду в Варшаву. Вот хотя бы только назло вам не поеду! Отправьте меня за красные огни, и пусть тогда мой труп станет между вами и Ксаной.

Фон Рехов. Кажется, сейчас кинематографические эффекты не на моей стороне.

Иван Александрович. Ненавижу вас, с вашим деланным джентльменством, с вашим маргариновым благородством!..

Фон Рехов (*с бешенством*). Милостивый государь, я проявлял в отношении вас достаточно терпения. Довольно! (*Звонит.*)

Входит вестовой.

Довольно! Допрос кончен! Скоро получится ответ из Киева. До свидания, господин профессионал правдивости.

Иван Александрович. Имею честь кланяться, господин эрзац-джентльмен. (*Уходит в сопровождении вестового.*)

Дверь остается отворенной. Из нее снова доносится голос Ксении: «Ужель меня ты не признала? Ведь я Парис, твой пастушок...»

Фон Рехов подходит к двери, слушает с полминуты и затворяет двери. Пение обрывается. Он возвращается на свое место и садится за стол. Через несколько мгновений раздастся телефонный звонок.

Фон Рехов (*берет трубку*). Hier von Rechow... Zu Befehl, Excellenz... (*Слушает. С возрастающей тревогой несколько раз.*) Jawohl, Excellenz... (*Слушает.*) Jawohl, Excellenz... (*Кричит совершенно изменившимся голосом.*) Nein! Brunhilde Linie? Unmöglich! (*С отчаянием.*) Brunhilde Linie? Unmöglich!..¹

ЗАНАВЕС ОПУСКАЕТСЯ

ПЯТАЯ КАРТИНА

Служебный кабинет фон Рехова. Обстановка та же, что и в предыдущей картине. Часов шесть вечера. На сцене фон Рехов, Ксана, Антонов.

¹ Фон Рехов слушает... К вашим услугам, Ваша Светлость... <...> Так точно, Ваша светлость... <...> Так точно, Ваша светлость... <...> Нет! Линия Брунгильды? Невозможно! <...> Линия Брунгильды? Невозможно!.. (*нем.*)

Антонов (*у него и у Ксаны натянутый и смущенный тон*). Поверьте, господин комендант, мы сердечно вам благодарны.

Фон Рехов (*он очень изменился. Холодно*). Не за что, господин Антонов.

Антонов. Отнеслись вы к нам, истинно говорю, по-человечески. Приехали мы без разрешения, без визы. Вы нас не отправили назад, разрешили устроить сегодняшней спектакль.

Фон Рехов (*перебивая*). Мне очень жаль: я должен взять это разрешение назад. Мое отечество постигла катастрофа: сегодня объявлено перемирие на ужасных для нас условиях. Я понимаю: что для одних горе, то для других радость. Но все же пока это немецкий пограничный пункт и я его комендант. Я не могу допустить, чтобы сегодня здесь устраивали спектакли.

Антонов (*несколько растерянно*). Я понимаю... Жаль, конечно... Это для нас большой удар, господин комендант: много билетов уже продано. Придется возвращать деньги.

Фон Рехов. Мне очень жаль.

Антонов. Мы предполагали спектакль тихий, скромный... Не скрою от вас, господин комендант, деньги, полученные за билеты, нами уже прожиты. Право, не знаю, как заплатить публике...

Ксана (*поспешно*). Папа, это не касается господина коменданта. Мы устроимся...

Фон Рехов (*не глядя на нее*). Так как запрещение спектакля приносит вам материальный ущерб, то я готов предложить вам заимобразно некоторую сумму — в размере полного сбора. Вы мне ее вернете из Киева.

Ксана (*так же*). Нет-нет, мы вам очень благодарны, господин комендант, но мы как-нибудь устроимся.

Антонов (*нерешительно*). Да, мы как-нибудь устроимся.

Фон Рехов. Как вам угодно... Впрочем, я и забыл. Ведь у этого... вашего товарища по труппе при его попытке к побегу были найдены деньги. Они приобщены к делу о нем, но так как это дело, как и все дела подобного рода, теперь по приказу из Киева прекращено, то деньги могут быть возвращены.

Ксана (*поспешно*). Значит, дело совершенно прекращено?

Фон Рехов (*не глядя на нее, Антонову*). Окончательно прекращено. Я получил из Киева приказ беспрепятственно пропускать всех желающих проехать на

юг. Наша оккупация Украины кончена, теперь там будут другие хозяева. Я уже два часа тому назад отдал приказ об освобождении всех из-под стражи. Как я уже вам сказал, ваши бумаги находятся в моей канцелярии, вы можете ехать хоть завтра: поезд в Киев отходит в шесть часов... Этот господин... ваш товарищ по труппе может, разумеется, ехать с вами.

Антонов. От всей души благодарим вас, господин комендант.

Фон Рехов. Я тут ни при чем. Что до денег, то они были найдены при вашем товарище и их надлежит вернуть ему.

Антонов. Это все равно, господин комендант: что ему, что нам. Я попрошу его зайти к вам за деньгами сегодня же, чтобы сегодня и вернуть деньги публике. Может он зайти часов в семь?

Фон Рехов. Ведь, кажется, эти деньги принадлежат труппе?

Антонов. Да, это деньги труппы.

Фон Рехов. Так мне сказал и он сам. В таком случае ему незачем ко мне заходить. Я верну деньги вам. Вы можете выдать за него расписку в получении денег?

Антонов. Разумеется, могу, господин комендант.

Фон Рехов. Тогда благоволите получить. (*Вынимает из ящика деньги.*) Три тысячи восемьдесят пять рублей... Пожалуйста, напишите расписку.

Антонов. От всей души благодарю вас, господин комендант... Разрешите присесть за ваш стол... По-русски? Я по-немецки не умею.

Фон Рехов. Да, по-русски. Вот вам листок бумаги.

Антонов пишет расписку. Фон Рехов и Ксана стоят друг против друга. Молчание.

Если вы поедете завтра, то советую сегодня заказать билеты. Вы можете в кассе сослаться на меня: я скажу начальнику станции. (*С волнением.*) Пять билетов?

Ксана (*поспешно, дрогнувшим голосом*). Да, пять.

Молчание.

Я... я благодарю вас, капитан. (*Хочет продолжить и не может.*)

Антонов подает фон Рехову записку.

Антонов (*смотрит на них*). Ксаночка, я зайду в канцелярию господина коменданта за нашими бумага-

ми. А ты пройди в наш зал, я там условился встретиться с Василием Ивановичем.

Ксана. Хорошо, папа.

Антонов. Мы у вас, господин комендант, книги брали, вы давали Ксане. Я аккуратненько сложил и отдал все Ершову, он обещал их вам отослать.

Фон Рехов. Спасибо.

Антонов. Это вам спасибо... За все, господин комендант... Вы не думайте: я, русский актер, чужую ласку помню, у меня душа благодарная. Дай Бог вам счастья! *(Подают друг другу руки.)* Дай Бог вам счастья! *(Подносит платок к глазам и уходит.)*

Молчание.

Ксана. Я тоже хотела вас поблагодарить...

Фон Рехов. Не стоит благодарности.

Ксана. Я вам тогда сказала резкое слово. Пожалуйста, извините меня. Вы догадываетесь, что оно у меня сорвалось и не выражало моих настоящих чувств.

Фон Рехов. Это что вы меня ненавидите? Меня ваше слово не так задело. Если что могло меня задеть, то, скорее, отсутствие и ненависти, и любви, а то, что есть на самом деле, — ваше полное равнодушие ко мне. Единственное, в чем я могу вас упрекнуть, — это в комедии, которую вы со мной разыграли.

Ксана. Вы несправедливы.

Фон Рехов. Вы говорили, что я вам нравлюсь, а я вам не нравился, вам нравился другой. Вы говорили, что «подумаете», а на самом деле думать было совершенно не о чем, да и вы не собирались думать. Я могу это объяснить либо комедией, болезненным желанием нравиться каждому — черта, довольно распространенная у женщин, — либо могу объяснить еще хуже...

Ксана. Как?

Фон Рехов. Ах вы не знаете как? Вы желаете знать как? Я вам скажу. Вероятно, вы оставляли меня на *всякий случай*. Не выйдет с тем — ну что ж, тогда можно взять и этого. Да вы, собственно, и говорили, что вас прельщает мое богатство, мое дворянство, мой замок.

Ксана. Если говорила, значит, не обманывала же вас? Я признаюсь: в том, что вы сейчас сказали, есть маленькая доля правды. Я могла бы сказать, что это не только моя психология, — я думаю, нет девушки, которая хоть раз в жизни не подумала бы именно так: не выйдет с тем, так выйдет с этим. Но это все-таки

лишь маленькая доля правды. Клянусь вам, я была искренне увлечена вами, вашим умом, вашим красноречием. Потом вдруг, когда вы сообщили, что бежал Иван Александрович, я поняла так, что он убит, и тогда почувствовала, что люблю его, и только его. Не сердитесь на меня. Вы во многих отношениях выше, чем он, вы серьезнее, вы положительнее. (*Говорит, едва скрывая восторг.*) Ведь он сумасшедший, самый настоящий сумасшедший. Но оттого ли, что он молод... (*Запутывается.*) Извините меня, вы не стары, но ведь он моложе вас, он ближе ко мне по возрасту — или просто оттого, что он *свой*...

Фон Рехов (*перебивая ее со злобой*). Да, именно, он *свой*. Кто же теперь пойдет за немца? Мы с нынешнего дня стали париями мира.

Ксана. Вот что мне и в голову не приходило. Плохой вы психолог...

Фон Рехов. А впрочем, теперь мне все равно. В глубине души я с самого начала знал, что вы меня не любите и не полюбите... И он тоже это знал: он говорил со мной слишком уверенно... Да, я знал. (*Помолчав.*) Помните, Ксана, что я вам сказал в день нашего объяснения? Я привел вам слова вагнеровского Зигмунда: «Отойди от меня, женщина. Надо мной повис злой рок потомства Вотана». Да, это обо мне сказано. И я напрасно подумал, что злой рок может от меня отступить.

Ксана (*совершенно не зная, что сказать*). Вы — фаталист.

Фон Рехов. Да, вслед за Гёте я верю в непреодолимую власть судьбы и вслед за Гейне думаю, что нет ничего безнравственнее, чем эта власть, нет ничего более противного элементарным понятиям справедливости. Я испытал это на своем личном опыте, теперь испытываю и на судьбах моей родины. (*С внезапной страстью в голосе.*) Одно счастье, что исторический рок страны, в отличие от рока отдельного человека, никогда с точностью тебе не известен. Мы, немцы, сегодня парии мира, но завтра, быть может, будем его господами. (*Увлекается все сильнее.*) Нет, это дело не кончено! Четыре года мы боролись со всем миром, мы показали невиданные и неслыханные чудеса мужества, стойкости, военного искусства — и вот какие условия перемирия нам поставили эти жалкие рыцари, эти жалкие победители! Навалились десять против одного, победили и теперь смешивают нас с грязью!

Ксана (*рада, что разговор перешел на другой предмет*). Однако войну начали вы.

Фон Рехов. Нет, не мы! Но допустим, что мы. Разве они никогда не начинали войн? Разве они не ставили памятников тем, кто начинал войны?

Ксана. У нас говорят, что немцы три раза за столетие вторгались во Францию.

Фон Рехов (*злбно смеется*). В первые два раза это было при известных пацифистах: при Наполеоне Первом и при Наполеоне Третьем. Все это мы им припомним! Мне и несчастье с вами легче перенести оттого, что теперь у меня есть цель жизни. (*Сдерживается и продолжает, улыбаясь.*) Я в каком-то идиотском романе из жизни американских трапперов помню такую фразу: «Дон Рамиро, женщины плачут— мужчины мстят», — сказал Красный Кедр... И, откровенно скажу вам, по сравнению с большой жизненной задачей мне показалась мелкой и незначительной вся эта наша трагикомедия, разыгравшаяся в глуши, на этой пограничной станции. В жизни человека бывает минута — думаю, только одна минута в жизни, — когда все ему становится ясным, все заливается ярким, точным, зловещим светом — вся правда в жизни, или, вернее, вся ее неправда. Поэты говорят, что в минуты прозрения человек познает Бога... Бывает и так, что он познает черта! И только те минуты прозрения ценны, когда человек познает черта. (*Успокаивается. С принужденной улыбкой.*) Скажу, как мой предок Экклезиаст: «И возненавидел я жизнь, и противны стали мне дела, которые творятся под солнцем». Только вывод отсюда я сделаю другой. Нет, не тот вывод, что «пей в веселии сердца вино свое». Другой, другой.

Ксана. Какой?

Фон Рехов. Может, когда-нибудь услышите.

Ксана (*улыбаясь*). Так вы теперь Красный Кедр?

Фон Рехов. Я Красный Кедр.

Ксана. Хотела бы пожелать вам успеха, но в этом никак не могу. Ну, до свидания, капитан.

Фон Рехов. Постойте. Видите, я на вас не сержусь. Что ж делать? У вас есть ведь такая поговорка: «наильно мил не будешь». Ксана, что, если через полгода вам придется сказать это ему — Ивану Александровичу.

Ксана. Он меня предупредил... И даже не через полгода, а через три недели.

Фон Рехов (*с новой вспышкой злобы*). Как это мило! Какая очаровательная шутка и какое безукоризненное

джентльменство: соблазнить девушку заведомо с тем, чтобы бросить ее через три недели! И так как, видите ли, он мило и шуточно вас об этом предупредил, то ничего плохого тут нет, правда? Вот ведь вы улыбаетесь.

Ксана. Он женат.

Фон Рехов. И вы на это идете?

Ксана. Иду. Значит, это *мой* рок. Верно, и обо мне какой-нибудь Зигмунд сказал что-либо такое. Вы видите, что я не такая трезвая, не такая рассудительная, не такая «интересантка», как вы думаете.

Фон Рехов. У вас это совмещается. Совмещается так странно, что это просто неправдоподобно. Что же вы будете делать, когда он вас бросит?

Ксана. Не знаю, не думаю об этом... Вернее, стараюсь не думать.

Фон Рехов. Ведь он победитель жизни: здесь сорвал цветок, там сорвал цветок, порхает от цветка к цветку... Политика, любовь, война. Впрочем, я почему-то уверен, что в армии он не служил. Я лет на пятнадцать старше его, но провел на фронте четыре года и имею вот это... (*Показывает на свой Железный крест.*) Это сейчас главная радость моей жизни. А он, верно, произносил патриотические речи, как все деятели вашей революции... Не сердитесь. Я ведь не знаю, кто он, да и не очень этим интересуюсь... Когда он вас бросит, напишите мне.

Ксана (*растерянно*). Благодарю вас, но право...

Фон Рехов (*принужденно смеется*). Вы меня не поняли. Я имел в виду просто дружескую помощь, совет. Наконец, вам могут понадобиться и деньги: он вполне способен бросить вас без гроша... О нет, я не предлагаю вам перейти ко мне от него. Это не в моих правилах... Ну, прощайте, Ксана, я вижу, вы торопитесь.

Ксана. Не прощайте, а до свидания. Я уверена, что мы еще встретимся, капитан... Как глупо, что я называю вас «капитан»! Но у немцев ведь нет имени-отчества.

Фон Рехов. Называйте меня Красный Кедр. (*Целует ей руку.*)

Ксана. До свидания, Красный Кедр! (*Убегает в слезах.*)

Фон Рехов смотрит ей вслед. Затем садится за стол, начинает вынимать бумаги, просматривает и рвет их. Достает из ящика походную фляжку и жадно пьет коньяк. Продолжает рвать бумаги. Стук в дверь.

Фон Рехов. Войдите.

Появляется Марина с книгами. Она игриво к нему приближается.

(Вскрикивает с ужасом.) Что это? Что вам нужно?

Марина. Это книги.

Фон Рехов *(с ужасом)*. Книги? Какие книги? Ах, от Ершова? *(Берет книги и кладет их на стол. Смотрит на нее.)*

Долгая немая сцена.

Посидите со мной, красавица. *(Берет ее за руку.)*

ЗАНАВЕС ОПУСКАЕТСЯ

ШЕСТАЯ КАРТИНА

Та же обстановка, что и в третьей картине: эстрада зала. Действие происходит тотчас вслед за действием предшествующей картины. На сцене Иван Александрович и Ершов. Они много выпили.

Ершов. Весь городишко пьян. Как только узнали, что война кончилась, все бросились пить.

Иван Александрович. Положительно немцы были непопулярны.

Ершов. Теперь будет еще хуже: большевики придут.

Иван Александрович. Типун вам на язык... Что, Антоновы ясно сказали, что придут сюда?

Ершов *(уточняя)*. Может, ваша Ксана и не придет... Пойду на станцию за газетами.

Иван Александрович. Купите газеты и для меня. Долго мы этого дня ждали! Кончилась четырехлетняя бойня.

Ершов. Ничего, скоро будет другая — восьмилетняя. *(Уходит.)*

Иван Александрович *(подходит к пианино и перелистывает ноты. Бормочет)*. «Ночи безумные...», «Не говори, что молодость сгубила...» Ну и сгубила, и черт с тобой!

Входит Ксана, увидев его, нерешительно останавливается у пианино. Молчание.

Здравствуйте.

Ксана. Здравствуйте. *(Молчание.)*

Иван Александрович. Император Вильгельм уехал в Голландию.

Ксана. Да, я слышала.

Молчание.

Иван Александрович. Кронпринц тоже уехал в Голландию.

Ксана. Да, и кронпринц тоже уехал.

Молчание.

Иван Александрович. Может, поговорим, а?

Ксана. Я не знаю. Если хотите... Вы на меня сердитесь?

Иван Александрович. Разумеется, сержусь. Не без некоторого основания. Извините меня, все это похоже на анекдот. Мы с вами познакомились в Пскове... Кажется, через неделю, здесь, вы мне объяснились в любви.

Ксана (*вспыхивая*). Однако!

Иван Александрович. Ну, все равно: скажем, мы с вами объяснились в любви друг другу. В тот же день на горизонте появляется этот роковой немец в черном плаще, а через неделю я узнаю, что вы без памяти влюблены в него. Согласитесь, я имею право быть несколько недовольным.

Молчание.

Подсудимая, что вы можете сказать в свою защиту?

Ксана. Ничего. Это правда. Преувеличено, но почти правда. Я сама не знаю, что со мной произошло. Я думаю, я несколько помешалась. Может, и в самом деле повлияла атмосфера этого дома умалишенных. Здесь много лет жили сумасшедшие. Может, от них стены впитали какие-нибудь излучения...

Иван Александрович. Нет, нет, уж пожалуйста, без излучений! Скажите просто, что вы глупая девочка. На этой платформе мы могли бы сговориться. Ну?

Ксана. Что «ну»?

Иван Александрович. Сейчас же признайте, что вы глупая девочка.

Ксана. Признаю.

Иван Александрович. Вы просите прощения?

Ксана. Прошу прощения.

Иван Александрович. Я вас прощаю... Я тебя прощаю. (*Целует ее.*) Перемирие одиннадцатого ноября заключено.

Ксана. От вас пахнет вином.

Иван Александрович. Скажи: «От тебя пахнет вином».

Ксана (*покорно*). «От тебя пахнет вином».

Иван Александрович. «Слова слаще звуков Моцарта».

Ксана. Ну хорошо. (*Хочет продолжать*.)

Иван Александрович (*перебивает*). Не хорошо, а отлично.

Ксана. Ну «отлично»... Но что же теперь будет?

Иван Александрович. Как «что будет»? Будет любовь.

Ксана (*серьезно*). Свободная любовь?

Иван Александрович (*передразнивая ее*). Да, «свободная любовь».

Ксана. Всего неделю тому назад, в тот самый день, когда мы приехали, я вам на это ответила: «Никогда».

Иван Александрович. Нет, ты ответила иначе: не «никогда», а «ни-ког-да». Разница как между «я к вам не приду» и «моей ноги не будет у вас в доме!».

Ксана. Для вас все шутки, а это, может быть, трагедия.

Иван Александрович. Может быть, но не наверное... Ксана, миленькая, Вильгельм бежал, рухнула Германия, одна страница истории кончилась, начинается другая, быть может, еще более грозная и страшная. Боюсь, что на этом фоне отойдет на второй план трагедия маленькой Ксаночки Антоновой, которая непременно хочет не так, а законным браком.

Ксана. Вы мне уже это говорили.

Иван Александрович. Разве? Я не мог тебе этого говорить... Ну, хорошо, будем рассуждать серьезно. Вопрос — нет, не вопрос, а проблема — ставится так: я тебя страстно люблю...

Ксана. Это хоть правда?

Иван Александрович. Клянусь бородой Юпитера! Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что я никогда никого так не желал, как сейчас тебя. Клянусь собакой! «Клянусь я первым днем творенья! Клянусь его последним днем!»

Ксана (*машет рукой*). Это называется говорить серьезно!

Иван Александрович. Возвращаюсь к проблеме. Предпосылка первая: я страстно тебя люблю. Предпосылка вторая: ты меня страстно любишь...

Ксана. Ну, это еще неизвестно.

Иван Александрович (*уверенно*). Известно! Мне известно... Предпосылка третья...

Ксана (*перебивая*). А комендант?

Иван Александрович (*бьет ее по руке*). Вот тебе, гадкая девчонка! Комендант — это были излучения стен дома умалишенных... Но ты мешаешь построению моего силлогизма. Предпосылка третья...

Ксана. Сколько будет предпосылок?

Иван Александрович. Сколько мне будет угодно. Предпосылка третья: я женат и, следовательно, жениться не могу. Что же нам делать? Вздохнуть, пожать друг другу руки и разойтись? Нет, слуга покорный!

Ксана. Мой... (*старательно выговаривает*) силлогизм другой: предпосылка первая...

Иван Александрович. К черту силлогизмы! К черту предпосылки! Я тебе говорю русским языком: ты будешь моей, и не далее как сегодня.

Ксана. Где же?

Иван Александрович. Это вопрос уже не политический, а технический. Мы его сдадим в комиссию для предварительного обсуждения. В комиссию избираюсь я. Единогласно!

Ксана. Я не голосую.

Иван Александрович. Значит, единогласно, при одном воздержавшемся.

Ксана (*вздыхает*). Через три недели, как вы сами мило обещали, вы меня бросите. Что я тогда буду делать?

Иван Александрович (*сердито*). Я не знаю, что будет через три недели. Может быть, через три недели я умру от сыпного тифа. Может быть, через три недели падут большевики, тогда мы вернемся в Петербург и я начну дело о разводе с моей последней женой.

Ксана (*недоверчиво*). И тогда вы на мне женитесь? Правда?

Иван Александрович. Клянусь бородой Юпитера! «Клянусь паденья горькой мукой и вечной правды торжеством...» Женюсь на тебе в тот самый день, когда восторжествует вечная правда. Ты думаешь, мне дорого стоит жениться? Я с удовольствием женюсь, но быть двоежцем все-таки как-то неудобно... А скорее всего, ты сама откажешься от меня, когда увидишь, какой я есть персонаж! (*Искренне.*) Милая Ксаночка, я, в общем, довольно порядочный человек, но только в общем. Я эгоист. Господи, какой я эгоист! Подумать страшно! Я бываю весел, но такого неврастеника, как

я, совсем не видел! Не обманываю тебя, честно говорю: брось меня, беги от меня, спасайся от меня!

Ксана. Да вы только что говорили обратное.

Иван Александрович. Я пересмотрел вопрос! Не бежишь? Не спасаешься? Ну, тогда решено и подписано! *(Обнимает ее.)*

Ксана. Вот тебе и линия Брунгильды.

Иван Александрович *(изумленно)*. Это еще что такое?

Ксана *(смущенно)*. Это говорит комендант фон Рехов. Знаете, у немцев была такая линия укреплений на Западном фронте. Так он говорил, что в душе всякого человека должна быть своя линия Брунгильды... То, чего он не отдаст никогда, никому, ни за что... Он хорошо говорил, лучше, чем я передаю.

Иван Александрович *(очень утрированно изображает фон Рехова, с сильным немецким акцентом)*. «Ф душе фсякого тшелофека толшна пить линия Прунхильты».

Ксана. Совсем он не так говорит... Мне его жаль.

Иван Александрович. Ничего, пусть и он едет в Голландию! Пусть все немцы переедут в Голландию!.. Порядочный дурак этот немец! Фразер! Какой фильм мы с ним разыграли, Ксаночка! Он мне предлагал «жизнь и свободу», если я от тебя откажусь. Да, предлагал устроить мне фиктивный побег в Варшаву! *(Смеется.)* Вот, значит, и прорыв линии Брунгильды: его долг германского офицера заключался в том, чтобы меня никак не пропускать.

Ксана *(поспешно)*. Что же вы ответили?

Иван Александрович. Я ответил отказом. Конечно, кинематограф совестно вспоминать. Впрочем, нет,нисколько не совестно: ведь все-таки дело и вправду шло о моей голове. Нет, я горжусь тем, что послал его ко всем чертям.

Ксана. Но как же так? Ведь и у вас была линия Брунгильды? Ведь вы говорили, что принадлежите России. Если так, то ваш долг заключался в том, чтобы принять его предложение, а не в том, чтобы отказываться.

Иван Александрович. Правда. Поймала! Ей-богу, поймала! Но разве я говорил, что принадлежу России? Не мог я произнести такую фразу!

Ксана. Произнесли. Клянусь бородой Юпитера!

Иван Александрович. А если произнес, то потому, что слова говорят за нас сами, и плохие, пошлые

слова. Надо дать обет молчания... С завтрашнего дня я буду молчать до конца своих дней. Ну хорошо, а нет ли проклятой линии и у тебя? Ведь ты собиралась «только законным браком», правда. *(Передразнивает ее.)* «Ни-ког-да!»... *(Целует ее три раза, повторяя слоги.)* «Ни-ког-да». *(Деловито-озабоченно.)* Куда бы тебя еще поцеловать?

Ксана. Запросите об этом Учредительное собрание.

Иван Александрович. Официальное сообщение: линия Брунгильды прорвана в трех местах. *(Еще целует ее.)* Какой прорыв. Я чувствую себя чудо-богатырем. *(Озабоченно.)* Надо поскорее собрать техническую комиссию.

Ксана *(садится за пианино)*. Какой бы вы были человек, если бы не шутили так много.

Иван Александрович. И так глупо? Ты хочешь играть? Лучше спой, играешь ты скверно.

Ксана *(притворно-сердито)*. Тогда играйте вы.

Иван Александрович. Нет, я хочу слышать твой голос. Хочешь дуэт? Знаешь, в украинском театре — ведь мы на Украине — каждая сцена кончается так: «Ну, а чичас станцоймо». Станцоймо, Ксаночка. За нашу свободную любовь.

Ксана кивает головой.

Что же мы будем петь? Хочешь — «Ночи безумные...»?

Ксана кивает головой со счастливой улыбкой. Они начинают: «Ночи безумные, ночи бессонные...» Поют, глядя друг на друга.

Свет медленно гаснет. Занавес опускается. За занавесом пение продолжается. Когда романс (или часть его) кончается, пауза в полминуты. Затем тот же романс (или та же часть его) начинается снова: поет голос Ксаны (если возможно, несколько измененный), но мужской голос совершенно иной. Занавес поднимается для эпилога.

ЭПИЛОГ

Зал или угол зала маленького русского ресторана в Париже. Эстрада с пианино. Вблизи эстрады столик, накрыт прибор. На эстраде Ксана и Никольский. За столиком Спекулянт. Все они постарели лет на двадцать. Девять часов вечера. Уже никого нет (или еще никого нет). Когда занавес поднимается, Ксана и Никольский доканчивают «Ночи безумные...». Под звук заключительных аккордов пианино за столиком раздается недовольный голос Спекулянта. У столика лакей.

Спекулянт (*вид у него потертый, но в петлице Почетный легион*). Вэйтер¹, разве это гурьевская каша? Это черт знает что такое!

Лакей. Я сейчас доложу хозяйке, что месье недоволен.

Ксана (*поспешно спускается с эстрады*). Чем недоволен месье? (*Строго.*) Всегда с вами Петр... Пожалуйста, скажите, месье. Мы очень внимательны к клиентам.

Спекулянт (*несколько мягче*). Обед был довольно хорош, я ничего конкретного не могу сказать. И рыба хороша, и бефстроганов тоже ничего себе, а закуска прямо отличная. Но вот эта гурьевская каша, извините меня, — это не гурьевская каша, а кошмар!

Ксана изумленно на него смотрит.

(*Замечает ее взгляд и сам в нее всматривается.*) Скажите, ради Бога, вы не та артисточка, с которой мы когда-то были там, на пограничной станции?.. В 1918 году?

Ксана. Разумеется, я. Никольская, Ксения Павловна. Господи! Это вы?

Спекулянт. Никольская?

Ксана. Ну да, рожденная Антонова... Господи, как же я вас сразу не узнала! Вы изменились!..

Спекулянт. Вы тоже не помолодели.

Ксана (*вздыхает*). Ведь с той поры прошло восемнадцать лет. Но как же вы?.. (*Не знает, что сказать.*)

Спекулянт. Что — я? Вы о себе скажите. А где ваш папаша?

Ксана. Отец умер пять лет тому назад.

Спекулянт. Ай-ай-ай! (*С беспокойством.*) От какой болезни? Не от сахара?

Ксана. От воспаления легких...

Спекулянт. Ну, ведь он был старый джентльмен.

Ксана. Умер на семьдесят третьем году, мог все-таки еще пожить... Да, жизнь наша была трудная. Мы выступали и в Киеве, и в Ростове, и в Новороссийске. Потом в Константинополе несколько лет держали ресторан, потом в Болгарии были.

Спекулянт. И давно вы в Париже?

Ксана. Семь лет. Вы извините, если гурьевская каша была плохая: вы поздно пришли, и в меню ее нет,

¹ От *англ.* waiter — официант.

вы а-ла карт¹ заказали. У нас вообще а-ла карт отличный, но...

Спекулянт (*великодушно*). Что вы, что вы! Она, если хотите, даже недурная, гурьевская каша, но нет этого... понимаете? А закуска у вас прямо отличная, и бренди такой я, кажется, двадцать лет не пил. И сэлмон² хороший...

Подходит Никольский.

(*Озадаченно смотрит на него.*) Господи, вы тот артист, который?..

Никольский (*благодарно*). Тот самый артист, который.

Спекулянт (*настороженно*). А ваша супруга?

Ксана (*смущенно*). Он разошелся с женой в Болгарии. Мы с ним переехали в Париж и вот открыли тут дело.

Спекулянт (*совершенно так же, как о кончине ее отца*). Ай-ай-ай!.. Ну а сцена как?

Ксана (*вздыхает*). Какая уж тут, за границей, сцена? И потом, большого таланта не было ни у меня, ни у него... Поем здесь, с эстрады. В Болгарии и папочка с нами пел, царство ему небесное. Я веду кассу, а он имеет общий надзор за кухней: у него всегда была к этому склонность.

Никольский. Мне бы родиться в Риме и быть шрифом у какого-нибудь Лукулла... Мать моя, вели подать коньячку, того, что получше: надо выпить за старого знакомого.

Ксана. Тебе вредно пить. О печени забыл, что ли?

Спекулянт. Мне тоже вредно. У меня намек на сахар. Только намек, но прозрачный... Скажите, а тот молодой джентльмен, из-за которого тогда заварилась каша на станции... (*Смеется.*) Тоже была каша, хуже этой, гурьевской! Не помню, как его зовут. Мне казалось, что вы были с ним помолвлены?

Ксана (*встывает*). Нет, мы не были помолвлены. Он был женат. Он скончался еще в России, в Новороссийске.

Спекулянт. Ай-ай-ай! Такой молодой!.. (*Тактично.*) Извините меня... Что это все скончались? И ваш отец, и этот джентльмен...

¹ От фр. *à la carte* — дежурное блюдо.

² От англ. *salmon* — лосось.

Никольский (*философски*). За восемнадцать лет — да еще за такие — много могло помереть народу.

Спекулянт. Да, но я ужасно не люблю, когда люди умирают... Он не от сахара умер?

Ксана. От сыпного тифа.

Никольский (*недовольным тоном, меняет разговор*). Но мы вас не спросили... Вы в Париже изволите жить?

Спекулянт. Нет, нет... Пробовал восемнадцать лет тому назад развить здесь одну идейку, и сначала пошло хорошо. Видите, и Почетного легиона получил. (*Показывает на ленточку. С внезапным ожесточением, очевидно, что-то вспомнив.*) Но разве тут можно делать дела? Разве с французами можно иметь дела? Разве у них есть размах? Они копеечники! И вдобавок они формалисты! Я у них чуть не попал в тюрьму!.. (*Успокаивается.*) Потом все, конечно, разъяснилось... Страшные формалисты! Нет, я уехал в Америку. Вот это страна! Там можно делать дела.

Никольский. Значит, с успехом работаете?

Спекулянт. Ничего, имею свой маленький джоб.

Никольские удивленно на него смотрят.

Прежде, в эпоху просперити¹ было очень хорошо... Теперь, впрочем, тоже недурно.

Ксана. Вы в Нью-Йорке живете?

Спекулянт. Да, в одном из самых лучших дистриктов². Имею свое бунгало, очень хорошее бунгало, в два этажа. Это лучше, чем флэт³. А сюда приехал отдохнуть. Делать дела во Франции невозможно, но чтобы отдохнуть и повеселиться — лучше нет... Я почти каждый год приезжаю.

Никольский. А где изволите стоять?

Спекулянт (*вдохновенно*). Где попадетсЯ — в «Крильоне», в «Мерисе», в «Мажестике» стоял. (*Уклончиво.*) На этот раз я остановился в одной маленькой гостиничке... Совсем маленькой. Зачем мне шум? Я не люблю шума. В «Мерисе» рядом со мной жил испанский король — тут я, а тут он, — но зачем мне испанский король? И вот такая приятная встреча: случайно прохожу мимо вашего ресторана, вижу вывеску — «Русский ресторан», дай, думаю, зайду. Я, собственно,

¹ От *англ.* prosperity — благосостояние.

² От *англ.* district — район.

³ От *англ.* flat — квартира.

хотел пообедать у Ларю, но зачем мне непременно Ларю? Я могу пообедать и здесь: ну не буду пить сегодня Мутон Ротшильд, в чем дело? Для моего сахара это даже лучше. У вас меню по восемь франков. Это так дешево, что прямо даже смешно. И ничего, Ларю не Ларю, но я неплохо пообедал, честное слово!

Ксана. Очень рады слышать.

Спекулянт. А вы того господина помните, который хотел нас отправить назад? Этого фон Рехова?

Ксана (после некоторого молчания). Помню.

Спекулянт. Представьте, я как раз на днях читал о нем в газете и сразу узнал его по фотографии. Растолстел! Морда — кошмар! Ведь он теперь в рейхсвере важный солдафон. Недавно его хотели вычистить, у него, кажется, оказалась подмоченная бабушка. Я был бы страшно рад: хайль Гитлер! Но, к сожалению, он не пропадет, такие сволочи не пропадают. Вы его помните?

Ксана (так же). Помню... Красный Кедр...

Спекулянт (удивленно). Какой Красный Кедр? Генерал фон Рехов... Ну хорошо, а ваш бизнес как? Выгодное это дело?

Ксана. Выгодно ли? Кое-как живем.

Спекулянт (вдохновенно). Переезжайте в Америку! Я вас там устрою. Вы чудно поете, я вас устрою в какие-нибудь музыкальные моменты, или в федеральный экспериментальный театр, или, наконец, в шоу-ботс¹.

Ксана. Ну вот! А если не устроите? Окажемся безработными.

Спекулянт. Тогда вы будете получать релиф². У нас на релиф можно отлично жить.

Ксана (робко). Это что же? Вы хотите сказать «шомаж³»? (Смеется.) Так вы бы так и говорили: «шомаж».

Никольский. Нашла чему удивляться: что в Америке не так говорят, как во Франции!

Ксана. Дурак!

Никольский (подумав). Сама дура.

Спекулянт (тактично). Вы тут вообще разучились понимать русский язык. У меня сломались очки, спрашиваю в русской лавке, где тут оптометрист. Никто не

¹ От *англ.* showboat — плавучий театр.

² От *англ.* relief — пособие по безработице.

³ От *фр.* chômage — безработица.

понимает! Я стал близорук, поэтому сразу вас не узнал. Одним словом, будьте покойны: в Америке еще никто не умер с голоду... Или, если хотите, вы можете снять в аренду небольшую ферму. Если проклятый Нью-Дил¹ продержится, то вам это будет очень выгодно.

Ксана. Нет, уж мы как-то здесь обжились. А вот к нам милости просим почаще.

Спекулянт. Охотно. Впрочем, когда же? Ведь я послезавтра уезжаю. Хотел заказать билет на «Куин Мэри», но не получил. Поеду на маленьком пароходе, зачем мне «Куин Мэри»? *(Смотрит на часы.)* Господи, я страшно опоздал! Восемь франков? Страшно дешево!

Ксана. Пятнадцать: гурьевская каша, это а-ла карт, и еще рюмка водки.

Спекулянт *(несколько холоднее)*. Пятнадцать? Довольно дешево. *(Расплачивается. Великодушно.)* Два франка вашему вэйтеру. Скажите, отсюда сабвей далеко?

Ксана. Кто?

Спекулянт. Сабвей. Ну сабвей: дорога под землей.

Ксана. Ах, вы хотите взять метро? От нас Норд-Сюд совсем близко: сейчас возьмите налево, как выйдете.

Спекулянт *(пожимая плечами)*. «Метро», «Норд-Сюд» — черт знает какой это язык! Я езжу обыкновенно на автомобиле, но отчего мне не прокатиться один раз в парижском сабвее? Ну, прощайте, страшно рад, что вас встретил. *(Прощается.)* Часто в Америке вспоминаю, как нас хотели отправить в чрезвычайку... *(В дверях.)* Хорошее было время!

Ксана *(задумчиво)*. Да, хорошее время!

ЗАНАВЕС ОПУСКАЕТСЯ

¹ От *англ.* New Deal — Новый курс (президента Рузвельта).

Источники публикаций

«Живи как хочешь». Небольшие отрывки из романа публиковались в газете «Новое русское слово», Нью-Йорк, 7 октября 1949 г., 10, 11 февраля, 10, 11 июня 1951 г. Печатается по первому изданию романа, Нью-Йорк, Издательство имени Чехова, 1952 г. Роман был переведен на английский (1952) и испанский (1956) языки.

«Линия Брунгильды». Первая публикация — журнал «Русские записки», Париж, 1937 г., № 1. Печатается по книге «Бельведерский торс» — «Линия Брунгильды», Париж, Издательство «Русские записки», 1936 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Андрей ЧЕРНЫШЕВ.	
Алдановские «Десять лет спустя»	5
ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ	15
ЛИНИЯ БРУНГИЛЬДЫ	537
<i>Источники публикаций</i>	605

Алданов М.
А49 Сочинения. — В 6-ти книгах. — Кн. 5: Живи как хочешь. Роман. Линия Брунгильды. Пьеса. — М.: Изд-во «Новости», 1995.— 608 с.

ISBN 5-7020-0831-6

По замыслу автора роман «Живи как хочешь» завершает серию его романов и повестей из русской и европейской истории последних двух столетий. В центре повествования две детективные интриги, одна связана с международным шпионажем, другая — с кражей бриллиантов. Время действия пьесы «Линия Брунгильды» — 1918 год. Тема жизни русских актеров решена на примере судеб, надвое разорванных эмиграцией.

А $\frac{4700000000}{067(02)-95}$ Без объявл.

ББК 84Р

Марк Алданов
ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

Зав. редакцией *Л. Д. Соболев*
Редактор *Е. И. Бонч-Бруевич*
Младший редактор *Н. В. Потатужева*
Корректор *Н. П. Сидорина*
Технический редактор *Л. А. Ряховская*
Технологи *В. И. Руденко, В. Ф. Егорова*

ИБ 10905

ЛР 040671 от 28 февраля 1994 г.

Сдано в набор 01.12.93. Подписано в печать 07.07.94.
Формат издания 84 × 108/32. Гарнитура Таймс.
Офсетная печать. Усл. печ.л. 31,92. Уч.-изд.л. 35,13.
Тираж 15 000 экз. Заказ № 6049. Изд. № 9176.

АО „Издательство «Новости»“
107082, Москва, Б. Почтовая ул., 7.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Книжной фабрике № 1 Комитета РФ по печати.
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.

